АДАМ БОГДАНОВИЧ

Я всю жизнь стремился к свету

КНИГА ПЕРВАЯ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Мінск «ЛІТАРАТУРА і МАСТАЦТВА» 2012

УДК 94(476+470)"18/19"
ББК 63.3(4Беи)5
Б73

Издание является совместным проектом
Литературного музея Максима Богдановича
и редакционно-издательского учреждения
«Літаратура і Мастацтва»

Составитель, автор предисловия *Александр Ващенко*

Богданович, А. Е.
Б73 Я всю жизнь стремился к свету. В 2 кн. Кн. 1. Мои воспоминания / Адам Богданович; сост., авт. предисл. Александр Ващенко. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. — 544 с., [8]л фот.
ISBN 978-985-6994-89-3.

Книгу первую произведений Адама Богдановича — отца классика беларусской поэзии Максима Богдановича — составляют «Мои воспоминания», которые по праву можно назвать энциклопедией крестьянской жизни белорусов XIX — начала XX в.

Адресуется читателям, которые интересуются культурой, фольклором, историей и краеведением Беларуси и России.

УДК 94 (476+470)"18/19"
ББК 63.3(4Беи)5

ISBN 978-985-6994-89-3(кн. 1)
ISBN 978-985-6994-90-9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Есть писатели, ученые, этнографы, чьи имена ассоциируются с их первой книгой или научным трудом, и что бы они потом не писали, в читательской памяти навсегда останется первая книга. Так произошло и с белорусским ученым, этнографом, писателем и фольклористом Адамом Егоровичем Богдановичем, отцом классика беларусской поэзии — Максима Богдановича. Он написал множество научных работ, воспоминаний и очерков, но в памяти читателей навсегда остался автором теперь уже ставшего классическим труда «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». Труда, по мнению автора, юношеского и не совершенного, однако знаменующего собой определенный этап в развитии белорусской этнографии и в определенной мере аккумулирующего в себе опыт и исследования предшествующих ученых и фольклористов, писавших о Белоруссии. Адам Егорович, безусловно, заслуживает того, чтобы благодарные потомки знали как можно больше граней таланта этого удивительного самородка, положившего свою жизнь на алтарь служения науки.

Адам Егорович, а более точно Адольф Юрьевич, Богданович родился 25 марта старого стиля (7 апреля н. ст.) 1862 года в местечке Холопеничи Минской губернии (теперь городской поселок Холопеничи Крупского района Минской области). В свидетельстве, выданном Минской духовной консисторией в 1896 году, указано, что Адам Георгиев Богданович родился 20 марта 1862 года и был крещен 25 марта того же года. Однако в автобиографии, написанной 8 марта 1927 года, Адам Егорович называет дату рождения из свидетельства неверной и утверждает, что он родился 25 марта. Подтверждают эту дату и воспоминания бабушки, которая рассказывала внуку, что он родился на Благовещенье. А дата этого праздника в церковном календаре постоянна и выпадает на 25 марта юлианского календаря.

Родители будущего этнографа были крепостными помещика Доменика Александровича Лаппо. Отец Георгий (ошибочно Григорий) или по-белорусски Юрий Лукьянович родился в селе Косаричи Лясковичской волости Бобруйского уезда, что на Полесье. Пан Лаппо при переезде в Холопеничи, на свою новую вотчину, которую он приобрел у графа Хрептовича, забрал с

собой многих крепостных крестьян. Среди них был и маленький Юрка. Он служил сначала кухциком (поваренком), а потом и поваром у помещика. Был специалистом своего дела, отличался необычайной физической силой, но вспыльчивый характер не позволял ему долго задерживаться на одном месте.

Мать будущего этнографа, Анна Фоминична Осьмак, была родом из Холопенич, и к моменту ее замужества (ноябрь 1860 года) невесте прибавили год, чтобы брак считался законным. На самом деле Анеле Осьмак было только семнадцать.

Нельзя не отметить, что огромную роль в формировании мировоззрения Адама Богдановича оказала его бабушка по материнской линии Рузалия Осьмак. Оставшись в 32 года вдовой с тремя маленькими детьми, эта удивительная женщина в жестоких условиях крепостного права не только сумела поднять своих детей, но и стала хранительницей народной мудрости, к которой обращались за советом и добрым словом соседи и жители окрестных сел. Ее дар народной целительницы и гадалки был востребован во всем уезде и именно благодаря бабушке в семье поддерживался тот многовековой лад и опыт предыдущих поколений, который называется праздниками и обрядами земледельческого календаря белорусов. Любовь к родной земле и к людям, живущим на ней, умение видеть красоту окружающей природы, восхищение белорусскими сказками и песнями, благоговение перед книгой — все эти эстетические и моральные принципы были заложены будущему писателю именно в семье.

Адам Богданович родился в то время, когда крестьян освободили от крепостной зависимости. Казалось бы, можно вздохнуть свободней, но этого не произошло: власть пана и подпанков была заменена властью волостного правления, к услугам которого был подвластный им суд. За пользование землей крестьянам нужно было заплатить непосильный выкуп. А отец Адама, работающий при дворе, вообще не получил земельного надела.

Стоит отметить, что после восстаний Тадеуша Костюшко, Кастуся Калиновского и третьего раздела Речи Посполитой в Белоруссии начался активный процесс обрусения. Вся административная царская власть и православная церковь пользовались русским языком. Помещиков шляхетского происхождения вынуждали продавать свои имения, чтобы усилить присутствие

русского элемента в крае, а после царского указа от 19.02.1868 года шляхетское сословие бывшего Великого Княжества Литовского было ликвидировано. При выдаче свидетельств о рождении и различных документов в православной консистории польские и белорусские имена менялись на русские. Так позже случилось и с семейством Богдановичей. В свидетельстве о рождении и крещении, выданном Минской духовной консисторией в 1896 году, Адольф Юрьевич превратился в Адама Георгиевича, его отец Юрий — в Георгия, а мать из Анели стала Анной.

Одним из немногих положительных моментов того времени было существование в Белоруссии многоязычия. Кроме родного белорусского языка крестьяне знали польский, русский и умели общаться с евреями, которые составляли более половины белорусских местечек.

У маленького Адама очень рано проснулась тяга к знаниям, и осенью 1868 года в шестилетнем возрасте его отдали в школу. Она размещалась в бывшем больничном здании времен графа Хрептовича и была в трех шагах от хаты бабушки Рузали. Все учились в одной большой палате и комнате поменьше, где стоял мелодический гомон множества голосов. Это разновозрастные ученики долбили вслух уроки, потому что зубрежка была основой тогдашнего обучения. Дневной распорядок был один и тот же: до обеда — зубрежка и выспрашивание уроков, после обеда — письмо и изредка для старших обучение счету; затем — общее богомоленье. Никакого разделения на группы не было, а переходили от книжки к книжке: когда ученик заучивал на память одну — ему давали следующую и так далее. Благодаря отличной памяти и старанию Адам быстро переходил от книжки к книжке и обгонял старших учеников. Уже за первую зиму обучения мальчик научился читать, и это открыло ему дверь в удивительный мир человеческой мудрости и знаний. Книга на протяжении всей жизни будет его верной спутницей, утешительницей и советчицей.

На Ражанцовой трехдневной ярмарке в Холопеничах Адолик уговорил мать купить ему у бродячего торговца дешевую книжку в мягкой обложке. Это было «Житие святаго Антония Папы Римского». Эта маленькая книжка ценой в пять копеек

заложила первый кирпичик в фундамент будущей уникальной библиотеки Адама Богдановича.

Две зимы Адам проучился в Холопеничах, а потом семья перебралась в Минск, где отец нашел работу. В середине августа 1871 года он отвел мальчика в так называемое приходское училище, т. е. городскую начальную школу, где впоследствии Адам Егорович работал заведующим или старшим учителем. Это было уже более прогрессивное учебное заведение с разделением на классы, отсутствием телесных наказаний и преподаванием в духе идей Ушинского и Водовозова. В классе, где учился Адам, практиковалась система соревнований: учеников рассаживали в зависимости от их успехов в учебе. Так, постепенно передвигаясь вперед, мальчик стал лучшим учеником в классе.

Через год семья Богдановичей вновь вернулась в Холопеничи, и Адам опять вернулся в школу. За отличную учебу и примерное поведение в декабре 1873 года мальчик был награжден книгой, подписанной статским советником и кавалером Щедриным, а весной успешно выдержал публичный экзамен и в двенадцатилетнем возрасте в числе трех лучших учеников получил свидетельство об окончании курса учения в Холопеническом народном училище.

А дальше была трудовая школа. Кроме помощи отцу и матери по хозяйству маленький Адолик вместе с местечковыми ребятами уже с десяти лет стал ходить на панский двор для поденных заработков. Рабочий день летом длился от восхода солнца до заката, и за два первых сезона мальчик получал по 10 копеек, а затем, с возрастом, по 15 и даже по 20 копеек в день, что было существенной прибавкой в семейный бюджет.

Весной 1876 года семья Богдановичей снова переехала в Минск. И с этого времени у четырнадцатилетнего Адама начинаются четырехлетние скитания по различным ремесленным выучкам. Сначала он был учеником в кондитерской немца Тирмана, который однажды зверски избил подростка. Потом были холод и грязь мастерских при депо Либаво-Роменской железной дороги. Краткое обучение у оружейника Озембловского сменилось работой помощника кузнеца Никиты у слесаря Минкевича. (Благодаря этой выучке Адам Егорович никогда не расставался со слесарным и столярным инструментом, всегда имел в доме

оборудованную мастерскую, что позволяло ему самому решать все необходимые хозяйственные проблемы.) Однако мастерская закрылась, и Адам устроился учеником в кондитерскую Роберта Шенинга на Петропавловской улице. И опять изнуряющий труд с утра до ночи. Менялись только мастерские, но условия обучения мало отличались: прежде, чем получить профессию, нужно было пять лет за еду и жилье работать на хозяина. Именно благодаря бесплатному каторжному труду учеников-подмастерьев хозяин получал основную прибыль.

Единственной отдушиной в этой беспросветной жизни была книга. Юноша, все свободное время проводивший за чтением, видел бессмысленность своего будущего. Он хотел вырваться из этого замкнутого круга, учиться не на нарах в кузнице, не на верстаке у Минкевича, не в теплушке кондитерской Роберта Шенинга, а свободно, в школе и поэтому исподволь стал готовиться к поступлению в Несвижскую учительскую семинарию. После того, как из консистории было получено свидетельство о рождении, преград для осуществления задуманного не оставалось. Он тайно ночью покинул кондитерскую и вернулся в Холопеничи, чтобы готовиться к поступлению. Грустно встретила Адама бабина хата. Уже не было в живых тетки Марили, любимой бабушки Рузали и меньшего брата Олеся. Постаревшая мать, которая родила шестерых детей и двоих из них схоронила, только грустно посмотрела на сына, узнав, что он бросил выучку и собирается стать учителем. Она привыкла к утопическим планам своего неугомонного мужа, поэтому и от затеи сына не ждала ничего хорошего. Через полтора месяца подготовки Адам отбывал на экзамены. Однако денег на дорогу не было. Мать заложила за 7 рублей мелкому ростовщику свое драповое пальто и шерстяной платок, и эти деньги пошли на сына. Через несколько месяцев мать Адама в 37-летнем возрасте умерла…

Несвижская учительская семинария, куда отправился поступать Адам, была в то время единственным в Белоруссии просветительным учреждением, стоявшим над народными школами, в которое принимались крестьянские дети православной веры не моложе шестнадцати лет. Из стен этого учебного заведения вышло немало выдающихся белорусских общественных, политических деятелей, писателей и ученых:

К. М. Мицкевич (Якуб Колас), Н. К. Романовский (Кузьма Черный), Г. Мурашко и др. В 1879 году Богданович успешно выдержал вступительные экзамены и даже получил право на получение стипендии. Багажа знаний, полученного Адамом за время обучения в школе и посредством чтения книг, было достаточно, чтобы не перегружать себя учебой, а все свободное и даже учебное время отдавать чтению.

Семинаристы были скромными, трудолюбивыми и смирными выходцами из крестьянской массы, а режим дня был почти монастырский: с 8 часов утра до 11 вечера продолжались занятия, работа в мастерских, а весной и осенью — в саду и огороде. Юноши должны были присутствовать на утренних, вечерних молитвах и всех богослужениях, соблюдать посты и носить почти «народническую» форму — красную рубаху и полукафтан. И уже здесь проявился гордый и независимый характер Адама: вместо красной он одевал белую блузу, как более «революционную». У него ее отбирали, но он опять проявлял упорство. При выходе из семинарии юноша получил целых три белых блузы из директорского сундука, снятых с него в разное время. Унизительным для него было требование, чтобы при встрече на улице с директором или учителем даже в мороз семинарист должен был на почтительном расстоянии снять фуражку и идти с непокрытой головой. Юноша не выполнял это требование. На окрик: «Сними шапку!» — Адам отвечал: «Это рабский обычай, а я не раб».

Семинаристы питались из артельного котла, для чего сдавали почти половину денег из своих стипендий. Артельщики, назначаемые директором из любимчиков, учеников старшего класса, на неделю или на две, обкрадывали артель, входя в сделки с поставщиками продуктов. Ученик, пробыв неделю или две артельщиком, тут же покупал себе часы, что в те времена было предметом роскоши. Второй курс во главе с Богдановичем восстал против этого злоупотребления и начал питаться самостоятельно. Взбешенный директор обещал исключить из семинарии Адама и его товарищей-зачинщиков, но, в конце концов, внял их справедливым требованиям и разрешил выбирать артельщиков и контрольную комиссию. Это был первый экономический бунт, послуживший началом пробуждения революционного самосознания у доселе безропотных семинаристов.

Книги были второй причиной пробуждения самосознания. Позже Адам Егорович напишет: «Жизнь и книга сделали из меня народника, затем социалиста и, наконец, революционера. Перестав быть революционером, в смысле принадлежности к той или другой революционной партии, в первой половине 90-х годов, после полной ликвидации партии “Народной Воли”, народником я не переставал быть во всю жизнь. Всю жизнь я работал среди крестьян, отстаивая всемерно крестьянские интересы». (А. Богданович. Революционное движение в г. Минске и Минской губернии в 80-х и в начале 90 годов.)

В 1880 году среди семинаристов образовался кружок саморазвития и самообразования. На первых порах это были однокурсники Адама: Иван Гапанович, Александр Коренько, Франц Матусевич, Дятлович, Абрамович и Игнатий Котляр, а из старшего выпускного курса — Александр Войтко и Иван Михалкович. Часть этих товарищей составили впоследствии основное ядро народовольческой организации народных учителей, связанных через Егорыча (подпольная кличка Адама Богдановича) с Минской руководящей группой. «Народная Воля» была наиболее крупной и значительной революционной народнической организацией, возникшей в Петербурге в августе 1879 года. Ее программой было уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, демократические свободы, передача земли крестьянам. В 1879—83 годах организация имела отделения в 50 городах и несколько тысяч участников движения. Основными видами деятельности была агитация во всех слоях населения, и террор. Исполнительный комитет «Народной воли» 26 августа 1879 года принял решение об убийстве Александра II, и после серии неудачных покушений, 1 марта 1881 года император был убит Игнатием Гриневицким, бросившим ему под ноги бомбу. После этого события директор семинарии И. Ф. Николаевский произнес перед студентами патетическую слезливую речь, в которой назвал социалистов-революционеров извергами рода человеческого. Однако Адам Богданович с товарищами понимали, что люди не идут на верную смерть по пустякам. Не могло их удовлетворить и объяснение, ходившее в крестьянской среде о том, что царя убили помещики за то, что освободил крестьян от крепостного права.

Весной 1882 года Адам успешно сдал выпускные экзамены и получил звание учителя начальной школы. Так случилось, что учительская семинария стала последним учебным заведением, которое окончил Адам Егорович. А дальше были только книги и упорное каждодневное самообразование. Из-за того, что юноша не отличался особой религиозностью, не всегда соблюдал посты, в аттестате по настоянию директора была сделана запись «индифферентен к религии». В те времена это было почти «волчьим билетом». Поэтому, чтобы стать народным учителем, Адаму Егоровичу пришлось три недели в Минске руководить практическими занятиями для неуспевающих учителей и кандидатов в учителя, не получивших педагогического образования и только после этого у него не осталось препятствий для педагогической деятельности. Он был направлен в село Погорелое Игуменского уезда, где три года работал учителем и вел пропагандистскую работу среди крестьян и учителей.

Через посредничество ученика духовной семинарии А. И. Хлебцевича Богданович знакомится с руководителями семинарской группы минских народовольцев И. М. Околовичем и А. М. Мицкевичем. Во время одной из встреч на конспиративной квартире на Сторожовке Адама Егоровича познакомили с гектогравированной программой Центрального Исполнительного Комитета партии «Народная Воля» и попросили дать ответ, согласен ли он с ее положениями. После долгих и тяжелых размышлений Богданович сказал, что согласен, и 1882 году был принят в ряды «Народной Воли». В 1885 году он был переведен в Минск на должность заведующего первым городским начальным училищем и сразу же был включен в состав руководящей группы народовольцев.

В фондах Литературного музея Максима Богдановича имеются две рукописных работы Адама Богдановича «Революционное движение в Минске и губернии в 80-х и начале 90-х годов» и «К истории партии «Народная Воля» в Минске и Белоруссии 1880—1892». Эти работы расчитаны научными сотрудниками музея, переведены в электронный вид и дают важные сведения о развитии революционного движения в Минске и губернии. И если первая работа охватывает период от организации кружка самообразования в Несвижской учительской семинарии до вступления Адама Богдановича в ряды «Народной Воли» (1880—

1882), то вторая, написанная в 1939 году, представляет собой развернутое повествование о структуре минской организации народовольцев, о ее группах и участниках движения, об акциях, проводимых народовольцами. Кроме того в приложении она содержит письма товарищей по организации к Адаму Егоровичу. В отличие от России, где народовольческое движение после провалов и предательств пошло на убыль, в Белоруссии народовольческие группы занимались не террористическими актами, а агитацией и пропагандой в кружках трех степеней. В кружках первой степени занимались устранением неграмотности среди крестьян и ремесленников. В кружках второй степени занимались изучением самых общих вопросов естествознания и начатков общественных наук. Очень осторожно велась и революционная пропаганда. А вот кружки третьей степени уже состояли из наиболее подготовленных рабочих, их члены знакомились с «Коммунистическим манифестом», с историей революционного движения, и среди них велась настоящая революционная пропаганда.

«Егорыч» зарекомендовал себя как отличный учитель и пропагандист. Это была опасная и трудная работа. За провал ждала каторга. Вот что писал об этом периоде жизни отца Павел Адамович Богданович в биографической справке, написанной по просьбе Юлиана Сергеевича Пширкова: «Легко сказать «был членом партии «Народной Воли». А ведь это значит переживать все то, что с этим связано, и переживать в тот период, когда дела партии шли на убыль, когда начались провал за провалом, пережить столь крупные ренегатства, как ренегатство Тихомирова и другие, переживать последние содрогания умирающей партии, когда она оказалась обезглавленной, когда центр уже не существовал, а периферия работала, не подозревая, что она работает без центра. Всю работу приходилось вести в атмосфере сыска, обысков, арестов… В результате этой напряженной работы у А. Е. Богдановича пошла кровь горлом и стала развиваться чахотка».

Под угрозой смерти по предписанию врачей Адам Богданович оставляет работу в школе и выходит из партии «Народная Воля», которая к тому времени уже перестала существовать. У него сохранились прекрасные дружеские отношения с

бывшими товарищами по партии, со многими из которых он переписывался, но недремлющее НКВД еще не раз напомнит ему об этом «сомнительном» периоде его биографии.

В это время Адам Егорович знакомится с Марией Афанасьевной Мякота, которая после окончания 3-классного женского училища в Минске и женской учительской школы в Петербурге приехала в Минск. В 1888 году молодые люди поженились. Жениху было 26 лет, а невесте — 19. Адам Егорович получал хорошее жалованье при казенной квартире с бесплатным отоплением и освещением, поэтому молодожены могли позволить себе сходить в театр или купить понравившуюся книгу. И здесь же в Минске в доме Коркозовича по Александровской улице (теперь улица Максима Богдановича) родились их сыновья: Вадим — 18 марта (н. ст.) 1890 года и Максим — 9 декабря 1891 года.

В июне 1892 года семья Богдановичей переезжает в Гродно, где Адам Егорович поступает на службу в Крестьянский земельный банк. Еще будучи семинаристом, он записал некоторые бабушкины сказки и через учителя П. А. Введенского переслал их Павлу Шейну, который через широкую сеть корреспондентов собирал белорусский фольклор. Адам Богданович продолжает записывать белорусские сказки, песни, легенды, загадки, обряды. Только часть этих материалов напечатана в «Материалах для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» (т. I, СПб, 1887; т. II, СПб, 1893; т. III, СПб, 1902) и различных газетах, а многое было безвозвратно утеряно. В эти годы Богданович является активным корреспондентом «Гродненских губернских новостей», «Минского листка» и других периодических изданий. Он пишет статьи по белорусской этнографии, литературной критике, театральные рецензии, публицистику, переводы и случайные заметки. В машинописном «Перечне моих научных и литературных трудов», составленном в 1927 году (храниться в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства), ученый называет 44 своих статьи. Удивительная трудоспособность!

Вторая половина XIX и начало XX века было периодом пробуждения национального самосознания белорусов, а собирание фольклорного наследия своего народа явилось одним из начальных периодов этого процесса. П. М. Шпилевский, Р. Друцкий-

Подберезский, Адам Киркор, Н. Я. Никифоровский, Е. Р. Романов, Н. А. Янчук, М. В. Довнар-Запольский и десятки других ученых, священников, учителей и просто грамотных людей сделали все возможное, чтобы доказать, что белорусы — это не забытая Богом нация, а народ, который по фольклорному наследию занимает одно из ведущих мест среди славянских народов.

В 1895 году в Гродно выходит монография А. Е. Богдановича «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов». Эта небольшая книга не утратила своего значения до сих пор и аккумулировала в себе не только записи и выводы автора, но и опыт предыдущих исследователей белорусского фольклора. Особая ценность этой работы в белорусских песнях, обрядах и заговорах, собранных самим Адамом Егоровичем и записанным из уст своей бабушки Рузалии Осьмак. В своих методологических основах ученый опирался на труды Г. Спенсера, Г. Бокля, И. Мечникова. Суевериям, пережиткам, колдовству, бытовавшим среди простого народа, автор стремится дать научное объяснение. Немало горьких слов сказано Богдановичем о «запáдлом крае», о бедности белорусских песен и сказок, об отсталости народа. Многое из сказанного повторяет мысли некоторых российских ученых о заброшенном и захудалом белорусском крае, и в последние годы жизни Адам Егорович пересмотрел отдельные негативные постулаты своего первого научного труда. Монография молодого ученого-самоучки была тепло встречена как российскими, так и польскими исследователями.

В Гродно в семье Богдановичей 26 ноября (н. ст.) 1894 года рождается сын Лев, а 11 июня 1896 года — дочь Нина. Рождение дочери, как считал отец, послужило началом болезни жены. Лечение не помогло, и 18 октября 1896 года в возрасте 27 лет Мария Мякота умирает от туберкулеза. И эта, практически неизлечимая в те времена болезнь, еще не раз сожнет свой смертельный урожай в семье Богдановичей…

В 1896 году Адам Егорович был переведен на службу в Нижний Новгород, а через одиннадцать лет в Ярославль, где прожил до конца своей жизни. У Богдановича были рекомендательные письма от товарищей-народовольцев — и, прибыв в Нижний, он отправился на квартиру А. М. Пешкова (Максима Горького), в то время еще скромного сотрудника «Нижегородского листка».

Его встретила молодая жена писателя Екатерина Павловна. Эта удивительная женщина, чьим именем назван лес на священной горе в Израиле, спасшая из застенков НКВД тысячи невинных людей, будет верным товарищем Адама Егоровича до конца его дней и еще не раз подаст ему руку помощи. С самим Алексеем Максимовичем Богданович сразу же нашел общий язык на благодатной почве любви к книгам. Оба были заядлыми книголюбами и постоянно соревновались в приобретении уникальных и редких книг. Позже их дружеские отношения переросли в родственные: в 1899 году Адам Егорович женился на Александре Павловне Волжиной, родной сестре жены Горького. В «Страницах из жизни Максима Горького» Богданович показывает путь становления великого пролетарского писателя, рисует особенности его характера и поведения на людях и в быту. И рисует скромно и сдержанно, не касаясь тех интимных сторон жизни, которые теперь выпячиваются при написании биографии любого знаменитого человека.

В 1900 году в Нижний с труппой Ярмарочного театра приезжает на гастроли Федор Иванович Шаляпин. Горький знакомится с великим русским певцом, и это знакомство перерастает в тесную дружбу, одной из причин которой была схожесть биографий этих выходцев из простого народа и та крутая жизненная дорога, по которой им пришлось пройти прежде, чем стать известными и уважаемыми в мире искусства людьми. Очевидно, воспоминания «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем», которые впервые печатаются, в данном двухтомном издании, не могли не появиться под пером Адама Егоровича. Федор Шаляпин предстает эдаким русским барином с налетом богемности. Почему? Потому что сам Адам Егорович, к тому времени уже занимавший определенную ступень в табели о рангах, всегда был скромен в быту и на людях. Примером скромности был и Максим Горькой, любимой одеждой которого была простая косоворотка. Шаляпин же даже дома любил щеголять во фраке с белоснежной манишкой, в открытом жилете с золотой цепочкой на животе. К тому же свою статью Богданович писал в то время, когда после гастролей по США Шаляпин не вернулся на родину. Это вызвало резко отрицательное отношение к нему в Советской России.

И вот здесь встает дилемма, решать которую приходилось многим творческим личностям в первые годы советской власти:

что лучше — остаться за границей, мучиться тоской по родине, но реализовать свои потенциальные возможности или вернуться домой и стать красивой ширмой кровавого сталинского режима? Горький выбрал второй путь. Под его пером Беломорско-Балтийский канал, 227 километров которого построены на костях десятков тысяч заключенных, превратился в образцовую стройку социализма и идеальную школу перевоспитания слегка заблудших людей. Когда же он начал осознавать ужасную правду и попробовал вырваться из пут режима, внезапно умирает его сын Максим, на похоронах которого Алексей Максимович рыдал, как деревенский кликуша (со слов Адама Богдановича, присутствовавшего на траурной церемонии). Екатерина Павловна была убеждена, что к смерти сына приложили руку агенты НКВД. Да и смерть самого Горького до сих пор окружена тайнами и загадками…

Адам Богданович, работая в Крестьянском банке, защищал интересы простого народа. За 28 лет работы при его посредстве и содействии в качестве оценщика свыше 400 тысяч десятин помещичьей земли в Ярославской, Нижегородской и Вологодской губерниях перешли в руки крестьян. Это вызывало злобу и жалобы помещиков и спекулянтов, чьим мошенническим сделкам препятствовал Богданович. Но ему все же пришлось покинуть Нижний Новгород и переехать в Ярославль, где его и застала революция.

А в личной жизни ученого происходят и печальные, и радостные события. Еще в Нижнем умирает маленькая дочь Нина. Его жена Александра Павловна, которая была хорошей матерью детям Адама Егоровича, умирает во время родов. Сына Шурика берет на воспитание семья Горького, однако в пятилетнем возрасте мальчик умирает от инфекционного заболевания. Для помощи в воспитании детей приезжает сестра первой жены Адама Егоровича Александра Афанасьевна Мякота. Она так напоминала ученому его первую жену, что в сердце опять вспыхнул огонь любви. Молодая девушка тоже отдалась первому чувству, и за время замужества (которое вначале было гражданским) подарила мужу пятерых сыновей: Павла, Николая, Алексея, Вячеслава и Романа.

И здесь приходит время отдать дань уважения Адаму Богдановичу как отцу, воспитавшему гениального белорусского поэта Максима Богдановича. Бытует мнение отдельных литературове-

дов о том, что Максим стал поэтом не благодаря, а вопреки воле отца. Мне кажется, что основная заслуга Адама Егоровича в том, что он научил своих детей самообразованию, поддерживал развитие их природных способностей. Максим до конца своих дней совершенствовался как поэт, Лев и Павел обладали выдающимися математическими способностями, Алексей был замечательным художником-пейзажистом. Отец дал им в руки удочку, а не рыбу. И озером для рыбалки была замечательная библиотека отца: «Первой книжкой для Максима, как, впрочем, и для других детей были «Детские сказки» Афанасьева, затем белорусские сказки моих записей и другие по моему выбору из Шейна и Романова, затем русские былины, «Слово о полку Игореве» в подлиннике и переводе Майкова; былины и песни сербские и болгарские, < >, «Эдда», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», романсы о Сиде, «Рустем и Зареб», «Наль и Дамаянти», «Илиада» в отрывках и «Одиссея», поход Аргонавтов, отрывки из «Энеиды», Феокрит, отрывки из трагиков, Бокаччио, Ариост, Дант, Тассо, Сервантес, Дефо, Мильтон, Мицкевич, а из русских Пушкин, Гоголь, Тургенев («Записки охотника»), Глеб Успенский, Короленко в их художественно-этнографических произведениях. Читались также отрывки из Геродота, Фукидида и жизнеописания Плутарха. Все это читалось до средних классов гимназии, а в остальном предоставлялась полная свобода. В моей библиотеке было все, что было лучшего в мире и ничего пошлого — значит, выбор был обширный и на все вкусы». (А. Богданович. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича.)

И хоть Максим потерял мать в пятилетнем возрасте, все же мягких материнских черт характера у него было больше, чем отцовских: «…по складу своего характера, мягкого и женственного, по веселости своего нрава, живости, отзывчивости и впечатлительности, по полноте и мягкости наблюдений, по силе воображения, пластичности и вместе живописности продуктов его творчества, он всего более напоминал свою мать, особенно в детстве». (А. Богданович. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича.)

Адам Егорович пропадал на службе, и именно Мария Афанасьевна, будучи педагогом по образованию и закончив фребелевские курсы, занималась развитием творческих способностей

Максима с помощью разноцветных шариков из шерсти, кубиков и развивающих игр. И, конечно, впоследствии ни Александра Павловна, ни Александра Афанасьевна не могли заменить ему мать. Но именно одиночество рождает поэтов…

Максима, как поэта, воспитали книги, сказки бабушки, белорусский фольклор и «Наша Ніва». Вопреки скептицизму отца, он сумел доказать, что посредством белорусского языка можно передать любые чувства и переживания человеческой души: «Ему хотелось показать, что никакой размер, никакая форма не чужда белорусской речи. Какие трудности он преодолел на этом пути, свидетельствуют его рукописи и тетради: сколько там выписок из словарей, сборников и старопечатных книг! Какой из поэтов, всосавших белорусскую речь с молоком матери, поднимал этот тяжелый, кропотливый, крохоборческий труд? А он, слабогрудый, хилый, поднял. И нес его терпеливо, упорно, и для меня и для всех окружающих незаметно». (А. Богданович. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича.)

Огромная заслуга Адама Егоровича перед нашей литературой в том, что он спас для благодарных потомков творческое наследие сына. 29 мая 1917 года, на четвертый день после смерти Максима от туберкулеза легких, Богданович приезжает в Ялту, где хозяйка квартиры, на которой жил Максим, передает ему рукописи сына. Адам Егорович привозит их в Ярославль и продолжает собирать автографы, черновики и публикации Максима. 6 июля 1918 года в Ярославле вспыхивает белогвардейское восстание, поддержанное местным населением и крестьянами из окрестных сел. Уже на следующий день была захвачена центральная часть города, закрыты все органы советской власти и объявлен набор в добровольческую Северную армию, куда записалось около шести тысяч человек. В это тревожное время из Минска от Белорусской народной Рады к Адаму Богдановичу приезжает делегация с просьбой о передаче им архива Максима. Зная, что после условий варварского Брестского мира территория Белоруссии разорвана на две части, и мир еще не скоро наступит на его многострадальной родине, Адам Егорович отказывается передать им бумаги. В это время большевистские войска начинают планомерный артиллерийский обстрел города и бомбежки с аэропланов. Они готовы разрушить город до

основания и даже применить газовое оружие. Ярославль полыхает. О дальнейших событиях можно узнать из письма Павла Богдановича к Нине Борисовне Ватаци от 9 января 1965 года: «Отец заболел, брат Николай был ранен шальной пулей, кругом горело, надо было покидать дом. Сундук с архивом брата я поставил в погреб на лед, и наша семья покинула дом. Дом сгорел в последний день мятежа. Когда горел погреб, лед растаял, сундук погрузился в воду, крышка и верхний слой обгорели. Вода смочила все рукописи. В таком виде сундук был нами извлечен. Судьба комиссии, которую мятеж застал в Ярославле, мне неизвестна. Но когда я с отцом после окончания мятежа отыскивал раненого брата по лазаретам, раненый окликнул отца по-белорусски и просил благословить его. Это был один из членов комиссии».

Дом Богдановичей с богатейшей библиотекой в 4 тысячи томов сгорел 21 июля, когда повстанцы сдались. Несмотря на обещания о сохранении жизни, 428 белых офицеров, гимназистов, мещан и крестьян сразу же были расстреляны, и еще на протяжении полугода большевистскими властями было расстреляно более 5 тысяч человек. Начинался красный террор.

После окончания гражданской войны А. Е. Богданович привез и передал в Инбелкульт архив сына и написанные в 1923 году по просьбе Института белорусской культуры воспоминания «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича». На материалах этого архива литературная комиссия в составе поэтов В. Дубовки, Я. Пущи и научного сотрудника Мочульского под руководством профессора И. И. Замотина подготовила и издала в 1927—1928 годах собрание сочинений Максима Богдановича в двух томах. В это время Адам Богданович получает письмо от Белорусской Академии наук с предложением определить сумму гонорара, причитающуюся ему за издание произведений сына. В Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства сохранился черновик ответа отца поэта за 1928 год, где он определяет сумму гонорара в 1340 рублей за 150 нигде ранее не напечатанных стихотворений сына, за его автографы прозы и собственные воспоминания о Максиме. Все остальные богатейшие материалы и фотографии он передал Инбелкульту безвозмездно. И как ни горько об этом писать, никаких денег Адам Егорович не получил, как не получил и пенсии, на которую очень

рассчитывал. К сожалению, архив Максима еще до Великой Отечественной войны пропал из АН БССР… В 1957 году сыновья Богдановича Павел и Николай безвозмездно передали Институту литературы имени Я. Купалы АН БССР архив отца, который теперь хранится в фондах Литературного музея Максима Богдановича. Последний из оставшихся в живых сыновей Адама Богдановича Павел, уже будучи слепым, продолжал отвечать на письма белорусских ученых и литературоведов Ю. С. Пширкова, Н. Б. Ватаци и других. В Белорусском государственном архиве литературы и искусства имеется архив семьи Богдановичей, в основу которого положены уникальные документы, автографы и фотографии из семейного альбома Богдановичей, которые через Алеся Бачилу передала в архив Августа Ивановна Богданович — жена сына Адама Егоровича Павла. Богатая библиотека Адама Егоровича, насчитывающая 2121 экземпляров книг, в 1957 году была передана наследниками в ЦНБ НАН Беларуси, где она находится по настоящее время цельной коллекцией и пользуется непроходящим спросом у исследователей.

Однако вернемся в Ярославль. 18 мая 1917 года Адам Егорович был избран делегатом на Всероссийский съезд государственных земельных банков. По постановлению съезда он организовал профсоюз служащих Ярославского отделения земельного банка и занимал должность председателя до ликвидации банка. Позже Богданович входит в состав различных комиссий, выступает с докладами на различных конференциях (только за 1927—1928 годы он сделал 468 докладов и выступлений). 1 декабря 1920 года он был назначен на должность заведующего научной библиотекой при Ярославском историческом музее, привел ее в образцовый порядок и одновременно читал лекции по истории культуры в Ярославском художественно-педагогическом и музыкальном техникумах, а по истории театра и драматическому анализу — в театральном техникуме. Одновременно Адам Егорович продолжает писать научные работы и воспоминания.

Основным научным трудом А. Е. Богдановича является двухтомная монография «Язык земли. Образование водоречных имен и от них происходящих». Этот капитальный труд, который составляет более тысячи страниц машинописного текста, теперь хранится в фондах Литературного музея Максима

Богдановича. Свой труд исследователь посвятил своему многолетнему другу А. М. Горькому, на что тот отозвался восторженным письмом: «Спасибо, старый друг! Посвящение принимаю, очень тронут хорошей Вашей памятью обо мне. И уж разрешите сказать: всегда меня прельщала неуемность энергии Вашей, и — понимаете — рад я знать, что энергия эта не иссякла. Известно Вам, что я был и есть человекопоклонник, пребуду таковым до конца дней и что Человек для меня прежде всего организатор мира. Вот это самое качество организатора всегда восхищало и восхищает меня у Вас, сударь!» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 30, М, 1955, стр. 173).

Монография получила положительные отзывы академика А. И. Соболевского, и директор издательства Академии истории материальной культуры Ф. Кипарисов сообщает ученому, что книга включена в издательский план на 1935 год и сдана на редактирование С. Н. Быковскому.

Однако кровавый 1937 год перечеркнул все ожидания Богдановича. Ф. Кипарисов и С. Быковский были репрессированы, а пришедшие им на смену люди посчитали работу контрреволюционной и возвратили ее автору. К тому же в 1936 году умирает Максим Горький — единственный человек, который мог оказать конкретную помощь Адаму Егоровичу. Так печально закончилась история монографии «Язык земли...», опубликование которой поставило бы автора в число самых значительных ученых своего времени.

На теоретической основе неизданной монографии А. Е. Богданович пишет исследования «Этнический состав народов славянских и русских» в 2-х томах. Ученый считал, что публикация работы «Этнический состав белорусского народа» помогла бы снять все споры по этому актуальному вопросу.

На семидесятом году жизни Богданович начинает писать «Мои воспоминания». Их уникальность в том, что они написаны выходцем из крепостных крестьян и охватывают период в 130 лет, ибо опираются на рассказы родителей и бабушки. Их по праву можно назвать энциклопедией крестьянской жизни белорусов XIX и начала XX века. Ужасы крепостного права, восстание Калиновского и отношение к нему простого народа, быт и уклад крестьянской жизни, праздники, обряды, песни, танцы, сказки

и даже национальная кухня белорусов органически вплелись в канву «Моих воспоминаний». Написанные на русском языке, с вкраплениями эпизодов и диалогов на белорусском и отдельных выражений на польском языке, эти материалы могут послужить пищей для десятков научных работ и позволяют судить об авторе, как о тонком психологе, обладавшем удивительной наблюдательностью и памятью. Примечательно, что в структуру повествования естественно и органически вплетаются слова и выражения на белорусском языке, создавая неповторимый и «сакавіты» авторский стиль изложения (Составитель и редактор сочли нужным оставить авторское написание белорусскоязычных слов, в том числе многих имен собственных, т. е. в основном с белорусскими орфографическими особенностями и синтаксисом). Отдельные эпизоды, вызывающие смех или слезы читателей, позволяют сожалеть о том, что автор не попробовал свои силы в беллетристике, ибо обладал всеми необходимыми для этого данными.

Адам Егорович почти полвека отслужил на государственной службе и только 25 февраля 1931 года по состоянию здоровья ушел на заслуженный отдых. Он получал академическую, а потом персональную пенсию в 150 рублей. Но у него на руках было четверо больных иждивенцев, и только постоянная помощь Екатерины Павловны Пешковой позволяла ему сводить концы с концами. И именно благодаря ее ходатайству Адам Егорович был освобожден после того, как в 1932 году он был арестован ГПУ и провел в заключении 3 недели. Последней несбывшейся мечтой ученого была поездка на родину. В письме к племяннице Вере Ивановне Кунцевич он с грустью пишет: «Есть у меня еще одно задушевное желание — это съездить в Минск и в Холопеничи: тянет туда. Но это трудно осуществить. Во-первых — две поездки были бы тяжелы для нашего бюджета; а во-вторых, для меня это было бы делом рискованным: поездка в Холопеничи меня бы так взволновала, что я, вероятно, и сложил бы там свои старые кости под березами моих предков».

Умер А. Е. Богданович 16 апреля 1940 года в Ярославле. Каким мужеством, стойкостью и верой в будущее нужно было обладать, чтобы пережить смерть восьмерых своих детей, упорно трудиться каждый день, зная, что твои работы вряд ли будут опубликованы! Однако он верил, что благодарные потомки по

достоинству оценят его титанический труд, и мне кажется, что выход в свет произведений А. Е. Богдановича под названием «Я всю жизнь стремился к свету» поможет по достоинству оценить многогранный талант нашего выдающегося земляка.

Первую книгу составили «Мои воспоминания», которые в книжном варианте публикуются впервые. А во вторую войдут «Пережитки древнего миросоздания у белорусов», «Страницы из жизни Максима Горького», «М. Горький и Ф. И. Шаляпин в Нижнем» (публикуются впервые), «Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича», впервые публикуемые воспоминания «К истории партии «Народная Воля» в Минске и Белоруссии 1980—1892».

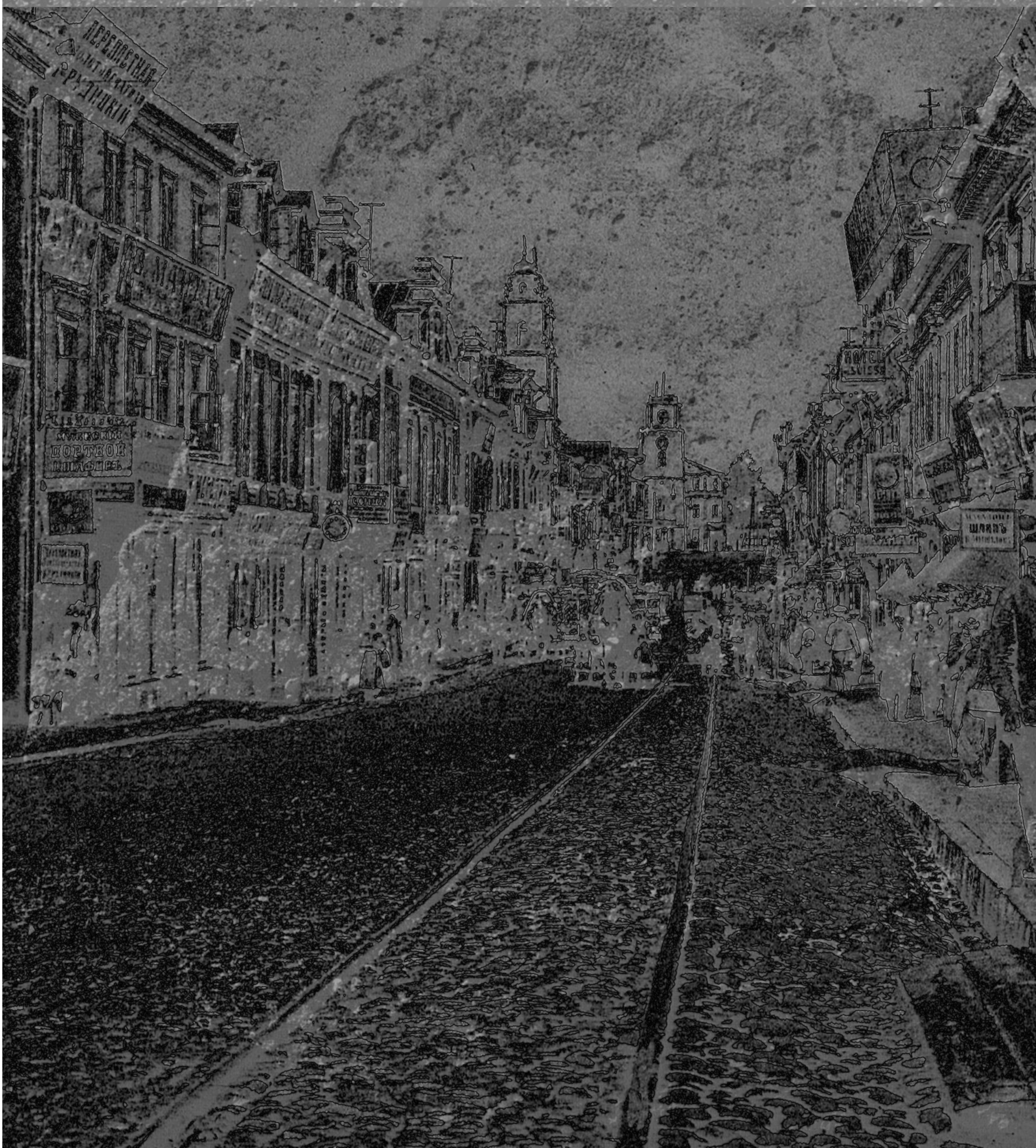
За границами проекта оказалось эпистолярное наследие А. Е . Богдановича. А оно огромно! Адам Егорович переписывался со многими выдающими российскими и белорусскими писателями, учеными и общественными деятелями. Среди них Максим Горький, Е. П. Пешкова, Якуб Колас, З. Бядуля, В. Ластовский, И. Замотин, В. Мочульский, товарищи-народовольцы, родственники. Это наследие требует основательной научной и поисковой работы, результатом которой послужило бы издание эпистолярного наследия нашего знаменитого земляка.

Составитель выражает глубокую признательность Литературному музею Максима Богдановича и Государственному музею-архиву литературы и искусства за предоставленные материалы.

АЛЕКСАНДР ВАЩЕНКО

КНИГА ПЕРВАЯ

Мои воспоминания



КОСАРИЧИ И РУДОБЕЛКА

Чрез бездны темные насилия и зла: труда и голода...

Мне уже под семьдесят... Число символическое: по библейским наблюдениям это — предел человеческой жизни. Немногие за этот рубеж переваливают. Поэтому мало надежды, что мне удастся извлечь из своей обширной памяти все то, что имеет личный или, вернее, семейный, а также и более общий интерес. Надо бы раньше приняться за это дело, но все не выходило: работа и повседневные заботы мешали. Для этого надо свободное время, сосредоточенность и спокойствие духа. Ничего этого у меня не было, — всегда я был занят двумя, тремя и более делами. Нет этих благоприятствующих условий и сейчас, но время не ждет, смерть не за горами, и — как-никак — надо приниматься: что сделаю, то сделаю.

Лично я придаю большое значение мемуарной литературе: поскольку дело идет о личных переживаниях — она освежает факты и события с внутренней, субъективной стороны, придает им личный смысл и оценку, которые, для полноты картины, нельзя игнорировать; а поскольку дело касается фактов, лиц и событий внешних, то точное и умелое их воспроизведение или описание лицом, достаточно беспристрастным, наблюдательным и поставленным в выгодные условия для наблюдения — представляют значительной ценности материал для общественной истории своего времени — в большем или меньшем охвате. Но солнце отражается и в малой капле воды, а истина и в маленьких людях и событиях. Немало есть воспоминаний, посвященных прошлому моей родины — Беларуси, но почти все они писаны на польском языке и писаны людьми крупными, именитыми, из командующего класса, игравшими выдающуюся роль в жизни и истории края, — людьми, которые или вовсе не затрагивали внутренней жизни низов, белорусского крестьянства, или же затрагивали вскользь, бегло, в общих чертах, — и освещали эту жизнь односторонне, со своей «панской» точки зрения или государственной, а стало быть, половинчато, а стало быть, неверно. У народа своего голоса не было. Ничего он не говорил, и никто его не слушал. А между прочим, многое и многое он мог бы рассказать, —

не менее важное, поучительное, любопытное и интересное, а может быть, и более важное и интересное, чем хроники Паска[1], Мартина Матушевича[2] и разных старых шляхетских писателей. Но все погибло безвозвратно: он был безголос. Я — ранний выходец из среды белорусского крестьянства, — выходец, имеющий голос. На мне лежит долг — я это чувствую — рассказать про то, что лично переживал и что переживали мои близкие, что я видел, наблюдал и слышал от других людей, людей старого поколения, заслуживающих доверия, про людей и их дела, заслуживающие внимания. Я помню себя с двух лет: это я точно могу установить. Но воспоминания раннего детства могут иметь психологический интерес или педагогический. Нельзя за ними признать общественного значения. Но мои сознательные наблюдения насчитывают по меньшей мере 60 лет. А то, что я слышал от своей бабушки Рузали и ее сверстников, охватывает еще 60 лет и даже более, ибо она передавала о том, что сама в молодости слышала от старших, — стало быть, охват моих и чужих воспоминаний приближается к началу XIX века, включая около 130 лет.

Сложность моей жизни исключительная — а поэтому весьма разнообразны мои наблюдения и переживания: они охватывают самые различные сферы жизни: от народных низов из «глубины» (de profundis) чрез последовательные хождения души по многим и разнообразным мытарствам, со ступеньки на ступеньку, из круга в круг, падая и поднимаясь, но неизменно стремясь ввысь — к свету, к знанию, к борьбе за идеалы. Сколько я перевидел, переслышал, перечувствовал, передумал на этом тернистом пути. Но всего этого рассказать и описать даже в общих чертах нельзя: для этого не хватило бы целой жизни. Нельзя — да и не надо: есть другие источники — разнообразные и многочисленные — для понимания и оценки того, что происходило в командных верхах. Поэтому я сосредоточу свою память на народных низах — как там жилось, что происходило, как воспринималось и оценивалось, — и для ясности картины буду останавливаться главным образом на том, что знаю всего ближе и непосредственнее, т. е. на своих переживаниях, своей семьи, людей, нам близких и с нами связанных. Это будет нутром, центром моих

повествований, а периферии я намерен касаться постольку, поскольку она может служить выгодным по освещению фоном для картины нашей жизни или же поскольку это внешнее важно и интересно само по себе. Так как я имею в виду прежде всего и больше всего потомство своей родни, то для освещения вопроса о наследственности, вопроса, на мой взгляд, первостепенной важности, я постараюсь охарактеризовать, насколько смогу, всех своих кровных в восходящем порядке.

Но понимание человека невозможно без понимания среды и прошлого. С этого я и начну. Тут задача осложняется: мои родители из разных мест в 50 миль расстоянием одно от другого. Отец Юрий Лукьянович родом из с. Косарич Лясковичской волости Бобруйского уезда, из белорусского Полесья; а мать Анеля Томашова Осьмак по фамилии — из местечка Холопеничи Борисовского уезда той же Минской губернии по старому административному делению.

Таким образом, мне предстоит говорить о двух местах и двух «средах», значительно разнящихся одна от другой.

Судя по сообщениям моего отца и из других источников, полешуки более смелы, упорны в раз принятых намерениях, более привычны действовать сообща, дружно, настойчиво, и более проникнуты чувством независимости и личного достоинства. Эти племенные особенности резко выделяли и моего отца из общей массы пришибленных и безгласных холопенцев, словно он был выходцем из другого народа.

— Ого-го, — говорил он, — наш народ саўсім другій народ. Другіе людзі. Народ заўзятый, заядлый, бунтары... Як за што ўзяліся — свайго дабіваютца, на сваём хочуць паставіць. Як што ні пад нароў ці проці закону — січас гэта зашумяць, паднімуць гоман, крык,— ругатню, хоць святых вынасі...

Січас гэта складка па грыўні, па залатоўцы або па саракоўцы з душы ці з двара; дванадцаць чалавек выбарных у Глуска ці ў Парычы махнуць, трырублёўку або і болі пісару, прашэньне настрачаць — ды ў Бабруйска к маршалку або ў Мінска к самому губэрнатару. Што ж? Свайго дабіваліся: сколькі старшын да пісароў ссадзілі. На станавого навэт жаліліся. Ну, алі тут толькі грошы напрасна прасадзілі: не ўзяла сіла. Рука ў яго была ў губэрні...

А што бывала ключвойт[3], старшына, пісар — толькі дзяржыся: як што ні так — удрук[4] ссадзюць. А як жа! У старшыны мядаль з валасамі садралі. А як жа! Бунт быў: сколькі начальства прыезджала, сколькі ключвойтаў, сотнікоў[5] ды дзесятнікоў[6] сагналі... Ну, тады зачыншчыкам дасталася: па 25 розаг усыпалі. А аднаму — Хведару Пацаю з Касарыч (сільны быў мужык, здаровый), што не даваўся і ўсё крычаў: «братцы — ратуйце, братцы — не давайця!» — таму 50, а можэ, і болі ўкацілі. Доўга з ім тузаліся, пакуль павалілі. А ўсё сваі, — тые самые дзесятнікі ды соцкіе.

А ўсё ж такі прыгавора не падпісалі.

Какой там был приговор — отец не говорил и, может быть, не знал. Дело, очевидно, было не в том, что за приговор, а в том, что не подписали...

Так вот какие стойкие были мои далекие земляки и сородичи из Полесья: даже после порки не подписали. Это, конечно, было гражданское мужество (в начальной стадии), и потому-то с гордостью и чувством превосходства отец повествовал об этом героизме.

Для более рельефной обрисовки картины добавлял он:

— Што там народ, што тут — бальшая разніца. Там мужык ввалітца ў канцалярыю — шапкі не здымае і прама пісару на пасцель садзітца. А другій яшчэ на падушкі наравіць прымасьцітца. Пакуль пісар не закрычыць: ды што ж ты, свіньня, ка мне на пасцель лезіш! Ды яшчо задом на падушкі! (т. е. несколько сильнее было сказано) Пашоў вон с пасцелі! Не бальшій пан — можэш і пастаяць.

Ну, тады другій устане абы пасунетца ніжэй.

Я только наполовину принадлежу к буйным полешукам, а наполовину к смиренным белорусам-дреговичам, и потому, слушая отцовские повествования, трепетно восхищался своей белорусской половиной, неслыханной смелостью и дерзостью неведомых лясковичских и косаричских мужиков, чувствуя, что я сам не смог бы пану писарю сесть на подушки.

Не я один, в то время мальчик, — все удивлялись: как же это так? А-я-яй, якіе смелые! И может быть, мечтали, что хорошо бы, для первого раза, пану писарю сесть на подушки. Это была бы начальная ступень социальной революции.

В ней первое дело: сметь, дерзать... А с чего начинать — обстоятельства покажут, хотя бы и с подушек пана писаря.

Я не думаю, чтобы полешуки с Птичи и Припяти так уж отличались буйством нравов, по сравнению с другими белорусами верхнего Днепра, Березины и Сожа, как это хотел представить мой батюшка. Мои личные наблюдения, более поздние, показывают, что полешуки, как все лесные люди, более угрюмы, замкнуты, недоверчивы и упрямы, пожалуй, если хотите, более настойчивы, но не в такой степени, чтобы их считать чем-то особенным в племенном отношении, чтобы их можно было противопоставлять остальным белорусам. Мои исследования хорографии[7], археологии и первобытной истории Беларуси показали, что на великих водных путях с их притоками бассейнов Черного и Балтийского морей оседали разные племена, по северному «ватаги», передвигавшиеся с юга на север и с запада на восток и обратно, от баснословных самодревнейших киммерийцев, скифов и сармат до новейших финских племен, потомков древних киммерийцев, до тюрков, кельтов, литовцев и славян — племени нового образования чрез смешение длинноголовой и короткоголовой расы включительно.

Разнообразие водо-речной номенклатуры показывает, что двигавшиеся орды и ватаги по-разному называли воду и реку на своих языках. В своем исследовании, еще, к сожалению, не напечатанном, я доказал, что все речные и озерные имена сводятся к элементарным (ва, ма, га, ка, на, да, ра, ла, са и пр.), означающим *вода* на разных языках, и к двойственным или второобразным, как *вада, рака, васа, бара, бала* или *бола, пара, вара* или *вора, рава, рова, мара, рама, сана, дана, дона, дуна, веда, ведь, веть, яга, юга* и пр., которые, сложившись из элементарных названий воды, тоже значат в этом сложном виде *вода* и *река* — не больше — на разных языках.

Наконец — я показал, что имена высокой сложности, по моей терминологии, комплексные, как Бори-Степ, Дана-Пра, При-Петь, Де-Сна, Бере-Зна (Березина), Не-Ман, Да-Вина (Двина), Вол-Га, Мас-Ква, Ма-Рава, Вис-Туль и пр. образовались путем сложения элементарных со второобразными, путем наращения пояснительных прибавок на древнем имени, означа-

ющих *вода* или *река*, или же путем слияния в одно имен разных отрезков великой реки или главной реки и ее притоков. А стало быть — эти комплексные имена, разноязычные по своему составу, свидетельствуя о смешении и сменах разноязычных насельников, в целом не могут иметь никакого смысла.

Чтобы легче разобраться во всем разнообразии имен, надо иметь в виду, что кроме полногласных форм, приведенных выше, они, при слияниях, теряют гласные и употребляются в усеченной (*вода-вод, дана-дон, рава-рав*) и в стяженной форме (*вода-вда, дана-дна, рава-рва и пр.*).

Отсюда понятно, какое незаменимое пособие исследователю может дать номенклатура в той обработке, которую я ей придал: можно видеть — какие языковые ватаги обитали на данной территории, с кем они соседили и сливались, куда они ушли, унося свои названия воды и реки, награждая ими или безымянные реки и озера или наслаивая их на чужие основания.

Все это доказано мною на фактах, имевших место на глазах истории — колонизации финнами и русскими севера и исторически известной сменой имен на юге.

Конечно, никаких литовских, славянских и прочих имен старинных здесь нет, как нет их нигде: имена возникли прежде сложения этих народов, и в свою растущую и развивающуюся речь они включили образовавшиеся путем наращения: *вада, рака, возера, ров, рум, лада* и пр. с их производными и диалектическими изменениями. Так вот, по этим следам и признакам, кто обитал в Полесье и Беларуси?

Ответ ясен: в начале разноязычные финские племена — они аборигены края. Те, которые называли воду и реку первоначально: *ма, ва, га, ка, са, я* и пр. Затем — те, которые во вторую очередь называли воду и реку — *васа (васи, веси, весь), вата (вета, ведь, веть)*; затем — *пара (*вместо — *бара)* и *пра, пре, при*; вместо *сана — сна, цна, зна, шна, чна;* затем — *вара, вора* и *мара, мора, мера.*

Где они сидели и куда они ушли?

Сидели они по верхнему Днепру, Припяти, Сожу и Десне, Двине и Неману. Группы *ма* и *ва,* а также *га* и *ка*, ушли в Карелию и Финляндию, где есть отдельные имена рек и озер — Ма и Ва.

Им пришли на смену с юга ватаги, которые называли воду ра и ла; позднее они принесли сочетания бара, бора; вара, вора.

Затем пришли группы да и на, и они принесли с юга и с Балтийского побережья сочетания дана, дона, лада.

Это было в последнюю очередь. Эти *ра, бора, вора, дана, лада* — арийские группы или смешанные с арийцами (кельты, славяне, литовцы, латыши — народы позднейшей генерации). Оставляя в стороне носителей элементарных имен (ма, ва, га, са), остановимся на живых представителях племен, т. е. еще сохранившихся. И вот оказывается, что по Припяти жили ватаги Пара, Пра, (вместо Бара) и Пета, Петь, Пти (При-Петь, Пти-ча).

Куда они девались? Частью остались на месте, частью ушли по Десне и притокам в бассейны Оки. Это Мокша и Эрзомордовские племена и отчасти вотяки. Там в Рязанской губернии встречаются реки Пара и Пра, а у Мокши — Пета и Петь. По-мокшански *вода — веда вета, веть.* В бассейне Десны и Сожа сохранились эти имена Вета, Веть, Ведь-ма, Вить-ба и проч. Сна и Цна ушли туда же и в бассейн Верхней Волги, даже Чна (Славе-чна) отразилось в Поволжьи (Корожи-Чна, Тузо-Шна).

Мара и Мера ушли туда же, т. е. унесены племенами новейшей генерации мерей и муромой.

Словом — в основном племенном наслоении Полесья и Беларуси мы не можем найти разницы: финны разных генераций — западные и восточные. Возможно, что нервной мордвы было больше в Полесье. Но не это их отличает: а то, что в историческое время в Полесье шел приток насельников с Карпат и Украины — кто бы они ни были, — славянские или славянизированные племена. Они внесли украинскую речь и вольный дух степи и казачества. Если спросить полешука — куда он тяготеет и за кого себя считает, то ответ будет ясен и несомненен: он считает себя украинцем, чумаком, хохлом, но не белорусом.

— Сэ дурніі лытвіны!

Это он так белорусов честит. И белорусы их считают и называют чумаками и хохлами, — чужеродцами.

Конечно, у белорусов больше литовской, а отчасти и латышской крови, чем у кого бы то ни было: общность природных условий и водных путей вела к этому смешению.

По данным археологии и древней этнологии, мы и в Полесье, и в Беларуси встречаем, в основном, два похоронных обряда и два основных антропологических типа. Обряд трупосожжения и трупоположения. Первый сближает с древними обитателями поднепровья Трипольской культуры, культуры погребальных полей и площадок, сжигавших своих мертвецов, и с трупосожигателями в курганах. Это преимущественно арийские племена.

А второй — роднит с финскими племенами, хоронящими трупы в ямах, под курганами, как это повсеместно наблюдается у финских племен Оки, Волги и Камы. Трупосожжение, по всем данным, был обряд пришельцев, завоевателей, особого слоя населения.

Антропологически — там и там мы встречаем расы низко-, средне- и вы-сокорослые, а по черепам — коротко-, средне- и длинноголовые.

В моем исследовании: «К вопросу об этническом составе белорусов»[8] собраны разного рода данные: археологические, этнологические, хорографические, лингвистические, исторические и современные антропологические в сводках, сближениях, сопоставлениях, с подробными цифровыми данными в абсолютных и процентных числах. Там, если будет работа напечатана, все это можно найти в подробностях и точно.

Здесь же я только скажу суммарно: белорусы, как и их соседи, не представляют единого типа. Наоборот — значительное разнообразие типов, — разнообразие большее, чем у украинцев Полтавщины или русских с берегов Оки и Волги. Но процент длинноголовых у белорусов больше, чем у поляков, украинцев и великорусов. И если этот признак считать, как считают некоторые русские и иностранные антропологи, особенностию древнеславянского типа (курганы и старинные кладбища это показывают), то белорусы всего более сохраняют этот тип.

Но я слишком отвлекся в сторону своих специальных интересов, что, впрочем, вполне понятно, ибо, если я где-либо оставляю по себе заметный след, то в области хорографических исследований, где внес много нового, идущего вразрез с общими выводами научных изысканий в этой области, и не

сомневаюсь, что нашел и вышел на верный путь, который положит конец лингвистической разноголосице, сбивающей с пути и подрывающей авторитет науки.

Не знаю, удастся ли мне спокойно довести свои научные труды до конца, как мне бы хотелось, связав воедино этнологические данные разных наук при помощи хорографических данных — этих древнейших документов человеческой речи и следов пребывания человека, как цементом в одно целое. Материалы готовы, подобраны, и я ясно себе представляю картину, в которой все, сведенное к единству, обрисовалось бы.

Но возвратимся к прерванной нити воспоминаний.

Итак — мои предки с Птичи-реки отличались более буйным нравом, чем предки по матери с Исы-реки.

Тут представляется удобный случай поговорить насчет происхождения имени Исы, но я пока воздержусь. Скажу только: в обоих частях имени тоже финские элементы: *и* — вода по-самоедски, а *са* — по западно-фински. Первонасельники и пришельцы. А теперь возвратимся к реке Птичи в село Косаричи. Это родина моего отца, деда и прадеда, и может быть, более далеких предков.

Типичные в этом селе фамилии Ковзун, Костка, Коберник (чуть не Коперник!), Пинчук (видимо, выходец из окрестностей Пинска), Зубач, Пацай (весьма своеобразная фамилия в роде литовского Паца) и Юневич. Последняя — самая славянская и самая красивая из всех — и это фамилия моей бабушки Арины Ивановны Юневич! Я ее никогда не видал, как и деда Лукьяна Степанова. Но с нежным чувством представляю ее юной и прекрасной, в цветном андараке самотканом (юбка из разноцветной шерсти на льняной основе), в цветной, может быть атласной, шнуровке (это корсаж) и в тонкой, белой, как снег, рубахе с широкими рукавами, стянутой на шейке цветной лентой с бантом, и цветном шерстяном платке, повязанном тюрбаном, с бахромой и кистями, и многими разноцветными лентами в косе, когда она со спокойным и гордым выражением лица, полным сознания великой внутренней силы и чувства собственного достоинства, как княгиня, предстала в 1832 году, имея от роду 18 или 20 лет, в Георгиевской церкви села Косарич, чтобы сочетаться браком с садовником Лукьяном

Степановым Богдановичем, известным по некоторым церковным документам еще под фамилией Скоклича[9]. Ему было 24 года, ибо он, судя по ревизской сказке[10], родился в 1808 г., а по исповедным ведомостям [11] — в 1807 г.

Когда я хочу себе представить молодое лицо моей невиданной бабушки Арины Юневич, я представляю милое лицо моей старшей сестры Магдалины, сияющее величавым спокойствием духа, гордой уверенностью в себе и в своих силах, даже слегка надменное, как у царицы, но не вызывающее и снисходительное к нижестоящим, — и уверен, что я не ошибаюсь, ибо Магдалина по-женски была похожа на отца, а отец, как сам он говорил, был похож на свою мать. В роду моей матери не было таких, как Магдалина, и, стало быть, она пошла в косаричский тип Юневичей или Богдановичей, но всего скорей Юневичей.

Недолго прожила моя бабушка Арина: что-то около 42—43-х лет, ибо умерла она в половине 50-х годов.

Надо думать, что при редких радостях немало она вынесла горя и невзгод за 22—23 года своей брачной жизни. Одни роды и смерти детей чего стоили!

За 19 лет родилось у ней восьмеро. Вот эта плоть и кровь материнская, недосыпание ночей, тяжесть труда и слезы; в последовательном порядке:

1. Франк (Фронка, в период обрусения — Федор) родился в 1833 году.

2. Софрон — 4 декабря, 1834 год.

3. Георгий (Юрий, ошибочно Григорий, мой отец) — 23 апреля, в день Георгия Победоносца, 1837 г. (Некоторая передышка!)

4. Симеон, т. е. Семен, — 27 апреля, 1839 год.

5. Магдалина — 21 июня, 1841 год.

6. Емельян — 17 июля, 1844 год.

7. Аксинья (Ксеня) — 25 января, 1849 год и

8. Анна — 9 декабря, 1851 год. Последнюю, тетку Ганну, и только ее одну из отцовского рода, я в детстве знал: она была моей няней. Половина из этих детей оказались недолговечны.

Самыми долговечными были Фронка (до 70 лет), мой отец, умерший 67 лет, и тетка Ганна, по мужу — Пинчукова,

которая вышла замуж в 1870 г. за Степана Игнатьева Пинчука, крестьянина из Глуска, вероятно, переселившегося туда из Косарич, ибо в этом селе есть Пинчуки, или наоборот. В начале 90-х годов она еще жила в Косаричах и давала обстоятельные показания по моему делу о пропущенной метрической записи.

По-видимому, Софрон, Магдалина и Емельян — скоро скончались, ибо по исповедным ведомостям не показаны: Емельян с 46 года, Софрон с 56-го, а Магдалина с 58-го. Ксеню я мельком видел в Бобруйске в половине 60-х годов: она служила в горничных у каких-то панов, собиравшихся в деревню: шла спешная упаковка и укладка вещей, она, как ветер, сбегала с высокого крыльца и на крыльцо, укладывая чемоданы, корзинки и проч., а пани, появляясь на ганку[12], поторапливала, так что ни я тетки путем не разглядел, ни она меня. Да надо думать, что совсем она не интересовалась 5—6-летним племянником из далекой стороны: не до того было.

Родственные чувства культивируются долговременными общими переживаниями горя и радостей, а не каким-то отвлеченным сознанием общности предков — родства.

Дядька Семка, уже будучи женатым, в конце 70-х годов утонул в своей родной Птичи, хотя был хорошим пловцом. Говорят, во время покоса он перевозил какую-то девицу через Птичь в лодке-душегубке[13]. Лодка с разгона, ударившись о корчагу, опрокинулась на глубоком месте. Девица спаслась, задержавшись на юбках, как на воздушном колоколе, а Семка попал ногой под корягу (их, говорят, много в Птичи). Насилу косари его вытащили оттуда, уже мертвого.

Дед Лукьян скончался около 80 года — 72 или 73 лет от роду,— скончался весной, в саду, где он окапывал и подрезал крыжовник. Видимо — сел на пригорочке закурить, ибо в руке у него была набитая махоркой трубка, возле лежал кисет, трут и огниво. Блаженная смерть!

Ему давали больше его лет, даже до 90, и хотя год рождения его мне не известен[14], но по документальным данным это не оправдывается. По словам отца, дед Лукьян брил бороду и носил усы, как и отец мой, как и я по родовой традиции, а главным образом потому, что растительность у нас на бороде жидковата и невзрачна.

Хорошее ремесло было у деда, завидное: копайся себе в саду, среди цветущих и благоухающих груш и яблонь, слив и вишен. Подчищай, подвязывай, обмазывай, прививай, ухаживай, как за детьми, за зеленеющими питомцами; закладывай парники, сажай «шпарагі» (спаржу) «кавуны та дыні» и в награду первый вкушай сочные пахучие плоды. И все это на свежем воздухе, залитом солнечным светом, жизнь вроде праотца Адама в раю. Меня, обреченного глотать книжную суть, примирять непримиримое, невольно зависть берет.

Еще про деда я знаю, что он чрезвычайно искусно плел корзинки из тонких приречных корешков ивы. Такая корзинка дедовой работы была у моего отца, бывала с ним в дорогах без числа, чего только не вынесла, и по наследству досталась мне в Минске. Побывала в Гродне, где мои дети Вадим и Максим, долго в ней, как в санях, катались по полу и, наконец, — доконали. Службы беспримерной ее было, по меньшей мере, лет 50. Лучше укладки не придумаешь: легка, изящна, прочна, непроницаема для пыли и воды. В молодости она отливает серебром и перламутром, потом желтеет и переходит, под старость, в коричневый цвет. Может быть, не без фамильного влияния я сохранил любовь к этого рода корзинкам, и, бывая на юге, где они держатся, закупал их по нескольку штук, разных форм и величин.

Но продолжим генеалогические изыскания вглубь. Впрочем, далеко зайти мне не пришлось. Ревизские сказки — единственные геральдические документы для крестьянства, а в них больше заботятся о податных единицах, как бы там они себе ни назывались, и потому в именах и фамилиях большая путаница.

По русским ревизским сказкам у помещика Бобруйского уезда Иосифа Вищинского, по деревне Косаричи, за 1834 год показана такая семья:

Ничипор (Никифор) Богданович — 64 лет. Сын его Кузьма. Пасынок Ничипора.

Степан (умер в 1826 году).

Сын его (Степана) Змитер (Димитрий) и Лукьян — 27 лет. Его (Лукьяна) сын Фронка, и конец.

Лукьян — это мой дед, а Фронка дядя. Степан — прадед, а Ничипор Богданович, глава семьи, предок — эпоним,

передавший фамилию Богданович своему пасынку Степану, который по отцу мог называться Скокличем. Отсюда двойственность в исповедных ведомостях и других церковных документах: то Богдановичи, то Скокличи.

Гражданские документы этой путаницы не знают: там сплошь Богдановичи.

Предок-эпоним Ничипор, по словам моего отца, был бондарь по ремеслу, т. е. бочар, и хороший бочар: большие дубовые чаны в панском броваре (винокуренном заводе) и бочки в подвале были его работы и моего прадеда Степана, который занимался тем же делом. Ясно, что это была безнадельная или малонадельная семья из дворовых: работали на двор и для собственного прокормления.

— У яго залатые рукі! — говорят у нас про бондаря, — што ні вядро, абы даёнка[15], то грывенік[16], а то й залатоўка[17], а за цэбер (ушат) и два злотых. Так не без зависти говорят хлеборобы, которым редко попадала деньга в руки.

Ну, кажется, довольно этих генеалогических изысканий: до Ничипора-имедавца добрались — от него идет фамилия Богдановичей, может быть, и не совсем по праву доставшаяся моему прадеду Степану. Мне и моим детям выпало на долю сделать ее более известной, во всяком случае, далеко выходящей за пределы узкого косаричского круга.

Дед Лукьян, в качестве садовника, был форменным дворовым и ничем больше. Числился по селу Косаричи, но принадлежал к помещичьему «двору» (усадьбе) Рудобелке[18], в нескольких верстах от Косарич, как мы видели, пана Юзефа Вищинского, генерала войск польских.

Когда, с падением крепостной зависимости, дворовым пришлось искать неверных заработков на стороне, в городах, мой отец, сопоставляя прошлое с настоящим, не без зависти и досады, говорил:

— Чаму майму бацьку было ня жыць? Якій яму быў клопот (заботы)? Ніякого клопоту не знаў: на ўсём гатовым. Рабі сабе дзяцей — дый годзе! На ўсіх андынарыя[19] ішла с панскаго свірна (амбара). Яму андынарыя, жонцы андынарыя і на дзяцей андынарыя (иначе — месячына). Пуд мукі і пуд прыварку; круп — ячных, просяных, абы грэцкіх — аўсянай мукі на кі-

сель ці бліны, а акрасы 2 фунты сала ці алею[20] і 2 фунты солі. Радзіўся дзяцёнак — прыбыль: і на яго ідзе месячына, праўда, малая, удвое абы утрое меней, алі хватала і навэт аставалася. Карову трымалі ў панскім стадзі, свіней кармілі, куры свае — чаго яшчо трэба?

Грошы мало плацілі, а на адзёжыну хватало. І так-сяк — хватало на кварту[21] гарэлкі ў нядзелю. Гэто ўжо безпрыменна: без гарэлкі — што ж за свята? І чаго іна стоіла, гарэлка? Тры капейкі кварта (это в 30-х — 40-х годах). Патом ужо стала дзесятка (10 грошей[22] — пять). Ай, як дорага! — гаварылі. Ато пойдзеш к падвальнаму, чаго-нібудзь яму паднясеш, там пяток яечак, кусок сала, ці што, — ён табе і нацэдзіць поўны лівер у пляшку. Піва, гарэлкі было, як вады. Хто там яе мерыў? Ат, вядома, рука руку мыла... По словам отца — дед таки любил выпить по праздникам, и в корчме посидеть, музыки послушать и с людьми побалакать.

Выпивши, впадал в наставительное настроение, в проповеднический тон: читал нотацию и примеры давал, как надо жить. Богу служить и людям угождать. Я себе это ясно представляю, ибо и отец мой, хотя водки не пил, но взамен пил мед и изюмное (разынкавае) вино или пиво, и под хмельком любил меня наставлять на путь истинный длиннейшими проповедями. Я почтительно молчал — и не слушал их. А жаль — много поучительного прошло мимо моих ушей. Так вот, значит, Рудобелка, где мои предки 6 дней в поте лица работали, а седьмой, сходив в церковь и воздав должное Господу, а затем угождали грешной плоти в корчме или дома, чинно за столом.

Рудобелка — лесное имение. Местность там редко населенная, но леса бесконечные. Сколько там разного зверя водилось! Лесной и водной птицы! Лоси, кабаны, сарны (дикие козы), медведи, волки, лисицы, куницы, хорьки и пр. Охота была богатейшая и по-видимому имела промышленный характер, ибо, по словам отца, какая-то французская охотничья компания снимала там охоту с промышленными целями. Часто в лесу встречались целые выводки поросят — рудых с черными полосками, так что я — говорил отец — кнутом их стегал.

Змей, особенно ужей, тоже много. Отец как-то говорил:

— Раз я напаў на цэлый клубок змяёў: растаптаў іх нагамі.

Много я наслышался рассказов о домашних ужах, которые выползают лакать молоко с ребятами на полу, и как ребята их ложкой по лбу отгоняют. Но что-то уж очень много этих рассказов «с ложкой по лбу», чтобы быть им достоверными.

Но главное богатство имения был лес. Из него строили барки на Птичи, делали клёпку[23] и грузили в барки и гоняли плоты по Птичи и Припяти, в Кременчуг и даже в Херсон, через пороги. Лавреин — войт был самым искусным строителем барок, и он же водил барки и плоты чрез днепровские пороги — всегда удачно, — такой был искусник. Это было в 40-х и 50-х годах. Но, по-видимому, и в последнее время имение эксплуатировалось как лесное: туда проведена из Бобруйска железнодорожная ветка, которая кончается в Рудобелке.

Впрочем, запашка, видимо, велась значительная. В имении были крупные винокуренный и пивоваренный заводы. Они, надо думать, составляли центр хозяйства, ибо с ними была связана выкормка быков на барде[24] и выкормка свиней.

Все это солилось и коптилось впрок, шло в значительной части для личного потребления и приема гостей, на прокорм многочисленной дворни, а излишки сбывались в крупные центры, каким был Киев для этого края, связанный водным и грунтовым путем, куда обычно паны отправлялись «на контракты» (Киевскую ярмарку) для продажи сельскохозяйственных продуктов и закупки разной бакалеи, мануфактуры и прочего в запас, особенно того, чего нельзя было достать на мелких местечковых и уездных рынках.

Как я уже говорил, отец находил, что его семье жилось неплохо «за панами». Он даже был склонен идеализировать эту жизнь, сопоставляя ее — сытую и обеспеченную — со своим последующим, далеко не обеспеченным существованием, когда нередко сегодня не знали, что вложить в горшок завтра. Но это дело оценки. Меня же интересуют факты. Кое-какие, и притом характерные, сохранились в моей памяти из его рассказов.

Насчет воспитания дворовых он говорил:

— Якая майму бацьку была забота насчет выхованьня дзяцей? Усё пан кіроваў, як яму хацелася. Дарма панскаго хлеба есьці не будзеш.

Усё, бывала, ідзець своім пайстком[25]. Мяне з пяці год ужо застаўлялі панскіх гусей пасьці. А там целят, парасят, а там і свіней у падпасках ганяць. Так я ўсю гэту навуку прайшоў.

Гэта нічога: работа лёгкая; толькі трудно было ўставаць рана. А вот, калі мне было 10 гадоў, казаў пан атдаць мяне к краўцу ў навуку. Ну, тут я ня выцерпеў: уставай рана, лажысь позна. Ён сядзіць, шыіць, а я яму лучынай свяці. Ды, глядзі, каб роўна гарэла, каб ня дыміла. Сядзіш гэта ранкам і вечарам, носам клюеш... А ён за віскі як дзёрніць... Ну, тут усхопісься, слёзы пасыплютца. Ня вытрымаў-такі — і даў драла дамоў. Лепей свіней пасьціць ды ў жалейку іграць.

Дома, звесна, высеклі. Алі бацька стаў пана прасіць, каб мяне ў кухцікі[26] атдаць. Так пан і зрабіў, — і пашоў я на кухню к Станіславу ў навуку.

— Часта мяне малога секлі. Бывала, звернісься на лаўцы в абаранок, заснеш, а бацька рамнём сцібанець:

— Як ты лёг, сукін сын, задам к абразам.

Паравернісься ў другую старану — і то неладна: там цэрква стаіць. Ну, гэта пустое — раз-другій рамнём перэцягнуць. А вот раз, помню, дужа мяне сільна секлі.

Было вялікодня. Еў я свянцонае — косьць сабацэ кінуў. Божа мой — што тут было! Бацька і матка як ашалелі: крычаць не сваім голасам, кінуліся косьць атбіраць. Я спужаўся — і ня ведаю, што рабіць. Косьць-такі атабралі і к другім касьцям палажылі, каб на Юрья закапаць у руні.

А тады за мяне прыняліся. Звізалі два пучка розаг. Палажылі мяне на ўслон удовуж. Вяроўкай прывязалі. І давай сеч па голаму целу, бацька с адной, а матка с другой стараны. Здорава тут усыпалі. Секлі, пакуль кроў не паказалася. Патом доўга я пачосаваўся.

Это, конечно, было ритуальное наказание, своего рода религиозный акт, чтобы отвратить неминучее бедствие от виновника и от всей семьи, которая не внушила, как надо обращаться со святыней и допустила такое кощунство.

Воображаю, как были напуганы мой дед с бабой Ариной. И воображаю, как они усердствовали во искупление греха. Но не могу не заметить, что все же они действовали непоследовательно: грех семейный, результат плохого воспитания, — и надо было начать с самих себя.

Но в этих случаях воспитатели предпочитают быть непоследовательны.

Была сделана паней попытка обучить мальчика грамоте, разумеется — польской. Зачем это понадобилось? Был ли это народнический романтизм, в это время обозначившийся в польско-белорусской интеллигенции, или практический расчет? Но какой? Самое вероятное, чтоб «по ксёнжцы мог Бога хваліць». Стало быть — для спасения души — и своей, и панской. Такая мотивировка панской затеи была бы всего более понятной и родителям мальчика.

Но ничего из этого не вышло.

— Вазілі мяне два разы ў нядзелю, — так говорил отец, — на валах-паловых с шырокімі рагамі — з Касарыч у Рудабелку к паненкам сдаваць урокі. Паненка былі так ужо — на ўзросце, адной гадоў 14, другой пабольш. Сядзіш у крэсле. Тут лакеі, пакаёўкі[27]... Накормюць, гэрбатай[28] напоюць. Потым у пакоік да паненак пазавуць. Вучылі мы гэтае абецадла ўсю зіму. А, бэ, цэ, да, ікс, ігрык, зет... То одна, то другая занімалісь, то разам абедзві. Плоха гэта мне давалася... Чорт яго там разбярэць — які там ігрык, які там зет. Яшчэ як па парадку — так сяк; а як пойдзець на выбар — ну і сбіваесься. Часта яны мяне цалавалі. Старшая, як толькі мяне прывялі: «Які, — кажа, — ладный хлопчык!», — пагладзіла па галаве і пацалавала. А я яе ў руку пацалаваў. І малодшая тож: «Які ладный хлопчык!» і тож пацалавала. І, так яны мяне часта цалавалі. У жмуркі, у кулюкушкі гулялі з дзевачкамі пакаёўкамі.

Пані, бывала, зайдзіць у пакоік, спытаітца: ну, як ён?

— А ніц собе, мамуню, юж добже слібізуе [29]! Так на гэтым слібізыванню я й затрымаўся...

Дужа іна мне патрэбна, гэтая грамата! Плевать я на нее хотел!

Это говорилось с сильным подчеркиванием и говорилось неоднократно. Вначале, может быть, оно было искрен-

ним убеждением, обычным у крестьян тогдашнего времени, но впоследствии смахивало на «зелен виноград», ибо отец питал к книге, к чтению большую любовь и высоко ценил науку и ученых.

Просто — не смог преодолеть трудности механизма чтения по нелепому методу преподавания и притом нерегулярного, с перерывами. А что мужику грамота не нужна — это было общим мнением и в верхах, и в низах.

Надо заодно сказать, что новый пан Лапа в конце 50-х годов, уже в Холопеничах, тоже посылал отца учиться в дворовую школу (тут расчет понятен: чтобы мог читать гастрономические рецепты и применять к делу), но отец, парень взрослый, лет 20, предпочитал ухаживать за девицами в свободное время, а не учиться. На этой почве у него вышло столкновение с учителем: учитель был избит, и ученик бросил школу, несмотря на панскую угрозу высечь.

Так он и остался при одном кухонном деле, куда был сдан по выучке абецадла.

Тяжела работа повара, а еще тяжелее «кухціка», поваренка. На нем топка плиты, печей, мытье и чистка посуды, чистка овощей, фруктов, очистка птицы от перьев, поросят от шерсти, потрошение и чистка рыбы, снимание шкур с дичи, свежевание битых животных, рубка мяса, сбивание белков, сливок, верчение мороженого, беготня из кухни в кладовую к охмистрине[30] из кладовой в погреб, на ледник, — в жаре, в духоте, в кипучей работе, требующей бдительности, сосредоточенного внимания, иначе — там перестоится, там перекипит, там пригорит и за всякий недосмотр влетит от кухаря затрещина, а то и больше. Надо рано вставать и поздно ложиться — и все время на ногах, в беготне. Каторга, а не работа.

Однако отец от нее не сбежал. Надо думать, что кухонные лакомства соблазнили и привязали к делу.

Кухонные — «абархайки» (технический термин, означающий разные обрезки, остатки, ну, и то, что можно отложить к сторонке, оставить на противне и пр. для личных целей), — так эти «абархайки» кого ни возьми — соблазняли и придавали их обладателю особое значение. Абархайками — печеньем, миндалем, изюмом — всего легче ублажать

деревенских красавиц, и даже соблазнять, по меньшей мере, на поцелуй.

Подкармливая жирным, вкусным, сладким, пахучим войта Лавреина или подвойта Павла, которые по панскому велению или по собственной инициативе (в отношении пригонщиков) производили экзекуции, можно было не бояться никаких наказаний.

Подкармливая старшего фурмана[31] и конюхов (изредка) можно располагать верховыми лошадьми для тайных поездок (ночных) на ігрышча і кермашы[32], — самое разлюбезное в жизни.

И многого другого можно было добиться, ибо всех привлекали соблазнительные запахи кухни. А чтобы на всех и на все хватило, надо уметь угождать пани охмистрине или уметь обойти ее, обморочить, торговаться, представлять резоны и, при случае, хватать побольше. А уж что из кладовой ушло, то дело повара.

Дело, видимо, пришлось по нутру батюшке, и он с успехом проходил выучку у старых искусных поваров.

Как я уже сказал, в конце 40-х годов имение Рудобелку купил пан Александер Лапа (пишется: Лаппо, но это шляхетское стремление скрасить невзрачную предметную фамилию, чтобы она казалась более замысловатой), у доброй пани Вищинской. Лапа, судя по всему, что я о нем знаю, был большой делец, человек предприимчивый, в 50-х годах губернский маршалок (предводитель дворянства). Он да секретарь дворянства Гаусман немало состряпали дворянских документов, за хорошие деньги, мелкой шляхте, судя по самому красивому зданию в Минске — каменице Гаусмана, в которой десятки лет помещалось общественное собрание, по Подгорной, против бульвара.

Пан Лапа, в качестве маршалка и притом губернского, должен был иметь хорошую кухню и в городе, и в деревне: это вековая традиция, требование добрых нравов. И потому должен был подготовлять хороших поваров и притом — про запас, для больших оказий.

В качестве дельца, он стремился использовать человека, ему подверженного (подданного), с разных сторон и в разных направлениях.

Так, в числе других, он посылал моего отца изучить маслобойное и пивоваренное дело, а также для усовершенствования в поварском деле или, если хотите, искусстве, он посылал его на год на кухню пана Булгака, не знаю какого, но, очевидно, знаменитого гастронома.

Так что из отца к 20 годам вышел хороший повар.

На отборной еде он раздобрел, развил грудь и мускулатуру и был человеком необычайной силы (брал на плечи 20 пудов[33]), а нравом — неукротимый, вспыльчивый, но и отходчивый, и крайне буйный. Характеризую его так потому, что я слышал из его рассказов о разных происшествиях в ранней молодости и что я наблюдал в детстве.

Трудно понять, как могли рождаться на почве крепостных отношений такие гордые, с повышенным чувством личности, с огромным самолюбием, и неукротимые натуры, которым все нипочем, ничего не страшно. Но это было так. Видимо, наследственные задатки и особенности все превозмогают, и характер всегда остается самим собой.

В моих сестрах Магдалене и Павлине он чувствовал гордый и властный дух и потому их больше любил, нежели меня: я далеко не в отца пошел.

Из рудобельской поры его молодости я помню, по рассказам, один жестокий эпизод, который мою сердобольную мать и меня смущал и печалил.

Надо сказать, что молодость, здоровье, недурная внешность, а на чей взгляд и красивая, уменье ловко плясать под живые или задористые припевки, в соединении с пряниками, миндалем и изюмом и всем прочим, наконец — «золотые руки», все может, все умеет, обеспечивали ему верный успех у девиц всей рудобельской округи. Он знал, где кирмаш, где фэст, где игрище[34], где гулянка, как и другие молодые люди его возраста. Соперничества он не допускал и, по звериному закону предков, соперников он избивал немилосердно. Игрищ не пропускал, — хоть ночь, да моя, — а для скорости проезда и возврата, задобрив кучера, пользовался панской конюшней.

Так вот отправился он весной на игрище где-то в районе Глуска верст за 20. Возвращаясь назад, остановился он в корчме на пути попить пива: после неистовых плясок жажда

томила. Привязав верховую лошадь в стодоле[35], лучшую из панской конюшни, он вошел в корчму, где застал одного ночлежника, как оказалось, «кульгавого»[36], лежащим на лавке.

Услужливый корчмарь и не в урочный час подал пива. Он выпил, и, истомленный, склонившись на стол, задремал.

Проснувшись, он заметил, что кульгавого уже нет. Бросился к коню — нет и коня.

Но след показал направление — куда надо бежать. Сбросив с себя сапоги и верхнее платье, с одной плетью в руке, он бросился бежать во всю прыть по следам. Впереди было значительное село, и кульгавый свернул в сторону по лугу, оставляя ясный след по росе. Вскоре он заметил в кустарниках и всадника, пробиравшегося к лесу. Пустившись во всю мочь, он неистово закричал: «Стой, злодюга! Стой!» Лошадь в кустарниках запнулась, и кульгавый слетел с коня, но, вскочивши на ноги, стал удирать в лес.

Тут бы я и поставил точку. Кончено дело: взял бы коня, сказал спасибо, что легко большой беды побыл.

Но не так поступил мой отец. Оставив коня, он бросился догонять вора.

Условия неравные: один хромой, а другой — молодой, сильный, разъяренный. В результате: «З разбегу як даў яму ў вуха, дык ён, як бульбіна, і пакаціўся». Но это не все: он стал полосовать плетью свою жертву.

И это не все: скрутив ему руки его же поясом, он отвел его в Глуск к властям. Протокол и все прочее. Тогда вернулся домой.

Все обошлось благополучно для отца, и думаю, скверно для кульгавого.

До точки я слушал рассказ, сидя в сторонке, с захватывающим интересом.

Но расправа меня ужасала. Ужасала и мою добрую мать. Тут у нас были одни чувства и одинаковая оценка фактов.

—Ая-яй! Як шкода чылавека, — говорила она: за што ж ты яго біў, ды яшчо беднаго, кульгаваго, павалок к начальству?

—Як — за што? — твердо и непреклонно, уверенный в своей правоте, возражал отец: — О-го-го! Ён будзе коні

красьць, пад кару мяне падводзіць ды і фурмана, а я яго па галоўцы гладзіць! Іш якая ты разумная!..

Для матери было ясно одно: опасное приключение кончилось благополучно. Ну, и довольно. І дзякуй Богу! Это голос доброго сердца, голос благородства, которое не допускает мести падшему врагу.

В отце говорил исконный голос мужика, который беспощаден к конокраду. Отец действовал по обычному мужицкому правилу: избить конокрада (это ему возмездие), а затем к начальству представить. Это так себе, — форменный, но ненужный придаток.

— Што там яму будзе! Пасядзіць, пасядзіць на гатовых харчах, ды і выпусцяць.

Все мое сочувствие было на стороне матери, впрочем, как всегда, — и мне от души было жаль кульгавого. Но отец был твердо уверен в своей правоте, и думаю, что он никогда не покаялся в своем жестоком поступке.

Впрочем, одно дело быть на его месте, с теми усилиями, раздражением, представлением последствий, а другое — спокойно судить о происшедшем.

Других ярких происшествий из рудобельского периода в жизни отца не помню.

Были многочисленные рассказы про охоты соседних панов, но в то время это было обычное дело, так что писать о нем не стоит.

А самым важным было то, что в начале 50-х годов пан Лапа купил местечко Холопеничи Борисовского уезда у графа Хрептовича.

Это имело важное последствие для холопеничских крестьян, которых новый пан тасовал, как карты: одних переводил из Холопенич в Рудобелку, а других из Рудобелки в Холопеничи, в том числе и моего отца. Последнее повело к женитьбе этого неукротимого чумака на моей матери, а стало быть, обусловило мое появление на свет в той форме, в какой я есмь и пребываю.

Словом, тут начинается коротенький период смешанной Рудобельско-Холопеничской истории, к которой я приступаю.

Но нам надо сначала ознакомиться с Холопеничами и их прошлым.

ХОЛОПЕНИЧИ ДО «ВОЛИ»

Итак — Холопеничи[37], в которых я появился на свет. Это местечко, служащее маленьким торговым центром для округи верст в 15—20, куда сбывали продукты своего труда крестьяне соседних деревень (хлеб, лен, дрова, лучину, скот, птицу), и запасались здесь «крамным, или кромным» (лавочным) товаром для удовлетворения своих несложных потребностей (соль, олей, деготь; посуду глиняную, жестяную, деревянную; кое-какую мануфактуру и простейшую галантерею), где удовлетворяли свои потребности в ремесленном труде: кузнечном, сапожном и портняжном; где питали всласть свои религиозные чувства — в церкви или костеле; и где напивались водкой, медом, пивом — в панской корчме и в бесчисленных мелких, беспатентных шинках.

Холопеничи, как увидим, были немаловажным и культурным центром.

Теперь немножко географии и истории.

Название Холопеничи я объясняю не от «холопа» или «холопов», ибо что же это за отличие в стране, где сплошь холопы, а от речного, озерного или болотного имени Холопея. (Холо или Голо — значит, вода, озеро, *пея* — значит, река, всего вероятнее, по-скифски: скифы называли реку — *пай, пой*). Так, по-видимому, называлось в древности озеро, а потом обширное болото, из которого в 4—5 верстах берет начало река Иса, она же Еса и Эсса[38]. Есть река Холопея — приток Днепра.

Местечко раскинулось на возвышенности, слегка взволнованной и своими впадинами или «логчинами», соединяющейся с тем же лежащим к востоку болотом, как будто его заливами или притоками, куда стекает дождевая и снеговая вода, питающая то же болото.

Таких ложбин несколько: на севере, в версте от Холопенич, «Камяный лог», напоминающий широкий овраг с довольно крутыми берегами, действительно густо усеянный крупными и мелкими валунами; между усадьбой и местечком

более широкий лог без названия; через местечко проходит, разделяя его на две части: чисто крестьянскую и Торговую, или ремесленную, почти исключительно еврейскую часть, еле заметный ложок, по которому весной течет ручей; и на юге за местечком «Лубяный лог», в котором, по преданию, обитал когда-то змей, а в мое время зеленела великолепная «Макаровская пуща» или Макаровка: дуб, клен, ясень, рябина и масса орешнику, где так звонко и весело аукались, перекликались дзяцюкі і дзеўчаты, собирая орехи или ягоды — малину и смородину.

Это легкая возвышенность, на которой расположились Холопеничи, надо думать, довольно высокое место над уровнем моря, ибо оно является водораздельным гребнем двух мощных бассейнов — реки Березины и Двины, стало быть, бассейнов Черного и Балтийского морей. Дело в том, что на запад от Холопенич, верстах в 2-х, берет начало река Нача, приток Березины, а Иса входит в систему Двины. В 50 верстах от Холопенич, близ Лепля, прорыты каналы, соединяющие Березинскую и Двинскую системы.

Сохранилось предание, верно угадавшее далекую в прошлом действительность.

— Тут было возера, — говорила баба Рузаля, — бальшое возера: — на ўсё балота. А «вір»[39] (источник) яго быў там, дзе пляц Ждановічыхі (впоследствии Захара Котлярчука). І рэчка тут пала ў возера, што цяпер вясной цячэ із Якімоўскаго лога руччом. І была такая варажбітка, што на рэчах зналася (знала загаворы). Іна загаварыла вірніка[40] і вір гарохвінамі заткнула, дык возера і знікло.

Что было озеро — это верно. Но предание его не могло помнить. Это удачная геологическая догадка, которую подсказывал застой вод на болоте до его осушки.

Здорово здесь ледник поработал: нашвырял, опорожняя свою мощную утробу, возвышенности из песку и глины, богатые валунами, и вырыл многочисленные озера, частию превратившиеся в болота. Здесь именно начинаются те бесчисленные озера, которые так испещрили Витебщину. Здесь же — к востоку за болотом реки Исы лежит озеро Селява, несколько дальше, в верстах 15 — Черея и на таком же

расстоянии, но севернее, Лукомльское или Лукомля; все это значительные озера, верст 10—12 в длину и 4—5 в ширину. Озера рыбные, особенно Селява, которая славится мелкой рыбешкой, вроде снетков, по имени озера зовущейся селява. Эти странные названия: И-са, На-ча, Холо-пея (приток Днепра), Че-ре-я, Се-ля-ва, Луко-мля, Во-бра — мне кое-что говорят о древних и древнейших насельниках речных и озерных побережий.

Прежде всего я вижу, что население состояло из разноязычных и разноплеменных ватаг и бродников. Преобладали западно-финские племена, называвшие воду *са* и *я* (Иса, ре-я, мля); затем была «весь» или «чудь» заволоцкая, которая вместо *са* и *ца* произносила *ча* (На-ча, Ча-рея); оставили свой след вотячи или пермячи, называвшие воду *ва* (Се-ля-ва), но этого элемента было весьма мало; и, наконец, арийские или западноевропейские элементы — кельты, литовцы, латыши, называвшие воду *ра* (ре-я и боб-ра), *ба* и *на,* а озера Гола, Хола. О пребывании литовцев свидетельствует название близкого селения Латы-Го-личи[41] (Латы-гола или летописное Леть-гола).

Словом — порядочная племенная каша, как, впрочем, и всюду в Беларуси.

А где же славяне? Они образовались позднее, в ряде столетий, из разного рода насельников, связанных между собою общностью водных дорог, образовав общий язык из этого разноязычия, как, впрочем, и другие великие народы. Этот сборный характер не мешал преобладанию тех или других племенных и расовых элементов. Где реки и озера — там и люди. Здесь мы имеем целый ряд местечек, при озерах и реках, в верстах 20—25, к востоку от Холопенич, вроде их же, как Бобр, Черея, Лукомля; а подальше в 50 верстах бойкое местечко Чашники при Уле (Вуле) реке, и еще дальше, на самой Двине, — Бешенковичи, которое для всей этой округи имело первостепенное торговое значение, как место сбыта товаров, в Ригу идущих, — льна, пеньки, пшеницы, ржи и овса, льняного и конопляного семени, — и закупки на знаменитой в крае бешенковичской ярмарке, куда наезжали рижские и заграничные купцы, длившейся около месяца (с 29 июня по 27 июля). В 50-х годах товару привозилось свыше чем на 600 тысяч рублей, а продавалось тысяч на 200, на 250.

Озера и устья рек с глубокой древности должны были иметь население: это является точно установленным.

И самым древним исторически из этих мест является Лукомля: о нем упоминается в летописи под 1096 годом, когда Владимир Мономах, в отмщение Полоцкому Всеславу, сжегшему Смоленск, «тем же путем по Всеславе пожег землю и повоевав до Лукамля и до Логожска» (Поучение). Отсюда видно, что Лукомля принадлежит к стариннейшим городам края и был сильно укреплен, так что в 1386 году литовский князь Андрей Ольгердович мог овладеть им после долгой осады и отчаянного приступа.

Была, значит, у него кровавая история. Но всего более он пострадал от русских войск, которые в 1563 году (это при Грозном) сожгли Лукомлю, а жителей взяли в плен.

Куда их поселили? Трудно сказать. В Архангельской губернии есть две волости, населенные белорусами. Это насельники со времен Ивана Грозного, который окраинных князей с их крепостными селил на севере, у Кубенского озера и далее к северу. Вероятно, лукомльские пленники в числе других пленных белорусов и были поселены на дальнем севере. Известна так называемая Мензелинская шляхта и в Нижегородской губернии Лукояновского уезда, целый ряд селений (Новая Слобода, Василев-Майдан, Дубровна, Прапевка, Малиновка, Елфимов-Майдан), где в 1869 году, по Русинову, было около 4000 душ обоего пола. Там они известны под именем «панов» и «будаков». Но это поселенцы в вотчине боярина Морозова, т. е. времен Алексея Михайловича, тоже военнопленные. Они до последнего времени говорили по-белорусски и одевались по старине, особенно женщины. Совсем белорусская повязка платков и старинные шнуроўкі и «катанкі», т. е. каптанкі[42]. Я им распределил Кочубеевские земли (14.000 десятин). Короленко об них много пишет в своем «Голодном году»: характерно, как они «бунтовали лежа», отказываясь от наделов и выкупных платежей. Так выдержали характер мои земляки: ничего не платить, несмотря на неоднократную порку и насильное принуждение пахать землю.

Как-нибудь я думаю заняться вопросом о белорусских переселенцах, а пока надо продолжать начатое.

В начале 60-х годов по географическому словарю Семенова в Лукомле значилось 147 дворов и 861 душа обоего пола, в том числе 413 евреев.

Это совсем мало для бывшего стольного города удельного Лукомльского княжества (в XV и XVI веках). Крупное местечко Бешенковичи: в нем в то же время было 4638 душ: 2500 евреев и 2138 белорусов, православных и католиков. Гостиный двор большой: 60 лавок. Это крупная доходная статья помещика: местечко, как все остальное — владельческое. Известно оно с XVII века и принадлежало белорусским магнатам Сапегам, потом Огинским и наконец Хрептовичам.

Чашники, на реке Улле, входящей в состав березинской системы, еще крупнее: в нем 5135 душ и 575 дворов: это похоже на уездный город средней руки. В XVI веке оно было укрепленным и упоминается в войнах России с Польшею, шведами и французами в 1812 году: все они почему-то считали Чашники важным стратегическим пунктом.

Местные крестьяне прекрасно знают Двину и нанимаются лоцманами для провода судов в Ригу[43]: народ бойкий и бывалый, те же бешенковцы, которые славились торговой предприимчивостью. Между прочим, по ярмаркам они возили огромные возы мелких бубликов, мотками (бешенкоўскіе абаранкі), — лучший подарок детям с кермашу: можно покрасоваться, одев на шею, как бусы, и поедать один за другим.

Только в Молодечне такие пекли. Шесть коротких ярмарок было в Чашниках.

Черея — ближайшее к Холопеничам. В XV веке удел князей Пеструцких, а потом принадлежало Сапегам.

Дворов в нем 268, а жителей 1806, в том числе 1130 евреев. В нем 30 лавок и еженедельные базары. До сих пор не забуду прекрасного Черейского пива, пенистого, искристого, вкусного, так приятно щекотавшего небо, и хмельного, но приятно охмеляющего меду, который возбуждал веселость, не дурманя головы.

Был там крупный монастырь, а в нем помещалась школа позднейшего типа уездных училищ.

Холопеничи мои меньше всех: в нем было в 1860 году 143 двора и 790 душ обоего пола. А в 1928 году насчитано:

хозяйств крестьянских 189 и еврейских 217, всего жителей 2030, в том числе мужчин 981, женщин 1049, т. е. за 68 лет население увеличилось в 2,5 раза (2,57), несмотря на отлив на сторону и единицами, и целыми сотнями.

Не было при нем ни озера, ни крупной реки, которые бы служили для него промышленной базой. Основной промысел его округи было сельское хозяйство и в нем да в упомянутых близких местечках совершался товарообмен.

Я слышал от старших, что мой двоюродный дед Винцесь Лисовский, наши родичи Онуфрий Порецкий, Августын из Копачевки, и выученик моего деда Томаша по портняжеству Игнацый Трыпуцень были завербованы в эту школу (типа уездного училища. — *А. В.*) еще в сороковых годах, т. е. при владельце Хрептовиче.

Но ничего путного из этого не вышло. Один только Онуфрий Порецкий окончил школу и служил впоследствии всю жизнь конторщиком у Хрептовича в Бешенковичах. А с остальными зиму промаялись, пороли по субботам, но хлопцы изловчились и подшили себе под штанишки толстую подкладку, вроде подушечек, а так как секли по штанам, а не по голому телу, то порка была не чувствительной. Только надо было кричать погромче и пожалобней. Ко всему приспособиться можно, но только бы избавиться от ненавистного абецадла. Я положительно знаю, что ни Винцесь, ни Августын читать не умели. По-видимому, умел читать Игнацый Трыпуцень, ибо исправно по воскресеньям гнусаво пел на клиросе в церкви: это придавало вес и значение, выделяя из общей безграмотной массы. В той же школе учились два брата-сироты — Базыль и Янутка Папковы. Первый потом обучался выделке кож и имел свою кожевню на Горовой улице, а затем был много лет волостным старшиной, а Янутка был даровитым художником, но об этом погибшем таланте я буду говорить особо.

В той школе, позднейшей, в которой я учился, были парни, просидевшие за скамьей 5—6—7 зим, еле научившись кое-как читать. Бывали и случаи впадения в рецедивизм безграмотности — разучивались.

Школа, ясно, была скучная и тяжелая. Преподавание шло на польском языке, хотя и понятном, с грехом пополам,

белорусу, но все же не родном и даже смешноватом, хотя на нем и говорили паны.

Как-никак, а наличие учебного заведения в местечке придавало ему особый отпечаток, несколько поднимая его культурный уровень, а главным образом, внедряя дух клерикализма и вкус к религиозным вопросам и словопрениям, особенно в тех из обитателей, которые ближе соприкасались со школой и костелом, игравшим более деятельную роль, чем униатская, обращенная в православную, церковь. И внешний вид местечка получал более внушительности и импозантности.

Школа помещалась в его центральной части между церковью и костелом, выходя фасадом на довольно обширную базарную площадь, там, где впоследствии устроился Моська Горелик, торговец льном, и старовер Митрюха-синельник. Это значит набойщик и красильщик полотен и ниток.

Я помню эти «гмахі»[44], эти «муры»[45] и «камяніцы»[46]. Это были три каменных здания, крытых гонтом, два двухэтажных и одно, среднее, трехэтажное, расположенные в виде буквы «П», с двором посередине. В 60-х годах они уже пустовали. Полы и потолки были разобраны, в выемках для балок гнездились без числа воробьи, и мы, мальчишки, поднимая на плечах друг друга, бесцельно и безжалостно разоряли воробьиные гнезда, под неистовый крик тревоги бесчисленного пташества, гулко отдававшийся в пустых стенах. Вторя воробьям, мы также наполняли гамом пустые стены, чтобы насладиться отзвуками наших голосов в разных тонах.

В главном здании, очевидно, были классы, а во флигелях — общежитие для учеников и преподавательского персонала.

Эта каменная группа, наряду с церковью и костелом, а затем — кляштором[47], ранее монастырским общежитием, по контрасту с невзрачными крестьянскими хатами в большинстве под соломенными крышами, редко крытыми дранкой (драніцамі), должны были производить величавое впечатление и недосягаемо затмевать и обширную корчму, выходящую на базарную площадь в противоположном конце, на углу Чарейской улицы, и дома немногих еврейских богатеев, более обширные, в четыре, пять комнат, но сплошь деревянные и одноэтажные.

Эти «муры» почему-то считались принадлежащими к «панскому двору» (может быть, в свое время и были построены Хрептовичем, в счет платы в эдукационный фонд) и в 60-х годах постепенно разбирались на кирпичи для нужд экономии и для продажи на сторону на печи. К концу 60-х годов на месте этого очага культуры, имевшего наряду с отрицательным (клерикализм, польщизна) — и положительное значение (грамотность, начатки естественно-исторических знаний), высились обширные груды щебня и мусора.

Мой отец при постройке второй избы долго рылся в мусоре, пока добрался до остатков стены, чтобы набрать кирпича на печку. Какой был превосходный кирпич,— увесистый, звонкий, хорошо обожженный. Внизу попались целые плиты, в три кирпича, которыми великолепно был выстлан «под» в печке искусным муляром[48] Михалютой.

Так как место было бойкое, при базарной площади и между церковью и костелом, где всегда собирается народ, то предприимчивые люди, как Моська Горелик, Вульф Пинхус, Митрюха, использовали его под усадьбы (теперь в одной из них помещается комсомол), частью расчистив от мусора, а частью засыпав его землей.

Рядом с этим местом на гигантских липах помещались гнезда аистов, как своего рода священных птиц — фетишей и хранителей местечка. А под их священной защитой, в многолетних наслоениях хвороста для починки гнезда, присоединились воробьиные гнезда, вне пределов досягаемости даже самых ловких из моих товарищей-мародеров. Этих лип-великанов давно уже нет, и на их месте, рядом со старой школой, воздвигнуто здание семилетки там, где был старый костел и кляшторный сад, от которого уже давно следов не осталось. Старая церковь и костел — деревянные — сгорели еще в конце сороковых годов. Церковь построили каменную, а под костел приспособили часть кляшторного здания.

Вообще северная часть местечка, близкая к «двару» панской усадьбы, выгодно отличалась от центральной торговой или еврейской и южной крестьянской — своими фруктовыми садами, защищенными от ветров аллеями старых лип и елей.

Здесь стояла довольно обширная больница, построенная еще при Хрептовиче, с доктором Павелок во главе и двумя или тремя фельдшерами. При ней же обучались 2—3 мальчика фельдшерскому делу.

А рядом с больницей стояла школа, построенная паном Лапой, деревянная, далеко не столь импозантная, как старая. В этой школе я родился и впоследствии, в качестве помощника учителя, обучал два года ребят. Как будто место рождения определило мое назначение: в сущности, всю жизнь, хотя занимался я разными профессиями и занимал разные должности, — я был учителем.

Эти два здания менялись ролями. В начале 60-х годов больница была закрыта и в ней поместили школу, ибо прилив учащихся был столь широкий, что прежнее здание было недостаточным. В нем поместили канцелярию вновь открытого волостного правления. Затем в 70-м году поменялись местами: правление поместили в больничном здании (надо было более обширное помещение под квартиру пана писаря и его помощника), а школу перевели на старое место.

Теперь (1928 г.) в ней, перестроенной, помещается райсовет и исполком.

К этим зданиям примыкал значительный сад с великолепными еловыми аллеями: ни того, ни другого следа не осталось.

Напротив был сад наших дальних родичей Гласовских, прикосновенных ко двору: тоже следа не осталось. А какие величавые были липы по краям! Почти рядом с ним сад кого-то из дворовых, впоследствии доставшийся ключвойту Хруцкому: кое-что сохранилось.

Себе в утешение (я люблю зелень и шум лесов) я должен сказать, что почти такое же количество садов разведено на новых местах: сад Миколы Голована, Игнацаго Ходкевича, Микиты Малашкина (Сироткин) и Гаврилы Новика, да еще на участке моего деда Томаша.

Володька Кутовский развел хороший садик. Старое старится, а молодое растет.

Местечко имеет свой план, приноровленный к топографии.

Главная улица, соединяющая местечко со двором, пышно называлась Замковой, хотя никакого замка в усадьбе не было и следов его не осталось. Это, по-видимому, по традиции.

Ее пересекала через базарную площадь Чарейская улица, которая вела через болото в Чарею. Летом дорога была непроездной, но зимой по ней сообщались с Чареей, сокращая расстояние на 10 верст.

Та же Чарейская улица за базарной площадью, где, кстати сказать, было до 25 лавок, — доходная статья владельца местечка, — называлась уже Юрздыкой. Это странное имя мне приходилось встречать и в других местечках и даже в уездных городках. Что это значит, у нас никто не понимал, хотя говорили: «ён ці яна жывець на Юрздыцы». Я и теперь не знаю, что это значит. Думаю, что так назывался порядок или слободка, где жили монастырские служители, подлежавшие юрисдикции монастыря или его капитула. Эта улица действительно начиналась от кляштора и шла по направлению к католическому кладбищу, поросшему старыми березами и густо уставленному высокими крестами.

От нее отходила и шла параллельно Замковой улице Ковалевская. Когда-то, видно, там жили ковали, на отшибе, на краю местечка, но в мое время только название осталось, без ковалей.

С другой стороны, т. е. с восточной, за болотом, параллельно Чарейской, шла Горовая улица и было еще несколько переулков без названий.

Вот и все местечко.

Сравнивая нынешние Холопеничи со старыми, какими я их помню, я должен сказать, что они за 60 лет не шагнули к лучшему. Наоборот, до последнего времени мало-помалу приходили в упадок.

В 1923 году[49] я не нашел в них ни одной новой постройки. Впрочем, виноват, несколько домов сгорело, и на премию были возведены новые. Но все было старо, старо, — осунувшееся, приземившееся, обомшелое, грозящее рассыпаться порохнёй.

На старых домах крупных торговцев, как Биёмин Гильман, торговец льном, главарь еврейской общины, как Зымель

Баскин, как Нисон — почтарь, многолетний содержатель почты и местный воротила, как дом Роситы на улице базара, где останавливались приезжающие паны и чиновники и где обделывались самые важные, т. е. подлые дела, — все они казались на крышах покрытыми великолепнейшими коврами разноцветных пород меха, с преобладанием темно-табачного, составлявшего общий фон, по коему брошены мазки нежно-зеленого, голубоватого и розоватого цвета. Эта общая обветшалость, прикрывавшая внутреннюю пустоту и стыдливую бедность, так и просила надписи: «Memento mori»[50].

Впрочем — это уже была смерть и даже тление.

В 1928 году я нашел два порядка новых построек, на костельной и церковной земле, и школу семилетку, а также кооперативный дом на месте старых лавок, оба, впрочем, еще не оконченные.

Значит — обновление началось, и будущее нарождается. Надо думать, что за две пятилетки оно далеко двинулось вперед.

Но мне жаль старых елей, которые так таинственно пели в разных тонах, изгибаясь под ветром; мне жаль густолистных лип, так приятно благоухавших под жгучими лучами июльского солнца и тоже певших тонкими голосами бесчисленных пчел, деятельных, но невидимых работниц, и только изредка покрывал их цимбальный звон, раздавался гудящий бас тяжелого шмеля; мне жаль вековых дубов, кленов и ясеней, которые величаво стояли в ряд по дороге в панский двор.

Они составляли общий тон и придавали общий колорит местечку.

Издали виднелись их вершины, облекая все в зеленую ризу, из-под которой только выныряли церковь да костел, да школьные каменицы. Они создавали свой стиль с характером постоянства, прочной оседлости, зажиточности.

Местечко имело свой облик, свою физиономию.

Теперь надо создавать все вновь и строить в новом стиле.

Разрушить и расшвырять эту обомшелую ветошь — нетрудно: она сама валится.

Теперь мы подошли к помещичьей усадьбе, к панскому двору, который назывался просто «двор», без всяких поясне-

ний, как нечто самодовлеющее и само собой понятное. Так всюду в Беларуси называют помещичью усадьбу, подобно царскому «двору» или «дворцу».

Он расположен был от местечка не более 100 саженей[51] на взгорке, полого склоненном к сыроватой низине, где были вырыты сначала два (старое возера), а затем и третий пруд, ныне спущенный и высохший.

Я уже сказал, что к усадьбе вели «прысады», — аллеи из дубов, кленов, ясеней, лип. И к ним примыкал, расположенный на первом плане, старый фруктовый сад, с оранжереей, парниками и погребами для фруктов и овощей, занимая около 3—4-х десятин. По другую сторону, примыкая к пруду, роскошный шел огород для капусты, огурцов, свеклы, моркови с водокачалкой для поливки.

Мне приходилось несколько лет на нем работать, копал грядки, сажал, поливал.

Бобылка Мартэчка, моя постоянная соработница, хваля качество почвы, говорила:

— Тут дзяцёнка пасадзі — дык і то вырасьцець.

Действительно, земля была черноземная, рыхлая, легкая.

Пройдя аллею, вы встречали при «офіцыне» контору, дом для конторщиков, писаря «правантового» (амбарного) и других рангов и назначений, и дом для садовника, огородника и их подручных. Далее, за куртинами декоративных деревьев, открывался панский дом, который слыл под претенциозным именем «палаца». И мне он казался в детстве по внешности величественным (разумеется, я теперь так определяю свои чувства тогдашние), а внутри полным очарования и невиданных чудес. Когда меня, мальчика лет 5-и, босоногого, дядька Онуфрий, панский лакей, провел чрез все покои в свою комнатушку позади, видимо, не без намерения удивить и поразить, он вполне достиг цели: я шел по блестящему и скользкому паркету, высоко подымая ноги, как по водам, и все озирался по сторонам и вверх и вниз, и когда увидел большое трюмо, я совсем растерялся от несказанного изумления и остановился с разинутым ртом так, что дядька, улыбнувшись моей простоте и довольный произведенным эффектом, дернул меня за рукав.

Дома я, задыхаясь и захлебываясь, рассказывал про виденные чудеса и про волшебную штуку: «чорная такая і белые, і чорные костачкі; а як дзядзька пальцам ткнуў — як загудзіць! Як жывая!».

— А паглядзі-тка, што мне дзядзька даў! Два кускі цукру!

— А мае дзеткі, ты столькі наглядзеўся, што сягоньня пэўна спаць ня будзеш.

Не помню, как я спал и что во сне видел, но общее впечатление восхищения до сих пор сохранилось и по силе многие виденные чудеса превосходит, кроме впечатлений при въезде в Минск.

С этим домом много связано моих переживаний и воспоминаний. Я сам, по стопам моего дяди Онуфрия и тетки Виктоси, воском натирал паркетный пол, и вместе с лакеем Андрюшкой чудесные пляски на нем отплясывали, со щетками на ногах.

Этот дом, по уходе немцев[52], сожгли. Надо думать, что, простояв 70 лет, он был уже староватым и сильно зажит, но еще постоять мог бы.

Ничего в нем, разумеется, величественного не было: самый обыкновенный помещичий дом. Деревянный, одноэтажный, в 8 комнат и комнатушек. Но что ему придавало внушительность — это каменный фундамент и крыльцо из тесаного гранита, а также мезонин со шпицем и «галкой» (шаром) наверху. В Холопеничах это не встречалось. Обширная кухня с кладовыми и комнатами для поваров стояла отдельно: близ дома, но с некоторым промежутком, чтобы кухонные запахи и чад не проникали в дом.

За домом был разбит в десятину[53] с небольшим «Новый сад» с палисадником. Это сделано во времена пана Лапы, как и дом при нем же построен.

«Прысады» и старый сад восходили ко временам Хрептовича[54], и от тех времен сохранились защитные аллеи по бокам и куртины старых, двухсотлетних дубов, а может быть, и трехсотлетних дубов, стало быть, помнивших время панования Халецких: в моем детстве они были такими же, какими я их видел в старости. Стоят они — мощные, величавые, смеясь над усилиями всепожирающего времени и не склоняя гордых голов под бурей и грозой.

Рад был я в них приветствовать старых знакомцев, над которыми время оказалось бессильным, тогда как моих людских сверстников почти всех оно вышвырнуло из жизни, а кто из них уцелел, то представлял жалкую развалину.

А дубы-то, дубы зеленели своими лапчатыми листьями и задумчиво покачивали вершинами.

Несколько в сторонке, влево от палаца, стоял «провэнт» — амбар с хлебом, мукой, крупой, солью, постным маслом и прочим, что шло в расход на содержание дворни и всех тех, кому от панских щедрот полагался паек «андынарыя». Не умею объяснить слова: может быть от ordiner — приказать, по приказу, а может быть, от ординарный, обычный.

Провэнтом заведовал тиун — по-белорусски «цівун» — летописное название, сохранившееся в Беларуси и объясняющее нам значение древнего термина: это был доверенный человек по сбору припасов — данин — и он же хранитель их и расходчик. По-современному это был бы просто приказчик.

Тиун редко был грамотный: все у него отмечалось на бирках — ровных прутиках разных пород, а стало быть, разной краски, оголенных с четырех сторон, на которых наносились резы в форме римских цифр: I, V, X, L, которые, видимо, получили свое начало от этакого рода нарезок. Цвет давал приход и расход, а на разных гранях обозначались разные продукты. Но сложное и правильно поставленное хозяйство не могло довольствоваться такого рода бухгалтерией. Поэтому тиун с пучком бирок в руках являлся по вечерам в контору, где «правантовый» (провиантский) писарь со слов тиуна заносил все в книгу прихода и расхода продуктов.

Я был, впоследствии, свидетелем, как ловко старый цівун Хведор управлялся со своими бирками и нарезками.

Какой глубокой стариной все это дышало!

Несколько подале, но все же близко к панским покоям стояла конюшня (стайня) для выездных лошадей вместе с каретником и пуней для кормов и подстилки.

Не знаю, как в старину, в мое время много было стойл пустых: держалось не больше десятка выездных лошадей — верховых и упряжных.

Тут распоряжался фурман, значит кучер, и конюхи, которых в 70-х годах было немного: один, два.

По одежке пришлось протянуть ножки. А попозже и того не было. Пришлось с одного вола две шкуры драть, — и, по примеру Гарпагона[55], одного человека переоблачать поочередно то в повара, то в кучера.

Вот и все типичное для панского двора средней руки, в части, обслуживающей «покой», т. е. панов, их «оффициалистов» (представителей) и дворню разных сортов.

Это одна часть усадьбы, как бы «чистая половина» в доме. Но была другая часть, основная, хозяйственная, на которой базировалась эта показная половина.

Во главе ее стоял эконом, с своими ближайшими помощниками — войтом и подвойтом, а иногда и двумя, и разного сорта рабочими, квалифицированными специалистами, как лесничие и ловчие, как винокуры (винник), пивовары, подвальные, бочары, стельмахи (тележники), шорники, сапожники и портные, которые отбывали барщину, работая определенное число дней или постоянно, на ординарии, скотники и пастухи, коровницы и просто рабочие. Сложный был аппарат. Эконому, лесничим и ловчим предоставлялись квартиры в особой «офіцыне», скажем — флигеле.

Высшего значения рабочие, специалисты, жили с женами и детьми большею частью при своих производствах — броварах (винокурнях), пивоварнях, столярнях и проч. Войтам выделялась комната в рабочей избе, цівуну — тоже, кучерам — тоже отводили особые комнатушки.

Вся эта рабочая знать жила целыми семьями, с женами и детьми.

Простых рабочих в усадьбе было мало: ведь все хозяйственные работы производились «прыгоном», крестьянским трудом, мужским и женским.

Тут жили организаторы, распорядители, надсмотрщики и специалисты разных работ и производств.

Хозяйственные постройки были самых разнообразных назначений: молотильные сараи, с обширными складами разного рода снопов, сенные сараи, «оборы» или скотные дворы со стойлами и приспособлениями для кормов и водопоев,

а под крышей, на настиле, лежали сено и солома, которые взвозились возами по покатому настилу, и — смешанные сено и солома прямо сбрасывались сверху в кормушки.

По окраинам стояли: бровар, пивоварня, — и их обслуживающие подвал и бочарня, а также особый двор для рабочих волов и откармливаемых на убой — на месте или в городе — бычков, быков и свиней. На корм шла, главным образом, барда и потому этого рода сараи стояли поблизости от бровара.

Тут же была мельница с наклонным зубатым колесом, по которому ходили два быка, вращая его своей тяжестью и упором ног, а оно, задевая зубьями, вращало лежачий вал с большой шестерней, которая в свою очередь вращала стоячую шестерню, накрепко соединенную стержнем с верхним жерновом.

Это мельница, так сказать, постоянного значения. А то была высокая, каменная, ветряная, которая пользовалась даровой энергией, но, разумеется, работала не постоянно.

Близко к жилым помещениям вздымалась, как сторожевая башня, «салька» или «венглярня», в два и три этажа, где висели на шестках, славно пахнущие хвоей и ядловцем[56], бесчисленные окорока, свиные и иные, полендвицы, карковины, грудинки, зельцы, разного рода колбасы, которыми так славились пани охмистрыни и вообще белорусские хозяйки.

Поблизости стояла и коптильная будка в форме четырехугольной усеченной пирамиды, где вся эта снедь получала свою румяную окраску и чудесный запах.

Я далеко не исчерпал всех хозяйственных производств панского двора. Но из этого видно — какая это была сложная хозяйственная машина, где одно было тесно связано с другим, как приводные ремни, колеса и шестерни в любом механизме.

Хозяйство было замкнутым и самодовлеющим. Оно само удовлетворяло или стремилось удовлетворять все свои потребности и получить избытки на роскошь.

Это не была латифундия[57], как радзивилловские Старое Борисово или Несвиж; но это было довольно крупное имение и оно достаточно типично по своему построению: почти все имения средней руки строились так же. И более мелкие, по

возможности, самодовлеющий целостный тип сохраняли, конечно, в менее крупном масштабе.

Всей этой сложной машиной заправлял либо сам пан, либо его комиссар — так в старину называли управляющих.

У крупных панов, как Хрептович, у которых было несколько имений в разных местах, были еще главноуполномоченные, которые носили название «пелипотентов» — это значит — пленипотент, — полномочный представитель. Он планировал все хозяйство вообще и давал направление отдельным имениям.

Около 15-и десятин земли, а может быть и 20-и, занимала Холопеничская усадьба. По одну сторону — к западу и северу — простирались поля, а к востоку и югу — покосы и пастбища, и две сосновые рощи: Старая роща с Понятковым борком посредине (чьим-то старинным поселением на горбушке среди болот), про который ходили легенды о кладах и пр., и Молодая роща, ближайшая к усадьбе; близ нее пробивалась криница родниковой воды, — холодной, чистой и прозрачной, как кристалл.

Часто я утолял в ней жажду, бродя по роще. Что было движущей силой, духовным цементом этого крепостного хозяйства, в котором работали мои предки с незапамятных времен? Право наказания. Оно было, в сущности, ничем не ограниченным. Помещик смотрел на крепостных, как на своих «подданных», т. е. мнил себя их властелином. Его власть переходила на комиссаров[58], экономов, войтов, подвойтов и пр. Каждый старший имел право бить младшего (зуботычины, оплеухи, стеганье нагайкой): это был общий обычай, никем не отрицаемый и не оспариваемый. Но это — пустяки, о которых не разговаривают. А главное — лозы, розги, а в исключительных случаях — плети.

Кто этим распоряжался? Эконом, войт и подвойты в отношении «пригонщиков», главным образом, войт.

По докладам «дозорцев»[59]: с огрехами пахал, плохо взборонил, мало сработал, высоко жала, малые снопы вязала и прочее — войт распоряжался: дай ему, гицлю или лайдаку[60], или ей — такой-то, двадцатку: это была ходовая норма.

Было милостиво: усып дзесятку! Нехай знае, як панскую работу трэба рабіць! Или: як панскій інтерес трэба пільноваць!

В исключительных случаях — дело доходило до 200 лоз и более, т. е. секли, «душы паслухаючы», т. е. сколько выдержит, до потери дыхания.

Расправа происходила пред рабочей избой, где последовательно клали мужчин и женщин.

В 50-х годах женщин пороли, несмотря на запрещение.

Как велико было число сеченных — трудно сказать: статистики не велось. Но в детстве мне приходилось слышать, что во время жнитвы[61] за один раз немало было высечено женщин.

Были специалисты по этой части. Особенно славился Сергей Середулец из Копачевки. Мастер своего дела: с двух-трех ударов выгонял кровь.

— Цяжолая ў яго была рука, каб іна яму адсохла!

Пан стоял где-то далеко и не являлся непосредственным виновником горя и обид. Панов даже нередко идеализировали, как носителей справедливости, а особенно идеализировали «добрую, сердобольную паню». Надо думать, что такие и бывали, и пану выгодно было поддерживать среди «подданных» идею, что он является носителем высшей правды.

Но зато народ глубоко ненавидел «подпанков», «панят» — экономов, войтов и прочих, в сущности — свою братию, с которой он непосредственно сталкивался и от которой больше всего терпел всякой неправды и обид. «Каб яшчо пан караў, дык жалю б не было: на тое ён пан. А то мужык — гад, — і ён жа над табой — здзекваецца!» — это была ходячая формула, характеризующая оценку фактов и отношение к ним. Вот несколько штришков из крепостных отношений последней поры, которые сохранились в моей памяти из рассказов очевидцев.

Христина Удушливая как-то говорила про войта Павла из Рудобелки, стало быть, «чумака»:

— Не прывядзі Бог, якій ён быў ліхій і грозный... Духу яго баяліся! Як выедзіць на кане з нагайкай са двора ў поле, як крыкне, як зыкне (а голос у яго громкій і звонкій быў), дык ён яшчо за вярсту ці болі, яшчо яго й ня відаць, а ужо ўсіх дух захалыне: ай-яй! Завіхайцеся (живее работайте): войт Паўла йдзе! Як чаго не даглядзіў, дык ён цябе аблаіць з паследніх

слоў і тут жа нагайкай двойчы ці тройчы перацягне, а то й добра адхвошчыць.

Ну, як ад’едзіць, тут только перадыхнеш. Дык ці ж ён адзін? Проехаў ён, глядзіш — аканом Падгурскій едзе — і то тут, то там нагайка гуляе па мужыцкай саредзіне. На ўсякае полі ці на большую работу — гдзе людзей многа — дазорца быў (надсмотрщик), каторый над каркам стаяў і тут жа цябе грыз.

Самым паганым быў Хвядот Храмый, што цяпер улетку вароты адчыняе.

— Ай, паганый быў, каб яму дабра ня было ні на гэтым, ні на тым свеці. Дужа здекаваўся над народам, многа праз яго слёз пралілося...

Сказана: мужык-гад і ў році чорна... Сабака, а не чалавек. Ну, такая яму і старасць выпала.

Не одна Христина такие речи говаривала: в этом роде говорили и другие люди, хватившие последков крепостного режима. Войт Павла рисовался грозной фигурой, а Хвядот был собственно мелкой сошкой — надсмотрщик, погоняльщик. Но злой и подленький человечишка. Он был сухорук и хром на обе ноги и потому его, как негодного к настоящей работе, употребляли в качестве подгоняльщика и наушника, осведомителя: кто и как работал. От его оценки зависело многое, и он, озлобленный своим калечеством, сильно злоупотреблял своею властью, подводя пригонщиков под наказание. А с женщин, по словам той же Христины, требовал угрозами взяток натурой.

Это был злой, даже злобный, но жалкий человек. С падением крепостного хозяйства его употребляли летом в качестве привратного сторожа, и он дневал и ночевал в соломенной будке, оборванный, вшивый... А зимой — возил воду и колол одной рукой дрова для господской кухни. И так до самой смерти.

Общий вывод, что войты и экономы, и мелкие сошки, вроде Хвядота, заслоняли собой панов, особенно крупных, которые самолично не участвовали в надзоре и в расправах.

Поэтому известная легенда «о великом грешнике», обработанная Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо», где грешнику, которого «земля не принимала», для полного прощения грехов надо было убить пана[62], в Беларуси, отку-

да идет эта легенда, она иначе оформлена: там потребовалось убить войта, распоряжавшегося на поле (см. мою запись в «Сборнике материалов у Шейна», т. III).

Даже о подневольной любви у нас говорили, главным образом, по отношению не к панам, а к «панятам», т. е. властной дворне, вроде экономов, войтов, тиунов. Паны, разумеется, были не безгрешны. И тот же молодой Лапа в Холопеничах оставил у разных девиц двух «лапенков», которые так и слыли всю жизнь под этой кличкой, оставаясь в крестьянстве. Но это были жертвы случайные, притом тайные, стыдливые, которых было не мало, а даже больше в последующее время. Но открытых насилий, гаремов в панских палатах, как об этом так часто повествуется и в беллетристике, и в воспоминаниях великорусских, можно положительно утверждать, в Беларуси не встречалось. По крайней мере, никто этого не отмечает в мемуарной литературе и мне не приходилось об этом слышать, хотя в моих исследованиях народной жизни я интересовался этим вопросом в разных местах.

Мои сведения на этот счет можно формулировать так: водили девиц «у наночкі» к паничам, соблазняли паничи «покоевок», бывали постоянные «аманткі»[63] у холостых или вдовых панов, но этот сорт выбирался из шляхцянок: крепостные для этой роли не годились.

Повторяю: явление этого рода наблюдалось и в последующее время.

Комиссары заслоняли панов и от них приходилось терпеть немало бед и невзгод.

Комиссары были из мелкой шляхты или же из немцев. Особенно недобрую память оставил по себе комиссар немец Брам. Я не знаю, при Хрептовиче ли он был комиссаром или при Лапе, или при том и другом вместе.

По-видимому, подвизался он в конце 40-х и в 50-х годах.

Методически требовательный, непреклонный, суровый и жесткий был человек. Порку практиковал широкой рукой.

— Вочы ў яго былі, як лядышкі: як зіркнець, дык і закамянееш, — так характеризовала его бабушка Рузаля.

Он не только был строг и требователен при исполнении «прыгонных» работ, но вмешивался в ведение крестьянского

хозяйства и личную жизнь крестьян, нормируя ее на свой лад. Он ходил по дворам, заглядывал в хлевы и сараи, и если замечал какой-нибудь непорядок: нет подстилки у скотины, корова грязная, навоз не вывезен, зола высыпана не на огород, а в сорную кучу, двор нечистый, грязно в избе — за все взыскивал и отсылал в усадьбу для порки.

Судя по всему, требования его были разумны, но он ни с чем не считался и непреклонно добивался своего.

Как только он показывался верхом на коне, так у всех, завидевших его издали, захватывало дыхание и, вскрикнув: «Ай, Брам едзіць!» — все старались куда-нибудь скрыться и не попадаться ему на глаза.

— Ай, якій праклятый быў чалавек! Да ўсяго дахадзіў, ва ўсё мяшаўся. Да ўсяго яму было дзела і як што яму не пад нароў — ці то сам нагайкай ціраз плечы перацягнець, а то ў двор пашле на расправу.

Так его характеризовали. И долго был он памятен. Много о нем рассказывали всякой всячины, но все это сводилось к требовательности, напоминающей требование и распорядок в военных поселениях.

Особенно он был требователен насчет использования всякого отброса, могущего служить удобрением и, в частноти, золы.

Многим бабам доставалось за неиспользованную золу.

Такого рода требования могли исходить и от владельца Хрептовича, про которого рассказывали, что, гуляя по полям с дочерьми, он руками согребал лошадиный помет и бросал на поле.

— Прыклад (пример) падаваў, як трэба гной берагчы, — так понимали крестьяне.

Это, конечно, была символика и притом слишком утрированная. Она долженствовала гласить: если я, пан над панами, граф, так делаю, то тем более вы и пр.

Это смешная, но довольно безобидная символика.

У немца Брама она приняла форму аракчеевской рационализации.

В имении были предприняты еще при Хрептовиче и продолжались при Лапе обширные мелиоративные работы по

осушке большого болота, лежащего близ местечка и усадьбы, о которой я уже упоминал. Был пробит целый ряд магистральных канав, со стоком вод в реку Ису — сильно заболоченную и здесь с весьма слабым падением: течение в ней еле заметно, но все же свою и пришлую воду так или иначе сбывала.

Магистрали были соединены с целой сетью канав разной ширины и глубины, и в результате болото осело и получились покосы, местами хорошего качества. Несколько десятков верст было проведено этих канав. Весной они бушевали, сбывая талую воду в реку, которая, переполнившись, разливалась, как озеро, «румом» (паводком), затопляя широкое пространство.

Тяжелая была работа по копанию канав, рытью прудов и сажалок. Мужики ее вынесли. Но с течением времени эти ценные сооружения, никем не поддержанные, заплыли и, конечно, луга обомшели и заросли мелким кустарником. Так погибла обширная площадь покосов в несколько квадратных верст.

Как велики были доходы имения — фактических данных у меня нет... Думаю, что они были весьма значительными. Помимо доходов от продажи избытков хлеба, льна, откормленного скота, леса, водки, были доходы от оброчных статей, как лавки в местечке, корчма в местечке, а, главным образом, доходы от чиншевой земли, — земли, состоявшей в вечной аренде, с правом наследования, но с обязательством определенного платежа в экономию. Таких огородно-усадебных участков — в морг[64], в полморга, в два морга — было до сотни и расценивались они, в зависимости от места и доходности, в 50-х годах от 2-х до 10-и рублей за морг. Впоследствии цена периодически повышалась, и мой отец за морг (около полдесятины) платил 5 рублей. В дальнейшем цены безобразно вздулись.

Но это все же в общем давало доход небольшой — примерно рублей 500—600. Но несравненно больший доход имение получало от староверческих поселков на чиншевом праве[65]. Староверы с Петровских времен, а может быть, и раньше постепенно просачивались в Литву, собственно в Беларусь, с Верхнего Поволжья и из Московщины (говор акающий)

и наиболее густо осели в Витебщине (Холопеничи были пограничным местечком трех губерний: Минской, Могилевской и Витебской). Это сильно подняло доходность помещичьих имений. Им сдавались в чиншевую аренду пустоши, отдаленные и потому бездоходные земли за верную и притом денежную плату, стало быть — без риска, без забот, без хлопот.

Народ рослый, здоровый, широкоплечий, преимущественно светловолосый и голубо- или сероглазый, — живо обстраивался на новом месте, поднимая целину, выкорчевывая выруба. Народ трезвый (пьющие были наперечет: побывавшие в солдатах, «опоганившиеся»), предприимчивый, не в пример белорусам, которых они упорно называли «полячками».

Они выдвигали в местечко «перепагаек», торговавших калачами, вроде московских, и баранками, побивая конкуренцию еврейских булочниц тем, что сбыт, помимо белорусов, был обеспечен своим же единоверцам, которые не станут есть «мирского» печева. Они разъезжали по кирмашам с медовыми пряниками в форме «коников», рыбок, воинов, кой-где подсусаленных, и обыкновенной пряничной формы, но все с узорами и оттисками.

Они были превосходные «грабары», копальщики канав и прудов — и в этом отношении не знали себе соперников.

Но они внесли с собой дух замкнутости, нетерпимости и отчуждения. И евреи, и белорусы, и поляки для них «нечисть», с которой избегай соприкасаться: не пей, не ешь вместе, не общайся.

В свою избу «полячка», особенно нюхальщика и табакокура, не пустят, и можно проехать всю староверческую деревню и не получить воды напиться: нет мирской (т. е. опоганенной) посуды. Хороший хозяин такой посуды, раз она опоганена, не держит, а бьет или сжигает.

Одна этика по отношению к своим, а другая к иноверцам.

Хуже всего было то, что среди староверов немало было воров и грабителей. Они действовали небольшими, хорошо организованными шайками, и не только крали тайком, главным образом, лошадей, но делали открытые нападения на больших дорогах, на крестьянские дворы, хутора и даже помещичьи усадьбы, — практиковали маски, стреляли, терроризировали, связывали, подвергали пыткам, и убивали...

Про них говорили, что они поголовно воры: если сами не крадут, то краденое укрывают.

Это, конечно, преувеличение, но несомненно, что многие из них так поступали.

Впоследствии и трусливые белорусы стали с ними сотрудничать или «работать» самостоятельно.

С раннего детства и до последнего времени я наслышался рассказов о кражах, грабежах, бандитизме в таких героических размерах, как нигде мне не приходилось слышать и наблюдать, а, между прочим, я объехал всю Россию и подолгу живал в разных областях.

Да, это была язва для края, но помещикам — верный доход. Таких староверческих поселков в Холопеничской экономии было несколько: Боборыка, Валита, Узнацк, Ваўкалышки и может быть другие: не знаю, как далеко шли панские земли.

Это, во всяком случае, около 200 дворов, т. е. около 1000 душ. А «тысяча душ» — это не шутка.

Кроме староверов на чиншевом праве сидели кое-кто из мелкой шляхты или мещан. Но таких было немного, хотя в других поместьях они составляли целые «околицы», т. е. поселки, и играли ту же роль, что и староверы, т. е. были чиншевиками.

Евреи держались местечек, где они, как мы видели, составляли около половины населения, а в бойких местечках и более половины.

Во всяком случае — они придавали особый характер белорусскому местечку и были деятельными двигателями местного товарообмена, и многие из них занимались ремеслами — портные, сапожники, кузнецы, котляры, столяры, бляхари[66] и пр., — удовлетворяя насущной потребности в ремесленном труде.

По деревням — более крупным — жила одна еврейская семья, много — две.

Шинкуя с патентом или беспатентно, они несли мелкую агентуру по скупке на месте кое-каких продуктов у крестьян.

Как общее правило — евреи в массе жили бедно и грязно, питались скудно и необеспеченно и чем дальше, то тем хуже им жилось.

Присматриваясь в предреволюционную эпоху к жизни местечковых евреев, я ставил себе вопрос: чем живут эти люди? И трудно было найти удовлетворительный ответ.

Впрочем — этот вопрос возникал и для всей обнищалой Беларуси в целом, и решался он только на почве выселений в города и переселений в другие губернии (например — в Ярославскую) и Сибирь.

Но в то время — 40-е и 50-е годы — поставщиками рабочей силы для имения были, главным образом, деревни: Слобода, Борки, Гальки, Копачевка, Подберезье, Вершовка, Прудец, Якимовка, Версанка, Городище, Узнацы и др.

Кладя в среднем 40 дворов на деревню, мы получили 400 дворов или 2000 душ деревенского крепостного люда. Всего вместе с местечковыми крестьянами около 500 дворов, а стало быть, земли в их пользовании было, полагая 10 десятин на двор, около 5000 десятин. Да у староверов около 2000 десятин. В непосредственной запашке экономии было меньше земли: при центральном имении пашни около 1000 или 15 000 дес. в фольварках:

Гольсберке — 600 -»-

Вершовке — 500 -»-

Итого — 2100 десятин или 2600 десятин.

Покосов около — 1000 или 1500 десятин.

Пастбищ неопределенно 1000 или 1500 и леса, с Марьиным Бором, около 4000 или 4500 десятин.

А всего около — 17000 десятин (При подсчете автором допущены какие-то неточности. — *А. В.*).

Имение не маленькое, образовавшее впоследствии целую волость, но что это значит по сравнению со Старым Борисовом, в котором, за отводом земли в надел, у владельца осталось 150.000 десятин.

В Холопеничском имении, после отвода земли крестьянам в надел, не могло остаться больше 6000—7000 десятин пашни, покосов, пастбищ, болот и леса.

Но еще не успели установиться поземельные отношения на новых началах, как вспыхнуло польское[67] восстание 1863—1864 года, и хотя молодой Лапа, Доменик Александрович, непосредственного участия в нем не принимал, но кое-кто из дворни — лесничие, конторщики, эконом, кухтик Степан Гуп-

тор, ушли с повстанцами; взята была чуть не вся венглярня ветчины, муки, овса и, конечно, водки: все это в некоторой степени компрометировало его, и он дешево отделался тем, что был вынужден продать имение для усиления русского элемента в крае. Его купил русский немец, «генерал», как у нас его называли, хотя он был только «статский генерал», впрочем с лентой Станислава, которой он нас тщился поразить в день своего представления народу (увы, не подданным!), пришедшему поздравить его с днем ангела. Смоляные бочки горели, качели и карусель, подносили водки и пива!

Рудольф Вилькен звали нового владельца. Это было в 1867 году, а мне надо вернуться ко времени много ранее.

Я уже сказал, что в начале 50-х годов маёнтэк Холопеничи купил у Хрептовича пан Лапа.

И конечно, желал извлечь из этой покупки максимальную пользу. Он не верил, что покупка совершена накануне великих пертурбаций, а стало быть, покоится на зыбкой почве.

Когда при рытье нового пруда и дополнительных канав мужики, уже кое-что слышавшие про «волю», спросили у пана Лапы: «Ці праўда-ж гэта, паночык? І калі гэта будзе?» — он твердо и уверенно отвечал:

— Будзе гэта тагды, калі хмель будзе тануць, а камень — плаваць!

Впрочем, и сами крестьяне хранили и повторяли пословицу, как своего рода максиму: «пан паном, а мужык мужыком вавекі вяком». Как шатки все эти максимы[68] и ходячие воззрения народной якобы мудрости! Все до поры, до времени!

Итак — новый владелец хотел организовать хозяйство по-новому и извлечь возможно большую пользу с подданных. В его план входила перетасовка рабочей силы и укомлектование обоих имений — Рудобелки и Холопенич — недостающими рабочими и специалистами. Стало быть, часть холопенцев направил в Рудобелку, а оттуда нагнал своих «чумакоў», — частию из командного состава, например, войта Павла, частию рабочих специалистов по плужной вспашке волами, привычных служащих при панской особе, в том числе и моего отца, в качестве младшего повара (старшим был знаменитый Станислав — учитель моего отца).

Легко себе представить, какой переполох это произвело среди холопенцев, которые жили «за графом», как у Христа за пазухой, если не относить рационализаторских приемов немца Брама за его счет.

Плач, вой, вопли огласили местечко и деревни. Вопили и выли обреченные на пленение, расставаясь с родиной и родней, выли их семьи и родня остающаяся. Нашествие иноплеменных и увод в полон! Внеочередная рекрутчина!

В то время сложили песню, которая распевалась на голос жалостной рекрутской «А ў нашага караля вышла нова-навіна», песни старинной и начиналась она так:

Ой загуду, загуду —
У Рудабелку не пайду,
У Рудабелку не пайду!
У Рудабелцы добры пан —
Дай Бог людзём, а не нам, —
Дай Бог людзём, а не нам!

Это было нечто эпическое, глубоко волнующее, если вызвало поэтические отклики взволнованного чувства.

Я не знаю, как много было жертв этой рационализаторской политики, но знаю, что был бунт и сопротивление. Бунтовали, очевидно, что называется «лежа», т. е. пассивным сопротивлением и (бунт) был подавлен «своими средствами», т. е. усиленной поркой, которую производил эконом пан Подгурский (старопольский тип сеймикового драгуна, сверхъестественные усы (вонсы завесистэ), бритая борода, коротко остриженная голова, плечистый и здоровый, с тяжелой рукой) и войт из «чумакоў» Паўла, при помощи Сяргея Серадульца из Капачоўкі, в качестве секутора.

Много было высечено, а зачинщиков, сверх того, сдали в солдаты. В их числе был Ванэдык Буйла, неосторожно распевавший приведенную песню. Он очутился на службе в Петрозаводске, вместе с молодой женой Шаблоўшчынкай, которая, спустя 25 лет, возвратясь, повествовала, на удивление холопенцев, о белых ночах, чухонцах, странных обычаях...

Но было нечто еще худшее: пан Лапа поставлял избыток рук на сахарный завод в Киевщину, не знаю — свой или чужой. До Рудобелки 50 миль, т. е. 350 верст, а в Киевщину вдвое более и это надо было пешком отмахать с узлами и котомками за плечами.

Конечно, на пути чудеса — и Непра, и Киев, и Пячоры с угодниками. Всю жизнь Христина Удушливая («дыхавицы», удушье в каторжном труде нажила, вероятно, не без влияния — 700-верстного пути с ношей за плечами! Какая работа сердцу — лошадь не вынесет!), — всю жизнь пышноволосая Христина повествовала, размеренным стилем, усвоенным у благочестивых паломниц, про Киевские церкви, про мощи и чудеса Печерских угодников, мироточивую главу, руку великомученицы Варвары и приобрела серебряное колечко от великомученицы, которая гарантировала счастливый брак.

Чудные у нее были волосы — редкость у белорусок — и красивое с правильными чертами лицо, почти классическое, которое несколько портил полуоткрытый рот — результат «дыхавиц», придавая общему выражению глуповатый вид. Но это неважно. И, возвратясь, вышла она замуж за Мацея по прозванию «Зюки бярозавые» (в их роду была особенность «зюкать», т. е. вместо «ж» говорить «з»), садовника средней руки. Родила от него дочь, Ганулю-рабачку (оспа сильно испещрила лицо), жила бобылкой в курной избе в дальнем конце Юрьевской (по имени первопоселенца — моего отца), позднее Ново-Борисовской улицы, у пустыря, поросшего кустарником (Новая Чагельня), далеко от колодца, из которого, несмотря на удушье, должна была таскать воду, по улице с подъемами и пересекающей северный ветер, т. е. сплошь заваленной сугробами выше головы и самых причудливых очертаний. Дорого ей доставалась эта вода! И тяжко она добывала свой хлеб поденной работой то в усадьбе, то у богатых евреев. Колечко, несомненно, обмануло. «Зюкі бярозавые», когда дома живал, то и бивал Христину. А в довершение всех зол и обид, служа в Краснолуках садовником, взял дочку Ганулю вести стряпню. Это бы ничего — в порядке вещей. Но он вступил с ней в сожительство, и дочка забеременела

и родила. Ребенок, разумеется, умер. Вскоре умерла и пышноволосая Христина. Но Ганули влачила недолгую жизнь, всеми презираемая, отчужденная, словно зачумленная.

Не помогло колечко святой Варвары!

Еще хуже отозвалась эта хозяйственная комбинация на судьбе муляра, т. е. печника, Михалюты с пышным прозвищем Боярин. Он был в числе отправленных на сахарный завод, — человек молодой. На что он рассчитывал — трудно сказать, да и вряд ли на что рассчитывал. Он просто бежал с пути, отделившись от партии. Тоска взяла, как говорил он. Что будет, то будет. Дома он некоторое время укрывался, но шила в мешке не утаишь. Побег стал известен и дошел до двора.

Поймали молодца, разметав сено в пуне, где он укрывался. Поволокли «у двор» на расправу.

Для этой экзекуции, как чрезвычайной, эконом пан Подгурский нарядил 6 человек, а сам командовал расправой.

— Доўга яны мяне тузалі, — говорил он мне про свою невзгоду, — усё паваліць не маглі. Усю сарочку на мне парвалі на шматця. А Падгурскій, с пакаладкам у руках, кругом пахаджываў і біў па чом папала. Алі так ударыў па галаве, што ў мяне ў вачах пацямнела і я такі паваліўся. Трое на галаву, двое на ногі, а шостый сек. Воз лазы аб мяне ссеклі. Усё цела ссеклі. А зад і сярэдзіна просто было рубленое мяса. Потом вадой отлівалі і ў бальніцу павязлі. Панская была бальніца, яшчо графовой будоўлі. Тут мяне павязалі, як дзіця ў пялёнкі. Нядзелі тры, ці з месяц я так ліжаў на пузе. А як устаў — сярэдзіны не разагну. Так і цяпер хаджу, сагнуўшыся і атставіўшы зад. Відаць, якуюсьці жылу яны мне там перасеклі.

Зад у мяне і цяпер панскай граматай увесь зпісан: рубцы і сінякі.

Удивительное дело: говорил Михалка об этой зверской расправе без злобы, с эпическим спокойствием в лице и в голосе и даже с улыбочкой на тонких губах.

Пан Подгурский, после долгого перерыва, снова служил в Холопеничах экономом, уже далеко не столь грозный, но никто ему не вспомнил старого, и даже Михалюта, одна из самых ужасных его жертв.

Сергей Середулец и еще другой «кат» холопенец, подлое имя которого я забыл, жили, как все другие живут, ходили в сватах, кумились — и никто им не упоминал прошлого лиха.

Такое же отношение я наблюдал впоследствии к жестоким и подлым писарям, старшинам, ключвойтам, старостам, а потом и к урядникам, которые поступали так же, как эконом Подгурский, войт Паўла, падвойт Хведар, и еще хуже, — секли в волости, сажали в «холодную» и всячески надругались.

Чем это объяснить? Таков ли порядок вещей, что нет виноватых? Или инстинктивное сознание, что тут более сложная механика, покрывающая личную ответственность? Или соображение, что мало ли таких Подгурских, Павлов и т. д., — со всеми нелегко расправиться? Или сознанием, что всяк на их месте делал бы то же самое? Или давнишняя закоренелая привычка мириться со всяким злом? Всего вероятнее, что все эти соображения вместе взятые обусловливали пассивное отношение к насилию и терпимое к насильникам.

Это называется — «не помнить зла». И белорусы в массе — а не тот или другой — этим отличаются. Я не думаю, чтобы это к их чести надо относить: ведь это также и безразличием называется.

Ну, так вот, в результате людообмена между двумя имениями, в результате всех этих перетасовок людей и тяжких для них пертурбаций, в числе прочих рудобельских «чумаков» был переброшен в Холопеничи и мой отец Юрий Лукьянович Богданович, попросту — кухар Юрка. Эта переброска имела решающее значение для моего бытия: без нее, ясно, я или вовсе не вкусил бы от сладости бытия, или был бы не тем, что я есмь. Приезд его в штате молодого пана Лапы, Доменика Александровича, недавно окончившего образование, по-видимому, в Горигорецком земледельческом институте, ибо впоследствии он служил управляющим государственными имуществами в Бессарабии, приезд его произошел приблизительно в 1857 или 1858 году, когда моему отцу было 20 лет или 21 год.

Но тут я должен обратиться к роду моей матери, Анели Томашовой Осьмак.

РОД И РОДИЧИ МОЕЙ МАТЕРИ

На этот предмет у меня нет никаких документальных данных и никаких изысканий в ревизских сказках я не производил.

Обыкновенно в Беларуси с предками и родом знакомятся в поминальные дни, по нашему «дзяды» (они справляются 4 раза в году), когда слепой Кондрат, великолепный образец для статуи Гомера в молодости, опираясь на плечо поводыря, обвешанный котомками, вваливался в избу и, перекрестившись, затягивал звучным голосом вступительный кант, а повадыр тоненько ему подтягивал. Нащупав лаву или скрыню, пел он сидя и, между прочим, развязывал свою ношу, чтобы освободясь от тяжести, несколько передохнуть вольней. Окончив кант, он здоровался, перекидывался несколькими словами о погоде или текущих новостях: этого требовало приличие. А затем становился к образам и начинал молитву за усопших, «за душы змарлэ, душы чысцовы» (чистилищные) — все на польском языке, который в то время, в бывших униятских семьях, положительно вытеснил славянский: только школа в новом поколении вводила его в молитвенный обиход.

В известный момент выступала бабушка Рузаля и подсказывала имена покойных родичей: Казимирову, Христинину, Тамашову, Прузынину и т. д. (разумелось — душу). И Кондрат внушительным голосом специалиста, слова которого не безразличны, а доходчивы, и дойдут, куда следует, и там обратят на них внимание, после каждого имени повторял: Казимирову душу, Боже, помяни; Христинину душу, Боже, помяни!

Когда весь перечень по памяти был исчерпан, следовала короткая заключительная молитва и, получив за поминание подаяние — пару яиц, кусок сала или мяса, мерочку збожжа, бліноў или «грыбкоў» (особый род сковородников из белой муки на яйцах и масле), поспешно завязывал свои котомки и, сказав: «бывайце здаровы», спешил в следующую хату.

Вот из этих поминаний я и ознакомился с своими отошедшими предками. Но генеалогия была недлинной: она начиналась только с моих прадедов: Казимира Лисовского и Христины из рода Порецких. Фамилии, разумеется, я потом уже узнал.

По-видимому, они были безземельными, т. е. из тех же дворовых или ремесленников. Знаю, что брат прабабки Христины арендовал млын[69], а племянник ее, Гришка Порецкий, и арендовал, и умел строить мельницы, т. е. был механиком-самоучкой. Главным интересом его жизни были всякого рода машины: он любил их рассматривать, вникал во все подробности устройства, любил поговорить об этом и о том — как бы можно было их упростить.

А что такое представлял из себя прадед Казимир Лисовский — так-таки и не знаю. Вероятно, занимался чем придется. Бабушка Рузаля говорила, что был он из шляхты и свои патэнты хранил в клубках ниток. Но потребовали документы к маршалку и тот их изорвал в клочки.

Действительно, в XIX веке нужно было представлять документы для доказательства прав дворянства и многие из шляхты не могли их доказать и потому верстались в однодворцы[70] или мещане[71]. Но насчет хранения в клубках патентов и последующего их уничтожения — я эту версию слышал неоднократно относительно других лиц и потому ее можно отнести к ходячим геральдическим сказаниям. Однако пригону, по словам бабушки, прадед не отбывал.

Был он католик, а прабабка Христина — униатка. В таких смешанных семьях и дети в старину были разноверными: сыновья по отцовой вере, а дочери по материнской.

Поэтому моя бабушка Рузаля была униаткой, а младший брат, мой двоюродный дед Винцесь, — католиком.

Такое разноверие в одной семье вело к взаимной веротерпимости, тем более, что все одинаково молились по-польски и одни и те же молитвы читали. И ходили одинаково и в церковь, и в костел. Часы богослужений, видимо, нарочно были так приспособлены: в церкви — пораньше, в костеле — попозже, что можно было побывать и там, и там.

Бабушка Рузаля (да и не одна она) с умилением рассказывала, как крестные ходы (процессии) из церкви и из костела, на Крещенье, на Вознесенье и в другие особые дни шли навстречу друг другу и, сойдясь, объединялись в один общий ход и шли вместе.

На святого Белеуша проповедь была общей для всех, и длилась неделями в полях, где проповедник-католик

сменялся униатом и наоборот. В заключение торжеств ставился при распутиях «крест Белеушов».

Об этом «святом Белеуше» многое множество ходило странных рассказов. Еще недавно я слышал, что святой Белеуш предсказал за 100 лет нашу революцию: пойдет брат на брата и прочее, и будут враги человеку домашние его.

Откуда взялся этот святой Белеуш, которого не знают святцы? Святой не менее популярный, чем святой Николай, Юрий и пр.

Это не больше, как празднование юбилейного года, которое католическая церковь справляла с необыкновенной пышностью и на доброхотные приношения пополняла оскудевшую «лепту святого Петра».

Юбилей — по-польски звучит «юбилеуш», «свенты юбилеуш». Белорус, упрощая произношение, «свенты юбилеуш» переделал в святого Белеуша.

Из события создал личность небывалого святого, которому с упованием молятся и обеты приносят.

Так творится легенда.

Всего более популярности новоявленного святого содействовало то, что «ён грахі атпушчае без пакуты» (без мучений).

Припомним, что в юбилейный год папа возвещал всеобщее прощение грехов.

Словом — религиозной розни не чувствовалось, и я в детстве ее не наблюдал. В моей семье или, вернее, в моем роду были православные, т. е. бывшие униаты и католики, жили часто одной семьей те и другие, и только старшие наблюдали, чтобы каждый исполнял «свой закон».

Православные постились среду и пятницу. Католики — пятницу и субботу. Православные справляли «запусты» (заговенье) в воскресенье на масленице, а католики во вторник первой недели великого поста; одни шли в исповедь к попу, а другие к ксёндзу — вот и всё.

Разницу примирительно объясняли такой формулой: «Бог один (разумеется — у нас, и это-де главное), а только веры разные (это значит: всяк по-своему или: як хто хочыць, так па свайму бацьку плачыць).

Насчет того, что истинно, что ложно, и не только в делах веры, а вообще на свете, т. е. и в науке, и как обретается истина, убеждение было твердым и всеобщим — метод приобретения один. Мне его точно и убежденно формулировала Христина Удушливая (см. выше), которая, как побывавшая во святых местах (Печерах Киевских) претендовала на высший авторитет в этого рода вопросах. Она объясняла способ накопления истинных знаний о вещах сокровенных так:

— У святом горадзе Рыме ёсь святый папа. Яму Бог кажыць, а ён людзям перақазывае. Ад яго людзі ўсё і знаюць.

Это не одной Христины взгляд: многие так говорили. Как просто открывается истина! О, святая простота! Теперь выступает вторая пара моих предков: Рузаля Казимировна Лисовская и Томаш (не знаю, как по батюшке) по фамилии Осьмак. Это мои дед и баба.

Был ли дед Томаш уроженцем Холопенич — этого я не знаю. Братья его жили в деревне Подберезье, в 7 вер[стах] от Холопенич, так что он мог переселиться оттуда, как равно и его братья переселиться из Холопенич туда на земельный надел.

Племянники деда жили там, занимаясь земледелием, и бабушка вспомнила своего деверя из Подберезья, которого погнали под Севастополь, и все ждала его возврата с трогательной печалью о его судьбе. Не дождалась: там, видно, сложил он свои солдатские кости.

Я не без умысла поставил на первом месте бабу Рузалю: в этой паре ей принадлежала господствующая роль. Вообще она была особа с большим умом и твердым характером, который только по отношению ко мне, любимому внуку, терял свой закал и становился мягким, как воск, согретый чувством любви. В молодости, по словам сверстников, она была бойкой и предприимчивой; была здоровой, ширококостной, сильной девушкой, так что на покосе шла с косой (редкость в Беларуси: там бабы и девки идут с граблями) и вступала в борьбу с мужчинами, нередко одолевая их. Молодая сила играла, избыток ее бил ключом. Как жаль, что описание внешности не может заменить даже плохонькой фотографии. И трудно сослаться на сходство с чем-нибудь общеизвестным.

Выразительное лицо, суховатое или сухощавое, как говорят в Беларуси, прямой и гладкий, довольно высокий лоб, нос с горбинкой и довольно крупный, с широко раздувающимися в гневе ноздрями, твердо сжатые губы. А когда она говорила или смеялась — сверкали ровные и белые, как чеснок, зубы, сохранившиеся до старости. Взгляд вдумчивый и проницательный.

Вообще лицо выражало энергию и сильную волю. Это был облик Лисовских.

Античный бюст Геры из собраний Людовицы[72] всего более напоминает ее лицо, но Гера полнощекая, а бабушка была «худощавой».

Мало таких лиц среди белорусских женщин, а иногда попадаются. Речиста была баба Рузаля: говорила складно и вразумительно, тоном авторитетным. Всякое дело умела обмозговать и обсудить. К ней постоянно ходили за советом. Память имела обширную — знала много сказок и песен. Любимым ее присловьем было: «каб цябе расперапечыла» или: «каб ты Бытча не знаў»; «перапеча» — это овсяный или ячменный хлеб, а Бытча — деревня по пути в Борисов.

Деда Томаша я никогда не видел, ибо он умер задолго до моего рождения, но представляю его по лицу моей матери с прямым носом и общим мягким выражением, противоположным энергичным и суровым чертам лица бабушки.

Дядя Онуфрий, по словам бабушки, был похож на отца, но, на мой взгляд, в нем было нечто от суровости моей бабушки. Вся семья была высокорослой, стало быть, и дед Томаш тоже.

«Мягкай натуры ён быў чалавек», — так его характеризовала Полька Шабловская, его неудавшаяся невеста. Она мне рассказывала житейский анекдот про деда Томаша и бабу Рузалю, который как нельзя лучше рисует их характеры и взаимные отношения.

Дед Томаш учился портняжеству у ее отца краўца Шабловского.

По окончании «тэрміна» (обычно 5 лет выучки), мастер из него вышел весьма удачный, даже в некотором роде виртуоз: он за спиной вдевал нитку в иголку.

Шабловскому жаль было расстаться с таким работником, а с другой стороны, и бабушка Рузаля, девка «на выданьи», нашла, что он будет для нее подходящим мужем. И живо дело оборудовала: запивины и заручины справили. Только осени ждали, чтобы сыграть «вяселля», т. е. свадьбу.

Но Шабловский считал, что дело не потеряно. Что значит заручины? Можно и отказаться. А у него три дочери, як рабінкі, — выбирай любую.

С таким расчетом, залучив Томаша праздничным днем, и пригласив мудрых людей, которые могли бы ясно представить все выгоды такого союза, он, как водится, устроил хорошее угощение: гарэлка, кілбаса, яешня.

Пьюць сабе людзі добрыя, закусываюць і разумные рэчы вядуць.

Но баба Рузаля, почуяв недоброе, стукнула в окошко:

— Томаш, пашоў дамоў!

Он сидел на куце, на почетном месте. Как услышал стук и властный окрик, вздрогнул и стал вылезать из-за стола:

— Прыбачайце, а мне нявольна! Трэба йці!

Его не пускают:

— Што ты? Дзеўкі спужаўся? Пасядзі трошкі! Пагамонім! — и не выпускают из-за стола.

Но он вскочил на лаўку и со словами: «Не, мне нявольна», — выбрался из-за стола да на двор.

Гости за ним, убеждая остаться:

— Томаш, стыдзіся, што ты за нявольнік?

Но он вырвался — и за ворота.

А ў варот Рузаля Лісоўшчынка чакала яго с пакалатком у руцэ. І такі раз-двойчы перацягнула яго па сярэдзіне, прыгаварываючы:

— А дамоў, а дамоў! Чаго блукуняісся!

І пагнала перад сабой, як той пастух барана.

Так рассказывала Полька Шаблоўшчынка, соперница моей бабушки. Да не на такую напала!

Женились они в 1839 году или 1840: точной даты я не знаю.

Вывожу эту, как и другие даты, касающиеся семьи моей бабушки, исходя из точно установленной даты — брака

моей матери: она венчалась 1 ноября 1860 года, имея от роду 17 лет.

Стало быть, родилась она в 1843 году. Тетка Мариля была года на два старшее ее, стало быть, родилась в 1841, а умерла в 1872 или 1873 году от чахотки, 32-х или 33-х лет от роду, оставив сиротой дочку Федоню (Федосью) 3-х или 4-х лет, которая и всего-то на свете прожила 11—12 лет.

Дядька Онуфрий был на два года моложе моей матери, стало быть, родился в 1845 году, а умер в конце 1882 года, стало быть, жил всего 37 лет. Мать моя умерла 14 декабря 1880 года, тоже 37 лет.

Женился дед Томаш, имея около 23 лет, стало быть, родился приблизительно в 1817 году.

Бабушка Рузаля, как говорили, была на год или два старше его, стало быть, родилась в 1816 или 1815 году, а умерла в 1876 или 1877 году, прожив около 62—63-х лет суровой и тяжелой жизни.

Дед Томаш умер в 1846 или 1847 году, значит, совсем молодым человеком, самое большое, 30-и лет.

Младший брат бабушки Винцесь Лисовский, сапожник по ремеслу, который малолетком остался на ее попечении, родился приблизительно в 1821—1822 году, а умер в 1867 или 1868 году, стало быть, жил около 45—46-и лет, оставив на руках своей жены Юльки из рода Кутовских четверо ребят: Виктосю — 11 лет, Юзика — 8 лет, Камилю — 5 лет и Марцисю — грудным ребенком,— и ничего из имущества, ни избы, ни коровы. Жыві, як хочаш і гадуй дзяцей!

Эта беспомощная семья тоже была в некотором роде на ответственности бабушки и росла под ее опытным руководством и не выходила из ее забот и хлопот.

Но пока довольно хронологии, которая, однако, в семейных мемуарах, как и в общей истории, далеко не безразлична.

Возвратимся к счастливым новобрачным — деду Томашу и бабе Рузале.

По-видимому, им предстояло счастье в шалаше. Не помню, чтобы говорилось о каком-нибудь недвижимом имуществе. Но надо думать, что у бабы какая-нибудь хатенка была: припомним, что жениха-то своего она гнала домой.

Во всяком случае, они сразу принялись строить себе прочное гнездо при помощи... иглы.

Шили в две руки. Баба Рузаля и по хозяйству, т. е. со стряпней и с поросенком (это обязательно!) управлялась, и деду в шитье помогала. Трудное дело обзавестись хотя бы бобыльским хозяйством — иглой.

Но тут пан приходил на помощь. Деду был отведен огородный участок из-под старого сада, т. е. нетронутой земли, как обычно, в морг величиной и дано из имения лесу на сруб.

Это уже нечто. Но лес надо было срубить, вывезти, возвести срубы, — и мало ли что еще сделать. А на все надо гроши.

Как-то там им удалось все соорудить, разумеется, не без тяжкого труда и при помощи добрых людей, и изба вышла — хоць куды.

Она слыла у нас под кличкой «бабіна хата» — и много с нею у меня связано переживаний и воспоминаний.

Место выигрышное: на Замковой улице, т. е. главной, проезжей, по которой шел весь товар на базар: дрова, лучина, хлеб, живность; близко от «двара» (второй плац с конца, ныне принадлежит Володьке Кутовскому) и напротив колодец — все важные статьи. Насчет заказов тоже выгодно.

Жилая изба представляла обычный размер 9×9 аршин[73]. В сторонке, близ двери стояла печка с трубой и со спасительной лежанкой: зимой — лучшее место для спанья — и снизу, и сбоку греет, — а днем для сиденья, чтобы «пагрэць плечы». Мы, дети, на ней счастливо возрастали, корь и всякую другую болезнь вылеживали.

Продольной перегородкой от печки к стене была выделена каморка, с окном против печи, где шла стряпня, стояла кровать и был в аршин с четвертью запечек, с очень важным значением: здесь прятались девушки, т. е. тетка Мариля и моя мать, от постороннего глаза, и здесь находил приют от морозов зимний приплод — телят и поросят. Подпечек служил зимним приютом для кур с петухом, где им, однако, хорьки, проведя искусно подземные норы, исправно отъедали головы. Впрочем, и сами нередко попадались в «пастку» (западню), соблазненные пахучим кусочком поджаренного сала.

Пол в каморке был земляной, глинобитный. Тут же у стенки стояла кровать, вдоль другой — широкая скамья и маленький столик для стряпни.

Передняя, так сказать, лицевая комната была вдвое больше и имела «падлогу», т. е. деревянный пол из досок. Это было культурным достижением, как и «комін» в печке, т. е. дымовая труба.

Тут стол обеденный или рабочий стол с двумя лавами по стенам, на которых можно было спать поодиночке, с «услонам» — подвижной длинной скамьей из полубревна и «зэдлікам» — малой скамейкой вроде табурета, и сверх того — две кровати.

Если принять в соображение, что печка тоже служила для спанья, плюс лежанка, где обычно помещались двое, то становится очевидным, что в этой избе смело могли разместиться две семьи. Так оно почти сплошь бывало, а иногда и третья приспособлялась. А во время кермашей или больших праздников, когда шляхта из околиц, вроде Клишина, собиралась в костел, а из деревень мужики и бабы в церковь, то ночлежников собиралось полон дом, человек 15, — и всем место находилось: настелят на полу солому и улягутся все «упокат» (вповалку).

«Чужніку» никогда не было отказа: такова семейная традиция. У стенки от входа еще стояла скрыня тетки Марили, богато украшенная внутри любопытными и поучительными картинками, от которых я не мог оторваться и никогда не мог вдоволь наглядеться. Здесь хранилось приданое тетки Марили, ее личное достояние.

Изба была с сенями, которые были разделены пополам: на собственно сени, где стояла вода в ведрах и кадке, и кладовую, в которой вдобавок был вырыт погреб для картофеля и овощей.

Но так как класть-то собственно было нечего, то нередко кладовка служила загоном для свиней, или сюда выделялся кормный парсюк или свинья.

Изба была с истопкой или, вернее, клетью, так как печки в ней не поставили. Здесь стояла кровать для летнего спанья в прохладе и без мух, стояли ручные жернова, на которых

еженедельно мололи муку на хлеб или ячмень и овес драли на крупу, — бесподобное приспособление, без которого трудно было бы жить бобылке: ближайшая мельница в 5-и верстах, с пудом ржи туда не пойдешь. Туда есть смысл ехать с возом, но для этого надо иметь воз хлеба и свою лошадь. А очереди? А тут — без забот, без хлопот...

Тут же рядом стояла ступа — спасительница с двумя-тремя увесистыми «таўкачамі» (пестамі), тоже ценнейшее приспособление, выводящее из хозяйственных затруднений. Чуть не каждое утро она в деле: насыпали ячменю, «падзучалі» таўкачамі в две или, еще лучше, в три руки — перловая крупа и готова на крупник или кашу.

Тут же хранилась и «акраса», — сало, свиное мясо, солонина, висели на жердочках «кілбасы» — кровяные, крупяные и мясные, и — краса пасхального стола: «шынка» и лопатки (окорока).

Тут же стояли «кублы»[74] с хлебом и кублы с трубками холста, сукна и лишнего платья, например, зимнего летом и летнего зимой.

У добрых людей много чего в клетях стояло, но дед Томаш успел только место заготовить, но не смог наполнить.

Но это еще не всё. Сзади клети стояли хлев для коня и коровы и рядом пуня для сена.

Недоставало только гумна с ёўней (ригой) и током — и хозяйство было бы полным. Но в гумне не было и надобности.

Вот что дед Томаш с бабой Рузалей чудесным образом соорудили из ничего.

Все шло по-хорошему. Баба Рузаля брата своего Винцеся отдала «в науку» к майстру шаўцу[75]: кусок хлеба будзе.

Дед Томаш взял к себе ученика на тэрмін (5 лет) Игнацаго Трыпутня, — изобретательного, гораздого на выдумки, веселого парня и исключительного шалуна и даже хулигана.

— Бывало, ён ні адной жыдоўкі не прапусьціць, каб палкай не шыбануць.

Все шло по-хорошему, як павінна быць. Дети рожались чародна, и крепкие, хорошие дети: дзве дачкі і сынок. Ануфручка, паследыш, ужо поўзаць стаў.

Одного капитального обстоятельства я не выяснил: была ли нажита корова? Надо думать, что была: ибо для чего же хлев и пуня, коли коровы нет? Впрочем, она могла быть только в проекте, в приятных мечтаниях, как цель, которая ставилась на очередь для достижения, и откладывалась копейка за копейкой в специальный фонд.

Итак — Ануфрутка ўжо поўзаць стаў, як з дзедам Томашом нешчасця спаткалась: хвароба.

Какая там была хвароба? Кто знает. И лечил ли его кто-нибудь?

Баба Рузаля все объясняла «нестраўнасьцю», т. е. несварением в желудке. Есть ли такая болезнь?

Портные в то время часто ходили работать по деревням. Это расчет: с хлеба долой.

Так вот работал дед Томаш в деревне Пересеке, за рекой Исой, под Чареей. Накормили там его какими-то колбасами, надо думать — порчеными. И приехал он оттуда больной. Долго ли хворал? Не ведаю.

Ануфрутка ползал и грозил пальчиком старшим сестрам, если они громко возились в своей каморке или в запечке.

Так и умер дед (30 лет) от нестраўнасці.

И осталась баба Рузаля (32 года) с тремя ребятами — мал мала меньше. Эта ранняя смерть, нежданная, негаданная, как громом ее поразила.

— Усё я, бывала, сплю, — хаджу і сплю. Іду к суседзям, каб дамавіну[76] зрабілі, — сплю; к дзяку, каб псалтыр чытаў, — іду і сплю; к папу іду — і сплю... Перад вачамі быдта шэрае палатно завешана, — нічога ня бачу, ногі самі ідуць, а я іду і сплю.

Пахавалі, хаўтуры[77] справілі, — а я ўсё, як скрозь сон рабіла. На трэтцій, ці на чацьвертый дзень трохі ачуняла. Нечага рабіць — трэба, як-небудзь, гора гараваць, дзяцей гадаваць.

Силы еще молодые, проснулась прежняя энергия — и решила вдова Рузаля продолжать мужнино дело. Немудрящий крестьянский покрой она знала, иглой владела, заказчик еще не отбился, а Игнацый Трыпуцень, «вучань», тот, что любил шыбаць палками в евреек, и не подумал оставить дом до срока: два года еще сидел и мотал иглой.

— Як жа гэта, не кончыўшы тэрміна, кінуць работу?

Любопытная черточка тогдашних нравов. Но палками шибать не переставал. И когда вдова Рузаля, ответственная за его поведение, по жалобам снимала «пугу» (кнут) со стенки и, взяв его за руку, стегала пугой, он «у дыбкі» не становился и покорно принимал наказание, как должное, как заслуженное.

Кончился «тэрмін», баба, как водится, справила стол, пригласила соседей на угощенье и, благословив, с хлебом-солью отпустила Игнаську на свой хлеб.

Вскорости кончил срок сапожной выучки брат Винцесь. Посадила его за верстак у окна, а сама у другого, в одиночку, между делом продолжала шить шнуроўкі (гривенник), кофты (залатоўка) и каптанкі (два злоты) — это на хлеб. Огород давал капусту, картофель, ячмень на крупу и разную овощь. И самим было что есть и чем подсвинка откормить.

Хоть хлев был, но коровы не было: силы не взяли.

Дети росли, а с ними росли и заботы. Ануфрутку семи годов взяли «у двор» к панам у навуку па лакейскай части: боты, адзення чысціць, пасуду мыць, самавар ставіць, падлогу націраць... А там і до столу накрываць, і ў стала служыць.

Ни минутки покою, целый день «тупаніна». Все начеку.

Вечером сон морит, дык ён у камінок залезіць, скорчыцца там і спіць.

Тяжела выучка была у Ануфрутки.

А главное — дочери. Девки росли, в тело входили, хорошели. Долго ли до греха? И как их уберечь от дворных паничей? Вырастут — на пригон погонят, в пакаёўкі возьмут. А там пропащее дело: не своя воля, а панская.

Баба Рузаля решила вопрос основательно и сурово: как девки в возраст пришли — запретила показываться на глаза. Из запечка при чужих людях не выходили: нет их. Там они пряли, шили, кросна ткали в клети. Всякую работу умели, но на глаза старались не попадаться.

Этот суровый режим поддерживался спасительной «пугой»: она действительно пугала.

Ходили все в домотканом: сами пряли, сами ткали, сами шили. Новое, чистое — можно было одевать только в церковь.

А придя домой, сними и в скрыню положи: дома одевайся попроще. В такой строгости воспитывала вдова Рузаля своих дочерей — Марилю и Анелю (ангельское имя моей матери!).

Но все идет своим чередом.

Ставши на ноги, «заяглiў» брат бабин Винцесь жениться. Облюбовал себе Юльку Кутоўшчынку. Славная девка: с лица красива, и ростом взяла, телом полная, плотная. Добродушная, веселая, вечно смеющаяся, всем довольная. Одно только — это, впрочем, бабушка находила — с ленцой девица. Но бабушке в этом отношении угодить было трудно. Своих дочерей она вышколила за первый сорт, но это не легкая была выучка и не всем она дается.

Во всяком случае — семьи прибавилось, но, судя по числу мест для спанья, она и еще могла увеличиваться без удручающей тесноты. Так в будущем и бывало: семья прибывала, но место всем находилось.

У деда Винцеся от миловидной дзядзiны Юльки (по-настоящему она мне бабушкой приходилась, но ввиду ее молодости находили, что рано ее «бабить» и меня учили звать ее дядиной, т. е. женой дяди: это деликатность) так с половины 50-х годов пошли дети рождаться: сначала Виктося (около 1856 г. род., в 1928 г. еще была жива), потом Юзик, неизменный товарищ моего детства и как бы ментор мой, родился в 1857 г., потом Камиля — моя ровесница (1862 г.), но несколько моложе меня; кажется, еще жива, значит, — под 70.

В половине 60-х годов семья разделилась надвое: дед Винцесь переехал на житье в дер. Гуту, в 10-и верстах; там у него, перед смертью, родилась еще дочь Марцися.

Умер он в молодых годах, лет под 40. От какой болезни — не знаю. Да и кто их в деревне различает? Помню только, что у него ноги были покрыты струпьями: болезнь, по-видимому, наследственная в роду Порецких (его матери Христины), ибо точно такая же болезнь была у его племянницы Пракседы из рода Порецких, по мужу Голован, да и у его старшей дочери Виктоси часто на голенях вскрывались вены[78].

Хватила его осиротелая семья горя. Пожитков никаких, даже угла своего не было. Дети малые: старшей 11 лет, а млад-

шая — грудная, да еще черной оспой заразилась. Да еще и недоимка в подушных накопилась, которую взыскивали.

И все это, по родству, легло на голову бабы Рузали, ибо дядина Юлька оказалась совершенно беспомощной. Но об этом после.

А теперь возвратимся к основным звеньям в цепи моих воспоминаний: к сватовству моего отца и его женитьбе на моей матери.

Мы видели, что баба Рузаля хитро укрывала своих дочерей, как наседка цыплят от коршуна, когда стали они приходить в цветущий возраст. Им разрешалось выходить только в церковь по праздникам.

И по той же причине, по которой она их скрывала, торопилась отдать замуж: дело вернее будет.

Но шила в мешке не утаишь, и кой-кому было известно, что у вдовы Томашихи две дочери на возрасте, нравов строгих, скромницы, разумницы и работницы на все руки.

Из двух сестер, меньшая, моя мать Анеля, всего более привлекала женихов и миловидностью лица с серыми лучистыми глазами, и мягкостью характера. Видимо, в деда Томаша пошла. Старшая сестра, тетка Мариля, лицом тоже на нее была похожа, черты лица были правильные и приятные, ровный носик, красиво очертанный рот, на правой щеке родинка вроде «мушки», лицом отца напоминала, но нравом пошла в мать: была девкой бойкой, веселой...

Певунья была на редкость, как жаворонок, по целым дням певала.

Баба Рузаля, бывало, говорит:

— Марыля! Пабойся ты Бога: яшчо і лба не перакрысціла, а ўжо пяеш! Но Мариля все делала под песню: прядет — поет, шьет — поет, жнет — поет. И сколько песен этих знала! И откуда она их переняла, сидя до «волі» в запечку.

Баба Рузаля их знала много, но я не могу ее представить поющей. Еще особенность тетки Марили: она была вдохновенной плакальщицей. Своих покойников она чудесно оплакивала, с такими нежными эпитетами, с такими яркими сравнениями, что все это трогало и умиляло более, чем малопонятное церковное отпевание, и у всех лились слезы

обильным потоком. А на похоронах это всего более требуется: горе смягчает.

Поэтому даже дальняя родня рада, коли Мариля на похороны пришла. Она не оставит покойника не оплаканным как следует, по-людски. Как дойдет ее черед, разжалобится, придет в экстаз (надо бы сказать — во вдохновение), повалится покойнику в ноги и как зальется звонким, голосистым плачем со слезами, настоящими слезами, и с какими сладостными, умилительными причитаниями:

— Адкуль у яе гэто толькі бярэтца, — говорили про нее: — думаць, гэта думаць!

Это значит: сколько ни думай, так не придумаешь.

Я много читал и белорусских, и севернорусских причитаний, но редко находил столь образные и поэтические, как тетки Марили. Еще у нее была специальность: убирать невесту к венцу.

И тут она причитала почти так же, как по покойнику, т. е. в том же стиле, да, пожалуй, и в том же роде.

И так же все присутсвующие рыдали: умела тетка разжалобить — «душу ўзварушыць».

И еще одну особенность надо отметить: часто во сне она плакала диким голосом, пробуждая всех. Плач этот был короткий и сопровождался несколькими словами, как причитание, невыразимо жалобный, за душу хватающий, как бы в нем вся горечь жизни, все муки изливались. У меня волос дыбом становился, и тетка Мариля от этого плача просыпалась и рассказывала сон, которым был вызван этот животный вопль. Нервная была девушка, тонко организованная натура. Живи она в Дельфах[79] — была бы пифией[80].

Коса у тетки Марили была гуще и длиннее, чем у моей матери. Но видно, не так уж высоко эта редкая у белорусок особенность ценилась.

Были женихи у тетки Марили, но она стремилась все выше, панича себе ждала, чтобы не запрягаться в крестьянские оглобли. Гордая девка была. И из двух сестер меньшая, скромница и смиренница, не соревнуясь с сестрой, а как-то само собой это вышло, по-видимому, без личной воли и, во всяком случае — без ее инициативы, скорее старшей замуж вышла.

Так прямо из запечка и под венец, даже еще годы не вышли.

Мой отец сразу оценил ее достоинства: не жена, а золото.

Был у нее другой соискатель — приятель брата Онуфрия, Гипполит Пигулевский, на мой взгляд — красавец, виднее моего отца. Но тот лакей, а этот повар — разница большая. Этот мастер своего дела, специалист в своем роде, а лакейство — что за мастерство! А потом — и это главное при данных обстоятельствах — у него, т. е. моего будущего отца,— были в карманах миндаль, изюм, сладкие печенья и разные съестные «абархайки» — бытовая принадлежность всякого повара, которые имели особую привлекательность в глазах деда Винцеся, так сказать, — главы семьи, если и не полного вершителя ее судеб, то все же влиятельного. На эту сторону и напирал приезжий из Полесья соискатель.

Как праздник, так он и появляется: бутылка водки в кармане и закуска с собой.

Долго так по праздникам «пропивали» мою мать. Еще она молода была, годы церковные не выходили, да и не хотелось выходить замуж за «чумака». Речь его казалась странной и смешной, манеры грубоватыми и мужиковатыми, носил он рубашку с широким каўняром (воротником) и хустка на шее была привязана большая, як хомут, а главное — пил гарэлку памногу. Ходили тоже слухи, что в своем месте до девок был падок, и нравом суров, на драку скор.

Все это не привлекало девичье сердце и, может быть, Гипполит, хотя тоже хохол, но более мягкий и обходительный, был ей милее.

Во всяком случае, когда дело дошло до формального сватовства, девица, хотя и молода была и из родительской воли не выходила, но твердо заявила, что за Юрку замуж пойдет только в том случае, если он перестанет пить водку.

Жених поклялся перед иконами, что водки пить не будет. К чести отца, надо сказать, что клятву он сдержал. И никаким соблазнам в этом отношении не поддавался.

Это было нелегко: нередки были случаи, что ему, как хозяину, приходилось угощать гостей, а хозяин, по обычаю, начинает, пьет за чье-то здоровье, в чьи-то руки, это считалось

обязательным, своего рода ритуалом, отец в таких случаях, извиняясь, только «пригублял».

Пил вино, мед, пиво — на это не было зарока, — но водки не пил.

Мать чутьем поняла, что в этом все дело, т. е. что это главное для спокойствия семейной жизни. В результате в метрической книге Холопеничской церкви появилась запись, что ноября 1860 года Юрий Лукьянов Богданович 23-х лет вступил в законный брак с Анной Фоминовой Осьмаковой 18-и лет (невесте был годик прибавлен).

Дядька Онуфрий так рассердился на сестру и родных за этот выбор, что и на свадьбу не пришел.

Я помню свою мать молодой, помню ее лицо с двух моих лет. Лицо сестры Павлинки всего более его напоминает. Овал, слегка продолговатый, прямой нос, гладкий лоб, серые глаза; кожа на лице тонкая и белая с легкими веснушками около носа. Но что было для нее особенно характерным — это лучистый взгляд, который бывал у Магдалены и, преемственно, у Нюты, и мягкая улыбка, которая редко сходила с ее красиво очертанных губ. Взгляд и улыбка освещали ее лицо особым теплым и приветливым светом: доброта в лице светилась. Доброта и сострадательное отношение к людям, тонкое понимание чужих чувств, настроений и переживаний и удивительная деликатность приемов и подходов к человеку была ее основным и постоянным свойством.

Я видел многих людей во всех классах общества, много наблюдал и много сравнивал и умею быть объективным и беспристрастным, и должен сказать, что таких тонко организованных женских натур, как моя мать, простая и неграмотная крестьянка, мне редко приходилось встречать.

Есть в человеке хорошо понимаемое, чувствуемое, но трудно поддающееся определению свойство некоторых натур, которое называется тактом. Это чутье момента, положения, чужих настроений, переживаний, это чувство соответствия и созвучия моменту, это чутье интуитивное, как отзвук в тон настроенных струн — это чувство такта от природы ей было дано и, руководствуясь этим внутренним подсказом, она

деликатно обходила шероховатости, угловатые места в душах людей и никого не задевала и не попадала впросак.

Только такая жена и могла ужиться с моим вспыльчивым и неукротимым в гневе отцом, не знавшем удержу в молодости, только такая его умела обуздать благоразумием, кротостью, мягким подходом — всякая другая, при его необузданном характере и склонности в гневе к жестокой расправе, долго бы с ним не прожила.

Весной 1861 года, не знаю по какому поводу, но, несомненно, с оказией и с согласия пана, отец повез свою молодую жену в Рудобелку. Думаю, не без тщеславия тут было: приятно блеснуть перед родичами молодой женой.

Добывать счастье и богатство можно где угодно, но блистать ими всего приятнее на родине.

Матери в Косаричах и Рудобелке решительно не понравилось: она местечковая, из среды, слегка тронутой культурой (это разница), а там — деревенщина, народ грубоватый и говор несуразный.

— Ну і чудно ж яны гаворуць: усякае наша слова на свой лад выварачываюць. Тые самые словы — а ў іх смешна так выходзюць. А другого — й саўсім не зразумееш: нет ведама, што балбочуць: Гріцко та Оксана! А гэта Грышка ды Аксіння, не скажэ: хвост, а хвіст; каровы ў іх — тавар, як у крамі; а на валоў крычаць: цоб — цабе!

Саўсім дзікі народ!..

Суждения я воспроизвожу по тем рассказам, которые мне в детстве приходилось слышать от матери и других, побывавших в Рудобелке.

Не долго они там оставались: мать рвалась в свои Холопеничи, к родне, твердо решив там обосноваться и там строить свое гнездо.

От «скарбу» (из имения) дали подводу — и они пустились в далекий путь.

Одно доброе дело было сделано в эту поездку — и оно делает честь моим родителям — взяли с собой младшую сестру отца, сироту Ганну, которой в это время было около 9-и лет. Была она, по словам матери, в забросе, ходила в одной рубашонке, стриженая, чтобы вши не заели. К ним же

пристала молоденькая чернобровая Марьянка, падчерица Грышкі Парэцкаго, тоже из Холопенич, и возвратившаяся на родину из чужой стороны.

Эта попутчица, может быть и невольно, много огорчений причинила в пути моей матери.

Отец, по своей скверной привычке, все время с ней грубоватые шутки шутил и заигрывал, — она же к тому глуповата была и повод для шуток давала, а мать это злило и огорчало, так что она от обиды по ночам тихонько плакала дорогой. Много ей по таким поводам приходилось плакать в молодые годы, пока отец не угомонился или пока она не поняла, что это несерьезно.

По приезде в Холопеничи поселились молодые в отдельной комнате при панской кухне.

Мать уже была в первом периоде беременности.

Между тем в усадьбе появилась в горничных красавица Наста Новикова, за которой увивалась вся дворня, начиная с моего дяди Онуфрия, в то время молоденького парня лет 18-и, пользовавшегося наибольшим успехом.

Не отставал от других и мой отец.

На этой почве разыгралась первая семейная катастрофа, несмываемым пятном лежащая на совести моего отца.

Был вечер, мать сидит одиноко у печки, сидит и плачет, поджидая мужа, который, она знает, у Насти развлекается. Уже поздно. Но вот и он появляется. Положив руку ей на голову, слегка стукнул затылком о печку:

— Чаго сядзіш? Угарыш!

Это была грубоватая любезность.

Но у матери накипело на сердце. И она «с сердцем» ответила:

— Што табе за дзела? Ідзі к сваей Настэчцы!

Только всего и было сказано. Но это был вызов. Тут слышался протест, обида, гнев.

Он не терпел противоречий.

— А! Дак ты так?..

Он снял со стены веревку, швырнул мать лицом в подушки — озверелый, не помня себя, стал стегать ее веревкой. Входя в раж, он тройчы принимался стегать. Исполосовал все тело.

Это называлось — учить и «проучить».

Много говорят о побоях мужьями жен. Даже жалостные песни сложены на эту печальную тему:

А з вячора ды грымела камора,
А з паўночы жонка мужа прасіла:
— Ой, мужу, мой мужу!
Ты яснюсенькій Крулю!
Ты ня бі ж мяне ды ў галованьку больна.
Не мачы ж маёй ты пасьцелічкі кроўю,
А маіх дзетак не рабі сіротамі!

Об этом поется: стало быть, такое бывало. Но я должен сказать: бывало, но редко. И случай с моей матерью был исключительный случай, встретивший всеобщее осуждение, стало быть, выходящий из ряда обычного.

— Бедная, бедная Анелька! — так горевала бабушка Рузаля. И дядина Юлька — якому кату[81] іна ў рукі папала!

А дальше? А дальше — ничего. Все обошлось, как обычно в то время обходилось. Что всыпано — не вынешь, и мужа с женой, да еще беременной, не разводить. Этого, вообще говоря, не бывало. Погоревали, жена поплакала — и на том дело кончилось.

Каялся ли в этом жестоком поступке мой отец? Не думаю. Для него было достаточно внутренних мотивов. А эти мотивы заключались в его характере, в свойствах его натуры.

Осуждала ли его мать? Да, осуждала, но и простила, объясняя свойствами его запальчивого характера.

Это значило: приноровляйся, не раздражай.

По-видимому, не без связи с этим печальным случаем, отец с матерью переселились из двора (чтобы меньше было соблазна) в школьное здание в местечке.

В этом временном помещении я родился в день Благовещенья (25 марта) 1862 года, днем, под пенье жаворонка.

Эта поэтическая подробность отмечалась бабушкой:

— Як раскрылі вакно, каб даць свежае паветра парадзісі[82], а жаваранкі ў небі так і заліваюцца!

В той же школе я учился и впоследствии сам в ней учил ребят, впрочем, еще в качестве помощника учителя.

Как будто место моего появления на свет предопределило мою будущую профессию, ибо, чем бы я ни занимался в последующей жизни, но по призванию я был всегда учителем: всю жизнь учил, не закрывая рта, в школе, в лесу, в поле, в чайной, в вагоне, на пароходе, в крестьянской избе, в салоне, — словом всюду, где представлялся случай и были слушатели, кто бы они ни были.

Иногда это бывало глупо (явно — не в коня корм), но я не смущался и никогда не каялся: в большинстве случаев успех был несомненный.

Бабушка Рузаля — отменная знахарка и гадалка — не могла не погадать о судьбе своего первого внука. Гадала она как-то на воде и говорила, оборотясь к матушке и бабке — пупорезнице Тэкле Тоўкачихе:

— Афіцэром будзе: гузікі на ём бліскучые.

— Ой, а можа, няхай Бог крые, салдатам, — возражала матушка. Но бабушка твердо настаивала:

— Не, і тут у яго золата многа, — и показывала на грудь и плечи. Смелая была гадалка бабушка! Она ошибалась, но не вполне: бліскучые гузікі ў мяне былі. А этого достаточно, чтобы оправдать ее слишком смелое пророчество, по тогдашнему положению вещей.

«Хресьбины»[83] мне устроили пышные. Две пары кумов и все именитые.

В первой паре стоял сам молодой пан Лапа (Доменик Александрович) с ксендзовой сестрой Ганной Свенской. Вторая пара была попроще: какой-то землемер (каморник) и попова дочка. Назвали меня Адольфом, ласкательно звали Адолик, а сокращенно Адоль. Это имя я носил до 16-и лет. А впоследствии, при выдаче метрики из консистории, последняя переименовала меня в Адама, назвав якобы более православным именем.

Бабушка, которую все занимало касающееся моей маленькой особы и которая неизменно по всякому поводу предрекала мне великую будущность (в Холопеничском, разумеется, масштабе), и тут отметила и неоднократно потом повторяла:

— Спакойна лежаў і ўсё глядзеў на свечкі.

Это должно было знаменовать стремление к свету. В чем в чем, а в этом бабушка не ошиблась.

Приглашение в кумовья своего пана, еще вчера владельца крепостных душ, было делом не только тщеславия — «пакуміцца» с знатью — но также и не без расчета: на кума, по тогдашним воззрениям, возлагались известные обязательства по отношению к крестнику. Видимо, учитывалась эта сторона дела.

Он платил попу и делал подарки крестнику и его матери. Для бедноты это было соблазнительно. Пан же в таких случаях демонстрировал «патриархальные» отношения к своим недавним «подданным», восседал с ними за одним столом на «хресьбинах». Идиллия еще неизжитого крепостничества.

Но радость родителей, надо думать, была чрезвычайной, когда на прощанье кум сказал, чтобы завтра пришли в усадьбу за коровой, которую он дарит крестнику.

Это была Матрунка, молодая тиролька, рыжей масти, с отвислой складкой под шеей.

Это был новый член семьи, основа ее благосостояния, кормилица и поилица. Как ее ласкали, как за ней ухаживали!

Я вижу ее, как живую, и помню, как плакала мать, а вслед за ней и я, когда с ней расставались перед переездом в Бобруйск. Но это еще впереди, а пока она годков пять кормила и радовала нас.

Отцу был отведен прекрасный плац под дом и огород, как обычно, в полдесятины (морг) через три дома от «бабінай хаты» и быстро началась стройка дома и сарая для Матрункі.

В этом доме я осознал самого себя.

Он был построен на две половины, соединенные сенями с кладовой и довольно обширным погребом, и с дощатыми полами, что у крестьян не всюду встречалось. А главное — он был на каменном фундаменте и у двери высилось крытое крыльцо с двумя скамеечками по сторонам: все как следует, как у хороших людей бывает.

Как родители справились с этой задачей, откуда раздобыли средства на стройку (лесу, конечно, пан дал) — трудно сказать. Видимо, своего труда было приложено немало.

С этим домом у меня связаны мои самые ранние воспоминания, тут зародились мои первые впечатления и представления об окружающем.

Я помню себя с двух с половиной лет, а может быть, и с двух.

За первый срок я ручаюсь, ибо время проверяется фактом, с которым воспоминание связано.

Картина события такова.

Мать, сидя на кровати, шила что-то из белого «перкалю» (ситцу). Сестренка заплакала в колыбели. Мать взяла ее на руки, распеленала, покормила грудью и положила на кровать побарахтаться.

Я тут же, сидя на кровати, играл блестящими остроконечными ножницами. Не знаю, как это случилось, но я ткнул острым концом ножниц в бровь Магдаленки (счастье, что не в глаз!). Потекла кровь, и она неистово закричала.

Мать бросилась к ней. Я живо помню ее испуганное лицо, как она поспешно вытирала кровь кусочками коленкора, и радость, что глаз цел.

Я понял, что сделал что-то скверное.

Мать говорила:

— Глядзі — якую ты ваву зрабіў сестрыцэ!

На брови маленького личика виднелось красное пятнышко от укола. Я ласкал ручонкой уже спеленатую девочку и говорил:

— Зорачка мая!

Разница в возрасте между мною и Магдаленой в 2 года и 3 месяца с днями (родилась 20 июля 1864 года). А так как она еще пеленалась, что у нас практиковалось до 6-и месяцев, то мне было около 2-х с половиной лет.

Не могу в точности датировать другого случая, врезавшегося в мою детскую память. По-видимому, он имел место еще до рождения моей сестры, так как я спал еще в колыбели и помню все лица, бывшие около колыбели, помню всю обстановку до мельчайших подробностей, но чтобы была другая колыбель этого я не помню: стало быть, мне было около 2-х лет или несколько менее.

Мать сидела на печке и пряла, а я барахтался у ней за плечами, забавляясь какими-то вещицами, между прочим, широким розовым гребнем. На краю печки около трубы стояла жестяная кружка с солью, которой я захотел возобладать. За плечами матери я полез за ней, с гребнем в руке.

Не знаю, как это случилось, но я упал с печки (т. е. с высоты более 2-х аршин). Конечно — закричал. Помню искаженное испугом лицо матери. Помню, как она меня подняла и облила холодной водой (вернейшее средство смыть последствия испуга). Далее помню, как щупал доктор Павэлак руку, боль, мой крик и перевязку.

Чтобы меня успокоить, мне давали кошелек с серебряными монетами. Это меня занимало, хотя сребролюбием я никогда не отличался.

Я спрятал кошелек под подушку. Проснувшись, я уже не нашел своих сокровищ и, конечно, заплакал.

Мне объяснили исчезновение тем, что мышка украла.

Я не понимал, что это значит и как это случилось, ибо и о мышке понятия не имел, но, очевидно, счел, что это в порядке вещей. А рука левая была перевязана и сильно болела. Потом из нее извлекли тонкий осколок кости.

След этой ранки, через которую пробилась косточка, и теперь виден.

Вот, по-видимому, наиболее ранние из моих детских воспоминаний.

Они связаны с тяжелыми случаями. Но я помню из того времени вечеринку, игру отца на гармонии и пляски в нашей новой избе с ровным дощатым полом. И помню множество разных других эпизодов (например, как месяц быстро бежал между тучами, когда меня несли к бабушке), которых нет надобности описывать.

Даже помню те образы, которые у меня неизменно связывались с разными словами: татка, бацька, бабка, мужык и т. д. Они ничего общего не имели с этими лицами и понятиями.

К тому же времени относится мое воспоминание о том, как мать понесла меня в церковь. Это было летом и, видимо, в большой праздник, ибо народу было много.

Непривычная обстановка, большие красочные иконы, свечи, возгласы и пение, особенно пение тоненькими голосами, которые звучали, как колокольчики, все это, видимо, произвело сильное впечатление, если сохранилось в памяти до глубокой старости, притом с ясностью необычайной.

Я живо представляю картину, которая меня немало удивляла: моя мать на коленях пред иконой Божьей Матери, шепчущая молитву, а я все время вертелся и озирался по сторонам, глядя на стоящих на коленях и бьющих поклоны. Я, видимо, мешал матери как следует молиться (а помолиться всласть для нее было высшее блаженство, которое ей редко удавалось), я ворочался по сторонам, и она меня одергивала и поправляла, я часто громко обращался к ней с вопросами, а она грозила мне глазами и шепотом меня усмиряла. Я, наконец, соскучился и стал проситься домой.

Конечно, всего ярче врезались в память происшествия, так сказать, катастрофического характера, вроде описанных выше.

Но много сохранилось в памяти картин, видимо, позднейших, характера бытового, обыденного.

По близости расстояния часто нас навещали бабушка, тетка Мариля, так как в сущности мы жили одной семьей, и летом я сам, без провожатых делал путешествия за 50 сажней (в точности 48) и обратно, т. е. к бабе и домой. Это, конечно, был подвиг, ибо на пути встречались свиньи, козы и другие страшные звери. Но я не трусил, тем более, что кто-нибудь стоял у ворот и наблюдал за моей отвагой. Преодолев не столько препятствия, сколько расстояние, я успокоительно махал рукой: дескать — все кончилось благополучно, и я не на такие подвиги готов.

Каждый раз в таких случаях я горделиво заявлял: «я сам», т. е. в эскорте не нуждаюсь. И бабушка успокоительно подтверждала: «Ну-ну, мой унучэк, ты сам, ты сам». «А як жа, ён сам пойдзець: ён хлопчык смелый!»

Это, разумеется, обязывало. И я старался быть на высоте положения. Но, видимо, меня поощряли, но плохо доверяли, по крайней мере, на первых порах.

Новая изба — чистенькая, со светлыми окнами, вдобавок — створчатыми, многих привлекала. По праздникам девушки-подростки собирались к тетке Ганне. Приходили по праздникам Виктося, Анэта, Аўдуля Новикова, Людвися и другие. Садились на крашеной лаўцы, которая претенциозно звалась канапой или взбирались на лежанку — пели песни

и болтали о своих делах и интересах. А не то, собрав ребят поменьше, играли в «коршуна», в «Бога і чорта», в «рэдзьку», «кулгокушкі» и др. игры, которые были так занятны наличием в них драматического интереса, борьбы и ловкости, а главное — что все были действующими лицами, и я в том числе.

Весело было по праздникам, и я такие игры больше любил, чем даже вечеринки для взрослых, которые в нашей новой и просторной избе (впрочем, 9×9, как обычно) с гладким полом и танцевали под гармонику и скрипку. Но это плясали взрослые. Особенно отец ловко откалывал козачка, притопывая подковками и сверкая начищенными голенищами.

В сторонке я пробовал изобразить нечто подобное, под поощрительные возгласы, но чувствовал: хорошо-то — хорошо, но справедливость требовала сказать, что это далеко не то. Особенно присядка мне не удавалась: я прямо падал на тяжеловатый зад.

Во всяком случае — с двух с небольшим лет или около этого, может быть, с двух, начинаются мои воспоминания. А до этого времени, для меня лично все покрыто мраком, как доисторическая жизнь человечества.

Но это не значит, что от этого темного периода ничего не сохранилось. А бабушка на что, а мать, а разные тетки? Они наперерыв, дополняя друг друга, слагали повествования об этом довременном моей биографии. Я уже слегка коснулся моего поведения во время крещальной церемонии, по сведениям, почерпнутым из того же источника. Сколько мне известно, ребята в это время, особенно после погружения в воду, неистово кричат, а я молчаливо предавался созерцанию и даже стремился к свету. Может быть, потому держал себя прилично, что меня не погружали в воду, а еще по свежему униатскому обычаю крестили через обливание, что держалось и много позднее. Оттого местные староверы нас презрительно называли «обливанцами».

Опираясь на те же семейные предания, должен сказать, что мне приписывали следующие подвиги: ходить стал до году. Это вполне вероятно, так как это вообще не редкость и в нашей семье часто наблюдалось.

Первую порку розгами я получил от отца в 10 месяцев. Это он удостоверял сам.

Дело было очень просто: мать на поле жала, а я оставался дома и голодный, а может быть, и под влиянием более сложных чувств — неистово орал. Дошло до того, что отец персонально понес меня на поле. Но я и дорогой орал и делал попытки вырваться из его рук.

Мое поведение весьма обычно и довольно понятно: я склонен его оправдывать. Но отец смотрел иначе: буйство, сопротивление его отцовской власти. Он сломал розгу и высек меня. По его словам — я «зашелся» так, что посинел: но кричать перестал. Эта первая катастрофа ускользнула из моей памяти и вообще — я зла не помню. Но может быть, с этого случая я отца боялся, как огня. Правда, это чувство неоднократно подогревалось новыми порками и, значит, наслаивалось. Но это так: «Я духу яго бояўся».

Это было руководящим началом его воспитательной системы по отношению ко мне (ко мне одному: сестер он никогда не сек); он верил во всеисцеляющую и спасающую силу розги как самого мощного воспитательного средства.

В этом отношении он сходился во мнениях со знаменитыми педагогами его времени, как Пирогов[84], Юркевич[85] и многие др.

Уж если они, если школа его времени практиковала порку, то моему отцу и Бог велел.

Так что я был жертвой педагогической системы и духа времени.

Теперь понятно, что нельзя было ожидать от отца пощады «кульгавому» и понятна его расправа с матерью: это тоже была система — употребление «сильных мотивов», по выражению Юркевича.

По тем же преданиям — говорить я стал до году, а годовалый произносил целые фразы.

В подтверждение приводился случай, когда меня отнимали от груди. Чтобы легче переживалась эта тяжелая катастрофа, меня оставили у бабушки, а мать ночевала с отцом в усадьбе. Мне такая разлука, видимо, была несносной, и я так кричал, что бабушка не выдержала характера и ночью понесла

меня в усадьбу на кормежку. Но это было время польского восстания и у входов и выходов из местечка стояли караулы, которые не пропускали проходящих до определенного часа: военное положение.

Бабушка просила пропустить, объясняя причину, а я ее энергично поддерживал:

— Прапусьціце: я цыцы хачу!

Фраза довольно сложная для первого раза и явно вдохновлена была «сильным мотивом».

Теперь о моем скептицизме и изобретательности.

Попробовали меня надуть и молочком удовольствовать. Это взамен-то теплого, благоуханного материнского лона!

Для этого матери на грудь наложили натертой свеклы и меня убеждали:

— А-яй! У мамы вава: казак цыцу адрэзаў!

Я не поддался этим ухищрениям, а сбросив ненужную свеклу, приник к сладостному лону — этому источнику жизни человечества.

Объективно соображая время между моим рождением и сестры Магдалены, а также время восстания в наших местах, я думаю, что мне было больше года, а поэтому я уже мог выражаться фразами, особенно под влиянием «сильно действующих мотивов».

В нашем роду бывали примеры очень раннего развития речи: Верочка Магдаленина после года связно говорила, а к двум годам произносила целые стихотворения Пушкина, Майкова и других. На нее смотрели, как на диво. Произносила она отчетливо и с выдержкой. Это были скороспелые опыты ее тетки Павлины.

Долго со мной возились, чтобы отучить от груди.

Я несколько раз впадал в рецидив.

Когда мать оказалась безнадежной, я соблазнялся раздражающим примером маленькой Камильки, которая исправно сосала грудь дядины Юльки. И я к ней умоляюще приставал:

— Дзядзінка, родная, дай жа ты мне пассаць, хоць з напарстачык (наперсток)!

Если эту трогательную мольбу я сам сложил, как повествуют семейные предания, то я был красноречив и даже

поэтичен: «хоць з напарстачык», конечно, поэтическое сравнение.

И дядина Юлька меня частенько баловала.

Память у меня начинала развиваться весьма рано: я быстро запоминал песни и припевки.

Пользуясь этим, дворовые лакеи учили меня скверноватым припевкам и, подкупив кусочком сахару, посылали в кухню твердить их отцу.

Отец и тут оставался верен своей воспитательной системе: он выдергивал из веника розгу и меня сек.

Этого я не помню, но это удостоверяет дядя Онуфрий, который, может быть, и сам был в этом деле не без греха. Он мне сообщил те припевки, которые я, в детском неведении и непорочности, преподносил в дар грозному отцу.

Но я помню, как лакей Антоний, с великолепными черными усами, учил меня выпрашивать чай у панов.

Затвердив подсказанные фразы, я входил в столовую и, остановившись у дверей, говорил:

— Будуць піць гэрбату, ды ня ўсе!

И если меня спрашивали:

— А хто ж ня будзе піць? — я отвечал:

— Адолік, відаць, ня будзе піць.

Меня после этого сеанса усаживали за стол и поили «салодкай гэрбатой». Не считаю себя повинным в этом попрошайничестве. Вот, кажется, и все из «мрака времен».

Этот «мрак» совпадает с началом и продолжением польского восстания, которое коснулось и местечка Холопенич в дворовой части.

Местный отряд сформировался около с. Лисичина (в 15-и верст.), где довольно много мелкой шляхты. Он шел по помещичьим усадьбам, запасаясь обозом, провизией и фуражем[86], а также вербуя людей. Деревня в этом смысле была безнадежна. Крестьяне ясно видели или чутьем угадывали, что это движение прежде всего классовое, а потом — национальное. Кто формировал отряды или «банды», как их называли царские власти? Помещики, вчерашние владельцы крепостных душ. Из кого комплектовались отряды? Из тех же помещиков, мелкой шляхты и дворни, т. е. «подпанков»

и «панят», — вчерашних непосредственных и злейших врагов крестьянства, их самых жестоких притеснителей.

Это решало вопрос.

Среди крестьян ходили слухи, что движение имеет целью восстановление крепостной зависимости. И по составу участников было похоже на то. То, что шли дворовые командующей части, было понятно: их интересы были тесно связаны с интересами пана, и с падением крепостной зависимости — крестьян, они много теряли в своем полупривилегированном положении.

Крупные паны прятались или откупались, а мелкота из молодых — комиссары, экономы, лесничие, ловчие, писаря — те волей или неволей шли.

Национальная окраска движения для белоруса, особенно православного, ничего не говорила и имела значение скорее отрицательное: он различал себя от поляка и к поляку относился, как к чужому. «Польские павшистки» (już powszystkiem — уже все, из анекдота) была насмешливой кличкой шляхты и ополяченной дворни.

В просторечии вера православная называлась русскою, а католическая — польскою, но и католики-белорусы (главным образом, мелкая шляхта и мещанство), хотя в их речи и сказывалось польское влияние и при случае они старались щегольнуть «польщизной», которую знали больше по молитвенникам и проповеди костельной, но все же не считали себя настоящими поляками, и классовый интерес, по меньшей мере, оставлял их нейтральными. Поэтому в Беларуси повстанческое движение не имело шансов стать массовым. А стало быть, заранее было обречено на неудачу.

Местный отряд был незначительный: человек в 150—200. «Довудцей»[87] был в нем капитан Трощинский.

Молодой Лапа, узнав о приближении отряда, спрятался в саду в погреб: ясно, что шкурные интересы преобладали над патриотизмом.

Отряд рассыпался по усадьбе и в первую голову стал вербовать сторонников. Не много навербовал — человек 5, в том числе «кухтика» Степана, в качестве кашевара. Он был крестьянин и пошел поневоле. Дорого ему впоследствии обошлось

это мимолетное и подневольное участие! Пять лет спустя (вот когда еще производилась расправа!) его так пороли в волости, что пришел он к нам бледный, как полотно, и попросил переменить белье, которое, как рубашка Геракла, срослось с иссеченным телом. Я помню эту ужасающую картину. Сесть он не мог. Когда стали его разоблачать, то сгустившаяся кровь пластами падала на пол, а спина представляла сплошную рану. Отец, как умел, забинтовал ее холстиной.

Вдобавок его вскоре сдали в солдаты, где он окончательно сбился с пути и, по выходе со службы, превратился в босяка.

Отряд повстанцев основательно пополнил свои запасы в богатой усадьбе. Нагрузили на телеги мешки муки, крупы, овса и картошки, была забрана вся ветчина и сало; сильно пострадал птичник, не забыли погрузить «куфу» водки.

Отряд двинулся, минуя местечко, по дороге в Борисов.

По пути встретили плотника Корнея и его прихватили в обоз. Напрасно Корней кланялся панам в ноги и Христом-Богом молил отпустить его: «Паночкі, даражэнькіе, пусціце мяне! Дзяцей у мяне, як бобу, а хлеба ні дробу: хто іх карміцьпаіць будзе?»

Не пустили Корнея, и пошел он в подручные к Степану.

Недолго длилась эта затея. Отряд прошел 7 верст от Холопенич и остановился возле деревни Подберезье на привал при речке Наче.

Степан с Корнеем и другими обозными навесили котлы и принялись за стряпню. А паны за выпивку и закуску.

День был летний, жаркий. Многие соблазнились купаньем в реке. А между прочим, отряд солдат, под прикрытием леса, напал на повстанцев врасплох и открыл пальбу по безоружным. Поднялась суматоха, крики «до брони» [к оружию], купавшиеся, выскочив из воды, на бегу одевали рубашки, а по ним стреляли вдогонку.

Много здесь было перебито и переранено, пока отряд врассыпную кое-как открыл огонь и, отстреливаясь, стал отступать за деревню в березняки. Судя по рассказам крестьян-очевидцев, в сущности это было бегство. Раненых приканчивали штыками. Около половины успело уйти, но отряд был разбит и рассеялся.

Степан и Корней, бросив котлы, пустились бежать без оглядки и благополучно добрались домой.

Корней дешево отделался, а Степан жестоко пострадал.

Пять обозных телег завалили трупами и в демонстративных и следственных интересах повезли хоронить в Холопеничи.

На католическом кладбище были вырыты три огромные ямы.

Туда же согнали народ и, разложив окровавленные и посинелые трупы, превратили кладбище в импровизированный морг, заставляя согнанных осматривать трупы и опознавать. Имена опознанных записывали для дальнейшего расследования. Многие, особенно женщины, плакали при этом печальном зрелище, а казаки таких стегали нагайками.

— Как сметь плакать по мятежникам!

— І мяне паласнуў па плечах Караваеў. Каб яму рука адсохла! — говорила дядина Юлька: — Крававы рубец доўга не сходзіў. Такая праклятая рука была ў чалавека.

Трупов, видимо, было много в ямы накидано: над ними долго высокие холмы виднелись, — грустные памятники напрасно загубленных сил. Все они — молодые и здоровые — не дешево стоили трудовому народу, и ушли из жизни неоплатными должниками.

Последствия не для одних повстанцев и их близких были тягостные, но и для местного населения тоже.

В Холопеничах водворили отряд казаков, видимо, с полсотни или больше, под начальством сотника Синепупова. Он являлся главным и безответственным вершителем судеб местного населения.

Занял он дом Хаси Кулихи рядом с избой бабы Рузали — соседство не из приятных, ибо здесь часто производили казачью расправу, стегали в чем-нибудь провинившихся крестьян казачьими нагайками.

К Синепупову стали водить «у наночкі» русокосую девицу-сироту Верку. Так она и исчезла куда-то вместе с отрядом.

Надо думать, что тяжелый крест ей выпал на долю.

Рядовых казаков обслуживали бобылка Полька-тоўстая и Юлька-Марынишка, дочка бобылки Марины. По матери ее

звали потому, что отец был неизвестен. Юлька-Марынишка долгое время была сущей язвой местечка Холопенич. Рослая, здоровая, бесстыжая, с калмыцким типом лица, она по уходе казаков промышляла воровством. То белье с чердака или сарая выкрадет, то курицу или поросенка стянет, а иногда в клеть заберется или под амбар подкопается и более серьезно обчистит мужика. Многим приемам она научилась у казаков, а многому в борисовской тюрьме, где она часто сиживала. И частенько избушку бобылки Марины перетрясали после каждой кражи. Это стало обычаем: как покража, так без церемонии идут «калацiць», т. е. обыскивать Марину и ее бесстыжую дочку. Я помню, как был обокраден ключвойт Хруцкий. Ключвойт — это прежний полицейский чин, вроде урядника. Виновата ли в этом была Юлька или Ларка и Митроха — раскольники, профессиональные воры, но прежде всего обыскивали Юльку и потянули на допрос «у стан», т. е. в становую квартиру.

Мы, мальчишки, двинулись вслед гурьбой.

Что там было и делалось на допросе — это знают Юлька да ключвойт: в своем деле, чай, постарался. Кстати, пристава не было, и он был главным начальством.

Но вывели Юльку-Марынишку на грязный, после дождя, двор и два десятника стали ее валить в грязь, чтобы высечь. А ключвойт в фуражке с кокардой (в этом вся сила), стоя на крыльце, грозно прикрикивал, поощряя ревность десятских.

Долго они возились с Юлькой, скользя по грязи, долго раздавались площадные ругательства ключвойта по адресу неудалых десятских, ругались отборными словами и десятские и Роман — «зюки бярозовые», ругаясь, прибавлял: «Няўжэш такi мы яе не здолеем!» Но Юлька, отругиваясь подлейшими словами, тяжело дыша и с пеной на губах, держалась стойко. Платок у нее был сбит и валялся в грязи, волосы были спутаны, видимо, в них запускали руки, но она, разъяренная сильная, как медведица, изворачивалась, вырывалась из рук и отшвыривала десятских.

Я следил за борьбой с замиранием сердца и — должен сознаться — все мои симпатии были на стороне злосчастной Юльки-Марынишки, заведомой воровки. Мне, разумеется, не приходил на мысль вопрос: по какому праву ее хотят сечь?

Такого вопроса не только у меня, но и у людей взрослых не могло возникнуть: все тогда были уверены, что начальство может сечь. Десятники, конечно, в этом не сомневались. Может быть, несколько сомневался пан ключвойт, но, несомненно, был уверен, что сойдет. Что такое Юлька-Марынишка? И куда пойдет она жаловаться? К нему же, ключвойту? Или в волость? Так что ему волость сделает, когда он ей не подвластен? Или даже к становому? А становой не то же ли делает? Сколько раз он так же валял Ларку-куроцапа из Боборыки или Митрюху из Валобы?

Дело бывалое, и общая спайка.

К моему величайшему удовольствию, Юльку так-таки два мужика не одолели. Ее даже не посадили в «холодную», где она не раз сиживала: видимо, ее дело было чистое, никаких следов.

С злобным торжеством она выбежала из ворот, неся грязный платок под мышкой. Отчаянно ругаясь, она выражала свой протест способом редко практикуемым, но выразительным — протест злобного бессилия: через короткие промежутки она оголяла свой зад и, ругаясь, внушительно кивала им в сторону становой квартиры.

Я не скажу, чтобы я был возмущен такой формой протеста: надо же было дать исход ее напрасной обиде и ее душившей злобе. Это была высшая форма протеста из доступных ей.

Вскоре и Юлька-Марынишка, как и Верка, исчезла с Холопеничского горизонта, найдя более выгодное применение своим талантам в каком-нибудь городе.

Полька-Тоўстая, третья жертва казачества, еще долго оставалась в Холопеничах, жила бобылкой во всеобщем отчуждении и даже презрении. Ходила поденщицей «у двор» и жила, в общем, скромно.

Только когда солдаты стояли постоем в Холопеничах, то искателей обыкновенно к ней направляли, и она, так сказать, отбывала общественную повинность, спасая девиц и мужних жен.

Мой дед Винцесь тоже был в числе пострадавших.

Отбывал он по наряду вместе с своим приятелем Игнацым Трыпутнем ночную «варту». Походив по улицам,

постучав в стуколку, они уселись на базарной площади на ганку у Расеты да и вздремнули с устатку. А сотник Синепупов проверял караул и застал деда спящим сном неповинным. Ни слова не говоря, он стеганул его нагайкой через лоб и рассек переносицу. Пришел он домой окровавленный. Долго он с ней возился. Кое-как рана затянулась. Но след казачьей нагайки остался до самой смерти.

Но это не все.

Украл казак поросенка у деда Винцеся и был пойман с поличным. Синепупов поставил попавшегося на воровстве на сутки под ранец, это значило стоять на часах с ранцем песку на плечах.

Казак Караваев, самый удалой из сотни, пригласил деда в корчму на угощение. Подпоив его, стал убеждать: какая тебе польза, что он будет страдать? Мы тебе полтинник заплатим за твоего поросенка: иди и скажи Синепупову, что стащил поросенка не этот казак, а кто-то другой. Он де не виноват.

Дед Винцесь так и сделал.

Синепупов тут же приказал растянуть его и всыпать десять ударов.

Караваев, его провожавший и славившийся тяжелой рукой, постарался для товарища и для казацкой чести.

Долго об этом вспоминали баба Рузаля и дядина Юлька!

Вообще говоря, мужиков, сеченных казацкими нагайками, много было и все за провинность более или менее в этом же роде.

Ушли казаки — поставили роту солдат постоем. Это было едва ли лучше. Воровство тоже случалось. Вместо Верки, Марьянку стали водить к офицерам — ту самую, которая возбуждала ревнивое чувство у моей матери на пути из Рудобелки. Марьянка — честь честью — вышла замуж за Степана Гуптора, «кухтика», с которым мы уже встречались. Они получили огородец и обзавелись домишком. Родилась у них дочка Настаська. Жилось неплохо, тем более, что мать Марьянки, Тэкля, выйдя замуж за «богатыря»[88] Грышку, что могла, тащила в дом к дочушке.

Стафана, как мы знаем, за старую провинность, жестоко выпороли, сдали в солдаты. И осталась Марьянка ни вдова,

ни мужнина жена на неопределенный срок. А была молода и красива, и потому сколько раз ни менялись постои — все Марьянку водили к офицерству. Это, конечно, не к доброй славе ее служило.

Наконец, лет шесть спустя ее муж вернулся.

То-то было радостей: наконец, она вновь мужнина жена.

Муж пожил, попировал и стал ее подбивать продать домишко, огородец и лишнее из пожитков.

— Мне тут делать нечего, — говорил он Марьянке: — Прададзім усё і паедзем у Мінска. Я буду служыць, а ты будзеш на кватэры сядзець, як паня.

И Марьянка не устояла от соблазна. Продала все, что можно было продать, и приехала с мужем в Минск.

Не надолго хватило тех денег, что она выручила: муж все пропил — и только его и видели.

Повернула Марьянка оглобли обратно, но уже не в свой домик, а по чужим хатам пришлось туляться. И что делать в Холопеничах? Пришлось создавать конкуренцию уже многим прачкам по стирке еврейского белья. И ждать — когда позовут к дворскому управляющему или к ксендзу на ночь: все полтинник перепадет. На улице не подымешь. Но и по этой части, несмотря на малый спрос, вскоре явились конкурентки.

А Настаська? У Настаськи своя история, с течением времени ставшая довольно обычной. Об ней придется говорить сообща, а теперь возвратимся к восстанию.

В нашей местности только и был один этот отряд, который прошел около 25 верст, как был разбит и рассеян. Около Борисова оперировал другой отряд, не знаю, под чьим предводительством, но слышал, что юная красавица Раво, в сопровождении другой панны несла в отряд известия и вышитое знамя, но попала в руки казачьего разъезда, была изнасилована и в заключение — высечена нагайками. Я потом жил с этой Раво на одном дворе в Минске. Злая насмешка судьбы! Эта патриотка и действительно красавица была впоследствии любовницей Минского исправника Капчера, усмирителя Логишинского бунта[89], жестоко поровшего крестьян. (Приблизительно в 1874 году.)

Наиболее сильный отряд был собран в Игуменском уезде в районе местечка Свислочи, владельцем им[ения] Богушевичи Свенторжецким. В его отряде было, по словам местных крестьян, до 500 человек. Он практиковал мобилизацию крестьян для обозной службы, на короткие расстояния за плату. Отряд был разбит, Свенторжецкий сначала ускользнул, и среди местных крестьян ходило много легендарных сказаний о его похождениях, так что это один из немногих, который заставил о себе говорить и создал некоторую легенду. В конце концов, был пойман и казнен. Имение его было конфисковано и досталось — в целях обрусительских («для усиления русского элемента в крае») бывшему губернатору Шелгунову.

Сколько их — этих обрусителей, сподвижников Муравьева[90], поживилось за счет конфискованных земель! Лошкарев, Лыщинский, Ломачевский — на одну букву «Л» сразу три, а сколько букв в азбуке! Да не охота рыться в памяти.

Это так называемые «инструкционные» владельцы имений.

Имения им давались под условием не иметь управляющими или арендаторами поляков и евреев. Это условие довольно плохо соблюдалось, ибо многие так называемые поляки, в служебных интересах принимали православие и по этому вероисповедному признаку считались русскими. А что касается евреев, то богатеи из них владели очень многими пожалованными обрусителям имениями по долгосрочным лесорубочным контрактам и залоговым крепостям.

Такие явления сплошь и рядом встречались, когда я служил в Крестьянском банке в Беларуси[91].

Для Холопенич, кроме описанных последствий, — последствий негромких, так сказать, бытового характера, и коснувшихся отдельных личностей, как некоторая порча нравов, внешним административным результатом было то, что в них водворилось два жандарма. Они должны были следить за настроением умов и доносить — куда следует. Делали они это весьма примитивно — путем подслушивания под окнами по вечерам, а, вообще говоря, — жили-поживали и жалованье получали. Но опаска была. Нередко слышались при вольных разговорах предупредительные: «Тише, ты!», «Блюдите — да опасно ходите».

Гораздо важнее было то, что молодой Лапа был арестован в качестве «прикосновенного». Посидел несколько, а затем ему было предложено продать имение «для усиления русского элемента в крае», что он и выполнил приблизительно в 1867 году.

Это значило, что остаткам дворни, уже ранее сильно сократившейся, деваться было некуда.

Для нее «освобождение» действительно было социальным переворотом. Бывшие дворовые пополнили ряды зарождающегося деревенского пролетариата. Крестьянин-земледелец в экономическом отношении несомненно выиграл: земля у него осталась почти та же, а барщина отпала. Муравьевские «перлюстрационные комиссии», выравнивавшие разные посредницкие злоупотребления в пользу помещика (свои люди!), при отводке наделов значительно улучшили надельный вопрос, а где сохранялось, так называемое, право сервитутов, т. е. въезда в лес или пастьбы скота по помещичьим угодьям — лесным и по жнивью, то там и совсем было хорошо: мужики держали пана в руках. Одно было скверно, что у большинства в надельной земле не было леса, т. е. дров и строевого материала. Но покупалось это недорого, а при сделке с лесниками и совсем дешево обходилось. Но платеж выкупных[92], пожалуй, стоил барщины, а если и был выигрыш, то незначительный.

В правовом отношении на первых порах едва ли было лучше. Власть пана и подпанков была заменена властью волостного правления, т. е. писаря и старшины, посредника и полицейских чинов — от станового до заседателей и исправников. К их услугам всегда был волостной суд, который постановлял то, что эти власти хотели. Порка была явлением обычным — и какая порка! — возами припасали розги! Некоторые старшины, вроде Скумсы Волосовичского, Козыры Богдановичского, Пайкова-Холопеничского, были страшны и грозны более всякого пана и всякого война. Пороли беспощадно и за недоимку в подушных, и за недоимку в выкупных (это, так сказать, административная порка), а за ссоры, драки, сопротивления, по номинальному суду, — порка всего чаще практиковалась. «Холодная» — больше для женщин, которых

все же не пороли, хотя, как мы видели, ключвойт имел определенное намерение высечь Юльку-Марынишку.

В волости сходы были беспрерывные, стон и вопли часто раздавались. Обида была кровной: свой брат, мужик — и так «здзекаваетца» (издевается, надругается). Особенно рекрутский набор, особенно принудительный наем недоимщиков на отдаленные работы — ах, чего они стоили! Но об этом надо говорить особо. Теперь же скажу, что в правовом отношении крестьянин выигрывал только постепенно, мало-помалу эмансипируясь от волостного и начальственного произвола. А в экономическом отношении постепенно терял те выгоды, которые, может быть, кое-где и были на первых порах: население увеличивалось, а земли не прибавлялось. В крупных имениях, вроде Холопенич, в старое время такого вопроса не существовало. Странное дело: мне во многих случаях, сравнивая статистические данные, приходилось сталкиваться с таким разительным фактом, как значительная убыль скота у крестьян в 90-х и 900-х годах по сравнению с 50-ми и 60-ми годами. А рост безлошадных — явление общеизвестное.

Как-никак — крестьяне остались на своей земле, на своих местах.

А дворовым — деваться было некуда. Они сразу пополнили группу деревенского пролетариата. Они быстро стали исчезать кто куда, ища заработка на стороне.

Дядя Онуфрий перебрался с Лапой на службу в Рудобелку, а потом очутился в Полтавской губернии где-то в имении. Долго бабушка Рузаля вздыхала, его вспоминаючи, получая редкие письма, когда надо было менять ему паспорт.

Но Онуфрию — сполна горе: он бессемейный, а у отца моего семья — [...] было уже двое детей и малолетняя сестра на руках.

Для него это был целый перелом в жизни: надо было искать выхода, хлеба. А где его найдешь? Лапа, единственный в округе видный пан, который еще мог претендовать на поварскую кухню, был арестован, и было неизвестно — возвратится ли. А остальные — Маренты, Сикорский, Бродовский, Рачковский, Хаминский — много их панков было в округе насыпано, но, за исключением Рачковского из Шчаўроў, панка

средней руки, все это была шляхотская мелкота, кухарочники, «круполичники», как их презрительно называл отец. А стало быть, в город надо переселяться, чтобы добывать работу и хлеб. А стало быть, надо сбывать и домишко, любовно и с таким трудом построенный, и незатейливую обстановку, которая тоже денег и труда стоила, а главное — великолепную тирольку — Матрунку, любимого члена семьи, которую чуть за стол с собой не сажали, а уж кормили и поили на отбор и которая еще недавно отелилась — правда — бычком (разочарование!), но утром и вечером наполняла по большому подойнику густого молока.

Принеся доенку, мать не раз с гордостью показывала своим и соседкам, как во время доения молоко сбивалось на масло, которое наверху плавало желтенькими комочками. И соседки дивились и завидовали.

А что касается бычка, которого, по случаю зимнего времени, принесли, как ребенка, на руках прямо в избу и водворили за печкой, то мне он доставлял бесконечное удовольствие и тем, что он грозно мычал (на первых порах я постыдно дрожал от страху), и тем, что он ходил по избе, разминая свои слабые ножки с черненькими копытцами на концах, и тем, что, преодолевши страх, можно было гладить его гладкую, блестящую шерстку.

Спустя некоторое время он куда-то исчез незаметно. Конечно, к Кулегомзатому на зарез, но я тогда не подозревал, что так печально кончается короткая жизнь этих прелестных созданий.

Долго мычала Матрунка, призывая сына на кормежку. Вскоре она его забыла, как забыл и я своего приятеля раннего детства.

Но это сантименты, которые мало трогали моего отца: он твердо знал, что телят отпаивают на румяное, а внутри белоснежное жаркое, — «печэню» по-белорусски.

Для него важнее был вопрос, куда ехать и что там делать. При его неукротимом нраве тяжела была служба, т. е. зависимое положение. Он всегда стремился к независимости, к самостоятельности, «каб сам сабе быў хазяінам», «каб уськая сволач табой не памыкала». («Сволочь» — это главным образом, паны и подпанки.)

В первый раз он серьезно поставил на очередь осуществление своего житейского идеала — независимости.

Но куда ехать, какой город избрать: он знал город Бобруйск, свой уезд, где много разного чиновничества, нуждающегося в столе. И, недолго думая, решил ликвидировать все свое имущество, собрать кое-какие денежные средства и на эти средства открыть в Бобруйске столовую.

Я знаю по дальнейшему опыту, что он умел действовать решительно, не останавливаясь ни перед чем.

Что ему там хата, Матрунка и прочее? Плевать я на них хотел! Там наживем не одну Матрунку и не такой дом!

И раз зародилась у него идея, то он умел ее отстаивать. Он строил фантастические планы, но преподносил их в такой складной художественно-законченной форме, которой, видимо, верил сам и увлекал, на первых порах, мою доверчивую мать, подкупал ее женскую осторожность смелостью размаха и складностью построения. В таких случаях говорил он с чувством, с верой, с убежденностью, говорил без конца, предупреждая возможные возражения и заражая своей твердой уверенностью.

Хороший бы из него вышел пропагандист! Много адептов[93] он сумел бы завербовать.

Где же было устоять моей неопытной матери? И разве стал бы он считаться с ее возражениями? Вопрос был решен.

И вот стали к нам ходить по одному, по два и по три еврея с еврейками. Единственно денежные люди, которые могли поднять такую покупку, как дом с выгодным плацом. Шутка ли!

Стали осматривать все, лазать на чердак, в погреб, где недавно нашел надежный приют немец-механик, бежавший от «повстанья», в кладовую и в сарай.

Все осмотрев, ощупав, обнюхав, вдоволь наболтавшись по-своему, найдя массу недостатков, они презрительно пожимали плечами насчет цены и, махнув рукой, как о деле несуразном и безнадежном, решительно уходили домой. Но день-два спустя являлись вновь — и вновь возникало горячее обсуждение и ожесточенный торг.

Я, разумеется, не понимал, в чем дело, но не мог не дивиться этому непонятному гомону и страстным спорам.

Но когда Абель и Роха стали осматривать вымя у Матрунки, рога и хвост, и щупать ее бока, я понял, что ей грозит какая-то беда, и отчаянно разревелся. Вместе со мной, утешая меня, плакала и мать.

Матрунку увели утром, пока я еще спал. Долго мать потом ее вспоминала, долго помнил ее и я. И даже сестра Магдалена, которой в то время было два года с небольшим, понаслышке, долго вспоминала Матрунку.

Так память о ней свято хранилась в нашей семье.

И теперь перед моими глазами стоят батареи красноватых, поливаных горшков, «горлачэй» по-белорусски, которые мать ставила в печку целиком. А затем снимала сверху румяную, внутри желтоватую сметану, так приятно пахнувшую, в особый, в форме усеченного конуса, сосуд, «макацёр» и, мешая мутовкой, сбивала вкусное масло; а творог выворачивала в треугольный мешок, подвешенный над ведром, куда стекала сыворотка.

Подсолив творог, сдобрив его тмином, иногда подбавив сметаны, мать отжимала под прессом вкусный сыр.

И вообще — сколько превосходных вещей выходило из молока Матрунки! Сметана, простокваша или «сырокваша», творог, сыр, масло, маслянка, сыворотка... Все вкусное и здоровое.

Не знаю, как кому, а я всегда находил маслянку (пахтанье) вкусной едой и с удовольствием пил сыворотку, хотя думают, что от нее живот портится. Вздор — надо думать.

Итак, мою Матрунку увели, и все эти блага надолго исчезли с нашего стола, 50 рублей за нее дали: это была высокая, по тогдашнему времени, цена. Но ведь и корова же была: заводская, породистая, по третьему теленку, — значит: только-только вошла в силу.

А дом с плацом и сараем продали рыжему Мордуху за 220 рублей.

Так как продавали еще разные вещи, то надо думать, что выручили свыше 300 рублей — деньги не малые!

Были наняты две подводы у бывалых в Рудобелке мужиков, которые знали дорогу и имели понятия о расстояниях; долго торговались и порешили на 35 рублях за 300 верст, т. е.

за 600 туда и обратно, на что требовалось минимум две недели; вещи брались самые необходимые: платье, белье, постель, кое-какая посуда, но воза вышли порядочные, так что только спереди было немного места для сиденья, конечно, весьма неудобного. По обычаю уселись все в бабиной хате. Долго молились — и тут началось самое горестное — расставание.

Сколько было горьких слез пролито на прощание — и уезжающими и остающимися! Это был первый серьезный распад семьи, тесно спаянной и жившей одной жизнью, одними интересами. В этом и была трагедия нового порядка вещей: отдельные ветви отрывались от общего ствола и теряли связь с корнями, их питавшими. Нравственные связи рвались во имя куска хлеба, впрочем, далеко не обеспеченного. Один только отец не терял бодрости, грубовато успокаивая мать. Я плакал по сочувствию, а Магдалена, обычно мне подражавшая, плакала, глядя на меня.

На одной телеге, нагруженной полегче, уселась мать, взяв Магдалену к себе на колени, а рядом с ней усадили меня. На другой сидели тетка Ганна, девочка-подросток лет 14—15, и отец, которые, впрочем, часто слезали для облегчения воза, особенно в гору; возчики подсаживались на поручни только с горки, чтобы дать передышку ногам.

Провожала нас родня целой гурьбой за местечко, плача дорогой, как по обреченным на что-то неведомое и тяжкое. Расставание в логу под Якимовкой было особенно горестным, так что отец уже стал бранить плачущих.

Я скоро развлекся: меня прельщала новизна положения. До этого долгого пути я только два раза выезжал за Холопеничи. Первый раз в Старое Борисово к доктору, который долго слушал меня, прикладывая ухо к груди, бокам и спине. Значит, метод выслушивания был уже в ходу, но еще не выстукива[ния].

Другой раз меня возили в деревню Калеченку на кермаш. Оба раза летом, в хорошую погоду. Это была целая эпоха в моей жизни. Живо помню разные картины в пути. Главное, мне хотелось доехать «на край света» (этот термин я слышал и по своему осмыслил), где небо сходится с землей. Я ясно видел, что это недалеко: глядя со двора бабиной хаты, это было

за гумном Михалки Чарейского, где гуменный «озерод» явно поддерживал голубой свод, а далее он покоился на синеватых лесах.

По пути в Калеченку я спрашивал мать — скоро ли доедем на край света. Но и земные вещи привлекали мое внимание, особенно вызывал мой восторг целый выводок гусяток, покрытых желтым пухом, которых я еще не видывал. И маленькая площадь в Калеченке, уставленная возами, на которых чего только не было; и смешанный в один аккорд гомон праздничной толпы поражал меня своей необычностью. А медовые пряники с сусальным золотом и вязка баранок — довершили очарование этого исключительного дня.

Словом, я уже был не новичок в путешествиях и уже успел убедиться, что достигнуть края света не так-то легко, но что в пределах убегающего круга есть много интересного.

Это большая поездка, третья в моей пятилетней жизни, надо думать, обогатила меня многими новыми впечатлениями.

Была весна, приблизительно май месяц, ибо все было в зелени и уже много было цветов. Погода всю неделю стояла прекрасная. Обыкновенно мы останавливались в полдень и вечером на привал, где-нибудь на лужайке, чтобы покормить коней даровой травой. Вынималась из корзины провизия, довольно разнообразная, главным образом хлеб, сало, мясо, яйца, словом, — как на пасху. Раскладывался огонек, и отец, по чумацкому обычаю, выстругав искусно рожончик, двухконечную вилочку из прута, насадив на рожончик кусок сала, поджаривал его на огне, и, подставляя хлеб, собирал золотистые капли жира. Это было занятно, пахуче и вкусно. Такой способ поджаривания на рожончике он, искусный повар, предпочитал всякому другому и такую еду всяким деликатесам. И я подставлял свой ломтик хлеба, и сестренка Магдалена, еще трехлеток без малого, тянулась туда же: — И мне на рожончику дай!

Ей, любимице отца, конечно, отказа не было.

Насытившись, мы, дети, норовили размять одеревеневшие от сиденья ножки и вообще порезвиться. Бегали по траве, забирались в лес. Я прятался за кусты или за деревья

и потешался плачем испуганной сестренки, потерявшей меня, и радостью, когда я, насладившись эффектом, выныряял из-за дерева или куста. Иногда мы углублялись настолько в лес, что теряли своих из виду. Тут уже трусил я, обычно склонный демонстрировать пред восхищенной Магдаленой свою храбрость. Тут уже мы кричали оба. На крик прибегала встревоженная мать и иногда я получал заслуженного шлепанца. Надо сказать, что до 10 лет много я нахватал от матери шлепанцев. Но к ее великому огорчению, я их ставил ни во что. Другое дело отец: он тем был и страшен, что не унижался до применения безобидных шлепанцев.

Из Борисова, который я уже видел, и который, на сей раз, поразил меня своим висящим на цепях мостом через Березину, мы дальше держались Березины вплоть до Бобруйска. Дорога шла поблизости реки и много раз она сверкала в глаза своим основным течением и расстилала свою обширную пойму, изрезанную рукавами,— остатками старого русла.

Под Бобруйском мы ехали по шоссе, которое у нас называли «шаша».

Новая диковинка: вся дорога, прямая и гладкая, густо усыпана щебнем, а по бокам столбы, убегая в бесконечную даль, тихо напевают свою задумчивую песенку, которая то ослабевает, то усиливается, когда проезжаешь мимо столба с чарочками наверху из темно-зеленого стекла.

Как дикому зверьку пред капканом, мне становилось жутко от этих странных приспособлений, так грустно поющих.

Мать тоже видела впервые телеграфные провода.

Отец, в качестве человека бывалого, объяснял ей:

— Гэта талеграм: весткі па дроту шлюць.

Вот так задача! Я долго соображал, как это может быть. Несколько облегчил мне ее решение Роман — «зюкі бярозавые», который, тоже в качестве бывалого, пояснил:

— Немчыкаў тут пасадзілі: яны друг дружцы па-свойму балбочуць. Толькі, ліха іх ведаіць, нячыстую сілу, гдзе ён сядзіць: ці ў стаўбе, ці ў зямле пад стаўбом. — Мне это было понятнее: немчик немчику вести передает.

Что такое немчик, я великолепно знал: маленький чертик у капелюшы, т. е. в шляпе с полями.

Черт в белорусских сказках большею частью фигурирует в образе немчика у капелюшы.

Бабушка как-то рассказывала, что, когда мне шел второй год, меня везли в Старое Борисово к отцу, и в имении нам повстречался немец в черном платье и с брилем[94] на голове. Я так испугался, так закричал, что, по словам бабушки, долго дрожал, как осиновый лист, и захворал «с пуду», значит, с перепуга.

В таких случаях самое верное средство — «даць вады». (Трижды берут воду в рот и выпускают обратно: этой водой моют лицо, грудь, руки.) Но разве немец даст воды!

Словом, у меня с немцем уже было столкновение, стоившее мне нервной горячки.

Отец тут же передавал, что когда проводили эту телеграфную линию через деревню, то мужики требовали, чтобы ее вели подальше от деревни. Их просьбы не уважили. Тогда они подрубили столбы. Суд и прочее. На суде они оправдывались так: «Нашы дзеды і прадзеды не зналі, каб міма свянцоных дамоў чэрці леталі».

Это мне было вполне понятно и объясняло всю механику передачи вестей по проволоке.

Наконец-то отец, указывая вдаль, сказал матери:

— Глядзі: вун Бабруйска!

Значит, мы у цели долгого пути. Немало страху я испытывал, когда мы переезжали через широкую реку по плавучему мосту, покрывавшемуся водой под тяжестью лошадей и телеги.

Только спокойствие старших удерживало меня от крика: «Потонем!»

Вообще говоря, я не доверял воде. Когда меня маленького купали в корыте в напоследок окатывали водой через голову, я неистово кричал: «А-яй, ратуйце! утапляюся, утапляюся!»

«Крепость бобруйская!» — говорят белорусы, когда хотят что-нибудь охарактеризовать как весьма крепкое. Я видел ее высокие валы, покрытые зеленой травою, стены в разрезах и круглые башенки из красного кирпича, с узкими, как щели, просветами, я слышал страшные рассказы о каменных мешках, в которых сидят навеки заключенные, — и, конечно,

испытывал тягостную жуть, проезжая мимо этих странных сооружений. Какая непосильная работа давалась детскому воображению рассказами, подхваченными на лету, об арестантских ротах или каменных мешках с навеки погребенными!

Легче стало на душе, когда мы выехали на широчайшие городские улицы, песчаные и пыльные, но более знакомые и понятные. Долго мы ездили по глубоким пескам, пока нашли приют у каких-то мещан на окраине в свободной половине маленького дома.

На следующий день я попал в печальную для меня историю.

Отец с матерью с утра отправились искать по городу постоянной квартиры, оставив нас под надзором тетки Ганны.

Нам крепко-накрепко было приказано не выходить за ворота. Но ведь заманчиво было обследовать новые места. Я, разумеется, вышел. Много любопытного: кругом зелень, сады, сады без конца, из-за которых домишки еле-еле видны.

Я расширил круг своих наблюдений, прошел в одну сторону, но благоразумно вскоре поворотил назад. Не тут-то было: не могу попасть на свой двор. Пройдя в одну сторону, в другую, я совсем запутался и в какие ворота я ни совался — все не то. В напрасных поисках я вышел на окраинный пустырь, который расстилался бесконечно. Тут я стал плакать навзрыд. Какая-то баба гнала гусей:

— Чаго ты плачэш, мае дзеткі? — спросила.

— Заблудзіўся. Дамоў хачу.

— А дзе ж ваш дом, на якой вуліцы?

Кабы я знал!

Старуха оказалась весьма сердобольной, искренне сочувствовала моему горю, что меня еще более разжалобило. Бросив гусей, водила она меня по разным улицам, спрашивая:

— Где тут приезжие остановились, — бацька Юрка, а матка Анеля і яшчо цётка Ганна?

Никто не знал.

— Вядзі к дзесятніку! — кто-то посоветовал.

Привела меня добрая бабушка к какому-то дзядзьку в солдатском мундире и рассказала ему, в чем дело. Та же история: какая улица, чей дом, как зовут бацьку, матку и прочее. Кроме последнего, я ничего не мог сказать.

И стал меня водить инвалид по широким улицам с бесконечными садами, спрашивая, не знают ли — где здесь остановились такие-то. Никто, конечно, не знал. И так мы целый день бродили. Я наплакался вдоволь, устал и изголодался.

Под вечер десятник привел меня в полицию, надо думать, к уездному исправнику или вроде этого. Дом с большим ганком и все прочее.

Вышла пани, такая хорошая пани. Когда узнала, в чем дело, очень разжалобилась, гладила меня по головке и в лоб поцеловала. Потом повела в свой покой, посадила за стол и дала салодкого чаю с кренделями, густо обсыпанными сахаром. Это была услада моему горю. Тут вышел пан с блискучими гузиками и с золотом на плечах. Пани начала жалостно ему рассказывать про мою невзгоду, про бацьку Юрку и матку Анелю. Пан был спокоен и ласково улыбался:

— Уже заявляли про этого молодца, — сказал он доброй пани. Раскрыв дверь, он кому-то крикнул: — Позовите ту девушку!

Тут вбежала тетка Ганна, — родная тетка Ганна! Я спасен. Добрая пани еще на дорогу дала два кренделя, завернув в бумажку. Я знал, что надо в таких случаях делать и поцеловал паню в руку.

Домой я шел, не чувствуя ног под собою.

Дома была одна плачущая Магдалена, которую я старался утешить салодким кренделем.

— Бяры сабе два! — говорил я в порыве великодушия.

Вскоре вбежали отец и мать, которые уже давно узнали о моем исчезновении и все время бегали по улицам, спрашивая и ища меня. Они-то и заявили в полицию, куда и направилась, кем-то надоумленная, тетка Ганна. Тут-то и началось самое страшное. Отец был зол, мать взволнована.

В первую голову отец обрушился на меня, взяв в руки ремень. Я прежалобно кричал:

— А таточка, даруй! А родненькій, даруй, больше ня буду!

Мать молила: «Юрочка, ня бі яго, ня бі!». Магдалена вторила: «Таточка, ня бі!»

Ничего не помогло: отец здорово отстегал меня ремнем, до синих полос на теле. Покончив со мной, он стал стегать ни в чем не повинную тетку Ганну.

— Пільнуй, пільнуй! — долго раздавалось.

Это был всеобщий вопль, из которого выныряли злобные выкрики отца.

Расправа кончилась, но плач еще долго не умолкал. Когда нас с Магдаленой уложили спать, мы еще долго всхлипывали. Так злосчастно закончилась моя первая попытка слегка исследовать неведомый мир и, при случае, завести подходящие знакомства с аборигенами[95].

Вскоре мы переехали на другую квартиру в две комнаты — чистенькие, беленькие, с кухней, с платой по 4 рубля в месяц. Матери это казалось дорого: не пивши, не евши — платить 4 рубля в месяц.

Вскоре отец и нашел столовников: группу каких-то землемеров и какого-то отставного майора и еще кого-то. Столовую он открыл в доме этого майора, которого обязался кормить за помещение — кухню и столовую. Если будут гости — полагалась особая плата. Это было почти рядом с нашей квартирой. Хлопот был полон рот. Отец ходил на базар за провизией, готовил обед и ужин. Мать ему помогала. Мы там же или дома кормились остатками блюд.

Все шло хорошо до расплаты. Первый месяц оказалась значительная задолженность. Особенно донимали гости майора. К нему почти каждый вечер собирались играть в карты. Майор заказывал ужин, закуски за его счет. Но прошел месяц, заплатил какой-то пустяк для округления, — а остальное просил подождать: не к спеху, заплатится. Остальные нахлебники тоже были неаккуратные плательщики. Двое больше месяца кормились и уехали на работы, не заплатив. Денежки таяли. Выгоды никакой, недобор был очевидный. Это, конечно, тревожило мать, но пока она крепилась: авось дело наладится.

Но пока оно налаживается, я должен рассказать про один свой подвиг бесцельного озорства, так сказать, прирожденного, по влечению духа.

Как-то раз, войдя во двор, я заметил, что в стене сарая торчит большой висячий замок, которым хозяева на ночь запирали коровий хлев. Замок круглый с дужкой и ключ при нем. Такого замка я никогда не видывал. Я его осмотрел, обследовал, попробовал вертеть ключом в одну и другую

сторону... и вдруг меня осенила счастливая мысль — бросить его в соседний сад. Я и швырнул его туда в траву.

Вечером надо запирать корову — нет замка. Спрашивают хозяева, не видали ли, не брали ли? Дошло дело и до меня. Я твердо сказал: нет, не видал, нет, не брал.

Стали косить траву в саду и нашли замок. Не ваш ли? Да, наш. И опять замок появился на старом месте, дужкой в щель.

Осмотревшись по сторонам, я его вынул и швырнул изо всей силы в огород. То было направо, а теперь налево.

На сей раз я был сильно взят под подозрение. Мать подвергла меня строгому допросу, а хозяйка испытующе смотрела в глаза. Я твердо отвечал в смысле знать не знаю, ведать не ведаю. И даже слегка вломился в амбицию. Хозяйка видимо, решила: его дело, но... не пойман не вор. Стали выбирать огурцы — и нашли замок. Тот самый, только слегка заржавевший от дождя.

И опять он появился на старом месте. И опять я его выдернул и бросил в отхожее место.

Только его и видели.

Опять я был взят на допрос. Твердо стоял на своем: знать не знаю. Хозяйка утверждала: «Его работа!» А мать возражала: «А почему не ваша Гэлька?»

И матери основательно поссорились, каждая защищая честь своего детища. Я знал, что не Гэлька, но молчал. И совесть меня нисколько не мучила. Что это такое было? Нечто вроде гипноза. Я помню — с каким сладким трепетом в груди, с каким удовольствием я его швырял, особенно в последний раз. Я это делал как нечто само собою разумеющееся, как должное, во всяком случае, как приятное. Делалось это быстро, не размышляя, вслед за возникшей мыслью. Думаю, что это характерно не только для меня лично, а вообще для детской психологии. Если верно, что в утробной жизни зародыш человека повторяет основные моменты в развитии животного мира, то позволительно думать, что в раннем возрасте он переживает характерные моменты развития человеческой психики, с особенностями, свойственными отдаленным предкам, и от них унаследованными, т. е. проходит известные ступени психического и культурного развития, доходя с возрастом до

высшей ее ступени. У старых, высококультурных рас эти отдаленные стадии проходят быстро, а дети 8 или 10 лет поражают своей «зрелостью», а у рас отсталых надолго или на всю жизнь сохраняют «вечное детство» с его особенностями или, если хотите, дефектами.

Мне кажется, что склонность ко лжи, воровству, грабежу, буйству, пьянству, хулиганству, беспорядочным половым отношениям, бродяжничеству и т. п. объясняется прежде всего и больше всего наследственностью, т. е. происхождением от отсталых рас, не изживших путем отбора лучших, своих первобытных черт. Все это, унаследованное, и является тем, что мы называем характером человека, комплексом его коренных особенностей, дающих окраску его поступкам, его поведению и способу его реагирования на внешние возбуждения.

Воспитание, каково бы оно ни было, и среда, каков бы ни был ее культурный уровень, в пределах жизни отдельных личностей имеет не решающее, а второстепенное значение: они не меняют существенно наследственных черт. Они помогают скрывать известные особенности, от поры до поры удерживать их тренировкой, но не в силах искоренить и совершенно сгладить. Наедине с собой, в своей интимной жизни или в состоянии аффекта скрытые более или менее глубоко черты характера и где-то далеко погребенные в сфере подсознательного — вынырнут наружу, скажутся. Для этого только нужна большая или меньшая степень волнения или опьянения, т. е. временной атрофии задерживающих центров.

Народ подметил эту особенность и выразил ее в пословицу: «Как волка ни корми, а он все в лес глядит» и «Якое дзерава, такій і клін, якій бацька, такій і сын» и многими другими в этом роде: «Поскобли русского и окажется татарин». Греческие трагики тоже отмечали наследственность «греха» или преступлений известных родов, придавая им характер фатальности (Атрида[96], Эдипопея[97]).

Этим же объясняется, что человек боится самого себя в известном состоянии и за себя не ручается.

Я наблюдал такие разительные факты. Вот вам учитель гимназии, человек с высшим образованием, говорил возвышенные речи, любил изысканно одеваться, в гостиной держал

себя блестящим кавалером, словом, казался человеком высокой культуры. Но без дам он сквернословил. Однажды, когда я гулял с ним по саду, где валялось под деревьями много яблок и груш, он, осмотревшись с приемами истинного вора, начал хватать, все озираясь в разные стороны, яблоки и груши, поспешно набивая ими свои карманы.

Ясно, что, несмотря на внешний лоск, это был варвар и прирожденный вор, еще не изживший своих воровских повадок.

Однако, то, что я говорю о значении наследственности, не имеет абсолютно фатального характера. Наследственность постепенно, в ряде поколений смягчается и сглаживается приспособлением к среде и естественным и общественным отбором, — факторами, противодействующими общественно вредным наследственным склонностям и повадкам. Затем в законах наследственности есть черты доминирующие и рецессирующие, которые передаются в потомство как 3:1, т. е. известные черты в смешанных браках постепенно отступают.

Затем — не может быть сомнения, что от тех же браков появляются потомки смешанного, комбинированного типа, иногда весьма удачного, где резкие черты и наклонности одного типа значительно смягчаются наличием особенностей другого типа.

И, наконец, воспитание и высокий культурный уровень среды или общественности могут направлять природные склонности личности к общественно-полезному применению.

Но я слишком отклонился по поводу частного случая своего детства к общим рассуждениям.

Случай в моей жизни из ряда выходящий, так как в дальнейшем я не помню за собой, не помню таких «бескорыстных» хулиганских поступков.

А, между прочим, я встречал в жизни многое множество совершенно бесцельного хулиганства взрослых иногда с роковыми последствиями и чем далее к северу, тем более. Это доказывает статистика хулиганства. Я не мог оставить этого явления без объяснения, по крайней мере, для самого себя.

В то же время, помню, я совершил акт бесцельного притворства, не на шутку испугавшего мою мать.

Набегавшись вдоволь, может быть, и слегка простудившись, я к вечеру улегся на постель и слегка застонал. Не помню — как это у меня вышло — естественно или искусственно. Это встревожило мать. Она прикладывает руку к голове и спрашивает — не болит ли что-нибудь? Я не знаю, что у меня болит, но так как мать прежде всего хваталась за голову, то я отвечаю: «Галоўка баліць». Мать, я ясно вижу, в тревоге. Видимо, мне это понравилось — быть предметом исключительного внимания, и я начинаю равномерно и очень искусно стонать. Мать привела хозяйку на консультацию. Я продолжаю стонать. Я слышу тревожное замечание матери: «Божэ мой, божэ, — стогніць, як старый!»

Я принял это за похвалы своему искусству и продолжал в том же роде, подражая старшим, пока не заснул.

Наутро я проснулся как ни в чем не бывало и побежал играть.

Может быть, у меня и было какое-нибудь легкое недомогание, но что я стонал «нарочно», с умыслом, сознательно имитируя больного, — это я хорошо помню. Я действовал, как актер, подражал, играл, и мне доставляло удовольствие, что это возбуждает интерес, хотя бы и тревожный.

Мне было 5 лет, и ясно, что я был порядочным эгоистом, не отступавшим перед ложью (история с замком) и притворством.

Но возвращаюсь к общему течению нашей жизни. Попытка со столовниками не удалась, и два месяца не только не было никакого заработка, но был явный дефицит. Это злило отца и тревожило мать. Я помню, как отец в разговорах с матерью ругал майора старым мошенником. Зная натуру отца, можно поручиться, что он и в глаза ему говорил нечто в этом роде. Такие примеры неоднократно бывали.

И вот вслед за тем мы упаковываем все вещи и на двух подводах едем в имение какого-то пана, которое называлось Рыня, по речке того же имени. Это недалеко от Бобруйска, ибо мы в тот же день приехали. А пан — я потом выяснил: это был пан Прушановский, Доминик Гилярьевич — важный пан.

Для меня это было целым событием. Мы здесь жили не долго, месяц или два, но я долго вспоминал о своем пребывании

у Рыни. Много нового здесь я увидел вблизи. Во-первых, я получил конкретное содержание для понятий «пан», «паны», которых до тех пор, хотя и видел, но разницы, скажем, между паном и моим отцом не понимал.

Пан был высокий, на голову выше отца, стрижен коротко, носил «капелюш», а отец, мой грозный отец, стоял перед ним без шапки. Это характеризовало социальные отношения. На «камізэльцы» у пана была бліскучая «цэпка» от «зэгарка»[98] и он носил «майткі» (а не штаны) навыпуск, как подобает шляхтичу.

Пан, пани и паничи с паненками жили «у палацу», куда мне вход был воспрещен: я был босоног, а паненкі моего возраста и постарше гуляли с гувернантками, в маленьких черевичках и беленьких панчошках[99], с соломенными брыликами на головках и щебетали на неведомом мне языке. За палацом был огромный сад с липовыми аллеями, и пан часто стрелял в нем белок из «дубельтувки»[100]. Белок было множество, целое нашествие. Я здесь впервые познакомился с этими игривыми зверюшками, которые так искусно прыгали. Они массами поедали груши и яблоки, и обгрызенные ими плоды густо валялись в саду.

На конюшне было много «стаённых» коней, в каретном сарае стояли разных форм и величин экипажи, и пан ездил четверней, а у фурмана был бич, как удочка, который громко щелкал.

В другом сарае было много разного рода машин, выкрашенных в зеленую и красную краску с зубчатыми колесами.

Отец, предупреждая мою пытливость, как-то сказал, указывая на зубчатое колесо:

— Сюда нельзя класть пальца: откусит!

Эти странные сооружения, стоявшие рядами, в связи с этим замечанием казались мне живыми таинственными существами, они повергали меня в какой-то мистический страх. Я часто входил в этот сарай, когда он был открыт, и, полный страха, издали созерцал эти чудовища, которые кусают пальцы.

Но пытливость моя была сильнее страха. Я попробовал положить палец на колесо — и тот час же отдернул, как

делают, дразня собаку, так как машина не сделала ни малейшей попытки откусить палец, то я, преодолевая страх, стал продолжать свой опыт и оказалось, что можно водить пальцем по зубьям и класть его между зубцов, совершенно безнаказанно.

Так, вероятно, звери научаются отличать живых существ от машины. Я видел на севере медведя, который в позе любознательного туриста рассматривал мимо идущий поезд, причем дикий свист машины и наши крики не произвели на него никакого впечатления. Он стоял, смотрел, как бы говоря: не впервой! Знаем, что не остановится.

Так и я потерял всякое уважение к машине.

Наша комната была рядом с кухней. И здесь я увидел впервые своего отца в деле. Первая картина, которая врезалась в моей памяти, произвела на меня ужасающее впечатление.

Видимо, был «большой день», какие-нибудь именины или вроде, когда было много гостей, ибо приносилось в жертву много домашней птицы — индеек и цыплят.

Я видел, как отец брал индюка под мышку, клал его головой на край стола и одним ударом большого ножа отрубал ему голову и, безголового, бросал на пол прыгать и взлетать в судорогах. Живо летела голова у другого, у третьего — и они проделывали вместе ту же пляску смерти. Одного за другим ему подавали цветистых петушков; он влагал им острый ножик в клюв и, сняв верхнюю часть головы, швырял их туда же, где в судорогах бились индюки и индейки. Получалась хаотическая картина машущих крыльев, прыжков, взлетов, брызжущей крови, судорожного подергивания ногами умирающей птицы. Делал это отец спокойно, как ни в чем не бывало. Мать не могла видеть крови, и в таких случаях выбегала из кухни. Иногда она закрывала руками глаза и бросалась ничком в подушки.

Голландцы большие охотники изображать кухонные картины. Но я не помню, чтобы кто-нибудь изобразил адскую пляску безголовых птиц.

Хорошие прачки гладят белье раскаленным утюгом, но он должен летать, как молния.

В «большие дни» в кухне плита и печи также должны быть раскалены, чтобы все живо и буйно кипело ключом,

скоро пеклось и жарилось. Но тут надо держать ухо востро, быть начеку, иначе одно сгорит, другое переварится, а то перестоится. Теперь я понимаю, почему отец в больших работах был, как одержимый злым духом. Нервы его были натянуты, как струны, и он был сам не свой. Дело горело. Кухонные ножи в его руках отбивали мелкую дробь, он бросал одно дело, хватался за другое, метался от плиты к очагу, к печке, хватал ведерные кастрюли, выхватывал противни — и все это сразу, швырком, с выкриками, иногда со злобными ругательствами, если дело не ладилось.

Работа была напряженная и, разумеется, ответственная. Паны к кухне требовательны, и в случае порчи и неудачи выговоры неизбежны. Лакеи и покоевки шныряли с блюдами, все давай раз за разом, без длительных перерывов и все подавай так, чтобы ласкало взор и приятно щекотало обоняние.

Тяжело было отцу: это я вскоре понял. Но тяжело было с ним работать и вообще иметь дело, когда он впадал в рабочий раж и как бы входил в экстаз. Тогда его не тронь. Он не терпел никаких замечаний, особенно понуканий, требований. Он выходил из себя, швырял, что было в руках, ругался и лез в драку.

Числилось за ним немало таких крупных столкновений. Так, еще в крепостном состоянии, выведенный из себя дворецким Лапы паном Якубом, который в разгар работы явился в кухню, важно разодетый в сурдут[101] с черешневым чубуком в руках, и стал орать на отца за какую-то неисправность,— тот, сломав чубук, схватил грузного пана в охапку и через окно бросил его в чан с помоями. «Сурдут» был совершенно испорчен: с него текли помои, когда он явился с жалобой к пану Лапе.

Это был героический подвиг, о котором часто вспоминали в Холопеничах.

Там же у него было впоследствии три крупных побоища. Одно перед отъездом в Бобруйск с садовником. Долго они тузались, цепляясь другу другу в волосы, а жены, бегая вокруг сцепившихся, старались их разнять. Я помню, отец много вычесал волос из своей густой шевелюры и в утешение матери повторял: «Доўга ён будзе помніць! Па гроб жызні не забудзе!»

Анця Кутоўская была кухаркай; по характеристике отца — «здаровая, як мядзведзіца, і сплетніца, якіх свет не бачыў...».

На этой почве у них загорелось дело. В результате у отца была изорвана рубашка «на шмотця» и исцарапано лицо, а пакет с волосами Анци долго ходил по судам, и я его видел в Минске, расписываясь где-то вместо отца.

В третьем случае — тоже был садовник, здоровеннейший верзила и претенциозный человек, брюзга и придира. Ну, тут дело легко обошлось: он был схвачен, скрючен и вышвырнут из кухни. Это все моменты вспышек злости — результат тяжкой и напряженной работы нервной системы, которая явно была не уравновешена.

Но это моменты, которые вспыхивали и проходили. И тогда отец был милейшим человеком, он любил шутить, острить и балагурить, смешно и безобидно. Тогда около усов у него играла сдержанная юмористическая складка, свойственная хохлам, и глаза слегка щурились.

Я помню, как в той же Рыне отец приводил себя в равновесие после натужной работы.

Переодевшись, он вынимал из сундука большую гармонию (немецкая, цена 7 рублей) и у открытого окна играл «лянок», «польку» и «кадрыль». Это было верхом его музыкальных достижений. Но мне больше нравилось, когда он играл «казачка», «лявониху» или «барыню». Иногда в комнату входил кто-нибудь из дворни, кто посвободнее, иногда подходили к окну, иногда кто-нибудь пускался в пляс. Но отцовский музыкальный репертуар был не обширен и скоро истощался, тогда он принимался за песни, кое-как подыгрывая себе на гармонике. Тут были украинские, белорусские, польские и московские, вроде:

Сколька раз я зарэкаўся.
Гэтой вуліцэй хадзіць;
В адну дзевушку влюбіўся —
Не магу яе забыць.

Это считалось по-русски.

Я живо схватывал все отцовские песни в словах и старался воспроизвести — напеть, но — увы! — в этой части ничего у меня не выходило: старанья было много, а толку мало. Правду сказать, отец тоже был неважный певец, но горничных, прачек и в этом роде мог пленять. В то время я его считал певцом недостижимого совершенства.

Но в чем отец был бесподобен — это в играх и забавах с маленькими детьми. Чего он только с ними не проделывал, чего он только не придумывал! Придя с работы, он возился с ними целыми часами, сам становился, как ребенок, так сказать — на равных правах, он сам непритворно хохотал и притворно плакал и заставлял их хохотать [над] своими бесконечными выдумками. Это было его отдыхом и успокоением, разгрузкой напряженных нервов. Глядя на него в это время, никто не мог бы подумать, что он может буйствовать. Из всех известных мне отцов один Максим Горький мог бы с ним в этом отношении состязаться. Я не иду в сравнение. После этого он становился другим человеком: добрым, уступчивым и мягким, как воск. В таком состоянии мать успевала его убеждать и переубеждать и достигала многого, чего хотела.

Я не помню, как было дело со мной, но помню, что одна и та же история повторялась со всеми пятерыми детьми, которые родились после меня. Ко мне он относился сурово и требовательно, возводя это в систему. Редко он бывал со мной ласков и нежен, только в исключительных случаях, и за то я очень ценил эти ласки. По всей вероятности, он поступал так со мной потому, что мне придавал особое серьезное значение, сознательно или инстинктивно стремясь развить во мне твердый характер, закалить волю. По крайней мере, в моих последующих успехах и в ученьи, и в жизни он видел результаты своей воспитательной системы. Он этим гордился, как хорошо исполненным долгом.

В своем кругу, когда заходила речь обо мне, и ему с завистью или лестью говорили: «У Вас-де такой сын!» — он с чувством гордости пояснял: «Гм, ня дзіво! Я яго за всякую віну сек не жалеючы! Праўду тые людзі кажуць: ня біўшы кума, ня піць і піва. Я строга яго дзержаў. І вот цяпер піва п’ю».

Я должен признать, что со стороны воспитания характера, я многим обязан своему суровому отцу. Тип комбинированный из отцовских и материнских черт, в этом я всего более нуждался.

Чтобы покончить с Рыней, давшей мне так много памятных впечатлений, еще надо отметить два эпизода: один случившийся со мной, другой — с матерью. По усадьбе я бродил довольно свободно, иногда держа за руку пугливую Магдалену, а, большею частию, один. Мы забирались и в сад, где подбирали груши, обгрызенные белками, и ходили к речке Рыне. Местами она была усеяна золотистыми кувшинками, плававшими, как звезды, среди круглых листьев и прекрасными белыми лилиями с золотым сердечком. Магдалена так трогательно восхищалась этой водной красою и тянулась ручонками к цветам, прося: «Достань мне красочку!» — что я рискнул на этот опасный подвиг. Я чувствовал, что это опасно, но степени опасности не знал. Я помнил, что мы переезжали через реку Сху на пути в Борисов и в других случаях. Выбрав местечко, где лилии росли поближе к берегу, я полез в воду и окунулся с головой. Магдалена отчаянно завопила. Но я, барахтаясь, схватился за куст и таки выкарабкался, хотя воды наглотался.

Вопящая Магдалена, я, весь мокрый и тоже плачущий, пробрались к себе в комнату.

По счастью, отца там не было, а мать, узнав, в чем дело, всплеснула руками и, представляя степень опасности, которой я подвергался, только выкликала: «Ай-ай-ай!» — и переодевая, надавала довольно горячих шлепанцев, чтобы «помніў», т. е. чтобы впредь было неповадно.

Это значит на тему: о дети, дети, как опасны ваши лета!

Эпизод с матерью довольно обычный в этом краю, но ее с непривычки сильно напугавший. Вышла она в поле собирать горох к столу. И наткнулась на большую змею: «тоўстая, як качалка», такая шэрая, подняла галаву і як засіпіць! А далей — скруцілася, як абруч, і як кінетца на мяне!» Мать бросилась опрометью бежать. И ей казалось, что змея за ней гонится. Прибежала, бледная, как полотно, с выражением ужаса на лице и долго не могла успокоиться.

Может быть, это был уж, ибо гадюки редко достигают значительной величины. Ужи здесь часто встречаются и попадаются большие. Тогда сильнейший испуг матери был напрасным, а между тем она долго была сама не своя.

Это на тему: «у страха глаза велики».

Недолго мы оставались в Рыне — приблизительно около 2-х месяцев. Не знаю, отец ли не подошел или ему не полюбилось. Вообще говоря, с падением крепостной зависимости он долго не засиживался на одном месте, — редко год и еще реже два года. С его крутым нравом, вспышками, взрывами трудно было и ему и с ним уживаться. После всяких крупных объяснений он, впадая для пущей важности в тон русской речи, кричал: «Плевать я хотел на ваше место! Давайте расчет! Сей минуту расчет!»

Приходя возмущенный домой, он тут изливал всю злость до конца в выражениях высокоукоризненных, перебирая персонально и последовательно всех, против кого имел зуб.

Тут ему перечить было нельзя, ибо накопившийся гнев, как лавина, всей массой обрушивался на перечившего, и дело могло окончиться плохо. Мать это по отцу знала, и в таких случаях молчала.

Говорю это к слову: так бывало, но относительно Рыни я этого не помню. Но помню, что дело было к осени в конце августа или начале сентября. Было много яблок и груш, и мы, ребята, объедались ими. Из Рыни мы приехали снова в Бобруйск, где оставались короткое время. Вполне вероятно, что мать, разуверившись в тех блестящих перспективах, которые живописал отец, ликвидируя всю худобу в Холопеничах, настаивала на возврате туда, к пустому, но родному месту, даже без разбитого корыта. Воображаю, как горек ей был этот поворот. Вперед наука, за которую весьма дорого было заплачено.

Отец в таких случаях никогда не унывал. А возврат был труден: из Бобруйска нельзя было найти подводчиков в большую, в неведомую дорогу. Отец решил купить лошадей и телеги, а в Холопеничах их с выгодой ликвидировать. На этот счет тоже рисовались радужные перспективы, которые, как обычно, не оправдались, но другого выхода не было.

Я помню, что была куплена большая кобылица (стаенная!), почти белой масти за 90 руб. (она должна была оправдать радужные надежды) и лошадь попроще за 60 руб., а также две просторных телеги. Я помню всю длительную процедуру торга, как их приводили, смотрели зубы, осматривали копыта, пробовали на бег, в возу, нагруженном людьми. Смотрели все, и я в том числе. Покупка по всем статьям выходила выгодной. И конечно, в нее был вложен весь наличный капитал и если с некоторым остатком, то очень небольшим.

Тем же путем мы отправились. Отец с Ганной ехали на стаенной кобыле впереди, а мы с матерью следовали сзади.

Ночевали по-прежнему на пути, под открытым небом, а иногда в корчмах придорожных «у стадолі» <...> Меня с сестрой в той же телеге, укутав в одеяла, укладывали спать. Иногда также мы спали и во время пути, покачиваясь из стороны в сторону и толкая друг дружку, что вело к капризным обвинениям меня в умышленных толчках.

Мне капризничать не полагалось, хотя у меня нервы, надо думать, не менее были натянуты. По пути все «обрыдло», приелось, ничто не интересовало. Но когда приехали «у Борысава», то я уже знал, что бабина хата не далеко. Милая бабина хата, со стенами, обмазанными глиной по пазам, с двумя «завалінамі», на которых весело было сидеть и днем, и вечерами и играть! Как не хотелось нам уходить со двора и завалины, когда нас звали спать! Бабина хата радушно приняла нас, бездомных скитальцев. Все разместились как нельзя лучше — и не тесно в 9 на 9 аршин.

Отцу с матерью отвели каморку, мне с сестрой лежанку, тетка Мариля имела приличное помещение возле двери, где рядышком и стояла ее скрыня; баба Рузаля заняла кровать вдоль стены от улицы, на хозяйском месте, где пред тем было брачное ложе деда Винцеся и дзядзіны Юльки. Явись еще семья — маленькая пертурбация — и все разместятся: в резерве оставались печка, общая мать, и запечек, а для лета — клеть и чердаки, где лежало сено и где любили спать летом на вольном воздухе, без мух, блох, клопов и прусаков. С мухами не боролись: дело считалось безнадежным; к блохам относились

терпимо, а с клопами и прусаками вели упорную борьбу, сначала паллиативами[102], вроде того, что ставили на печь, где прусаки кишели, решето или «лубку» с горохвинами (гороховой соломой), куда прусаки забирались массами за добычей. Тут их накрывали и выбрасывали в хлев на мороз. Но всезнающая бабушка вывела их бурой, смешанной с сахарным песком, закрыв доступ к воде и всякой жидкости. Это была блестящая победа.

Два года мы прожили в бабиной хате (1867—1868 гг.). Подчас население ее увеличивалось. Были взяты на постой два парня из деревни Гальков, пришедшие на зиму в школу. Целый день с часовым перерывом они занимались в школе и только вечером являлись твердить уроки при свете лучины. Спали они на лавках, а иногда на печке. Тетка Ганна тоже ходила в школу, главным образом, чтобы научиться молиться Богу по книжке: так объяснялась основная цель грамоты.

Когда умер дед Винцесь в своей Гуте, где он жил бобылем — сапаником в чужой избе, вся его осиротелая семья из пяти душ тут же нашла временный приют, пока не удалось снять пол-избы у евреев с платой по два рубля в месяц, которые надо было добывать дядине Юльке стиркой еврейского белья за грошовую плату. Хватила тут она горя! Ведь дети были мал мала меньше, и достатков никаких. А еще подушных накопилось неоплатная сумма, которые ежегодно начислялись, несмотря на смерть самой «души».

Таскали дядину в волость, кричали, грозили. В конце концов сельский староста Яким Сколубович явился продавать все, что имело какую-нибудь ценность. Захватил подушки — гордость дядины Юльки, сподницы, кашули, хустки, катанки, — все «да шчэнту»[103], — нагрузил на телегу и увез в волость. Кому он там продал и сколько выручил — это знали он да писарь Воўчэк. Недоимка не была покрыта и из года в год нарастала, грозя новой распродажей того, что могло быть нажито тяжким трудом. Сколько здесь было слез, проклятий, слез многодневных, проклятий постоянных, изысканных, великолепно сформулированных, которые лились, как поток, ритмически и патетически, как причитанья похоронные «гэтаму мужыку-гаду», всем его предкам и потомкам

до отдаленнейшего колена, сколько их можно было перечесть. Добродушная дядина Юлька, со всем соглашавшаяся, чтобы не перечить, всегда веселая и смеющаяся, превратилась в яростную волчицу, у которой отняли волчат. И долго в ней держалось это настроение кровной обиды. И не могло не держаться: достаточно было, ложась спать и вставая, взглянуть на куль соломы, который заменял подушки, достаточно было приподнять крышку опустошенного «кубла», чтобы слезы и проклятия полились потоками. С каким трудом и лишением это все наживалось и когда это вновь наживешь!

На почве такого рода вопиющих явлений и возникала идеализация крепостного состояния: пан-де все б это не позволил, пан не допустил бы.

Что делать вдове-бобылке с маленькими детьми? Вскорости пришлось старшую дочку Виктосю — лет 11—12 — отдать «у двор» в прислуги пани Пушкинисе, жене конторщика Пушкина. (Странное дело: фамилия великого поэта держалась среди белорусской мелкой шляхты!) А Юзик, лет 9, приютился у бабы Рузали, захватив в свое полное обладание печку, где он, как кот, спал и днем и ночью.

Любил-таки поспать! Кормили его впроголодь, а аппетит у него был изрядный. Потому, подобно коту, он чутко следил, когда нам, батьковым детям, давали есть. Он подсаживался ко мне и делал умоляющие знаки незаметно делиться с ним. И держал под столом руку наготове. На этот счет мы выработали целую тактику. Когда баба Рузаля или тетка Мариля, которые, как мы понимали, могли не одобрить его подкармливание сверх жалких остатков от стола взрослых, входили в каморку или выходили за дверь, или просто отворачивались, я совал ему кусок хлеба, сочня или блина, картошки, каши и т. п. в руку, а он, улучив момент, пихал в рот большими кусками и поглощал их, не жуя, как акула, и проглотив, сидел с невинным видом, как ни в чем не бывало.

Рот у него был широкий (для таких случаев это важно), зубы крупные и крепкие, но в таких случаях он мало ими пользовался.

На этой почве родилась наша дружеская связь, которая долго длилась. Он был на три с лишним года старше меня,

конечно, сильнее и опытнее, так что во многих отношениях являлся моим руководителем, пособником и защитником. Так он околачивался около бабиной хаты и впоследствии около нашего дома, пока не вошел в возраст и силу и пока пани Хруцкая, сначала ключвойтиха, а потом урядничиха, не приспособила его к себе в подсобного любовника и дарового батрака. Тут наша дружба кончилась.

Еще при жизни отца он усвоил кое-какие сапожницкие навыки: умел дратву сучить, щетинку всучить, гвоздики вколачивать и кое-как сшивать. Это давало ему возможность производить мелкие и несложные починки в нашей семье, а иногда и своим; там, впрочем, обувь была редкостью.

За починку он брался неохотно и нужен был авторитет бабы Рузали или моего отца, чтобы принудить его преодолеть свою природную лень.

Он мог бы учиться сапожному делу у своего дзядзькі Адася Кутоўскага, брата своей матери, но упорно отлынивал. Напрасно баба Рузаля корила его: «Што з цябе будзе, байбас ты гэтакій? Нічога ня хочэш рабіць!» И так далее в этом роде. Он понуро отмалчивался и продолжал лодырничать вместе со мною. Адась Кутоўскі часто находил «прыпірышчэ»[104] в бабиной хате. Он был запасной или отставной солдат и в военной службе научился сапожному делу. Появлялся он в Холопеничах от поры до поры и тогда временно открывал в чьей-нибудь избе свою мастерскую. Инструментаж у него был несложный, и он его в существенных частях всегда носил с собою. И неизменно носил с собою же скрипку. Музыкант он был неважный, но плясовые мотивы — «барыню», «лявоніху», «віраб'я», «бычка» і «мяцеліцу» — умел наигрывать. А это только и требовалось. И поэтому в воскресный вечер молодежь часто стремилась использовать Адася для устройства вечеринки с пляской. Нередко в той же бабиной хате она и устраивалась. Причиной, кроме наличия Адася, дарового музыки, было то, что тетка Мариля была еще в девках (невестой) и к ней, всегда веселой и певуче настроенной, часто собиралась молодежь. Говоря по правде, Адась был сущий забулдыга или, как баба Рузаля предпочитала характеризовать, гайдамака. Ни кола ни двора и нет стремления остепениться, как

люди, осесть на месте, иметь какое-нибудь «прыпірышчэ». Но он не был бродягой: он держался определенной округи, последовательно обходя шляхетские околицы, застенки и деревни, пять-шесть дней работал, а в седьмой и по праздникам в корчме или у добрых людей в хорошей компании гуляет, по возможности, напиваясь. В качестве человека бывалого он любил за чаркой покалякать, порассказать новости, бывальщины, видальщины, но за правдой не гонялся: было бы интереснее. Иногда врал бессовестно, т. е. неправдоподобно.

В разных местах были у него поклонницы, поэтому жениться у него не было склонности. «Нет расчета, — говорил он о женитьбе. — Стану я с бабой волочиться! Этого добра всюду найдется». Он был циник и когда говорил о женщинах, то его рот растягивался в широкую и грязноватую улыбку сатира. За исключением некоторых особенностей, привитых солдатской службой и бродячей жизнью, он и лицом, и натурой, веселой и беззаботной, сильно напоминал свою сестру дзядзіну Юльку. И мой ближайший приятель, защитник и руководитель первых годов моей жизни Юзик, унаследовал характер своей матери, ту же беззаботность и лень, и, стало быть, напоминал и своего дядю Адася.

Надо сказать, что из двух братьев и двух сестер Кутовских, трое отличались беззаботным нравом, легкомыслием и не гонялись за правдой, а один из братьев, Михалка Кутовский из Капачевки, и по внешнему облику, и по нраву совсем был не похож на своих однокровных и единоутробных. Сказался закон наследственности по Менделю[105] с точным числовым выражением, как 3:1. Это был мужик обстоятельный, домовитый, сдержанный, высокорослый и красивый — светлый блондин с голубыми глазами, в противоположность остальным — темноволосым, серо- и темноглазым.

Ну и не любил же его Адась! И при встречах старался всеми силами, чем только можно, досадить ему. Но он никогда не терял равновесия и чувства собственного достоинства. И даже когда Адась, в качестве последнего боевого ресурса, тыкал ему под нос фиги, предварительно помотав их, он, кивнув головой, хладнокровно и серьезно, без капельки гнева отвечал: «Дзякуй!» — как бы получив ценный подарок. Адась выходил

из себя, но в драку вступать боялся. Так что победа была явно на стороне невозмутимого Михалки.

Я очень поражался искусству моего отца играть на гармонии, когда под его проворными пальцами бегали взапуски, по-детски перекликаясь, тоненькие голоса и сердито гудел бас, грозя шалунам. Но скрипка меня просто чаровала и приводила в восторг и изумление: мотает себе Адась смычком, перебирает пальцами — и льются-льются задористые, бодрящие и подстрекающие волны звуков, которые побуждают топать в такт ногами и шевелить плечами. Как хотелось мне овладеть его искусством! И я часто подбирался к его скрипке, соблазнительно висевшей над теткиной скрыней, но самое большее, что мне удавалось, тронуть пальцем тонкую или толстую струну, и она, откликаясь, звенела, как комарик, или гудела, как шмель. Но тут же раздавалось грозное: «Поцега захацеў? Пашоў проч!»

Поцег — это ремень, сшитый концами в кольцо. Сапожники им больно дерутся. Я поцега не хотел.

Но я твердо решился сделать себе скрипку. Все шло постепенно, как в истории музыкальной культуры. Сначала я бренчал на нитке, взяв один конец в зубы, а другой, обмотав вокруг пальца, натягивал. Подергивая пальцем другой руки эту струну, я извлекал и тонкие и густые звуки, смотря по степени натянутости. Опыт привел Магдалену в восхищение, и она сама сумела под моим руководством воспроизвести его. Мы, таким образом, составляли маленький оркестр, некоторое время нас удовлетворявший. Но мне хотелось большего. Вколотив гвоздики по концам дощечки, я натянул на них вощеные нитки (лучше звучат), причем две из них скрутил вдвое (для басовых нот) и искусно подвел кобылку из лучины. Получилось вроде гуслей, и я мог пускать в ход две руки, по обе стороны кобылки, извлекая разных тонов звуки, и мог все четыре струны задевать сразу.

Магдаленка была в восторге и, конечно, считала меня гениальным изобретателем. Но я скоро охладел и к ее похвалам, и к своим достижениям. Вскоре я сделал скрипку, «як запраўдашнюю», из дощечки, придав ей формы недосягаемого образца, висевшего на стене, т. е. сделав вырезы с боков

и выстругав ручку. Просверлив шилом дырочки, колышки я вставлял торчмя и ими натягивал нитчатые струны, хорошо навощенные и разной толщины. Кобылка была выстругана из лучины, как следует, и в довершение достижений я сделал смычок из настоящих конских волос. Справедливость требует сказать, что в отношении смычка и даже идеи его построения заслуга частью, если не целиком, принадлежит Юзику: он выдернул волос у лошади из хвоста, он придал смычку форму лука, и он же насмолил его смолою, которой смолили дратву. Я мог играть, перебирая пальцами струны, наподобие Адася. Тут не только Магдаленка, но Машка Жандарова была в восторге, и я своим искусством прочно покорил ее сердце. Я не только играл, но и искусно подпевал раздалые «прыпеўкі», подобные этой:

Тылі-тылі скрыпачка —
Ляціць баба с прыпечка:
А дзед яе за вуха:
Куды ляціш, псяюха! —

Но я упражнялся и совершенствовался в музыкальном искусстве только несколько дней и, видя жалкую ограниченность своих возможностей, подарил свою скрипку целиком Амосу Миколеву без всяких компенсаций, просто как вещь, не стоящую внимания. Может быть, несмотря на восхищение Магдаленки, и Машки Жандаровой, Аринки Пастуховой, я пришел к печальному заключению об отсутствии у меня музыкальных дарований (что была горькая правда), ибо скрипка была, по общему отзыву, «саўсім як запраўдашняя». Аўтух, меньшой брат помянутого Амоса, начав с такой же скрипки (мне было бы приятно думать, что моя послужила образцом), дошел до «самделешней» и стал хорошим деревенским музыкантом. Увы — проба показала, что мне это великое искусство не дано.

Но я еще долго к нему стремился, меняя разного рода инструменты: были у меня и петушки, что в хвост свищут, свирели без числа, которые я сам сооружал, жалейки, которые я сам же строил, наконец — губная гармоника, которая у нас

почему-то называлась «гуселькі» (вещь, стоящая внимания, не чета моей скрипке), но все же музыканта из меня не вышло.

Потом я узнал из Крылова, что надо уши понежней[106].

Был еще один периодический постоялец бабиной хаты, который, как и Адась, никогда не имел постоянного «прыпірышча». Звали его Еска. Кто он и откуда он — никому не было известно, да и сам он этого не знал. Он страдал сильнейшими припадками падучей, и поэтому говорили, что он «адбіў сабе розум». Действительно — в голове у него недоставало нескольких клепок, память отшибло, и речь была сильно коверканная. Это не помешало его сдать в солдаты. Долго ли он служил, не знаю, и у него об этом были смутные воспоминания. Но усвоил кое-что из склада русской речи, а может быть, она была его родной и только смешалась с белорусской. Потом он работал на чугунке[107]. Где — тоже неизвестно, но часто силился обрисовать картины этой каторжной работы. В его речи, довольно бессвязной, фигурировали лопата, тачка, рейки, шпалы, о которых я понятия не имел и от него впервые услышал. Он держался исключительно Холопенич, вплоть до смерти.

Но в местечке у него было несколько излюбленных домов, где им не гнушались (водились вши, и в немалом числе), и он приставал по очереди то к тому, то к другому. Поживет и уйдет «на другую квартиру». Баба Рузаля, видя, как Еска почесывается, «чухлітца», пошлет, бывало, его в баню. Он знал, что надо там делать. Рубаху и порты подержит над раскаленными камнями печи, затем потрясет — и начинается треск, как от прожженного гороха. Потом ту же операцию проделает и с сермягой. Это называлось «вошы прудзіць».

Вид у него был сумрачный, понурый, глаза впалые под лоб, брови густые и взгляд суровый. Он редко смеялся, редко был доволен, всегда глядел угрюмо и недружелюбно; особенно был угрюм после припадков падучей. Мне их видеть не пришлось. Говорили, что его корчило, ломало, он синел, и пена выступала на губах. Все, конечно, считали, что это дело злого духа, который его «хватает», на него нападает; была боязнь этих припадков, но особого почтения к этой «священной» болезни я не замечал. Одна только Христина Удушливая

чувствовала к нему некоторую симпатию по причине этой одержимости. «Гэто яму Бог даў, гэта на яго Бог наслаў», — веско и убежденно говорила она. Это значило, что он отмечен перстом свыше.

Когда он был голоден, он говорил просто: «Хозяйка, нет ли чего поесть?»

Ел, что давали, и в благодарность колол дрова, носил воду или исполнял другие простейшие работы. Но труда постоянного, длительного решительно избегал.

В тех домах, которых он придерживался, у него были склады бересты. Ее он драл иногда в лесах, а большую часть сдирал с дров у того или другого хозяина. Позволения он не спрашивал, и ему, для спасения души, не препятствовали. Из этой бересты он искусно изготовлял табакерки и соляницы. Табакерки были овальной формы, а соляницы круглой, вместимостью на фунт соли. Работа была удивительно точной и прочной. Производилась при помощи ножа и шила. Ножом он кроил бересту на полоски, вырезал замки для сцепления, выстругивал донышки и крышки, прикреплял их деревянными гвоздиками, вроде сапожных, которые тут же изготовлял сам. В солонках делал прорез и покрывал ее подвижной заслонкой. Но верхом искусства был сложный и изящный узор, который он выжимал шилом, я сказал бы, гравировал на бересте.

Это были подобия развернутых цветков, как цветок яблони, маргаритки и колокольчика на сетчатом фоне. Овальные линии он выводил твердо и уверенно, одна в одну в правильном сочетании. Как истинного художника, чувство меры не покидало его: не было излишней пестроты, сложности и аляповатости, — искусство лучшей поры троглодитов[108] из Кроманьонских пещер.

Три дня в году были его торжеством: Успеньев день (храмовый праздник), и две ярмарки — на Рожанцовую и на масленице. Тогда он, одетый в чистое белье, с застегнутой рубашкой у ворота красной істужкой[109], в солдатском мундире и кепи, которые ему дарили стоявшие в местечке солдаты, в холщовых портках и новых лапотках, нес связки своих изделий продавать: табакерка 5 коп., солонка — гривенник. Цены твердые.

В широкой округе расходились добротные изделия его искусных рук и хорошего вкуса. Нюханье табаку вышло из моды и вместе с тем исчезли табакерки; но солонки этого художника-троглодита, я думаю, где-нибудь еще держатся.

В эти счастливые дни после хорошей выручки он заходил в корчму и, картавя, но внушительно говорил: «Хозяйка, дай кватэрку водкі і тарана!»

Усаживался вместе с господарами за стол, выпивал молча и, не глядя по сторонам, съедал тарана, покрытого прозрачным, коричневатым, как янтарь, желе, и тогда поднимал голову, победоносно озирая всех. И тут же, к общей потехе пьяных и подпитых, начинал ломано и нескладно рассказывать про чугунку. В другие дни он не пил. Может быть, потому что денег у него не было, и может быть, не было и влечения.

Несмотря на сумрачный и суровый вид, он не был злым, но ребята часто выводили его из себя бессмысленным приемом. Они кричали: «Еска! Дыль, дыль, дыль!», шевелили большим пальцем. Еска выходил из себя, скверно ругался и швырял камнями.

Умер он от какой-то болезни у Христины Удушливой, приютившей его для спасения души.

Дядина Юлька, по тому же мотиву принимавшая участие в опратывании[110] покойника, потом говорила: «Божа мой, сколькі з яго гэтага бруду папаўзло: несасвяцімая туча».

Обрядили его, как следует, и хоронили с честью в солдатском мундире в холщовых штанах и в новых лапотках.

Юрка. Изредка и на короткое время заглядывал в бабину хату юродивый Юрка, божий дурачок, существо беззлобное, не то с загадочной, не то с бессмысленной улыбкой на устах, как у Иоанна Крестителя Леонардо да Винчи, и с глазами как бы стеклянными, безразлично и безучастно на все взирающими, без чувства и мысли во взоре.

Он был сыном зажиточного шляхтица, его дома и кормили и одевали, но он, как Франциск Ассизский[111], снимал с себя все и тайно уходил нагишом, безразлично — зимой или летом. В первой деревне, где он появлялся, бабы надевали на него длинную женскую сорочку и повязывали его стриженую голову каким-нибудь завалящим платком. Но он его большею

частью снимал и шел дальше в женской рубахе, заходя в избы обогреться или поесть. Такой приход сначала считался благодатным. Говорил он мало, странным тонким голоском и совершенно по-детски. В сильные морозы уши и ноги у него обмерзали и, когда он ступал по полу, то звук был такой, как от обутой ноги — кожа на подошвах твердела. Бабы вносили лоханку снега и оттирали обмороженные ноги, руки, уши. Он при этой операции радостно смеялся, как смеются дети, когда их щекочут. На боль не жаловался. Эта нечувствительность считалась даром свыше: так бог дал своему избраннику. Обогревшись, если дело было зимой, и, поевши хлеба, он незаметно исчезал и шел далее, пока отец где-нибудь не настигал его и, одевши, отвозил домой.

У портного Яськi Шаблоўскага была дочка-дурочка, несколько моложе Юрки. Сойдясь, они друг друга понимали, сидя на лавке или на завалинке летом, целыми часами играли и оживленно болтали не столько словами, сколько звуками и полусловами как: а-га, у-гу и подобное, видимо, чувствуя симпатию друг к другу. Но Юрка все же уходил.

Он умер лет в 20 или несколько более. И тут-то предстояло решать трудную задачу, как тело его попадет в Киево-Печерскую лавру. Что он святой — в этом никто не сомневался: грешить он не мог, так как разума у него настоящего не было, да и никому он никакой обиды не причинял. Что все русские святые появляются мощами в киевских пещерах — это тоже было несомненно: это был русский пантеон. Ходовое положение формулировалось так: коли там в этом святом месте появлялся, значит, святой, и тело его будет нетленным до воскресения из мертвых. Но как? Вот вопрос, на который надо было дать удовлетворительный ответ.

По этому поводу велась продолжительная ученая дискуссия в бабиной хате, при свете лучины. Участники были довольно многочисленные: человек 5—6 и более, кроме лиц без речей, и, как обычно в ученых кругах по спорным вопросам, гипотезы выдвигались разные и разных направлений.

Христина Удушливая, побывавшая и в киевских, и в почаевских пещерах, относительно всех важных вопросов имела твердое мнение, впрочем, лучше сказать — убеждение, ибо

оно ей представлялось несомненной истиной, ясной, как божий день.

Она веско, тоном докторальным говорила:

— Бог пошлець анёлаў з неба, і яны перанясуць на воздусях прачыстае цела яго ў Кіева і паложуць у цэркві. А манахі службу справяць, апрануць у плашчаніцу і ў рызы і паложуць у пячэрах у святую раку. А потым у сынодзік запішуць, ну, і будуць малітца, а па малітве і цуда будзець. Як хто чаго варт, хто чаго заслужыў...

По ответу на основной вопрос — как? — это мнение явно мистического характера, но догматически утверждаемое. Грышка Парэцкі, механик и мельник, побывавший в Киеве и обследовавший пещеры, придерживался натуралистического взгляда: подземного путешествия тела по «лехам», т. е. подземным водным ходом в ближайшую реку, в данном случае Начу, из Начи в Березину, в Днепр, с остановкой у Киевских пещер. Там монахи выйдут, тело примут, а далее с Христиной не было разногласия.

Словом, Гришка стоял за водное путешествие тела угодника Божьего в место прославления, по течению рек, с предварительным подъездом по «лехам». Приводились примеры от опыта: как там-то и там-то вбивались «пали» в болота, а они подземными ходами очутились в таком озере, что по течению поплывешь — это очевидно, и что «лехи» выносят бревна — всем было известно.

Но слабый пункт гипотезы заключался в том, что в могиле «леха» нет. Как же тело попадет в этот «лех»?

На это Гришка, впадая в догматический тон Христины, отвечал:

— Гм! А моц Боская на што?

И после некоторого молчания прибавлял:

— На тое Боская моц...

«Боская моц» дело решила. Но если бы дело шло не о бескорыстном искании истины, а о личном самолюбии или соревновании школ и направлений, то для каждого было очевидно, что метод Христины Удушливой мог бы торжествовать победу, как единственный, всецело основанный на «Боскай моцы» и притом чистый, не чета каким-то подземным ходам,

сырым и грязным, — метод, дававший возможность вышивать, приличные случаю, поэтические узоры.

Коваль Эдвард Старжинский слушал, попыхивая трубкой и часто сплевывая на пол. Он не возражал ни против того, ни против другого пути. Надо думать, они были для него безразличны и оба приемлемы. Но в качестве католика, изредка одевавшего «комжу» при служении в костеле (в случае недостатка более достойных кандидатов), он вносил существенную поправку: нельзя стать святым без признания святости, «свентым ойцем, папежем жымским».

Это было методическое упущение, но против этого никто не спорил. Это точка зрения церковной политики, направление практическое.

Таким образом, вопрос можно было считать достаточно выясненным и удовлетворительно решенным.

Но вопросы канонизации не обходятся без участия адвоката дьявола. На этот раз эту неблагодарную роль взял мой отец. Во многих вопросах церкви, поповства и монастырской жизни, святости чудес он держался скептической точки зрения, любил блеснуть скептицизмом и отрицательным направлением, что, впрочем, ему не мешало и в церковь ходить, и усерднейше молиться.

Он говорил:

— Брэхня! Папоўскіе і бабскіе выдумкі. Адзін Бог знае, хто святый, а хто не. «Свенты ойцец, свенты ойцец» — а ззаду ў яго смярдзіць, чы не?

Які́й ён там святый! Тое самае, што і мы грэшные. І мошчы — адна брэхня, абман і выдумка! Адзін гэтак хацеў уверытца: мошчы тэта — чы не? Як прыкладываўся к руцэ святого — узяў ды ўкусіў за палец. Кусок у яго році і застаўся. І што ж вышла? Разглядзеў — аж гэта воск. Рука васкавая выстаўлена. Вот табе і мошчы! Стане табе Бог памагаць народ абманываць! І пачаму гэтый Юрка будзе святым? Што ён харошага зрабіў? Чы мала дуракоў на свеце раджаітца, дык гэта ўсе святые?

И так далее в этом роде.

Эта точка зрения, как и следовало ожидать, не нашла явных сторонников: хотя попов и недолюбливали и в то, что

они прибегают к обманам и ложным чудесам, верили, но нисколько не сомневались в наличии истинных чудес, чудотворных икон и подлинных мощей, как признаков посмертной святости.

Что касается меня, сидевшего на лежанке, поджав ноги, и внимательно слушавшего все эти веские суждения о важных вещах, то мои симпатии всецело были на стороне метода прославления, данного Христиной Удушливой: он прост и ясен и вдобавок поэтичен.

У меня перед глазами висела большая икона немецкой литографии — снятие со креста — многокрасочная и цветная, где прекрасные ангелы с нежными лицами, золотистыми волосами, беленькими ножками и лебяжьими крыльями, в розовых и голубых платьицах, реяли над крестом, каждый с клещами в руках. Это они выдернули крупные гвозди, «ухналі», и они сняли безжизненное тело, подхваченное руками матери и ангелоподобной Марии Магдалены, которая тихо плачет, глядя в спокойное и прекрасное лицо.

Кто посмел бы отрицать действительность изображенного события и верность обстановки?

Так далеко не шел и скептицизм моего отца. Но если ангелы могут выдергивать гвозди, снимать со креста, возносить душу на небо, то почему бы они не могли отнести тело святого по воздуху (это их родная стихия) в Киев? И зачем подвергать тело святого подземному и подводному путешествию, крайне стеснительному и неудобному?

Христина могла смело торжествовать.

Что касается, в частности, прославления юродивого Юрки, то вскоре паломники в Киев удостоверили, что он доподлинно там. Так или иначе, но явился.

Против факта кто станет спорить?

В бабиной хате по вечерам и по праздничным дням всегда было людно. Первое дело, что к бабе Рузале обращались частенько с просьбой погадать на картах, а также за знахарскими и житейскими советами. Нередко ее, как женщину опытную, приглашали посредничать в спорах, пререканиях, взаимных недоразумениях, своего рода третейским судьей; иногда с просьбой — повлиять на того-то, убедить такую-то,

«параіць» (посоветовать), как выйти из такого-то положения, как быть в таком-то случае; а главное — «даць рады», «ратунку» в болезнях людей и домашнего скота. У очень многих она была бабкой-повитухой (пупорезницей) и, помню, насчитывала свыше 50 «внуков», принятых ею новорожденных; это значит, что она в свое время получила 50 «наметок», холстин во весь рост, и должна была готовить к пасхе по крайней мере копу яиц «внукам», которые по обычаю должны были явиться «похристосовать» бабку. Это было своеобразное свойство, которое долго помнилось, особенно ребятами; пасхальное яйцо, конечно, подкрепляло память — не без того, — но, помимо этого маленького своекорыстия, являлось смутное чувство какой-то таинственной связи, какого-то родства. Я, по крайней мере, бескорыстно и нежно любил свою бабку Тэклю Тоўкачыху — по внешности особу очень невзрачную: низкорослую, с расплывчатым носом и широким ртом. Но я этих недостатков в то время не замечал.

Еще особенность народных нравов: как видим, баба Рузаля имела широкий акушерский опыт, но родильную помощь своей дочери не брала на свою ответственность. И даже было так, что моя третья сестра Павлинка уже родилась, но «абабіць» посылали меня за бабкой Тэклей.

У бабы Рузали много было всяких трав, корней, цветов, семян — лекарственных средств. Это была целая аптека. Все это помещалось в мешочках, подвешенных к потолку, берестянках, лубочках в клети.

Тут и «дзівасіл», дягиль, корни аира, слепая крапива, наперстянка, арника, ноготки, чомбар[112] (шамбар — трава Кузьмичева прославленная), гірлянка, кроваўцы, липовый цвет, сосновые шишки (весенние побеги сосны), смола живица, корни пырея, цитварное семя, солодковый корень и многое множество других, мне неведомых или забытых. Впрочем, в моих «Пережитках древнего миросозерцания у белорусов» приведено немало средств лечения болезней моей бабушкой. Мази она широко практиковала. Для этого, помимо говяжьего и свиного сала, старалась раздобыть сала медвежьего и заячьего. Употребляла для подмешивания скипидар, деготь, серу, ртуть, березовые и тополевые почки и многое другое.

Верила в простейшие средства колдовские и их практиковала, но, боясь греха, далеко в этом отношении не заходила. Даже невиннейшее гадание на картах считала грехом и горько в этом каялась, много раз зарекалась, отказывалась гадать, но уступала просьбам, мольбам со слезами: так велика была потребность в гаданиях в некоторых житейских случаях, вроде покраж, перемены селитьбы, женитьбы и т. п., когда все было темно, ничем не мотивированная воля стояла на мертвой точке: надобен был какой-нибудь просвет, какой-нибудь толчок в определенном направлении. Психологическая и социальная роль «оракулов» еще недостаточно обследована. В древности она была огромной и всерешающей, но и в наше время в деревне и в городских низах еще не утратила кое-какого значения. Мотивация воли — вот, на мой взгляд, существо дела в гаданиях. Но я далеко отклонился от темы.

Второе, что привлекало посетителей в тех случаях, когда в бабиной хате жил мой отец или дядька Онуфрий — тот интерес, который они представляли в качестве людей бывалых, много видавших, умеющих хорошо говорить, особенно дядька Онуфрий, который вдобавок был самоучкой-грамотником, любившим книгу, и иногда читавшим приходящим интересные рассказы, стихи и куплеты.

Поэтому, когда мой отец или дядька Онуфрий были налицо, то по праздникам собиралось много народу, преимущественно молодого поколения, его сверстников — послушать, побеседовать, особенно в промежуток [между] утреней и обедней или вечерком.

В-третьих, тетка Мариля, еще невеста, привлекательная по внешности и по живому веселому нраву притягивала к себе девушек-ровесниц и помоложе посидеть, попеть песни, поболтать, а то и вечеринку устроить с плясками. А уж где девушки, там и молодые люди, притом девушки столь отборные, как тетка Мариля, у которой немало было поклонников, как Полька Голованова — дочь богатея кожевника, как Алена Сколубовичева, рослая, здоровая, красивая, кровь с молоком, как Аўдоція Трыпутнева под пару Алене, как Аўдуля Новикова и другие. Все завидные девки, красавицы на подбор, словно в их время был особый урожай на рослых, хорошо

сложенных, грудастых и лицом красивых[113]. Скажем, Наста Новикова, возлюбленная дяди Онуфрия, могла всюду почитаться отборной красавицей. Странное дело: были миловидные девушки в моем поколении, но такого отбора красавиц, которые могли бы служить моделью героических женщин скульптору и художнику — уже не было или было очень мало: раз-два и обчелся.

По этим причинам в хате бабы Рузали всегда были чужие, а по вечерам и в праздничные дни даже было людно.

И такие дискуссии, вроде описанной выше по вопросу о канонизации юродивого Юрки, весьма часто возникали, правда, при участии в споре дяди Онуфрия, дьячков Хрупкого и Либича и органиста Брокона. Они много выше вздымались на богословскую или философскую высоту: а если шла речь о житейских вопросах, а не превыспренних, где все кошки серы, то спор отличался дельным характером.

Женская часть обитателей, кроме бабы Рузали, постепенно выходившей из рабочего строя, занятая рукоделием или домашними работами, не принимала участия в спорах, [...] не без основания считая их пустозвонством и переливанием из пустого в порожнее, а если и участвовала, то короткими репликами, как голоса из публики. Споры часто разгорались и принимали страстный характер, особенно когда шла речь о вещах, которых никто хорошенько не знал.

Для характеристики приведу тему. «Ксёндз за мшой (обедней) спажываець комунію, чы толькі прымер падаець». Это значило: ксёндз за обедней принимает ли причастие действительно или только символически?

Вот такие схоластические вопросы здесь поднимались и обсуждались, словно на диспуте средневековых схоластов. Такие темы и им подобные, без сомнения, являлись результатом процветания здесь кляшторной[114] школы: она развила вкус к подобного рода вопросам.

Неизменным и, может быть, самым внимательным слушателем всех этих споров и разглагольствований был с 5 лет я, сидя на лежанке, старался не проронить ни слова. Понимать — не понимал, но запоминать — хорошо запоминал и даже теперь многие споры мог бы передать близко к

действительности и далее с сохранением подлинных выражений. Но дело не стоит того, так как споры эти характерны не для общих и существенных воззрений массового характера, а для некоторой части местечковых обитателей, склонных упражняться в диалектических словопрениях, наподобие византийских лавочников времен первых вселенских соборов.

Для меня эти споры и беседы не проходили бесследно. Я даже склонен им придавать большое значение. Я силился понять — о чем говорят, и, слыша названия неведомых мне вещей или их описания, тщился представить их себе. Представляя, разумеется, несуразно, но это давало работу воображению. Слыша новые для меня мысли и суждения, я силился их понять: понимал, разумеется, по-своему, т. е. неправильно, но это шевелило и пробуждало мысль, давая ей пищу и работу.

Для меня бабина хата с ее завсегдатаями и случайными посетителями была широкой школой, где я многому научился, в том числе и полезному. Многое непонятное скользнуло по сознанию и исчезло, не оставив следа, а многое, доступное пониманию моего возраста, сохранилось и впоследствии было осмыслено.

Для всех страдающих или пострадавших от житейских обид, болезней, воровства, пожаров, притеснения властей, семейного гнета, несчастий — было своего рода складочным местом горестей и утешений в печалях и невзгодах.

Это ли не школа жизни?

Для всех, ищущих места скоротать свои досуги с интересом, бабина хата была как бы сельским клубом высшего порядка.

Корчма — это общий клуб. А бабина хата была как бы клубом для избранных, здесь держали себя прилично и сдержанно, без сквернословия, ибо уважение к дому этого не позволяло — и чуть что — баба Рузаля без обиняков указала бы на порог: — Калі ты такі, што свянцонага дому не пачытаеш, сталых людзей не стыдзісься і не уважаеш, дык ідзі прэч з майго дому!

Или более примирительно и наставительно:

— Мацей, як табе ня стыдна? Добрыя людзі такіх паганых слоў не гаворуць. І яшчэ прад святымі абразамі і малымі дзяцьмі!

Бабина хата была домом строгих нравов. Но и здесь бывали прорухи, когда баба Рузаля стала терять силы, а с ними и прежний закал характера.

Теперь, кажется, достаточно известно, чем была бабина хата, особенно для меня: известна и она сама, скромная и даже невзрачная, и ее наполнение.

Пока ее оставим в стороне и обратимся к тем событиям, которые в ней происходили или с ней соприкасались, входя в круг ее интересов.

Мы в ней прочно осели почти на два года, всей семьей, с лошадьми, телегами и прочим скарбом. И много важных событий в нашей жизни произошло за это время, пожалуй, важнейших из всего того, что нам семейно приходилось переживать в последующее время.

Отец сразу принялся за приискания подходящего плаца для постройки избы. Это было устроить нетрудно: имение принадлежало еще пану Лапе, т. е. своему пану (это имело значение), к тому же еще куму (и это кое-какое значение имело), а главное — свободные участки были. Правда — далеко не столь выигрышные, как нами проданный, но сносные. Отец выбрал из свободных ближайших участок к бабиной хате, так в саженях шестидесяти в сторону от Замковой улицы, с подъемом в гору, с горушкой от улицы, довольно покатый, со слабым супесчаным грунтом, 16 на 80 саж., без малого полдесятины, который долженствовал отныне кормить нас, т. е. служить основой нашего благосостояния. Задача трудная! Но это его дело: пусть умудряется, как знает.

Улица вновь была запроектирована в направлении с востока на запад и потому зимой заносилась высокими сугробами снега, которые некому было ни разъездить, ни растоптать, ибо жили сплошь бобыли и бобылки, одиночки или по двое, всего четыре избушки наперечет: отставного солдата Юски, пастуха Андрея или, впоследствии, его жены Магдалены-глушки (глуха была, как тетеря) и Христины Удушливой, уже нам знакомой. В четвертой жила Мартечка Гуториха,

с которой нам предстоит еще познакомиться, как и с ее дочкой Еўкай Марцыной. Все это были избушки без сеней, курные, а вместо сеней стояли загородки из березового хворосту, — словом, беднота безнадежная и беспросветная. Кому тут протаптывать дорогу? И стояла она в живописных сугробах, являя подобие швейцарских снежных вершин, как их изображают в дешевых олеографиях[115].

На беду, с другой стороны вдоль всей улицы шел сад и огород пана Хрупкого, ключвойта, чиновной особы, который обнес его высоким частоколом, прихватив около двух сажен улицы, так что она вместо пятисаженной сузилась до 3-х сажен. И стало быть, сплошь была завалена снегом. Это грабительство происходило на наших глазах и не без протеста. Но что значил протест трех-четырех бобылок против такой особы, как ключвойт, — особы, призванной следить за правильностью застройки и постановки плетней и заборов, — словом, такой особы, которая могла вас арестовать и, которая, как вы помните, собиралась высечь розгами Юльку Маринишку. Попробуй тут протестовать, когда частокол городили сотский и два десятника с бляхами. Единственным протестом были проклятия, очень обильные, очень разнообразные по содержанию всяких бед на его лысую голову и очень замысловатые и сильные по форме. Особенно изощрялись Христина Удушливая и Магдалена-глушка, — первая в стиле похоронных причитаний, в стиле ритмическом, доходя до высокого пафоса, как Сивилла[116] древняя, а другая — диким деревянным голосом выкрикивала проклятия довольно внушительные и ругательства по возможности грубые, если в свете есть святая правда, то все изреченное падет на его голову, его жены-потаскухи (смягчаю, много сильнее было сказано), которая «з кім толькі не таўклася», и их дочки-выблядка, которая семь гадоў седькой сядзела. И обе сивиллы — сивилла Кумская (Христина) и сивилла Эритрейская (Магдалена-глушка), оказались пророчицами: нехорошо кончила эта именитая семья.

Но это в будущем, а пока что улица была основательно испорчена и не исправна и по сей день: дурное дело — прочно живет.

Отец же, закрепив участок за собой на правах вечной аренды, с платой небольшой, но впоследствии возвышенной до пяти рублей в год, поехал по деревням сруба искать. Где-то неподалеку был найден сруб — уже стоялый, так что сосновые бревна из желтых посинели, но еще прочный и купленный недорого, рублей за тридцать.

Весной были изготовлены две тачки, с чугунными колесами, которые где-то счастливо удалось раздобыть, куплены два «рыдля» (особого сорта лопаты), и отец с матерью дружно принялись срывать бугор и, срезая вершину, выравнивать, засыпая песком косогор. Образовали значительную ровную площадку, на которую и был перевезен сруб, и было подготовлено место для другого сруба и сарая, которые еще надлежало купить. Стройка, с перерывами, шла долго, около двух лет. Был куплен другой сруб, поновее, и приставлен к первому, образовав просторные сени и вторую половину избы, которая пока служила кладовой и в жилое помещение никогда не была превращена. А сарай был построен года три спустя по переселении, из старой солодовни, которую удалось купить в имении за ненадобностью, когда оно стало быстро клониться к упадку, и удалось купить очень дешево. Солодовенные печи своим кирпичом и кирпичный пол с лихвой оплатили покупную цену, перевозку и постройку, конечно, с применением своего каторжного труда.

Дорого обошлась отцу и матери его затея переезда в Бобруйск, сколько это стоило тяжкого труда, затрат, потерь, — все же не было тех удобств, как в старом домике, строенном при других, более выгодных условиях.

Изба была приличная, обычного размера 9×9 аршин, печка была сооружена основательная, с лежанкой и поставлена по-белорусски с топкой возле входной двери, с запечком, который был застлан полатями; от печки шла дощатая перегородка, так что была выделена каморка для спанья, стены оштукатурены и выбелены, полы настланы ровные, габлеваные[117], появилась и канапа[118] наподобие бывшей, и стол, и лавки, и табуретки — все, как в старой хате, но окна были, хотя и створчатые, но поменьше — в четыре стекла, вместо шести, и не было того веселого вида, а главное — изба стояла на юру, без всякого

прикрытия, беззащитная от северного свирепого ветра, что чувствительно давало себя знать в суровые зимы.

Все же было много неподдельной радости, когда въехали в новую хату, в такую долгожданную и с таким трудом, и усилиями, и жертвами воздвигнутую.

Справили, разумеется, «улазіны», т. е. новоселье, как следует, пригласив на угощение всех соседей, с которыми зналися и «зваліся».

Но это все было впереди. А теперь возвратимся к событиям в бабиной хате. События все больше печальные.

Первое — тетка Мариля, горделивая, веселая и неугомонная, вне брака родила сына Антона.

Поклонников у нее было несколько. Но главных — трое: органист Бракон, дьячок Хруцкий и дворовый лакей Костик Шелапенок. Это, что называется, сливки местечковой молодежи. Самым надежным и самым подходящим был бы Костик, но она метила выше, и Костик отстал. Любовь его, по-видимому, была искренней, глубокой. Я помню, как много лет спустя, будучи человеком видным, «попавшим в струю», он говорил отцу: «Хацеў жаніцца на Марылі: не пайшла, ну і ня нада. А на другой не хачу».

— Віджу, што яна к Бракону хіліцца... Глядзі, Маріля, — кажу, — як бы табе не абмыліцца... Каб прамашкі ня вышла... А іна ня той строй: пашла сабе гуляць з ім, за ручкі ўзяўшыся, па Юрздыцы ў полі... Злосць мяне ўзяла. Ідучы ў двор, стукнуў я ў Рузаліна вакно: «Цётка Рузаля! Пільнуй дачку: з Браконам гуляць пашла, нібы на прахацку. Глядзі, каб чаго не прынесла». І іна: «Што ты брэшыш, сабака! Брашы на свой хвост...» Ну, я і павярнуў аглоблі.

Это было еще до нашего отъезда в Бобруйск. А Антон родился, кажется, когда мы были в Бобруйске. Бракон в этом деле был ни при чем: тетка Мариля себе цену знала. Он другую жертву избрал, более покладистую.

Но вскоре появился дьячок Хруцкий, попович, смазливый, румянощекий, с чуть-чуть отпущенной бородкой, кудри вьющиеся до плеч, певец отборный: сколько сердцещипательных романсов, которых в Холопеничах и не слыхивали! К тому же с гитарой: очень важный ресурс. Сердцеед

отменный. Надо думать — и опыт был по этой части. Я очень хорошо помню, как он учащал у бабину хату, и сидя у открытого окна, тонко выводил, наигрывал на гитаре.

Вот отсюда все и пошло. Это было веселым началом горькой доли тетки Марили. Разумеется, клятвенно обещал жениться и все прочее.

Конечно, все это должно было кончиться печально для бедной девушки. Но так можно судить умудренному опытом. Тогда все это прошло и мимо моего сознания, а тем более понимания. О начальной стадии этой нередкой деревенской драмы я рассказываю по позднейшей наслышке. Я могу только вообразить горе бабы Рузали, когда она заметила, что дочку не уберегла, к чему так стремилась; что настало время, когда пугой нельзя испугать, особенно такой своенравной и самонадеянной дочки, как тетка Мариля. Сколько было там слез и проклятий — это я могу только представлять, но делалось все это дома, с глазу на глаз, при закрытых дверях. Но конечный результат этой драмы, ее эпилог или, как древние говорили, «эксод», исход — это я наблюдал и даже посильно участвовал в переживаниях горестного конца, т. е. слезами, не вполне сознательными, но, как следует, горькими. Злые люди говорили:

— Гэта ёй за гордасць. За гордасць Бог пакараў. Цанымеры сабе ня знала. Сватаўся Кастусь Шалапёнак — дык пагардзіла. Мала ёй — падымай вышэ. За паповіча хацела выйсці, дзячыхай абы пападзёй хацела быць. Вот табе і пападзя! Цяпер танянёхайся з банкартам. Будзе бабе Рузалі пацеха на старасць.

Это суждения обычные и неизбежные. Самые умеренные языки говорят: «Што ж, ні яна першая, ні яна паследняя».

Но драма была бы не полной без соперницы.

Была и соперница, это не больше не меньше, как сама пани Хруцкая, — в местечке Холопеничах, в свое время «особа».

А в таком разе нам надо о ней и особо поговорить: мы с ней не раз будем встречаться.

Была она дочерью мелкого шляхтича Хоцяновича, мелкого арендатора, славившегося своей необычайной силой, так

его и звали «асілак», что значит — богатырь, силач, но пьяница и забулдыга. В старое время он был бы незаменимым рубакой в свите какого-нибудь пана на сеймиках, вроде Заглобы[119] в романе Сенкевича, но родился слишком поздно, — таких услуг не требовалось — и потому он выбрал другое амплуа по потребностям времени: он был наемным обличителем и ругателем всех именитых особ в м. Холопеничи.

Стоило ему поставить кварту в корчме и, как пса, натравить на кого-нибудь из именитых, он, став у окна, начинал отчитывать, да так! Выкапывая всю подноготную, перебирая всех предков и потомков, ловко, заковыристо, занозисто, сопровождая ругательствами, проклятиями, взывал к Господу Богу и всем святым его, призывая всяческие кары и поношения на вашу голову.

Напрасно вы будете закрывать окна — глотка у него здоровая — все равно услышите! Напрасно вы будете его упрашивать дать покой вам: он человек добросовестный, дал «слово гонару», — и постарается опорожнить свою утробу до конца, к величайшему удовольствию все растущей толпы, пришедшей потешиться даровым и преинтересным спектаклем.

Унять его невозможно. Когда он обличал столь сильных людей, как становой пристав Бародзіч или волостной писарь Вовчак, так высылали сторожей и десятских человек по пять. При малейшей попытке взять его — они разлетались, как мухи: «асілак», — это было всем известно.

Пани Хруцкая была дочерью этого асілка, единственной дочерью, видимо, отрешенной, ибо была она совсем неграмотной, ибо впоследствии, когда я овладел кое-как искусством письма, она, пользуясь моей зависимостью, диктовала мне письма к своим любовникам, так что я их знал наперечет. Впрочем — она из этого не делала тайны. А письма были очень чувствительные, но все одинаковые, видимо, по давно выработанному трафарету. В конце, после заключительного аккорда любовных излияний, она велела ставить К. Х., что означало Катерина Хруцкая.

Миловидная, ловкая и хитрая, впрочем, не лишенная ума, житейского опыта и такта, она умела искусно к

каждому подойти, нащупать его слабую струнку и использовать ее в своих интересах. Ловко обделывала свои дела и делишки.

Замуж она вышла за пожилого Хруцкого, раздобыла ему, не без греха с приставом, более выгодное место ключвойта, а потом урядника, хотя он был еле-еле грамотным и для составления так называемых актов посложнее должен был прибегать к чужой помощи.

Но взятки с конокрадов и воров брал исправно, брал их с торговцев, и вообще со всех, к кому можно было на законном и беззаконном основании придраться. Лысый, седой, он, однако, имел громкий голос, внушающий страх, и, как мы видели, имел намерение высечь розгами Юльку-Марынишку.

Малограмотный, он имел нужду в более опытных писцах и притом, по возможности, даровых. Вот эту сторону дела и использовала его супруга в своих интересах.

Она последовательно брала на стол то дьячков, то волостных писарей, то их помощников, по мере выхода одного в тираж, заменяла другим, так что место не оставалось пустым, платя им своими ласками. Муж был большей частью в разъездах, да и вообще на это дело смотрел сквозь пальцы, так что семейный мир никогда не нарушался.

Да и что сказать: грозен он был для Юльки-Марынишки, Ларьки Боборицкого или Родьки из Волобы, мелких воришек, но не для своей ловкой супруги.

Рожала она детей без конца, и бабы насчитывали с выкидышами до десятка, но дети были кволые, либо рождались мертвые, либо в первые месяцы умирали. Сохранилась одна дочка Марилька Хрутченка, да и та несколько лет сиднем сидела. Это бабами ставилось в связь с порочной жизнью матери, и к ней применялась пословица: «На бітай дарозі трава не расце».

Муж был многим ей обязан. Прежде всего тем, что он прочно обосновался в Холопеничах на лучшем месте, в хорошем просторном доме, с обширным двором и постройками, фруктовым садом и прекрасным огородом. Были у них и лошади, и коровы, и свиньи, и вдоволь домашней птицы, пчелы, так что дом был полная чаша — все это без копейки денег, благодаря отменной ловкости жены. За дом было заплачено

четыреста рублей, а ключвойт получал восемь руб. в месяц и обязан был иметь лошадь для разъездов по ключу.

На такие средства даже с мелкими взятками, дома не купишь и хозяйства не заведешь.

Вопрос решался очень просто: нет денег у нас — можно занять у богатых мужиков.

Уж на что был скуп Гришка Порецкий, но и его она обошла. В качестве скупца он был падок на даровое угощение, а в качестве богача — любил почет. Эту струнку она использовала: гору сдвинула. Как Гришка ни отнекивался, но двести рублей дал под «сохранную расписку».

Все дело в эпитете «сохранная»: он верил в его непреложную крепость. При этом целовались мужицкие заскорузлые руки, на столе кипел самовар, стояла водка и вишневая наливка, а на тарелке лежала колбаса, поляндвица и «пернікі», т. е. медовые пряники. Первая половина угощения шла бескорыстно, по случаю, из уважения, а только во второй половине, когда человек становился «подпитым» и размягчался, заводился дипломатический разговор, сопровождавшийся уверениями в полной обеспеченности сделки под сохранную расписку.

— Над сахранную распіску грошы цалей будуць, чым ім ляжаць дзе-небудзь у гаршку. Яшчо хто-нібудзь украдзе, алі — сахрані Бог — памрэш, дык так і прападуць. А пад сахранную распіску, калі ні атдадзім — усё наша тваё будзець: на то іна сахранная распіска называецца. Казённый працэнт будзем плаціць...

Это голос рассудка, но пущено было в оборот столько чувства, страстных просьб, мольбы, что старик не устоял: взял сохранную расписку, в сущности филькину грамоту и, выдав деньги, записал мелом на оборотной стороне дверцы своего шкапика, внизу длинной колонки цифр, еще 200 руб. Там стояли цифры разной величины, троички, пятищницы, десятки — это все взяла беднота под заклад хусток и катанок, кожухов — но красовалась и цифра в четыреста рублей.

Это было дано подрядчику по постройке церкви Свешникову из Минска «под сохранную расписку». Только Гришка и видел свои гроши, но угощался и піў гарбату не раз. Но

двести рублей мало. А на что волосовичский старшина Скумса? У него одних пчел триста колод. Сосчитай — сколько он за мед выручает в году? А сколько с мужиков сдерет? Грошей у него большие тысячи. Прием был употреблен тот же самый. Скупцы и богатеи на дармовое угощение падки и почет любят, и результат получился тот же: вместо денег — сохранная расписка, которая сохранялась без конца.

Впоследствии вошел в оборот вексель, но в то время деревня не знала этой штуки: сохранная расписка все покрывала.

Вот как ловко обделывали свои дела умелые люди! И пани Хруцкая купила большой дом у Расеты, стоявший по другую сторону улицы, слегка наискосок от хаты бабы Рузали, так что коли ключвойт на кого-нибудь кричал (а кричал он грозно и властно), то у бабы Рузали было слышно. И когда пани Хруцкая пела «Хуторок» у раскрытого окна, то было слышно, а пела она приятным голосом, пожалуй, лучше тетки Марили, песни были интереснее, привозные, из города Борисова и других мест.

Так вот какова была соперница у тетки Марили. Борьба с неравными силами, и на чьей стороне будет победа, положением вещей было заранее предрешено.

Первое — Катерина Хруцкая, сама по себе, была неплохая любовница, и связь с ней ни к чему не обязывала.

Второе — молодой дьячок Любич, ее «столовник», был переведен на другое место, стало быть, пост чичисбея[120] был вакантным, а чета Хруцких, как мы знаем, нуждалась в более искусном писаре.

Третье — у пани Хруцкой дом был большой, совсем панский, на окнах были занавески, стояли «вазоны», т. е. горшки с незавидными цветами, а под окнами георгины и мальвы: был самовар, мед, стол обильный и каждый день пили гарбату — совсем как у дворного комиссара или станового пристава. Наконец — для нее это было дело чести: привлекать подходящих любовников.

По всем этим веским основаниям, как только у тетки Марили перестали сходиться платья и она, по этой причине, большею частию, сидела в хате, готовясь стать матерью, дьячок Хруцкий вместе с гитарой перекочевал к своей однофамилице,

и в открытые по-летнему окна, по вечерам, слышалось брянь-канье гитары и неслось в два, а иногда и в три голоса, коли подходил органист Брокон, пение таких романсов, как «Старый муж, грозный муж»... и «Под вечер и осенью ненастно», «Черная шаль» и тому подобное, которых дьячки и писари навезли с собой немало, способствуя обогащению вкуса и разнообразию репертуара холопеничских девиц и парней. [...]

Пение доносилось в бабину хату и щемило сердце бедной Марили и, может быть, первые две песни, направленные по разным адресам, имели символическое значение: разгадать его было совсем нетрудно.

Измена была явная и открыто афишируемая.

По всем этим причинам сынок тетки Марили, названный Антоном, родился безбатьковичем.

Виновник его бытия не поинтересовался остановить свой взор «на невинном сем творении». Но этот светловолосый мальчик не был «мученьем» для его матери: она его любила страстно и, может быть, втайне возлагала на него сладкие надежды, что грех будет прикрыт.

Вскорости эти надежды рушились: русокудрявый соблазнитель, убегая от греха, перевелся далеко за Минск. Ищи его там! В довершение горя, Антон, уже годовалый мальчик, захворал чем-то вроде кори или скарлатины (кто их там разберет!), не вынес болезни, и вскоре под образами лежал его русоголовый трупик, убранный цветами.

А тетка Мариля то вздымалась, то падала ему на ножки в белых панчошках, рыдая и захлебываясь слезами, жалобно выводила свои вдохновенные, за душу хватающие причитания.

Потом она, бледная как полотно, с безумными глазами, долго ходила в сенях, ломая руки и прерывисто спазматически всхлипывая.

Дядина Юлька и Полька Шаблоўская ходили рядом с нею и говорили «разумные успокоительные речи», которых она, видимо, не слушала или не понимала.

Антона схоронили рядом с прадедами и с ним же похоронила бедная тетка Мариля свою молодость, веселье и гордые надежды.

Долго она ходила голосить на могилу, оплакивая свою горькую долю и не скоро успокоилась, примирилась с своим несчастьем. Прежней Марили, веселой певуньи, гордой и самоуверенной, уже не было. Но причитала она по покойникам еще заливистей, голосистей, еще лучше прежнего.

Но пока оставим тетку Марилю изживать свое горе, а вернемся к другим происшествиям в бабиной хате.

Вскоре по приезде из Бобруйска мать родила маленькую сестричку Ольку. Я был вне себя от восторга, созерцая это маленькое, полное необычайной прелести созданьице: изящная куколка, с миниатюрными ручками и ножками, но живая, шевелящаяся и жалобно плачущая.

По этому счастливому случаю бабина хата дважды наполнялась гостями, первый раз справляли, как водится, радзіны. Тут были только родственники и близкие соседи. Угощались и, подвыпив, пели «родильные» песни. А я сидел на лежанке и слушал.

Изо дня в день кто-нибудь из женщин приходил «на отведки» и приносил «парадзісе» что-нибудь съедобное, повкуснее. Потом неделю или две спустя, справлялись хресьбины. Отец самолично суетился — варил, пек и жарил в русской печи разную снедь. Не шутка: сам пан Лапа, бывший уже на отлете, по случаю продажи имения, был приглашен кумом. Ему под пару выбрали молоденькую поповну Свирскую. Поп будет и дьяком, так что угощение должно быть под стать. По этому случаю в бабиной хате произвели некоторую пертурбацию: одну кровать выбросили, а вместо нее поставили два стола, накрытых чистыми скатертями, и уставили закусками. А посредине, в обширной «латушке» из черной глины стояла «бабина каша» (т. е. бабки-пупорезницы, Тэкли Таўкачыхі), которая в свое время будет обноситься вокруг стола, и все отведавшие должны были, по требованию обряда, класть деньги на «бабіну кашу», т. е. собственно на полотенце, ее покрывающее.

Все совершалось по ритуалу: баба Рузаля, великий знаток обычая, сама «парадак давала».

Молоденькая кума, как водится, поднесла «парадзісе» «пакрывала»: его кладут на ножки младенцу, но предназначается

оно родильнице. Это был кусок «перкалю»[121] на «спадніцу»[122]. Пан Лапа на этот раз не был столь щедрым, как на мои хресьбины: видимо, дела пошли на убыль. Но все же родильнице было поднесено 5 руб., а отцу были подарены поношенные платья, в которых отец долго щеголял. Тут я, сидя на лежанке, хорошенько разглядел своего крестного. Это был молодой человек, породистый, высокого роста брюнет с выразительным лицом, тип чисто польский, со слегка раздутыми ноздрями, что придавало ему гордый, властный вид. Держал он себя просто, сидя за столом, беседовал с молоденькой кумой, которая, видимо, смущалась и краснела.

Чтобы не стеснять своим присутствием гостей, Лапа встал из-за стола и направился в каморку, где лежала родильница, как водится, как положено, чтобы проститься с ней.

Восковые свечки, заменившие на этот раз лучину, давали слабый свет, и комната была в полумраке. Бабина хата, и вообще невысокая, вдобавок успела осесть, так что еле вмещала пышного пана.

Тут случилось нечто символическое.

Лапа не разглядел балки, отделявшей каморку, и стукнулся на ходу лбом о балку, — гулко стукнулся и долго потирал рукою лоб. Все были смущены. Послышались возгласы: «Аяяй, боже мой!» Невзрачная и понурая бабина хата отомстила за себя своему последнему пану в его последнее идиллическое посещение бывших подданных, напомнив ему, как люди живут, и ощутительно показав разницу между его палацем и хатой бедной вдовы. Я же, сидя на лежанке, ясно ощутил разницу в настроении гостей в отсутствие важного пана, недавнего вершителя их судеб, и в присутствии его: все пошло своим чередом, как у добрых людей бывает.

Отец, баба Рузаля, тетка Мариля, разделив между собой хлопоты по обслуживанию гостей, расположенных по степени родства и другим особенностям, как возрастной ценз и важность значения (в этом надо тонко разбираться, чтобы не обидеть в местничестве), подходили по очереди то к одному, то к другому, наливали чарки и пускали в ход «прымус» — изощренные упрашивания выпить и закусить, каждого в особицу, настаивая и понуждая. Иначе, как того

требуют приличия, никто из хорошо воспитанных людей пить-есть не будет.

Подвыпив, бабы принялись петь хресьбинские песни. Обычно поют в честь мужа и жены, в честь бабки-повитухи и в честь кума и кумы, полные игривых намеков на традиционные отношения между кумом и кумой, вроде такой:

Ой кум куме рад,
дужэ рад:
Ён павёў куму к сабе ў сад,
к сабе ў сад.
Еш, кума, ягодкі
каторые салодкі:
А каторы горкі —
то для мае жонкі.

Много белорусы сложили песен, чтобы оживлять пирушки и придавать им смысл и значение, и все сочетали с определенным действом, чтобы придавать «беседе» драматический интерес.

Таким действом, в числе прочих, является угощение «бабиной кашей» и пляска бабки на лаве с намёткой[123] на голове, только что поднесенной родильницей. Бабка, вскочив на лавку и покрывшись наметкой, подпрыгивает и поет:

Таўчы-малоць — недужа, —
На намётачкі дасужа; гоц! гоц! гоц!
Таўчы-малоць есць сям’я, —
А намётачкі браць, дык я;
гоц! гоц! гоц!

Эти частушки я потом записал, но тут я впервые наблюдал этот любопытный обряд с игривым припевом.

Потом еще кума и бабка приходили на отведки и приносили «яешню».

А Олька росла нам на утеху. Тут я увидел, как любовно и мило отец умеет забавляться с детьми. С Олькой он возился целыми вечерами. Славный и милый был ребенок. Да недолго

она прожила: только полтора года. Между прочим, чрез нее пролетела коляска, запряженная парой, ее не задев нисколько. Сидела она, русоволосая, в одной рубашонке, на улице близ бабиной хаты и копалась в песочке, мало заметная. Услышав колокольчик и хватившись, что нет Ольки, мать выбежала в ворота, как в этот момент на девочку налетела бричка парой. Вскрикнула мать отчаянным голосом... Момент — и Оленька, вскочив на ножки, побежала к матери, по-видимому, не подозревая, что она была на волосок от ужасной смерти. Просто чудо, как чутки лошади!

Ехал новый арендатор имения, некий Гуго Самуилович Концендорф из рижских немчиков, корчивший из себя важного пана, — пана, а не барина: баре еще не успели у нас акклиматизироваться. Они только что были посеяны на почве продажи имения. За год с небольшим назад, после счастливо избегнутой опасности с Олей имение было продано Рудольфу Вилькен, цензору в Петербурге по иностранной печати, «генералу» (так он слыл в населении), конечно — штатскому, которого, ломая плохо кованный язык, титуловали непривычным и неуклюжим речением: «ваша прысхадзіталства!».

На лето новый владелец приехал со всей семьей — довольно численной: «генеральша» — Марья Дмитриевна — красивая старуха, с часто моргающими глазами и тиком в лице, — купеческая дочка, как потом выяснилось, значит, с приданым к русской красоте, три дочери и сын. Последнему лет десять — Митенька, у дворни и в народе «паніч», был, конечно, «надеждой семьи». Две дочери были уже невесты или почти невесты, и только младшая Оленька была девочкой в платьице до колен, нам непривычном, выставляющим напоказ толстые икры.

Много было разных разговоров по поводу перемены панов: на всех, пышно въезжающих, глядели с любопытством, все подмечали и обсуждали. Местечко, особенно в дворовой части, оживилось: как-никак — всех их кормить надо, вырастить, замуж отдавать и около них скудно кормиться. Волновали вопросы: будет ли «генерал» скот безнадельных крестьян принимать на пастбище со своим скотом, как будет насчет дров, насчет лыка — основного материала для

обуви — покосов и много другого. Вообще ожидали перемены судьбы — что-то будет и как оно будет? — и не ждали лучшего.

«Свой пан» — было делом знакомым, привычным, — знали, как к нему и через кого над подойти, кого надо «улашчыць», «улагодзіць», чтобы своего добиться — получить выигрышный участок покосу, лишнюю сажень дров вывезти (лесніку паўкварты, або кварту, чы залатоўку ў рукі), лык надраць без счету и т. п. — а тут все неведомо, як яно будзе. «Генерал» — звучало грозно, «прысхадзіталства» пугало, не то что привычное «паночэк», «калі панская ласка».

Будет ли ласков генерал?

Вскоре по приезде в день именин или рождения «генерала» предстал он сам, в мундире с «бліскучым» шитьем, орденами, с красной лентой через плечо и в белых штанах, окруженный всей семьей и гостями (успели понабрать в округе), предстал «народу», — предстал, как водится, «на ганку», значит, с высоты, что-то говорил толпе, привлеченной горевшими смоляными бочками, качелями и каруселями, — что-то говорил, чего я, стоявший босиком, в толпе мальчишек, пробившихся вперед, не понял, да и не интересовался, поглощенный невиданным зрелищем стольких блестящих панов и паненок. В толпе кричали «ура», ибо кое-кому перепала и чарка горелки, обносил войт Хведор, а кому шклянку пенистого пива (больш дзяўчатам), которое цедил из бочонка Зымель Баскин, уже успевший отвоевать от конкурентов звание поставщика «двора». Отныне на должное время он становился «фактором»[124] — доверенным лицом и советчиком. Величавый старый Шымон, с патриархальной внешностью, прежний панский поставщик и советчик, видно, ушел на покой: надо и другим жить давать! Теперь только будут пользоваться его опытом, прибегая — от случая к случаю — к ценным советам, «консультациям», как стали говорить в адвокатское время.

Мы, мальчишки и девчонки, тоже подбирались к пиву, но были живо оттеснены взрослыми при негодующих восклицаниях: «Пашлі вон, жэўжыкі!»

Горничная Наста сыпала в нашу толпу горстями из платка мелкие «пернікі», «цукеркі» и орехи, но и тут взрослые подскочили наперебой и — спасибо — не передавили.

И тут нам мало досталось и неравномерно: «Як каму пашанцавала», то-то свалка была знатная. Одно было хорошо: на каруселях мы здорово покружились! А много ли надо ребятам для полного удовольствия!? Вся эта картина была скомпонована в идиллических тонах: общение новых бар с народом, от него в сильной степени зависимых. В то время я не понимал, что «генерал» явно бил на эффект, на внушительное впечатление, может быть, даже на подавление своим величием и блеском. Это внушало спасительный страх (кто его знает, что он может? Где пределы власти мундирного шитья, регалий и красной нити, впрочем, с белыми полосками), а страх многое значит во взаимных отношениях помещиков и народа.

Я уже чувствовал свою зависимость от двора, но пока больше с приятной стороны. Это был временный приезд из Петербурга на дачу. Но отец на это время нашел заработок, будучи приглашен на лето поваром с платой по восемь рублей в месяц, четверка чаю и два фунта сахару. Восемь рублей — деньги хорошие, да и чаю с сахаром на улице не подымешь. Не без помощи этих 8 рублей и строилась наша хата. Но самое приятное было то, что вечером, отдавши завтрак, обед и ужин (целый день не отрывайся от плиты!), отец возвращался домой с «абархайками» в карманах, с какими-нибудь обрезками пирогов, мясными кусками и блиниками и т. п. Все это было завернуто в бумагу, и мы, т. е. я и Магдалена, с жадностью глядели на стол, где постепенно развертывались эти таинственно соблазнительные свертки. После этого шел дележ вкусной снеди. Но мать предусмотрительно оставляла частицу на завтра, т. е. на «снеданне». Поэтому мы с нетерпением поджидали прихода отца, и Магдаленка, а вслед за ней и Олька, поджидая, часто повторяли: «Зараз (скоро) татка прыдзе, гасцінца прынясе!» Мы даже выбегали на улицу поглядеть: идет ли — и весело бежали ему навстречу.

Все эти «абархайки», в сущности ничтожные, сильно скрашивали нашу серенькую жизнь и улучшали скромное питание. Это был исконный обычай, в котором никто ничего зазорного не видел, и всего менее мы, дети, или наши домашние, — обычай, сам собою подразумевавшийся.

Надо сказать, что я злоупотреблял своим старшинством (древнее преимущество первородства) и бегал «у двор» на кухню, где мне кое-что перепадало. Это в значительной степени компенсировало то предпочтение, которое отдавалось отцом моим сестрам при вечернем дележе. Юзик, побуждавший меня к этим продовольственным экскурсам, обыкновенно поджидал моего счастливого возврата, спрятавшись в куртинах (лесках), покрывавших двор. Мы дружно бежали к пруду с драгоценной добычей, там садились на бережку или на пригорочке и делили добычу. Это были большею частию кости с остатками сочного мяса и иногда с «мозгом» — жиром внутри, отборным лакомством, которое, выбивши жир о камень, мы откладывали на закуску. Любо было глядеть, как жадно Юзик обгрызал кость своими крепкими зубами, как трещали хрящи между челюстями; он вгрызался в головку кости, которая уступала его волчьим зубам, и почмокивал, высасывая вкусные соки из костной мясной ткани. Это был пир троглодитов, но это не мешало ему быть в наших глазах особо привлекательным. И не потому, что он происходил на лоне природы, в «блеске ясного дня»: этих красот мы не замечали или считали не заслуживающими внимания, по сравнению с мясом и костным жиром. И вообще, надо думать, что вкус к красотам природы вырабатывается на почве сытого брюха, а у нас оно, особенно у Юзика, не всегда было сытым.

Иногда во время продовольственных экскурсий попадались мне навстречу барышни — Вилькенишки; они, обыкновенно, подзывали меня к себе, целовали в щеки (едва ли чистые) и вынимали из кармана конфеты в бумажках, видимо, носимые для подобных встреч.

Иногда попадался горбоносый с легкими веснушками панич-генераленок, но встречи с ним ничего хорошего не обещали. Раз он меня связал в одну кучу с двумя полугодовалыми щенками, которые, стремясь освободиться от пут, визжали, царапали меня и кусали. На крик мой прибежал из кухни отец и освободил меня. Мне было приятно видеть, что генераленок испугался гнева моего отца и постыдно убежал в сад. А отец пошел с жалобой к барыне, которая, надо думать, ограничилась легким замечанием любимцу-сынку.

Иногда он, указав приличную дистанцию и вынув часики, заставлял меня с Юзиком бежать вперегонки, туда и обратно, и когда мы, запыхавшись, возвращались, говорил, сколько минут и секунд мы бежали и на сколько я отстал.

Дело, разумеется, было не в опытном изучении скорости бега, а в том, чтобы блеснуть лишний раз часиками, которые, очевидно, были недавно подарены.

Иногда, повстречавшись, он ставил меня во фрунт и спрашивал: «Э-э... как тебя зовут?» — «Адоль», — я говорил. «А-а... ну, ступай сабе».

Впрочем, особых обид не причинял, даже и за собак я не был на него в претензии.

Но лето скоро миновало, генеральская семья уехала, а на их месте появился вышереченный арендатор Концендорф.

Опять событие. Особенно для зависимых от двора, т. е. бывших дворовых. Для нашей, еще не окрепшей семьи, это выразилось в том, что расчетливый немчик предпочел взять кухаркой Анцю на четыре рубля в месяц, вместо повара на восемь рублей, т. е. отец остался без заработка.

Он не огорчался. Во-первых, шла стройка, о которой я уже говорил, значит, нужен был свой глаз и свои руки, а потом «гонор» не позволял от пана Лапы, сына маршалка, извечного пана и генерала Вилькена, пойти к какому-то немчику-круполичнику. Надо знать, что у старых дворовых был служебный гонор не меньше, чем у их панов. Отец — человек гордый, долгое время «блюл» эту линию, стараясь по службе брать повыше, но отнюдь не ниже. Он допускал готовить по случаю на того же Концендорфа, скажем, на именины или вроде, словом, по отдельному соглашению, но не быть его слугой. Это разница, которую надо различать!

С этого момента, со сдачи имения в аренду, начинается его последовательный упадок, которому резкое начало положил наш неудачливый и недобросовестный арендатор. Я не знаю, какой был у него контракт, но несомненно, что он действовал против каких бы то ни было условий, и контракт вскорости, года через два или три, был уничтожен.

Оборотных средств у него, видимо, не было. К тому же он женился на молоденькой немочке из Риги, хотел жить

барином, принимал гостей и местных и наезжих: хозяйство вел плохо, нерасчетливо: сдавал в аренду столько покосов, что для дворного скота кормов не хватало, и скот стал падать от бескормицы, — это великолепное лаповское стадо! Он стал его распродавать за бесценок. Отец, например, купил молодую тирольку по второму отелу за семь рублей, — немного дороже стоимости шкуры. Но он продавал все, что можно было продать: постройки, лес, даже мебель и разные хозяйственные вещи, — все за бесценок. Нарезал огородные плацы, сдавал в вечную аренду, на что не имел никакого права: лишь бы деньги взять.

Это была какая-то вакханалия разрушения и уничтожения.

За два с небольшим года он постарался, сколько возможно, обесценить имение.

В дальнейшем судьба имения, в отношении владельцев и хозяйничанья была такова.

С 1870 года и до 1880 года владели Вилькены, ведя хозяйство за свой счет, но постепенно его суживая путем сдачи земли в бессрочную аренду или продажи мелкими участками. Дойные коровы, которые уцелели, были сданы «пахтеру», еврею, съемщику удоя, по 10 рублей в год с дойной коровы.

Винокуренный завод был сдан в аренду еврею из Борисова, некоему Бому, с тем, что барда идет в пользу владельца на выкорм быков. Это было хорошо, ибо быками велась плужная вспашка.

Старый Вилькен, «енарал», умер в начале семидесятых годов, а вдова его ничего в хозяйстве не понимала и потому последнее велось частию чрез посредство управляющих из шляхты и немцев (Пушкин, Сысолка, Вильм), а главным образом, по старинке, чрез посредство войтов местного Хведора, и приезжего из Бешенкович Исака, — войтов старинных и опытных.

Вначале был тивун, как в старину, и конторщик Волосович, и эконом Подгурский, с которым мы встречались еще в лаповские времена. Словом, вначале дворни было много. И денег надо было много: сын учился в правоведении в Петербурге — деньги, дочерей одну за другой надо было замуж

отдавать — деньги, дворню и рабочих содержать — деньги. И имение было заложено. Мартин бор продан на сруб, Гольцсберг и Вершовка, когда-то отдельные хозяйства, сданы в аренду. И все же эти затруднения с деньгами (платежи по займу и проч.) бывали частенько. Тогда стали возвышать плату за чиншевые участки, за покосы и за выпас скота, за корчму и лавки. Начались иски, суды. Чтобы дела вести с успехом, был приглашен на постоянное жалование частный поверенный, дошлый еврей по фамилии Барон. Он живо поднял доходные статьи до чудовищных размеров — в пять-шесть-десять раз: гони деньгу! Это было в конце 70-х годов.

В 1880 году имение было продано графу Кейзерменгу.

К удивлению всей дворни и крестьян, он, несмотря на сиятельный титул, скромненько приехал со станции на крестьянской подводе, в простой телеге, в сопровождении подручного барона, видимо, консультанта; объехал с планами в руках, в беговых дрожках все имение. Осмотрел, расценил и купил.

Итак, через десять лет Вилькены исчезли, а водворились остзейские графы и бароны.

С новым владельцем все пошло по-новому. Он, видимо, бил на рационализацию и машинизацию хозяйства.

Вскоре, на удивление крестьян, со станции Крупки потянулись ярко окрашенные паровые молотилки, мельницы, сеялки, веялки, дисковые рандали, плуги, бороны, жатки, косилки. Пришлось мосты чинить, чтобы некоторые чудовища надежно провезти.

Машины потянули разного рода техников из латышей, — словом, дворня обновилась: латыши пошли в ход, — здоровые, хорошо упитанные, под стать краснощеким баринам. Своим деваться некуда: ищи хлеба на стороне. Тут-то многие вспомнили бестолковую Вилькеншу и даже пройдоху Конциендорфа добром помянули.

Но Барон перешел по наследству к баронам: процессы шли беспрерывно, особенно с введением закона о выкупе чиншевых участков, которых, как мы знаем, было много. Немцам где с этим делом справиться! Многие чиншевики имели ненадлежаще оформленные документы и это давало повод

к подвохам и бесконечному крючкотворству. Произвольный подъем чиншевых платежей повел к тому, что выкуп, путем капитализации дохода, давал несуразные и непосильные суммы. Вот что значит за дело взяться умеючи!

Но жизнь богата разными парадоксами. Оказалось, что механизированное хозяйство обходится дороже, чем обработка живым трудом, рабочей силой бедноты, баснословно дешевой. Года три спустя дорогие техники были уволены и многие машины стояли в сарае без употребления.

Только Холопеничским девицам плохо пришлось от латышей-винокуров, кузнецов, машинистов — завидных женихов. Замуж выйти — не вышли, но немало их, в погоне за выгодными женихами, «потеряли себя» и поплатились беременностью. Такие явления происходили и в крепостные времена (два «лапенка»), но не в таком размере: из моего поколения трудно было назвать непострадавших девиц: две-три заблаговременно вышли замуж.

Не долго похозяйничал и Кейзенринг. Выступил на сцену крестьянский банк, и фольварки Гольцбер и Вершовка были проданы при его посредстве переселенным староверам, более предприимчивым, чем белорусы. Чиншевые земли ушли на выкуп, окраинные участки были по мелочам проданы. Центральная усадьба с прилегающими к ней землями была продана в конце 90-х годов некоему Малиновскому, минскому нотариусу. Этот продержался до революции, но опустошил имение до конца. Постройки развалились, леса — и старая и новая роща, и Макаровская пуща, где так много было орешнику, девчатам и хлопцам на потеху, сведены начисто: канавы заплыли, покосы обомшели и заросли; поля, где росла тростниковая рожь — столь высокая, что войт или эконом, проезжающий по меже, еле был виден, были истощены настолько посевами без удобрения, что совсем перестали родить. Некогда черный суглинок порыжел и отвердел. Словом, некогда золотое дно превратилось в пустыню. Нескоро совхоз его наладит, напоит, оживит. Такова внешняя история имения за 50—60 лет.

Но я зашел слишком далеко вперед. А теперь надо возвратиться в бабину хату, опять ко второй половине 60-х годов, т. е. к нашей жизни в ней после возврата из Бобруйска.

Дымки

По возвращении из Бобруйска и рождении Ольки как-то наклюнулась отцу работа в его духе: сам себе хозяин. В Радзівілоўшчыну, или иначе Старое Барысава, в то время имение великого князя Николая Николаевича Старшего прибыла некоторая партия землемеров-немцев, которые производили съемку этой огромнейшей латифундии, размеры которой и во сне не мерещились римским публиканам и английским лордам. Я потом узнал, что за отводом земли в надел крестьянам и продажей отдельных кусков было заложено в дворянском банке 155 тыс. десятин, стало быть, было от 300 до 350 тыс. дес<ятин>. Работы, стало быть, было много в связи с отводом земли в надел. Вот эти-то землемеры, на зимний период, период камеральных работ, искали себе повара, который бы взял на себя заботу об их кормежке. Кто-то указал на отца или отцу на них, — и дело было сделано: отец взялся их столовать за определенную плату с едока. Это как раз было то, к чему он стремился, переселясь в Бобруйск с тою только разницею, что работа была временной, на зимний период.

Размещена была партия в фольварке Дымки в 74 верстах от г. Борисова, на крутом берегу Березины, с широкой поймой внизу. Сколько их было, столовников — в точности не знал, но думаю — не больше 5—6 человек. Размещены были тесновато — в рабочей избе, ибо главный дом, впрочем, небольшой, занимали начальник партии с семьей, тоже немец. Может быть, поэтому, из-за тесноты помещения, где с детьми было трудно разместиться, с отцом поехала бабушка в помощь, а не мать. Но вскоре послали туда и меня с оказией: ехал в Борисов органист Брокон и прихватил меня с собой. Видимо, имелось в виду сбыть лишний рот с домашнего хлеба и подкормить меня получше, ибо я был всегда худоват. Это была моя первая зимняя поездка. Ехал я с радостью и сначала картины пути меня развлекали, но потом я почувствовал все неудобство путешествий зимой в неважной одежонке и с чужим человеком, да еще полупаном. До Коцюхова я ехал весело. Мельница на Наче-реке меня занимала своим далеко слышным шумом вод, гулом и величиной облепленного мучной пылью здания. Промелькнул Коцюховский панский

дом с красной крышей. Но когда мы подъезжали к деревне Клен — я изрядно озяб и сильно знобило ноги. А главное, я с ужасом почувствовал необходимость опорожниться, но не знаю, как об этом сказать пану, и если скажу — я на двор хочу, то как совершить эту операцию в открытом поле, перед лицом пана Брокона. Вот была трагедия, почище Бобруйской! Я был очень стыдлив и не знал, как выйти из положения. Пытка была невыносимой, и эту пытку я героически претерпевал от Клена до Лошницы, где была первая остановка на кормежку лошади, т. е. двенадцать-пятнадцать верст. Под конец я плакать стал, но когда пан Брокон спросил: чаго ты? — сказал, что ногі дужа пазяблі. Это была половина правды. Но Лошница была уже в виду и спасла положение. Обогревшись и выпивши стакан лошницкого пива, я весело созерцал Борисовский «большак» или «гасцінец», как у нас называли столбовую дорогу по старине, и с любопытством поджидал Немоницы, где под воротами дома лесничего возлежал медведь, раскинувши лапы. Я его уже видывал, и хотя мне объяснили, что это только медвежья шкура с головой, но я с некоторым страхом взирал на чучело: а вдруг...

К вечеру я был доставлен в Дымки, где бабушка приняла меня в свои объятия, как многострадального Одиссея.

Много я вынес живых впечатлений в Дымках. Кругом необозримый сосновый лес, с протяжным «сумным» шумом. Обрывистый берег реки, поросший тем же лесом, крутой обледенелый спуск к реке, куда ездили за водой. Было весело, ибо все было занятно.

На следующий же день я познакомился с местными достопримечательностями. Самой интересной из них был «немчик» — сын главного землемера, мальчик моих лет и притом тезка.

— Как твой зовут? — осведомился он для первого знакомства.

— Адоль, — ответил я.

— А мой Адольф — это лучш.

— Дык і я Адольф, — возразил я, не желая ударить в грязь лицом.

— Нет: твоя Адоль, а моя Адольф.

Так немчик и остался с этим преимуществом. Я не спорил: на нем было пальтецо с меховым воротничком, меховая

шапочка и на ботинках «калёши», а я в голых сапожишках, которые за рубль с четвертью соорудил дядька Лявон.

С этой несущественной уступкой мы оставались с ним друзьями. Его родители, видимо, против этого ничего не имели, но в дом к себе не пускали. Поэтому я только слышал о чудесной елке с золотыми шишками и золотыми орехами; видел в окнах много света, слышал музыку и веселые голоса, но этого чуда не видел. Впрочем, мой тезка принес мне несколько золотых и серебряных орехов, перников и цукерок. Стало быть, немцы были внимательны. А попасть туда на «панский баль» я и сам не мечтал. Разве что с порога поглядеть. Но немцы были тактичны: стояние у порога еще большую горечь влило бы в мое сердце. А так — не чувствуя классового антагонизма, мы оставались друзьями с русоволосым с легкими веснушками немчиком. Тем более, что золотыми орехами и цукерками он меня подкупил и прельстил.

Нашим приятелем был песик Абрек: он не только резво кружился по снегу, когда мы шли на прогулку на берег Березины, но по первому слову: «Служи, Абрек!» — он садился на задние лапки, а передние опускал красивым изгибом и смотрел просительно и умильно. Вдобавок, умел «носить поноску», понимал и русскую, и немецкую команду.

Опасной достопримечательностью был большой индюк — водитель значительного стада, который ретиво бросался на чужих людей, взлетая к лицу и стараясь клюнуть. Меня так он поранил в лоб. Хорошо, что глаз не выклевал. Такой был рьяный и заядлый. Не диво, что он меня поранил: я невысок был ростом. Но он вздымался взрослым на плечи и клевал в лицо. В лесах ли этих одичал он или лесной шум пробуждал в нем воинственные инстинкты его отдаленных предков? Но после первого нападения, счастливо окончившегося (я живо упал лицом в снег), я всегда боялся попадаться ему на глаза.

Было со мной два пренеприятных приключения в Дымках.

Первое не так страшно: я спустился к Березине на корточках по обледенелому спуску, чтобы поскользить по льду реки. Этак разгоняешься и приостанавливаешься, а затем

летишь «импэтом» (по инерции), приятная штука, хотя мне за нее и доставалось: сапожки портятся. Проделывал я это, когда отец уезжал в город за провизией. С бабушкой не трудно было поладить, хотя она этого спорта отнюдь не одобряла. Немчик мой в таких похождениях мне не сопутствовал: там воспитание строже нашего.

Сползти-то я сполз с кручи, а взобраться ввысь было нечто вроде восхождения на Монблан[125] и притом без приспособлений. Я скользил, падал, цеплялся руками и совсем окоченел, пока взобрался. Бегу, расставивши ручонки, и реву. Надо думать, что вид у меня был отчаянный: бабушка совсем растерялась. Но немка пришла на помощь. Живо в кухне меня разоблачили (насилу стащили сапожонки), принесли «медніцу»[126] снегу и давай меня растирать в четыре руки. Пренеприятная операция! Затем перенесли, укутавши в бабину шубейку, в наше жилье, тепло укрыли и напоили горячим чаем с ромом (немка прислала). Не помню, чтобы я потом был высечен, как полагалось: или от отца это было скрыто, или как-нибудь смягчено, на что бабушка была мастерица, или оттого, что я не злопамятен.

Второй случай был опаснее.

Какими-то судьбами я стал капиталистом: у меня оказалось целых три копейки в розницу, что, на мой взгляд, значительно увеличивало их покупательскую силу. Долго я ломал голову, что бы мне на них купить. Много было соблазнительных вещей: глиняного коника или петушка, што ў хвосцік іграіць, ці мядзведзіка-дудара, што ў галоўку дудзіць, ці гусelькі. Гусельками у нас называлась маленькая губная гармошка. Все почему-то музыкальные вещи роились. Я знаю, что первые две вещи мне посильны: даже копейка останется на баранки. Насчет гуселек я сомневался: хватит ли? Но решил — поторгуюсь. Все сообразив, твердо остановился на гусельках. Но для этого надо было идти в город. Так за чем же дело стало? Ног не нанимать! О своем решении никому не заикнулся, даже немчику, ибо знал по опыту, что он не предприимчив. В рискованные экскурсии он отказывался меня сопровождать. Я как-то после святок справился о судьбе чудесной елки: куда, мол, девалась. «Елка? Елка — в лес», — отвечал

он, и даже рукой показал, где ее искать. Но когда я предложил — пойдем вместе искать, он отрицательно замотал головою, твердо сжал губы и наотрез отказался пускаться в эту авантюру. Положительный был характер у немчуры.

Я решил идти один.

Как только отец уехал в город за провизией и скрылся из виду, я бодро зашагал по той же дороге. Дорога шла лесом. Жутковато было в этом шуме совсем живых стройных сосен, склоняющихся головками друг к другу и шепотком ведущих беседу. Жутко было, но я браво шагал, пока дорога не сошла на нет: снег был вытоптан, повороты саней, древесная кора набросана. Я смутился, но решил попробовать счастья и зашагал в лес целиной: авось найду большую дорогу. Это была ошибка, и я вскоре в этом убедился: лес густой, снег глубокий, ели стоят, как привидения в белых саванах, таинственно переговариваются сосны, — и никакой дороги. Я назад по своим следам, вышел на дорогу и ободрился, вновь зашагал по дороге, ощутив новый прилив отваги. Долго ли я шагал так — и вновь очутился в тупике с набросанной корой. Опять назад, опять шагаю по дороге — и опять такой же тупик с разваленными дровами. Тут у меня отвага пропала: я стал плакать и кричать, поняв, что сбился с дороги. Я побежал обратно, крича что есть сил. Страх на меня напал, и я не столько боялся, что замерзну (это я себе ясно не представлял), сколько того, што татка будзе сварыцца. Так, бегучи, я услышал в лесном шуме, что кто-то понукает лошадь. Я стал с плачем и криком, повернул на голос и увидел, что Яким — сторож везет дрова.

— Гэто ты, Адолік? Як жа ты сюды папаў?

— Я ішоў у горад, гуселькі купляць.

— Дурный! Ці ж так ідуць у горад? Гэта ж ты сбіўся на дарогу, што дровы возюць. А-я-яй! Ты ж бы так у лесі і загінуў, або ваўкі цябе б з'елі! Ну, ну, ну! Пакажыць табе татка гуселькі!

По счастью — кончилось все благополучно! Бабулька пасварылася, но отцу ничего не сказала. Так гусельки и остались в области моих мечтаний. О, дети, дети! Как опасны ваши лета!

БАБИНА ХАТА

Мне хотелось бы изобразить — как шла жизнь в старенькой бабиной хате в мою счастливую пору раннего детства, но для этого надо иметь художественный талант, который у меня слаб, чтобы в немногих чертах схватить самое важное и существенное, а главное — придать ему движение и подлинную жизнь. Однако, не претендуя на художественность, надо попытаться хоть кое-как обрисовать эту жизнь.

В будни и в праздник вставали рано, ибо, хотя хозяйство было бобыльское, но работы было немало. Ведь надо было чем-то жить, надо было кормиться и надо было одеться и, стало быть, кое-какую деньгу заработать на покупное и оплачиваемое, как обувь, хустка[127] на голову, верхнее и нижнее платье почище, про людей, т. е. для выхода в церковь, костел или в гости; надо было купить дров, лучины, «абра́сы» в пущу: в пост — алею, тарана, селедца, соли, в мясоед — изредка — какого-нибудь мяса, а когда у нас коровы не было — молока, а главное — хлеба и «прыварку» — каких-нибудь круп — грецких, просяных, пшеничных, фунтик-другой муки пшеничной на лапшу, которая звалась макаронами. Хлеб наш насущный. Легко сказать, но трудно все это раздобыть бедным людям. Значит: все, что можно, надо сделать самим и как-нибудь заработать небольшую деньгу, на неизбежно покупное, что для бабы Рузали и тетки Марили нелегко давалось.

— Думаць, гэта думаць: руб восем грывин аржаная мука стала! — слышались такие лементации[128] в голодные годы. «Руб восем грывiн» — это за пуд: цена, ужасающая бедняка. Это втрое больше против нормальной цены. Но бобыли всегда сидели на покупном хлебе, а маломощные мужики сидели без хлеба весной и все лето. Не напрасно сложилась у белорусов побасенка, что мужику спокон века не удавалось поесть хлеба с березовиком, ибо весной есть березовый сок, да хлеба нет; а осенью есть хлеб, да березовика нет. Поэтому идеал зажиточности и благосостояния образно формулировался так: каб было можна сколькi хочыш есцi хлеба з бярозавiкам.

Для бабы Рузали этот идеал был недостижим: весной всегда хлеба не хватало. Даже наша семья, когда жила отдельно,

в хлебе нуждалась. Сосчитайте: пуд хлеба на неделю — это в обрез. А на месяц рубль восемь гривен пуд — это даст семь руб. и двадцать коп, т. е. месячный заработок отца (8 руб.), если он был на службе. Но ведь он часто бывал без службы. Вот тут и покрути головой, как извернуться.

Обычно в таких случаях заменяли хлеб суррогатами, некоторым подобием хлеба, чтобы он все же был на столе, освящая стол своим присутствием, — момент религиозно-психологический.

Вместо ржаного хлеба пекли перепечи из ячменной муки с пареной картошкой, толченой в ступе. Не перебродивший — он выходил из печки безобразным: вместо румяной душистой корки он весь был покрыт трещинами и разваливался; тяжелый, с плотной, как глина, массой и на вкус отвратительный.

Но мы, ребята, его все же ели и как-то переваривали. Его неудобоваримость, видимо, понималась, потому что его давали нам с корешками хрена. Надо думать, этот прием заимствован от заезжей изобретательной немки, которая в голодный год, давая своим детям тонкие ломтики хлеба с изрядными кусками очищенного хрена, стоя, следила за едой и поминутно, топая ногой, приговаривала: хрену больше, хлеба меньше.

Ребята, морщась и обливаясь слезами, старались разжевать и проглотить маленькие кусочки хлеба с горьким хреном.

Этот анекдот нам рассказывали в назидание. В его спасительность мы плохо верили, но ячменную перелечу все же с хреном ели. И частенько, набегавшись по улице, прибегали в избу и просили: «Бабулька, дай хлебца!» Баба Рузаля не могла устоять пред нашей просьбой. Но тетка Мариля иногда говаривала: «Ужо выбегаліся! Недаўна елі. Пагадзіце — скора абедаць будзем!»

В таких случаях, под руководством более опытного Юзика, мы прибегали к суррогатам еще более примитивным, чем ячменная перепеча. Мы шли к возеру (собственно, к пруду), рвали душистый аир — водное растение с толстыми, как канаты, корневищами, и, нарвав охапку, поедали белые, как молодой лук, головки аира. Они были мягки, безвкусны, но вполне съедобны. Молодые побеги липы, особенно слегка

распустившиеся почки, тоже поедались и — сколько помнится — без вреда. Хаживали мы на луга за щавелем, которого наедались вдоволь, особенно толстых сочных стеблей, по-белорусски «пукоў»; щавель — всегда был к нашим услугам, чтобы набить живот. Но мы шли дальше по пути открытий съедобного. Хаживали на болота и в рощу, ища съедобных корней, по-видимому, повторяя повадки далеких предков, перепробовали много корней и листьев. Но ничего путного из этого не вышло: пожуешь-пожуешь, да и выплюнешь. Попадались все горькие, жгучие, едкие... Все ценное оттуда извлечено в сады и огороды, вплоть до посевов щавеля.

Но случалось раза два-три в лето найти гнездо шмелей. Вот-то была радость! Мы знали, чем это пахнет, и потому приступали к делу осторожно: запасались ветками, чтобы отгонять потревоженных золотистых насекомых, отчаянно гудящих, как толстые струны «басэтлі»[129] (виолончели), и, палочками сняв легкий моховой покров, живо выхватывали небольшие соты из кругловатых, как фасоль, ячеек, наполненных светлым жидким медом и, отбежав в сторону, выпивали его, как ликер из рюмочек. Сладость необычайная! Особенно для нас, не часто балуемых сладким. Мы потом придумали высасывать ячейку за ячейкой чрез тростниковую соломинку: удовольствие было длительным и экономным. Закрытые ячейки с «деткой» мы бросали обратно. Но ничего из этого не выходило: когда мы навещали гнездо вновь, думая еще раз поживиться, то оно оказывалось пустым. Небольшой шмелиный рой куда-то переселялся.

Это поэзия детства. Но обратимся к насущной житейской прозе: к постоянным заботам взрослых — чем кормиться, во что одеться и чем осветиться и обогреться.

Последняя статья удовлетворялась очень просто и требовала небольших денег. Кругом леса, и дрова и лучина были дешевы. В лесу попенная цена за кубическую сажень березовых дров платилась полтора рубля, а вывозилось обыкновенно полторы-две сажени (квацерка ці паўкварты гарэлкі лесніку).

Сосновые дрова были и того дешевле и шли преимущественно на лучину. Деревенские мужики нуждались в деньгах, а, кроме того, надо было купить соли, алею, дегтю и еще чего-

нибудь в этом роде и потому везли дрова и лучину в местечко продавать евреям и бобылям: хозяева сами запасались дровами в лесу, — выходило много дешевле.

Но и готовые продавали недорого. Зимой в хорошую дорогу много везли дров мужики из Лисичина, Слободы, Пересики и других деревень. Чуть свет, на улице слышался почти непрерывный скрип полозьев, и бабушка или тетка Мариля, более умелые торговаться, выбегали на улицу и, рассмотревши хорошенько воз, — плотно ли уложено, сухие ли дрова — долго и убедительно торговались из-за пятака: воз шел за саракоўку (20 к.), четвертак, два злоты (30 к.) — это хороший воз, — иначе цена поражала дороговизной и глубоко возмущала. А лучина привозилась возами и продавалась пуками, т. е. вязками вроде снопов, в два арш[ина] длины и почти с аршинной опояской. Такой пук стоил грош или копейку (дорого!). А коли за два пука просили трояка (3 коп.), то дороговизна представлялась возмутительной и мужик трактовался бессовестным. Кто бы мог поверить, что пук лучины дойдет до пятака? Дошел, но тогда, когда лучина, как осветительный материал, была вытеснена керосином. Но это пришло к концу 70-х годов, а мы еще из 60-х не вышли.

На вопрос — чем кормилась баба Рузаля и ей подобные бобылки, безнадельные крестьяне? — я могу положительно ответить: огородом. Клочком огородной земли, шестнадцать на восемьдесят саж[еней]. Это была основная продовольственная база. И не только для бабы Рузали, но и для нашей, сравнительно обеспеченной семьи: два взрослых работника — и каких работника! И к тому же у отца от поры до поры бывал заработок, значит, — деньги, хоть и небольшие, на «акрасу» и прочее покупное. Но без огорода и мы бы «макам селі». Это значит то же, что «сидеть на бобах», т. е. в крайней скудости. Поэтому у нас признаком крайней бедности считалось отсутствие огорода, как, например, у дядины Юльки, у ее сестры Анти, у Мартечки, ее сестры Ксени, у пастушихи Масенхи и многих других, вдовых с малыми ребятами, или безмужних, которые могли кормиться только заработком в усадьбе или стирая на евреев белье, или нося им воду. Поэтому-то у нас говорили вместо «обеднел» —

«пашоў жыдам[130] ваду насіць». Это значило почти то же, что нищий, по нашему «убогі», но нищим, с полным правом на внимание, мог быть только «убогі», т. е. калека, или же «старец» — это не значит непременно калека (хотя это и случается) и не значит непременно старик (хотя это в большинстве случаев), а знающий ритуал поминовения покойников и в доме, и на кладбище, умеющий петь умилительные или назидательные канты, духовные стихи, вроде песни про Богатого и Лазаря, умеющий рассказывать душеспасительные легенды, иногда, как верх старецкого искусства, умеющий аккомпанировать себе на «ліры». Это струнный инструмент с декой, как у скрипки, кажется, в 4 струны, которые можно перебирать одной рукой, как на гитаре, нажимая другие струны, или же вращать валик с колышками, которые задевают струны, извлекая несложный мотив. Но он достаточен, чтобы привлечь внимание, даже очаровать невзыскательных слушателей, вроде баб и ребят, или скрасить старецкий голос, нередко гнусавый или дребезжащий, только иногда свежий и сильный, как у слепого, с которым мы уже познакомились.

Старцы — это нечто вроде рапсодов[131], хотя и гнусаво поющих, с протяжными выкриками в конце стиха, чем особенно отличались «старцы зарэцкія», т. е. из-за реки Исы, из Лепельщины и Могилевщины.

По-видимому, это требование древнего ритуала, ибо отдавало чем-то странным и далеким. Про монотонный и тягучий напев у нас говорили: «Ну, завялі, як старцы зарэцкія!»

Впрочем, они и меня отвлекли в сторону. Возвратимся к огороду-кормильцу.

Чудесный был огород у бабы Рузали: ровный, как скатерть, земля черная, глубокая, редко требовавшая удобрения и никогда не обманывавшая ожиданий: разве что град побьет. Но ведь это не часто случается и не всему и не всегда приносит вред.

Но вот беда: надо его вспахать чужими руками, а это стоит денег.

— Думаць, гэто думаць — тры рублі просіць! — с искренним сокрушением говаривала баба Рузаля: — І хоць ты яму грудзі рэж — не уступае!

Торговались долго, иногда ожесточенно и упорно, та и другая сторона. Давали полтора, давали рубль шесть гривен, прибавляли по пятаку, по гривеннику, приводили показательные и убедительные примеры, как такой-то, оттуда-то за рубль вспахал и «яшчо дзякуй сказаў». Ці даўно ж гэта было? Противная сторона свои доводы приводила: наварить топор, подковать коня, выковать или оттянуть лемехи — сколько-то стоило, а теперь вон сколько берет Адвардык или каваль Гальkoўскі! И сбавляла по малости. Иногда дело решали на чем-то среднем, вроде двух рублей и паўкварты гарэлкі (на два раза, па кватэрцы); иногда расходились, и надо было искать другого пахаря, более дешевого и покладистого.

Вот эти-то два-три рубля долго сколачивались по гривенникам да залатоўкам[132] шитьем (шнуроўкі, кофты, сарочкі) или чесанием воўны (шерсти): у бабы был для этого подходящий инструмент (начыньня) — две широкие квадратные щетки с кожаной подбивкой, усеянной ровными рядами крючковатой тонкой проводки. Одна щетка прибивалась к лавке неподвижно, с загибом крючков от себя, а другой, с рукояткой с загибом крючков на себя, чесали, положив клочья шерсти на первую. Шерсть растягивалась, выравнивалась и принимала вид тонких пластов, в которых волосики шли по одному направлению, очищенные от пыли и грязи. С фунта платили какой-то пустяк, вроде гроша или полушки: счетные единицы, которыми не пренебрегали, ибо яйцо стоило грош, а в августе на копейку давали четыре хороших яблока или груши. Когда хотели указать твердую цену, говорили: як грош абаранак. За грош можно было купить солодкий перничек (пряничек) для детей, а за копейку превкусный «кухон», — это пшеничная лепешка на дрожжах, посыпанная маком или чернушкой. Как на чей вкус: по-моему, вкуснее московских калачей.

Так вот — такими мелочами надо было сколачивать деньгу в две руки: бабе Рузале и тетке Мариле.

Был еще у бабы Рузали маленький доходец: ворожба на картах и знахарская помощь. Ворожбу она считала делом греховным, каялась попу на исповеди и зарекалась гадать, но против неотступных просьб и мольб с падением на колени, с поклоном в ноги, с божбой, что грех беру на себя:

— І які жа тут грэх параіць (советовать), памагчы чалавеку ў бядзе!

Против таких просьб баба не могла устоять. В качестве компромисса со своей совестью решительно отказывалась гадать вечером накануне воскресных и праздничных дней, в сочельники и в великом посте. Но если и тут нужно было дозарезу гаданье и если притом еще человек издалека приехал или пришел, самоотверженно отягчала свою совесть. Когда в старости у нее образовалась костоеда на локте правой руки, она двоилась между двумя причинами: либо потому, что гадала на картах, либо потому, что «присягу принимала». Показание под присягой было дано, разумеется, правдивое, но по древнему убеждению, которое она полностью разделяла и исповедовала, и от правдивой присяги «двенадцать жыл заміраіць!». А что же от неправедной?

Но знахарская помощь травами, мазями на медвежьем и заячьем сале, отварами, настоями и проч. и проч. примитивная хирургическая помощь, как вправление вывихов, перевязки при поломах костей, вправление пупочной грыжи и прочее, не считалось греховным, если совершалось без шептов и заговоров.

Такая помощь совершалась, большею частию, задаром «для спасения души». Да и брать за это деньги или платить деньгами считалось неприличным. Дело другое, если, вспомнив о помощи, принесут вам при случае кусок сала, пару-другую яичек или медку в подарок (в почетный дар, гонорарий) — это приличий не нарушало: совсем напротив. Иначе вы рисковали оказаться «непознанным», т. е. без надлежащего понимания, невоспитанным.

За гаданье на картах твердая такса была в три копейки за сеанс в три раскладки. Староватые люди, если гаданье давало важные указания или попадало точка в точку, или было по сердцу, расщедрившись, клали целую «дзесятку», т. е. пятака, десять грошей.

Это был неверный, но все же доход, который в год составлял особую статью в бабином бюджете рубля два-три. І то грошы! Хоць солі можна купіць ці селядца.

Так или иначе на пахоту два-три рубля сколачивалось и про запас держалось для других экстренных случаев.

Огород был тщательно распланирован. В конце низинка оставалась под покосом: хорошая росла трава, мурожная[133], на добрый воз сена, пудов в 25.

— За гэтко сена — каму ня трэба — паўтары абы два рублі дадуць. Мягкае, душыстае...

Как мы любили барахтаться в таких копнах! Тщательно высушенное — оно поступало под крышу над клетью, где так сладко спалось на нем летом и в раннюю осень. Когда ночь похолоднее — зароешься в сено — тепло, ни блохи, ни клопа, а запах приятный, слегка одуряющий и усыпляющий.

На клочке сенокоса была канавка для стока вод. Дед Томаш выкопал. На более глубоком месте была вставлена кадка без дна, чтобы летом вода держалась для поливки капусты и брюквы. В эту кадку Ануфрутка, калі быў яшчо саўсім дзяцёнкам, качаў (катал) калёсікі, — спаткнуўся ды і ўпаў галавой ўніз. Счастье, что баба, сажая капусту, заметила, что ножонки дрыгают в крыніцэ, иначе — так бы и утонул Ануфрутка в кадке. Воды наглотался, но откачали.

Рядом с покосцем, поближе к поливке, отводилось пять-шесть гряд под капусту и брюкву. Это самая почетная овощь в крестьянском столе. Без капусты сыт не будешь, — общее и глубокое убеждение. Думаю — потому оно сложилось, что с кислой капустой хлеб съедается всласть. Брюква — это лакомое блюдо. Ее варят с молоком, с хлебом хорошо, но это не так вкусно, как тушеная с салом. С хлебом — первейшая вечеря.

Основной овощной огород гряд в десять-двенадцать разбивался прямо против окон, рядом с маленьким двориком. Чего тут только не было! Грядки три-четыре огурцов и тут же по краям и вокруг всего огорода, где только можно приткнуться, посажены тыквы, по-нашему арбузы[134]: морковь и свекла вперемешку и их сеялось всего больше, ибо они чередовались на столе в равной степени с капустой и брюквой, — свекла квасилась и шла на борщ, а морковь варили с молоком и тушили с салом, как и брюкву. Но здесь же были и мак — окраска к оладьям — и укроп, лук и чеснок, сельдерей и помидоры, бобы, фасоль и стручковый горошек, и даже кое-где по окраинам золотистые ноготки и душистая мята.

Когда зацветет мак махровый разноцветный — зрелище перед окном очаровательное, залюбуешься!

Остальное все, т. е. вчетверо большая площадь, шла поровну под ячмень и картофель. Ячмень должен был давать крупу, а картофель заменять все, а, главным образом, хлеб.

Мелкий картофель и свекла были основным кормом для свиней или подсвинка на убой, т. е. с осени, а летом их кормили крапивой, которая всюду растет у заборов, осотом, который выдергивали на огородах и полях, мокрицей и лебедой, которых давало полотье — по-нашему «поліва», а потом им же шла картофельная и свекловичная ботва, пожелтелые листья капусты и брюквы и тому подобная зелень: голодная свинья неразборчива, все подберет. Иногда только для аппетиту надо сдобрить сывороткой или слегка подсыпать отрубями, а для кормных — и мучицей.

Наряду с огородом свинья есть основа крестьянского благосостояния в Беларуси, особенно для безземельных. Поэтому свиней держат все, за исключением самых бедных или, вернее, «недбалых», т. е. ленивых и беззаботных. Поросенок стоил тридцать копеек, много — сорок (это когда на «расплод»). На первых порах его надо подпаивать молочком. Это, конечно, задача для бескоровных. Но как-нибудь выходили из затруднений: сам не ест, детей обидит, а поросенку даст. Потом кисельком да кулешиком от стола, остатками другой пищи, а затем молодой крапивкой, сочной травицей, вроде мокрицы и лебеды, от которых, крестьяне верят, поросенок растет и брюхо разбивает, т. е. входит в тело с отвислым пузом, что важно для увеличения объема и мясистости... Годовалый, он уже готов пудов на шесть, на семь. А двух- и трехгодовалый вдвое больше. При хороших кормах и того больше дает выходу. Когда эти два условия налицо — огород и свинья — кормежка семьи обеспечена. Детям надо молоко: это понимают, а взрослые и без него обходятся. Многие к молоку относятся даже презрительно: дескать, — что это за еда. То ли дело кусок сала, свинины, колбаса...

И чего только не делают огород и свинья. Как они разнообразят крестьянский стол. Белорусы, переселившиеся в Ярославщину, Владимирщину и Нижегородщину, где свиней не

держат, поражаются бедности крестьянского питания: хлеб, чай да картошка; редко — огурец (покупной) да селедка. Еще реже пироги да щи с убоиной. Еще реже — жареное. И все это в самом непритязательном виде.

Белорусские бабы-переселенки смеются над ярославками:

— Куды іна к чорту гадзітца! Толькі і знаіць, што самавар свой паставіць (дужэ ён патрэбен!) ды бульбы зварыць. У нас на дзяды дванадцыць патраў палагаітца. Нехай іна папробуе толькі насчытаць дванадцыць патраў, а ні то што зварыць! Нічога путнога ня ўмеюць!

Мужыки к этой насмешливой характеристике прибавляли:

— Ён (т. е. москаль) ідзе ў лес на работу, і я іду. Што ён з сабой возьме для пажыўнасці? Краюшку хлеба з сольлю, або талакна з цыбулей. А я, па крайні меры, вазьму кусок сала, кальцо кільбасы, або грудзінку атварную. Паджарываеш сабе на ражончыку, капаеш сабе на хлеб ці на сачэнь і так смашна ясі, што аж нос гібаетца. У іх што бедны, што багаты — усё роўна як свіньні ядуць.

Это, конечно, преувеличено: бедняка с богатеем не сравняешь. Но несомненно, что белоруски — большие мастерицы на разного рода стряпню. Моя семья, по весьма понятной причине, в этом отношении еще дальше ушла от общего уровня — и самый бедный стол умели чем-нибудь скрасить.

Но все это надо сделать, вырастить, выхолить. И все это всею тяжестию падает на женщину. Мужик знает тяжелую работу, требующую затраты большей силы — пахоту, косьбу, рубку дров, стройку. На женщине лежит все остальное. Огород целиком падает на женские плечи и руки. Она копает грядки, она сеет и садит. Она поливает и полет; она копает, убирает, шинкует и рубит капусту, солит огурцы, квасит свеклу — заготовляет впрок на зиму. На ней лежит уход и кормежка прожорливых свиней: набрать лиственных трав, мелко изрубить в корыте, облить помоями, подбавить мякины или отрубей; напарить в больших корчагах[135] или чугунах мелкой картошки, свеклы для кормных свиней; на ней же уход за коровой — выгнать до зари на пастбище, подкормить дома,

напоить, выдоить. Женщины все время в деле, в беготне, в топанине.

По огороду и хозяйничанью мужики им редко помогают, разве что когда надо к спеху.

У бабы Рузали, да и в нашей семье по ее обособлении, мужиков, в сущности, не было, и вся работа по дому и огороду лежала на трех женщинах — и чего только они не делали! Зато проблема питания у этой, казалось бы, беспомощной семьи, как бобылка Рузаля с теткой Марилей, была блестяще разрешена: все были сыты, обуты, одеты и тетка Мариля никогда не ходила ў двор на наемную работу. Даже без коровы — огород и свиньи доставляли все существенно необходимое. Дешевые сорта молока — пахта или по-нашему «маслянка», простокваша и снятое сладкое молоко изредка покупались в дворовом пакте, у еврея-съемщика; там же можно было раздобыть и творогу по дешевой цене: 2—$2^{1}/_{2}$ копейки за фунт; снятое молоко$1^{1}/_{2}$ к[опейки] кварта, а маслянка — копейка и грош за кварту (то же, что бутылка). Хорошая еда: облей маслянкой или сырокващей картошку, хлеб, накрошенный в лоханку, коли он есть, посоли, как следует, — и получится еда первый сорт.

А свинью или подсвинка баба Рузаля всегда держала и к Рождеству всегда откармливала.

Этим сказано все. Это значит, что к Рождеству и на весь мясоед будут душистые «кілбасы», слегка подсоленные и поперченные, с тмином и майораном; будет «паляндвіца» и «каркавіна» — продетая в толстую кишку; будут на мясоед колбасы кровяные с ячной мукой или крупой, сдобренные мелко искрошенным салом; будет крупяная колбаса с салом же; к пасхе будет «шынка» (окорок) и лопатка, хорошо просоленные и слегка посыпанные селитрой, как специей, предохраняющей от гниения, и прокопченные вместе с полендвицами в дыму ельниковых или можжевеловых лапок и будет кадочка пуда в 2—3 просоленного сала на окраску и картошки, и капусты, и бураков, и всякой другой снеди.

Начнутся Рождественские святки с обязательными блинами, придет масленица — на столе к блинам будет подана в латушке ароматичная и превкусная «верашчака» на «мачанье»

к блинам. Для непосвященных объясняю, что это чудесное блюдо составляется из кусочков колбасы, сала и свиного мяса или грудинки, мелко искрошенных и слегка подперченных, с подливкой из пшеничной муки. В верещаку макают блины, свернув в трубочку. Расчудесное дело. После шестинедельного пилиповского поста, при скудном питании, когда «акрасу» составляли грибы да алей, если были таковые, появление на столе шипящей и соблазнительно пахнущей верещаки рядом со стопой укрытых полотенцем блинов было событием торжественным, исключительной важности в сфере питания: это значило, что потеря в весе скоро будет восстановлена.

Жадность к жирной и вкусной еде была немалая в отощалом теле, но баба Рузаля знала, чем это может кончиться, и потому за столом рекомендовалась сдержанность и умеренность.

Неведомый автор «Тараса на Парнасе» верно отметил бытовой эффект, который производит появление блинов и колбасной верещаки даже на Парнасе:

Як падала на стол кілбасы,
Бліны аўсяны ў рашаце, —
Аж слінка пацякла ў Тараса
І забурчала ў жываце.

И там, где несдержанно относятся к этой вкусной еде — результаты бывают печальные.

Четыре поста в году — Пятроўка, Спасоўка, Піліпоўка и Вялікій пост — у нас соблюдались строго; еще нам, ребятам, разрешалось молоко, но в великом посту после шести лет и нам молока не давали, а взрослые и в мыслях не допускали возможности оскоромиться. Особенно им тяжело давался Петров пост: все запасы истощены, картошка и огурец еще не поспели; единственно, что остается на варево, — съедобные травы — шнітка-матка, дзягіль-бацька, шчавель-брат-ка, крапіўка-сястрыца, как поется в белорусской веснянке, выкликающей и прославляющей нежными эпитетами этих сомнительных без хлеба кормильцев.

Вот почему, характеризуя летние посты, белорусы пословично говорят: «Пятроўка — галадоўка, а Спасоўка — ласоўка». «Ласоўка» — значит, лакомка. К Спасаўке все поспело. Картошка раннего посева (а я помню, что к концу марта, около Благовещенья, сажают на огородах картошку), появляется на столе к Петрову дню. С этого же дня пойдут огурцы, свекла на ботвинье (она идет в дело с ботвой), морковь и редька с редисом белым и фиолетовым, бобы, горох, особенно огородный, с мясистыми стручками, который у нас зовется «цукровым», т. е. сахарным; разноцветная репа уже закруглилась; ягода разная и садовая, и лесная, и полевая — уже появилась — лакомство бесподобное; на варенье она у нас нейдет — в мое время деревня об этом и не слыхивала, а крыжовник (агрэст) и поречки (смородина) просто так едят, как и всякий фрукт; другое дело земляники, черника, малина — их заливают молоком, все равно сладким или кислым, — и едят с хлебом как лакомое блюдо. А кто покультурнее, приготовляют из них кисели с крахмалом и едят с молоком или без оного. А грибы? Иногда они рано появляются, но не ранее июня и идут в пищу в разных видах — и вареные, и жареные, и соленые, и сушеные, — особенно последние: борщ и капуста с грибами считается если не лакомым, то вкусным блюдом.

А яблоки, груши, вишни, сливы? Всего этого у нас много — и садовых, и диких. У кого нет своего сада — ребята за обычай, а иногда и взрослые крадут у соседей без зазрения совести. Особенно пастушки и конюшки в ночном ходят целой громадой опустошать чужие горохи, сады и огороды (огурцы, репа, морковь и брюква).

Ребята после весенней голодовки жадно набрасываются на всякую овощь (сырызну), на ягоды и яблоки, хотя бы незрелые, и объедаясь, портят себе животы, иногда криком кричат, качаются от боли и чернеют в лице. Большею частию отделываются расстройством живота, а бывает и хуже: кровавый понос или вроде — и смерть[136].

Но самое главное — к Ильину дню рожь-матушка поспела, а стало быть, и новый хлеб. С ним проблема питания разрешается полностью.

Надо сказать, что беднота еще до полной зрелости зажинает рожь на хлеб и ячмень на крупу: сожнут несколько снопов и дома, разостлав дерюгу, обобьют вальком (праннікам) колосья, слегка провеют, подсушат зерно в печке и, смешав с мягкой плевой, мелют на ручных жерновах муку — и готов новый хлеб.

С какой радостью, нежностью, и с каким благоговением его вкушают, именно «вкушают», как сакрамент[137], перекрестившись, поцеловав хлеб со старинным приговором: «Нова навіна ў рот, а здароўе ў косьці і ў жывот».

Ничто не сравнится по тонкости аромата полей и по вкусу с хорошо испеченным новым хлебом с целевой, т. е. мелкими пленками: они придают обольстительный аромат и особый приятный вкус хлебу. А если хотите изысканного лакомства — макайте свежий новый хлеб в мед: никакая коврижка, никакие пряники с ним не сравнятся.

Хлеб для белоруса — святыня. Его приготовление — истое священнодействие (я говорю о своем времени). Начать с того, что его приготовлять может только женщина «чистая», т. е. не во время «месячных», и не спавшая накануне с мужем. Иначе это значило бы, хлеб поганить и оскорблять. Он будет коробиться, трескаться и нет в нем надлежащего «посілку».

Когда такой хлеб появляется на столе — хозяйка смущается, а домашние взрослые смотрят на нее подозрительно.

Бывает, что свекровь или свекор, без обиняков, делают молодухе строгое внушение: с хлебом-де надо блюсти себя, хранить чистоту — «Калі ў цябе падол падрыпаны, дык к хлебу не приступайся: гэта грэх!»

Руки обязательно мыть до локтей. Это ритуальное омовение. Дежу-хлебницу (кадку), раскрыв, прежде чем влить теплой воды для раствора (расчыны), непременно «жэгнаюць» (крестят); сделав раствор, тоже жэгнаюць; месят с молитвой и, замесив, не только жэгнаюць, но, погладив поверхность, пересекают глубоким крестом. Когда тесто подойдет, пред посадкой в жарко натопленную печь, хлебную лопату обычно посыпают мукой и, осторожно взяв изрядный ком теста обеими руками, легонько его округляют в руках, стараясь не мять, чтобы сохранить пористость, и положив на лопату

смоченными руками, придают ему окончательную форму — круглую или продолговатую, где как повелось в семье: на первом хлебе и на последнем наносят мизенцем легкий крест. Летом и осенью, вместо подсыпки мукой, устилают лопату кленовым или капустным листом, которые легко снимаются, а еще лучше свежим аиром. Это дело любителей и знатоков: нижняя корка, очищенная от аира, приобретает особый вкус и аромат. Мы, ребята, особенно за ней гонялись.

Последний каравайчнк бабушка или мать делали махонький и изящный; он сажался спереди и раньше других выпекался. Это любовный дар нетерпеливым ребятам: они раньше всех могли «паспытаць» свежего хлебца, — еще горячего, с душистым паром.

В деже оставляется немного перекрещенного теста на закваску, и таким образом сохраняется непрерывность хлебной бродильной или производящей силы, и бесконечно длительная непрерывность закваски ставится в особую честь внимательной хозяйке.

Все это традиции глубокой старины, которые, в ряде веков, сложились в ритуал, со всеми признаками священнодействия, совершаемого домашней жрицей у семейного очага.

Так пекли хлеб в нашей богобоязненной семье, но так его пекут и во всех крестьянских порядочных семьях.

Уважение к хлебу, как святыне, общее среди белорусов чувство и обычай. Раз хлеб на столе (обязательно на скатерти или прикрытый абрусом[138]), то полагается держать себя скромно, особенно воздерживаться от скверных слов и проклятий.

Раз надо что-нибудь передать неприличное, то благовоспитанный белорус всегда предварит такое сообщение или слова обычной формулой: «шануючы[139] святых абразоў, шануючы гэтаго святого хлеба...» Или: «не пры хлебе святым кажучы...» и т. п., употребляя почтительные обороты.

В мое время белорусские крестьяне все поголовно — и бедные и богатые — ели хлеб «половый», — половый, значит, серый, т. е. с мякиной, к чистому хлебу, «чистяку», к которому привыкли дворовые, евреи и деревенский более культурный слой, настоящие мужики-хлеборобы питали нескрываемое презрение, считая его непитательным.

— Што гэта за хлеб? Як сліна: німа ў ём ніякаго пасілку!

Мужицкий хлеб пекли из плохо провеянной ржи или же подмешивали ко ржи мелкую мякину. Караваи пекли огромные, с решето величиной. Напомню, что на пиршестве у самого Зевеса такой хлеб фигурировал на столе: «І як жарон, буханку хлеба прынёсшы, бразь сярод стала». Это из «Тараса на Парнасе».

Такой хлеб был тяжелый, плотный, неудобоваримый, и если злоупотребляли подбавкой неумеренного количества мякины, то он царапал глотку, но был вкусен и отличался приятным запахом. Это особенно ценилось. Надо было иметь здоровое брюхо, чтобы безнаказанно справляться с таким хлебом.

Впрочем, не одни мужики его ценили. Барышни-Вилькенши часто ходили по полям с изящными каравайчиками «чистяка», — панского хлеба — булочками или печеньями и обменивали их у мужиков и баб на ломтики или краюхи «паловіка», «мякінніка». К удивлению мужиков, ели его как лакомство.

Теперь с возникновением учения о витаминах, можно не сомневаться, что хлеб не с мякиной, а с пелевой[140], был здоровее и питательнее не только пеклёванного хлеба, но и всякого «чистяка». Я не говорю уже о вкусе, ибо говорил уже об этом: августовский хлеб в Беларуси ни с чем не сравним. Это не иллюзия раннего полуголодного детства: я недавно едал осенний хлеб на родине и находил его таким же вкусным.

Хлеб хлебу рознь, и в разных местах его пекут по-разному. В Нижнем славится Галчинский хлеб — действительно вкусный, но на особый манер, своеобразный.

Знатоки пекут хлеб «заварной», из сухарей — тоже вкусный, кисло-сладкий, с маслом к чаю хорош. Рожь — ржи и мука — муке рознь. Хлебники считают лучшей муку из Ростова-на-Дону, и, вероятно, они правы. Но нет ничего безвкуснее фабричного хлеба. Это стандарт, нечто вроде хлебной олеографии, совершенно лишенный индивидуальности, своеобразных вкусовых оттенков, в которых вся прелесть.

Бывало, нечего есть на завтрак или на ужин — вопрос решается легко, раз есть хлеб на столе: ломоть хлеба, кружка

воды и щепотка соли, — макай хлеб в соль, запивай водицей — и сыт — благодарен. В скоромные дни нас баловали хлебом с маслом, хлебом со сметаной, хлебом с салом, а в постные дни (у нас постились среду и пятницу) — картошка, хлеб с солью: обычная еда.

Иногда нас баловали гренками, поджаренными в масле или сале, но это уже такая еда, про которую говорят: «карай Бог павек», т. е. что это было бы не в наказание, а в сплошное удовольствие. И еще баловали в хлебные дни, т. е. пекли хлеб, сочнями или пресноками: это обыкновенное хлебное тесто, испеченное на сковородке с подмазкой маслом или салом.

А иногда отбиралась некоторая часть рыхлого хлебного теста в латушку[141] или горшок, разбавлялось водой, подсыпалась ячменная или гречневая мука — и готов раствор для блинов. А что такое блины, если со сметаной, с маслом или салом (не говорю уже о бесподобной верещаке), всякий едавший понимает.

И всю эту благодать, кроме хлеба, доставлял благословенный бабин огород, как впоследствии такой же по величине, но худший по качеству огород моей матери.

Как подумаешь: много ли умелому человеку нужно? Клочок земли 80×16 — кормил целые семьи! Какая ему цена? Пустяки: сто рублей красная цена. И вот на капитал в сто рублей, приложив к нему працавітые руки, нас кормили, растили, в люди выводили! Колдовство, да и только! Ибо что может дать земельная стоимость в сто рублей? Мы за свой огород платили аренды в 70-х годах 5 рублей. Это вполне соответствует его стоимости: его законная рента. А все остальное вносил в него и извлекал из него — человеческий труд — в частности, труд моей матери, тетки Марили, бабы Рузали, и впоследствии, конечно, в меньшей степени, мой труд и сестры Магдалены, ибо мы очень рано были привлечены к домашним работам, соответствующим или даже не соответствующим нашему возрасту, как посадка картошки, полотье и поливка капусты и брюквы, копанье картошки и других овощей, собирание крапивы и других трав или ботвы для свиней, собирание щавеля, шнитки, ягод и грибов, а впоследствии более тяжелой работы, как например, ношение воды из колодца, копание гряд и тому

подобное. Не говоря уже о том, что мы должны были с раннего детства гонять с огорода курей своих и чужих, которые иначе безрассудно могли бы выбрать весь ячмень, которым и их кормили зимой. Работа легкая, но ужасно скучная для привычных бегать на свободе, играть в лашадкі и в другие игры.

Меня с семи лет запрягли по-настоящему в работу. Никогда я не забуду этого тяжелого дня, ибо в этот день я ясно ощутил всю тяжесть труда и понял, что меня ждет в моей жизни.

Это был яркий солнечный день, манящий в луга и в рощу, а меня погнали сажать картошку. Целый день длилась эта процедура, — работа пустяковая, но в согнутом положении. В этом все дело: непривычная спина к обеду и к вечеру болела невыносимо, с трудом можно было разогнуться. И смертельная тоска охватила мою душу: так должен чувствовать себя каторжник, на века прикованный к тачке.

Я помню, что к вечеру я впал в глубокий пессимизм и плакал над своей горькой долей, тем более, что нам помогали дети соседей, и я должен был в следующие дни идти к ним на отработок. А потом и пошло, и пошло. Так печально началась моя трудовая жизнь, которой я уже насчитываю 63 года: срок не маленький! Сколько раз с той переломной поры меня угнетала тяжесть и скука однообразного механического труда. Охо-хо! Можно сказать, что только до семи лет я жил в свое удовольствие, вкушая радости жизни. А этот картофельный день, как печальная грань на двух неравных отрезках моего бытия, навсегда отмечен черной чертой в календаре моего сердца. Прошли, миновали прекрасные дни в Аранжуэце[142]!

Мало-помалу, по нужде выработалась привычка к труду, и она стала моей второй натурой, и я даже примирился и длительно выносил тяжелую механическую работу, но слишком много в молодости пало ее на мои далеко не сильные плечи.

Ошибка была в том, что не было соблюдено чувство меры по отношению к моим силам и возрасту, и постепенности. И в будущем, особенно вне семьи — этого основного педагогического принципа не соблюдалось: как будет видно из дальнейшего, если удастся довести повествование до этих моментов, на меня часто взваливали непосильную работу. Я завидовал неизменному товарищу своего детства (с шести

лет) Юзику, который, будучи старше меня года на 3—4, при всех попытках запрячь его в постоянную работу, особенно в усидчивую и кропотливую, как дикий конь, ломал оглобли запряжки и вырывался на свободу бездельничанья наряду с околачиванием около того или другого дома, чтобы ему быть сыту и спать вволю. Ах, как он любил спать — всегда готов и, казалось бы, при невозможных условиях. Несмотря на то, что редко наедался он до отвала, а большей частью при его волчьем аппетите, — в полсыта, но он всегда выглядел довольно упитанным, вероятно, вследствие беззаботности и долгого сна; тогда как про меня, кормившегося значительно лучше, нередко говаривали: «Ох, які ён мізерны!» У нас это значило тощий, тщедушный.

Во всяком случае, благодаря огороду, свинье и корове, кормились мы хорошо. Бывали промежутки проголоди, особенно весной, когда все подобралось, или в голодные года, когда хлеб был дорог, а от отца, вследствие безработицы, денежной помощи не было, но это были промежутки нечастые и непродолжительные. А в общем, нельзя было жаловаться на недостачу.

Но чего это стоило семье!

Вечной, изнурительной и неугомонной работы всех — от мала до велика. Летом вставали вместе с солнцем и ложились вскоре после заката; осенью и зимой вставали до свету, по третьим петухам, приблизительно в 3—4 часа, работали с лучиной, ложились с лучиной же в часов 8—9; иногда позже, если того дело требовало, но иногда и вставали попозже. В общем — осенью и зимой больше спали, чем весной и летом; но ведущие крестьянские хозяйства осенью тоже вставали в 3—4 часа для молотьбы, которая длилась всю осень. Отдыхали только в воскресенье и праздничные дни, когда кроме обычной стряпни да ухода за скотом никакого другого дела не делали; благочестивые люди избегали даже ломать лучину на растопку, считая это грехом, а рубить и колоть дрова в праздник считалось решительно недопустимым. Это в праздники. Но были полупраздники, падающие преимущественно на зиму — на коляды и масленицу, на Андрэево ўстання (день святого Андрея Критского и вечернее чтение его канона), а

летом на девятник (девятый четверг после пасхи), пяцінку или дзесятуху (десятая пятница), а также и воскресенье, Купалку, когда разрешалось делать одни работы и не разрешалось другие. Например — для калядных недель сплошь по вечерам, которые назывались святыми, не разрешалось никакой работы: вечера проводились взрослыми в беседах, а молодежью в играх и щелканьи орешков и лущении семечек: особенно нельзя было шить и прясть, чтобы не рождались слепые и колтуноватые. Были еще обетные дни, ознаменованные какими-либо бедствиями, вроде пожара, повальной болезни и т. п., которые приписывались гневу какого-то святого, вроде Ильи Пророка, Александра Невского, дни, которые падали на дорогое рабочее время и потому часто нарушались — в такие дни в качестве компромисса, работа на себя не производилась, но можно было ходить на пригон, на помочи, т. е. работать на пана, ксендза, попа и пр.

Все эти праздники-передышки, облегчения в труде, основанные на общем обычае, люди вылеживались и высыпались как следует, изнуренное тело возобновляло свои силы, укреплялось, чтобы нести тот каторжный труд, который падал на будни.

Одна кормежка, одна стряпня чего стоила! «Хлеб наш насущный»[143]. Богатые мужики везли мешки на мельницу, чтобы зерно превратить в муку или крупу. А беднота прибегала к ручным жерновам[144]. Они были у бабы Рузали, впоследствии и у моего отца. С раннего утра они были в работе: то муку мололи на хлеб, то на блины — ячную, овсяную и гречневую, — то на крупу драную, то на кисель. Работа утомительная и скучная, усыпляющая ритмическим, равномерным громыханьем и поскрипываньем рычага в лопатке. Чтобы пуд смолоть, надо часа 3—4 непрерывной работы.

Ступа с двумя-тремя таўкачамі почти ежедневно была в ходу. В ней обрабатывался ячмень на крупу, толклись конопли на на подбелку и т. п. Хорошо — если 2—3 песта: работа спорая и скорая, а если в одиночку, — долго придется «дзугать»[145]. Чистка картошки — дело легкое, но кропотливое, а так как печка не ждет, то чтобы ускорить дело в несколько рук, с раннего детства, с 5—6-и лет, малышей приучают к чистке.

Скучненько, но это бы полбеды, а самое худшее то, что печка топилась рано, чтобы горячее «снеданьня» (завтрак) поспело, и потому будили ребят рано. В отсутствие отца я бунтовал, как мог и умел, и нередко «отбоярывался», а Магдалинка, бедная, безропотно несла домашнюю каторгу в самых разнообразных ее видах, иногда и не соответствующим ее слабым силенкам.

И одеваться было нелегко. Все было рассчитано на то, чтобы досталось дешевле, а стало быть, с наибольшим приложением своего труда. Крестьяне-хозяева были обеспечены своим собственным материалом — льном, шерстью, а бобылям, вроде нашей семьи, надо было материал покупать — опять деньги! Покупать можно было у крестьян, но это обходилось дороже. А всего дешевле можно было купить в церкви или костеле — у церковного старосты или костельного «закрыстыяна» (ризничьего). По старинному обычаю, как-то постепенно и незаметно вошедшему в обиход, в церковь и в костел делались пожертвования натурой, по обету, вызванному тем или другим житейским случаем, — если удачным, то в благодарность, например, за урожай, хороший приплод в скоте, за благоприятный выход из тяжкого положения; а в случаях неудачи или несчастья, — для умилостивления Бога или святых его. Несли «на афяры» (обету) все, подходящее или приличествующее по древним обычаям: ягнят, поросят, петухов и кур, иногда телят. Принесет хозяин или хозяйка в церковь, станет на коленях пред алтарем, держа в руках «афяру» (надо разуметь — жертву), прочитает молитву, под жалобное блеяние ягненка или пронзительный визг поросенка, или протестующие выкрики петуха и передает жертву старосте, а тот либо сам уносит в кладовушку возле притвора, либо передает церковному сторожу под охрану там же. С ягнятами, кроткими по натуре, особых осложнений скандального характера почти не случалось и потому они всего чаще приносились в жертву, тем более, что с ними связаны особые религиозные представления (яко агнец на заклание ведеш безгласен и пр.), а с поросятами и петухами нередко случалась неприличная возня: поросята неистово визжали, петухи кричали, чуя недоброе, вырывались из рук, бегали по церкви или костелу, пока церковному служке не удавалось поймать протестантов и запереть в кладовушку,

где поросята тоже не переставали визжать. Это скандализировало молящихся (хотя жертвы приносились в промежуток между утреней и обедней) и не без влияния этого мотива вышли из употребления, не исключая и ягнят, державшихся много дольше.

Но всего более приносили жертв рукоделием: круглец льна, моток ниток, сверток «воўны», т. е. овечьей шерсти, кусок или трубку полотна или другой тканіны, — также куски воску или готовые свечи — это жертвы, кроме воску, были исключительно женские, тогда как животные составляли мужскую часть «афяр».

Иногда все это делилось натурой между церковью и церковниками, но церковная часть, как общее правило, шла в продажу, а иногда и церковники, ввиду трудности правильного раздела, предпочитали и свою часть пускать в продажу и делить деньгами (3 части попу, 2 — диакону и 1 — дьячку).

Особенно много приношений было в храмовые праздники и в «маладзіковую нядзелю»[146] (новолунное воскресенье), особенно чтимые у белорусов. Тогда в продажу поступало много холста, льна и шерсти и тогда можно было купить дешево. Вот этим-то и пользовались бобыли, в том числе и наша семья, которая льна не сеяла и овец не держала. Мы, можно сказать, одевались преимущественно в жертвенное, как бы в священное.

В Беларуси всегда было весьма распространено искусство тканья. Женщина должна была уметь искусно прясть и ткать, как мужчина пахать и косить. Это особенно ценилось и при выборе невесты принималось в расчет. И это понятно, раз семья почти исключительно одевалась во все свое: свой холст на сорочки, порты, спадницы[147], носсовы (холщевые кафтаны мужские и женские), свое сукно или полусукно — белое, серое, черное — на верхнее теплое платье: армяк, сермягу (род кафтана, хотя бы и белого, что составляло любимый цвет), каптанку или, по другому произношению, катанку (женский короткий кафтан); на штаны и юбки шли цветные тканины в полоску продольную и поперечную, в квадратики, белые с черным или синим, а на юбки и того пестрее и разнообразнее, с преобладанием, впрочем, красного, синего и желтого цветов.

Не всякая девушка смолоду научилась ткать сложную узорчатую или камчатную ткань: затрудняли сложная основа и уток, две или три пары поножей; но почти всякая умела ткать полотно белое или в два цвета. Та, которая таким простейшим искусством не овладела, весьма мало ценилась, хотя бы она во всем прочем и преуспевала. Такую презрительно называли «дзеўка аблом», «неўмека», «ацяляпа» и другими унизительными прозвищами, показывающими, что она годилась для простых хозяйственных работ, но не рукодельница, т. е. не получила высшего семейного воспитания и не обладает сложными или тонкими уменьями, как тканье, крой, шитье, плетение узорчатых поясов и пр.

Баба Рузаля всеми этими преполезными искусствами обладала в высшей степени и, конечно, научила им своих дочерей, поэтому мы голыми не ходили, и голыми коленями или локтями не светили. Все, в свое время, было выпрядено, выткано, сшито, поношенное заплатано... Сорочки менялись каждую неделю в воскресенье — этого достаточно, чтобы вши не заводились или не множились — а портки — чрез две-три недели. Сорочки были из более тонкого полотна, а портки и нижние юбки из грубого, называвшегося изгребным. Оно настолько было грубым и плотным, что мои штанишки, намоченные в воде, становились настолько упругими, что их можно было поставить стоймя. Но и эта прочная ткань не долго выдерживала лазанье по деревьям, по плетням и заборам, ползанье на коленях по траве. И домашние часто говаривали: «яму, т. е. мне, хоць жалезные сшый, дык і то парвець».

Недешево нашей женской половине обходилось белье и платье, а хозяйственным крестьянам много дороже в смысле затраты однообразного скучного труда. Мы все же выходное или праздничное платье, «про людей», шили из крупного, фабричного или «крамного»[148] , а хозяйственные сплошь одевались в свое, рукодельное; покупкой была «шпонка» (запонка) да істужка (ленточка) для застегиванья ворота. Но это было щегольство.

С осени и вплоть до весны, а частию весной и летом женщины были заняты работой по изготовлению одеяния.

Сколько самых разнообразных приемов требовала обработка льна, — этого основного материала на крестьянскую одежду!

Выбрав лен и отрезав косой головки с семечками, надо было мочить в сажалках; потом выстилать по лугам и гумнам, которые осенью сплошь белели ровными полосами льна и частию конопли; потом лен сушили в «еўнях»[149], потом мять, колотить, вычищая от кострики; чесать, чтобы отсортировать длинное и тонкое волокно от коротких счесов, которые тоже пойдут в дело на «изгребную» грубую ткань (дзеругі), а потом тонкий серебристый кужель[150] свертывают в кудели[151] и привязывают к праснице[152]. Тут начинают жужжать веретена в долгие осенние и зимние вечера, при неровном свете дымной лучины. Сколько «пральля» затратит слюны, пока спрядет одну куделю! На пальцы плюют, которые тянут нить и изредка поплевывают и на те, которые кружат веретено. Как скучна была бы эта работа без песен, хотя и прерываемых в паузах плевками. Ее однообразие скрашивают песней да «попрадкамі», т. е. сбором на совместное прядство соседок не без участия «хлопцев», вносящих некоторый особый интерес и оживление. Но надо сказать, что в строгой Беларуси попрадкі не носят того эротического характера, который им придавался в северных Белорусских областях. Парни не носят гостинцев, пирушек и плясок не устраивается. Для этого устраиваются — зимой, по праздникам, вечеринки, а летом ігрышча на открытом воздухе или в корчме. А попрадкі — деловые собрания, где допускается то, что не мешает делу, а только его оживляет: песни, с потугами на остроумие разговор, беседа, шутки, но в строгих домах в пределах приличий, иначе хозяйка оборвет, пристыдит несдержанного, а то и на дверь укажет, занимательные или остроумные анекдоты, иногда сказки, когда случится искусный рассказчик или рассказчица. Последние тоже не гуляют (не святы дзень!), а что-нибудь делают: женщины, рассказывая, прядут или чулки, рукавицы вяжут, или шьют, нитки мотают, мужчины плетут лапти, вьют «аборы» (веревочки для лаптей), веревки или что-нибудь в этом роде делают, что не требует особого внимания и не мешает связности рассказа.

Так это снотворная работа идет веселее и скрашивается привносимой занимательностью.

Но следующая стадия обработки — снование на колышки основы, постановка кросен, — этого неуклюжего и стеснительного в небольшой крестьянской избе аппарата, где и без того тесно, навертывание основы на навой, продевание нитки за ниткой в бердо[153] и нитчатые разделители ниток (забыл, как их зовут), а затем уже, наладив поножи, опускающие к низу то одну часть основы, то другую, принимаются за тканье, швыряя челнок с цевкой в раструб между ниток то в одну сторону, то в другую, ловко подхватывая другой рукой, и, после нажима поножа, плотно прибивая поперечную нитку тростниковым бердом к поперечным рядам. Все это довольно сложно и требует ловких соразмерных и согласованных движений, попеременно, рук и ног. Все дело в этой согласованности и в быстроте ритма разных движений: у хорошей ткачихи с присвистом летает челнок, быстро поскрипывают поножи и похлопывает бердо, мгновенно, одно за другим, все три момента почти сливаясь в один. Тогда ткань быстро нарастает и, по мере нарастания, навивается на навой в трубку.

Так-то росли наши рубашки, скатерти, рушники!

Приходится удивляться, как такое сложное дело широко распространилось в крестьянстве и приняло разнообразные формы. По мере распространения дешевых фабричных тканей домашнее тканье к счастию сокращалось, освобождая женщину от этой длительной и томительной работы, но до последнего времени не было вытеснено полностью. Прежде всего, на это влияла привычка, а второе — надо было использовать длинные зимние вечера для пряжи, как наиболее подходящего занятия, а дневные досуги для тканья.

Белорусские переселенцы в Ярославщину и на новом месте практиковали свое искусство, где оно повсеместно было забыто. Белорус и здесь стремился одеваться во все свое, справедливо высоко ценя его прочность по сравнению с фабричным, более дешевым. А во время производственной разрухи в гражданскую войну это уменье пришлось весьма кстати.

Весьма понятно, что мои детские воспоминания тесно связаны с прядевом и тканьем, нас одевавшим.

Пряли и ткали все: бабушка, мать, тетка Мариля. Кросны стояли весь великий пост и только к пасхе их убирали. У других же, богатых мужиков, они редко убирались, а почти сплошь они были в деле: то одна, то другая ткали на них. Богатство мужиков и приданое невест не только деньгами, землей и скотом измерялось, но и трубками холста и сукна.

У богатых невест кублы[154] были битком набиты трубками холста, сукон, цветными коўдрамі (постельные покрывала), рушнікамі, абрусамі, цветнымі снадніцамі или андаракамі, хустамі, намёткамі, каптанкамі и кажухамі, т. е. овчинными шубами.

Иногда они устраивали своего рода выставку приданого не без хитрого расчета «пусціць пагаласку» (молву) и заинтересовать женихов: для этого в погожий день все цветные ткани, крашенства, сукна и прочая благодать вывешивалась на дворе, на шестах и веревках проветриться и, конечно, привлекали внимание любопытных и досужих, и здесь можно было блеснуть своим не только богатством, но и искусством ткать разные ткани, вышивать рушники и вязать пояса.

Одних рушников да поясов сколько надо было изготовить! На богатой свадьбе дружина жениха не меньше 12 молодцов. А их надо было повязать рушниками. А уж если бить на шик, то и узорными ткаными и плетеными поясами.

Тканье и шитье — было великое дело. Этим славились невесты. Есть шуточная побасенка насчет неумелых девиц:

— Аткуль ты, дзеўка?

— З Чавус (город Чаусы).

— А ці хочыш замуж?

— Дык чаму ж!

— А ці ўмееш ты шыць, кросны ткаць?

— Вось ня меў чаго пытаць: каб і кросны ткаць!

Вся соль в том, что замуж охота, а шить и кросна ткать негоразда.

Надо сказать, что кублы с трубками полотна и сукон служили приманкой для окрестных воров и грабителей, кравших и тайком, и в открытую, путем нападения вооруженной бандою: кублы в первую голову опустошали, тем более, что в трубках полотна — бытовая подробность — и мужики, и бабы любили хранить кредитки.

Весной и летом, когда полотна белят, расстилая на солнышке по лугам, они являлись легкой добычей для Ларки и Носа из Бобрыки, Родьки из Волобы и Юльки-Марынишки: подкравшись, свернет в трубку тканину — и был таков. С точки зрения денежной — кража, собственно, мелкая: в трубке аршин 10 ценою по гривеннику, стало быть, 1 рубль, а продаст он свою добычу скупщику — дай Бог — за полтину, а то и того дешевле. Но сколько она поглотила женского труда! И как дешево он ценился! Вспоминая свой долгий и неблагодарный труд, горько оплакивали бабы бедные свою потерю жгучими слезами и слали всяческие проклятия на голову вора.

Все это я привел, чтобы показать — какова была наша материальная база. Дело, разумеется, не в клочке земли или в кроснах, а в працавітых руках преимущественно женской части нашей семьи.

В это время (1867 г.) самым важным событием в бабиной хате был приезд дяди Онуфрия из далекой Полтавщины, где он очутился, не знаю уж каким путем, оставив Лаповскую Рудобелку. Года три он отсутствовал. Баба Рузаля часто о нем вспоминала, тяжко вздыхая. Вздыхала, а порою и плакала, сидя на своей обширной скрыне, почти полной всякого добра, красавица Наста, его давнишняя возлюбленная. Письма от него были весьма редки, и об них много и долго говорили в нашем круге родни и знакомых.

— Гдзе-ткі гэтая-самая Палтава? Гдзе-нібудзь на краю света. Мусе быць у другім чарстве, калі ён піша пра вялікую княгіню (Марию Павловну), што ў яе маёнтку жывець. Можа быць, у Польшчы, ці што?

Грышка Парэцкі, побывавший в Киеве, слышал про Полтаву и авторитетно положил конец догадкам:

— Палтава — тые самые хахлы, чумакі... У нашым царстві, туды к Хірсоншчыні, пад Адэстам і Савастопалём ляжыць...

Севастопольская кампания много способствовала расширению географических познаний белорусов. Впрочем, некоторые хаживали на плотах и байдаках[155] по Березине и Днепру до Кременчуга и даже Херсонщины. Я в детстве слыхивал не раз — с каким трудом и опасностями проводили байдаки и плоты чрез Днепровские пороги. Слушал я с жадностию, но

представления у меня об этих неведомых вещах складывались в смехотворно-фантастических образах. Надо думать, что и у взрослых представления от рассказов недалеко отошли от произвольного творчества моей детской фантазии, у которой не было реальных фактов, за которые она могла бы ухватиться, как за материал для построения.

Я не помнил дядьки Ануфрия, ибо мог его видеть только в первый или второй год моей жизни, но так как о нем часто вспоминали и вспоминали в сердечных, сочувственных тонах, как о человеке самом близком и дорогом, то в моей детской душонке он занимал много места. Может быть, поэтому, угадывая какую-то таинственную связь, какие-то живые нити между им и томящейся ожиданием его возврата Настэчкай, я так сердечно любил ее. Это была моя первая любовь (в 3—4 года) и может быть самая сильная, ибо она охватывала все мое маленькое существо. Для меня было величайшим блаженством, когда она брала меня на руки, сажала на колени: я весь трепетал от восторга и спазмы болезненно сжимали мне горло. Я без конца и горячо целовал ее белые нежные руки, с пярсцёнкамі на пальцах, по подсказу глубокого опыта предков, целовал каждый пальчик на руках. И, поднявшись, целовал ее лебяжью шею и губы.

Тогда детский эсктаз проходил, спазматический клубок куда-то откатывался и я испытывал успокоение сладостного довольства, прильнув щекой к ее высокой груди.

Баба Рузаля, глядя на мои поцелуйные пароксизмы, шутливо говорила:

— Глядзі-тка, наш Адолік! Атаб’ець каханку ў дзядзькі Ануфрыя!

Домашние снисходительно улыбались и поддакивали в том же роде. Они не догадывались, как сильно и глубоко было мое чувство. Это была чистая настоящая любовь, может быть, даже не лишенная полового оттенка. Я чувствовал красоту ее рук, прелестный изгиб шеи и меня очаровывал ее чудный контральтовый голос. Меня прельщала ее манера есть деликатно, и я восхищался, глядя, с каким изяществом она владела ножом и вилкой, — искусство высшего порядка, которое мне долго не давалось. Она водила меня в гости к своим

хорошеньким племянницам — Юстынке и Маринке, — моим сверстницам и, подталкивая меня, говорила: «Пацэлуй Юстынку: іна будзе твая жонка».

Я целовал востроглазую и вертлявую Юстынку в детские малиновые губки и целовал более сдержанную и величавую, похожую на тетку, Маринку, но это было уже не то: это были невинные ритуальные поцелуи, почти безразличные, не согретые живым чувством.

Дядька Ануфрый явился совсем неожиданно, летом, в первый же год после возврата нашего из Бобруйска. Мы жили еще в бабиной хате. Радости всех и восторгу бабы Рузали не было конца и его не опишешь. Диво ли: единственный, любимый, надежда, опора в старости... На него действительно можно было любоваться: рослый, плечистый, с серьезным, красивым и выразительным лицом, с густыми русыми волосами «у падсечку», — с еле пробившимися усиками, — картинка, а не хлопец. Другого такого в Холопеничах и не сыщешь. Теперь я знаю, что в энергичных очертаниях его носа со слегка вздувающимися ноздрями не кроткий дед Томаш, а баба Рузаля проглядывала. И одет был не хуже пана Лапы: драповое пальто, а там и пінжак, и камізэлька[156], и штаны з лампасам і навыпуск, и пры загарку... Чудно было видеть в бедной бабиной хате такого пышного пана. И как она могла его вместить? Мой отец по сравнению с великолепным дядей много проигрывал по внешности и, может быть, чувствуя это, держался независимо и горделиво.

С заранее подогретым чувством и определенно настроенным, я трепетал от восторга, созерцая реализованного дядю: он превосходил все мои мечты о нем, таинственном. Я долго путался между ног домашних, пока шло поочередное обнимание и целование. Бабушка плакала от радости, тетка Мариля всхлипывала. Восторги, отрывистые фразы, восклицания. А дядя, как и подобает важной особе, был величественно сдержан.

Наконец — я был замечен. Мать толкнула меня: «Пацалуй дзядзю ў руку».

Я истерически припал к его руке и долго не мог оторваться. «О, сладкий час, о сладкий миг!» — дядя, освободившись от меня, сунул руку в кішэню и сыпнул мне в горсти целую

жменю цукеркаў[157] у красных, сініх, жаўтых і зялёных паперках... А Магдаленцы другую жменю ў прыпол (подол). Никогда и ни от кого мы столь роскошного дара не получали. И сделано это было так просто, словно давалась пустяковая вещь, вроде бобов или подсолнухов.

Но — увы — недолгое время я чувствовал себя обладателем несметного богатства: оно было конфисковано расчетливой материнской предусмотрительностию:

— Давай сюды, — сказала мать. — Я схаваю: і заўтра будзе дзень!

О сладость обладания сокровищем! Я живо тебя помню, ибо едва ли я когда-либо чувствовал большую полноту в груди, захватывающую дыхание, когда получал какие бы то ни было дары.

Напрасная тревога: дети скорее скопидомы и скряги, нежели расточители. Они великолепно знают цену удовольствию длительного обладания и потому весьма расчетливы в расходовании таких благ, которые дают хотя и сладостные, но скоротечные ощущения. Это мы знали и потому были сдержанны, глубокомысленно убеждая себя: з'ясі і нічога ня будзе. И хотя «цукерэк» в непривычном к сладостям рту творит чудеса, давая восхитительные ощущения, но мы знали, что они скоропроходящи и потому были сдержанны.

Но важно чувствовать: хочу — проглочу, а хочу — нет.

Дядя меня очаровал, и моя любовь к нему была беспредельной. Я никогда не любил так отца, как дядю Ануфрия.

Конечно — не цукерками он меня пленил: тут было нечто большее, что я ныне назвал бы стихийным и интуитивно-обаятельным, основанным на единстве крови и сродстве душ, которые говорят сами собой и непосредственно. Может быть, по этому самому мы так сошлись во вкусах и влечениях по отношению к моей неудавшейся дядине Насце.

Ее сердечные дела были плоховаты, но не безнадежны.

Еще до приезда моего великолепного дядюшки стало известно от возвращавшихся из Рудобелки холопенцев, что у него там новая амантка завелась, Марыля Пігулешчынка, сестра его приятеля и товарища по панскому креденсу Гіппаліта Пігулёўскага. Дядька привез ее фотографическую

карточку (в то время чрезвычайная редкость, особенно среди лакейства и горничных) и показывал моему отцу. Тот дивился — какая она стала: «а я яшчо вот такую знаў!» (так — менее аршина высотой). Карточку с любопытством рассматривали все домашние и я, просунув голову к столу старался разглядеть эту диковинку: полнощекая паненка в пышном кринолине.

Я понимал, что это соперница моей любимой Насты, которую я великодушно и безраздельно готов был уступить еще более любимому дяде и потому отнесся к пышной паненцы враждебно. И помню, что вся семья была против этого нового увлечения, и осуждала этот поступок, и ее симпатии были всецело на стороне Насты, которая у нас подолгу живала, оставаясь без места, и на которую все смотрели, как на родную. Видимо, интимные отношения к ней дяди зашли далеко и никто не желал ее обиды. Даже мать моя, которая в первой молодости ревновала к ней отца и поэтому жестко поплатилась, была всецело на ее стороне.

Я не знаю — где и как состоялась первая встреча изменника с его возлюбленной, но помню один разговор, когда дядя сидел за столом неподвижно, как истукан, опустивши глаза, а Наста гневным голосом оскорбленной королевы в чем-то упрекала его, сверкая своими прекрасными очами. Не знаю — какими путями ей попала в руки карточка ненавистой соперницы: сама ли она нашла в вещах дяди или выдали домашние ей. Но я очень хорошо помню некоторое подобие мести злобной Медеи: она некоторое время пытливо смотрела на карточку, потом плюнула ей в лицо, и выхватив булавку из гарсэта, выколола ей глаза и, изорвав в клочки, бросила на пол к порогу. По-видимому все это имело символическое и, может быть, колдовское значение. Это была ревнивая и мстительная женщина, оскорбленная в своих чувствах, а не королева, и я не могу скрыть, что ее прекрасное лицо искажено ненавистью. Я нисколько не сожалел об этом злобном поругании далекой и неведомой мне «злой разлучницы», ибо мои симпатии было прочно завоеваны привычной, близкой и любимой, несмотря на вульгарное и грубейшее проявление злости. Я понимал это совсем иначе: так и надо.

Вполне вероятно, что она и не помышляла быть «злой разлучницей» и, возможно, что стала такою же жертвой моего великолепного дяди, как и прекрасная Наста, и также оставлена в далекой Рудобелке вздыхать и плакать, ища себе пары.

Я не знаю — каковы были интимные отношения дяди к Насте, — знаю только, что он был с нею весьма сдержан и холоден. Надо думать, что старые отношения, если они и были слишком интимными, не возобновились: это была система дяди, раз он решил не связывать своей судьбы женитьбой. Он был человек с характером и твердой выдержкой. Но она еще долго не теряла надежды стать его форменной женою. И эта надежда была у всех домашних.

Но дядя в семье держал себя так неприступно, пожалуй, надменно, что никто из домашних не знал его истинных намерений. Иногда он по целым дням молчал и даже на обращаемые к нему вопросы ничего не отвечал. Бабушка одна осмеливалась о чем-нибудь с ним говорить, иногда жаловалась на что-нибудь, иногда упрекала его в чем-нибудь, — он молчал или отвечал односложно. Из домашних одного отца моего он удостаивал продолжительными разговорами, рассказывал о виденном и слышанном; иногда передавал вычитанные в польских книжках любопытные повествования и анекдоты, которые я впоследствии находил в старинной русской заимствованной литературе; иногда передавал содержание читанных им романов с французского, передавал подробно и занимательно; я впоследствии встречал источники этих повествований у Ксавье де Монтепена, Габорио и Буагобея[158]. Остальные, т. е. женская половина, только при этом присутствовали: им разрешалось слушать и восхищаться, но они в расчет не принимались.

Теперь мне ясно, что это был домашний божок, который привык встречать поклонение и от матери, некогда грозной для дочерей, но не для него, единственного, и, разумеется, от сестер, которых он еще в детстве, будучи младшим, здорово обижал, особенно мою мать, как более уступчивую, которую он часто бивал, как говорила она, кулаченками в плечи и дергал за косы. Ему все прощалось и теперь, разумеется, был

невозможен серьезный критический подход к его великолепию и неприступной замкнутости высшего существа.

При таких условиях было бы безнадежно пытаться проникнуть в его внутреннею жизнь и разгадать его скрытые намерения.

Совсем иначе, чем к домашним, он относился к сторонним людям: с ними он был всегда приветлив и любезен. Хотя хата была густо населена, никогда не отказывал в ночлеге прихожим и старался их накормить и занять разговором, а в нужных [случаях] и дать совет. С приездом дяди по праздничным дням и по вечерам бабина хата всегда была полна народом: приходили и молодые и старые побеседовать, послушать человека бывалого и притом «пiсьменнаго»[159], книжки читающего и по-польски, и по-русски (он учился в панской школе польской грамоте, но в 60-х годах самостоятельно переучился по-русски читать и писать и любил читать книжки). Шли к нему, как и к бабушке, и к моему отцу, за советом и помощью в спорных или сложных делах, ибо он умел разбираться в них, отличать существенное от мелочей и унаследовал от бабушки дар говорить последовательно и убедительно и умел подойти к человеку с нужной или наиболее чувствительной и податливой стороны. Это искусство подхода не каждому дано: нужна психологическая догадливость и нужна методичность. Он вас долго, молча, выслушивал, иногда ставил вопросы, нащупывал почву, вникал в сущность дела и затем уже излагал свое мнение — коротко, веско и внушительно. Иногда он говорил долго, как бы стараясь внушить, втолковать, «заговорить» человека. Этого приема он держался с «тугоумными», вроде Гришки Парецкого.

Тут он приводил примеры из книг, «от писания», и из житейского опыта, и из басен Крылова и Хемницера (такая у него была книжка, где были представлены оба баснописца). Иногда тут же прочитывал из них подходящую басню. При такой вооруженности не трудно было достигнуть успеха!

Но редко он впадал в страстный, патетический тон, — разве что шел какой-нибудь сложный спор с моим отцом, органистом Броконом, Костиком Шалапевком, Яськом Старжинским и тому подобными важными противниками, когда

речь шла о вопросах высшего порядка, в которых никто путем не разбирался, тогда с обеих сторон пускалась в ход страст-ность.

Хорошим был бы дядька Ануфрый судьей и хорошим адвокатом.

Когда собиралась молодежь обоего пола, уже грамотная, поющая в церкви (это было высшее и, пожалуй, исключительное применение грамотности), он брал книжку с русскими песнями, романсами и куплетами и читал какие-нибудь шуточные куплеты, вроде «Благодарю, не ожидал!», стараясь втолковать малопонимающим — в чем тут соль.

Приходили к нему и за лекарствами от разных болезней, в которых никто, разумеется, не разбирался. У него была книжка: «Характеристика 30 важнейших гомеопатических средств» с соответственной аптечкой. Он выспрашивал, что болит, иногда заглазно, рылся в книжке, ища подходящей болезни и, по указаниям, давал лекарство — крупинки или капли, внутрь и на примочки. Наставления делал внушительно, как подобает заправному врачу. И это действовало: слава доктора и чудодейственной аптечки росла.

Хорошим был бы и доктором дядька Ануфрый!

Я помню, что в наибольшем ходу была «арника», видимо эссенция из растения того же имени. Ее давали и внутрь, и на примочки. Успех этой панацеи был так велик, что флакончик быстро истощался. Но дядя сам приготовлял ее, согласно наставлению, из цветов и корней, — не помню, вываркой или настойкой.

Самое лучшее в этом лечении, что оно было безвредным. Но дядя и его пациенты верили в его действенность.

Бабушка, хотя и не отрицала пользы книжных медикаментов, но продолжала лечить своими травами, корнями и мазями, следуя пословице: «Доктор з лекарствам, а Бог с помаччу», т. е. больше уповая на Божью помощь споспешествующую.

Надо сказать, что корыстного интереса тут не было никакого: все делалось бесплатно, по традиции семьи. Бабушка иногда принимала «почетный дар», но дядя Онуфрий счел бы это ниже своего достоинства.

То, что я здесь рассказал, совершалось не только в первый приезд Онуфрия, а вообще всегда, во все последующие его пребывания в Холопеничах, где он впоследствии живал подолгу, — на службе «у дварэ» и без службы, чередуя свои пребывания на родине с отходом в города на службу.

Из этого видно, что дядя не был молчаливым и угрюмым, нелюдимым, как это можно было подумать из его отношений к женской половине нашей семьи. Несомненно — это объяснялось, с одной стороны, преклонением пред домашним божком, что вздымает простого смертного на пьедестал, как статую какого-нибудь святого, а с другой — презрительным отношением к «бабам» — их речам, интересам и мнениям.

Этим сильно погрешил дядя Онуфрий: будучи сильным, с большим характером мужчиной, с преобладанием черт мужественности, мужским перевоплощением бабы Рузали, он слишком презрительно относился к женским слабостям, чувствительности женской натуры, склонности к слезам, преобладанию эмоций над умом и здравым смыслом и к тому, что у нас называют «забабонамі», т. е. к непроверенным опытом мнениям, непоследовательности в мышлении, к суевериям и предрассудкам. Впрочем, надо сказать, что с годами росло уважение к моей матери, с которой он, доверяя ее здравому смыслу, а еще больше — доброму сердцу, часто советовался в трудных случаях своей жизни.

После того восторженного поклонения дяде Ануфрэму с первых дней встречи, я, вырастая и развиваясь, имел много времени и случаев, чтобы присмотреться к нему и не по-детски, а более трезво разобраться в его натуре и оценить его. Я, уже будучи народным учителем, т. е. обладая знаниями, много выходящими за пределы Холопеничской обыденности, и умудренный сложным опытом моей предшествующей жизни, с ним встречался и живал подолгу вместе.

При этих условиях мои детские восхищения его личностью испарились, но я должен сказать, что это был человек далеко не заурядный, а в Холопеничах — по характеру и уму, обширному и разнообразному житейскому опыту — положительно выдающийся.

С раннего детства вышколенный в суровой панской школе, он развил наблюдательность и привык к сдержанности и полному обладанию своими чувствами. Он рано выработал некоторые руководящие принципы, своего рода жизненные максимы (в числе их, между прочим, он придавал большое значение известным «заповедям» Франклина[160], вычитав их в «Паульсоне», которым и мне рекомендовал следовать) и имел достаточную волю, чтобы им следовать или, по крайней мере, иметь пред глазами, как понимание.

Мне как-то он говорил, что он очень благодарен за полезный совет, который ему преподал Язэп Круглік, знаменитый войт 50-х и 60-х годов в Старом Борисове, огромном имении князя Леона Радзивилла, а впоследствии Николая Романова старшего и младшего. Этот умный мужичок в жалованном кафтане с галунами, привыкший вращаться среди первостепенных сильных и властных панов, так поучал дядю:

— Ты, мае дзеткі, маўчы! Заўсёды маўчы: лаюць цябе — маўчы, хвалюць цябе — маўчы, — і ўсё добра будзе.

Дядя в некоторых отношениях и следовал этому «молчалинскому» совету. Рекомендовал и мне следовать ему. Однажды, когда я уже был грамотным, он, подарив мне какую-то нравоучительную книжку, сделал на ней надпись: «Один мудрец говорил, что он никогда не жалел, когда молчал, но часто ему приходилось жалеть, что говорил, когда бы следовало молчать».

Увы! — не в коня корм: никогда я не умел молчать, и очень часто говорил, когда бы следовало молчать. И даже не жалею об этом, хотя иногда и тугонько приходилось за необузданность языка.

Но дядя в домашнем быту сосредоточенно молчал. Может быть, упражняясь в молчании, ибо иногда целый день ни слова не говорил и, полагаю, много думал, размышлял.

Бабу Рузалю сначала это беспокоило, но потом привыкла.

Мой отец и дядя прошли почти одинаковую школу, но характеры у них были разные. И, сравнивая их, я должен отдать предпочтение характеру дяди. Отец был слишком вспыльчив, горяч, часто выходил из себя, попадал впросак или в неловкое положение, — зарывался, брал на себя больше, чем

мог выполнить, и потому должен был иногда, раздумавши или под влиянием матери, отступать и быть непоследовательным или же, что называется, «на стену лезть», чтобы поставить на своем. В молодости горячка была. Дядя был более уравновешенный, рассудительный и последовательный. Потом, хотя их общий культурный уровень был почти одинаковым и оба питали одинаковую склонность к книжке — к занимательному или нравоучительному, а отец и к душеполезному чтению, но он, будучи неграмотным, этой потребности удовлетворял чрез посредство других, главным образом — чрез мое; тогда как дядя был в этом отношении независим. Это было его преимуществом, может быть, и завидным для отца, хотя бы он никогда в этом не сознался.

Как это ни странно, но как я себя помню, наша семья, почти сплошь неграмотная, была весьма «литературной» семьей: в ней любили книгу и чтение. И в ней читали многое такое, о чем и не помышляла так называемая местачковая интеллигенция.

Но об этом вопросе мне придется говорить отдельно.

А теперь возвратимся к приезду дяди.

Приезд, как оказалось, был вынужденным: волость не возобновляла паспорта, а без паспорта, известно, нельзя было жить. Человек становился игрушкой в руках ближайших властей — сельских и полицейских. Первое — что у вас спрашивал человек с медалью или бронзовой бляхой с орлом: покажи пачпорт! Можно было, от поры до времени, откупаться, но это было накладно. И в конечном счете вам грозил арест, руки к лопаткам, и доставка по этапу: от сотского до сотского, до станового к становому, вплоть до места приписки. В данном случае из Полтавщины в Борисовщину, в Холопеничи. И это — паничу, в пальто и пиджаке, со штанами навыпуск, при загарку и в чищенных ваксой ботинках!

Такие случаи бывали, и не раз бывали. Известно — к чему они вели: в пути человек постепенно переоблачался, меняя городское или панское платье, где-нибудь в городках или местечках, где оно могло найти спрос (мужикам и задаром не надо) на какую-нибудь рвань, й на разницу в цене в пути подкармливался к скудному казенному пайку и ублажал

конвоиров, ибо от них зависело, дать поблажку в пути или же вести — руки к лопаткам и на веревочке.

Являлся такой «паничек», из разных рангов бывшей дворни, конторщиков и проч., на родину в лаптях или босой, в рваном армячишке и шел, потупив голову, к старосте или в волость, а затем в избу к какой-нибудь бобылке, — его матери или тетке. Это называлось «обращением в первобытное состояние».

Такая перспектива могла предстоять и моему любезному дядюшке.

Предусмотрительно избегая ее, он сам явился в своем лучшем виде, который не мог не произвести разительного эффекта, особенно по сравнению с невзрачной бабиной хатой, сильно постаревшей и осунувшейся, где он родился и ползал на четвереньках, когда умирал его отец и когда хата еще была новенькой.

Трагедия этого сорта людей, выходцев из крестьянского быта в какие-нибудь подпанки или паняты, вроде конторщиков и прочее, — трагедия, висевшая над ними всю жизнь, как древний рок, тяготевшая, заключалась в том, что чем ты ни будь, чего ты ни приобрети, но ты, при малейшей неудаче, постоянно рисковал обратиться в первобытное состояние — «со всеми последствиями, из сего вытекающими». Короче говоря, — в противоречии между внутренним сознанием, экономическими формами жизни и юридическими правами личности.

Это противоречие наиболее развитыми людьми болезненно чувствовалось и вызывало внутренний, а иногда и внешний протест против такого унизительного бесправия. Конечно, это имело свое значение для внесения в крестьянскую массу зачатков революционных идей, ибо это противоречие явно бросалось в глаза и пробуждало политическую мысль в крестьянстве, толкая его в сторону признания необходимости прав, ограждающих личность и ее человеческое достоинство, тем более, что люди, попавшие в унизительное и почти бесправное положение, не молчали: они говорили, жаловались, разбирались, критиковали, и тем самым являлись, так сказать, самородными пропагандистами протеста, бунтарства

и в этом смысле были пионерами если не идей, то революционной настроенности. Их знание жизни и отношений в среде командующих классов давало им много выигрышного материала для живых и красочных иллюстраций своих положений.

Нередко этого сорта выходцы из среды деревенского пролетариата, побывавшие в городах и видавшие виды, являлись зачинщиками местных крестьянских движений, направленных главным образом против помещиков, т. е. вращавшихся в сфере поземельных отношений, которые в Беларуси были весьма сложными и запутанными. Достаточно упомянуть про наличие таких известных институтов в поземельных отношениях, как извечное чиншовое и сервитутное право[161], которое так мало принималось, а иногда и совсем не принималось в расчет мировыми посредниками «первого призыва» из местного полупольского дворянства и чиновничества, отводившими наделы далеко не к выгоде крестьян, иногда вопиюще несправедливо, так что после польского мятежа эту работу приходилось просматривать и улучшать (муравьевские перлюстрационные комиссии).

К приезду дяди Онуфрия это не имеет прямого отношения, но как общий фон крестьянской жизни при новых порядках не лишено значения.

Почему же, спрашивается, дяде не выдавали паспорта? По многим причинам. Первая и, может быть, самая действительная причина та, что выдача паспортов отходчикам составляла немаловажную доходную статью для волостного писаря и старшины, от которых это зависело. А также дела всего лучше обделывались, если налицо сам искатель этой бумажки, столь необходимой для жизни и заработков на стороне. Это общая причина. А вторая, которая официально и выдвигалась, в качестве законной, злосчастная недоимка в подушных платежах покойного деда Винцеся. Мы уже видели, что из-за нее перетряхали жалкие «манаткі» дзядзіны Юлькі. Ей это нанесло тяжкий удар, но недоимки не погасило. Притом она, как головы у мифической гидры, вырастала вновь и вновь впредь до новой ревизии, когда «мертвые души» исключались из подушного оклада. Жди ее, этой ревизии, когда-то еще она будет! А ежегодно пять рублей в податных книгах за

этой грешной душой нарастало. В силу круговой поруки эта недоимка тяготела и над обществом, а таких «мертвых душ» или безнадежных плательщиков с годами накапливалось все больше и больше. За это старшина наседал на старосту, мировой посредник и исправник пушили того и другого, и сажали старосту «в холодную» и в волости, и в уезде, ибо, когда привозили повинности в казначейство, тут же сдавался и отчет о состоянии платежей. Исправность в крестьянских платежах — выкупных и подушных — была лучшей служебной рекомендацией для исправника и мирового посредника. Потому понятно — как они усердствовали. В случае накопления недоимок, — гремел колокольчик и подкатывал к волости заседатель либо сам исправник или посредник, а иногда и сразу два каких-нибудь чина. Собирался одновременно и волостной сход и суд. Около волости народу собиралось тьма, мужики и бабы, в лаптях и сермягах: все это разбивалось на группы, говорило, взывало плакало, вопило... Шум и гомон стоял, як на кирмашы. Старосты в медалях, десятники и сотники, при бляхах и сам ключвойт были налицо, сновали в толпе, прислушивались, и наводили громкими криками порядок. А там — внутри волости шла ретивая работа по выколачиванию недоимок, «глотку драў» посредник, а особенно усердствовал исправник, который всегда выглядел грознее, к тому же у него были «палеты і шабля».

Неплательщиков вызывали поодиночке и группами — кричали, разносили, грозили... Упорных неплательщиков или тех, против которых староста, старшина или писарь «меў вока», т. е. косой взгляд, личные счеты, приговаривали к порке. Делалось это просто: посредник или исправник приказывали, старшина внушал (по закону не имел права бить на суде, но никто в это право не верил), а писарь в боковой каморке писал, судьи при сем присутствовали и подтверждали двадцать розог (это была ходовая порция), 25 розог — и больше не записывалось. Исполнение производилось тут же, при всем сходе в так называемой «сборне», спускай портки или стащат и ложись или положат; двое десятских на голову, а двое на ноги, каб ня дрыгаў нагамі і не варочаўся, а сек обыкновенно волостной сторож или кто-нибудь из любителей. Старшина

обязательно при этом находился, ибо он «приводил в исполнение» приговор или, вернее, распоряжение начальства, и в некоторых случаях говаривал: «прыбаў ад мяне яшчо дзесятку». На «прибавку» он не имел никакого права, но это никому и в голову не приходило. Особенно много секли в 60-х и 70-х годах, а потом это практиковалось реже и только по суду.

Столь печальная перспектива самым непосредственным образом грозила моему дядюшке, несмотря на то, что он лично был чист от всяких недоимок, и покойный Винцесь, как безнадельный ремесленник, никакими имущественными отношениями не был с ним связан и жил совершенно отдельно в деревне Гута. Но волостное начальство рассуждало так, что все же племянник и с него можно сорвать, если не недоимку, так хорошую взятку. А во взятках нуждались и старшина, и писарь Ваўчок, в то время главный воротила в волости; ведь и они должны были давать взятки начальству повыше, главным образом письмоводителю посредника, да, впрочем, и некоторые мировые посредники и впоследствии, пришедшие им на смену непрем[енно] члены присутствий по крестьянским делам, не брезгали взятками со старшин и волостных писарей, как например фон Брадке, который был в долгу, как в шелку, и занимал деньги сотнями и даже тысячами рублей у своих богатых старшин, как был Волосовичский старшина Скумса, которому он был должен свыше 1000 руб., и Богдановичский Степан Козыра, которому был должен 700 руб. Все это мы доподлинно знали, и так как долги были безнадежны, то старшины должны были возмещать свои потери другими способами, в которых посредник их не стеснял и покрывал. К чему это вело — мне придется еще говорить. А пока только скажу, что создавалось такое положение в волостях, которое было ничуть не лучше отошедшего неприкрытого крепостничества. Многие считали, что стало еще хуже. Поборы и порка свирепствовали; старшины, писари и старосты издевались над народом не меньше комиссаров, экономов и войтов. Еще обиднее было чувствовать, что это не чужой, а свой брат, тот же мужик.

Старшина мнил себя заступившим место пана. Нацепившим медаль — с какой напыщенной важностию они себя

держали. Ходили на этот счет разные шутливые побасенки, вроде того, как старшина «казнил» мужика, обругавшего пана:

— Што ж ты сабе тэта думаеш? Да чаго тэта дойдзе! Сягоньня гэтак ты пана аблаяў, а заўтра і мяне абругаеш! (Этот маленький штришок из уст народа достаточно метко обрисовывает положение, смену позиций: старшина был власть и потому выше пана.)

В таких условиях приходилось дяде Онуфрию выправлять себе паспорт. Ему сразу сказали в волости: «Заплаці Вінцэсеву нядоімку, тагды палучыш пачпарт, а не заплаціш, дык палучыш у скуру. Не паглядзім, што ты панічок!»

Долго эта процедура с выправкой длилась, около полугода. Дядю не раз вызывали на сход, грозили поркой, отдачей в наем на принудительные работы, издевались... Когда его вызывали на сход — шла туда баба Рузаля, тетка Мариля и все наши. Придя, рассказывали, как над ним там «здзекаваліся»[162] и старшина, богатый мужик из Масееўшчыны, чрез которого много слез пролилось, и пісар Ваўчок, и староста Яким Скалубович, «каб ім на гэтым свеці дабра ня было, і на том ні дна, ні пакрышкі!»

— Асабліва злобіўся стараста Якімка! Каб яшчо хто другій, а то мужык, той, гад... — так рассказывала баба Рузаля. — Падскаківае к Ануфраму, у загрудкі хватае і трасе, і сам ня ведае, што рабіць... Вот так бы і з’еў жыўцом.

— Віш ты, — кажэ, — панічок зрабіўся! Штаны навыпуск і камізэльку надзеў, дык думаеш і бальшый пан! Такія паны — па семіра ў штаны! Вось як спусьцім тваі штонікі, да ўсыпім гарачынькіх, — дык пазнаіш панства...

Много в этом роде с негодованием передавалось в отсутствие дяди. А он после таких издевательств сидел бледный, со стиснутыми зубами и сжатыми губами и молчал.

Я все это слушал, сидя на лежаке, недоумевал, стараясь осмыслить происходящее, — недоумевал и до боли на сердце страдал.

— Как это могло быть, чтобы кто там моего такого важного дядю мог «трасьці ў загрудкі?»

Однажды дядя, долго сидевший молча, понурив голову, вдруг вскочил, со сжатыми кулаками, и с криком: «Я ж ім

пакажу!» — опрометью бросился за дверь. Я, чувствуя что-то недоброе, кубарем, слетел с лежанки и в один миг очутился на дворе и, схватив дядю за ноги, стал вопить: «А дзядзічка, а родненькі!» — и больше ничего.

Он остановился, стал меня ласкать и успокаивать: «Цішы, дурачок, ня бойся», — и вернулся в избу. Значит отошел.

Долго искали выхода из положения. Благоразумные люди, вроде каваля Адвардыка, советовали: дай дзесятку пісару і пяцёрку старшыне — і кончына дзела. А можа і на дваіх дзесяткай абойдзецца... Это, конечно, было самое простое, но дядя возражал: «Трасцу я ім дам. За што я буду даваць?»

Я не знаю — какие ресурсы были у дяди, но если не было своих денег, то такую сумму он всегда мог раздобыть займом, хотя бы у богатого родича Грышкі Парэцкага. Но видимо — здесь был вопрос принципа и расчета: паспорт нужно менять ежегодно, недоимка будет тяготеть без конца и стало быть ежегодно надо будет платить эту дань.

Поэтому дядя решил искать правды повыше и надумал ехать с прошением к мировому посреднику в местечко Зембино; это верст 60, если не больше.

Долго дядя писал прошение и переписывал, а мы все волновались, ибо для нас это было нечто вроде колдовского обряда: как бы не помешать и не испортить дела. Дня три-четыре длилась поездка, и мы все волновались, особенно баба Рузаля, которая шчыра малілась утром и вечером и гадала на картах: як яно там выйдзе. Каббалы[163] сулили успех.

Наконец, — дядя приехал — веселый и радостный: каббалы правду предвещали.

Рассказам не было конца, ибо сначала в семейном кругу было рассказано, а потом соседям и всем интересовавшимся, а таких было немало, ибо эта история тянулась долго и этот случай был интересен тем, что имел показательное значение: можно ли правду найти, не поддаваясь низам и идя выше, по инстанциям.

Оказалось, что посредник, выслушав всю историю, был возмущен, говорил то-то и то-то, что это мошенники и взяточники и разные другие хорошие слова, и написал грозный

приказ: выдать паспорт без задержки. Ура! Наша взяла! То-то я радовался! И баба Рузаля, и тетка Мариля — тоже, и мать моя — тоже... Словом — радость была всеобщей.

Что значит — смелый почин! Может быть, первый в этом роде.

На следующий день дядька Онуфрий отправился в волость, торжествующий, с грозной бумагой в руках.

Пісар Ваўчок — як прачытаў, так і збляднеў. И заговорил другим тоном.

— Вот вы образованный человек, а поступили, совсем как необразованный. Зачем было жаловаться? Так образованные люди не поступают...

Паспорт был выдан немедленно. И об этом случае долго говорили в Холопеничах, як Ануфрый Рузалін у гразь утаптаў і пісара, і старшыну.

Это энергичное сравнение значило — в распре вышел победителем. Дело, конечно, было возмутительное, и посреднику не нужно было обладать особой доблестью, чтобы распорядиться выдачей паспорта. Но баба Рузаля долго его добром поминала и молилась, каб Бог яму даў добрага здароўя і чаго ён ат Бога хочыць.

Получив паспорт, дядя уехал в Минск службы искать.

Найдя службу у некоего пана Залэнского, он уехал с ним в Житомир, т. е. опять за тридевять земель. Опять вздыхай баба Рузаля и жди редких писем, а еще реже с трешником или пятеркой в них.

Письма эти бережно хранились и от поры до поры, при наличии грамотника, перечитывались, и каждый раз в них находили что-нибудь новое, ибо каждый раз грамотники, перевирая, читали по-разному. Наконец, письма основательно затверживались, и я, например, их мог бы передавать на память.

Много и горько я плакал, расставаясь с дядей Онуфрием, не меньше, чем баба Рузаля, но это было последнее, столь горестное, расставание: в дальнейшем мы часто прощались, но с годами я становился более сдержан и менее исключителен.

Плакала и Наста, прощалась со своею ранней любовью и, может быть, чувствовала, что она прощается и со своими надеждами на брак с ним.

Вскоре она уехала на службу в горничных, ни то охмистрыней, т. е. ключницей в имении Свяду, где-то в районе Докшиц, но скрыня ее все еще оставалась в бабиной хате, и она была столь обширна, что мне нередко на ней постель стлали.

Хозяйка скрыни еще некоторое время надеялась и поджидала: авось, вернется Ануфрутка, но вскоре получились несомненные известия, что у него там в Житомире другая завелась любовь, собственно, третья по счету й что дело зашло слишком далеко, так что ждать было явно безнадежно.

А годы уходили, ей уже было за тридцать, хотя она все еще выглядела красавицей, только более зрелой и величавой.

Возвратясь из Свяды и узнав про печальные предзнаменования на счет своих надежд, она решила выйти замуж за лакейчика в нашем дворе, парня из котюховских крестьян, недурного собой, спокойного, рассудительного, непритязательного и много моложе ее самой.

Трудно сказать — что на него более действовало: представительный ли вид Насты или ее объемистый сундук. Надо думать-то и другое вместе. Сам он был беден, ходил в нагольном тулупчике, такой скромный. Звали его Степан с фамилией самой вульгарной: Парцянка, по-нашему тряпка. Надо сказать, что, выйдя в люди, он, как и многие белорусы с неказистыми прозвищами, переделал ее на русский лад и стал зваться и писаться: Порцянкин. Федот да не тот: звучит много внушительнее.

Свадьба была в Холопеничах, у брата невесты Мацея Новика, мы были званы, и я был на свадьбе любви своего детства, которая с годами успела остынуть, может быть, вместе с любовью моего дяди. Свадьба была короткая, без обычного у нас ритуала, может быть, из боязни, чтобы не сделать невесте конфуза. По некоторым соображениям принимая в расчет зрелые годы невесты, дошлые бабы, чтобы обеспечить рождение детей, посоветовали невесте, идя к венцу, положить за пазуху разомкнутый замок. Символически оно значило: разомкнуть чрево для деторождения. Говорят — это помогает, надо думать в некоторых случаях: на сей раз не помогло.

Но во всем остальном была удача. Сразу они получили выгодное место у холостяка Ергольского в Борисове, уездного

предводителя дворянства. Служили несколько лет, имея хороший доход от карточных столов, которые частенько собирали гостей, и от всего прочего. В то же время практичная Наста настояла, чтобы Стафан научился грамоте, а главное, счету, сметив, что без этого в люди не выйдешь. Прошло годиков этак пять-шесть, и наша пара нажилась изрядно. К тому же их барин поручил им прикрывать свой грех — взять на воспитание и выдать за своего сынишку, рожденного молоденькой мещаночкой, разумеется, платил за эту услугу. Таким образом, форменный хорошенький, но незаконный Ергольский сделался законным Порцянкой, или Порцянкиным. Много их таких гуляет по свету и еще почище Ергольских, в той же Борисовщине. Язэп Круглік из Старого Борисова, войт, о котором я уже упоминал, немало пикантных вещей в этом роде мог бы рассказать, но он придерживался тактики молчания.

А самое главное, когда прошла Московско-Брестская дорога (это в начале 70-х годов), Ергольский помог своим слугам снять Борисовский буфет. Тут дела нашей пары шибко пошли в гору. Тут уже нашего Стафана Парцянку и ручкой не достать: раздобрел и словно бы вырос, вид внушительный, говорил повелительно и больше в нос, — высоко подымал голову и, поводя ею из стороны в сторону, окидывал и буфетную стойку, и столовую зорким хозяйским взглядом. Он уж не слуга, ибо имеет своих слуг: поваров, лакеев, судомоек. Он уж и с хорошими людьми знается, многие по столовой в долгу у него, он и в преферанс с хорошими людьми играет; и в городе ему кредит и почет; и своим землякам может оказывать немаловажные услуги у Ергольского, у Фонбрадкина (тоже переделка на русский лад), уездных властителей и в разных уездных канцеляриях, где ему всюду ход — и почет, и привет.

А Наста? Наста долго не старела, только с годами становилась все вальяжнее. Сидела за буфетом в кружевных воротничках, с увесистыми серьгами и ушах и сверкала перстнями, подавая проезжим бутерброды и пирожки. Буфетным делом они долго занимались. Из Борисова в Красное под Смоленск перешли; надо быть, немалую деньгу нажили, и там, надо быть, и конец нашли. Брак вышел — как нельзя более — счастливым.

Надо прибавить, что мой отец и дядя Онуфрий всегда были в наилучших отношениях с этой парой: видимо, Порцянка был не ревнив и не интересовался старым романом своей жены. А дядя? Переживши ряд других увлечений, видимо, давно уже относился безразлично к своей ранней привязанности.

Что касается меня, то меня всегда чаровал голос тетки Насты, — я его и сейчас слышу — это звучное, красивое контральто, столь редкое у белорусских женщин. У нее была великолепная сценическая внешность, и я уверен, что из нее могла бы выйти выдающаяся певица, которая также чаровала бы публику со сцены, как в детстве чаровала меня, держа на коленях.

Но оставим эту счастливую пару приспособившихся.

Мне еще многое надо рассказать из периода нашей совместной жизни в бабиной хате, пока налаживалось наше новое обзаведение, сильно расстроенное бобруйской авантюрой отца, в его стремлении тоже приспособиться, выйти на самостоятельную дорогу и создать независимое от новых панов положение.

Особый интерес представляла бабина хата в длинные зимние вечера. Общая картина такая: посредине стоит светоч, искусно приспособленный к держанию двух лучинок. Это был деревянный штатив, водруженный в крестообразный постамент с железными вилочками сверху, в которые и вставлялись лучинки наклонно, чтобы пламя перебегало снизу вверх. Когда одна лучинка в два аршина длиной догорала, зажигалась и вставлялась другая. За этим кто-нибудь должен был следить и лучинку поправлять, обламывая нагоревший уголь, который либо сам падал, либо его бросали в корытце с водой. Кто с работой — теснились к свету, сидя на «тапчанах», т. е. широких скамейках с одной доской или «услонах», — скамейках из полубревна, или «зэдлiках» — коротеньких скамейках вроде табуретки, но более узких и попроще. Теперь все эти услоны и зедлики вышли из употребления.

Бабушка большею частию вязала чулок или рукавицы — доходная статья; тетка Мариля пряла, что всего удобнее делать при скудном освещении, а иногда, впрочем, и тетка,

и матушка как-то умудрялись шить новое и чинить, главным образом штопать старое. Преполезная работа: при ней белье и платье два-три века живет. Особенно страдали у меня холщовые штанишки из грубого «изгребного» холста, которым, казалось бы, не должно быть износу, но они быстро протирались в коленях, а также сорочки, более тонкие, которые протирались в локтях.

Осматривая на свет уже выстиранное белье, матушка удивленно говаривала:

— На гэтаго хлопца (т. е. на меня) не набярэсься ні адзеньня, ні бялізны... Хоць ты яму зялезнае пашый, дык і то ён парвець. Ці даўно гэтые штанішкі пашыла, а ўжо, глядзі, каленкі працёр.

Диво ли протереть, лазая по деревьям или ползая по земле! А лазал я, как обезьяна, на всякое дерево, бывало, взберусь, охватывая ствол руками и ногами, и поднимаясь главным образом при помощи ног. Тут-то штанишкам и доставалось!

У крестьян-хлеборобов мужики вечерами плетут лапти, крутцы вертят и тому подобной ручной работой занимаются, а у бобылей или безнадельных крестьян зимние вечера уходят на беседу. И в бабиной хате почти всегда вечером «чужнікі» были, приходившие за советом или просто «пабалакаць». Особой выводной для дыма трубы, как бывает в курных избах, у нас не было. Поэтому голубой дым от лучины густо расстилался у потолка и спускался к низу до половины, облекая все и всех голубоватой дымкой. Никого это особенно не беспокоило: глаза с детства привыкали к дыму. Если уж он был очень густой и если не было большого мороза на дворе, тогда открывали заслонку в «комін» — печную трубу.

Мы с Магдаленкой обычно вечерами сидели на лежанке, прислонясь спиною к теплой печи. Развлекались мы игрой теней на стенах. Любопытно, как они то увеличивались, то уменьшались, в зависимости от приближения или удаления, повторяя каждое движение бывших в избе.

— Глядзі-тка, які нос бальшый у бабулькі! — говорил я Магдаленке, подловив момент, когда бабушка поворачивалась в профиль к лучине: тогда ее греческий нос резко очерчивался на стене, принимая внушительные, иногда огромные размеры.

Сначала эти тени, суетливо или грозно двигавшиеся по стене, машущие руками, сгибающиеся и разгибающиеся, меня пугали, но это в раннем детстве: потом я перестал их бояться, но всегда развлекался игрой и чужих, и своей собственной тени. Белорусы считают тень чем-то вроде отражения души, как бы двойником человека. Я был не чужд этому душеверческому воззрению, или, вернее, чувству двойственности и связности, но от страха этой тайны скоро освободился. А любопытно было созерцать картины в этом домашнем кино.

Для разнообразия я иногда хватал лучинный уголек, еще светящийся, или огарок и, махая им в разные стороны, производил эффектное зрелище красно-огненной ленты, которая так чудесно ласкала глаз. Это доставляло удовольствие и мне, и Магдаленке, которая вскоре, преодолев трусость, и сама производила этот даровый фейерверк. Но она всегда пугалась и начинала плакать, когда я, научившись от старших, брал уголек в зубы и, раздувая дыханием огонь, изображал из себя огнедышащее чудовище: это ее приводило в трепет, как, впрочем, и меня, пока я не понял этой хитрой механики.

Так обыкновенно озорники пугают ребят, подходя к окну с угольком во рту, иногда в бумажной маске, с крупными зубами, — получается действительно страшное зрелище. Веселенький домашний божок Агни, по-нашему Жижа (жыжа-кусь, говорят, пугая детей), такой ласковый и гостеприимный, но недотрога, не позволяющий безнаказанно к себе прикасаться и шипящий, негодуя, когда на него плюнешь (ня плюй — вогнік прыкінетца! — это струпья на лице), — сколько он доставлял нам развлечений, таких радостей в длинные зимние вечера! Какая игра цветов, какое разнообразие форм пламени, ползущего, потрескивая и брызжа искрами, снизу вверх! Особенно нас радовали маленькие заостренные язычки, которые по временам с шипеньем выныряли и, как резвые шалуны, с легким треском выпускали тонкую струйку голубого дыма, которая, крутясь, постепенно расширялась кверху. Мы их выжидали и присваивали: «Гэта мой! А цяпер мой! Мой лепшый!»

Не диво, что «лучина-лучинушка», как привычный образ, так часто фигурирует в народных песнях. Сколько радостей, веселых пирушек, и сколько горестей, — плача,

стона, болезней, смертей — она освещала! Какое сравнение со свечой, лампой или электрическим светом! Тут все чисто, размеренно, ясно! Нет слезящихся глаз и глазных болезней, преждевременной слепоты, которая так обычна в старые годы. Но у лучины есть одно незаменимое преимущество: она живая, изменчивая, более интимная, так как глубже срослась с человеческим чувством в бесконечном ряде поколений.

«Лучина-лучинушка» находила живой отклик в бесчисленных сердцах (на меня, например, эта песня действовала неотразимо), но трудно опоэтизировать лампочку накаливания или дуговой фонарь. В чем тут дело? Думаю, в том, что пока они не срослись с нашим духом и потому не находят в нем привычных воспоминаний, связанных с ними представлений и, стало быть, сочувственного отклика. Может быть, и начало таинственности тут имеет свое значение: одно дело добывать «живой» огонь путем трения палки о палку или даже вздувать его из угольков, переводя на лучину, а другое — получать его путем сложных машинных приспособлений; там все таинственно, а тут все механизировано, нормировано и ясно, как день. Таинственное где-то там, в глубине, до которой и не доберешься: строение атома, электроны и ионы, теория квантов... все формулы и формулы, на которых никто не пытался построить песню, ибо они говорят только холодному, — расчленяющему и расчисляющему — уму, но не сердцу, которое любит живое — трепетное и переливчатое — и главное — чувствующее, отзывчивое и умолимое.

Но возвратимся к дымной лучине. Если в доме не было «чужніка», мы обыкновенно приставали к бабе Рузале с просьбой рассказать сказку. Как-то незаметно мы втянулись в эти сказочные интересы.

Начиналось обыкновенно с очень простеньких, вроде «Сарока-варона кашку варыла, на прыпечку студзіла»; вроде драматизированной в диалог: «Ласачка! Гдзе была? — У прудзі! — Што рабіла? — Крупы драла! — Што зарабіла? — Кусок сала...» и так далее; вроде бессмертной и может быть мировой: «Жыў дзед і баба, у ніх курачка раба» и прочее всем известное.

Это ласкало слух ритмической размеренностью речи и прелестью неожиданного выныряния рифмы, которая так восхищает чуткий детский слух, придавая искусному словесному построению четкость законченных музыкальных тактов, и, что самое важное, будит воображение, давая ему посильный материал для его построений.

Пассивность восприятия сказочных ситуаций и перипетий, чем далее, то тем более осложняющихся и заманчивых своей ожидаемой развязкой, сопровождается активной внутренней работой фантазии, которая должна переработать все воспринимаемое, представив его в образах и действиях, положениях и отношениях, то реальных, то фантастических, смотря по большей или меньшей близости и доступности лиц и положений детскому пониманию. Образы и положения, выходящие за пределы детского кругозора, представляются, конечно, в формах, далеких от замысла сказочника,— но что за беда? — будят воображение, подстегивают его и заставляют работать над реализацией в представлении того материала, который выплывает по мере развития рассказа. Внутренняя работа идет напряженно, действующие лица так или иначе представляются, иксы, игреки и зеты так или иначе облекаются в плоть — пусть далекую от действительности или замыслов художника (опыт и наблюдение их впоследствии исправят и дополнят); дело не в этом несовершенстве внутренней строительной работы, а в побудительных толчках к ее производству, в пробуждении строительной активности, в осмыслении положений, в увлекательных переходах из одного положения в другое, в драматизме положений, в их развитии, цепляющемся одно за другое, в том, что древние называли перипетией, в сочувственном переживании всех тягостных и запутанных переходов, и главное — в благополучном их исходе, — развязке, в которой добродетель торжествует, а порок наказуется.

Это лишь очень важно: это примиряет с миром, с жизнью и ее порядками. Все хорошо, что хорошо кончается. Это развивает бодрость духа и укрепляет его для дальнейшей житейской борьбы с препятствиями и вышвыривает за дверь всякое пессимистическое настроение. А это залог успеха в борьбе.

Дарвин в своей автобиографии говорит, что он для умственного отдыха с удовольствием читает всякие повести и романы и не взыскателен относительно их художественного совершенства, но он требовал от повествования хорошего конца, т. е. благополучного исхода и даже говорил, что если бы он был законодателем, то он запретил бы издавать повести с трагическим концом.

Я так далеко не иду и мирюсь с повестями с трагическим или печальным исходом. Но я мирюсь потому, что всегда представляю дело так, что гибель героев в борьбе — это еще не конец; что мировая жизнь должна иметь свои коррективы, свои поправки и восстановления нарушенного равновесия, как результатов безумия, злобы и попранной справедливости, ибо иначе жизнь была бы бессмысленной, а это недопустимо ввиду наличия в нас самих смысла. А стало быть, в конечном счете никто ничего не потеряет.

Может быть, эта оптимистическая философия с соответствующим ей настроением возникла и развивалась на почве бабушкиных сказок с примиряющим исходом.

Да будут благословенны длиные зимние вечера в бабиной хате, при свете дымной лучины и скользящих по стенам причудливых тенях, — вечера, в которые без конца лились чарующие «бабіны казкі».

Как многочисленен и разнообразен был ее сказочный репертуар! Он исчислялся сотнями. Исследователь фольклора нашел бы в нем сходные сюжеты, и в разных сюжетах — сходные ситуации, повторение одних и тех же мотивов, одни и те же художественные приемы, те же условные формы выражения, — все это так, но это нисколько не портило их прелести; напротив — только содействовало их очарованию: на знакомых положениях напряженное внимание только отдыхало.

Сидит бабушка на зедлику и вяжет свой чулок. А мы двое, Магдаленка и я, сидим на лежанке, часто Юзик третий, иногда Камиля, иногда — в большие праздники, кто-нибудь из соседних детей, пришедших специально слушать сказки, сидим на обширной лежанке, на высоте, как на эстраде, и напряженно слушаем.

Бабушка чудесная была рассказчица. Говорила ровным и размеренным голосом, иногда ритмически и певуче, иногда приостанавливаясь, иногда повторяясь, иногда варьируя уже знакомые нам положения, что придавало им прелесть новизны. Для всякой сказки был у нее особый тон: для бытовых — ровный разговорный, как о чем-то обыденном и самом обыкновенном, тон реалистически убедительный, как бы ни были фантастичны деяния; для шуточных сказок — веселый и игривый, с лукавой улыбкой на губах и смеющимися морщинками в прищуренных глазах; для легенд — величавый и торжественно-певучий, с ритмически-размеренным построением повествования.

В местах патетических или трагических, она, как искусный актер, соответственно меняла и настраивала голос, придавая ему особую чувствительную окраску или драматическую глубину и выразительность.

В таких местах Магдаленка, по чувствительности женского сердечка, начинала тихонько всхлипывать, и вдруг разражалась плачем, но мы все дружно принимались ее утешать: не плач, дурная,— гэта ж толькі казка! Иногда мы напрасно ее убеждали, что все кончится по-хорошему, — она была безутешная и, чтобы не портить музыки, ложилась спать, тут же, на лежанке, свернувшись калачиком. В таких патетических местах я силился выдержать характер, но так как сердце и у меня было достаточно нежным, то насилу удерживался.

Эта история повторялась и в последующих поколениях: когда я рассказывал своей внучке Аришке[164] про Петушка и Котика, которые построили в лесу избушку; Кот ходил на промысел, а Лиса манила глупенького Петушка разными соблазнительными вещами и, когда он выглядывал в окошко, хватала его и уносила, то я никогда не мог досказать сказки до конца: лишь только затяну: «Несет меня Лиса, за темные леса», как моя Аришка не выдерживала, разражалась плачем и просила перестать, даже не ожидая счастливого освобождения Петушка:

— Перестань, — говорила она, — я больше не могу: мне жаль Петушка.

Ясно, что для нее дело было не в счастливом исходе, а в самом положении, которое для ее жалостливого сердечка было невыносимым и не должно было случаться. А если в жизни такие тягостные переживания и случаются, то она не хочет этого знать, чтобы не подвергать испытанию свою чувствительность.

Хотя репертуар бабушки был многочисленным и нам казался неисчерпаемым, но мы не особенно гонялись за новизной: у нас были свои любимые и мы тогда давали определенное заданье: скажи, бабулька, такую-то: про Сам-Скоктя или «Што ў домі невядомо» и т. д., иногда мы расходились в выборе: я хочу ту, а я хочу ту, но на чем-нибудь мирились. И старая сказка слушалась с неослабным интересом. Очевидно, не только требовалась новизна сюжета и его развития, новизна коллизий, но очевидно, главная прелесть заключалась в самой манере повествования и, может быть, удовольствие заключалось в самом ослаблении внимания, в ослаблении остроты переживаний, в легких переходах от известного к известному, в прелести неизбежных вариантов и в уверенности, что все кончится благополучно. В таких случаях Магдаленка очень скоро засыпала, да и я настраивался на сонливый лад.

В этом, очевидно, была своя прелесть, как в монотонном чтении на сон грядущий.

Не одни ребята собирались слушать сказки: взрослые их также охотно слушали, особенно новые для них, но и в старых, им известных, они ценили манеру рассказчика или особенности его обработки данного сюжета, ибо одна и та же сказка в разных устах производит совершенно различное впечатление.

Особенно много взрослых приходило слушать сказки на Рождество, в двухнедельник «святых вечеров».

Это старинный обычай посвящать эти вечера назидательным и душеполезным повествованиям.

Тут бабушка принималась за легенды, которых у нее был изрядный запас. Говорила она их в особом торжественном тоне, с ритмическим построением, которое, не знаю, было ли традиционным или ее личной особенностью. Каждая легенда решала какой-нибудь религиозный или жизненный вопрос,

«давала прыклад» — пример, образец для подражания, а в общем это были народные проповеди, конечно, более действенные и убедительные, чем малопонятное витийство церковных проповедников, которых слушают больше в качестве благочестивого упражнения, понимая пятое через десятое.

Легенды — не сказки, в которых может не быть ни одного слова правды. От сказки правды не требуется: она должна быть занимательной или остроумной. Чудесный характер для нее только средство создать занятное или трагическое положение и найти из него выход. Другое дело легенда: чудесное в ней элемент естественный. Там, где действует Бог, его святые или ангелы, т. е. существа сверхъестественные, все их действия по своей природе представляются естественными, т. е. для них возможными.

Поэтому к легенде совсем другое отношение, чем к сказке: не только ценится ее поучительный элемент, но многие чудесное в легенде принимают за правду: дескать, — все это было в веках давно минувших. Для других — жизненная правда, заключенная в легенде, освещает и оправдывает ее чудесный элемент.

Частенько бабушку в качестве сказочницы заменяла мать. Она знала почти все бабушкины сказки и рассказывала их хорошо, т. е. нам, детям, сказки в ее изложении нравились, но ей было далеко до художественного таланта бабушки.

Тетка Мариля, конечно, тоже знала многие сказки бабушки, но я не помню, чтобы она нам их рассказывала.

Дядя Онуфрий хороший был рассказчик, — но он к нам, детям, не снисходил: он передавал взрослым нечто вроде новелл Декамерона, вычитанных из польских книжек, повествование о пане Твардовском[165] и содержание разных повестей и романов, которые ему случалось читать на польском языке.

Словом, сказка у нас процветала и стала привычной порцией развлечения для нас, детей. Мы чуть не каждый вечер требовали своего.

Взрослые, по-видимому, эти требования считали делом совершенно естественным, и по возможности удовлетворяли нашим эстетическим и умственным запросам. Я лично сказочной атмосфере, укоренившейся в бабиной хате, придаю

большое образовательное значение: это была моя первая школа, пробуждавшая дремлющие чувства и фантазию, развивавшая мою пытливость и сообщавшая мне в доступной и завлекательной форме немало житейских сведений и нравственных понятий.

Не знаю, сознательно или бессознательно и случайно (скорее — сознательно), но выбор сказочного материала, его постепенность, соответствие возрасту и степени понимания, вполне удовлетворяли строгим педагогическим требованиям.

Сначала нас держали на «животном эпосе». Это обширный отдел в бабушкином репертуаре, и я впоследствии в своих учебных книжках и даже в сборниках, вроде Афанасьевских, не встречал ничего нового по этой части.

Медведей, больших и маленьких, я в раннем детстве видел: их держали на панском дворе и даже маленький Мишка, настойчиво топивший сестру свою Кулинку в пруде и утопивший ее в колодце, погнался за мной и, нагнав, сшиб с ног и затем, насевши на меня, стал здорово тузить своими кулачонками, грозно что-то бормоча по-своему, пока на мой неистовый крик не сбежались люди и меня отняли. Медведей же водили и скоморохи, так о медведях я имел реальное представление, зайцев тоже видел, но лисицу и волка — этих обычных героев сказочного эпоса, я не видел в детстве, но почему-то я их довольно правильно себе представлял. По-видимому, уподобления собаке помогали выработке представления. Во всяком случае — проделки лисицы были занятны, и ее грубовато-комические выдумки и выходки возбуждали своей неожиданностию дружный смех.

Нарочито комических сказок у бабушки тоже был изрядный запас. Были сказки типа «не любо — не слушай, а врать не мешай» или рассказов барона Мюнхаузена, которые так искусно были скомпонованы, что чем далее, тем положения были комичнее, неожиданнее и невероятнее, что смех шел все в гору и доходил до боли в боках и в животе. Этого рода сказки в зрелом возрасте я передал русским мужикам где-нибудь в деревнях или в лесных теплушках вечерами, во время своих служебных поездок, и эффект был тот же. [...]

Помимо этого типа сказок, состоящих из сплетения разных неожиданных несообразностей, рассчитанных на беспредметный смех, были комические сказки, так сказать, классового или национального характера. В первых высмеивались церковный клир — поп, дьякон, дьяк — или же пан; иногда они поочередно попадали в комическое положение; в сказках второй категории в качестве комических персонажей фигурировал немец, еврей (по-белорусски жид) и цыган; они обычно попадали впросак или в свои собственные сети, хитро расставленные для мужика. Надо сказать, что комизм и юмор этого рода сказок, часто грубоватый, но беззлобный и совершенно лишенный чувства национальной вражды или ненависти. Мужику часто приходилось запутываться в сетях этого сорта своих более дошлых соседей и он им мстил тем, что высмеивал их в сказках. Почти то же надо сказать и о героях сказок первой категории; поп и пан обычно оставались в дураках, а мужик торжествовал. В жизни бывало как раз наоборот, и мужик искал сомнительного самоудовлетворения в сказках.

Особенно обширен был у бабушки отдел сказок легендарных и, может быть, это были лучшие сказки. Многие из них были весьма трогательны и исполнены живого религиозного чувства. Но представления о божестве были просты и удивительно наивны, а святые (обычно св. Юрий и св. Микола) представлялись нередко в положениях весьма комичных, особенно святой Микола. По одной сказке-легенде, он, отличаясь чрезмерным любопытством, подбежал однажды под окно в баньку посмотреть — что там делается. А там маладзіца дзіця раджала, а бабка пупарэзніца ёй памагала. Заметив неприличного соглядателя, который мог сглазить парадзіху, бабка схватила камень с печки и с криком и проклятиями шибанула им в окно, и разбила лоб св. Миколе, и разбила до крови. Напрасно он стонал и «енчыў» (стенал) перед Богом, жалуясь на обиду: Бог сказал, что он поделом наказан за свое непозволительное любопытство. А святый Юрий смеялся, за бока хватаясь, над посрамленным соперником, что делало обиду нестерпимой. Это игривая завязка, а затем легенда передаст целый ряд мстительных действий Миколы по отношению к новорожденному, ни в чем, разумеется, неповинному. Святый

Юрий ему, чем мог, помогал, а св. Микола мстительно все расстраивал. И так шла жизнь новорожденного, вперемежку — удачи с неудачами. Пока Бог, по жалобам бедного человека на бедствия и неудачи, не вмешался в это дело, посоветовав ему справить Микольщину. А я-де со своими святыми приду к тебе в гости. Мужик справил «гучную» Микольщину, запросив всех соседей. И во время пира перенял на улице Господа Бога с его святыми, которые устали в пути и изголодались. Усадив их на куте, мужик принялся угощать их с просьбами и «прымусам» (принуждением), а гостям петь по обычаю микольские Хвалебные песни, св. Миколу ублажать. Микола, польщенный и «улагодніны», не зная — кто его угощает и ублажает, стал у Бога просить ему милостей. Тут Бог и поймал его на слове, сказав: амінь, нехай будзець. Потом только шутливо спросил: ці знаеш ты, за каго ты просіш? Гэта ж той чылавек, што на радзінах табе бабы лоб разбілі. Микола спохватился, да деваться было некуда.

Я не передавал всех перипетий легенды, но сущность дела ясна: один святой помогает, а другой, памятуя обиду, портит налаженное дело, особенно по своей специальности, пашенному делу, при молчаливом или шутливом попустительстве самого Господа Бога. В ней характерно взаимное соперничество первостепенных святых, взаимное подсиживание и насмешливое отношение Бога к этому соперничеству и как бы признание за ними автономных прав в их специальных сферах ведения.

Далеко не все легенды ведутся в столь вольных и игривых тонах, но такие встречаются. Это не значит, что их слагатели потешались над святыми или кощунствовали. Это посильная попытка объяснения — отчего происходят личные и общественные бедствия при наличии справедливого Бога. Известно, что каждый народ имеет своего святого покровителя: москали — Миколу, украинцы — Павла, а белорусы — Юрья. Помогая своим, они по возможности пакостят чужим клиентам. А Бог, как польский король, справедлив, но часто бессилен по отношению к своим магнатам. Еще менее кощунствовали моя бабушка или матушка, — люди глубоко верующие — передавая эту игривую легенду: они передавали ее, как нечто

обыкновенное, от старых людей идущее. Мы, разумеется, хохотали над разбитым лбом у Николая и весьма понимали св. Юрья, который смеялся, за бока хватаясь.

Большинство бабиных легенд, хотя столь же наивны, но лишены комических элементов и глубоко трогательны в своих простых и задушевных чувствах.

Были и страшные, которые описывали адские мучения: там рисовались мрачные картины в духе Дантова «Ада» и поражала изобретательность разного рода пыток: там воздавалось каждому по его делам: и лентяям-лежебокам, и женщинам не рожавшим и грудью не кормившим, и ростовщикам-мироедам, и конокрадам, а особенно войтам, экономам и панам: их черти, пригвоздив за пуповину к дереву стегают бичами или жгут каленым железом, гоняя вокруг дерева, кишки наматываются, а казнимые при этом хохочут, «сардэчным смехам смяютца». В этом смехе вся соль.

Было немало фантастических сказок, которые обыкновенно исследователями относятся к разряду мифических, но они не преобладали. Первое место занимали сказки и бытовые легенды.

Сколько их бабушка знала? Ныне трудно подсчитать, но думаю, что около двухсот, а может быть, и больше. Это огромный запас, это целый увесистый сборник.

Много я записывал еще в ранней молодости бабиных сказок. Но из них напечатано в академических сборниках Шейна около пятидесяти. В большинстве они помечены ее именем — Рузали Осьмаковой, но часть помечена именем моей матери. Это означает только последнюю редакцию, — а в существе дела они восходят к той же бабушке Рузале и ее предкам. Это наши родовые сказки. Среди них было немало таких, которых я нигде не встречал в обширной сказочной литературе Беларуси, Украины и Московщины. Но огромное большинство тематически и по сюжетам общи в этой части славянского мира, а частию, — измененные, но узнаваемые, — выходят и за его пределы. Но сколько их погибло — безвозвратно погибло — уже записанных, а я далеко не все записал, что слышал и помнил.

Объемистую тетрадь я привез в Несвиж в учительскую семинарию (1880 г.) и передал учителю П. А. Введенскому,

который собирал ученические записи для Шейна. Однако у Шейна ни одной из этих сказок не появилось. Между прочим, там-то и были наши любимые «Сам-Скокыць, барада з локыць, а піпка з сажэнь» и «Атдай тое, што ў доме невядома», — обе очень характерные по глубокой первобытности представлений о мире дольнем и преисподнем и по сложности построения. Очевидно — эта запись пропала целиком, завалявшись в бумагах Шейна, которых, как известно из его биографии, никто не разобрал, отделив напечатанное от ненапечатанного, и едва ли они где-нибудь сохранились.

Еще большая тетрадь, преимущественно с записями легенд, пропала у Минчука Слупского, который в половине 80-х годов издал «Календарь Северо-Западного края» (кажется, 85-й или 86-й год), и имел в виду издавать книжки по белорусскому фольклору и этнографии. Он выпросил у меня эту тетрадь, имея в виду дать какому-то белорусскому поэту, может быть Янке Лучине (Неслуховскому), тогда единственному в Минске, подвизавшемуся в неблагодарном деле писания стихов по-белорусски. Передал ли он кому-нибудь или не передал — я не знаю, но он уехал на службу в земские начальники куда-то в Пермскую губернию. Там его и след простыл! И даже бессовестно обманул меня. Встретив его перед отъездом в редакции «Минского листка», я напомнил ему о тетради. Он покраснел (это к его чести говорю) и тут же заявил: «Я завез к вам на квартиру, но вас не застал... Я передал, я там оставил...» Оказалось, — не был, никому не передал и ничего не оставил.

Так и эти записи пропали: они нигде впоследствии не появлялись в печати.

Наконец — большая папка с моими записями фольклорного и этнографического характера, в том числе немало бабушкиных сказок, легенд, бывальщин и побасенок, а также две тетради, сделанных по моей просьбе моими товарищами А. К. Войтком (Белорусская свадьба Бобруйского уезда) и Ф. И. Горбачиком (Песни с. Щорсы Новогрудского уезда), сгорели в Ярославском пожаре (1918 г.) вместе с моей бесценной библиотекой, моим архивом и перепиской, в том числе письма М. Горького и его жены (1897—1907 гг.), имевшие

большой интерес для биографии этого знаменитого писателя и в то время моего ближайшего друга.

Все это погибло невозвратно! Я копил материал, имея в виду его пополнить на белорусской почве, от которой я был оторван с 1896 г., и, пополнив, оформить и обработать. Но оторванный службой и текущими интересами — революционными, общественными и публицистическими, которым я отдавал немало времени и сил, а также семейными делами, которые тоже поглощали немало времени (достаточно сказать, что своих семерых сыновей я обучал сам и руководил гимназическими занятиями троих старших), то отдаться этой работе я не мог, а работа была очень обширной и ответственной. Только теперь, уже в глубокой старости, я смог взяться за оформление того, что накопилось в записях моей обширной памяти с раннего детства и переработано критическим воспоминанием. И едва ли удастся оформить всю эту огромность! Но это не моя вина: всю жизнь я был добросовестным работником.

Что делать? Что потеряно, то потеряно: «не плачьте над трупами!» А я так много терял и потерял. Но всегда находил достаточно сил и бодрости духа, чтобы стоически переносить потери.

Собственно говоря, бабина хата, и в частности, чудодейственная лежанка в ней, где зародились и формировались мои наиболее глубокие впечатления раннего детства, определили мои вкусы и мои наклонности на всю последующую жизнь. Многое из того, что здесь было заложено, я впоследствии успел литературно обработать. Мои «Пережитки древнего миросозерцания у белорусов», которые встретили весьма сочувственные отзывы печати и ученой критики, почти целиком вынесены из бабиной хаты. Я только проверял степень их распространения и кое в чем дополнял последующими наблюдениями. Это труд молодой и, разумеется, незрелый, но и в этом несовершенном виде он дает весьма много любопытного и важного для науки. Это говорит такой знаток, как Ян Виторт, польский этнограф (Wisla, 1897 г., вып. 3), и еще недавно я встречал ссылки на эту свою юношескую работу в лекциях по этнографии одного профессора (забыл фамилию) Краковского университета. В русских газетах были целые фельетоны,

посвященные моей работе, как например Михневича в «Новостях» и обширные выдержки в «Биржевых Ведомостях» за 1895 г. Словом, она не прошла незамеченной, напротив, и общая и специальная печать обеих столиц о ней отозвалась.

Был очень лестный, но с преувеличенными похвалами отзыв «Научного Обозрения» (1895 г., ном. 33), где в 1894 была помещена моя работа по тому же вопросу, но более сжатая. Особенно мне было приятно встретить в «Живой Старине» (1895 г., т. III — IV) строгий разбор столь крупной величины, как академик В. И. Ламанский, который наряду со справедливыми замечаниями о недостатках, выразил уверенность, что «достойный полного уважения автор, при своей наблюдательности, любви к делу и знанию народа, несомненно принесет большую пользу русской этнографии». «Мы имеем право ожидать от автора много хорошего. Приведем следующие прекрасные строки, дышащие любовью к народу и знаниям его положения, написанные с умом и талантом». А далее следует обширная выписка из вступительной главы моей книги, которую цитировали «Бир. Вед.» и некоторые другие газеты.

Я с удовольствием выписываю эти похвалы, сделанные 35 лет тому назад. Я, конечно, не оправдал надежд почтенного академика, и не потому, что был бессилен оправдать — любовь к делу и своему народу многое могли сделать. Но дело в том, что я был поставлен в полную невозможность заняться этой работой.

Написал я, собственно, много, около 100 и даже больше печатных листов[167], считая, что в рукописях, — это весьма много, если принять во внимание, что я никогда не занимался одним делом, а двумя, тремя параллельными, которые, как революционная работа, захватывали меня временами почти столько же, сколько служба, а трепки нервам давали даже больше. Написал много, но толку мало: все это кануло в лету провинциальных повременных изданий, где их и завзятый библиограф не отыщет. Одни только «Пережитки...» да то, что напечатано в сборниках Академии Наук, могут иметь действенное значение. Да и с «Пережитками...» случилось то же, что с моими рукописными сборами. Напечатаны они были в 500 экземплярах; в продажу я их пустил около 200.

А остальное количество пускать воздержался, имея в виду пополнить, расширить, усовершенствовать; да так и не пополнил и не усовершенствовал. И все, что у меня осталось — сгорело наряду с рукописями. Поэтому моя книжка представляет поистине библиографическую редкость. Я даже сам после пожара не имел ни одного экземпляра. Потом я собрал их 3, выпросив у приятелей, которым раньше преподнес, но один из них зажилил проф. Кацелленбоген в Минске, попросив на время для своих лекций, да так и свез в Саратов. В Минской государственной библиотеке есть один экземпляр, да в Ленинградской и Московской публичных, а этого достаточно, чтобы задушевная сокровищница бабы Рузали не погибла втуне, «як грошы Грышкі Парэцкаго», ее двоюродного брата, закопанные в землю.

Уже ее правнук Максим, унаследовавший нечто от ее духа, успел в свой короткий век, позаимствовав кое-что из этой сокровищницы, облечь в стихотворные формы[168]. И из бабиных сказок он впервые познакомился с белорусской речью.

Значит, сиденье на лежанке прошло небесплодным, и баба Рузаля прошла через свою долгую и тяжелую жизнь с огромной ношей старины за плечами — не бесследно...

Что и требовалось доказать... Итак — бабушкины сказки, если не все лучшее, то многое из хорошего, что я воспринял, сидя на лежанке. Очень скоро я сам сделался рассказчиком, подражая и словам и манерам бабушки, и широко пустил в оборот ее сказки, рассказывая сверстникам на пастбищах коров и лошадей, у пастушеского огонька, и на сеновалах, где мы, ребята, собирались целыми группами барахтаться в душистом сене, и в местном нелегальном клубе, «у Петрывых», куда по праздникам собирались парни поиграть в карты — «у воза», «у кікса», «у караля», «у мар’яша», «у стуколку» и «у наскі» и другие игры, и где детвора и подростки находили терпимый и как бы узаконенный обычаем приют.

Потом я — с неизменным успехом — выносил их в общества все выше и выше и они встречали сочувственный прием и в обществах самой высокой квалификации.

Живой и безыскусный источник смеха всегда встречал сочувственное отношение, — даже у людей, уже пресытившихся

всякой утонченной искусственностию. После тонких или острых блюд с пряными приправами хочется иногда простого хлеба с квасом.

Но сказки кончались, мы утомлялись от трагических волнений и от смеха или рассказчикам надоедало занимать нас, Магдаленка, свернувшись, засыпала на лежанке у печки, а для меня начиналась легкая религиозная пытка — повторение долгих молитв.

Я уже перевалил за 5 лет, и, по-видимому, считалось, что мне есть что замаливать. Тут выступала на сцену тетка Ганна, моя и Магдаленкина няня, которая, по молодости лет, не играла в семье выдающейся роли, но научилась в школе молитвам «па-руску» и этим молитвам учила меня. Это было начало обрусения, и я был одной из первых его жертв. Она ставила меня на колени на той же лежанке, учила молитвенно сложить руки, ладонь к ладони, и держать их у груди (ведь это «польщизна», — бедные русификаторы!), а затем вслед за ней повторять слово за словом в раз установленном порядке: «Славу, Царю Небесный, Святый Боже, опять Слава, Пресвятая Троица, еще Слава, Отче наш, Богородице Дево. Под Твою милость, Верую, Десять заповедей, Достойно есть, и Яже в слове». Это было очень долго, занимало приблизительно с полчаса времени, если не больше. Я должен был в нужных местах креститься и кланяться и — грешный человек — сильно тяготился этим чрезмерным испытанием. Я лениво повторял совершенно бессмысленные, потому что решительно непонятные слова и тоскливо ждал, когда же вынырнет «Яже». К концу молитвы я уже засыпал, веки мои смыкались, но безжалостная тетка Ганна, подталкивая в бок, взбадривала меня, и вот наконец «Яже» носилось перед моими умственными глазами в форме прыгающих огненных зигзагов. (Это один из образов, которые у меня слагались на основе звуковых впечатлений.) Перекрестившись, я заваливался и тут же засыпал.

Со стороны это была умилительная картинка, но по переживаниям — в ней ничего не было религиозного, так как в эти для меня непонятные слова не вкладывалось никакого чувства, кроме тоскливости и скуки.

Впрочем, и семья смотрела на эту процедуру, как на благочестивое упражнение, к которому надо привыкать с детства и которое понадобится и для спасения души, и для житейских целей: не умеющих молиться строгий батюшка не допустит к причастию, а что самое главное — не даст «шлюбу»[169], как вырастешь. По этим веским основаниям считалось родительским долгом — научить детей Богу молиться в минимальных пределах, которые для православных установлены, как перечислено выше.

Для католиков требовалось то же самое с некоторыми, впрочем, добавлениями вроде «Анёл Паньскі», а кто носил «шкаплеры» — особую душеспасительную ладанку, — полагалось еще чтение добавочной молитвы «Матце Боской Шкаплерной», а иные давали обет, взывая о помощи по какому-нибудь важному или роковому случаю, усилить богомоленье, читая такую-то молитву столько-то раз.

Поэтому, если я не засыпал на «Яже», то созерцал общую картину богомоленья: поочередно становились пред иконами то один, то другой и читали молитвы шепотом, а иногда и вслух, некоторые читали довольно поспешно, чтобы не быть в долгу, а мой отец, иногда и мать и почти всегда бабушка читали с живым чувством и с особой экспрессией, которая на меня действовала заразительно и возбуждала в моей маленькой душонке чувство особого умиления.

На меня действовало до сочувственных слез окончание молитвы, когда, ударяя себя в грудь, молящийся просительно повторял: «Божэ, бондзь мілослів».

Бабушка молилась последней и молилась горячо и умилительно.

Вечером в этой синеватой полутьме разливалась в бабиной хате теплая религиозная атмосфера, которая неотразимо влияла на пробуждение и развитие религиозных чувств: сердце сердцу голос подает.

Вся семья была православной, но, кроме тетки Ганны, недавней выученицы в школе, все и всю жизнь молились по-польски. Во-первых, потому, что это было привычно; во-вторых, что молитвы были, большею частию, одни и те же; а в-третьих, что по-польски они были более понятны, чем

по-славянски. Хотя вся семья говорила по-белорусски, но все хорошо понимали по-польски, а отец и дядя, в качестве бывших дворовых, говорили по-польски не хуже той шляхты, которая мнила себя поляками.

Ночью я нередко просыпался по двум причинам: первое — иногда бабушка своим крупным носом храпела слишком громко и заливисто: это иногда меня пробуждало и нагоняло страх, так что я, бывало, кричал: «Бабулька, прачхніся!» Она просыпалась, поправлялась и, хотя громко сопела, но сносно.

Но я в ужас приходил от плача тетки Марили во сне. Это случалось довольно часто: вдруг она завоет каким-то диким, нечеловечьим голосом, как голодная волчица, переливисто, иногда с какими-нибудь бессмысленными словами. Я просыпался и дрожал от страха. Тетка рассказывала свой сон, который вызывал этот плач, а я долго не мог успокоиться и заснуть.

Иногда, под влиянием возбужденного воображения, я рисовал в потемках разные образы, и как-то нарисовал такую краснокожую, цвета вареного рака, пасть, которая стала у меня пред глазами расти и я, испугавшись своего собственного создания, громко закричал.

Однажды было такое видение. Я спал не на лежанке, а в каморке, параллельно с кроватью своей матери. Ночь была лунная и, когда я проснулся, лунный свет падал на устье печки, которая была неподалеку от моих ног. Проснувшись, я некоторое время любовался необычными световыми эффектами. Как вдруг я вижу в лунном свете тетку Ганну, которая уже уехала в Рудобелку навсегда. Стоит она у печки и заплетает косу и улыбается мне, и ее белые, как чеснок, зубы сверкают в лунном свете. Я нисколько не испугался этого видения и долго любовался им. Все виделось явственно, как не могло быть видимо при лунном свете. Я даже играл со своей иллюзией или галлюцинацией, закрывая и открывая веки. Когда я прищуривал веки, она приближалась ко мне, все заплетая косу, а когда открывал, то она удалялась к печке. Чего мне было бояться, когда мать почти рядом равномерно дышала? Но я повернул голову, чтобы взглянуть на мать, и вдруг — о, ужас! — вижу, что другая мать стоит у моей постели на

коленях и смотрит на меня. И я вижу даже мелкие веснушки на ее лице. Тут я не выдержал и громко закричал. И то, и другое видение исчезли, а мать, проснувшись, стала меня успокаивать.

Утром я рассказал, в чем было дело. Но на сей раз никаких мистических объяснений не было предложено. Бабушка на это взглянула вполне рационалистически:

— Гэто ў яго глісты, — сказала она, — трэба даць нашча[170] цытвору[171] з мёдам.

Оба видения и теперь сохранились в моем представлении с тою же яркостью, какую я ощущал в тот момент, — и я их могу описать как бы с натуры.

Более никаких таких видений во всю мою жизнь не бывало.

Утром бабушка пробуждалась, как и полагается в крестьянском быту, раньше всех. Она вздувала лучину, для чего горячие угли из печки, засыпанные золой, сохранялись в печурке на припечке. Серные спички уже были, но к ним прибегали редко, — в тех случаях, когда угли угасали.

Она наскоро мылась и молилась Богу. Не мывшись — нельзя Богу молиться. Затем она открывала заслонку в печи, вынимала оттуда сушившиеся чьи-нибудь портянки и поджигала дрова, которые обычно клались в печь на ночь, чтобы, хорошенько просохнув, дружно горели и давали много тепла и жару.

Тогда уже будила тетку Марилю и мою мать, чтобы принимались за дело: стряпню или другую работу.

Те, проснувшись, начинали рассказывать сны. Какие расчудесные сны они видели, особенно тетка Мариля и дядина Юлька: красочные, последовательные, сложные, как в хорошей сказке. Так что я получал двойную порцию сказочного материала — вечером и утром. Я завидовал этим ярким снам, ибо во всю мою жизнь сны мои «видений легких были исполнены» и носили преимущественно пейзажный характер — результат моих частых поездок и жизни в природе. Припоминая всю эту связность и логичность — грешный человек, — я думаю, что мои почтенные родственницы привносили эту связь от себя, — не то, чтобы сознательно лгали или старались щегольнуть замысловатым и интересным сном, а делали это совершенно бессознательно, с доброй верой, что логика

обязательна и в сновидениях и что все так и было. Ибо как иначе рассказать набор текучих и бессвязных видений, без привнесения логической или какой-нибудь другой вразумительной связи?

Но к снам относились серьезно, как к делу важному, которое что-нибудь означает или что-нибудь предвещает. По учению бабушки — во сне душа входит в общение с потусторонним миром, своей коренной родиной, откуда она пришла и куда от житейской сутолоки стремится заглянуть.

Это я в своих формах передаю ее мысли.

— Душэ трэба, — говорила она, — хоць на мамэнт, як воласу перагарэць, пабыць на тым свеці. Як іна там пабываець, дык чалавеку на душэ і лягчэй і можыць за работу прыматца. А як ні заснець ні каплі, дык душа маркоцітца (скучает, тоскует) і тагды і дзела не спарытца, і чылавек як сам ня свой.

При таком душеверческом истолковании ясно, что к снам нельзя было относиться небрежно.

И потому, после пересказа снов, уточнялись и устанавливались необходимые признаки, и бабушка, на основании сохранившихся традиций, которые считались проверенными опытом, давала авторитетно истолкование значения снов, особенно в частях, которые ей представлялись знаменательными.

И не только свои родичи, но и соседи, и даже дальние, приходили со своими снами, почему-либо показавшимися им знаменательными. Бабушка охотно давала свои изъяснения. В моих «Пережитках...» даны образцы этих истолкований, записанных по свежей памяти. Здесь, для ясности дела, я приведу только несколько примеров.

Если видели во сне кого-либо из умерших родственников, то, смотря по обстоятельствам, заключали, что — либо он, или она о себе просто напоминает: стало быть, требует поминок, молитв о спасении души или поминальной обедни с панихидой; либо предупреждает о чем-либо грядущем, горестном или радостном; характер грядущего определялся из околичностей.

Вырвать зуб во сне означало смерть кого-либо из близких; если не было крови, это значило, что умрет кто-либо из

свояков; а если с кровью, то из кровных родственников. Толкование по аналогии.

Принимать во сне побои значило, что кто-нибудь прибьется, т. е. прибудет, со стороны. Толкование по созвучию.

Видеть похороны — к свадьбе. Толкование по противоположности.

Видеть попа — иметь дело с нечистой силой: поп означал черта. Надо думать, что и тут мы имеем толкование по противоположности, если впрочем, не допустить, что попа рассматривали, как шамана или колдуна высшего порядка.

Для того времени, которое я описываю, это недопустимо. Этих примеров достаточно, чтобы судить о характере истолкований.

Вообще говоря, считалось, что сны только намекают или говорят прикровенно, иносказательно, как библейские сновидения, которые истолковывались все по частичной аналогии.

Особенно славились истолкования снов у самого популярного из мудрецов Мартына Задеки: книжка под его именем считалась верхом высшей мудрости. Обладателя этой книжки считали счастливцем, ибо в ней заключалось не одно снотолкование, а и предсказания судьбы по планетам и многие другие важные вещи, которые полезно знать, чтобы не попасть впросак. Но издатели Никольского рынка живо учли это обстоятельство и быстро профанировали эту знаменитость, распространив на сельских ярмарках, по сходной цене, много экземпляров: в Холопеничах их было несколько.

Тем же путем распространялись и просто «Сонники», в которых толкования были очень сходны с бабушкиными. Она, по скромности, не дерзала вступать в состязание с книжной мудростью, т. е. с наукой и, конечно, ее отрицала. Вообще наука в нашем доме была в почете: ей цену знали. И свои традиционные знания она считала «наукой», но, так сказать, кустарного производства.

На этой почве, т. е. на почве столкновения доморощенной науки и книжной, патентованной, нередко возникали расхождения и, стало быть, недоразумения: чему верить? Бабушка скромно уступала первенство науке патентованной.

Надо прибавить, что по вопросу, когда то сбудется, что возвещено во сне, существовала простая и довольно твердая система: сбудется в обратном отношении времени видения к будущему; сон предутренний сбывается вскорости, в несколько ближайших дней, сон после третьих петухов — в течение года, а после вторых и первых — на два и три года растягивается.

Наряду с Мартыном Задеком славился Брюсов календарь, который сначала был известен понаслышке, но вскоре лубочники[172] его распространили довольно основательно. Он славился главным образом из-за предсказания погоды на каждый день. Понятно — какое это имеет значение в сельском хозяйстве. Тут не только 30 коп., но и рубля не пожалеешь! С этой стороны довольно скоро приходили — к мнению Грибоедовской барыни: все врут календари, не исключая и Брюсова. Но в нем были предсказания судьбы по дням рождения, что гораздо туже поддавалось проверке, и занятно было читать, что в такой-то год возникнет война между двумя великими народами, а в такой-то появится мировое поветрие. Тут можно было утешаться, что нас это не коснется. Были в этом календаре полезные астрономические и другие сведения, но на них мало обращали внимания: во-первых — понять было нелегко, а если поймешь, то поверить трудно, вроде того, что земля кругла. «Хто гэтаму дасць веры?»

Славны бубны за горами!

Ознакомившись, довольно скоро разочаровались и Задеком и Брюсом. Оставались в качестве вместилища таинственных знаний «Оракул» и «Черная книга». О них была глухая молва, что кой у кого из старых ученых, процветавших в Холопеничской школе в начале столетия, они были и перешли по наследству тому-то и тому-то. Называли одного богатого шляхтица Олемпаго Шпаковского, как счастливого обладателя «Оракула». И наличием этой книги объясняли его богатство; говорили, что у знаменитого войта Радзивилловского Язепа Круглика тоже есть «Оракул» и тем объясняли его житейские успехи. Но вскоре появился на рынке и «Оракул» (владимирские офени не замедлили его доставить). Однако цена оказалась высокой — 1 руб. Тут подумаешь, прежде чем

заплатить. Кое-кто купил и не каялся. Это была гадательная книжка, а стало быть, обеспечивала небольшой, но верный доход, взималось по 3 коп. и даже по пятачку за гадание. Вскоре затрата с лихвой окупалась.

Система гадания была нарочито замысловатая, но в конечном счете сводилась к тому же, что давал «Премудрый Соломон», стоивший всего 5 коп. и потому расходившийся во множестве экземпляров. Она сделалась принадлежностью всякой семьи, где был грамотник. Это был домашний оракул и в трудных случаях к нему обращались за советом: «Ну-тка — кінь на Саламона» или: «Пагадай на Саламона, што выйдзець».

Вы берете пшеничное зернышко или восковый шарик между пальцев, сосредоточенно думаете о том деле, которое вас интересует, и бросаете с некоторой высоты на рот или нос Соломонова лика, вокруг которого лучеобразно расположены колонки цифр. Под тем номером, на какой упало зерно, читаете выпавшую вам замысловатую сентенцию, вроде: «Яко ладия на море, тако и мысль твоя на двое».

Уразумев с помощью толкователя смысл сентенции, вы говорите: «Што праўда, то праўда: мыслі ў мяне дваямятца».

Но так как положительного результата еще нет, то вы бросаете снова и выходит: не надейтеся на князи, ни на сыны человеческие — в них же несть спасения.

Вы можете этим удовлетвориться, а если и это невпопад — ничто не мешает вам еще раз бросить шарик.

В серьезных случаях бросают не меньше трех раз или разве уж сразу выйдет слишком благоприятное предсказание, и вы не рискуете портить дела.

Дельфийский оракул давал ответы, может быть, более тонкие, дипломатичные или более замысловатые, но в существе дела не лучшие. А какой известностью и каким влиянием он пользовался!

Я склонен стоять за «Премудрого Соломона»: дешево и удобно.

Как-то так никто и не задавался вопросом общественного значения «Премудрого Соломона». Я думаю, что в общей массе дел роль его была громадна, несомненно, больше роли Дельфийской знаменитости: масштаб был более широк. Сколько по-

ложительных решений было принято колеблющимися, сколько волевых актов было мотивировано! Ведь это же заслуга — вывести из равновесия изнывающего от голода буриданова осла между ровными вязанками сена. И сколько тяжестей непосильного самостоятельного мышления было облегчено. А средство такое простое и стоит пятачок на всю жизнь.

Другое дело, «Черная Книга» — о ней говорили с опаской. Это дело страшное, ибо было связано с продажей черту души.

Но мы далеко отошли в сторону от утреннего толкования снов.

Затем следовали омовение и утренние молитвы, которые были те же самые, что и вечерние. Не умывшись и не одевшись, считалось непозволительным молиться. Но утренние молитвы, кроме воскресенья, особенно «маладзіковага», и больших праздников, не были столь проникновенны, как вечерние: работа звала. Поэтому читали «Ойчэ наш» («Отче наш») и этим пока ограничивались. Но молитвенный долг должен быть исполнен полностью. Поэтому молитвы продолжались за работой: чистит, например, картошку матушка или тетушка и читает вслух молитвы, изредка прерывая их, чтобы крикнуть: «акыш!» курице, которая забралась в «ночовки» (корытце) с крупой, или усмирить наши шалости и ссоры.

— Божа ты, мой Божа! — нередко сетовала матушка. — За гэтымі дзяцьмі і Богу па-людску нільзя памалітца!

Мы очень часто были виноваты в том, что лишали ее этой отрады, прерывая шалостями ее молитвенное настроение.

Зато в воскресенье или в праздники, истопив печку пораньше и убравшись, она давала волю своим религиозным порывам и молилась «шчыра» и до слез. Это было ее наслаждение и, конечно, самое высокое и самое отрадное, которое покрывало и искупало все тяготы и горести ее далеко не отрадной жизни.

Но величайшим и ни с чем не сравнимым ее наслаждением было в большой праздник помолиться в церкви всласть, излить пред Богом всю душу. Оттуда она являлась умиротворенной, успокоенной и как бы просветленной: тихая радость светилась в ее добрых очах.

Но не долго держалось это восхитительное настроение: житейская суета, обыденщина, грубо врываясь, рассеивала это чувство мира и покоя. Особенно мы со своими шалостями, ссорами, жалобами донимали ее и сгоняли эту тихую радость.

Отец, несмотря на свой дешевый скептицизм и поверхностное вольнодумство, молился всегда, а по праздникам особенно усердно и горячо. И так это у него было всю жизнь: вольнодумное бахвальство рядом с горячей верой. Это не были муки сомнения, это была, так сказать, дерзость пред Господом, которая и сознавалась, как таковая, и замаливалась.

Эти молитвенные порывы, несомненно, не проходили бесследно: они смягчали суровость его грубоватой и порывистой натуры. По праздникам, побывав в церкви или «шчыра» помолившись, он всегда был сдержаннее и мягче.

Магдалена, в качестве младшей, по части богомоленья всегда пользовалась значительными льготами по сравнению со мной. Это возбуждало во мне зависть: чуть перекрестилась и уже ест хлеб с маслом или со сметаной, или гренки, горячий сочень или блин, кулеш, «зацірку» с маслом или молоком. А я еще жди да слюнки глотай, пока Ганна удосужится «помолить» меня. И эта длительность, эта медлительность повторения слова за словом в таких случаях возбуждали мое искреннее негодование; а между тем мне не давали есть, пока тетка Ганна не помолит своим варварским способом.

В оправдание своей тетки должен сказать, что этот способ был единственным: другого не знали. Его практиковала школа, и я сам, овладев, в конце концов, всем набором малопонятных слов, применял тот же способ по отношению к детям соседей, приставленных ко мне для выучки. Это были Амос Міколаў и Марылька Хруцкіх — мои первые ученики. Они бегали ко мне два раза в день — утром и вечером, — и я так же их муштровал, как и меня Ганна. Им еще туже давалась благочестивая выучка, чем мне, ибо приходилось бегать, а иногда и поджидать меня. Длилась эта скучная процедура не менее года, а Амос хаживал даже больше того: память была слабая, и произношение не давалось. Он весьма забавно коверкал славянские слова и некоторых ни за что не мог выговорить. Большинство искажений, благодаря моей настойчи-

вости и бесчисленным повторениям мне удалось выправить, но кое-что не поддавалось выправке. Даже «во имя Отца» не давалось: «выміцца» — он говорил. Особенно не давалось: «честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим». Тут немало было дефектов, но чужеземные «херувим» и «серафим» особенно не давались: он упорно твердил: «каруім» и «саруім». Так, кажется, с этими «саруімамі» и ушел в свою трудовую жизнь.

Надо сказать, что за выучку Амоса мне было обещано его батькой Миколой заплатить «грыўну», т. е. гривенник. Долго меня манил этот гривенник, который и мне, как и Миколе, представлялся суммой немалой. Но так-таки я его и не получил. Особенно остро чувствовалась недостача этого гривенника на ярмарках на Ражанцовую (первая неделя после Покрова) и на масленице: сколько соблазнительных вещей напрашивалось... Но глаз видит, да зуб неймет. Чтобы купить пистолетик с хлопушками я, кажется, черту свою душонку готов был запродать. Но он ничего за нее не давал.

Ключвойт Хруцкий ничего не обещал — (полагалось, что не обидит), но ничего и не заплатил. «Няхай ідзе на Божую хвалу», — сказала бы моя матушка.

Это являлось предзнаменованием для моей будущей педагогической деятельности: я больше работал бесплатно, чем за плату.

В бабиной хате торжественно отправлялись первые «дзяды», которые я помню, и первые сочельники, живо сохранившиеся в моей памяти. И не потому только, что здесь было много вкусной и разнообразной снеди, обилие которой побуждало есть возможно меньше, чтобы отведать из каждой «стравы» не менее трех ложек, что обязательно требовалось ритуалом, а по тому общему задушевному и духоподъемному настроению, которое при этом переживалось. Едва ли что-нибудь другое способно так пробуждать душеверческие чувства и представления и возбуждать религиозные эмоции, как эти исконные празднества народной веры, в тех формах, которые от века сложились. На детский ум они действуют неотразимо.

Стирается грань между миром реальным и мистическим, и они, сливаясь, переживаются заедино, как одно целое.

Уже обычный приход «старцаў» для поминания всех усопших, которых память потомков сохранила, заставляет вас насторожиться и, заставляя вас знакомиться с обширным генеалогическим древом, невольно пробуждает мысль о таинственной связи между живущими и куда-то отошедшими, т. е. в сущности мысль о связи между жизнью и смертью. Но ведь: «Радушное дитя, легко привыкшее дышать, здоровьем, свежестью дыша, как может смерть понять?»

Да, как оно может смерть понять? Когда об этих мертвых говорят как о живущих? Когда в их честь, или, вернее, для них устраивается эта обильная и даже пышная трапеза? Когда их не только поминают, но и призывают на эту трапезу? И кто призывает? — бабушка, отец, мать, которые знают, что делают, которым вы привыкли верить?

А затем — эти торжественные молитвы «за душы змарлэ, душы чысцовэ», молитвы всей семьей — старшие впереди, младшие сзади, — стоя на коленях пред накрытым столом и мерцающей «громницей» (свеча, освещаемая в «громничное» воскресенье, около масленицы), которая сопровождает важнейшие моменты жизни человека: рождение, крещение, смерть и поминки, — все это настраивает на мистический лад и тогда не диво, что, садясь за трапезу, которая проходит особенно чинно, в сосредоточенной тишине, благоговейно, вы чувствуете соприсутствие невидимых.

Не едят, а «вкушают», «покладаючись», т. е. размеренно берут ложку очередной стравы и, опорожнив, положат выемкой кверху, предоставляя воспользоваться ею невидимому сотрапезнику и выжидая столько времени, сколько надо, чтобы опорожнить ее не торопясь. Вот почему — надо съесть не меньше трех ложек: ведь ешь не только для себя, но и для сотрапезника. Вот почему некоторые объедаются от усердия, — это для того, чтобы и предки насытились. Я, по крайней мере, после смерти моей сестрицы Ольки, на этих ритуальных трапезах был твердо убежден, что она, вечно подвижная, с живой игрой на лице и смеющаяся, восседает рядом со мной и участвует в трапезе. В этом я не сомневался. Но мне было жаль тех душ, которым клали от каждого яства на окно, бросали под стол или выносили на двор.

Относительно последнего я помню объяснение бабушки: «Гэто тым, каторым у свянцоны дом зайсці нявольна». А что касается двух других моментов, то думаю, что я не ошибусь, предположив, что на окно кладут чужим, побирушкам, как кладут или подают нищим, а под стол бросают душам низменным, нечистым, может быть, даже животным, как собакам и кошкам, которым бы не приличествовало сидеть за столь торжественным столом. Но конечно, тут не предки разумеются, хотя бы и языческие.

Так за этой трапезой разрывалась оболочка чувственности и душа сливалась с миром сверхчувственного.

И напрасно бы вы прибегали к очевидным доказательствам от опыта и разума, что никто этих «страв» не ест, кроме собак и кошек, напрасно бы вы их взвешивали и показывали, что в них ничего не убывало. Вам бы могли ответить, примерно так, как отвечали андаманезцы на подобное утверждение миссионеру: «Какой он дурак: он думает, что духи едят вещество! Они едят душу его!»

Тут ничего не поделаешь. А, в конце концов, вам бы сказали: «Знать ничего не хочу! — хочу, чтобы мои покойники, от поры до поры, сидели вместе со мной», т. е. другими словами: не хочу умирать.

В этом все дело.

Не знаю — как теперь по этой части дело обстоит в Беларуси: совхоз и колхоз — формы, не благоприятствующие для процветания культа предков. Но не так давно мои земляки в Ярославщине на одном антирелигиозном митинге отвечали, при одобрении большинства: «зáкситься[173] будем; и без венца жить можно; а умирать будем по-своему и хорониться как следует».

Это характерно, ибо в этом центр тяжести религиозных воззрений белоруса. Вера ему нужна не столько для жизни, сколько для смерти. Он не хочет умереть вполне и окончательно. Да один ли он? А. П. Чехов в начале 1900-х годов как-то писал М. Горькому о Толстом, характеризуя его религиозные искания: «Старичок смерти боится».

Это грубовато и не совсем точно: не смерть страшна как таковая. Сколько людей добровольно кончает с собой! Смерть

не страшна тому щедринскому персонажу, который решительно утверждал: «Все умрем — и к чертовой матери пойдем!», т. е. «на замазку к пивной бочке». Умрем — и лопух вырастет. Вот спасительное воззрение, в трех словах новое евангелие.

Эпикур[174] давным-давно возвестил успокоительное учение, направленное против страха смерти. Он говорил приблизительно так: до рождения нас не было и мы от этого нисколько не страдали; и после смерти нас не будет, стало быть, мы и страдать не будем. В таком разе — чего же страшиться?

Но прошли века — и проблема оказалась открытой. У Шекспира Гамлет ведь рассуждает насчет «быть или не быть?», «умереть — уснуть!» и вдруг — спохватывается: «А сновиденья?» Да, а сновиденья? Ведь разные бывают, в том числе и кошмарные? Вот так уснешь — и после кошмарной жизни станут душить кошмары смерти! Так и не решил Гамлет и его творец — «быть или не быть?», что лучше, что благороднее? Т. е. достойнее человека. И как результат размышлений на эту тему вырвалось: «За человека страшно!»

Еще прошли века, и выдающийся немецкий поэт (Дранмир[175]) во вступлении к своему «Реквиему», посвященному всецело проблеме смерти, восклицает:

> О, смерть, моих властительница дум,
> Конец надежд, порывов и желаний.
> Вопрос души, тревожащий наш ум,
> Колеблющий твердыни наших знаний!

Значит, — и в наше время проблема для огромного большинства еще не разрешена, если этот вопрос «колеблет твердыни наших знаний».

Но в чем дело? Почему для щедринского персонажа и для Эпикура смерть не страшна, а для Шекспира и Толстого — страшна? Потому, что первые в душу не верят, а вторые — верят.

Значит — дело не в смерти, а в душеверии, или, вернее, не столько в смерти, как в посмертной или потусторонней жизни, — в жизни бесконечной.

Но если с этим вопросом не покончили Шекспир, Толстой, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, то кто осудит моих скромных земляков, что они хотят умирать по-своему? Т. е. так, как они считают лучше на случай «сновидений»?

Что касается бабы Рузали и ее присных, и ее окольных, то для них тут никакого вопроса не было: они твердо верили в то, что унаследовали от предков, которые-де не глупее нас были, — напротив — им приписывалась высшая мудрость; и верили в то, что «ў святых кнігах» на этот счет сказано.

И смерти самой по себе не боялись: это можно утверждать положительно. Особенно старики и старухи, которым в жизни терять нечего. Если молодые и боялись, так, главным образом, жалея сирот или беспомощных. Другими словами — не столько боялись кошмаров смерти, сколько кошмаров жизни.

От кошмаров смерти можно было себя застраховать. Такая страховка заключалась в исповеди и в вере в спасительность причастия. И если чего боялись, так чтобы не умереть без покаяния. Это случалось редко, а если случалось, то, во-первых, уповали на Божие милосердие; во-вторых — на спасительность церковного погребения и посмертного разрешения грехов («умирать будем по-своему»), молитв за усопших и пр., и в-третьих — выдвигалось во многих случаях соображение: «на гэтым свеці сваі грахі атпакутывала» (отстрадала!). А это очень многие могли про себя и про других утверждать.

Смерть, если хотите, культивировали и задолго к ней готовились. У бабушки Рузали долго на моей памяти хранилась «кашуля (сорочка) на смерць», как водится — «кашулька да долу», из тонкого «кужэля», своими руками выпряденного и сотканного, — беленькая, чистенькая, старенькая, но еще целенькая, аккуратно свернутая в трубочку; вместе с ней у скрыні хранилась «наметка» на голову — из тех, что подносили ей, как бабке-повитухе; и тут же — покрывало; «грамнічная» свечка, с которой «канаюць» (отходят), всегда налицо у икон; «хадачкі» и «панчошкі» тут же лежали... А больше ничего и не требовалось: «добрые людцы зробяць вечны дом (дамавіну), — бяз дзвярэй, бяз вакон, бяз сонца»... Беднякі

сабіралі капейкамі і дзесяткамі (пятакамі) два злотых, палціну, ці рублёўку, а то и более — на пазвон, на хаўтуры, на памін душы, на псалтыр.

Бабулька Рузаля, как и все другие бабульки, загодя заботилась, чтобы умереть чинно и быть похороненной чинно, на облюбованном месте, рядом с дедом Тамашом, прабабкай Хрысьцінай и прочей родней, на верху кладбищенского пригорка, под развесистыми березами, которые ее же руками посажены над могилами своих близких.

И когда я стал грамотником и выпрашивал у бабушки три копейки на аловэк (карандаш), а я их не раз выпрашивал, то она вынимала трояка из заветной сумочки на смерть, но, давая, говорила: «Глядзі ж, мой унучык, як памру, каб ты па мне псалтыр чытаў...».

Таков был завет или условие. Но я его не исполнил, ибо жил в Минске в кондитерской выучке во время смерти бабушки. И если бы был на месте, в Холопеничах, то едва ли бы смог исполнить этот завет. Был подобный случай, — и я оказался вполне несостоятельным.

Тетка Мариля на несколько лет предварила бабушку. И бабушка, и мать велели мне псалтырь читать над покойницей. Скрепя сердце, я сходил к дзяку Носовичу и занял увесистую книгу в телячьей коже, уже почерневшей, с медными застежками и закапанной воском внутри: многих она провожала «на той свет».

Но придя в бабину хату и взглянув на этот желтый восковой лик со вздутыми гландами, подвязанный платочком под подбородок, со скрещенными на впалой груди бледными и худыми руками, я вскрикнул неистовым голосом от неиспытанной боли в груди, залился горькими слезами и, бросив псалтырь, убежал в лес, в «Молодую рощу». Я там сидел, рыдая, и оставался до позднего вечера. И вечером я пошел домой «у сваю хату» и так-таки похорон тетки не видел.

«Радушное дитя и прочее, — как может смерть понять?» Я тут впервые ощутил всем существом и, стало быть, понял: что такое смерть.

Я видел мертвых и до этого. Еще ребенком, которого повязывали, как девочку, платочком, меня водили на

хаўтуры бабулькі Прузыны, дальней родственницы. Покойница представляла почти тот же вид, что и тетка Мариля, — вся в белом, вытянутая в струнку, бледное морщинистое лицо, только указательные пальцы на руках были перевязаны для чего-то красной шерстяной ниткой, видимо, чтоб окоченелые руки лежали на груди как следует, а не расходились.

Это было просто странное и любопытное зрелище.

Я видел трупик Антона, моего двоюродного брата, с побелевшим заостренным носиком и в белых «панчошках». Мне было смутно на душе, но больше потому, что тетка Мариля, ломая руки, сильно убивалась.

Я видел всю в цветах с почерневшим, как головешка, личиком, свою полуторагодовалую сестрицу Ольку. Тут я плакал, потому что все плакали. Но, видимо, я тут еще не понимал всей кричащей парадоксальности смерти, вопиющего противоречия с жизнью, которая во мне, — не понимая невозвратности утраты и своей обреченности.

Все эти холодные словесные формулы бессознательно слились в один вопль души, похожий на тот, который злосчастная тетка Мариля издавала во сне, пугая меня до холодного пота.

С той поры я избегаю видеть мертвых и присутствую на похоронах своих близких по необходимости. И мне всегда хотелось бы убежать в лес. Я это делал только после похорон. А сколько их было!

Итак, будь я на месте, несомненно, я не смог бы исполнить завета бабушки и убежал бы в лес.

Так я остался в неоплатном долгу, который, впрочем, и чтением псалтыри не был бы погашен.

А к смерти готовились у нас основательно. Ведь что такое исповедь, как не подготовка к смерти и расчистка пути к паки-бытию? Ведь «не весте ни дня, ни часа»... Всегда будь готов.

Конечно, тут была и другая идея и ощущалась другая потребность, — та же, что достигалась в молитве: самоотчет, самоочищение, успокоение, примирение. Но исповедь была, так сказать, генеральной чисткой совести.

И готовились к исповеди у нас основательно. С первой же недели Великого поста, по очереди говели. Это дело не легкое, принимая во внимание, что церковь была холодная, неотапливаемая, и при худой одежонке отчаянно зябли ноги и из всех уст, вместе с молитвой, холодный пар валил.

Самым трогательным моментом была предысповедная просьба прощения грехов. Было принято кланяться в ноги всем, говоря: прости меня, грешную или грешного. Было поразительно, что мой грозный, а иногда и буйный отец всем смиренно кланялся в ноги, кроме нас, ребят. Бабушка, впрочем, в качестве общей матери, кланялась только в пояс.

Целую неделю береглись, как бы кого не обидеть, дурно не помыслить, не сказать худого слова, не повысить голоса. После исповеди и причастия говорили, характеризуя свое настроение: «як тара з плеч звалілася». Это был общий голос. И свалив эту гору, особенно на первых порах, берегли это настроение легкости и успокоения, пока текущая жизнь с ее суетой и заботами, злобами дня и ночи, не вступала в свои права. Счет опять пополнялся и накоплялся до нового очищения. И так вплоть до смерти.

После пяти лет, с той поры, как меня стали учить Богу молиться, было решено послать меня в исповедь. Никто не сомневался, что я уже способен грешить и ответствен за грехи и должен каяться. Всего менее в этом сомневался я и считал себя обремененным самыми разнообразными грехами. Мало ли их было? И сестру обижал, и старших не слушался, и мать, раздражая, в грех вводил, и крал, лгал, и Богу нехотя молился, и всего не перечтешь.

Когда я услышал об этом решении, надо сказать, что я струсил. Особенно после надлежащего вразумления о значении этого грозного акта. Но делать нечего: умел грешить — умей и каяться.

Припоминая свои тогдашние настроения, думаю, что я не меньше каялся и сокрушался о грехах, чем мои сородичи. Первым делом надо было вспомнить все свои грехи. А кто их упомнит? По свежей памяти я ясно помнил, как обманул простодушную доверчивость Магдаленки, предложив ей разделить лучиночкой, положенной сверху общей

миски с молочной затиркой, причем я буду есть свою часть, а ее части, гораздо большей, не трогать. Она, разумеется, согласилась, так как была в очевидном выигрыше. Я добросовестно в ее часть не залезал ложкой. И только под конец она увидела, что затирка все больше исчезает и в моей (что не диво), и в ее части, что некоторое время ее изумляло — и наконец, оставшись при печальном интересе, разразилась горькими слезами. Я, конечно, мог бы сказать, что она наказана за своекорыстие, и еще хуже, вроде: на то и щука в море, чтоб карась не дремал, но все это в таком серьезном деле не годилось. Виноват — и кончено. Я решил покаяться, но не умел формулировать этого греха. Гораздо проще было сказать, что я бил ее кулачишками в плечи. И еще легче, что я у матери сахар крал, а у дяди Онуфрия — порох (в последнем случае я был пойман с поличным и потому, «на гэтым свеці свой грэх атпакутываў»). Я добросовестно припоминал все свои грехи — и их оказался целый ворох, пожалуй, и непосильный для моих слабых плеч. Я искренно у всех просил прощения, кланяясь, разумеется, в ноги: все твердо и уверенно повторяли: «Бог простит!». Юзика я довольно долго искал и пред ним повинился, поклонившись в ноги (от него долго пришлось ждать повинной: он, как католик, не мог без знания «Катехизиса» отправиться в исповедь, а это наступило не скоро, лет через десять, если не больше. Дорого ему достались «гэтыя катхізмы»!).

Получив так легко прощение у домашних, я все же шел с сокрушенным сердцем в церковь. Унылый звон, полумрак и холод. Дьячок что-то читает, от поры до поры батюшка выходит в черных ризах крестится и кланяется. И все кланяются. И я усердно крестился и кланялся. За три дня говенья я немного освоился, а все же трепетал: а вдруг батюшка не допустит до причастья. Я знал, что это бывает. Рожденный и воспитанный в религиозной атмосфере, я знал, что в видах покаяния «крыжэм ляжаць» заставляют, и видел в костеле лежавшего «крыжэм» на кирпичном полу у притвора; я слышал и худшее: как лежали «крыжэм» у церковного порога и все переходили чрез лежавшего. Не то, чтобы я думал, что все это меня ожидает, но вся эта осведомленность нагоняла страх.

Я чувствовал, что я у власти некоторой таинственной силы, которая все знает и которая все вяжет и решает, и не прощает одного — утайки. Конечно, я таить не собирался, но всех своих грехов — хоть убейте — вспомнить не мог.

По счастью, вместе со мной шел к исповеди Мікола Петраў, хлопчык года на 3—4 старше меня, стало быть, уже парень бывалый. Он довольно просто к этому страшному акту относился, и на мои сокрушения, что всех грехов не вспомнишь, он дал ловкий совет: а ты батюшке скажи: «Грэшэн усімі сваімі грахамі!». Я сразу понял, что эта общая формула выручает меня.

И когда я со страхом и трепетом подошел к аналою, отбил положенные поклоны, и положил два пальца на крест, как меня учили, то, не ожидая никаких вопросов, сразу заявил: «Грэшэн усімі сваімі грахамі».

А там пошло как по маслу: молишься ли Богу, всегда ли слушаешься таткі и мамкі. Надо усердно молиться, никогда не лгать, слушаться старших и т. п. простые вещи. Разрешительная молитва — и эпитрахиль снята с головы.

Я понимал, что это еще не все, но домой побежал опрометью, не то что идя в церковь: гора с плеч свалилась. Ко мне относились серьезно и ни о чем не спрашивали.

После причащения все было покончено. Я и Микола — веселые и счастливые — резво шли домой. Подражая взрослым, он говорил: «як скінеш усі грахі, дык так легка на душэ». А я повторял то же самое, что и мне на душе легко и говорил это не облыжно: это именно я и чувствовал, может быть, благодаря ловкой формуле.

Раз начавши, я уже ежегодно ходил в исповедь. Было страшновато и ощущение легкости возвращалось, но это все же было не то.

Особенно меня смущало несерьезное отношение к моим грехам, когда я стал школьником. Школьников священник исповедывал целыми группами, так сказать, оптом, и оптом же отпускал им грехи. Это была ошибка. Это противоречило моему внутреннему сознанию: я ясно видел и понимал, что это несерьезно, и, стало быть... вывод ясен, но я его сделал только впоследствии.

ШКОЛА

Вскоре после этих столь важных событий, ежегодного самоочищения, мне исполнилось шесть лет, и было признано своевременным послать меня в школу. Стало быть, это было осенью 1868 года. Это был год моей обреченности на тяжкую работу, работу неустанную и бесконечную, с недостижимой целью — объять необъятное, и притом — с негодными средствами.

Никто, разумеется, столь широкими целями не задавался, а я всех менее, ибо если бы я знал, чем это пахнет и к каким поведет для меня последствиям, то, вероятно, не бежал бы вприпрыжку, когда вел меня отец в школу, и не трепетал бы от удовольствия и страха, обычных пред рискованной борьбой, в которой можно победить, но и потерпеть жестокое поражение.

Школа в Холопеничах, как мы знаем, была не новость. Напротив, как мы знаем, наше местечко было, наряду с Череей, в некотором роде «очаг» просвещения для окрестной шляхты, а отчасти и для дворовых и, может быть, в единичных случаях для земледельческого крестьянства. Много я слышал рассказов о старой школе и ее порядках с пышными и странными терминами: рэктар, прафесар, дарэктар. Я знал, что там по субботам пороли, и знал, как приспособлялись к порке дед Вінцэсь, Ігнацы Трыпуцень, Аўгустын Капачэўскі и др. Коечто я знал и о новой школе — школе скромной, крестьянской, не чета тем величавым «гмахам і мурам», которые постепенно разрушались. У бабы Рузали один год стояли на квартире три школьника из соседних деревень — Галькоў и Баркоў, и я видел, как они по вечерам, при свете лучины, стоя у светца, силятся одолеть трудности «слібізаваньня» (буквосочетания), и как это странно звучит и какие странности из этого выходят. Я знал, что такое «лекцыя» (то, что задано) или урок и к каким последствиям ведет, если не выучишь, — знал, что бьют «па лапах», ставят на колени, секут розгами. Это не так страшно, но ходили слухи, впрочем, недостоверные, что, ставя на колени, подсыпали горох и дресву. Все это, конечно, смущало. Подражая школьникам, я пробовал свои силы по

части чтения книг, становясь у светоча, с раскрытой книгой и повторяя то, что произносили они, и даже прибавлял коечто от себя, поскольку помнил Ганнины молитвы. И хотя бабушка, и мать, и тетка дружно похваляли мои достижения, но я чувствовал, что они слишком пристрастные судьи, слишком снисходительны ко мне, поэтому понятно, что я и радовался, и трусил, идя навстречу неизвестному.

Школа была близко, в трех шагах от бабиной хаты и совсем рядом с нашим бывшим домом.

Помещалась она в бывшем больничном здании времен графа Хрептовича. Это было здание довольно обширное: ранее в нем было три палаты — две поменьше, одна побольше, — аптека и комната для фельдшера, и все это было отдано под школу, так что часть комнат пустовала. Учились в одной большой палате и в одной комнате поменьше, а третья была вроде учительской, где стоял стол и шкап с книгами.

Уже на улице слышался мелодический гомон множества голосов, как в потревоженном пчелином улье, когда я вошел с отцом внутрь, гомон превратился в галдеж на разные голоса, — галдеж, который, как оказалось, не умолкал ни на минуту: все долбили уроки вслух, и это было обязательно, это была система.

Все, что я увидел и услышал, казалось весьма странным. По стенам стояли длинные парты, за которыми сидели и ребята, и взрослые парни, и девочки, и девушки, а посредине стоял стол и классная доска.

Тут я был сдан, с рук на руки, Ивану Баранку. Так его звали за кудрявые волосы, — особенность, редкая у белорусов и потому отмеченная кличкой. Я помню в Холопеничах, на несколько сот жителей, только трех кудряшей — два с черными, один с русыми волосами. Это был еще мальчик лет 17—18, в лаптях с ременными повязками, в белой сермяжке, с сильно осповатым лицом, как и его брат Лаврен, оба счастливо перенесшие жестокую оспу.

Звали его собственно Иван Игнатьевич Борковский. Это был мой первый и самый важный учитель, ибо в его помощи и в его указаниях я, несомненно, нуждался и начатками грамоты ему всецело обязан; а что касается остальных, которых у меня

было не много, то я старался по возможности обходиться без них.

Иван Баранок был одним из крестьянских школьных пионеров в Холопеничах, учеником, так сказать, первого крестьянского призыва, наряду со многими другими, уже взрослыми парнями, как Янка Лісоўскі, два брата Галаваны, Рыгор і Канстантый, Захар Скалубовіч и другие, которые, научившись читать по-русски и славянски, кое-как писать и начатки счета, уже оставили школу и важно пели на клиросе в церкви. Другие его сверстники, уже великовозрастные, еще долбили грамоту под его руководством и его проверкой и оценкой исправности, со всеми последствиями, на случай неодобрения.

Это был лучший ученик из первого призыва. Он бойко читал по-русски и славянски, умел красиво выводить буквы гусиным пером, и знал «все четыре действия» счета, чем далеко не всякий мог похвалиться из выбывших из школы и в ней пребывающих семь, восемь и даже более лет. Он обладал сильным и красивым голосом и служил лучшим украшением церковного хора, переходя последовательно из альтов в тенора, из теноров в баритоны. Звучно и четко читал апостола (верх горделивых достижений для школьников, мечта многих, но далеко не для всех осуществимая), и, уже будучи глубоким стариком лет 80, мне похвалялся, что за всю жизнь, как помнит себя, он ни одного не пропустил богослужения, будучи крестьянином-хлеборобом. Между прочим — он великолепно знал сложный церковный устав. И ясно, что он был настроен религиозно и в своих мнениях был тверд и весьма ортодоксален.

Таков был мой первоучитель. Указал он мне место за длинной партой, куда я должен был залезть, нырнув снизу, что никакой трудности для меня не представляло, как и для всех других, как и для мастера Рыгора Паўжыдка (бойко говорил по-еврейски), который их делал, как и для его заказчиков и руководителей. Мы бы, разумеется, удивились, что может быть иначе.

Я сунул ему, т. е. Ивану Баранку, в руки три объемистых книжки с картинками, чтобы он выбрал подходящую. Но он, положив книжки на стол, вынул из шкапа трубочку из

сахарной бумаги (бибулы) и, свернув ее в обратную сторону, выпрямил и разложил передо мной. На ней были наклеены крупные буквы и четыре ряда по 8 и 9 букв, а пятый состоял, как я узнал после, из 10 цифр. Взял в руки со стола деревянную указку из лучинки и «пераказаў» мне трижды первый ряд: *бэ, пэ, эф, ха, цэ, чэ, ёр, яры, и с краткой*, заставляя меня громко повторять вслед за ним.

Затем заставил повторять весь ряд самостоятельно, поправив раза два, предоставил меня на произвол моей детской памяти и, наказав, чтобы я твердил беспрерывно, ушел продолжать прерванную нашим приходом работу по выспрашиванию уроков.

Это было совсем не то, что я себе представлял: нечто совсем для меня странное и непонятное. Но я усердно стал повторять эти странные звуки, тыча в них по очереди указкой, мне врученной. Но рядом со мной сидел уже три года Миколка Голован с книжкой, а с другой стороны первогодок с такой же хартией, как у меня, быстроглазый и веснушчатый Рыгор Дзідачка (уличная кличка его отца), которые, когда Иван Баранок повернулся к нам спиной и, стало быть, не мог видеть, что мы делаем, подтолкнули меня в бок и, в качестве людей бывалых, показали мне, как можно извлекать удовольствие из школьного галдежа. Это очень просто: надо обеими руками закрыть уши и затем более или менее быстро, меняя ритм, открывать и закрывать, и получается очень приятное: а-ва-вав, а-ва-вав... Это называлось «музыкой», которую виртуозы могли разнообразить на разные лады.

Мне это показалось очень занятным, и я довольно долго упражнялся в новом искусстве, пока не опомнился, что ведь я не для этой забавы сюда пришел. Опомнившись, я взял как следует в руки указку и стал твердить: «Бэ, пэ, эф...». И стоп! Не тут-то было! Ясно чувствую, что не то. Потерял порядок. Тут меня ужас охватил, когда я представил себе возможные последствия этой утраты. И я, покрывая весь галдеж горестным плачем, завопил: «А Божа ж мой, Божа, — забыўся, забыўся!»

Раздался громкий смех. Смеялся и сам Иван Баранок. И ничего страшного не последовало: он подошел ко мне, улыбаясь, «пераказаў» еще раз и, приказав твердить неотступно,

пошел справлять свое дело. Тут я стал твердить не отрываясь, и напрасно меня тот и другой толкали в бока: я отмахивался рукой и локтями, не отрываясь. Оторвался я только на момент, когда величественно вошел в класс диакон Томашевский, еще молодой человек с красивым лицом, в николаевском плаще с пелеринкой. Он снял его и повесил на гвоздике у шкапа и, оставшись в подряснике, был весьма похож на Христа, как его изображали на картинках в детских книжках и как описывал его внешний облик Алексей Толстой:

Делятся на две половины
Его волнистые власы...
Слегка раздвоена брода...

В самом деле, батюшка был очень красив. Нежное белое лицо в черном обрамлении, белые холеные руки. Такие величавые красавцы нередко встречаются среди старинных поповских родов, где явно культивировалась особая порода: высокий, стройный, он производил не менее импозантное впечатление, чем мой крестный, пан Лапа.

Контраст этой фигуры в сопоставлении с невзрачным, в большинстве, населением школы, был тем более внушителен и ясно ощущался, как нечто особое, отборное, холеное, высшее.

Таким, по крайней мере, он казался мне, 6-летнему мальчику, вообще склонному, подобно институткам, влюбляться в своих учителей.

Диакон Томашевский и считался нашим учителем. Приходил часа на 2 перед обедом и часа на 2 после обеда. Платили ему за это, надо думать, не более 150 руб. в год, ибо такова была плата в начале 70-х годов, когда были самостоятельные учителя, а для него это была должность побочная. Он выслушивал у старших уроки, просматривал «чистописание», т. е. письмо с прописей, назначал новые прописи и являлся верховным вершителем серьезных происшествий в школе.

Вся черновая, в сущности, существенная работа лежала на Иване Баранке, который находился в школе неотступно и получал, не знаю — из волости или от диакона, сначала 20, а потом 25 руб. в зиму. Эта плата считалась хорошей, ибо

батраку, правда, на хозяйских харчах, платили в год за тяжелую и непрерывную работу 30—35 рублей, а батрачке на 10 руб. меньше.

Иван Баранок расправлялся с нами живо и непосредственно: дирал за уши и за вихры, бил линейкой «па лапах», а иногда и по спине, и за незнание урока, шалости и озорство ставил на колени. В случаях, выходящих из ряда, докладывал диакону, ибо право розог ему, видимо, было не предоставлено.

Эти приемы расправы считались делом естественным, неизбежным, необходимым и полезным, никто этим не возмущался, никто не протестовал; совсем напротив: хорошие бацькі в особицу просили не распускать их детей, а бить, как следует, «каб не разбазырылі» (не распустились). «Распуста да дабра не давядзе». Всего менее его расправами возмущались мы, и не столько с точки зрения педагогической целесообразности, которая, впрочем, нам была не чужда, сколько» просто считая такие мелочи не стоящими внимания: в своих драках и потасовках мы много чувствительнее друг друга уязвляли.

Частенько друг другу кровь из носу вышибали, бывали, но реже, и пробитые головы. Последнее считалось делом серьезным, это и мы понимали, и родители опасались.

Надо сказать, что педагогический режим Ивана Баранка был много мягче, чем предшествующий дьячка Хруцкого: этот бил «па лапах» линейкой, «што рукі ўспухалі, як пампушкі», сек по рукам сыромятными кончуками и порол розгами — собственноручно.

В мое время об этом ходили сказания, как о временах героических в истории нашей школы. Это были ее первые шаги, закладка фундамента под суровым руководством диакона Пигулевского и дьячка Хруцкого, первоучителей новой школы.

В этой-то школе и учился Иван Баранок, и значит, оттуда вынес свои педагогические приемы, и если он их смягчал, то это лично ему делает честь.

Надо сказать, что величавый диакон Томашевский не унижался до ручной расправы: он только ставил на колени, что считалось незазорным, так как входило в число религиозных упражнений. Розги применил он только один раз за время

моего трехзимного пребывания в школе под его главенством.

Это было вскоре после моего поступления в школу.

Как я сказал, состав школы был возрастно неоднородный: наряду с малышами были взрослые парни и девицы лет 17—18, а может быть, и более.

Впоследствии этого никогда не бывало, а на первых порах, люди словно бы стремились наверстать упущенное и шли в школу уже великовозрастными, а затем излишне засиживались, отчасти по личной тупости, а, главным образом, вследствие неправильной постановки дела и дурных методов обучения, если, впрочем, те примитивные приемы, которые практиковались в школе, заслуживают названия методов.

Так вот, в числе таких переростков был Роман Семеник из близкой деревни Городища, парень лет 18 (вскоре взят в солдаты и был в военных писарях) подлым образом применил свое уменье писать, написав записку Аўдулі Трыпуцень, уже взрослой девице, в гнусных выражениях. Она, прочитав, горько расплакалась. Иван Баранок, обратив на это внимание, подхватил записку и, когда пришел диакон, передал ее ему.

Диакон, читая, покраснел, как маков цвет. Мы замерли, и обычный галдеж громкого чтения утих.

— Розог! — сказал диакон, и стал ходить быстрыми шагами. У меня серце захолонуло и мороз по коже пробежал.

Баранок сделал необходимые распоряжения.

Роман Недбайла, парень туповатый, сидевший всегда с раскрытым ртом живо сбегал по соседству в волостное правление, где у сторожа были всегда розги в запасе, березовые и свежие, и вскоре появился с пучком в руках.

— Десять розог, — сказал диакон, и повернулся лицом к окну.

— Выходи! — скомандовал Баранок.

Семеник послушно вышел на средину и лег на брюхо. По знаку Баранка четверо парней вышли придерживать, а Недбайла, сдернув штаны, начал отсчитывать. Есть такие любители экзекуций: он был из их числа.

Я сидел ни жив ни мертв. Эта экзекуция произвела на меня потрясающее впечатление.

Не то, чтобы розги мне были страшны: ведь отец сек меня в Бобруйске и еще недавно высек в бабиной хате, и несравненно больнее и жесточе (до язв на спине) чем это мог сделать для своего тезки Роман Недбайла. Очевидно, дело было в обстановке, в публичности наказания, в стыде. Не знаю, как себя чувствовав Семеник (он кричал, но дело не в крике), но я был глубоко потрясен и тем самым понес тяжкое наказание, будучи ни в чем не повинен. Думаю, что так же чувствовали себя и многие другие.

Но это был случай исключительный.

«Ступай на колени!» — часто практиковалось и долго не выходило из употребления в старой школе, преемнице бурсы Помяловского; иногда стояло человек до 10 и больше, стояли по часу и больше, но это никого не возмущало. Ставили за шалости и за незнание урока. Это было слишком обычно и потому безобидно. Горох и дресва, видимо, были мифами, а если и практиковались, то в старое время. Меня и дома ставили на колени, и в школе один (это помню хорошо) или два раза стоял. Стыдно, разумеется, было, и если долго стоять, то и больно, но боль пропадала, если присесть. Однако это редко удавалось, ибо товарищи зорко следили, чтобы не было фальши. Это были любители пыток (каб яму добра ўскурыла) или потерпевшие: они, окликнув Баранка, докладывали: такой-то присел.

Таков был режим в нашей школе, в общем обычный и нестрашный, за исключением случая с Романом Семеником.

Я, как хорошо учившийся и отчасти как принадлежащий к семье, с которой считались, всего менее от него страдал.

Один раз я сильно пострадал, но это была вина не школы, а жестоких нравов.

Дело было так. В школу зашел во время обеденного перерыва помощник фельдшера, косоглазый Яцек (Бог шельму метит). Один из взрослых парней (Федор Попков) мне шепнул: «Скажы ему: Яцэк, дай мне цацэк. Ён гэта любіць». Я, с доброй верой, подбежал и бахнул: «Яцэк, дай мне цацэк» (игрушек). Ну, и дал же он мне «цацэк»! Он схватил меня обеими руками за волосы, приподнял и долго кружил по классу. Волосы или кожа трещали, боль была невыносимая, я неистово кричал, пока он меня бросил со словами: «На табе цацэк!»

Долго я помнил эти «цацкі»! Голова болела невыносимо и кожа распухла. Дома надо мной мать плакала, бабушка стонала и клала компрессы.

От неожиданности, перепугу и адской боли я захворал и несколько дней не ходил в школу. В довершение обиды, когда я появился в школе, то тот же подловатый Федор Попков, радуясь, что шутка удалась, и другие с ним еще донимали меня насмешками: «А што? — добрых табе Яцэк даў цацэк? Ці смашные? Відаць — дужэ былі смашные?»

Был еще со мной подобный случай, от которого жестоко пострадала моя густая шевелюра, но случай, не столь немотивированный и потому менее обидный. Как-то сцепились мы драться с Юзиком Адвардыковым — мальчиком, года на 3 старше меня. Стало быть, силы были неравны и мне здорово доставалось. Но это был честный бой. Я выбивался из сил, но не сдавался. Как кто-то из добровольцев или любителей жестоких зрелищ кликнул мать моего противника Анэту Адвардыкаву. Она, как кошка, подкралась сзади и вцепилась мне в волосы на затылке и двинула кверху. Надо знать, что на затылке и на висках самые чувствительные места. Я взвыл от боли и, конечно, выпустил своего противника. И насилу вырвался из рук разъяренной, как волчица, матери. Обида была кровная, ибо мне досталось и от сына, и от матери.

Но это была мать, которая в таких случаях не рассуждает.

Но Яцек, но Яцек, который из-за невинной детской выходки поднял меня за волосы и кружил на весу, — что он такое?

Было немало жестокостей, которые я претерпел, но жестокость Яцка была исключительной: ведь шестилетний мальчик, почти ребенок!

Но возвратимся к школьным впечатлениям первого дня. К полудню нас отпустили на обед. Уходили не все: кому было далеко, тот вынимал хлеб из кармана или пазухи, с салом или кусочком сыру, или печеную картошку, и подкреплял свои силы тут же, сидя за партой. Иной, если печка топилась, изысканнно лакомился, поджаривая сало на рожончику. Иные «пражылі» (поджаривали) здесь моченый горох на сковородке, взятой у сторожа (за особую дань) — тоже блюдо, считавшееся изысканным.

Были ребята моего возраста и мне, засидевшемуся, было весело с ними поиграть, пошуметь, порезвиться.

Впрочем, не знаю, отчего: может быть, от новых впечатлений, которые, накопившись, теснились в груди и просились наружу, может быть, оттого, что задаром сошла моя забывчивость, но я был в восторге, который называют телячьим, т.е. в сущности беспредметным и неосмысленным, я забыл и про еду, и не пошел домой. Но явилась тетка Ганна и меня силой извлекла из веселой компании. Придя домой под конвоем, я говорил захлебываясь и не мог наговориться, — так мне понравилось в школе. И бабушка, и мать участливо и любовно на меня глядели.

Я, разумеется, пересказал мудреные и их озадачившие *бэ, пэ, эф* и пр. И, развернув свою хартию, тыкал в них указкой: рассказал о страхе моем от забывчивости и о чудесной, вновь открытой музыке, и похвалился, что сдал урок и все прочее.

Есть, от восторга чувств, я не мог; меня понуждали, но с малым успехом. Я рвался скорее в школу и, вбежав, закричал от избытка чувств. Самое приятное, что давала нам школа, это были предурочные шалости, возня, гомозня, с загибанием салазок, вытряхиванием сора и наваливанием кучи человеческих тел, кричащих, вопящих, стонущих и взывающих.

Все это длилось до появления грозного Ивана Баранка, который хватал за уши и за вихры тех, кто попадался под руку.

Приведя класс в порядок, он садился к столу чинить гусиные перья. Писали все перьями гусиными и о стальных не имели понятия. Два года спустя я принес было ручку со стальным пером. Ее рассматривали, как диковинку, пробовали писать; сам Иван Баранок пробовал — и единодушно забраковали как негодную немецкую выдумку.

Я сам испытал, как труден переход от мягкого гусиного пера к тупому и непокладистому стальному.

Было решено, что стальным пером только «руку спорціш».

А так как перочинный нож был один у Ивана Баранка и только немногие обладали тонким искусством очинки перьев, то он один чинил и поправлял перья всем.

Старшие ученики, человек 10, проучившиеся не меньше 3—4 лет, писали чернилом на бумаге, которую сами линовали.

А вся остальная масса писала на деревянных досках, выкрашенных черной краской, меловым раствором, который приготовляли тут же, натерев мелу на доске. Все дело было в искусстве раствора: не жидко и не густо. В первом случае будет разливаться, во втором — не сползать с пера.

Я долго этого не умел постигнуть и потому искусство мелового письма мне долго не давалось: все кляксы и разливы.

Писали с прописей сначала элементы буквы: палки, круки и гуськи.

Я, разумеется, начал с палок и несколько недель их выводил. Представлял диакону — и все без успеха. Наконец — я так наторился, что исписал всю 12-вершковую доску в пять рядов — тонко, ровно, на одинаковых расстояниях — беленькие рядышки.

Когда я показал свои достижения диакону, он ласково и нежно погладил меня по голове своей мягкой рукой и сказал:

— Молодец. Хорошо, хорошо... Пиши круки.

Сердце у меня радостно затрепетало, и кровь бросилась в лицо... Это была моя первая победа и первая похвала. Я потом одерживал их без конца, но они не оставляли во мне столь глубокого впечатления, как эта первая победа трудностей и первая ласка и похвала.

Я и теперь чувствую нежное прикосновение руки к волосам.

За две зимы моего обучения в школе (1868—70) дневной распорядок был один и тот же: до обеда — зубрежка и выспрашивание уроков, после обеда — письмо и изредка для старших обучение счету; затем — общее богомоленье — и по домам.

Я расскажу — чему и как меня учили, и тогда будет видно — как учили всех, с тою только разницею, что я, благодаря отличной памяти, шел впереди своих сверстников и обгонял более ранних, даже семилеток.

Никакого разделения на группы не было, а переходили от книжки к книжке: выучил на память одну — дают следующую в определенном порядке. Все дело в памяти, которой я превосходил других и потому быстро переходил от книжки к книжке.

Как я уже говорил — началось с азбуки: по ряду из 9 букв в день. Когда я вызубрил в порядке все 4 ряда, Иван вернул меня к первому ряду в обратном порядке. Выучил и в обратном порядке, но в отдельных буквах путался. Значит, зрительная память была слабее. Может быть потому, что путался, Баранок задавал ряды вертикальные по два, по три в день.

И когда я вразбивку, с укрыванием соседних букв (хитер был Баранок!) мог назвать каждую букву безошибочно, тогда мне дали книжку — новенькую книжку с картинками в красной обложке, которая так приятно ласкала глаз! То-то было радости! На обед я бежал не чуя ног. И разумеется, всем показал, что в ней есть: и баба Рузаля, и мать, и тетка Мариля, Ганна, — все наклонились над столом, а я, захлебываясь от волнения, показывал картинки, которых, впрочем, было не много: был Христос, похожий на диакона Томашевского, и был царь, кругловидый, надутый, так что «страх і глядзець», со шнурками и петлями на груди. Христа с кружком вокруг головы я сразу полюбил. В одной руке он держал открытую книгу, как бы говоря: «Читай!», а другой благословлял. Это все премудрая бабушка разъяснила. А царя я немножко боялся: уж больно надуто и грозно он глядел. Насчет его странного одеяния бабушка разъяснила: гэто ў яго такій залатый кажушок (шубейка) з залатымі шнурамі. А сколькі у яго крыжоў[176] ды мідалёў! Хто толькі іх яму дае? Можэ сам бярэ? Не, сянат яго награджае.

Тетка Ганна меня всего больше заинтриговала, заметив:

— Кажуць, што ў цара па локыць залатые рукі. Сам бел, як папер[177], а як ляціць, дык і вокам ня змігнеш.

— Хто гэта відзеў? — усомнилась тетка Мариля.

— Салдат атстаўны расказываў: ён павінен знаць. Кажа: я цару служыў! Так создавалась и распространялась царская легенда.

Я первый был ею заинтересован и спешил узнать: что там написано под царским партрэтам. Но пока я важно прочитал одну строчку заданного мне урока, которую уже затвердил в школе, по указке Ивана Баранка: *ау, уа, ае, еа, оу, уо, аю* и пр. К книжным странностям все уже привыкли и им не удивлялись: далее пошли двухсложные сочетания, которые Иван Баранок учил читать так: *Бэ—а-ба, бэ—а-ба = баба; дэ—у-ду;*

га—а-га = дуга; эс—а-са, эн—и-ни = сани. Читали нараспев, произнося две буквы — согласную и гласную, вы сливали их в слог, а затем, назвав слоги, возвращались назад и произносили слово целиком. Потом шли слова трехсложные и многосложные, с наращением согласных и с разными другими осложнениями.

Это был букварь Главинского, который, по сравнению со старыми букварями, где учили читать: *буки—аз-ба, буки—аз-ба-ба-ба* — был значительным шагом вперед. Помимо некоторого облегчения сочетаний, материал для упражения был в нем более систематически подобран.

Процесс обучения был очень прост. Баранок сначала выслушивал заданный урок. Если вы ошиблись, он нащелкает по лбу, норовя попадать по одному месту. Это легкое поощрение. Или «накруціць за вушы», или надергает за волосы — это серьезней. Или нахлопает линейкой по рукам или же поставит на колени. Смотря по расположению своего духа или степени вашей неумелости и незнания. Затем еще раз перескажет и пойдет к следующему.

Если вы прочитали правильно, он вам перескажет следующий урок, слог за слогом. Ваше дело запомнить или догадаться, что из *бэ* и *а* выйдет *ба*.

Я довольно скоро овладел чтением по складам. Тогда меня заставили читать «па верхам», т. е. сразу, без предварительного сочетания в слоги. Это было много труднее: мешала привычка. Трудно было сразу сказать: *баба, дуга, сани.* Но я скоро одолел и это препятствие и после связков бойко читал, при свете лучины: *ржа, ржавчина, ржавый, ржавец; сорвал, сорванец, сорван...*

Бывало, говорят: нет ведама, што ён чытае? Другие поясняли: слібізуе. Гэта значытца: ламаньне языка.

К масленице я наломал язык основательно и закончил букварь Главинского «па складам і па вярхам».

Это было редким успехом, которым и я, и все мои присные весьма гордились.

Были неудачники с слабой памятью, которые, что заучивали зимой — летом забывали и потому долго толклись на одном месте.

После этой победы-одоления меня посадили за славянскую грамоту: азбука, слова под титлами и чтение молитв с заучиванием наизусть.

Тут я живо одолел ту премудрость, которую столь неудачно мне передавала тетка Ганна.

И можно сказать, что за одну зиму я стал грамотным, но еще не был «пісьмённым» — писать на бумаге пером еще не пробовал.

Всю зиму я писал меловым раствором на деревянной доске и всего дольше сидел на элементах. Потом писал «малую азбуку», а потом «большую», т. е. с большими буквами.

Слов еще не умел составлять. Эту премудрость я как-то постиг сам, когда мне в награду был куплен карандаш. Надо было его пустить в дело. А что писать, я не знал. Вот бабушка и говорит: «напиши свое имя: Адольф Багдановіч». С большим трудом я выполнил эту нелегкую задачу, мешая прописные буквы со строчными. Тут я впервые узнал, что я тоже Богданович: я считал, что это привилегия моего отца так пышно называться. Что я тоже Богданович — это исполнило меня гордостью.

— Напішы цяпер Ануфрый Асьмак.

И я это по слогам одолел. Так перебрали мы всю родню, и я исписал целый лист крупными буквами. Мать сочувственно глядела на мои преодоления, причем я, прибавляя букву за буквой, прочитывая написанную часть: Ану... Ануф... Ануфр..., а она мне подсказывала: рэй.

— Цяпер прачытай усё па парадку.

Хитра была бабушка, но я не смутился и вышел из испытания с честию. С той поры я и стал писать, главным образом увековечивая свое имя и счастливо обретенную фамилию где только было возможно. Домашнии меня, знай, похваляли:

— Вот мой унучак! Цяпер ён і пісьмо дзядзьку напішыць, а патом і прашэньня...

Это был предел возможных достижений.

— Я не ў глум[178] гаварыла, што ён будзе разумны. Як яго ксцілі, дык ён глядзеў на свечкі і гаварыў: гу, гу, гу...

Моим успехам по сравнению со сверстниками из надельных крестьян много способствовало то, что их сильнее

моего использовали для хозяйственных работ, так что они полгода не брались за книжку. Меня менее приспособляли к работе. Меня поощряли всячески, но и принуждали: садись за книжку, ці «грамзоль»[179] што-нібудзь. Я и читал, я и «грамзоліл» что-нибудь, главным образом, списывал с книг. Это был единственный способ научиться писать, который практиковала школа и который пользовался признанием и даже популярностью среди грамотников.

Хочешь научиться правильно писать — списывай с книг, таково было общепризнанное правило.

Так и учились, и некоторые писали довольно правильно «по наглядке», по навыку.

По окончании славянской книжки с молитвами и изречениями из Библии в следующем учебном году мне дали маленькую книжку: «Начатки Христианского православного учения», книжку, видимо, ходовую, ибо у меня есть ее 115-е издание 1887 г. Я был рад ее найти у букиниста, слегка попорченную. Чем-то далеким, очень далеким от нее повеяло. Проверяя себя, я увидел, что еще помнил из нея целые страницы, а первый урок прочитал на память дословно: так твердо сохраняет молодая память свои приобретения! А ведь этому 62 года!

Просмотрев ее и припомнив ее содержание, построение и язык, я пришел к заключению, что для той цели, для которой она предназначалась, это была весьма хорошо составленная книжка. Язык простой, поскольку о мудрых вещах можно писать вразумительным языком; уроки, изложенные связно, небольшие; после каждого урока имеется «изъяснение урока в вопросах и ответах». Вот образчик:

В. Что разумеется под словом мир?

О. Небо и земля, и все, что в них.

В. Кто называется вечным?

О. Тот, кто не имеет ни начала, ни конца, но всегда был, есть и будет.

В. Вечен ли мир?

О. Нет. Он получил начало.

В. От кого мир получил начало?

О. От Бога.

В. Из чего Бог сотворил мир?

О. Из ничего.

В. Каким образом Бог сотворил мир?

О. Словом своим; ибо Он всемогущ.

В. По какой причине Бог сотворил мир?

О. По благости своей, чтобы твари получили от него столько добра, сколько принять могут, и радовались, и блаженствовали.

Такова была моя первая антология и космография, пришедшая на смену миропостроению, начертанному в моем детском умишке из махонького оконца над теткиной кроватью, откуда я ясно видел, что за гумном Міхалкі Чарэйскага небо сходится с землей, и что «азярод»[180] на его гумне подпирает небо, и что по азяроду можно взлезть на небо, а коли пройти до Городища (2—3 в.), то его и рукой достанешь; и на смену моему миропониманию, значительно расширенному и дополненному поездкой в Калеченку на кирмаш, когда я убедился, что небо сходится с землей за Калеченной и за другими деревнями, где-то подальше Городища. Я нахожу, что под приведенным извлечением Сократ и Платон могли бы подписаться, а под порядком творения, далее следующим, подписался бы и Аристотель.

Знаменитый историк-гебраист Вельгаузен находит, что в соответствующей странице Библии превосходно обобщен мироведческий опыт древнего человечества; а не менее знаменитый астроном Фай не так давно с астрономической точки зрения защищал порядок творения, там изложенный.

После столь знаменитых мужей и древности, и нового времени, я, разумеется, подписался обеими руками. Моя радость была чрезвычайной: наконец-то я добрался до настоящей науки! А какова была радость бабы Рузали, мамы и всех присных, когда я, выучив урок бойко читать, возвещал им великие истины, которые им смутно мерещились, так понаслышке, пятое через десятое. Я думаю, что эта радость имела все права называться блаженством.

И чем далее, то тем более развертывалась, как панорама, картина за картиной, одна другой величественнее, одна другой заманчивее: род человеческий до Потопа, о Потопе, о роде человеческом после Потопа и о происхождении народов и пр., и пр. Так я зубрил свои уроки по вечерам, при свете лучины,

когда вся семья в сборе, и всяк тут же занят чем-нибудь, то я думаю, что и бабушка, на старости лет, и мать, отличавшиеся хорошей памятью, могли смело их выучить вслед за мной. Я рос в своих собственных глазах, словно становился на цыпочки, и мое значение в глазах, по крайней мере, женской половины нашей семьи, все возрастало да возрастало. Отец, когда был дома, охотно слушал мои упражнения в заучивании по частям, строчка за строчкой, а особенно, когда я, одолев все трудности запоминания, бойко чеканил скороговоркой от начала до конца: «Един Бог, во святой троице поклоняемый, есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет. Кроме Бога, все имеет начало. Бог сотворил все из ничего» и т. д. Он слушал, но своего достоинства не ронял и удовольствия ничем не выказывал, чтобы я не зазнавался и чтобы я всегда помнил, что при всех моих успехах, он во всякое время может меня высечь. Я это великолепно знал и неоднократно испытывал.

Но это была та самая «наука», которая считалась самой настоящей, т. е. самой высокой и все науки превосходящей, для овладения которой только и стоит принимать все трудности и терять время. Каждое слово в моей книжечке, понятное или непонятное, считалось святой, самой несомненной истиной, которую возвестил сам Бог, чрез святых мужей своих.

Какими жалкими мне казались космогонические диспуты, вроде изложенных ранее, так близко напоминающие повествование чудских волхвов[181], которые приводит начальный летописец.

Один Гришка Порецкий, человек тупой и упорный, консерватор по натуре, твердо держался шаманистических верований, и когда я, в его споре с бабушкой по части миротворения и потопа, хотел было нечто преподать ему «от писания», то он долго слушал, наморщив свой угловатый лоб и недружелюбно смотрел на меня из-под нависших седых бровей белесыми глазами, глубоко запавшими, видимо, силясь понять сию премудрость, но под конец, рассердившись, вскочил из-за стола и, кинув на ходу: «блазэн»[182] по моему адресу, заковылял к себе домой, опираясь на свой костыль рукою.

Понимал ли я что-нибудь из начальных глав моей важной науки? Я мог бы на это сказать, как один архивариус на мудреную бумагу, которой, начиная с губернатора и его правителя канцелярии, никто не понимал: «понимать — не понимаю, а отвечать — могу».

Отвечать я мог — и оптом и в розницу, т. е. пересказать на память все сначала, а потом вразбивку, по вопросам.

В последнем способе для многих был камень преткновения. Зазубрить подряд еще так-сяк — это могли и Микола Голован, и Иван Трипуцень и Рыгор Кондратович, по прозванию Дзідачка, но по вопросам — садились маком. А Иван Баранок или даже сам диакон Томашевский, выслушав быстрый лопот, держа книжку в руках, вдруг начнут давать вопросы, читая по книжке. Хорошо если — подряд, а еще хуже — на выдерку: по какой причине Бог сотворил мир?

Вот тут-то и закавыка! Особенно трудно было отвечать, если кто доходил до краткого катехизиса, который находился в конце книги: мудрено сотворено. Но моя чудесная память вывозила. Может быть, этой книжечке я и обязан ее развитием. По крайней мере — ей впервые.

Я одолел ее в ползимы. Тогда мне дали объемистую: «Книгу для чтения Виленского учебного округа». Это род хрестоматии, притом труд коллективный, виленскими педагогами составленный и, разумеется, архирелигиозный и архипатриотичный с национально-шовинистической окраской.

В нем было три раздела: церковнославянский, русский исторический с предпосылкой некоторых географических и статистических сведений; и наконец — собственно хрестоматия из сказок, стихотворений и басен.

Я как-то счастливо миновал отдел церковнославянский, может быть, потому, что прошел уже аналогичную отдельную книжку (это делает честь моим учителям), и начал с русско-патриотического.

Из первой статьи я узнал, что мое отечество имеет особое имя Россия (это «звучало гордо» в моем сердце); что в ней 59 мил. жителей (это по статистике 60-х годов; вряд ли я имел ясное представление о значении этого числа); что она делится

на губернии и области (это я очень плохо понимал); что есть еще другие государства, но русское самое сильное и самое большое. В этом я ни малейше не сомневался, и я был уверен, как и все у нас — и в школе, и дома — что все другие цари и короли подчиняются русскому царю. Как же может быть иначе? Один Бог на небе, один царь на земле. А Севастополь, из-под которого не возвратился деверь моей бабушки? Значит — цари взбунтовались, как бунтовали поляки. И конечно, что им так же здорово досталось.

А затем пошли — Русь языческая, Владимир-язычник (это языческая, язычник — казалось чем-то очень странным и нам, белорусским детям, непонятным: язык он, что-ли, высовывал?), Крещение Руси, Владимир-Христианин и пр. И тут же: «Гой, гой, гой! — Красна Земля Володимира! Много в тебе сел, городов больших, много в тебе люду православного!» и пр. Это из Хомякова, и очень мне нравилось. Ну, а сказки, «тые самые, што баба гаварыла», ну, а басни и стихотворения — про них и говорить нечего! Для меня, разумеется. «У лучины» стихи никакого успеха не имели. Напрасно я старался и пыжился, читая нараспев: «Ты рябинушка, ты кудрявая» и «Ивушка, ивушка, зеленая моя». Чуждый язык, чуждые сравнения и образы, — все это мешало эстетическому восприятию. Ну, что говорит белорусским бабам, что ехали бояре из Новагорода и срубили ивушку под самый корешок, сделали из ивушки два весла, а третью лодочку; сели в лодочку, поехали домой, взяли-подхватили меня, молодца, с собой».

Для них все это было слишком пусто и бессодержательно. А мне и другим ребятам нравилось. Не знаю почему — но мне нравился склад московской, как у нас называли, народной песни. Может быть, влияние солдат, которые стояли в Холопеничах, после казаков, т. е. после «мятежа», от которых я в раннем детстве заучил и во все горло распевал:

Из-под лесу перепелушка летит,
У оконца красна девица сидит.
Русу косу чешет, приговаривает:
Порешила меня мать за военного отдать...

Упрямая и разборчивая была девица с русой косой: ни за военного, ни за помещика, ни, тем более, за купчишку не согласилась идти. Но что интереснее — с радостью пошла — за кого бы вы думали? — за студента. Как он забрел в солдатскую песню и в белорусское местечко?

Мне очень нравился образ и перепелушки, и девицы с русою косой, но все более, что она студента предпочла всем соискателям.

Много мы, ребята, от солдат перехватили песен и сами распевали, маршируя: «Черная галка, чистая полянка» и пр.

Не имели успеха ни: «Красным полымем заря вспыхнула», ни: «Что ты спишь, мужичок?», ни даже: «Ну, тащися, Сивко!», или вернее, успех их был очень посредственный. Но мне они нравились и, помимо уроков, начитавшись и кое-что затвердивши из них, я, ложась спать, или утром, проснувшись, твердил их в тишине, лежа под одеялом: я убедился, что это лучший способ заучивания наизусть, и я его часто практиковал. Тут как-то лучше вспоминалось: этак — полежишь, понатужишься и вспомнишь, что дальше следует. После такого приема запоминается на всю жизнь.

Басни имели больше успеха, хотя я их читал плохо. В них было содержание. Особенно нравились «Метафизик» (черт знает, что это значит, да не беда), «Волк и Кот» и «Два мужика».

— Гэта ўсё напрыклад (для примера), тэта нам прыклад даюць. Значытца — каб так не рабілі... Бо куды ты кінісься ў бядзе, усім насаліўшы?

Пока — этой книгой и кончилось мое образование в «старой школе» — школе Ивана Баранка, дыякана Тамашэўскаго и попа Свирского, который, как оказалось, считался законоучителем, но за два года явился один раз в школу, когда приехал инспектор (новый, интересный и непонятный термин! Так у жоўтым кажушку, высокий, чернявый). Тут я в первый и последний раз его увидел, как он, вытянув в трубочку толстые губы, вместе с дьяконом и Баранком пел «Преблагий, Господи», — молитва, которая была у нас не в моде. Но в этом торжественном случае про нее вспомнили. Инспектор кой-кого наскоро спросил чтение и еще давал какие-то вопросы — и к попу отправился на обед или чай пить. Я сидел и дрожал: что-то будет со мной? Никто обо мне и не подумал.

Самым слабым местом «старой школы» была арифметика. Не знали — как ей учить. Правда — не знали, как учить и всему прочему и очень редкие добирались до той книги, которую я только что характеризовал, а застревали либо на Главинском, либо на славянском, либо на «Начатках»; иные, просидев две-три зимы, так и уходили ни с чем; но так все учили, и никто не знал, что можно учить иначе. Но все же нечто выносили, хоть уменье читать по-печатному и, с грехом пополам, подписать свою фамилию. Что касается арифметики, то большинство еле-еле знали цифры попроще.

Обучение заключалось в том, что на классной доске Иван Баранок писал цифры до ста, называл каждую, а мы смотрели, как они пишутся. Затем — брал мел другой, несколько наторился и делал то же самое; затем третий и так далее — без малейших объяснений системы счисления и нумерации. Заучивали написание понаглядке и, большей частию, посредством последовательной нумерации страниц в книжках. Я делал то же, но долго сбивался, как писать 12 и 21, 13 и 31, 14 и 41 и т. д.: я должен был вспомнить — где пишется единица: справа или слева, пока не понял — в чем тут дело.

Когда научились писать до 100, тогда заучивали наизусть таблицу умножения, которой придавали какое-то магическое значение, ее бережно хранили на всякий случай, как хранят волшебные заговоры и таинственные рецепты, и иногда пользовались ею. Заучивая, твердили долго и упорно, плохо понимая: на какой предмет она может пригодиться.

Некоторые счастливцы, в том числе и я, разными путями, больше учась друг у друга, овладели знанием нумерации до тысяч и до миллионов. Таким учитель-диакон или Иван Баранок показали, как производить сложение, потом вычитание, а потом и умножение. Были попытки объяснить нам деление, но это было сложно и трудно понять и, кажется, так-таки никто не понял. Я вышел из этой школы с очень смутным пониманием этой премудрости.

Такова была наша школа. Много разных школьных эпизодов сохранилось в моей памяти и даже характерных, но не стоит на них останавливаться.

Как-никак — я в зиму научился читать. А это — самое главное.

У меня были кой-какие лаповские книжки на русском и польском языке. Я из них, как уже упоминал, в детском неведении, три притащил в школу: там они ляпнули. Что это были за книжки, я не знаю: одна, по-видимому, была зоология, ибо в ней были рисунки разных животных, что мне очень нравилось, тем более, что я здесь встречал своих сказочных знакомцев. У дяди Онуфрия был «Песенник» с собранием прелюбопытных песен и куплетов, но мне его читать не полагалось. Была еще книжка на белорусском языке, напечатанная польским шрифтом, — знаменитый «Гапон»[183] Дунина-Марцинкевича, которого, кстати сказать, помнили кое-кто из местечковых, так как он бывал в Холопеничах и гостевал в имении Шчаўрах у пана Рачковского, где и описал в белорусских стихах «Шчаўроўскія дажынкі». Это — в 5—6 верстах от Холопенич.

Была и другая любопытная народная книжка на белорусск<ом> языке, которая мне потом в белорусской библиографии не встречалась. Книжка была с лубочными картинками, тоже печатанная польским шрифтом и направленная против пьянства. Я слышал, как ее дядя читал и по этому чтению и по картинкам, довольно многочисленным для листовки, знал ее содержание. Коротко говоря, в ней повествовалось, как привыкают к водке, научаются пьянствовать и что от этого происходит. Родившегося ребенка везут пьяные кумы ко кресту и орут песни. Сани опрокинулись и кум с кумой вылетели. Мальчик (тот же) макает хлеб в водку (это в обычае; случалось и мне макать: — вкусно!). Он же парнем в корчме бьется об заклад, что вытянет кварту «адным духам», т. е. не переводя дыхания. Выполнил не легкую задачу: валяется пьяный. Тащит в корчму хомут и седелку: вот до чего дело дошло. Затем ходит «па ўбоству» на костылях. Надо думать, что кончил как-нибудь еще печальнее, но конца я не помню. Так как белорусская литература XIX века вообще крайне бедна, то, на всякий случай, отмечаю эту книжку: авось, для чего-нибудь понадобится. Мы ведь не чужды белорусской литературы и культурным интересам белорусов.

А теперь я расскажу о своей первой книжке, внешкольной, разумеется.

Дело было на Ражанцовую (после Покрова) в Холопеничах — трехдневная ярмарка, по поводу учреждения которой они впервые упоминаются в государственных актах (если не ошибаюсь, 1703 года). Это первая ярмарка, которая сохранилась в моей памяти, т. е. на которую меня мать повела. Какие чудесные впечатления и переживания! Уже на дворе бабиной хаты слышался гомон, которым было наполнено все до самого неба. И чем мы дальше подвигались, тем гомон становился громче. Великолепная музыка человечьих голосов! Что пред ней наша школа!

А когда мы взошли на церковный пригорок — открылось чарующее зрелище бесчисленного народа в черных шапках, белых «валенках» и цветных платках. Я был очарован и шел, не слыша под собою ног. И вот мы всходим на базарную площадь. Как раз почти со входа Владимирский офеня[184] обосновавшийся в Борисове, раскинул по земле книжки, картины и на подставе расположил иконы. Я как взглянул, — так и замер: сколько разноцветных книжек с картинками.

— Мамачка, родная, купі кніжку!

Это оказалось не так-то просто: каждая копейка на счету. Очевидно, что эта покупка в расчеты матери вовсе не входила: самое большее, — купить «перніка» на выбор: коника, солдатика, рыбку или просто четырехугольную коврижку с оттиском.

Но я был неотвязчив и так просил-молил, что — сердце не камень: растаяло.

— Якую табе?

А я не знал, «якую». Выручил офеня: он сунул первую попавшуюся. Маленькая книжечка в желтенькой обложечке. Я был вне себя от восторга. Все бесчисленные ярмарочные дива, вроде целых возов с бешенковскими баранками, множество лотков с желтыми медовыми пряниками, навес другого офени (Дехтярева) со всевозможнейшими чудесами на все вкусы и потребностями: тут и народная галантерея, и гармоники, и чашки, и ложки, и плошки, — все это для меня потеряло значение: я торопился домой, чтобы насладиться своим

сокровищем, и беспрестанно дергал мать за рукав! Но у нее были другие дети, которые ждут ярмарочного гостинца, и поэтому она несносно долго переходила от воза к возу, от лотка к лотку.

Я, конечно, получил «пернік» (солдатика с ружьем и сусальным золотом на кивере), но это для меня имело второстепенное значение. Главное — книжка, моя первая несравненная книжка! На ходу я прочитал: «Житие святаго Антония Папы Римского». Тут же под заглавием был изображен святой с воздетыми руками, в розах и клобуке с ореолом, стоящий на камени (это — «илсе на камени...») и плывущий по волнам бушующего моря. Волны были изображены весьма искусно: гребни так и ломались у ног святого, а он — хоть бы что... А на оборотной стороне обложки, в великолепных завитках, значилось: «Издание Василия Ивановича Шарапова в Москве, у Никольских ворот. Цена 5 коп.». Я не совсем понимал, что это значит «издание», но чувствовал: благодетель...

Читал я еще неважно и с трудом одолел это заманчивое повествование, написанное языком и в стиле «Четий-Миней» Димитрия Ростовского, и, может быть, почерпнутое оттуда непосредственно. Я сидел за столом, с привычной указкой в руке (без нее хуже читалось) — читал — и пламенел от восторга. Господи — сколько чудес! И все правда! Это не то, что в сказках. (Как бывает неблагодарен человек!)

У меня, разумеется, были слушатели: баба Рузаля и тетка Мариля, и еще кой-кто, но нам все мешали. Но скоро отставали: не такой был день, день суеты, чужого народу, которого понаехало отовсюду: из Клишина, Лисичина, Пяресики, Подберезья...

Входили и выходили, показывали обновы, разговоры, удивления и восклицания. Баба понимала, что это «набожнае» и потому не терпит суеты.

— Пагадзі, мой унучак, — патом пачытаеш, — не такій сягоння дзень,— сказала она.

Но я не унимался и в этой сутолоке дочитал до конца. Сколько было восторгов, умиленья и сладостных слез! Многое множество книжных восторгов впоследствии я испытал, но это были первые восторги, подобные восторгам первой любви. С ревностью шаманиста, нашедшего чудесный талисман, я

обожал своего монашка, плывущего на камени. Я носил его на груди за пазухой, я кормил его пряниками и, ложась спать, клал драгоценную книжечку под подушку, положив кусочек пряника монашку ко рту. Теперь я не помню: съедал ли я сам эту жертву или считал это профанацией. Надо думать, что съедал — и ничуть не погрешая: ведь я же, в сущности, был жрецом этого моего первого божка.

Много раз я ее читал и научился читать бойко и вразумительно (что вовсе необязательно: восторги все равно будут) и знал потом на память. Были у меня умиляющиеся слушатели, в частности тетка Мариля: ведь первенец-то ее, сын любви, звался Антоном. А может быть и русокудрый отец его так же звался. И может быть, эта серенькая книжечка сделала меня завзятым книжником, в детстве отравив своим чарующим ядом. Она легла в основу всех моих последующих книжных приобретений, разросшихся, для частного лица, колоссально, и беспрерывных исканий в пыльных грудах букинистов, жемчужин среди книжного хлама. Сколько раз с той поры я таскал за плечами свои книжные ценности, тяжелые, как камни, — и в Крупку, и в Борисов, и в Несвиж, и в другие места, а сколько этих камней навалил в свою бедную голову! Кто в этом виноват? Желтый монашек или мое беспокойное сердце?

Но я еще не закончил своей школьной эпопеи.

С 70-го года начались скитания моей семьи в поисках за хлебом. Об этом я расскажу впоследствии, а теперь сосредоточусь на школе, ибо всего сразу не охватишь.

Итак, в 70-м году сначала отец очутился в Минске, а весной 71-го года и вся семья.

В половине августа того же года меня отец повел в так называемое приходское училище, т. е. городскую начальную школу, в которой впоследствии я был заведующим или старшим учителем.

Все здесь сразу меня поразило своей необычайностию, начиная с раннего начала учебного года: у нас дай Бог, чтобы начали с половины октября. Пока снег не выпал, ребят не соберешь: уборка картофеля, пастьба скота — это все такие работы, в которых детский труд, особенно подростков, дорог и

по производительности, пожалуй, не ниже труда взрослых. Так кто же станет рисковать такой самоочевидной, настоятельной и реальной выгодой взамен весьма проблематичных идейных благ, практическая полезность которых в крестьянском быту весьма ничтожна? Богу молиться по книжке, петь на клиросе, расписаться за себя или неграмотного — вот и все или почти все. Второе — здесь был учитель в странном синем «сурдуце», бесполом и с бліскучымі гузікамі і пры манішцы с хустачкай на шыі, а не тое, што дыякан, або Іван Баранок. І сядзеў ён высока на падставе за сталом. І гаварыў не па-нашаму, а як у кніжках пішуць. І парты для ўсіх кароценькіе з адкіднымі доскамі, і тут чарнільніцы ўстаўлены, і ўсі чарнілам пішуць на паперы, каторая бумагай заветца. І ёсь пірамены — малые і бальшая: сторож пазвоніць і тады ўсі, як сколатые, бягуць на двор. І чаго яны тут толькі не вырабляюць!

Так или приблизительно так я передавал свои впечатления матери, возвратясь из школы.

В ней было правильное разделение на классы, в каждом по две группы, стало быть, с 4-летним курсом, но, как оказалось, и здесь были отсталые, а во второй группе даже семилетки. Думаю, что во втором классе наблюдалось то же самое. Но были порядок, чистота, строгая дисциплина, — особенно в первом классе, благодаря строгости и зоркости учителя. И никаких заушений, ни «лап», ни постановки на колени, а тем более розог.

Имени своего учителя я так-таки и не знал: «господин учитель» — была общепринятая форма обращения, а по фамилии Лазаревич; в старшем классе преподавал Крылов, архиерейский племянник, родом, как и его дядюшка, ярославец. Его я видывал на архиерейском дворе, где служил отец мой, и потому знал — как зовут.

Мой учитель, судя по произношению, был москвич: «акал» так же, как и белорусы, но мягкое «эр», «ево» и все прочее.

Я был знаком с особенностями произношения белорусских староверов, выходцев из Поволжья, и мы умели их «дражніць», т. е. говорить, им подражая, но их речь, для нас странная, успела за 200 лет значительно измениться. Выговор их я не считал для себя обязательным, а тут меня заставили

усвоить великорусское произношение, в чем мне существенно помогла наслышка староверческой речи.

Словом, в этой школе был совсем иной дух, совсем иной порядок. Это уже была «новая школа» — в духе идей Ушинского, Водовозова и других. Учитель здесь не только спрашивал заученное наизусть, назначал «до сих пор» и казнил за незнание, а действительно учил, объяснял, показывал, говорил беспрерывно, спрашивая, поправляя, объясняя, — весь был в деле.

Я хочу сказать, что мой новый учитель, по тогдашнему времени — был хороший учитель. Ростом невысокий, слегка скуластый, как и подобает быть москвичу, с сухим лицом, бритый, в знак ученого звания, идя по улице, напыжившись, он важно выступал в николаевской поношенной шинели с пелеринкой, может быть, — купленной где-нибудь по случаю у вдовы отставного чиновника. Она много ему придавала важности и сановитости и, так сказать, — обязывала.

Все это было ново и сначала непонятно — как может школа обходиться без своего Ивана Баранка, но я скоро примирился с его отсутствием за ненадобностью.

Посадили меня сначала в первое отделение и предложили купить «Родное Слово», год первый (30 к.), тетрадки в две линейки с косыми и аспидную доску с грифелем. Здесь я впервые познакомился с этими учебными принадлежностями и с этими новыми терминами: в Холопеничах об этом и не слыхивали.

«Родное Слово» меня, разумеется, привело в новый восторг, сначала своими картинками, а затем и заманчивым содержанием. Сколько сказочек, стишков, побасенок, скороговорок, шуток и прибауток! Целый детский мирок, полный и веселости, и серьезного интереса. Незабвенная книжка, жемчужина педагогической литературы, — единственная и никем не превзойденная. Как много я ей обязан! Она упорядочила все мои разрозненные впечатления и привела их в стройную систему.

Мне потом приходилось знакомиться с разными педагогическими системами и их практическим применением в школах, а стало быть, и с учебниками, их построением и общим

характером. Затем — я имел в руках множество учебников и еврейских, и американских, фигурировавших на Парижской всемирной выставке в начале 900-х годов. Просмотрев их и сравнивая с бессмертным произведением К. Д. Ушинского[185], я пришел к убеждению, что, несмотря на истекшие десятилетия, мировая педагогическая литература не только не превзошла, но и не сравнялась с этим образцовым творением педагогической мысли по построению, по подбору и расположению материала, по цели, которая полагалась в самом ученике, в осмысливании и приведении в порядок всех его бесчисленных и плохо связанных, и плохо осознанных впечатлений и наблюдений. После Ушинского какой-нибудь Паульсон[186] казался немецким анахронизмом, а Бунаковы[187] и Бобровский — подражанием «с той уже охотой, да не с тем умением». Есть в нем материал, не соответствующий духу нашего времени, но его очень немного и его легко можно заменить, а система построения не оставляет желать ничего лучшего.

Большую часть этой бесподобной книжки мне пришлось проходить самому, ибо вскоре оказалось, что я знаю значительно больше и читаю лучше, чем мои сверстники по первому отделению, а по Закону Божию я знал столько, что мне впоследствии в учительской семинарии очень немногое приходилось прибавить. Меня перевели во второе отделение, предложив купить «Родное Слово», год второй, и арифметический задачник Леве. Это составляло новый расход в полтинник, далеко не безразличный для моего отца, тем более неприятный, что в Холопеничах все давали даром, а здесь надо платить и уже больше рубля денег издержано.

В нашем классе практиковалась система соревнования: учеников рассаживали по их успехам, т. е. были первый ученик, второй и так далее, вплоть до последнего. Постепенно подвигаясь вперед, я вскоре занял первое место. Это было торжеством школы Ивана Баранка и льстило моему самолюбию. Но во втором отделении меня посадили на последнее место, а первое занимал мой земляк из-под Холопенич, сын портного, по фамилии Плиска, и этим его родитель за квартой меду похвалялся пред моим отцом. Обида, разумеется, особенно при самолюбии моего отца да и моем, правда, меньшем, но все же

достаточном. Но Холопеничская закваска школы Баранка за себя постояла: что ни день, то я менял места, быстро подвигаясь вперед, и сел на третье. Это нечто значило. Ряд побед я одержал легко, ибо уроки всегда исправно готовил, тогда как этой школьной добродетелью далеко не все отличались. Потом, учитель был неплохим декламатором и читал стихи, подражая провинциальным актерам, а басни сильно драматизировал, читая на разные голоса и стараясь оттенить характер действующих лиц. Такой же передачи он требовал и от учеников, что далеко не всем давалось. Я всего лучше схватывал его манеру и передавал его интонации. Ему я обязан своею любовью к художественному чтению и своими последующими успехами в декламации, а равно и в русском произношении, прежде всего мягкого «эр», которое является камнем преткновения для белорусов, не имеющих этого звука в своей фонетике.

Все это мне давалось легко, но арифметикой школа Баранка не блистала, и в этом была моя слабая сторона. Не блистали особенно и мои товарищи, так что я в общем мог держаться прилично.

Но вот перед святками учитель дает мудреную задачу на первенство.

Вот она. Некто, имея 100 рублей, купил 100 штук скота. За корову он платил 5 руб., за теленка 1 руб., а за поросенка 50 коп. Сколько штук разного рода скота купил он в отдельности?

Записал я все это и, придя домой, сел за грифельную доску. Не тут-то было. Долго я бился, прикидывал, высчитывал и так, и этак — ничего не выходит. Разумеется, плакать стал самым позорным образом.

Тут подсела моя матушка, которая мне не раз помогала справляться с задачами Леве, наталкивая меня на необходимые действия и вычисляя, в качестве неграмотной, «в уме», без всяких пособий.

Сообразив, что надо покупать коров всего меньше, а остальную сумму распределять на телят и поросят, она начала с одной коровы и живо дала 91 теленка и 8 поросят.

Подсчитал я — точка в точку. То-то радость! Значит — не осрамлюся. Я запрыгал от радости. Пока я записывал решение в тетрадку, мать говорит:

— «Пагадзі, яшчо рашыла: бяры 2 каровы, 82 цялёнкі і 8 парасят».

Сосчитал — аккурат!

— Пагадзітка, папробую яшчо.

«Памеркавала» некоторое время и говорит: «Пішы: 3 каровы, 73 цялёнкі і 24 парасёнкі». Опять вышло.

Очевидно, угадав зависимость между данными, она в один присест дает исчерпывающий ряд решений, дойдя до 11 коров, 1 теленка и 88 поросят — что и требовалось доказать.

Исписав целую страницу готовыми решениями, я в приподнятом настроении улегся спать, предвкушая свое грядущее торжество.

Оказалось, что только Плиска дал одно решение на 3 коровы, а больше никто.

Я с торжеством был водворен на первое место, «Плиску пересев», и занял его прочно вплоть до своего выхода из школы. Это случилось в том же году на масленице, по случаю потери отцом службы у архиерея и нашего возврата в Холопеничи.

Конечно, мое первенство было связано со школьным мошенничеством. Сознаюсь, что оно меня нисколько не смущало. В старой школе это явление было обычным и практиковалось без зазрения совести не только детьми, но и людьми далеко не моего возраста.

Мне впоследствии не [раз] приходилось пользоваться математической интуицией моей матушки. А она была у ней развита необычайно. Есть традиционные народные задачи, над которыми бьются в длинные зимние вечера, особенно на святках. Она всегда с ними легко справлялась.

Помню я, как она в больном состоянии возвела 7 в 7-ю степень, решив следующую народную задачу:

Ехала 7 вазоў, на кажном вазу сядзела па 7 старцаў, у іх руках па 7 кіёў[188], на кажном кію па 7 сукоў, на кажном суку па 7 мяшкоў, у кажном мяшку па 7 кошак, у кажной кошкі па 7 кацянят. Сколькі ўсіх кацянят? 6.450.801.

Как она справлялась с этими вычислениями, как удерживала в памяти огромные числа — это ее секрет. Может быть, задача облегчалась тем, что есть сокращенный ее вариант,

может быть, ранее решенный, где говорится только о 7 старцах, 7 киях, 7 суках, семи мешках и 7 кошках, то есть, возведении в 5-ю степень (131.649). Но и с таким подходом для людей неграмотных это дело не легкое.

Как-то я еще в Холопеничах из своей «Книги для чтения» прочитал задачу: «Летит стадо гусей, а навстречу ему один гусь и говорит: здравствуй, 100 гусей. Передовой из стада отвечает: нас не 100 гусей. А вот если бы было столько, полстолько, да четверть столько, и еще ты да я, тогда бы было 100 гусей. Сколько гусей было в стаде?»

Для меня задача была неразрешимой. В школе мы долго бились, ломали головы — не решили. Сам Иван Баранок не решил. А мать решила.

Конечно, задача пустяковая (ведь и предназначалась она для детей), но надо знать — как за нее взяться. А матушка угадывала надлежащий путь.

Были и другие в этом роде примеры, но и этих примеров достаточно, чтобы показать, что мать моя обладала прирожденными математическими способностями.

Я от нее этих способностей не унаследовал: я был неплохим, но заурядным математиком и особой склонности к математическим наукам не имел. Однако ее природный дар, необработанный и неразвитый, наследственно проявился в ее потомстве: он сказался, как это и следует по теории менделизма, во втором поколении — у ее внуков.

Мои сыновья Лева[189] и Павлуша[190] обладали выдающимися математическими способностями и любовью к математике. Лева постоянно возился с грифельной доской, вычерчивая тонким почерком бесконечные математические формулы. И это было в вагоне, на пароходе — где только можно. Очевидно, у него вечно зудила эта потребность и всегда нечто роилось в голове из этого мира величин и протяженностей, символов и отвлеченностей.

Как он овладел элементарной математикой — я даже как-то и не заметил. Обучал я сам, с большими перерывами, ибо должность моя была разъездная: отъезжая, кое-что объяснишь, укажешь, назначишь, — приедешь, спрашиваешь: он и это сделал и дальше пошел.

Уже в Нижнем, будучи в 4-м классе гимназии, он в тамошнем математическом обществе удивлял своим уменьем справляться с трудными задачами; а в Ярославле (5-й класс), попав на заседание математической секции, он решил 8 задач, которые там решались и докладывались, и в одном случае дал Эйлеровское решение [191], т. е. напал на него.

Хотя Лева и дошел до 4-го курса математич[еского] факультета Московского университета, но можно сказать, что гимназический курс и даже более он прошел самостоятельно.

То же и Павлуша, который с незаконченным гимназическим образованием вышел хорошим, а может быть, и более чем хорошим (этого я не знаю), математиком и хорошим преподавателем.

У сестры Магдалены — Нюта, у сестры Маши — Андрюша[192] хорошие математики, с выдающимися способностями. Да и остальные ее внуки, не выделяясь особенно в этой области, обладали, однако, хорошими математическими способностями, кроме Машиных девочек, которые, сколько мне известно, в этой области слабы.

Значит, — наследие предков не пропало втуне.

Итак — после годичного перерыва — я опять в Холопеничах.

В жизни школы там произошла большая перемена: ни диакона Томашевского, ни Ивана Баранка там уже не было. Школа перешла в другое помещение рядом, более тесное, где было волостное управление, а последнее заняло школу.

В школе был отдельный учитель или, как у нас называли, настаўнік, по фамилии Горяченов, видимо, из семинарских отбросов. Ходили невероятные сказания о его пьянстве. Он напивался настолько, что валялся в школе на полу, и ученики садились ему на брюхо, а другие запрягались в ногах в корень и пристяжку и таскали его по классу, разъезжая на нем, как на салазках. Были и разные другие безобразия.

Отец, узнав об этом, меня в школу не пустил. Горяченова убрали. На следующий учебный год прислали другого учителя, уже новой формации — из Молодечненской учительской семинарии, Игнатия Викентьевича Сайковского (1872/73 учебн[ый] год). Значит, — это уж был педагог по образованию,

каких впоследствии немало поставляли учительские семинарии.

К нему я пошел учиться.

Это был молодой человек, типичный русоволосый белорус, довольно видный и представительный.

Он ввел в школе новые порядки: разделение на 3 группы, классный журнал с отметками о посещаемости, чего мы раньше не знали. Появились грифельные доски — неслыханное в Холопеничах новшество, которое я только в Минске наблюдал. Появилась бумага в большом изобилии и — еще новшество — стальные перья, хотя не воспрещалось писать и гусиными тем, кто сам умеет чинить. Я чинить умел, ножик-цыганок имел и предпочитал писать гусиными.

Увы! Наши старые деревянные доски, на которых мы писали меловым раствором, куда-то исчезли, может, быть, еще при Горяченове пошли на растопку.

Мне жаль их было, ибо на них подвигалось мое повышение в чинах: от палочника к крючнику, от крючника к гусятнику и т. д.

Словом — целый переворот: много новых порядков, о которых говорили, которые обсуждали, и далеко не все одобряли. Главным образом то, что школьный режим стал мягче, слабее.

На колени ставили и за волосы дергали, но розги не практиковались, хотя мы еще долго не верили, что они исчезли из обихода: мы не знали, что они запрещены. И если бы узнали, то недоумевали бы — как без них в особых случаях обходиться.

Страх розог был — и это было сдерживающим началом.

Школа обмельчала: слишком великовозрастных уже не было; были парни лет 16—17, но не много. Были и девушки-подростки, а две уже метившие в невесты — дочь нового диакона и дочь старого псаломщика, — которые являлись жертвами бесцеремонных и грубых преследований со стороны школьных ловеласов, среди которых особенной наглостью выделялся Федор Попков, старшиненок. Частенько краснели и плакали бедные девушки от его назойливых приставаний и сквернословия, но жаловаться не решались: не позволяла стыдливость. Но преобладали малыши и подростки.

Хотя мне было только 10 лет, я попал в старшее отделение подростков и великовозрастных. Это было моим несчастьем: все были старше меня, сильнее, — и мне от этого приходилось немало страдать. Нас посадили за одну длинную парту в отдельную комнату, — и большую часть дня мы были предоставлены самим себе. Учитель работал преимущественно с двумя младшими отделениями. К нам же на короткое время являлся, чтобы выслушать у 2-х — 3-х заданное для чтения, посмотреть письмо или проверить задачи, которые мы пытались решать на грифельных досках, но, большею частию, не могли решить. Для меня самым ценным приобретением за этот год была новая «Книга для чтения» Водовозова. Это было новшество и крупное новшество. Кроме «Детского мира» Ушинского — это была лучшая книга в тогдашней школьной литературе. Много я из нее почерпнул новых сведений, сильно расширивших мой кругозор. Помимо обычного хрестоматийного материала из сказок, басен, стихотворений, там были отрывки из художественной литературы: Гоголя, Пушкина, Лермонтова, — а самое важное — были начатки географических познаний, как общее понятие о плане, карте, глобусе, реках, озерах, заливах, проливах, островах, материках и подробные обзоры русской географии с картами, правда, плохонькими, но которые все же давали наглядное представление об отдельных краях, реках, городах и проч.

Были весьма умело составленные статьи, применительно к детскому пониманию, по естествознанию и истории.

Словом — хорошая книжка, которая, долго не выходила из школьного употребления, и я ей много обязан, ибо и в школе, и дома ревностно ее читал. Я и теперь помню прекрасные статьи: «Ничего не пропадает», «Вблизи и вдали», «Тепло и холод» и многие другие, которые позволили мне сознательно смотреть на все окружающее.

Впоследствии я узнал, что этой новой постановкой дела школа Минской губернии была обязана дельному директору народных училищ Котельникову, который издал ряд выдающихся циркуляров, запретительных и руководящих, и ввел новые учебники и новую постановку школьного дела, что было делом не легким при отсутствии хорошо подгото-

вленных учителей. Жаль только, что он не долго послужил в Минске, а ему на смену пришел Лялин, неплохой переводчик Шиллера, но человек не деятельный, забывчивый, страстный картежник, который каждый вечер проводил в клубе и считал несчастнейшими днями в своей жизни страстную пятницу и субботу, когда клуб был закрыт и он, придя по обыкновению в клуб и найдя двери запертыми, как грешник у дверей рая, целый вечер ходил взад и вперед по тротуару у великолепного здания клуба, не зная, что с собой делать. Это повторялось из года в год. Грузный, ожирелый, гладко выбритый, он был неряшлив в одежде (обычно в ответственных случаях жена осматривала — все ли в порядке) и феноменально забывчив. На этот счет ходило очень много веселых анекдотов, и вообще это был человек анекдотический. И вот этот-то анекдотический человек заправлял довольно долго народным образованием в губернии. Инспектора у него тоже были под стать.

При Сайковском к нам приезжал небезызвестный обруситель и по позднейшей терминологии — черносотенец, Григорий Кулжинский[193], издававший патриотические брошюры. Он заглядывал в Минскую школу, где я учился, и давал, по-видимому, образцовый урок в поучение нашему учителю. Тогда я не мог оценить достоинств его педагогических приемов, но с моей позднейшей точки зрения, это был урок смехотворный.

Подъехал он к нашей Холопеничской школе в обеденный перерыв, когда было очень шумно, ибо учитель тоже ушел на обед к пани Хруцкой, у которой обычно столовались молодые люди.

Вошел он в школу в дорожной овчинной шубе, которую тут же скинул на парту и остался в кафтане с сумочкой через плечо. Мальчишки, делавшие «малу кучу», вставали запыхавшиеся и растрепанные и с удивлением смотрели на чужого пана.

Я, подбежав, заявил:

— Я вас знаю. Я видел вас в Минске.

— Спасибо, — ответил он, — значит, я не самозванец. А где же ваш учитель?

— Пошел обедать.

— Пошлите за ним, — скажите, что инспектор приехал. Подбежали мальчишки, а остальные присмирели и расселись по местам. Прибежал бедный учитель, запыхавшийся и покрасневший, как маков цвет. Началась ревизия со старшего отделения. Вот как он ревизовал.

— Сложите руки для крестного знамения, как креститесь, и поднимите. Мы сложили и подняли.

Он смотрел, как сложены пальцы. Кое-кому сделал замечание: руки грязные. Затем начал с первого: перекрестись. Тот перекрестился. Не так! Другой, третий — все не так. А учитель стоит и пылает. Дошел до меня. Я перекрестился так, как учили в Минске: на лоб — «во имя отца», на грудь — «и сына», на правое плечо — «и святого духа», на левое — «аминь».

— Вот это так!

Штука в том, что мои товарищи клали на правое плечо— «и святаго», а на левое — «духа», а «аминь» никуда не определяли: так он, стало быть, и висел в воздухе. Тонкость, которою я и отличился. Но для этого надо было съездить в Минск!

— Это что! Как у тебя пальцы сложены! — раздался грозный окрик на Никиту Сироткина, которого мы звали Микитой Малашкиным. Это был старовер, и сложил двуперстно.

— Я старовер, — ответил он, не желая ломать своей веры.

— Не старовер, а раскольник! Прочитай молитву за царя.

— Я не знаю.

— Как не знаешь? Стало быть, и не молишься за царя? Ступай на колени. Микита вышел и стал на колени. Пострадал, можно сказать, за древнее благочестие и недостаток патриотических чувств.

И больше ничего в нашем отделении. Что было в других — я не знаю. Вероятно, то же самое или вроде.

Ревизия продолжалась не больше часа. Инспектор вышел недовольным и тотчас же уехал в Волосовичи — ревизовать перстосложение.

На следующий год к нам прислали нового учителя, из окончивших духовную семинарию, Порфирия Михайловича Якимовича. В качестве семинара он был назначен одновременно на должность псаломщика, вместо старика Носовича,

которого прозвали, по его излюбленному присловью: «хiр, не па-мойму!» Такое совмещение было выгодно, ибо давало в общей сложности около 300 рублей, вместо обычного учительского жалованья в 150 руб. Это был попович, парень ловкий, веселый, разбитной, большой шутник и остроумец, умеющий расположить к себе, весьма предприимчивый и деятельный, хороший организатор. Впоследствии он пошел довольно далеко по чиновничьей лестнице; Холопеничская школа была его первой ступенью. Не то чтобы он был хороший преподаватель, методы его преподавания были самые ординарные, но он обладал весьма ценным свойством — заставить полюбить себя и полюбить дело, придав ему какой-то особый интерес. Он умел как-то обрасти учениками, сплотить их около себя, так что мы из школы не вылезали, готовы были там дневать и ночевать и делать то, что он указывает. И не только нас, учеников, он сумел сплотить и с собою спаять, но он выкопал всех уже давно ушедших из школы, уже отцов семейств и образовал из них нечто вроде певческого общества и составил превосходный хор, который распевал и духовные, и светские песни, так что школа превратилась в своего рода концертный зал: многие старались попасть в нее во время спевок и послушать, а другие — хоть постоять у окна. Нас, учеников старшего отделения, он стал обучать переплетному мастерству, как-то раздобыв простейшие станки и необходимые принадлежности, и мы немало перепортили школьных книг и книг волостного писаря Надольского, который имел неосторожность довериться нашему искусству, пока мы не научились порядочно переплетать.

Он любил помпу и большой был мастер пустить пыль в глаза, устраивая — от поры до поры — разные школьные торжества с участием им организованного хора.

В этих видах он провел избрание школьным попечителем волостного писаря Надольского, из мелкой шляхты, — человека представительной внешности и большого дельца, и нам внушил особое почтение к его особе и званию попечителя, и мы не без гордости читали его отметки в журнале, что он тогда-то посетил школу и нашел то-то и то-то, и под-

писывался размашистым росчерком: попечитель и дворянин Надольский.

В качестве попечителя он делал некоторые пожертвования на школу. И, как я говорил, предоставил до 100 книг из своей библиотеки нам на растерзание, а главное, проводил чрез волостной сход некоторые меры, полезные для школы и еще более полезные для учителя. Учителю было ассигновано 50 руб. на наем помощника. При школе было открыто общежитие, вернее, кухня, для приходящих из дер[евень] учеников и положена так называемая ссыпка на их кормежку (попутно, а может быть, и больше, кормились учительские свиньи), была нанята кухарка для учеников, которая обслуживала, наряду со сторожем, прежде всего, учителя.

Учитель зажил барином. Он занял лучшую комнату — большую и светлую, где помещалось старшее отделение, себе под квартиру, перегородив ее на две части (тоже писарь помог) у кровати поставил ширмы, на стенах — портреты Ушинского, Редкина[194], Пирогова и других знаменитостей, которых мог найти, а на столе, за толстым стеклом, фотографическую карточку хорошенькой поповны, которую он себе облюбовал в невесты.

— Это моя невеста, — говорил он нам. — Не правда ли — хорошенькая?! Весной я женюсь, — посвящал он нас в интимную сторону своей жизни.

С нами он шутил вне уроков, смешил, корчил страшные рожи: выпучив свои большие черные глазищи, обыкновенно веселые. По вечерам всех переплетчиков, а иногда и певчих поил у себя чаем и вел оживленные и интересные беседы о чем придет в голову. Эти беседы весьма нас занимали, несомненно, были полезны, расширяя наш кругозор.

Женившись весной, как нам оповещал, и привезя действительно хорошенькую жену (и сам был неплох), он, для воспособления средств, открыл в школе смену для еврейских мальчиков по обучению русской грамоте и счету, беря за это с них по рублю в месяц, что давало ему лишних 15—20 рублей.

Характерная особенность тогдашнего времени: раввины и родители, соглашаясь отдавать своих детей, ставили непре-

менным условием, чтобы им было позволено сидеть в ермолочках в классе. Это была первая еврейская школа в Холопеничах с русским преподавателем. Не легко было этого достигнуть: для этого нужно было припугнуть частных домашних учителей, не имеющих «права» обучения.

Можно подумать: не был ли он народником? Ничуть не бывало. Это был просто веселый, предприимчивый, неугомонный человек, который себя не забывал и нам приносил немалую пользу.

При нем школа оживилась и поставлена была в центре внимания всех Холопенич, захватив даже, всегда стоявшее в стороне, местное еврейство.

Оценивая этого далеко не заурядного среди школьного учительства человека, я должен сказать, что ни до него, ни после него лучшего учителя Холопеничская школа не имела. И его двухгодичное пребывание в школе создало в ее жизни своего рода эпоху. Его долго помнили и много хвалили. Только не в ладах он был с законоучителем школы, священником Василием Шеметилло; это был низенький человечек, крайне близорукий, жадный и злой. Попадья у него была, наоборот, рослая, крупная женщина и, пользуясь своим физическим превосходством, не раз бивала своего мужа и за волосы таскала. Об этом ходили рассказы по Холопеничам. Но известно, что попу полагается одна жена, так тут уж ничего не поделаешь.

Шеметилло считался у нас законоучителем. Но, как и его предшественники, школы не посещал, предоставлял нам самим учиться, как знаем и как умеем.

Якимович рассорился с ним на почве дележа церковных доходов, и они друг дружку донимали — каждый по своей части: один, что учитель, будучи псаломщиком, не ходит с ним совершать церковные требы, а другой, что законоучитель не посещает школы, а берет 25 руб.

Мы были вовлечены в эту распрю и, разумеется, держали сторону учителя.

Что касается занятий, то и Якимович занимался, главным образом, с двумя младшими отделениями, довольно многолюдными, а нас, старших, изолировал в маленькой комнатушке, прежней квартирке учителя, предоставив учиться

самостоятельно, по расписанию, которое чуть ли не впервые было заведено в школе.

Уроки он нам назначал и выслушивал вечером, когда вся школа расходилась. Нам была представлена для закона Божия «История Ветхого и Нового Завета» Базарова, по которой уроки изредка задавал и выслушивал поп Шеметилло, но мы должны были выучить эту объемистую книжку наизусть. По русскому языку мы продолжали читать Водовозова; иногда занимались арифметикой, т. е. решали, с грехом пополам, задачки, а главным образом читали Петрушевского: «Рассказы из русской истории» — превосходная книжка, живая, написанная прекрасным русским языком, с массою выдержек из былин, летописей и народного творчества; она давала не только историю Московского государства, но и Литовско-Белорусского, которую в то время называли Западно-Русским. Правда, она была написана в патриотическом духе, т. е. тенденциозно, но в то время это нам нравилось; да и много ли было в то время таких людей, которые бы к такой тенденции отнеслись отрицательно. Так как эта книжка кончается на времени Петра, то нам учитель выбирал из «Пчелы» Щербины[195] и других сборников отдельные статьи по истории XVIII и XIX веков.

Так как чтение было увлекательным и вечером, между переплетными работами, надо было давать отчет о прочитанном, то мы читали усердно (на всех была одна книжка, значит, читалась вслух) и даже старшиненок Федор Попков, самый великовозрастный, большой безобразник и сквернослов, который знал наперечет все похабные частушки (а их уйма ходила и в местечке, и по деревням) и который проделывал невероятно циничные штуки, даже он за этим чтением вел себя более сдержанно. Даже жуть берет, как вспомнишь, какую вонючую грязь вносил этот безобразник в души подростков, в том числе и мою, и сколько надо было усилий, чтобы эту пакость выплевать и выскоблить. Это было в школе. А что говорилось и делалось на пасцьбішчах и в ночном за лошадьми? По счастью — когда у нас и были лошади, я не ездил на ночлеги, т. е. в ночное.

Я отмечаю этого рода грязные факты, так как это обычная атмосфера, в которой вырастали белорусские крестьянские

дети. Много они в детстве глотали, «як жаба грязі», этой мерзости, но далеко не все были циничны. Немало было таких, к которым эта грязь не приставала. Циники, люди с грязным воображением, на мой взгляд, представляют особый тип.

Все это, конечно, составляло школьную тайну и проходило мимо учителя.

Я думаю, что это явление обусловливалось разновозрастностью учащихся, вернее, наличием взрослых парней с пробудившимися половыми инстинктами, которые и толкали на путь сквернословия и безобразных выходок.

Надо сказать, что, работая впоследствии в сельских школах, я ничего подобного не замечал и не наблюдал.

Я очень признателен Якимовичу — и это ему надо поставить в заслугу, — что в вечерних беседах он ввел ознакомление со всеобщей географией и начатками народоведения.

Для этого он пользаволся очень простыми средствами. Он привез с собою набор географических карт всех частей света, которые рисовал его брат в качестве заданий на уроках географии. Карты были хорошо начерчены и искусно раскрашены, так что они заменяли географический атлас, которого у нас не было. Он брал, скажем, карту Европы и вел беседы о разных государствах и народах, там обитающих, их столицах, образе правления, торговле и пр. Опять-таки это расширяло наш кругозор, а это немаловажно. С большим трудом одолевали мои товарищи произношение разных иностранных названий и еще труднее удерживали их в памяти, вроде Лиссабон, Мадрид, Брюссель, Франкфурт-на-Майне и пр. Но некоторые с хорошей памятью и хорошо наломанным языком овладевали и этой премудростью.

Не обходилось, разумеется, без курьезов на этой малодоступной почве: имена комично коверкали, перевирали и пр.

Помню такой анекдот из этого рода занятий.

Учитель объяснял, что такое столица. Определение было дано такое: столицей называется такой город, в котором сосредоточены высшие государственные учреждения; в России это сенат и святейший правительствующий Синод. Зубрили мы это определение, как равно и то, что называется резиденцией, и многое другое, сему подобное и неудобоусвояемое.

Вечером учитель спрашивает: почему СПб называется столицей. Николай Голован живо выбрасывает руку вверх.

— Ну, Голован...

— Патаму, што там ёсь Русалім (Иерусалим). — Конечно — хохот всех, кое-что понимающих и усвоивших.

Это показывает, как преломлялись в некоторых головах высокопарные определения. Голован, по-своему, упростил определение, считая, по-видимому, Иерусалим такой святыней, которая дает высшее значение тому городу, где она находится.

Меня эти беседы по географии увлекали. Я выпросил себе карты и их довольно близко перечертил, хотя эта работа, на первых порах, была для меня не легкой. Перечертил и даже раскрасил границы цветными карандашами, так что карты вышли хоць куды.

Какова же была моя радость, когда в числе книг писаря Надольского, сданных нам в переплет, оказалась новенькая общая география Корнеля, ныне совсем забытая, но в то время еще бывшая в ходу как гимназический учебник. В ней были прекрасно раскрашенные карты всех частей света и много всяких рисунков: виды городов и отдельных зданий, типы народов, изображения животных и растений и пр. Эта книга была для меня целым откровением. Я ее долго не сдавал владельцу, пока всю не вызубрил и не уложил в своей памяти.

Она послужила весьма важной географической основой для моего изучения всеобщей истории, за которую я принялся летом 1874 года почти непосредственно за географией Корнеля.

Это был краткий курс всеобщей истории Вебера, с небольшими историческими картами, что опять-таки на руку. Напал я на эту книжку совершенно случайно и неожиданно. У моего старшего товарища по старой школе Гаврилы Новика, сына рымара (шорника) Мацея были некоторые отборные произведения лубочной литературы, весьма славившиеся в Холопеничах, как «Бова Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Францыль Венциан», «Гуак, или непреоборимая верность», «Рыцарская повесть», «Повесть об английском милорде Георге и пр.», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на могилке своего друга», — словом, подбор был на редкость полный и завидный. За этими-то

перлами народной литературы я и направился к нему, — и случайно напал на это сокровище. Какими неведомыми путями попала эта хорошая книжка к Матею Рымару? Опять-таки, какая-то случайность, мне неведомая. Матей и его сын держались того, довольно распространенного мнения, что во всеобщей истории «все правда». Это значило, что каждый народ на свой счет склонен прилгать. Но вот если обо всех народах писать — то тут уже нельзя лгать. Я склонен был разделять это мнение, ибо иначе — как узнать правду? А ведь должна же где-нибудь быть сущая правда на свете?

Получив со строгим наказом это сокровище, в котором «все правда», я нес его со сладостным трепетом и восторгом «в свою хату» (в отличие от бабиной). Я возился с этой книжкой около года и отдавал ей все свои досуги, читал и днем, и при свете лампочки-коптилки (новшество, счастливо введенное моим отцом). Я сначала всю ее прочел «от доски до доски». Как в волшебной панораме, мелькали пред моим восхищенным взором страны, народы, герои разных сортов и величин, лица, события: дух захватывало! Жаль только, что все коротенько: хотелось бы больше и подробнее знать. Прочитав все подряд, я, конечно, ничего путем не усвоил. Поэтому я принялся за дело сначала и по частям. Усвоил я эту, в общем, хорошую книжку весьма основательно. Кое-чего не понял, но запомнил и впоследствии осмыслил. Петрушевский для русской, Вебер для всеобщей истории были хорошим фундаментом. Словом — эта книжка была «звеном» в истории моего умственного развития, и я ей обязан очень многим. Я пристрастился к историческому чтению и впоследствии читал очень много, но все это ложилось на этот фундамент и укладывалось в готовые рамки. Не без ее влияния я избрал впоследствии предметом своей преподавательской деятельности историю культуры, т. е. всеобщую историю.

Точно так же много я почерпнул ценных сведений из «Пчелы» — сборника, интересно составленного Н. Щербиной. В свое время Ушинский с большой похвалой отозвался об этом сборнике, как книге для домашнего чтения. У нас в школе их было много и потому их охотно выдавали для чтения на дому. Много «Пчела» содействовала пополнению

моих знаний о прошлом русского народа по летописным отрывкам, старинным сказаниям, вроде отрывков из «Слова о Полку Игореве», сказания о ледовом побоище, о Задонщине, и художественным освещением эпох и событий в русской истории, как меевская былина о Евпатии Коловрате, или лермонтовская «Песня про царя Ивана Васильевича», «Вечер в тереме царя Алексея Михайловича» Данилевского, отрывки из пушкинского «Арапа Петра Великого» и из гоголевского «Тараса Бульбы». Все это оживляло историю, воскрешая в образах и картинах угасший быт. Из этой книжки я впервые познакомился со славянским миром и его народным творчеством в столь прекрасных образцах, как сербские былины «Иово и Маря», «Баи Страхинья», казацкие думы и пр. Сборник составлен в патриотическом и славянофильском направлении. Но ведь в другом духе в народной школе ничего не могло и быть. Да и не столь важно, в каком духе книжка составлена: важно значение фактов, а мерка и оценка их будет прилагаться впоследствии, в меру вашего духовного роста и общего подъема вашего развития и выработки строгих и проверенных критериев для подхода и оценки. Без знания фактов ничего этого не выработаешь.

Чтение прекрасных отрывков и целых произведений из этой книги много способствовало выработке моего вкуса и поэтому я о ней вспоминаю с благодарностию.

Я забыл упомянуть, что еще в Минске я получил от архиерея Александра Добрынина в подарок «Сказку о рыбаке и рыбке», которая мне очень понравилась, пополняя запас бабушкиных сказок, и довольно большую книжку под заглавием: «Училище благочестия или избранные примеры из жития святых», книжка, которая выдержала сотни изданий и, очевидно, была весьма популярной.

Я ее многократно читал и перечитывал, восхищаясь мудростию и подвигами добродетели святых мужей, их твердостию в вере и непреоборимой стойкостию в страданиях. Впрочем, — там собраны большею частию примеры чисто житейского характера. Она считалась у нас как бы священным писанием. Часто я ее читал по вечерам отцу и матери, и мой суровый отец плакал от умиления. Много раз эта

благодатная книжка спасала меня от наказания. Я ловко учитывал ее действие на моего грозного родителя. Поэтому, если я в чем-нибудь проштрафился и со страхом ждал наказания (проступки мои были разнообразны, но в большинстве случаев сводились к тому, что я предпочитал убегать из дому в леса и луга, чем нянчиться с сестрой Павлинкой[196] или Машей, которых я предоставлял всецело на ответственность Магдалены), то подстерегал момент, когда отец выходил из дому, вбегал в избу и начинал читать вслух «Училище благочестия» или, еще лучше, «Житие св. Георгия Победоносца», небесного патрона моего отца. Если отец входил во время чтения, то, из уважения к святому писанию, чтение не прерывал. Мне только это и надо было. Прислушиваясь, он умилялся, в патетических местах у него текли слезы, и дело кончалось только нотацией, более или менее обширной, что у нас называлось «казніць», т. е. наставлять. Спасительная книжка, спасибо ей!

Под ее влиянием едва не вышла история с побегом ко святым местам — спасать душу, подобно тому, как бегут мальчики в Америку, начитавшись Майн Рида (я тоже в свое время отдал ему должную дань, как и Фенимору Куперу).

Был у меня приятель, года на два старше возрастом, Ларивон Бурый, попросту Ларка. Это был круглый сирота, по-видимому, староверческого происхождения, крепко сложенный, рыжеватый, сильно веснушчатый, с белесыми глазами. Немало он победствовал в сиротстве, накормил вшей и был весьма мистически настроен, впрочем, больше на шаманистский лад: верил в амулеты, заговоры, в особую силу кипарисова креста и пр. Он был пастушком у богатого мужика на Черейской улице — не то у Михалки Якубовича, не то у Янутки Скалубовича, а может быть, у обоих вместе. Пас он коров в «Старой роще». И когда его охватывала тоска и горе, он забирался в чащу, в густой кустарник — и начинал плакать и петь стих про Богатого и Лазаря, которому он где-то и у кого-то научился. Я сначала его немножко побаивался, особенно взгляда его белесоватых глаз, маленьких, колючих и блестевших холодным блеском, как стальные гвоздики. Потом он поступил к сапожнику в выучку, неподалеку от нашего дома, мы с ним часто встречались и наконец подружились. Он приходил

ко мне по воскресениям слушать чтение из святых книг, т. е. из того же «Училища благочестия». Чтение его восхищало даже в большей степени, нежели меня.

Он так же плакал, как и тогда, когда пел про бедного Лазаря. В качестве натуры суровой и положительной, он предложил от восхищений и умилений перейти к делу, т. е. бежать в Киево-Печерскую лавру душу спасать и творить подвиги для спасения души, о которых мы начитались. Эти мечтания роились и у меня, так что я бы и не прочь, да жаль оставить мать и сестер, и бабушку, и вообще все прелести мира сего. Другое дело, он, которому оставлять нечего и жалеть некого.

Мы долго составляли проекты побега: я должен был украсть у матери буханку хлеба и кусок сала, а у него были небольшие деньжонки на дорогу, и идти в Борисов, а там язык до Киева доведет. Но так это в области благочестивых пожеланий и осталось. Колебался я, а он был тверд и решителен.

«Всяк возложивший руку на орало и озирающийся назад, неблагонадежен для царствия Божия».

Мы с ним осуществили один странный проект — ходили на Ивана Купалу раздобыть цветок папоротника, который, как известно, ревностно охраняет нечистая сила, но это не относится к школе и к числу моих книжных увлечений, так что, может быть, я расскажу об этом в другом месте.

Ясное дело, что эта книга оставила в моей восприимчивой душе глубокое впечатление и следы этого впечатления долго не могли изгладиться. Может быть, даже они не изгладились, а переработались и трансформировались, приняв иное направление, а вместо Киево-Печерской лавры, этой белорусско-украинской фиванды[197], толкали меня в другом направлении, далеко не сходном и даже противоположном по точкам приложения. Но сила есть сила — и она всюду скажется, куда ее ни направляй. А эта книга заложила в душе моей изрядный заряд, взрывавший дремавшие чувства в эмоции, направляя их ввысь, «чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв», а не пресмыкаться по земле, как уж в болоте, где «тепло и сыро». Она создавала определенное построение специфической окраски и мотивировала волю на жажду добрых дел и подвига, разумеется,

религиозного. Но это — результат окраски, которая с годами блекнет и смывается, и даже перекрашивается в иной цвет, а чувства и воля, раз пробужденные, остаются и просят пищи, просят работы.

Что, в сущности, из себя представляла эта книжка? Это была христианская этика в живых и красочных примерах, правда, довольно односторонне направленных. В ней не было и не могло быть той логической стройности и законченности, как, скажем, в архибуржуазной этике Спенсера[198] или даже Вундта[199] — этике более широкого охвата.

Но ведь ими, что называется, собаки из-под стола не выманишь. Они говорят уму и только уму, а не чувству, а не сердцу. Мальчик их не прочитает, — они не для него писаны, — а если взрослый прочитает, то останется так же холоден, как был до чтения, или так же холоден, как по прочтении «Критики чистого разума»[200].

Там были характеры, образы, неплохо обрисованные, там были люди твердой воли, к возвышенной цели направленной, люди подвига и борьбы за идею, люди самоотверженные, жертвовавшие во имя убеждений всеми благами жизни и не останавливавшиеся пред страданиями и даже смертью.

Все это увлекало, учило, как надо себя направлять и бороться за убеждения, которые там называются верой. Там были прекрасные женские образы, с твердой и возвышенной волей, как образ Моники, матери Августина, как Марины, матери Василия Великого, которые родили и сумели воспитать великих сыновей.

Конечно, за небольшими исключениями, там нет исторической истины: большею частию это сказания легендарные или отрывки из благочестивых византийских и римских повестей и романов, именуемых «житиями святых». Но это не мешало им быть действенными. Я пишу не апологию этой книжки — мои дети ее не читали, — а хочу объяснить — в чем заключалась сила ее влияния на мою детскую душу и многие другие души: в возвышенных образах и в живых картинах, в примерах, достойных подражания.

Когда мой старший сын Вадим[201] быстро сгорал в революционном огне, как свечка, зажженная с двух концов, я

старался умерить его революционный пыл, чтобы сохранить его едва расцветшую жизнь. Он мне на это ответил: «а зачем ты мне давал читать Плутарха», т. е. его жизнеописание мужей и героев древности.

Много чего читал мой Вадим, но, очевидно, примеры героев древности имели на него наиболее заразительное влияние и так же пробуждали жажду дела и подвига, как на меня примеры героев и героинь христианства. Материал по окраске различный, но по существу и по воздействию — одинаковый.

Такого рода литература далеко не одной этой книжкой была представлена в нашем доме и составляла предмет моих личных и семейных чтений. Хотя она не была исключительной — были и другого рода книги — но они читались для забавы, развлечения, а чтения этого рода считались делом серьезным, душеспасительным и, стало быть, должным.

Еще в Минске, служа у архиерея, отец где-то раздобыл том житий святых за апрель месяц, где помещено житие его патрона Георгия Победоносца. Это был большой том в лист, в телячьей коже, с застежками, все как следует, на славянском языке. Я еще кое-как в нем разбирался, но моим слушателям, отцу с матерью, трудно было что-нибудь понять на этом архаическом языке. Толковали его мы сообща, вкривь и вкось, и мое понимание в этом случае доминировало, ибо я все же кое-что знал и вообще наторелся в славянском чтении. Больше, разумеется, мы читали житие Георгия, но читали и другие жития, например, Марии Египетской, житием которой открывался этот том. Занятное житие, которое было в большом ходу и не без его влияния моя младшая сестренка Маша была названа Марией. Очень славились также жития святой Евдокии, Алексия, человека Божия, Иоанна Воина и мн. других, которые у офеней находили обеспеченный быт и были распространены среди Холопеничских грамотников.

Все это читалось, оставляло свои следы и, несомненно, благотворно влияло на обычно суровую, а вместе с тем и чувствительную натуру моего отца, а также и мою, несравненно более мягкую. Что касается моей матери, то едва ли она нуждалась в каких-либо примерах для подражания, будучи человеком действенного подвига во всю свою короткую жизнь,

а по чистоте нрава и характера, мягкому и привлекательному, и отзывчивому чувству, сострадательному и тонкому в понимании, я думаю, была не ниже прославленных Моники и Марины. Но это ей нисколько не мешало умиляться и восхищаться при чтении о геройских подвигах святых и мучеников и сокрушаться о своем несовершенстве.

Были и другие у нас книжки и книги, но я о них расскажу особо.

А теперь возвратимся к школе, с которой еще далеко не покончено.

Слабой стороной нашей школы — и раньше, и во время учительствования Якимовича — было полное отсутствие знаний по русской грамматике. Раньше и попыток в этом отношении не делалось, а Якимович пытался кое-что сообщить нам, но больше по части орфографии. В этом отношении капитальным приобретением было то, что он дал нам заучить коренные слова на букву «ъ» и еще кое-какие правила сообщил о ее употреблении в окончаниях. Это был большой шаг вперед, избавлявший нас, по крайней мере, от половины ошибок. Для белорусов в области произношения и правописания наибольшие трудности представляет мягкое «р», т. е. употребление мягких гласных после этой буквы. Но тут уж никакие грамматики не помогут. Я действовал понаслышке в минской школе и у староверов — и это меня спасало.

Впервые при Якимовиче был введен диктант, но он не имел значения закрепляющего, а только проверочное. Главным образом мы списывали с книг, — основной тогдашний орфографический метод.

Кажется, и все, что можно сказать о преподавании в нашей школе за время ее обновителя и новатора.

Теперь перейду к школьным событиям. Их было не много. Осенью во время рекрутского набора школу посетил уездный предводитель дворянства Ергольский, в парадном одеянии, в мундире, расшитом золотом, с некоторым числом орденов (впрочем, неважненьких), в треуголке и со шпагой, и в сопровождении целой свиты чинов — тут и посредник фон Брадке (тоже в мундире, но победнее), и исправник, и божки поменьше, вплоть до волостного старшины и старосты.

Такого нашествия чиновных особ наша школа не видывала ни раньше, ни позже: Олимп спустился с надзвездных высот на бренную землю!

Мы сидели ни живы ни мертвы, даже я, уже видавший виды, сидел притишившись. И все это сделал предприимчивый Якимович, чтобы получить отметку в журнале, которая гласила следующее: «Уездный предводитель дворянства посетил такую-то школу и остался доволен развитием учеников». Он это прочитал вслух учителю, который почтительно раскланялся и рассыпался в благодарностях. Эта одобрительная отметка будет фигурировать в соответствующей рубрике в годовом отчете, которые уже стали обязательными. Как именитый посетитель осведомился о нашем развитии — это его секрет, ибо он спрашивал, как зовут царя и прочих, кто главный начальник губернии, в каком уезде мы живем и т. п.

Старшиненок Федор Попков по уходе их заметил: «А Фонбрадкин пьян». (Это посредник-то.) Старшиненок это должен был знать, и на сей раз он не ошибся. Он часто бывал пьян, что не мешало ему изображать из себя громовержца. Мы уже великолепно знали, что Ергольский живет с его женой и за это позволяет ему брать взятки и на призыве, и со старшин, и с писарей, и подрядчиков; знали и то, кто сколько дал и чрез чье посредство; знали и то, что посредник сильно пьет и в карты играет, — но когда я, стоя в дверях сборной, услышал, как посредник, выпятив брюхо, с руками в карманах, напыжившись и покраснев, как пион, грозно рычал на сход, ругаясь матерными словами, я струсил и живо дал тягу. У старост, к которым ругань адресовалась, тоже, я думаю, душа ушла в пятки.

Второе событие было для нас более знаменательным: приехал инспектор. Это мы узнали утром, придя в школу. Ночевал у учителя, вчера вечером угощался, а теперь чай пьет с угощением. Все это мы узнали от учеников, ночевавших в училище из дер. Гальков Кондратия Осташки и Лукаша по школьной кличке «Зялеза», ибо он так произносил «железо», — саўсім, як засцянкоўцы»[202].

Мы вели себя сдержанно и волновались от ожидания чего-то важного и страшноватого. Учитель несколько раз выбегал,

слегка взволнованный и, может быть, несколько выпивший, и, что называется, «путрил» нас, т. е. настраивал на добрый лад. Молитву мы должны были петь, и [он] дал тон лучшим певцам, кто должны были начинать.

Все это нас нервировало, и мы ожидали. Но вот вошел инспектор: высокий, грузный и рыхлый старик с седой головой, бритый начисто, лицом напоминающий добрую русскую бабу. Вслед за ним махонький бацька Шеметилло, моргая близорукими глазками, за ним наш учитель, пан писарь-попечитель и старшина Базыль Попков «при медали».

Помпа, скомпонованная нашим учителем. Пропели мы все как следует: и «Царю небесный», и «Преблагий».

Начались испытания. Сначала, как водится, закон Божий: молитвы, катехизис, священная история... Шеметилло волновался, краснея при неудачном ответе, моргал глазками и подсказывал. Затем выступил наш учитель: с бодрым и победоносным видом, как вождь, который ведет на приступ солдат, заранее уверенный в победе. Он знал, чем может блеснуть, и знал, кого о чем спросить, чтоб не вышло «Русалима из Петербурга», и кого лучше совсем не спрашивать. Тут было и чтение, и пересказ своими словами, и стихи, и басни, история и география с мудреными городами: Бельгия — гл. г. — Брюссель, Португалия — Лиссабон, Англия — Лондон, Германия — Франкфурт-на-Майне (это еще по старинке, словно бы еще не было Версальского договора). На столе лежала груда наших тетрадок, которые просматривал добрый старик, прислушиваясь к нашим ответам. Иногда он сочувственно или одобрительно кивал головой, иногда, при удачных ответах, подходил и гладил рукой по головке. Я удостоился этого поглаживанья: оно мне было столь же отрадным, как ласка диакона Томашевского, когда я одолел палки и перешел к крючкам. И это несмотря на мои минские триумфы.

Между нами говоря, в главной своей части они ведь были фальсифицированными. Да и что значат минские триумфы по сравнению с холопеничскими? По тонкому наблюдению Кнута Гамсуна: богатства можно наживать где угодно, но хвалиться ими всего приятнее на родине. Психологическую верность этого наблюдения я испытал на самом себе.

Но это было еще не все. О, далеко не все!

Инспектору так понравилось в Холопеничах, что он еще одну ночь ночевал.

А наутро, когда мы собрались в школу, он вошел опять, в сопровождении учителя, батюшки и попечителя, т. е. писаря Надольского. Мы опять пели молитвы, а не читали, как обыкновенно. И уселись в напряженном ожидании. Лежат три книжки на столе. Вдруг раздается призыв учителя:

— Богданович Адольф.

Я опомнился, что это я.

— Выйди к столу!

Я шмыгнул под скамейку (так дело проще) и, охваченный сладостным трепетом, стал у стола.

— Ты удостоен награды!

И учитель, перевернув обложку книжки, прочитал надписание, сделанное его рукой, четким почерком:

«За отличные успехи, примерное поведение и аккуратное хождение в класс награжден сею книгою ученик Холопеничского народного училища Адольф Богданович. 1873 года декабря такого-то дня». Так и блистало мое имя, более крупно написанное.

Подписано: инспектор народных училищ Минской губ. статский советник и кавалер Щедрин. Конечно, — не Салтыков, но да будет благословенно его имя. Книжечка? Не все ли равно, какая книжечка: важно надписание. Это было «Изъяснение богослужения и молитв христианской православной церкви, протоиерея Мартирия Чемены». И опять я был обласкан.

Я не один оказался лауреатом Холопеничской школы (как жаль, что я не знал этого гордого термина). Еще были вызваны великовозрастный Федор Попков (старшиненок!) и мой сверстник Григорий Кондратович. Церемония произошла с тем же торжественным чтением, которого я не слушал, поглощенный созерцанием своего сокровища, только что обретенного.

Коротенькая прощальная поощрительная речь — и мы были отпущены по домам, переживать свои впечатления. Бежал я со всех ног и прежде всего забежал по пути в бабину хату, чтобы она, совсем обветшалая, была восприемницей моего торжества. Читал я, захлебываясь, бабе Рузале этого стат-

ского советника и кавалера рядом с моим именем, которая, разделяя мой триумф, прослезилась от радости и стала меня целовать, приговаривая:

— Глядзі, мой унучак, вучыся, старайся... Нездарма я казала, што з цябе людзі выйдуць. Вот яно і на праўду выходзіць.

Читал я Юзику, своему ментору и защитнику, по пути, на бегу в свою хату, чтобы порадовать мать.

— Мамочка, мне награду дали!

И то же торжественное чтение «с притиском», т. е. выразительным подчеркиванием особенно веских слов.

Мать была порадована, но отнеслась к этому сдержанно, в силу инстинктивного педагогического такта.

Бедная! Как она мало радостей видела от своего первенца! А тревог и горестей было немало за его судьбу!

Весть о награде Адолю Юрчонку разнеслась по родне и соседям, и мне не раз приходилось читать это великолепное надписание. Дело было в новинку в Холопеничах. Никто ничего подобного не слыхивал. Может быть, нечто подобное и происходило в той школе, муры которой гордо возносились над скромными крестьянскими хатами, но это было давно, и никто об этом не помнил.

Затем оказалось, что ничего особенного не случилось, все стоит на своем месте, как стояло, я так же бегаю в школу, пробираясь среди снежных гор, которые наполняли нашу незащищенную от северного ветра улицу, и так же на бегу ежусь в своей плохонькой одежонке. Ученье шло своим чередом, по целым дням и вечерами, те же спевки и, наконец, Пасха с великолепной Заутреней, в которой вновь образованный хор заставил вспомнить времена диакона Пигулевского, большого мастера по этой части: главным образом, — его бывшие ученики, как Иван Баранок, великолепный тенор, как Еремей Боярин, веснушчатый, раскосый, выводивший дискантом чудные ноты, как Федор Попков и др[угие] певцы, мальчики и девочки. Наш учитель регентовал, щеголяя в расписном стихаре, поверх пальто с меховым воротником.

Пришла и прошла весна — и с ней конец ученью. Там уж ребят не соберешь, надо пасти коров и лошадей в одиночку, вплоть до Юрьева дня, т. е. найма общественного пастуха.

Но для нас, лауреатов, это еще не все: мы должны были готовиться «к публичному экзамену». Два новых и страшных слова, которыми мы обязаны предприимчивому Порфирию Михайловичу. Это прежде всего значило, что мы все, чему учились, должны были повторить и написать сочинения, которые будут фигурировать на экзамене, как вещественные результаты наших успехов. Мы должны их будем читать публично, и они пойдут в дирекцию народных училищ, в знамение того же самого. Вот тут и поломай голову! Темы, впрочем, давались на выбор из русской истории. Я выбрал «Татарскую неволю», как самый красочный сюжет; Федор Попков — «О Лжедмитрии», видимо, по романтическим соображениям, а Рыгор Кондратович — «Крещение Руси», может быть, как тему особо благочестивую.

Для «самостоятельной» обработки своего сюжета я получил книжку Петрушевского и «Книгу для чтения» Вил[енского] Учеб[ного] округа, где имелась статья на ту же тему. Вот была задача! Рассказать я это мог великолепно по Петрушевскому или по любой книге, но написать — я только мог так, как я выучил, т. е. буквально. А тут изволь писать самостоятельно! Лучше не напишешь, чем в книге. Я умудрялся на разные лады, стараясь как-нибудь похоже переврать, что в книге написано — и все сбивался то на тот, то на другой источник. Долго бившись, я, наконец, из двух источников нечто состряпал «самостоятельное». Мои товарищи по несчастью, конечно, были в том же положении и выходили из него так же.

Учитель просмотрел наши «сочинения», кое-что перечеркнул, связал бессвязное, поправил ошибки. И мы взялись за тщательную переписку. И я чуть было не испортил дела: переписав, я расписался в конце с великолепным росчерком. Оказывается, что я совершил величайшую нескромность. Как увидел мой учитель старательно выведенный росчерк туды і сюды, вышел из себя, просто взбеленился:

— Как ты смел расчеркнуться! — кричал он. — Кому и куда ты пишешь! — Я опешил — и ничего не понимал.

— Вот! — и мое творение было разорвано пополам.

Пришлось, глотая слезы, переписывать вновь, что я уже не мог сделать так тщательно, как в первый раз, ибо дело было накануне экзаменов или за два дня: я спешил, боясь опоздать.

Наконец настал этот высокоторжественный день, на Фоминой неделе. Из волости перенесен в школу большой стол, за которым обычно восседало воинское присутствие с Ергольским во главе. Принесено и красное сукно, которым стол в таких случаях покрывался. Принесено кресло для председателя и стулья, ибо у нас своих не хватало для всех, кому предназначалось восседать за столом. Оповещены чрез старосту родители учащихся и вызваны старосты из соседних деревень — Гальков, Борков, Якимовки, Версанки и Узнацкого, надо думать, для ознакомления своих односельцев с этим чрезвычайным событием. (Я думаю, — ругали они нас за потерянный день.)

Собралось в школу народу довольно много, чтобы оправдать термин публичности. Мы, разодетые в праздничное платье, сидели, ходили и волновались, ожидая — что-то будет, и боясь осрамиться. Помилуйте, — первые экзамены и притом публичные! Кабы — знато да ведано, як гэта робітца.

После приличной закуски в комнатах учителя (он порядок знал, как это водится в местах просвещенных), вошли почтенный попечитель пан писарь Надольский с прочими экзаменаторами и сел на председательское место, по одну сторону учитель, а по другую священник Шеметилло и еще становой пристав и старшина Василий Попков, в хорошо начищенной медали. Они сели за тот же стол, старосты и публика с небольшим числом учеников уселись за скамьи, а кое-кто толпился у дверей. Начался экзамен с дурной приметы: только что меня вызвали и сердце у меня екнуло, как близорукий Шеметилло, к тому же и угостившийся, доставал книгу, чтобы, посмотрев, назначить статью для ответа, зацепил широким рукавом своей рясы за чернильницу и опрокинул ее на красное сукно (правда — уже запятнанное), чуть не подмочив наших сочинений, которые тут же лежали на столе, ожидая своей очереди.

Произошло замешательство, пока выжимали тряпкой чернила, а я стоял в смущении, чуя недоброе. Вся музыка была испорчена. Учитель, устроитель помпы, явно досадовал.

Наконец, все приведено в порядок. Шеметилло, раскрыв библейскую историю Базарова и приблизив к носу, сказал:

— Беседа с женой Самарянкой.

Это я должен был отвечать. Мне было все равно, что отвечать, только бы знать начало, а это начиналось с «однажды». Нет ничего легче этого «однажды»: только бы не напасть на другое «однажды», не подходящее:

— «Однажды наш Господь Иисус Христос со своими учениками, Петром, Иаковом, Иоанном проходил в город Сихарь и, усевшись у Колодца Иакова, послал своих учеников в город купить хлеба». И пошел, и пошел чесать. Эта прелестная идиллия, написанная в улыбчивых тонах, в сократическом роде, слегка драматизированная наивными вопросами и загадочными, глубокомысленными ответами, которых глубокого смысла я в то время не понимал, но пересказать мог, была мне как нельзя более по нутру. Я без запинки всю ее пробежал от начала до конца. Именно важно было без запинки.

— Как топором отрубил! — последовала рецензия Шеметиллы, которая являлась одновременно похвалой и мне, и его преподавательскому таланту.

Ничего страшного: больше ничего и не спрашивали, чтобы не испортить впечатления.

— Федор Попков! — это сын-то старшины. Батька напыжился и поправил медаль. Как по маслу. Григорий Кондратович — тоже.

Ну, значит, все идет хорошо, и дурная примета не оправдалась. Как бы не так: еще не прошли Мартовские иды! Отвечали мы по русскому языку, т. е. читали и пересказывали «своими словами» читали стихи и басни, — все шло хорошо. Но вот дошло дело до наших сочинений, которые должны были произвести особый эффект.

— Богданович!

Вновь иду я к столу, уже не в первый раз.

— Прочитайте сочинение.

Затем следует легкое пояснение учителя, что это «самостоятельная работа». Я читаю: «Татарская неволя» и так далее. Тут-то и началось! Еще я не дошел и до конца, как Шеметилло, вспыхнув, закричал:

— Никогда я не поверю, что это самостоятельная работа! Так не может писать ученик народной школы. (Язык предательский выдал!) Это все списано с книги! (Это неправда: надо было сказать — с книг и с поправками учителя.)

Я стоял, как приговоренный к смерти. Но учитель постоял за себя и за нас:

— Как! Значит, я и мои ученики воры? Как вы смеете! Это оскорбление в публичном месте и при исполнении моих служебных обязанностей. Я не позволю вам оскорблять себя и моих учеников!

— А коли так, так я ухожу. Вы оскорбляете мой священный сан, — встал, взбешенный, и вышел.

— Объявляется перерыв на 10 минут, — заявил наш бойкий учитель.

Все мы были смущены. Из «публики» кое-кто стал расходиться. Другие оживленно обсуждали инцидент. Сочувствие явно было на стороне учителя и нашей.

— Зайздрось (зависть) узяла папа! Не падабалася, што хораша пішуць. Не пад нароў (не по нраву) яму напісана — вот і ўсердзіўся. А настаўнік добрый, харашо іх муштрue, усяму навучае.

Но скандал вышел первостепенный, и вся торжественность пропала.

После совещания решено было продолжать экзамен при одном пустом месте: благо, закон Божий выдержали.

Сочинения были прочитаны, решали мы задачи, но атмосфера была напряженной и наше торжество было вконец испорчено.

Не помог и так названный торжественный акт, наскоро написанный на бумаге, который гласил, что такие-то, по выдержании испытаний, признаны достойными получить свидетельства об окончании курса учения в Холопеничском народном училище. Так печально был совершен первый выпуск из трех человек в Холопеничском народном училище, за

двенадцать лет его существования это не много. Но лиха беда начало: потом дело пошло легче.

Вскоре я получил это обещанное свидетельство[203], за подписью, между прочим, того же попа Шеметилло и с приложением церковной печати, где было сказано, что я учился с 1872 года по текущий 74-й год, что неверно: я поступил в школу гораздо раньше, а при Горяченове вовсе не учился, и что окончил полный курс, показав, при отличном поведении, такие-то успехи в науках, все очень хорошо да отлично, чем я упивался, читая, и прибавлено, что обучался переплетному мастерству, со скромной отметкой — хорошо (3). Это скромно, но преувеличено: мы больше портили, чем переплетали. Выходит, что школа имени Баранка пошла насмарку, а это несправедливо. Я учился, положим, меньше всех, но в два года того, что я знал, ни в какой школе не нахватаешь. Так как это документ, у меня сохранившийся, то исправляю еще одну ошибку: там сказано «имел от роду 13 лет» — это неверно. Я родился в 1862 году 25 марта, стало быть, мне было в 1874 году только 12 лет. Выражение «полный курс» на первых порах меня несколько смущало: я гадал — есть ли курс еще полнее. Я знал, что есть гимназии, и завидовал, будучи в Минске, синеньким мундирам с блестящими пуговицами и галуном на воротничке, особенно, когда мундирочники могли стоять близко у музыки на бульваре, а меня городовые гнали вон, про гимназию я знал, но я считал, что это школа для знатных и богатых, а семилетний курс объяснял себе так, что там сидят семилетки.

Итак, я был первым учеником первого выпуска в Холопеничах с полным курсом. Лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме (Цезарь). Это льстило моему самолюбию, которое в других отношениях частенько получало чувствительные щелчки, и возвышало меня в моих собственных глазах, да и в глазах других: я все же был с отметиной. Писарь Надольский, особа важная в Холопеничах, когда я проходил мимо крыльца, на котором он сидел с гостями, и кланялся господину почетному попечителю, говорил, указывая на меня своим гостям: «Этот мальчик окончил полный курс наук». Как не гордиться, если столь важная особа считала нужным упомянуть об этом именитым гостям?

С окончанием «полного курса» я не развязался со школой. Учитель Якимович, женившись, много сбавил первогодной прыти (неоженившийся пецется — како угодити господеви, а оженившийся пецется — како угодити жене), потом, после достопамятной ссоры с попом Шеметиллой, нельзя было манкировать требами, а приход был большой со многими деревнями, с двумя священниками, частые заупокойные обедни по будням, похороны в деревнях, — все это требовало частых отлучек на полдня, на день, что было несовместимо со школьным делом зимой; а отказаться — значит, лишиться более половины содержания. Якимович вышел из затруднения тем, что пригласил меня в качестве помощника на зиму 1874/75 года. Другими словами — на меня выпала в жизни Холопеничской школы роль Ивана Баранка. Я подвизался в этой роли две зимы, — вторую зиму (75/76 год) при Петре Вуколовиче Шолкович, учителе маргариновом: он только окончил духовное училище.

Первый год — я действительно был «помощником», т. е. работал под руководством учителя, занимался делом более простым и посильным, хотя частенько приходилось управляться с целой школой одному в двух комнатах; а второй год школа большею частию лежала на мне одном.

Как я справлялся с делом? Неплохо: оба года были выпуски, правда, небольшие, но больше первого, и притом с приезжим экзаменатором, что гораздо хуже. Мой режим был много мягче, чем Ивана Баранка, хотя я также угощал непослушных или ленивых щелчками по лбу (ноготь у меня на среднем пальце был много мягче, чем у моего первоучителя), а иногда и дирал за уши, но не жестоко, без особого увлечения. Я был еще мальчик, и хотя школа сильно измельчала, но все еще были ученики много старше меня, и они покорно наклоняли лоб под щелчки. А как же иначе? На то и учитель. Правда, нередко смеялись, получив свою порцию щелчков, и это меня раздражало, и я сожалел, что нет у меня твердости ногтя Ивана Баранка, и иногда отпускал вторую порцию: не смейся! Розги оставались в тени, в качестве «сильно действующего мотива» и острастки, но в ход никогда не пускались, хотя никто не верил, чтобы они были совсем изъяты из употребления

или запрещены. Помилуйте: в волости пороли, а в школе нет? Кто бы этому поверил? «Коленки» практиковались в редких случаях, Якимович только их применял за проступки, которые он считал безнравственными,— за озорство, хулиганство, которые бывали, но не часто: измельчал народ!

Что касается приемов обучения, то короткое пребывание в Минской школе для меня не прошло бесследно: я кое к чему там присмотрелся, а затем кое-чему научился и от Якимовича, — так что был бакаляр хоць куды.

Ни с тем, ни с другим учителем у нас «ряду» не было. Как с учителем рядиться? Якимович мне заплатил в конце года 5 рублей (хорошо и на сапожишки), а Шолкович 10 рублей. Это столько же, сколько получал и Иван Баранок: ученик сравнялся с учителем. Плата, конечно, ничтожная, тем более, что на помощника полагалось 50 руб. Но я не был за это в претензии: я получил нечто большее, чего и за 50 рублей не купишь. Командное положение в школе в течение двух зим имело для меня большое воспитательное и образовательное значение. Положение обязывало: я научился сдержанности и такту. Это стоит дорого. Потом — «уча других, мы сами учимся», — и я многому научился. К этому времени как раз относятся мои увлекательные занятия всеобщей историей. А главное — в моем распоряжении был книжный шкаф, где кроме учебников были и разного другого рода книги, в которые никто не заглядывал: они стояли не разрезанными. Большею частию это были книги обрусительского характера, издававшиеся в Вильне и Киеве, которые сбывались, на казенный счет, в школы, как в могилу. Это были: «Вестник Северо-Западной России» (Вильно), «Вестник Юго-Западной России» (Киев), «Правда об унии», «Сборник документов латино-польской пропаганды против православной веры и русской народности», «Иосафат Кунцевич[204], Полоцкий униатский архиепископ» и др. в этом роде. Были книги и иного сорта, вроде сборника Дмитриева: «Белорусские песни, сказки, обряды и обычаи» — один из ранних сборников по белорусскому фольклору, был сборник украинских песен Максимовича и один том собраний Афанасьева-Чужбинского, сборник документов Кулиша и пр., что я уже забыл или о чем упоминать не стоит. Все это я читал

или просматривал, и все это мне принесло немалую пользу в разных отношениях. Знакомство с фольклором открыло для меня целый мир народный чувств, воззрений и верований и вскоре повело к моим личным этнографическим записям. А по разным «Вестникам» и «Сборникам» я знакомился с документами и историческими памятниками, т. е. знакомился с фактами, которые, помимо непосредственного обогащения познаниями, впоследствии мне очень и очень пригодились. А специфическое направление, тенденциозность подбора, а окраска? Конечно, на незрелый ум все это действует заразительно и приносит или может приносить вред. Но, по мере обогащения знаниями и развития критического отношения, при свете фактов, все это спадало, как шелуха, подобно тому, как с возрастом и опытом, отпадают детские верования.

Я помню, что в «Вестнике Юго-Западной России» я в то время прочитал архичерносотенную статью, направленную против Герцена-Искандера, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и, заодно, против Антоновича[205], как исчадий ада, развратителей незрелых умов юношества и пр. Я никогда не слышал этих имен и не имел понятия об их писаниях. Но какой-то инстинкт мне подсказал, что тут дело нечисто: уж больно автор распинался, с пеною у рта, и в пылу полемики коечто проскочило такое, что меня не могло не заинтересовать или хотя бы заинтриговать. Я эти имена запомнил, и, будучи вскорости в Минске в разных выучках, я добился своего, постепенно ознакомившись с Добролюбовым, кое с чем из Писарева («Мыслящие реалисты»), кое с чем из Герцена («Кто виноват?» и «Былое и Думы»). Так эта черносотенная статья дала толчок к моим исканиям в другом направлении (скрывают!), что привело меня к народничеству и народовольчеству, знамени которого я никогда не изменял, а из активной борьбы вышел в своей организации последним. Этому не помешали ни легенды царизма, ни религиозность моей семьи, и в детстве и ранней молодости моя собственная, ни конфессиональное направление начальной школы, патриотические учебники и проч. Да и упомянутые Чернышевский, Добролюбов, Антонович, «нигилисты», так сказать, первого призыва, кто такие были? Какое воспитание и образование получили?

Поповичи и питомцы конфессиональных школ, где их поповщиной пичкали до отвала. А что от нее осталось? «Народная Воля» широко пополняла свои кадры из разных слоев общества, но семинаристы едва ли не преобладали в ней численно. По крайней мере, за Беларусь можно поручиться. Так что дело не в этом, и собака зарыта в чем-то другом. Во всяком случае, что касается специфической тенденциозности, направления, то не так страшен черт, как его малюют. Всяк берет свое добро, где его находит. В этих журналах и сборниках я немало прочитал королевских грамот, привилеев городам, монастырям, церквям, гетманских универсалов и пр. Все это, разумеется, сырой материал и не уму 13—14-летнего мальчика его переварить; хорошо, разумеется, было бы, если бы все это было обработано и обобщено; но, к сожалению, этого не было и было затрачено немало напрасного труда, который в некоторой степени искупается разве тем, что я знакомился со старинным языком актовых книг и духом эпохи. Язык сильно гнул в сторону польщизны, и некоторые акты (позднейшие) были напечатаны на польском языке с русским переводом. Это меня натолкнуло на изучение польского языка. Научиться читать по-польски мне ничего не стоило: дядя Онуфрий читал по-польски и были другие люди, которые умели читать: овладев алфавитом, я живо научился читать. [...]

Тогда же я захотел научиться по-немецки. Для чего мне это было надо — я и сам не знаю. Просто ненасытная жажда знаний, — та самая, которая побуждала меня читать привилеи и универсалы. Но это оказалось не так-то легко: не было подходящего учебника. Я раздобыл от Гирши Гарелика, ученика еврейской группы Якимовича, маленькую книжку, изданную в Вильне для еврейского юношества, в обмен на другую книжку. Там была немецкая азбука, печатная и письменная, немножко сочетаний букв в слоги, и ряд хрестоматийных статеек с русским переводом. Но не было словарика и никаких руководящих указаний. Как произносятся буквы — Гирш надписал мне по-русски. И я живо взялся за дело. Читать с грехом пополам я научился и почти всю книжечку выучил наизусть. Но толку из этого вышло мало: я знал содержание статей по русскому переводу, но отдельных слов знал очень мало: все

это были, большею частию, имена существительные. Так я и бросил этот язык, не добившись толку. И когда уже в сознательном возрасте я принялся за изучение языков, в целях самообразования, то из новых выбрал французский, как близкий к латинскому, что облегчало работу. А немецкий так и остался в забросе. Между прочим, — я и теперь помню значительные отрывки на немецком языке, сохранившиеся в памяти с того далекого времени. Жаль напрасно затраченного труда. Но, идя сослепу, ощупью, сколько я его затратил впустую! Пусть идут в эту прорву и мои немецкие усилия.

Для полноты картины моего начального образования и умственных интересов, вкусов и запросов надо продолжить о моем личном семейном чтении, так сказать, — о своего рода литературных вечерах, и не при свете лучины, и не в бабиной хате, а при лампочке керосиновой и в своей хате.

Лампочка была новшеством, которым Холопеничи обязаны моему отцу. Еще в 69-м году он привез из Борисова лампочку с подвижным, висячим на ножках резервуаром, с круглым сученым фитильком, которую можно было вешать на стену или ставить на пол. Керосин, которого он привез бутыль, был тоже новшеством. О шандорине[206] у нас слышали, но керосина, который звали «газа», у нас не видали. И потому, как он появился в нашей хате, соседи приходили посмотреть на новое чудо, нюхали керосин (ах, якій жа смярдзючы!) и хвалили свет. Гарыць — і ні табе вугля, а ні дыму. Лампочка давала скудный свет, но нам он казался достаточным: при нем я читал и писал, матушка шила и штопала и всякие работы при нем производились. Словом, была развернута новая страничка в культурной истории нашей семьи и даже Холопенич, ибо вслед за тем появился в лавках керосин и лампочки разных сортов, но мы своей не изменяли, считая ее экономной, достаточной и даже лучшей.

Не то, чтобы лучина совсем вышла из употребления, но отступила на задний план, подобно каменным орудиям в век металлических.

Вот при свете этой-то лампочки, лет пять-шесть, и происходили наши семейные чтения. Происходили они, большею частию, тогда, когда отец был дома, он очень любил слушать

книжки, и главным образом, — в длинные зимние вечера: летом недосуг. Допускались на эти чтения и соседи, из родственной семьи Голованов, Юзик, мой неизменный товарищ, Янка Лисовский и кое-кто из сторонних, — случайных гостей или посетителей. Чтения всегда были оживленными: удивлялись, умилялись, негодовали, плакали, смотря по положениям и испытаниям героев и героинь, и всегда комментировали наперерыв друг перед другом, ибо все плохо понимали, и потому много спорили и гадали, пока роль толкователя, мало-помалу, по мере моего физического роста и возрастания моего авторитета, переходила почти незаметно ко мне, особенно после окончания «полного курса». Вскоре я стал полновластным истолкователем, почти безапелляционным.

Диво-дивное! Давно ли я «таткі баяўся як агня?» А тут вдруг вырастал в целую фигуру! Это рядом-то с ним? За одним столом сидя? Вот они, «плоды просвещения», что делают!

Словом, мы читали [...] до полуночи и далеко за полночь, бывали случаи, что и до бела дня.

Что мы читали? Про «божественное» я уже отчасти сказал. Но это истории коротенькие, и за полночь не увлекающие. Но были книжки забористые. Во главе их надо поставить бессмертное творение Комарова (конец XVIII в.), «Повесть об английском милорде Георге и Бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе с присовокуплением истории турецкого визиря Марцимириса и Сардинской королевы Терезии». В подлиннике заглавие еще более обширное и витиеватое, но я пишу на память и кое-что опустил или переврал. Эта книжка выдержала изданий без числа и едва ли была более популярная, чем она. Рассчитанная на буржуазного читателя, в XVIII веке уже многочисленного, она потом проникнула в народ и вскоре завоевала самый широкий круг читателей и слушателей. Она потрафила на вкус и, повествуя об авантюре героя за авантюрой, ловко возбуждала интерес — чем это кончится, особенно если герой попадал в такую передрягу, в какую попал злосчастный Георг у арабской королевы, воспылавшей к нему арабски-пламенной любовью (которая, разумеется, не разделялась) и мстительно бросившей его в яму, наполненную всякими гадами. Тут слеза — хочешь не хочешь —

прошибала и чтеца и слушателей. Ну, разумеется, засиживались до третьих петухов, когда обычно полагается вставать. Отец и я могли поспать, а бедная мать едва ли: ведь баснями и соловья не накормишь.

Когда я прочитал у Некрасова про «Милорда Глупого», то я был несколько обижен за книжку моего детства. Думаю, что и Некрасов в свои ранние годы не находил ее глупой. А мы никогда не согласились бы с этой рецензией. Некрасов несправедлив в столь категорической оценке: у «Милорда» есть крупная заслуга: он заставил мещанина, рабочего и крестьянина полюбить книгу, полюбить занимательное чтение, отвлекающее от кабака и водки. А это заслуга немалая. Некрасов мечтал о том, когда мужик, «вместо «Милорда Глупого» Белинского и Гоголя с базара понесет». Полагаю, что Белинского он, оставаясь мужиком, еще долго не понесет, а чрез «Милорда Глупого» мы дошли до Гоголя.

Дядя Онуфрий где-то раздобыл том «Мертвых душ». Переход от «Милорда» и «Гуана» был слишком резок, но Гоголь встретил весьма восприимчивых и благодарных слушателей: комизм положений и юмор автора не прошли незамеченными; напротив — все разбиралось, осмысливалось, выяснялось и вызывало неудержимый смех. Помещичья среда была великолепно знакома слушателям и, хотя это была белорусско-польская среда, но аналогичные типы в ней встречались. Я очень сожалею, что не записал тех суждений, оценок и понятий, которые вызывались этим чтением: многие были весьма остроумны и оригинальны. Тогда я не смог бы этого сделать, а теперь не восстановишь.

Тот же дядя Онуфрий подарил мне «Хижину дяди Тома» — произведение, которое имеет все права на звание мирового, ибо оно облетело весь мир и было переведено на все языки культурных народов. Воображаю, сколько оно вызвало горьких слез и сколько пробудило добрых чувств и живого сострадания. Я ее прочитал сразу, без перерывов, читал два дня и ночь напролет; ел, не отрываясь от книги, изевелся от слез и буквально поливал свой хлеб слезами. Среди чернокожих героев и героинь оказался мой соименник Адольф, что, в некоторой степени, меня с ним сближало, если не

отождествляло, — и его злоключения и страдания делало моими страданиями: так живо все это переживалось. Выплакав и выстрадав всю эту эпопею из тяжких страданий и идиллических картин, я заставил своих близких все это пережить и выстрадать: немало было пролито слез в течение недели или более, когда я читал по вечерам вслух. Повторность переживаний так же, как и впервые, сжимала мне горло спазмами, и я должен был прерывать чтение, захлебываясь слезами, и выжидать, пока пройдет пароксизм.

Вся эта чувствительность, свойственная не одному моему возрасту, все эти слезы, с ней связанные, не прошли бесследно для формирования моих понятий и воззрений. На этой почве возникло, а впоследствии сложилось и отвердело мое убеждение, что нравственное человеческое достоинство не зависит от цвета кожи и расы, от языка, степени культуры и класса; что человеческое достоинство, в своей основе, в самой сущности, не зависит от этих категорий и не ими определяется; что угнетатели и угнетенные есть во всех расах и в разных классах, с разницей в степенях доблести и подлости, которые зависят от характеров и общественных положений, которые могут меняться; что доблесть и подлость не есть нечто прирожденное, неизменное и неизбывное и что, поскольку они зависят от положений и привычек, они могут изживаться и меняться. На этой же почве возникла идея необходимости единения между угнетенными и борьбы за освобождение от угнетения и угнетателей. Конечно, обуревавшим меня чувствам и идеям я не мог дать такой формулировки, ибо даже всех необходимых для этого слов не было в моем языке и понятия, с ними связанные, были не отчетливые, но определенные чувства ведь были — они сознавались непосредственно и в моей впечатлительной душе оставляли глубокий след, а идеи, хотя и смутно сознаваемые, но возникали и бродили те же, которые я выше отмечал и формулировал и которые, раз зародившись, постепенно росли и крепли, осознавались, проверялись последующим опытом и чтением, совершенствовались и слагались в систему убеждений, которые сопровождали меня во всю жизнь: менялись формы их применения в деятельности, но сущность их, как

руководящих мотивов, определяющих направления и цели, оставалась одной и той же.

Разумеется, все эти чувства во мне были и жили, как наследие, полученное от моих предков и как результат моего семейного воспитания, но чтение их возбуждало, подогревало и укрепляло, и зарождало известные идеи. В этом отношении роман Бичер-Стоу имел большое значение: он пробуждал добрые чувства — чувства гуманности, человечности, солидарности.

Не одни столь благотворно действующие романы читались и захватывали: была и другого рода литература. У дяди Онуфрия были: «Проклятая любовь» Ксавье де Монтепена, «Монте-Кристо» Дюма. Они также читались [...] особенно последний. И одно время, будучи в Минске в выучках, я сильно увлекался подобного рода литературой, но это было короткое время: довольно скоро, под влиянием Белинского и Добролюбова, и вообще, благодаря чтению рецензий в журналах, я научился разбираться в характере и относительной ценности беллетристических произведений и перешел к отборной русской и иностранной литературе.

Читались эти книги и отцу, и матери. Была у меня еще чудесная книжка, которую я всю знал наизусть и которой я обязан немало. Досталась она мне в 1871 году в Минске, когда отец служил у архиерея. Это был «Песенник», вернее — два песенника в одном переплете. Принадлежала эта книжка дьячку Неведомскому, бывшему при архиерейском доме[207] на покаянии за какие то любовные похождения. Покаяния он должен бы отбывать в монастыре, но так как он был хороший столяр, то это его уменье эксплуатировал архиерейский дом, — значит, — душеспасительное соединялось с полезным. Этот разбитной черноволосый парень, тип сельского сердцееда, вероятно, не без пособия этого сборника одерживал свои победы, в консисторию и архиерею были поданы 3 жалобы от потерпевших девиц, которых он сделал матерями, обещая жениться. Архиерей настаивал, чтобы он женился, но он, видимо, затруднялся выбором и предпочитал пилить и строгать в архиерейском доме в Минске и в подгородном имении Пустынь, ухаживая — и не без успеха — за архиерейскими

коровницами. Так вот ему-то и принадлежала эта книжка вместе с гитарой — незаменимой помощницей в делах соблазна. Я как овладел книжкой, то не мог с нею расстаться: она меня, в то время 9-летнего мальчика, захватила и увлекла. В ней был один старый песенник на синей бумаге, приблизительно 20-х годов, с народными песнями, хорошо подобранными, частию заимствованными из Кирши Данилова, частию из Комаровского «Ваньки Каина», а частию из других источников, но лучшая народная песня была представлена с большой полностию, вперемежку, впрочем с подражаниями народным (Нелединский-Мелецкий, Дельвич, Цыганов и др.) и чувствительными романсами старого времени. Это было в конце и мне меньше нравилось. А на первый план был выдвинут сборник более новый, 60-х годов, с песнями и романсами, которые принято называть «цыганскими», извлеченными из поэтов от Мерзлякова и до 60-х годов. Там были Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Цельтман, Гребенка и другие малоизвестные авторы, нашедшие сочувственный отклик в мещанской среде, и много водевильных куплетов и специально цыганских песен, вроде «Я — цыганка молодая» и «Старый муж, грозный муж». Словом — разнообразие большое, а для меня — целый мир поэзии, если и не совсем новый (кое-что было хрестоматийное), то в огромном большинстве совершенно не испытанный и неизведанный. Я не мог расстаться с этой книжкой, и если бы ее отняли у меня, то оторвали бы от сердца. Отец любил слушать некоторые «стишки» и куплеты, которые я оттуда читал ему, вроде «Благодарю, не ожидал» и Мятлевские «Фонарики, сударики», но когда я стал просить купить ее у собственника, он отказался, заметив: «еще рано тебе это читать». Это было, конечно, не последовательно, ибо я все равно читал, и многое читал ему же. Но это надо было понимать так, что это случайность, а поощрять и закреплять это мое увлечение не следует. Но я был неотступен и, видимо, достаточно убедителен, что отец пошел на уступки и купил эту драгоценность за двугривенный. Баснословная дешевизна за целый мир поэзии! Пусть эта поэзия была не первого сорта, но и не последнего, и вкус мой был не первого сорта, и одно другому соответствовало и вызывало сладостный трепет в моем детском сердце.

Эмоции по силе были далеки от тех, которые, в разное время, были вызваны «Антонием Римлянином», «Учителем благочестия» и «Хижиной дяди Тома» — это были умеренные эмоции, но тем не менее сладостные и привлекательные, а главное — неиссякаемые, постоянный источник тихого наслаждения. Я их сначала читал, а затем напевал, слагал сам мелодию, конечно, скудную и жалкую, наивно думая, что это и есть самая настоящая, данному складу песни присущая, так сказать, — вместе с ней рожденная. Это не одно мое заблуждение: это заблуждение многих. И не совсем заблуждение: надо думать, что в первобытные времена так песня нераздельно и слагалась. Ритм и размер руководили мелодией.

Я потом убедился, что и другие шли тем же путем и создавали мелодии, весьма близкие с моими.

Мне часто отец делал более или менее гневные замечания на мои увлечения этим сборником, склоняя меня в сторону «Училища благочестия». Я его не оставлял, как и ему подобных, совсем напротив, но я находил возможным совмещать и то, и другое. И такое совмещение — дело инстинкта — было самое лучшее: умеряя одно другим. Оно не сделало из меня ни Фивандского отшельника, ни местечкового ловеласа.

Долго я не расставался с этой книгой. Я ей обязан своей любовью к поэзии и развитием стихотворной памяти. Она принадлежала к числу избранной литературы, перечисленной и охарактеризованной выше, которую я таскал за своими плечами в своих последующих скитаниях, начавшихся с 13-и лет: ох, как тяжела она была в котомке с хлебом, салом и бельем на моих плечах, по дороге в Крупку (25 верст), Бояры (30 верст) или Борисов (50 верст)! Но мне долго не приходило в голову расстаться с этой тяжестью. Время ее выбросило за борт, как ненужный балласт. Но было время, когда он, этот балласт, очень и очень был нужен для устойчивости судна в житейских волнениях и бурях. Это раз. А затем эта книжка стихов и хрестоматийные пометки под стихами и баснями авторов заставляли меня искать их сочинений — Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова, Никитина, Майкова и других, — чего вскоре я и достиг, будучи в Минске в разных выучках.

Это были руководящие указания. Последним звеном в моем домашнем чтении в Холопеничах, имевшим значение в ходе моего самообразовательного процесса, была повесть Толстого «Казаки», в издании Стелловского, в томе с мелкими рассказами: «Утро помещика», «Два гусара», «Три смерти» и др. «Казаки», разумеется, затмили мелкие рассказы, и я немало восхищался этим мастерским произведением, совершенно в новом для меня роде, но я до этого уже читал «Героя нашего времени», не говоря уже об «Амалат-беке», и поэтому оно падало на почву, уже вспаханную и посеянную однородными семенами, и потому не оставило исключительно глубокого следа в моей душе, ни с чем не сравнимого, и чувства в известной степени окрепли и сделались менее экспансивны.

Во всяком случае, запас и подбор мною прочитанного в мои школьные годы в Холопеничах, был разнообразным, значительным и далеко не бедным: в соседних усадьбах мелких помещиков, как Маренты, Сикорский, Бродовский и Рачковский, едва ли были знакомы с теми крупными произведениями, которые я уже успел усвоить, а если что и читали, так бульварную польскую литературу.

И, тем не менее, я в это время был поденным или сезонным рабочим в Холопеничской усадьбе, считая это в порядке вещей и особенно не тяготился работой и не роптал на свою судьбу.

Но об этом будет рассказано особо, а пока мне вновь надо возвратиться в бабину и свою хату, чтобы рассказать про некоторые события нашей семейной жизни и жизни нашего «конца».

1868 год. Надо сказать, что после возврата из Бобруйска (1867 год) на нашу семью падали одно за другим несчастья или крупные потери. Начну с последних. По ликвидации, не безубыточной, лошадей надо было заводить новое бобыльское хозяйство, т. е. купить корову и свиней. Свиней вскоре раздобыли — подсвинка и пару поросят, так что к Колядам колбасы и «верещака» к блинам были обеспечены. А за коровой отец с матерью отправились и на кирмаш в Чашники (50 верст) на весеннего Миколу. Сторговали там за 18 рублей пеструю коровешку, не особенно «позористую», — самая обыкновенная

крестьянская животина: куда ей до Матрунки! — но, как оказалось, достаточно молочную. Этим был основной вопрос об «окрасе» — разрешен. Было и молочко, и сметанка, и творожок, и маслице, а от поры до поры, и сыр с тмином, если его подсметанить, то он очень вкусен. Радовались все, что эта сторона была налажена. Отец заготовил сена на зиму, сняв траву на скос в старом саду в имении: между старыми яблонями и грушами росла порядочная трава. Пока отец косил, мы с Магдаленой упражнялись в крыжовнике или в малиннике, или барахтались в копнах душистого сена. Все шло хорошо: наметали целый стог сена на бабином дворе, близ хлева, и огородили жердями. Как — на табе ліха! — корова как-то взошла в сени бабиной хаты, где был погреб прямо в земле для картошки и овощей, погреб довольно вместительный, покрытый сверху накатником, засыпанным землей, с узким отверстием посередине. На несчастье и попади корова в эту ямину — провалилась, ступив на подгнивший накатник. Мать выбежала на жалобный рык и еще жалобнее завопила. Корова барахталась там, где-то внизу. Стали скликать соседей — прибежали кто мог. Подвели веревки ей под брюхо, с большими усилиями вытащили, но оказалось, что она вставать не может. Думали, что отлежится, но видимо, что она что-то поломала и искалечилась основательно: не пила и не ела. Так она и не встала. Тут ее и прирезали. Остались мы на зиму без молока и всего прочего. И стог сена зазимовал.

На весну отец купил у арендатора имения Концендорфа молодую коровку — тирольку, за 15 рублей. Купил на риск, ибо она совсем изошла от бескормицы и голода, уже не вставала. Такой жалкий вид приняло все лаповское великолепное стадо отборных коров. Много из них пало. Та же участь грозила и нашей Рыжке, но мать ее «отходила». Она целую неделю носила ей сено и пойло, пока она не стала вставать. Еще она не вполне окрепла, как отец, мать и я, ее будущий пастух, отправились сообща вести корову домой. Она шла, широко расставляя ноги, словно разучившись ходить, останавливалась и несколько раз падала. Ее подкармливали хлебцем и вели дальше. Вид у нее был самый жалкий, кожа да кости, на боках закорели комья навоза, но глаза были быстрые,

живые и злые, а рога острые. Совсем молодая коровка была, по второму отелу, и, при добром уходе матери, она развернулась в великолепную фигуру: красивее и грознее ее не было ни в местечковом, ни, пожалуй, в помещичьем стаде: Концендорф сильно его разредил. Она была большая мастерица бодаться и, кроме матери, никого к себе не подпускала. Это побудило отца притупить ей рога, спилив острые кончики. Это портило ее вид, но было безопаснее. Под бородой у нее была широкая складка, во всю длину шеи, и вид был важный и внушительный, как у принцессы. Молоко было густое и обильное. С ее появлением «горлачи» у нас стояли целыми батареями и мы, что называется, в молоке купались. Дала она у нас два отела, в обоих случаях телушки. Их продали пану Надольскому по 5 рублей. Какие великолепные из них вышли коровы! Завистъ было глядеть!

Переезд в Минск в 1870 или 1871 году заставил нас с нею расстаться: продали ее за пятьдесят рублей в Борисов Банедыку Буйлу, — тому, что Лапа в солдаты сдал за Рудобельский «бунт». Как горько было с нею расставаться! Три человека, ввязав кол в рога, вели ее в Борисов: мотнет головою — и оба передовых летят в стороны.

После возвращения из Минска (1872 год), спустя некоторое время (не все сразу: сильно потерпели от переездов) была заведена корова, но уже далеко не тот сорт. Мы и ей были рады-радехоньки. Опять появились молочные скопы, значит, опять ожили. Но не долго длились наши благоденствия. Снова несчастный случай: она доставала из стойла сено сквозь жерди; пробилась головой между жердями и повисла на них, и удавилась. Это было сущее бедствие, и мать, горько плача, сообщала отцу по возврате его из поездки об этом бедствии. И это была последняя наша корова: больше мы уже были не в силах обзавестись кормилицей, и только свинина скрашивала наш стол. Молоко приходилось раздобывать в «пакте», в имении, правда, дешево, по 5 копеек кварта цельного и полторы коп[ейк]и снятое, а пакта, или, по-нашему, маслянка, по грошу и по копейке. Это дешево, но на все надо было иметь «гатовый грош», а гроши-то не всегда были.

Но это все не беда. А вот беда, захворала черной оспой мать (1868 год). Была эпидемия в местечке, и она ее подхватила. А вместе с ней захворала и моя сестрица Олька. Болезнь была свирепой, как у матери, так и дочери. Мрачная туча нависла над нашей семьей. Все приуныли. Отец сидел у стола и кусал усы. Мы, ребята, не понимали, но чувствовали, что грозит беда. Мать кое-как, на наше счастье, оправилась, но сестрица Олька умерла. Лежала она черная, как головешка, вся в белых цветах. Отец и тетка Мариля горько плакали над нею, а мать в темной каморке лежала, борясь между жизнью и смертью. Полтора только года она [Оля] и прожила на свете. Что за милый был ребенок! Наши дети вообще были удачными, но она и Олесик (Александр), самый последний, умерший от крупа 2-х лет, были особенно милыми, живыми и поражали своим ранним развитием. Лицом Оля была похожа на сестру Машу, наиболее веселую, неугомонную и живую из нашей семьи. Такой же видно, была бы и Олька, но этот цветик не успел распуститься. Эта была любимица отца, который, несмотря на свой суровый и даже в молодости злой нрав, был с нею удивительно мил и забавен, играя с ней целыми вечерами, становясь, как ребенок. Это, положим, продолжалось и с другими детьми, но с Олькой его игры и его изобретательность меня всего больше поражали. [...]

Пережила мать эту тяжелую болезнь, но оправлялась медленно, и, по-видимому, прежней силы у нее не было. Как странно и больно было видеть мать с тонкими худыми ногами, которая, опираясь на руку бабушки, как девочка, училась ходить по комнате, пока не окрепла. Ее облик и выражение лица несколько изменились. Оспины, благодаря осведомленности бабушки, завесившей наглухо окно, не оставили резких следов на лице: чуть-чуть кое-где виднелись, но нос слегка вытянулся и отощавшее лицо казалось длинным. Мне было очень жаль того веселого, смеющегося лица, с изящным носиком и легкими веснушками на белой коже, которое склонялось надо мною в детстве. Оно куда-то ушло, оставив следы в моей памяти. Дальше я видел большею частию доброе, милое, но скорбное лицо «матери скорбящей». Одни большие серые глаза остались с тем же взором, мягким и добрым, но

редко смеющимся: искры смеха из них куда-то исчезли. Я уже говорил, что сестра Павлинка по формам и общему складу лица была всего более на мать похожа, но чрез формы материнские в ней светился суровый дух отца.

Еще одну особенность надо отметить: после болезни у матери часто вздувалась под бородой железа (видимо, какая-то инфекция была занесена), и она нередко ее смазывала йодом.

Всю эту семейную катастрофу я переносил сравнительно легко, ведь мне было лет шесть с небольшим, еще несмысленыш. Дело было летом, дни солнечные, детям раздолье. В это время меня окружала, большею частию, женская компания, все девочки нашего конца поступили под мою гегемонию, и я чувствовал себя среди них вроде султана среди покорных одалисок. Не говоря уже о сестре Магдалене, которой было суждено тонуть во мне, тут и Машка Жандарова. Белесоватая мордовочка из-под Самары в русском сарафане и в рубашонке с красными подмышниками; тут Арина Пастухова, Зося Чумакова и Марилька Хруцких, это было мое обычное окружение, над которым я чувствовал свое превосходство и распоряжался самовластно: мирил их ссоры, разнимал легкие драки, утешал плачущих, угощал тумаками виноватых. Это нисколько не портило наших отношений и принималось как должное. Стоило мне сказать капризнице или буйствующей: «Ну, дык я ня буду з табой гуляць (играть)», — как она тотчас же смирялась.

Дело ясное: я один, а их пятеро, да еще можно было увеличить число, т. е. всегда пополнить антураж.

Но скоро этому моему царству пришел конец, к моей большой невыгоде: переехали Петровы с Чарейской улицы в Гришкину хату, к нам по соседству, а с их переездом в нашем конце, особенно в детском мирке, произошли большие перемены.

Этому переселению предшествовала длительная процедура, происходившая по вечерам в бабиной хате, чуть не всю зиму, происходила она на моих глазах, и я не подозревал, какие она будет иметь последствия вообще и для меня в частности.

В бабиной хате, чуть не каждый вечер, собирался народ и неизменно заходил бабушкин родич, нам известный

«багатыр» Грышка Парэцкiй, отец трех дочерей с хорошим «пасагам» — по 150 рублей каждой было предназначено. Дочери были незавидные: лицом, пожалуй, миловидные, и работницы неплохие, но умом весьма недалеки, особенно младшая Анэта, росшая сиротой без матери, при злой мачехе: она, в то время девочка, ходила грязной и обовшивевшей, так что бабушка должна была сначала состричь ее роскошные вьющиеся рыжие волосы, ибо под волосами гноились струпья, и вымазать ей голову ртутной мазью с серой. Это радикальное средство помогло, и потом в нашей семье следили, чтобы она голову, незамедлившую покрыться вновь роскошной шевелюрой, чесала частым гребнем. Она была стыдливой и дикой. Заходя в бабину хату, она, ни на кого не глядя, становилась лицом к лежанке и говорила, не поворачивая головы:

— Татка, казала мамка (мачеха), каб ты дамоў iшоў.

И не поворачивая головы, исчезала за дверью.

Средняя дочь Милька, рослая и мясистая, весьма недалекая, которая в разговоре всему удивлялась и, качая головой, повторяла: «а-вой, а-вой!», а иногда: «авохцi мне!» (знак величайшего удивления), попалась паничу Лапе, когда «падлогу мыла ў яго пакоiку, а ён запер засоўку ў дзвярах i зрабiў з ёй, што хацеў» — так об этом передавалось. В результате родился лапенок и благополучно умер вскоре после рождения. Так или иначе, Милька была с изъяном, но 150 — грошы не малые — не такие изъяны покрывают. Явился жених из-за Гуты, из-под Игрушки, а в сватах дед Винцесь, так дело было живо налажено.

Пошла матушка поглядеть на жениха, — и так передавала свои впечатления:

— Сядзiць на куце ў саксакавай футрэ (шубе, оказалось, «пазычэнай», одолженной для этой оказии); так сабе нiчого, з лiца вiдны, але пагляд нехарошы i як засмяетца, дык з-за губы другая губа, як кiлбаса, вылушчываетца! Бедная за iм будзе Мiлька! — так резюмировала матушка свои впечатления. И она угадала: действительно Милька была «бедной» и не долго прожила на свете.

Эхе-хе! Дед Винцесь, плохого ты подсунул жениха для племянницы! Звали его Иван Шинкевич, шляхоцкая фамилия,

да и сам-то он был, як людзі гаварылі, панскага атродзьдзя, — пана Горновского сын (грешным делом, разумеется). Собой он был неплох — широкоплечий, мускулистый, первейший силач во всей округе, никто против его не мог устоять. До чего славился силой старовер Прошко Ровин, а как схватились они бороться на покосе, так Иван Милькин Прошку так резнул, што аж сенажаць задрыжала. «Здароў, як мядзведзь», — гаварылі пра яго. В общежитии — беззаботен и добродушен, но любил выпивать, а во хмелю был буен. И частенько Мильку бивал. Яе грошыкам ён скора працёр вочы. А, обедневши, по смерти Мильки, красть стал, да буйно и крупно: намолотит мужик полбочки ржи или пшеницы, оставит в гумне, а он ссыплет в мешок в рост человека, да и унесет в лес, закопает до поры. Из клетей целые кади с салом уносил. Ну, и попался раз: посидел в астрозі. Попался в другой, в третий — в Сибирь и выслали на поселенье. Куда бедная Маруська, их хорошенькая дочка девалась? Сиротой осталась лет 8-и или 9-и.

Старшая дочка багатыра Грышкі Праксэда еще молоденькой, 18 годов, была выдана замуж за сына другого багатыра, Леўкі Галавана, кажэмякі з Чарэйскай вуліцы, за Петру. Это старший сын был, с вьющимися черными волосами, что у нас редкость, и черными глазами, рот только был широковат, да еще изъян — был косноязычен: в его фонетике недоставало двух важных звуков: «р» и «л». [...]

Странное дело: дети его были скромны, стыдливы, порядочны и ничего себе неприличного не позволяли ни в словах, ни в деле. Отец их никогда не наказывал, да и не за что было наказывать. В их взаимном обращении господствовала простота, и трудно было найти границу, где кончаются родители и начинаются дети. Семья была дружная и скопидомная, даже до скупости унаследовав это качество с двух сторон — от Грышкі и от Леўкі, первейших скупцов в Холопеничах. И еще надо прибавить: несмотря на циничные выходки, Петра никогда не употреблял скверных слов и ругательств, как и вся его семья. Это был просто большой ребенок. Но у него были и поценнее положительные качества: отличаясь изрядной силой, он был работящ, как муравей. Отличный кожевник, он вместе с тем был прекрасным сельским хозяином: знал в хозяйстве

толк и превосходно выполнял всякую хозяйственную работу, хороший пахарь, из ряда вон выходящий косец и любовно ухаживал за скотом.

Такой, впрочем, была вся семья багатыра Леўкі, у которого были 3 сына и 3 дочери, притом 2 из них Маланья Старшыніха и Марына Дзядовічыха, редкостные красавицы: и дородством взяли, и красотою лица. Один недостаток держался в семье: склонность к слепоте в женской линии. Мать семьи Леўчыха замолада ослепла, дочь ее Маланья тоже, и внучка Стэфка — тоже. Все они были в одно лицо и унаследовали один и тот же изъян. Жена Петры, Праксэда, много теряла по сравнению с красивыми золовками, в молодости миловидная, она страдала легким тиком на лице и потому — от поры до поры, лицо у нея подергивалось, и она обнажала зубы с одной стороны рта, — довольно крупные и белые. И еще был у нея изъян: ноги покрывались ужасными струпьями, — болезнь тоже, по-видимому, наследственная, ибо она была, как я говорил, у деда Винцеся и, может быть, восходила к общему предку, чрез мою прабабушку Христину Порецкую, родную сестру Грышкина отца, которого я и не знаю как звали. Так что и Праксэда была не без изъяна. Но это не мешало им вести жизнь дружную и счастливую.

Я так долго останавливался на характеристике этой пары потому, что она нам была дальней родней чрез упомянутую прабабушку Христину, и потому, что с этой семьей связаны многие воспоминания моего детства, а главным образом потому, что мои племянники и племянницы Голованы — дети сестры Маши, по отцу происходят из этой семьи или рода.

Так вот эта пара, в то время еще молодая, он в нагольном тулупчике, она в домотканого серого сукна кофте, подвязанная платочком под бороду, как повязываются девушки или молодушки, в зиму 1867/68 года, раза два в неделю появлялась вечерами в бабиной хате, где каждый вечер бывал отец молодухи Грышка.

Дело шло — не больш-не меньш — как о том, чтобы Грышка передал им свой дом, о двух половинах, с замчистым двором и еще небольшой избушкой рядом и плацом почти в десятину огородной земли, — кусок весьма ценный, по

стоимости далеко превосходящий приданое в 150 рублей, которое, надо думать, не было выплачено полностью. Грышка был прижимист и не любил ничего выпускать из рук.

Грышка с седой щетиной на бороде, которая не знала бритвы, а от поры до поры постригалась, понуро сидел за столом и смотрел исподлобья своими белесоватыми глазами, которые ничего не выражали, — сидел и молчал, как идол. А Петра косноязычным языком лопотал, постоянно повторяясь, как все по-хорошему можно устроить, если ему передать завидную усадьбу: где можно поставить чопы, где устроить кладовую для выделанных кож, где наладить толчею для дубежа, где поставить коня, корову и прочее.

Все у него было великолепно, в долгие ночи передумано, все налажено, одно к одному пригнано, обмозговано.

Они оба стояли у светца, не смея сесть, и в конце речи повторяли: «Век будзем Бога маліць!» Тут кланялись оба в землю, а затем подходили к идолу и целовали руку. Но идол или, по определению моего отца, «тумарнік» (скряга), молчал, как мертвый. И так длилось много вечеров. Говорили они все одно и то же. Праксэда была не речиста, но кланялась земно и обещала Бога молить.

Мы привыкли к посещению этой пары. Иногда они приходили загодя, до прихода Грышки, и молили бабу Рузалю, их тетку, помочь им, также просили моего отца и дядю Онуфрия, когда он приехал, поддержать их просьбу.

И вот раз, когда все насели на Грышку, во главе с бабой Рузалей, которая одна имела на него влияние, он вскочил и закричал:

— А сам куды я дзенуся! Яны мяне ў катух (курятник) хочуць заперці (это значило в малую избушку, что стояла в качестве подсобного жилья по другую сторону двора). — И замахав костылем, вышел из избы. Видимо, — это было кое-что: значит, Грышка не хочет жить в избушке.

Тогда сообща выдвинули новый проект: пусть Грышка купит Ивана Чумака (Рудобельца) усадьбу, которая стояла напротив, по другую сторону улицы и продавалась дешево: Чумак был на отлете. Вот эта-то дешевизна и пленила «тумарніка»: и баба Рузаля, и отец представляли ему выгодность покупки. Баба Рузаля говорила:

— Грышка! Падумай, што будзе, як ты памрэш: куды Анэта (младшая дочь) дзенітца! Яе, бедную, саўсім заклююць — і мачыха, і зяцькі. А так у яе хоць будзе прыпірышчэ. Купі і апішы ёй. І сам будзеш жыць да смерці.

Грышка никому ничего не сказал, но Чумакову усадьбу купил (за 100 руб.). И заодно отписал свою усадьбу Петру с Праксэдай, переселившись с своей бабой Тэклей в новую усадьбу, много меньше и хуже, но довольно приличную, бок о бок с нашим прежним домом.

Весной (1868 год) Петра с Праксэдай и детьми Миколой и Ганулей, моей ровесницей, переселились в новую усадьбу на самостоятельное житьё. Это был один из многих аргументов, что там они работают на семью Левки, а здесь будут строить свою семью. Может быть, и этот аргумент имел некоторый вес в глазах Грышкі, хотя он и не отличался особенным чадолюбием: пример — обовшивевшая и грязная Анэта, которую он имел всегда перед глазами. Его «баба» Тэкля могла бы служить хорошим образцом для иллюстрации понятия — что такое мачеха. Это была хорошо упитанная женщина, говорившая в нос — гамзатая, как у нас называли — глумная и черствая сердцем. Имея две коровы, откармливая свиней, она плохо смотрела за стариком, кормила кое-как и вовсе не смотрела за бедной падчерицей, которая попала в ее руки еще в детстве и, заброшенная, «зануженная», — плохо развивалась умственно, пока не пошла «в люди» прислугой, к моему же учителю Якимовичу в Старое Борисово: тогда «палюднела».

Старуха, что могла, тащила своей дочери от первого брака хорошенькой Марьянцы, жене Стафана Гуптара, о которой уже говорилось ранее. Марьянка приходила вечером, когда Грышка уходил в бабину хату, и уносила с собой сало, творог, сыр, яйца и прочую лакомую снедь и вообще все из того, что было в непосредственном распоряжении Тэклі. Подбиралась она и к деньгам, но, кроме расходных, которые старик держал под ключом, другие были припрятаны.

Как велико было богатство Грышкі? Судя по тому — сколько денег у него пропало на людях и дано в приданое, а также сколько оказалось в наличности по его смерти, — все это составляет около полутора тысяч рублей. Но у него было

золото и серебро в старинной монете, которое он где-то запрятал, — по-видимому, по старинке, закопал в землю. Вероятно, его было не больше того, что поддается учету, и, стало быть, около трех тысяч рублей. По крестьянскому масштабу это уже крупный богач. Но все его богатство было мертвым: хотя он и давал деньги под проценты и под заклад движимости: шуб, хусток, катанок, но это все были мелочи; а что он давал под «сохранные расписки», разумеется, с процентами, — все пошло прахом: и «истленки» не получил. Значит, — было уменье скопить деньгу, но не было уменья орудовать деньгой. Но он считался самым крупным богачом в округе.

Другим богачом был его сват Леўка Галаван, такой же «тумарнік» и скопидом.

Он отдал за 3 дочерьми в приданое 600 рублей, сыну Рыгору купил зачетную рекрутскую квитанцию за 700 рублей и другому Канстантаму оставил столько же, да хозяйство его с кустарным кожевенным заводом можно оценить в 500—600 рублей на тогдашние деньги. Значит, — около 2 $^{1}/_{2}$ тысяч.

Вот и все наши богачи. Остальное местечковое крестьянство были бедняки, — это безнадельные крестьяне: батраки, бывшая дворня и ремесленники или просто люди, выбившиеся из колеи — болезнью, пожаром, чрезмерным пьянством и т. п., таких, по моему приблизительному подсчету, было не более 20 %. Их положение было тем плохо, что оно зависело от заработка, т. е. от случайности. Доход ремесленника был более или менее постоянным и, при нормальном ходе дел, т. е. при отсутствии каких-либо катастроф, как продолжительная болезнь, пожар и другие бедствия, обеспечивал достаточную жизнь, т. е. не хуже достаточного крестьянина: почти у всех ремесленников были огороды, корова, свиньи. Жизнь бывших дворовых, типа моего батюшки и дядюшки, отличалась тем недостатком, что служба была непостоянной и заработок был необеспеченным, — значит, благосостояние чередовалось с упадком. Остальная крестьянская масса должна быть отнесена к середнякам, т. е. людям, достаточно обеспеченным средствами или возможностями удовлетворить насущные потребности своей семьи и «ў святую недзельку выпіць паўкварты з добрым чалавекам і з’есці тарана або селедца».

Как видим, наши «багатыры» вошли в деньгу, помимо личных качеств — скупости и воздержанности от пьянства (Грышка пил, но когда его угощали),— потому что занимались не одним хозяйством, а и промыслами, дававшими деньги: Грышка был механиком и мельником, а Левка кожевенником, с крупной и дружной семьей хороших работников. Голым крестьянством трудно было нажить «капитал». В каждой деревне были свои богатеи — один или два,— но это значило, что у него есть «гатоўкі» рублей 200, 300, много — 500. Это были богатеи от крепостных времен. Собственно ростовщиков среди них, в точном смысле этого слова, которые бы давали деньги в рост бедноте из наживы лихвой, а тем более типа некрасовского «Власа», который:

У всего соседства бедного
Скупит хлеб, — а в «черный год»
Не поверит гроша медного —
Втрое с нищего сдерет...

Таких, среди белорусов, можно сказать, и совсем не было: никто скупкой для наживы не занимался. Это было не в нравах и не в обычаях. Это было сложно: требовало грамотности, счетов и расчетов, знания состояния ближайшего хлебного и товарного рынка. А наконец — торговлей и скупкой занимались исключительно евреи, — и не безграмотному мужику было с ними конкурировать. Так что если бы и были такие повадки, то они не могли бы иметь успеха.

В мое время богачами слыли старшины Волосовичский Скумса и Богдановичский — Козыра. Это были первоначально богатые мужики, а потом они нажились взятками и наглым грабежом крестьянства.

Среди евреев местечка богачей было тоже немного — 5—6 домов: это были торговцы хлебом и льном. Но это другое дело.

Еврейская масса состояла из мелких торговцев-лавочников и ремесленников, живших — кто победнее, кто побогаче, а иные впроголодь — хлеб да лук, хорошо, если с кусочком селедки. Коровы были не у каждой семьи: беднота держала

коз. Свиней, разумеется, не держали, и это было сущим бедствием для бедноты: питание было скудным. Отсюда худосочие, упадок сил и частые болезни.

Пока с этим общим вопросом покончено. А теперь обращусь к своим личным делам. С водворением «Петровых» в Грышкінай усадьбе появился Миколка. Он года на 3 был старше меня, — сухой, но мускулистый, живой, подвижной, с крупным запасом рвущейся на волю силы, он был порывист в движениях — и все рвал и метал. При первом нашем знакомстве он стал на мне изливать избыток своей силы — «тузаць» меня (это не значит — тузить) и швырять. Легко меня одолевая, он радостно смеялся. Борьба для него была как бы родной стихией: он готов был бороться без конца. Я был для него ничтожным противником. Но с собой он привел Микиту Малашкина и приманил Родивона Прошкова — двух наших староверов, его ровесников, и противников серьезных, к этой компании присоединился Петра Анэцін и Юзік Эдвардыкаў, ближайший сосед, тоже сверстник и, однако, перевес был на его стороне. Так образовалась постоянная компания ребят, которых только приучали к работе. Постоянным местом сборища был двор и дом Петрывых, который и не для одних ребят был обычным «прыпірышчэм»: здесь «чужнік» был постоянным — приносили на выделку кожи и получали выделанные — его не чуждались и со сторонними не стеснялись: когда надоедали — их гнали, но это не значило, что вход закрыт: появлялись вновь и малыши и уже взрослые парни, главным образом с Чарейской улицы и Горовой, с которыми были соседские и родственные связи. Словом, образовалось нечто вроде пионеро-комсомольского клуба.

С обоснованием этой компании я должен был расстаться со своим женским окружением к своей большой невыгоде. Там я всякую мог обидеть, а здесь меня всякий обижал. Все они были в возрасте лет 9—10-и, когда с девчонками не якшаются, и меня стали обидно дразнить, напевая: «Дзевачур, дзевачур! І з дзеўкамі не начуй, не начуй!». «Дзевачур» — значит, ловелас, волокита, каким я вовсе не был, но, значит, подавал повод так непристойно себя честить. И я, под влиянием общественного мнения, расстался со своей безобидной

компанией. Правда, я, мало-помалу, стал чувствовать себя мужчиной, так сказать, осознал свой пол, но это мне дорого обошлось: если не было налицо Юзика (нашего Юзика), моего естественного защитника, меня частенько обижали. О честной борьбе, конечно, не могло быть и речи: каждый из них меня валил без особых усилий. Но в драке я защищался ретиво. Мне, разумеется, доставалось больше, но не совсем без отдачи. Так как все же я был в накладе (это повело к тому, что Петра, исковеркав мое имя Адоль, придумал мне кличку «Бездолье») и не хотел с этим мириться, я, по повадке всех бессильных и слабозащищенных, прибег к помощи оружия: стал носить в кармане отцовский складной нож и прибегал к угрозам пырнуть ножом, в случаях грозящей обиды. Это имело спасительное действие: даже не пуская ножа в ход, я прослыл «отчаянным» — и со мной побаивались связываться всерьез: а вдруг пырнет? Прибегать к оружию по этике кружка считалось делом недостойным (во всей округе поножовщины не было), но я прибегал к этой угрозе, и меня перестали обижать: значит, умеет за себя постоять.

Любимой нашей игрой была игра в лошадки и вперегонки. Мы назначали большие дистанции, обозначая их именами известных нам городов: ближайшая (до дворного сада) — Борисова, за сад до полей — Минска, а у Каменного лога — Питимбурх. Это был конечный пункт, более версты. Мы бежали рысью и не сдавали темпа на все это расстояние. В этом отношении я — легкий и длинноногий — никому не уступал и считался в числе первейших рысаков; вперегонки я обгонял многих.

Мы бродили по пожням за щавелем, по лесам за шниткой на борщ. Это было полезно. Ходили за ягодами и за грибами в рощи и набирали немало для семьи, не говоря уже о том, что сами объедались. Немало разоряли птичьих гнезд и в этом грехе — я всего более повинен. Проснулся элементарный охотничий инстинкт, который долго меня одолевал, по крайней мере, года три, пока его не перерос: возраст и работа заставили отстать. Я находил гнезда редчайших птиц, как удод и сойка, и таких осторожных и искусных в построении, как иволга, не говоря уже о разной мелкой птахе. Я целыми

днями выслеживал птицу, пока не находил ее гнезда. Дома, в отсутствие отца, я разводил целый птичник: но многие из моих жертв погибали вследствие неумелого ухода. Поймать какую-нибудь редкостную птицу было великим удовольствием, а потеря — огорчением до слез. Я научился искусно лазить по деревьям, хотя бывало, что срывался и падал, ушибаясь до потери сознания.

Отец не терпел этих похождений. При нем я сдерживался, но удержаться не мог. И тогда, ожидая наказания, — а оно, если постигало, было основательным — я, идя на казнь, повторял беспрерывно: «Дай Божа, каб мой бацька памёр! Дай Божа, каб мой бацька памёр!». Это было колдовство, мною самим придуманное. Я знал, что есть моменты, в которые что ни скажешь, то сбудется. И я хотел потрафить на такой момент: авось удастся. Колдовство оказалось сомнительным. Тогда я прибегал под защиту бабы Рузали. Она меня вела в нашу хату, со вздохами и словами сочувствия, и, войдя в избу и спрятав меня под полой платья, вступала с отцовской властью в просительные переговоры. Это было надежнее и действительнее.

Правду сказать — никого в Холопеничах так часто не секли, как меня: мой отец этим славился, и суровость моего воспитания ставилась в пример и в поучение, или, вернее, в острастку другим детям. Отец был твердо убежден, что он стоит на правильном пути. Это была педагогическая система, утвержденная опытом веков. Какие могли быть сомнения? Кто не сечет за провинности, тот не исполняет своего долга. Когда об этом заходила речь, он повторял пословицу: «Ня біўшы кума, ня піць і піва», или другую, еще более повелительную: «Любі дзіця, як душу, — калацi, як ігрушу». Эти воспитательные пословицы формулировали его убеждение и являлись оправданием перед его совестью.

В большинстве случаев наказание было достаточно мотивированным даже в моих собственных глазах. Но бывали случаи, когда я считал мотивы недостаточными или наказание чрезмерным.

Был такой случай, летом, в первый год по возвращении из Бобруйска, т. е. когда мне было около 6 лет. Я вышел на улицу

и увидал около завалины бабиной хаты табакерку из бересты, какие выделывал Еска, большой мастер этого дела. Это была моя первая находка, и я от радости закричал: «А-яй, табакерку знашоў!» — и сунул ее за пазуху.

Еврейские ребята, которые тут же играли, услышав мое восклицание, говорят: «Адоль, атдай табакерку: гэто нашэго дзеда. Гэто ён палажыў тут: сегоння субота — насіць няволь-на!»

Это вполне правдоподобно. Благочестивый еврей в день субботний ощутил в своем кармане табакерку. Это не принадлежность туалета, а вещь совершенно сторонняя, которую на улице носить закон не разрешает. Он ее вынул, положил к сторонке и, вероятно, сказал ребятам, чтобы они за ней присматривали. Мне это на ум не приходило, и этого я в расчет не принимал и не хотел считаться: я нашел — и это главное.

Я твердо заявил: «Не атдам. Нехай дасць пярэйма!» — и с тем убежал в избу. «Пярэйма», по обычному праву, законное вознаграждение за возврат находки.

Ребята за мной, и с ними взрослая девушка Роха, в качестве парламентера.

В доме была одна тетка Мариля. Ей излагают дело, прибавив:

— Нехай атдась: у саседстві гэта не харашо!

Тетка говорит: «Атдай!» А я стою на своем: «Нехай дадуць пярэйма!»

Тетка за мной... Я на печь... Скользнул в отверстие на лежанку, да за дверь, да на огород — и только пятки засверкали. На мою беду — в это время на двор взошел отец, и ему изложили вкратце все обстоятельства дела.

Когда я прыгал через плетень, сердце у меня екнуло, — послышался голос отца: «Адоль!» Я присел за плетень и притаился. Послышалось еще раз то же самое, — и все стихло.

Все это ничего хорошего не предвещало, но я об этом не думал. «Хоть час, да мой», — так можно формулировать состояние моего духа.

Я долго любовался находкой, вертел ее так и этак; отворял, затворял, нюхал табак, чихал отчаянно. Но домой нейду: знаю, что отнимут и, сверх того — чуял, что кончится это

печально. Но мне есть захотелось (табаком сыт не будешь) и надвигалась ночь. Я призвал на помощь известные заклинания и со стесненным сердцем побрел домой: шел — не шел, останавливался, медленно отворил двери, переполз через порог и стал у притолоки ожидать решения своей судьбы.

Вина была написана во всей моей фигуре с понурой головой. Мурашки у меня бегали по спине и волосы — я чувствовал — становились дыбом. Вид у меня, конечно, был жалкий.

Отец сидит за столом, взглянул на меня искоса, и стал кусать усы. Вся семья в сборе, смотрят на меня.

Некоторое время, может быть, полминуты, а может быть, и меньше, длилось молчание. Мне показалось оно долгим. Но вот началось с допроса:

— Ты почему не отозвался, когда я тебя звал?

В торжественных случаях отец прибегал к русской речи, как говорит начальство. Она, видимо, более приличествовала положению и считалась более внушительной. Сказано это было достаточно грозно, чтобы я не питал никаких иллюзий насчет конечных последствий. Я молчал. И второй раз:

— Ты почему не отозвался, когда я тебя звал?

Я молчал. И если чего-нибудь хотел, так чтобы скорее это кончилось.

После второго возгласа отец, достаточно пришедший в раж, порывисто встает и срывает со стены изящную плеть: пять сыромятных кончиков на тонкой ножке дикой козы или, вернее, козленка. На конце широкая петля для подвешивания на руку. Любительская штука и с большим вкусом сделанная.

Отец стоял в грозной позе возле своего дорожного сундучка.

— Ступай сюда!

Я двинулся навстречу мучительному неизбежному, и тут у меня явился голос, я взмолился: «А татачка, а родненькі, даруй, больш ня буду!».

Все знали, что дело примет крутой оборот, и потому все кричали на разные голоса: «Юрачка, даруй яму, даруй!».

На этот раз ничто не помогло. Отец схватил меня за шею сзади, сел на сундучок и, зажав мою голову между колен, сдернул штанишки.

Сыромятные кончики были столь чувствительны, что я только вопил: «А-я-яй, а-я-яй!».

Кончено.

— Будешь больше?

— Ня буду, ня буду!

На сей раз кожа была посечена до крови: отец не соразмерил силы удара или плеть была еще не испробована. Я с неделю ходил в струпьях, которые потом сошли бесследно. И едва ли на душе оставили другие следы, кроме страха, что, впрочем, и требовалось.

Очевидно, злосчастная табакерка отошла на задний план (я ее назавтра отдал без перейма), а все дело было в том: почему я не отозвался. Почему я не отозвался, я, разумеется, не мог отцу объяснить, да он и не стал бы слушать, но я ясно сознавал — почему я не отозвался. Я боялся, что у меня тотчас же отнимут мою первую находку, которая мне казалась необычайной драгоценностью. Дорого я заплатил за несколько понюшек табаку.

Я привел описание этой экзекуции в качестве образчика, потому что она, по своей чрезвычайности, ярко сохранилась в моей памяти. Магдаленка плакала, мать плакала, и все меня жалели как пострадавшего если не совсем невинно (двойное непослушание: тетке и отцу), то не по степени вины. На улице меня спрашивали: «Ці праўда, што цябе бацька высек плёткай?». Мне было стыдновато, по причине необычайности наказания, но я отвечал: «Праўда! — и рассудительно прибавлял: — Дык што ж? На тое ён бацька!».

Скоро эта плеть попала в любительские руки: отец ее продал молодому Вилькену. У меня на душе отлегло: розги не столь чувствительны: хотя следы и оставались, но скоро проходили.

Когда мы переселились в нашу хату, — сколько, бывало, мать, самоотверженно становилась между отцом с розгами в руках и мною, жалобно просящим и молящим, но редко ей удавалось спасти меня от порки: отец ее грубо отталкивал и грозил самое прибить... Он считал, что это его долг и что иначе — добра не будет.

После одной из таких порок я решил идти «ўпрочкі», т. е. в бега.

Свое решение я открыл Магдалене, как наиболее сочувствующей моим бедствиям и бывшей всецело на моей стороне: она не была заражена педагогическими предрассудками. Она вполне одобрила мое решение и нашла нежные и трогательные слова, чтобы, выразив мне полное сочувствие, поддержать меня в моем рискованном предприятии. Даже более: она мужественно решила разделить мою участь. Приняв это героическое решение, мы стали готовиться к побегу. Для этого, на первых порах, мы считали достаточным взять по ломтю хлеба и щепотку соли, а затем забрались в свой огород и нарвали молодой моркови. Пошарили в огуречных грядах и нашли 3 подходящих огурчика: еще не выросли огурцы. Все это мы вложили в мешочек и, взявшись за руки, отправились в соседние лозняки, которые назывались «Новая цагельня»[208].

Это был первый этап. Мы здесь решили временно обосноваться и заночевать, а затем добраться до Старой цагельні и далее до березняков на Горке, которая виднелась вдали, но куда не только Магдалена, но и я еще не делал экскурсий как к месту отдаленному и совершенно не исследованному.

Сделав привал, забравшись поглубже в кустарники, мы сочли своевременным подкрепить свои силы. Благоразумие требовало не съедать всего сразу, и мы разделили наш запас пополам: на полдник и на вечеру.

Мы начали с того, что съели по одному огурчику с хлебом и солью, оставив, однако, один огурец и порцию хлеба про запас. Морковью мы распоряжались более свободно, ибо ее у нас был порядочный запас. Поевши, мы друг друга стойко поддерживали в решении не возвращаться в свою хату, где меня секут. Ее решение было тем более трогательным, что она ни разу не испытала порки и, стало быть, лично не имела надобности пускаться в рискованную авантюру, чтобы избежать наказаний: она пошла единственно из сочувствия моим страданиям. Мы друг другу говорили самые нежные слова, какие были на нашем языке. Она говорила: «Мой братка родненькі» и гладила меня своей ручонкой по щеке, а я отвечал: «Сястрыца мая!» и гладил ее по головке. Солнце закатилось, и мы

сочли своевременным повечерять. Огурец мы ели с хлебом, кусая по очереди (ножа у нас не было: так далеко не шла наша предусмотрительность) и прикончили всю морковь. Этого добра всюду много, и в полях можно картошку копать. И мы также знали, что свет не без добрых людей.

Но с закатом солнца поползла тьма и наступила жуткая тишина.

Магдаленка замолкла вместе с птичками. Я тоже понизил голос и предложил расположиться на ночлег, где сидели: место было удобное, кочка вместо подушки. Улеглись. Все тихо. Я говорю: «Спі, сястрыца!». Но вдруг в тишине послышались легкие всхлипывания. «Чаго ты, сястрыца?» Снова всхлипывания, чаще и громче.

— Ну, чаго ты?

— Я баюся! Баюся! — и залилась слезами.

— Ня бойся, тут ваўкоў німа! І я з табою. Я цябе нікому не дам. Спі спакойна, — так убеждал я.

Ничего не помогало: она ревела во весь голос, крича: «Баюся! Я дамоў хачу! Я хачу дамоў!». Напрасно я ее убеждал добрыми словами, напрасно я ее ругал: «Паганая, зачым ты ішла? Хто цябе прасіў? Жаба разлезлая...». И кулаком в плечи толкнул. Она вскочила и стала кричать: «Дамоў хачу!».

При таких условиях, если бы была за нами погоня, то нас бы легко было отыскать. Голос благоразумия требовал поворачивать назад. Скрепя сердце, я схватил ее за руку, сильно потряс:

— У, паганая! — закричал.— Цяпер за цябе мяне біць будуць!

И повел ее домой, стараясь успокоить. Как только завидела она свою хату, тотчас же успокоилась и стала меня уверять:

— Я не скажу ні татку, ні мамцы, што ты ўпрочкі хадзіў!

Она сдержала слово. И наше отсутствие до цёмнаго не имело для меня печальных последствий: как-то дело удовлетворительно объяснилось или отец был в хорошем настроении. От этого много зависело: иногда ждешь расправы, а все обойдется легко: замечанием, нотацией, угрозой; другой же раз — та же самая вина оказывалась виноватой.

Не один мой отец практиковал розги как магическое воспитательное средство, единственно надежное и всеисцеляющее — вся житейская атмосфера и весь уклад частной и общественной жизни был ими насыщен. Во многих домах пучки розог стояли у икон вместе с вербой и «грамніцэй»[209]. На них ребята всегда должны были озираться как на угрозу свыше. В подходящих случаях их снимали и пускали в дело, а по окончании заставляли их целовать, как спасительную святыню. Столь возвышенное воззрение на святость розги держалось в кругах дворовых, ремесленников и шляхты, считавшихся более культурными и потому способными к выработке более широких идеологических воззрений. Я помню, что в семье дворовых Умэцкіх грозили, показывая пучок розог, грудному ребенку в колыбели, месяцев 2—3-х. И на вопрос: «Ці ж ён што разумеіць?» — уверенно отвечали: «А як жа! — во — і сціх».

В рядовом крестьянстве розга, разумеется, не отрицалась, но практиковалась более «пуга» (кнут), которая всегда была под руками. «А хочаш пугі? Ой, дась табе бацька пугай!» — были обычными возгласами, внушающими спасительный страх. А еще чаще пускались в ход «плескачы» (дело женское) и подзатыльники или «даць па мордзі». «Заехаць у вуха, у зубы, пабіць галаву» — это много серьезнее считалось и практиковалось, большею частию, по отношению ко взрослым. В систему педагогических мер моего воспитания это не входило: меня отец больше розгами пользовал, а мать плескачами, на которые я никакого внимания не обращал и даже, получив порцию горячих плескачей, смеялся, что мать весьма раздражало. Но что значили плескачи после «козьей ножки»?

Надо сказать, что наиболее густо сыпались на меня розги между 5-ю и 8-ю годами, и чем дальше, то тем реже. Это не значит, что мое поведение было лучшим: собственно, лучшим оно и быть не могло — обычные мои грехи были непослушание матери и бродяжничество по рощам и полям. Как я мог от этого отказаться, когда сюда влекли все мои инстинкты? Как я уже говорил, благочестивое чтение меня в сомнительных случаях избавляло от розог. Может быть, отец считал, что оно действует исправительно и заменяет спасительную силу розг?

В последний раз я был высечен розгами в Минске, когда мне было 9 лет, высечен пребольно и за дело. Я забрался в архиерейский сад и нарвал яблок и груш полную пазуху. И как раз на месте преступления застал меня отец. Разрази меня гром — это было бы менее неожиданно: я окаменел на месте. Отец вытряхнул все из-за пазухи и, нарезав пучок молодых побегов сирени, здорово меня отхлестал. Вот за это спасибо, бацька! А насчет «козьей ножки» — Бог простит: ошибка была. Но это только теоретически, а я не в претензии.

Расправа в архиерейском саду навсегда отучила меня от мародерства и всяких хищений. Конечно, не одна эта расправа действовала, но она была поворотным пунктом. Я помню, что десять лет спустя я гулял в семинарском саду, сданном в аренду, с учителем Манциводой, весьма приличным молодым человеком. Беседовали мы о разных высоких материях, а по дороге и по краям валялись разных сортов яблоки и груши. Мой спутник, с ухватками хорошего вора, осмотрелся по сторонам — и ну наполнять карманы яблоками и грушами. Он подмигнул и мне, но я отрицательно покачал головой. Я был смущен, и не знал, что сказать. Проделал он эту операцию как ни в чем не бывало и, подойдя к будке арендатора, мирно беседовал с ним, с полными карманами краденых у него яблок. Тут я оценил разницу в системах воспитания моей и его семьи, и впоследствии я имел возможность наблюдать эту разницу в тысячах случаев — и не только по отношению к выходцам из крестьянской среды, но и по отношению самых культурных и, казалось бы, даже перецивилизованных классов. Думаю, что в этом есть и капля отцовского меда.

После «архиерейской» расправы отец меня больше не сек, но еще несколько лет угроза розог еще висела надо мной, т. е. не исключилась возможность их применения, но они никогда более в ход не пускались.

Чтобы покаяться во всех своих мародерских грехах, расскажу еще один случай из своего раннего детства. Было это в первое лето по возврате из Бобруйска. Моим неизменным компанионом во всех похождениях был Юзик, вечно голодный и прожорливый. Мы с ним пасли лошадей, если их отец держал (а он от поры до поры их покупал и продавал

по разным причинам, более или менее призрачным), он меня учил ездить верхом с 5—6-и лет и, когда я падал, неистово стегал ни в чем не повинную лошадь. Была у нас сивая кобыла — прекрасная и умная лошадка. Она, бывало, если я свалюсь, остановится и обнюхивает меня: жив ли, мол. Так он и ее, бедную, безжалостно стегал. К счастью, эти частые падения мне никакого вреда не причинили, а было лестно прокатиться по улице во всю прыть верхом и на скаку останавливать лошадь у ворот.

В этом году был большой урожай огурцов, особенно их много было посажено у соседки Хаси Кулихи и притом посажено за хлевами, т. е. вне постоянного надзора. Мы с Юзиком великолепно использовали это прикрытие как счастливую случайность и несколько дней, отправляясь на пастбища, наскоро наполняли пазухи Хасиными огурцами. С ломтем хлеба и солью — это была хорошая закуска. Огурцы хрустели на зубах, как кости у хорошей собаки. Юзик уже помышлял о соленых огурчиках, т. е. о заготовках их впрок. «Харашо з'есці з хлебам салёненькага агурчыка», — говорил он. Я тоже находил, что — хорошо.

Но нашим хищническим и сластолюбивым мечтаниям неожиданно был положен конец: в самый разгар мародерства нас бабушка застигла на месте преступления. Она первого схватила Юзика и стала его хлестать «трапкачом», т. е. грубым полотенцем, свернув его жгутом; а я, не ожидая своей очереди, дал тягу на Хасину пожню, которая только что была скошена. Это и было моим наказанием и притом весьма суровым. На пожне местами рос тростник, скошенный — он давал острые шипы: а я бежал без оглядки и отчаянно искалечил себе босые ноги. Прибежав к ручью, я повыдергивал, сколько мог, занозы, но далеко не все: подошвы на ногах были, как решето, продырявлены и покрылись кровью.

Я предусмотрительно опустил свои бедные ноги в ручей и ждал, пока кровотечение прекратится: вода вокруг была окрашена. Я нарвал широких листьев лопушника и при помощи лыка из ивовых прутьев сделал себе повязки, но ничто не помогало: я не мог ступить без острой боли в ногах. Насилу я доковылял домой и долго подлечивал свои язвы.

Уж лучше бы баба отхлестала меня трепкачом. Что это значило по сравнению с моими язвами? По последствиям это было хуже «козьей ножки», которую я перед тем испытал.

Теперь можно и покончить с грехами и «пакутамі»[210] моего детства и перейти к вещам более серьезным.

На очереди крупное событие с жизни нашей семьи: отец поступил на службу к Минскому архиерею Александру Добрынину с жалованием в 10 руб. в месяц. Это было хорошее жалованье, ибо до сих пор отец получал по 8 руб., да и служба у архиерея — не то, что у разных там «круполичников». Для архиерея, только что приехавшего в Минск, искали повара через попов среди бывших дворовых, и местный «поп» Свирский, брат архиерейского эконома, порекомендовал моего отца. Отец отправился в Минск и там обосновался. Это было переломом в жизни нашей семьи, она как бы распалась и была обезглавлена, явление, естественное в жизни отходчиков, но для нас необычное: семья была единой. И так мы остались в своей хате с матерью, а отец был надолго отрезан от нас.

Случилось это летом 1869 года. Мы уже вполне обжились в своей хате на отшибе. Письма приходили редко, только с оказией. Ибо почтовые учреждения были только в уездных городах да на почтовых трактах, от нас это Лошница 35 верст или Борисов — 56 верст. Простое письмо можно было кое-как получить через волость, а за денежным — поезжай в Борисов или в Лошницу, если спустя недели две получишь повестку. Положение крайне тягостное: чтобы получить из Борисова или Лошницы какую-нибудь пятишницу, надо или пешком трепаться 35—36 верст, или нанимать подводу за 2, за 3 рубля, или искать случая — кому доверить получение. Все это для крестьянства весьма сложно и затруднительно.

Но жизнь внесла свой частный корректив в это общее положение. Таким почтовым коррективом был старый холопеничский еврей Мэйер.

Это был невысокого роста старик с патриархальной бородой, еще крепкий на вид, который издавна совершал пешеходные рейсы между Холопеничами и Минском, захватывал в свой круг клиентуру всех селений, местечек и городов по

пути. Шел он в Минск, с котомкой и палкой в руке, неделю; оставался в Минске, разнося письма по адресам и получая заказы, и обделывал свои и чужие дела неделю, и на обратный путь употреблял неделю же. Потом с неделю отдыхал в Холопеничах и принимал поручения и заказы, и вновь отправлялся в путь.

Вся жизнь этого старика проходила в ходьбе. Это была живая почта. Он не только вам передаст письмо, но он вам словесно передаст свои впечатления, как кто живет, что с кем случилось, он сообщит вам массу ценных сведений, которых в письме не передашь. Конечно, это требовало времени: надо было поговорить, и поговорить обстоятельно. Его такса была твердой и однородной: за простое письмо — 5 коп., а за денежное — гривенник, независимо от суммы. Сколько он таким путем выручал — трудно сказать, но очевидно, достаточно для того, чтобы жить и прокормить семью, которая у него, как благочестивого еврея, была многочисленной.

В его сумочке скоплялось денежных писем, вероятно, на сумму значительную, может быть, в сотни или несколько сот рублей. Но никогда он не подвергался ограблению и никогда не было потерь писем простых и денежных: всегда передавал исправно. Он говорил: «Я честный еврей, мне даже девку можно доверить — и то будет цела» (я перевожу его ломаную речь по-русски). Это верно: никто на Мэйера не жаловался. Во избежание грабежа он припрятывал денежные письма на крупные суммы в потайные мешочки своего лапсердака, рваного и очень бедного. Да и кто бы покусился грабить такую невзрачную фигуру?

Так вот начались для нас ожидания прихода и ухода Мэйера, — томительные ожидания этого «вестника радостей и бед». Сначала от отца аккуратно раз в месяц приходили письма с пятерками внутри. Этого было для нас совершенно достаточно на хлеб и прочие мелочные расходы, ибо ячмень на крупу у нас был, картошка была, овощи были и было на окрасу и в это время было молоко. Матушка была прекрасная хозяйка, я уже ей кое в чем помогал. Жили мы безбедно и сытно, и мать могла помогать бедным родственникам, как дядина Юлька с ее многочисленной семьей и полным отсутствием всяких средств.

Но в дальнейшем — письма были реже и посылка денег не столь аккуратной: Мэйер приходил с пустой. «Я заходзіў, но ён сказаў, што яму нема часу. Кланяйся, сказаў». Это было вероятно, но печально. Матушка тосковала. Что и как там ему ведется? Отчего не пишет? И боялась его вспыльчивого характера: как бы какой беды не наделал, с такой особой, как архиерей.

По временам — тоскливо проходила зима с ее бесконечными вечерами. Матушка обычно сидит на печи с лампочкой-коптилкой — шьет или прядет. А мы у нее за плечами барахтаемся. Хата наша стояла на юру и была открыта всем ветрам, которые завывали в трубе на разные голоса — иногда тоскливые, плачущие и жалобные, с прерывистыми рыданиями и воплями, словно кто просит о помощи, иногда сердитые и грозные, словно кто-то норовит ворваться чрез трубу или кто-то кого-то там душит и тиранит. Это была музыка, но адская музыка. Становилось жутко в этой одинокой избе, не то, что в бабиной хате, где всегда людно. А тут случись что, так и помощи ждать неоткуда. Бывало, что голодные волки подходили к избе и жалобно выли. Бывало, что матушка выйдет рано утром дать корму корове и кричит на волка: «Ату! ату!..»

Раз ночью слышит матушка, кто-то шарит у входной двери и щеколдой пощелкивает. Ясно — кто: вор ломится. Дверь была на крючке, но что значит крючок? Матушка вскочила, разбудила меня: слышишь!

А какая я защита в 8 лет? А сама бросилась к двери и, вцепившись руками за клямку, стала кричать: «Прочь, проклятый! Уходи, а то топором тяпну! — Давай тапор, Адоль!» Я вскочил — ни жив ни мертв, и стал впотьмах шарить топор под лавой. А матушка уперлась ногами в порог и тянет на себя клямку, чтобы удержать дверь. А в это время раздается жалобное — ку-ав, ку-ав! — словно кот. А матушка: «Не курмяўкай, а ідзі к ліху: усё роўна не атчыню! Думаеш — абманеш, не — не абманеш. Ідзі, аткуль прышоў».

Но курмявканье было так естественно, что мы сообща решили, что это кот. Несколько успокоились и, подкрепив запор тем, что в клямку продели палку с упором на косяк, улеглись досыпать. Но я так был взволнован, что не мог заснуть.

То ли дело мой отец: отчаянной храбрости был человек. В той же избе, бывало, стукнет в хлеву что-нибудь: он, в чем стоит, топорик в руки — и за дверь. Обежит кругом избы, все осмотрит — и назад. Мы лежим и дрожим — что-то будет? А он — как ни в чем не бывало. Случалось ему бывать в перепалках, где жизнь висела на волоске, но благодаря его смелости, уверенности в себе и находчивости все кончалось благополучно. Как-нибудь я об этом расскажу, а теперь продолжу то, с чего начал, о наших одиноких ночах, которые и впредь длились годами.

В длинные вечера матушка разгоняла тоску песнями. Пела она заунывные тоскливые белорусские песни с характерным выдыхом в конце фразы, — выдыхом раскатистым и постепенно замирающим, как эхо в лесах. Не знаю, что было более печально — те ли мелодии, что напевались в трубе, или песни моей матери. Тетка Мариля разные песни певала, а мать исключительно тоскливые. Любимой ее песней была:

А белая ды бярозынька ваду замуціла.
Гэй, гэй! Ваду замуціла!
Нешчасная мяне долінька замуж пакруціла...
А ні я ўпіла, а ні я ўела, а ні я ўхадзіла, —
Толькі свае маладзенькіе леты патраціла.
Есь у майго ды татуленькі коні вараные.
Ой, паеду я даганяці леты маладые.
Толькі коні я перегнала —
Летаў не дагнала!

Поется она с повторением последних слов фразы с выкликом — гэй, гэй!

И много других песен она певала, но все тоскливых и горестных.

У каждого народа есть печальные песни, но есть и бодрые, удалые, веселые. У белорусов же даже песни с игривым содержанием жалобно поются. Отчего бы это? Или белорусская доля была уж слишком несчастливой? Вряд ли: она не могла быть хуже, чем польского холопа или московского мужика.

Под эти тоскливые песни мы засыпали с сестрой на теплой печи. А печка у нас была обширная и еще увеличенная широкими полатями в один уровень с печью, вплоть до задней стены. «У покат» на ней могла улечься обширная семья. Но матери в одиночестве становилось жутко и, если у нея была работа спешная, что надо было посидеть, она будила нас. Мы требовали сказку в награду, и она говорила бабушкины сказки, все те же, которые мы знали, но мы и под сказки засыпали. И так шли, день за день, тягучие зимние вечера среди вьюг и снежных сугробов, в тоскливом ожидании вестей и денег от отца, которые далеко не равномерно приходили. «Забыў пра нас бацька! — говорила в таких случаях матушка. — Як з воч далоў, так і з памяці вон!»

В Минск еще ранее перебралась обширная семья Гласовских, полупанков, ликвидировавших свою усадьбу с садом, едва ли не лучшую из всех холопеничских усадеб. В этой семье были две девушки, ровесницы матери — Валерка и Анэта, или Антося, большая приятельница матери. Были вести, что отец туда частенько ходит. Как бы чего не случилось! Хотя бабушка была прославленной гадалкой, но для себя и для своих близких избегала гадать, мудро полагая, что лучше не заглядывать року в глаза: што Бог дась, тоя й будзе.

Но матушка в особых случаях настаивала: «Мамка, кінь-ка кабалы». И бабушка сосредоточенно тасовала 24 карты, повторяя: раз, два, три и так до шести, затем колода снималась и раскладывалась по шести карт в четыре ряда, а матушка во время процедуры тасования, момента весьма важного, поставив вопрос, на который ожидала ответа, должна была все время держать его в уме: от этого зависел весь успех дела.

Бабушка, разложив, рассматривала все комбинации и соотношения между червонным королем, с одной стороны, и прочими показательными картами, из которых каждая и в отдельности, и в соотношении с другими имела особое значение. Выходило, что скоро будут вести и будет получено письмо с деньгами. Все это хорошо: но вот ввязалась пиковая дама, которая имеет коварные замыслы на червонного короля. Чтоб ей пусто было!

— Хто ж бы такая была пікавая дама? Ці не Валерка? У яе такі волас цямней, чым у Антосі? І бровы чорные?

— Антося — не павінна быць: не такая дзеўка. А Валерка — ат Валеркі ўсяго чэкаць можна. Іна і тут круцілася з Валасовічэм, і Брокана занімала. Дзеўка ў летах.

Итак, все дело в пиковой даме. Я впоследствии присматривался к Валерке, но у нее были волосы каштановые, стало быть, — она скорее трефовая, чем пиковая дама.

Вопрос так остался персонально не разрешенным, но пиковая дама, кто бы она ни была, тревожила.

Еще каббала показывала дорогу (десятка), и дорога лежала в ногах у дамы бубен. А матушка гадала на бубновую даму.

Так и сталося: великим постом Мэйер принес письмо и 15 руб. денег (трехмесячная порция, с сильным опозданием), в письме предлагалось матушке приехать на Пасху в Минск. Это было лучшим разрешением всех сомнений.

В это время Павлинка была уже отнята от груди, и мать свободно могла ее оставить на попечение бабушки и тетки Марили.

Пасха была поздней, дороги подсохли, и матушка наняла подводу до Борисова, а там ходили «балаголы», — тогдашний род коллективных передвижений, где за одно место бралось от Борисова до Минска рубля 2.

В 68-м и отчасти 69-м году дядька Онуфрий, после истории с выправкой паспорта, нашел место поблизости, в Старом Борисове у управляющего этим огромным имением немца Шмидта, который одно время, в 50-х годах, управлял Холопеничским имением, по-видимому, когда оно было за Хрептовичем.

В 69-м году, не знаю почему, дядя возвратился, кажется, что Шмидт уехал, и некоторое время оставался в Холопеничах, к моему великому удовольствию. Он привез с собой собачку черной гладкой шерсти, похожую на пойнтера, но искалеченную: одна передняя нога была перебита. И вот эта калека догнала дядю за Немоницей, скача на 3-х ногах, — так она была к нему привязана, что это за славный был песик, каких только штук он не знал! «Толькі што не гаворыць», — так определила его бабушка. Нам, ребятам, и всей моей компании

он доставлял бесконечное удовольствие всеми своими штуками. Звали его Жучок. «Обширная область собачьей науки ему в совершенстве знакома была». Едучи в Минск для приискания места, дядя его отвез обратно.

В это же время — в 67-м или 68-м году, мне впервые пришлось видеть скоморохов в поярковых шляпах с медведями. Преуморительные штуки показывали.

— Ну-ка, Мишенька, покажи, как бабы на прыгон идут! — Мишка лениво поднимается на задние лапы, лениво почесывает за ушами и начинает ковылять, почесывая сзади, осматриваясь по сторонам и озираясь назад.

— А как бабы с прыгона идут?

Тут Мишенька сначала заплясал на двух ногах, а потом пустился вскачь на четвереньках, еле погонщик за ним поспевал.

— А как ребята горох воруют?

Это нам было великолепно известно и медведю тоже: сам, чай, крадывал овсы и горохи. Он пополз на брюхе, постоянно озираясь и нюхая воздух, а затем стал живо загребать лапами песок, гортая его под брюхо. Иногда медведь упрямился и рычал, так что у нас поджилки тряслись, но скоморох дергал за цепь или длинным шестом, вроде косильна, ударял его по спине. Водили их с барабанным боем, и у нас это объясняли так, что барабан нужен, чтобы заглушить лесной шум, иначе, услышав, медведи будут рваться в лес.

Много было рассказов после этого народного представления, между прочим, что медведи водку пьют и уморительными во хмелю бывают. Мы их только кормили хлебом. По-видимому, это были выученики знаменитой «сморгонской академии»[211].

Такие события обыкновенно будоражили все местечко, скрашивая его монотонную жизнь.

Такое же значение имело и появление «венгерцев», по-нашему «вэнграў», хотя это были словаки-торговцы. Часто они проходили в своем странном наряде, в «капелюшах», легких поярковых или соломенных шляпах, неизменно с палочкой в виде топорика в руках и с чудесным коробом за плечами. Они охотно заходили в избы попросторнее и устраивали

выставку разных чудес. Чего только у них не было в коробу! И все сверкало яркими цветами — платки, ленты, блестели «люстэркі»[212], пярсцёнкі[213], шпонки, и особенно соблазняли «каралі»[214] — и коралловые разных цветов, и стекляшки разной окраски. Вот где у девок и молодиц глаза разбегались! Прицενивались, спрашивали и кое-что покупали. Но кораллы или гранаты, о которых мечтали красавицы — это не шутка, — это рассчитано на людей богатых. Их больше панны покупают и передают по наследству. У Мильки, дочки багатыра Грышкі, было три шнурка чудесных кораллов, розовых, как мальвы, посредине крупные, с большой орех величиной, а затем, к концам, все мельче и мельче. Ну, таких три шнурка на высокой груди — кого хочешь проймут. От матери в наследство получила их Милька. А гармоники какие у них — все немецкие, венские, двух- и трехрядные с гулко гудящими басами. Одну такую отец купил, соблазнившись, за 8 рублей. Играл он неважно, но нам доставлял величайшее наслаждение.

Когда все эти редкости начинали исчезать в коробу, вместе с иконами немецкого производства, грусть и жалость сжимали сердце, что этому сказочному сну конец пришел.

Были венгерцы покрупнее, которые разъезжали в бричке, с двумя-тремя коробами. Эти рассчитывали на помещиков, на дворню, начальство, и редко заглядывали в крестьянские дворы. С одним таким венгерцем ездил в кучерах мой позднейший товарищ Андрюшка, сын бондаря, переселившегося в Борисов за ненадобностию для панского двора. Он научился великолепно ругаться по-венгерски. Я от него перенял многие замысловатые ругательства, которые звучали, как колдовские заговоры, и в этом смысле должны были производить импонирующее впечатление, но я их здесь не привожу, не зная, что они значат.

В мое время русские офени не вели торговли в разнос: они имели лавки в уездных городах и разъезжали по кермашам. Но Игнатий Ходзько в своих «Wspomnieniach starego litowskiego schlachcica» (у меня есть этот томик) повествует с присущим ему юмором, как после нашествия французов офеня Мухин разъезжал на одной или двух тележках по дворам мелкой шляхты и снабжал панов и экономов разными редкостными

вещами — и мануфактурой, и галантереей, и хозяйственными принадлежностями, вроде самоваров, переговариваясь со своими помощниками на тарабарском языке.

Повезло этому офене: в мое время уже существовала целая династия Мухиных, которые имели огромные магазины в Вильне, Ковне и Минске, состояли соборными старостами, были увешаны медалями и в отчетах о сборе пожертвований с благотворительными целями занимали первое место с указанием на сотенные жертвы.

Теперь перейду к печальной картине моих воспоминаний тогдашнего времени, т. е. конца 60-х годов.

Мне не раз приходилось видеть рекрутские наборы до нового Устава о воинской повинности и после него. После него было много всяких неправд, главным образом на почве взяточничества и подкупа членов присутствия и прежде всего врача. Богатые откупались. Самовредительство и порча была в большом ходу особенно среди староверов, которые всячески избегали военной службы, боясь употребления в пищу нечистого, а главным образом, мяса «жидовской рези». Держалось мнение, что кто его поел, тот пропащий человек: сопьется и выбьется из колеи. Излюбленным приемом самовредительства было питье постного масла (алею) регулярно в течение месяца по кварте в день. Желудок расстраивался и здоровый парень изводился, так что шел в присутствие шатаясь и случалось во время приема с него лило, как из бочка. Эти штуки были всем известны и никого бы не обманули, если бы не было «дадено» кому следует и сколько следует. Раз это было сделано, то его выгоняли вон, а отец полой шубейки затирал оставленные сыном следы.

Но это все не то, что было до реформы. Никто не знал, на кого падет черед: это было делом произвола мелких властей — старост, волостного писаря, старшин. В крепостное время пан в это дело вмешивался и сдавал ему неугодных. А потом мелкие власти решали — кого взять и брали того, кто не мог откупиться. Я приводил выше рекрутскую песню, повествующую, как мелкие власти — сотник, войт и ключвойт, обсуждают — кого в солдаты сдать: «Где пять — там не взять, где четыре — там не веляць, где три — те ушли, а где

два — там нема (нет налицо) — и идет одиночка вдовин сын». Кто не мог откупиться — единственное средство было — скрыться на время набора, а если тебя схватили — бежать. Это дезертирством не считалось. Пройдет набор — скрывавшийся опять возвращался. Но скрываться приходилось много лет — пока выйдет из годов. Хватали, разумеется, тех, кто всего менее этого ожидал. Их заковывали в колоды и сковывали руки сзади. Я видел не раз, как молодые рекруты, скованные парами, шагали по базару: правая нога одного и левая другого забиты в колоду, а кроме того — ноги и руки скованы цепями. И вот, лязгая цепями, они ступают сначала заколоженными ногами, а затем переставляют пару боковых.

Бывало, что, сломав колодки и разбив цепи, парень убегал босой, нагишом. Один такой беглец имел шейный платок и им попеременно повязывал босые ноги, ибо выпал снег и был сильный мороз, а он был в одной рубашке и портках. Ноги отморозил и сам едва не зазяб, — но все же бежал.

Таких повествований много ходило. Помогать таким беглецам всякий считал своим долгом, не входя в рассуждения, что из этого выйдет, должен ли он идти или не должен (тут сам черт ничего не разберет) и сообразовались с тем, что если кто должен и избегает, то кто-то другой за него пойдет.

Вот на почве этого бесправия нам в 69-м году пришлось укрывать беглеца Ивана Лисовского, троюродного брата моей матери по бабушке Рузале, Лисовской по отцу. Он был единственным сыном у отца, был женат и детей имел и, по всем данным, казалось бы, застрахован от рекрутчины. Но его-то староста и десятские стали ловить. Хорошо, что его дома не застали, и жена успела его предупредить. Он укрылся на покосе где-то в пуне[222] с сеном, зарывшись поглубже. Но надо было пить-есть, да и холодно было. Поэтому он решил пробраться ночью к нам, идя полями и лозняками. Нашу хату, в качестве убежища, он выбрал потому, что она стояла на окраине, на отшибе. Отец был уже в Минске. Постучал Янка к нам в окно — мать по обыкновению испугалась, но, опросивши и узнав голос, впустила. Он рассказал — в чем дело. Народу у нас бывало мало — не то, что в бабиной хате, изба была разделена на две половины, и за печкой в подполье была обширная яма

для овощей, которую удобно было замаскировать, закрывая сундуком. Укрываться было безопасно: дверь на засове и, в случае прихода чужого, удобно было юркнуть в яму. Так он у нас прожил недели две, и все сошло благополучно. Любопытнее всего было то, что я и Магдаленка принимали живейшее участие в этом укрывательстве. Мать должна была уходить по делам — на базар, за водой в довольно далекий колодезь, — тогда мы брали на свое попечение беглеца: запирали дверь и никого чужого не впускли, говоря: «Не атчынім — нікого німа дома». И никому не проговорились об нашем постояльце. Я ходил в школу и бывал у Пётравых, но ни словом не обмолвился. Так в детях подначальной и бесправной среды рано развивается осторожность и сдержанность.

Тут еще напрашиваются некоторые эпизоды из дорожных приключений с моим отцом. Я помню два по его рассказам. Первый относится к началу 60-х годов, когда мы еще жили в первом своем доме, т. е. до переезда в Бобруйск. Отец держал пару лошадей, думаю, не по страсти к лошадям, а для самооправдания. Объяснялось это тем, что он сядет на хозяйство (такие попытки были) или будет заниматься подводным делом, т. е. возить седоков. Так и в этом случае его нанял граф Хрептович свезти его с другим каким-то паном в Бешенковичи, свое имение. Подрядился отец за 10 руб. — это верст 70 от Холопенич, плата хорошая, тем более, что дело было зимой. Свез он панов — и возвращается домой. В Чашниках стал кормить лошадей и сам кормиться. В корчме было народу мало, за столом сидело трое, пили водку и закусывали и о чем-то переговаривались меж собой. «Мне і неўцямкі, што яны нашчот мяне сгаварываютца, бо бачылі, што ёсць грошы, як расплачываўся».

Выпив свое — они ушли. Была уже ночь и отец, покормивши лошадей, поехал домой. Дорогой уснул. Как вдруг слышит крики: «Стой! стой!»

— Я схапіўся, — говорил отец, — і бачу, што двое на мяне кінуліся, а трэцій хочэ коні затрымаць. Я збархнуўся, схапіў тапор у рукі, як крыкну: «Убью!» Як перацягнуў бізуном аглаблёваго! Конь на дыбы — і падбіў таго разбойніка. Коні панясліся, а ён толькі крычыць: «Ай! ай!» — пакуль я чараз яго

не пераехаў. Шчасця маё, што яны закрычалі. Каб не закрычалі, ды каб не ўзяў я тапара для абярэгі, быў бы мне капут».

Второй случай был уже позже, в 68-м году или 69-м, когда строилась Московско-Брестская ж. д. Отец подрядился какого-то пана свезти в Минск. Свез — и возвращался домой порожним. Дело было осенью, как раз в осенние еврейские праздники. Между Колодищами и м. Смолевичами на перепутьи, в 30 верстах от Минска, стояла корчма в лесу. Дорога была плохая и уже стемнело, и потому отец остановился покормить лошадей и дать им отдохнуть. Евреи-корчмари всей семьей уехали в Смолевичи справлять праздники, а здесь оставили торговать шляхтица из соседней околицы. Когда лошади подкормились и отдохнули, отец хотел ехать дальше, но шляхтиц стал просить, чтобы он ночевал до утра. «Страшновато, — говорит, — тут одному в лесу. А на чыгунку, — говорит, — нагналі ўсякаго народу, усё больш маскальё, самые гэтые кацап'ё: ім нічого ня стоіць чалавека згубіць». Отец остался ночевать, вероятно, соображая, что и ему в темную ночь ехать вдоль чыгунки в лесу небезопасно. Лошадей он поставил в сарай под замок, заперли двери на засов и подперли плахой под иглицу, а затем улеглись спать: отец на лежанке в сборной, а шляхтиц за стойкой.

— Ноччу, — рассказывал отец, — так чым-та гвазданулі ў дзверы, што вокны затрасліся, і я ўскачыў, як сколаты.

— Чуеш, — пытаю.

— А як жа, чую.

— Вздувай лучыну і давай тапары! Мы ім пакажам, лотрам!

Я крычу так, як бы нас нескалька. Тым часам, раз за разам, сталі бухаць у дзверы, так што дзверы і вушакі сталі трашчаць. Я налёг на плаху, каб ня выскачыла: на яе ўся надзея, бо, думаю, дзверы ня выдзержаць. Запаліў шляхціц трубніцу, я глянуў на яго, а ён збялеў, як мяртвец, і рукі трасутца. А здаровы быў мушчына. Я як закрычу на яго: «Ты што ж гэта, так тваю маць, пужатца ўздумаў, калі жызь на валаску вісіць? Я табе тут пакажу пужатца!» — А тым крычу: «Што ж вы сталі? Валіце яшчо, дзугайце, галавой біціся!». Яны, чую, штось-та пагаварылі і яшчо: раз, два, тры стукнулі. А я толькі падгарашчаю: «Ну, яшчо, валіце яшчо, так вашу маць! Ага, вы

думалі, што тут адзін? Ды абсчыталіся?». Крычу ім, а сам на плаху налягаю. Карчма была без падлогі, глінай бітая, і плаха ў ямачку ўстаўлена: толькі б ня выскачыла.

Чую — яны штось-то кінулі і сталі лаятца: «Шчасьця тваё, польская морда, што праежжые начуют. Пагадзі, мы цебя даймём». І чую — сталі выхадзіць із стадолы. Я выглянуў збоку ў ваконца — віджу — іх чэцьвяра. Пастаялі, пагаварылі — і цераз пляцень сталі пералязаць і пашлі тропкай к чыгунцы. Я яшчо палаіў шляхціца, што спужаўся, а ён мне ў ногі кінуўся.

— Сам Бог ягамосьця паслаў! Каб ня ваша мілась — яны б мяне даканалі.

— А ў мяне такі панароў, — говорил отец, — калі навісла бяда — ня трусь. Першае дзела — ня трусь! А калі дзела даходзіць да боя, чы да дракі: першый бій, не чакай, пакуль цябе ўдаруць. «Смелась гарада бярот».

Ну, тут мы пагаварылі і ляглі спаць. Я-такі крэпка заснуў. Аб конях не клапаціўся, бо бачыў, што іх не ўзялі. Ды куды яны з коньмі дзенутца? Зранку мяне шляхціц будзіць. Аж бачу: да яго жонка прыйшла і ўжо яешню спекла, ляжыць хлеб і стаіць жбан піва (ён знаў, што гарэлкі я ня ўжываю).

Ну, тут яны мне й кланяліся, ну, тут яны мне й дзякавалі...

«Паглядзіця, — кажа, — чым яны бухалі». А яны шпалу прыняслі, і шпалай шыбалі. Я паснедаў[216], коні напаіў, запрог і паехаў сабе аж у Барысоў».

Были и другие с отцом приключения в этом роде, но их описания ничего существенного не прибавят.

Не знаю в точности, в котором году родилась Павлинка, кажется, в 69-м, но помню точно, что 4-го марта. Родилась она в нашей хате, притом мать была в полном одиночестве: я был в школе, а отец был в отсутствии. Прибежал я из школы на обед, а мать лежит на постели, и что-то у нее мяукает, как котенок. Мать и говорит: «Я табе сястрыцу радзіла. Збегай — скажы бабульцы і збегай за бабкай Тэклей».

Все это я сделал бегом и привел бабку Тэклю. Все они, что требовалось, сделали. Вопрос: какое имя она с собой принесла? Посмотрел я в свои святцы «на 20 лет», оказывается, что женских имен нет, а все мужские, в том числе какого-то

святого Павла. И решили назвать ее Павлой или, как свойственно белорусам, Павлиной.

Кумы были, так сказать, третьего сорта: дворный лесничий Вижгофт и дядина Наста Новикова. Крестить почему-то возили во Мхерино, за 5 верст. Ну, там и напутали в метрике. Когда она окончила школу в Минске и надо было представить метрику для аттестата, то оказалось, что все переврано: вместо Павлы — Павел, значит, мальчик, подлежащий призыву, отчество отца вместо Лукьянов — Лукин, а по фамилии Богдановский. Похоже, да не то же.

Много мне было возни, чтобы распутать всю эту путаницу.

А теперь — возвратимся на прежнее, как любили выражаться старинные повествователи.

Мать благополучно возвратилась из Минска через 3 недели, прогостив в городе 2 недели. Сколько было рассказов! Сначала своим близким, а затем соседям и всем — кто хотел слушать. Много она насмотрелась на разные чудеса: «брукаваные» улицы (мощенные камнем), «трантавары» (тротуары) по сторонам, фонари на улицах, словно иллюминация постоянная, каменицы, архиерейский дворец, консистория, губернаторский дом, церкви, костелы, нижний, верхний и рыбный рынки, торги на Траецкой гарэ, Злота Гурка, сады и бульвары, река, протекающая чрез город, пасхальное архиерейское служение: «Архірэй гэтак сядзіць сабе на троне, на залатой падушцы, увесь у золаці і карона на ём залатая, мітрай заветца; а папы стаяць у два рады».

— Ну, вядома, крэсцятца, кланяютца і Богу молятца, а як трэба што-нібудзь зрабіць, дык падходзяць к архірэю, кланяютца і ў руку цалуюць. А народу, народу! — яблаку ўпасць негдзе! У Сабор усіх не пускаюць, алі толькі начальства і хто ў багатым адзенню. Стаяць квартальные ў дзвярэй — і яны знаюць — каго пустціць, каго не. А як губарнатар прышоў з енараламі, дык квартальные дарогу расчышчаюць і на кавёр вядуць. І там усі енаралы на каўрэ і енеральшы з імі, і ўсе ў ачыпках стаяць і ачыпкаў не знімаюць. А як хораша пяюць — Божа ты мой, Божа! — як анёлы на небі! Так бы й стаяла і ўсё б слухала! А назаўтра ў архірэя разгавеньня на 150

парсон. Божа ты мой, Божа, — чаго тут толькі ня было! Юрка і яго два памочнікі два дні як у катлу кіпелі — і ні падхадзі! І бабкі, і мазуркі, і торты, і пірагі, і гэтые самые паскі (паскамі яны нашые сыры называюць, толькі з яйцамі і з цукрам). А яец крашаных цэлую карзінку наверх паняслі: гэта архірэй будзе хрыстосыватца і кожнаму дась па краснаму яечку.

А сколькі гэтага начальства наехала! Хто ў карэці, а ў калясцы — повін двор архірэйскі адных фарманак. Усе ў мундзерах з золатам пры шпагах і шапкі на іх такіе доўгіе: як кління спераду і ззаду. А каторые ваенные енаралы, дык у іх саўсім другая форма і на шапках зверху як петушыные хвасты з белых пер'еў.

— А як зрабіўся пажар у горадзі, дык саўсім ня тое што ў нас: ніхто ня крычыць на гвалт, алі ходзіць на самай высокай вежы[217] дазорца і званкі дае. Тут як выліцюць гэтые самые пажарнікі — хто з бочкамі, хто з драбінамі[218], з бусакамі — і ліцяць, ане вокам ня змігнеш, і тады ім ніхто на дарозі не пападайся — раздавюць: вядома на гвалт ляцяць. Прыедуць — і машынай чараз трубу ваду льюць: высока дастае. А пажарные ўсе ў залатых шапках (шлемы завутца) па крышах лазюць, як мурашкі, і нічога не баятца. Тут загарэлася — і глядзіш удрук патушылі: патаму камяніцы пад зялезнымі крышамі, ня тое што ў нас — салома.

А як напрасная травога — 25 рублёў штрафу. А самая прыгожая камяніца Гаўсмана. [...]

А двор у архірэя бальшы з прысадамі, а ззаду сад і ранжырэя, і садаўнічы ўчоны, што ўсякіе цвяты можэ развадзіць і на гармоніі дужа хараша іграе. Хоць ён і каталік, алі архірэй трымае, бо ўсякае садоўнічае дзела знае.

А яшчо ёсь на Юраўскай вуліцы камяніца Базылеўскаго — чатыры атажы, самый бальшый і высокій дом, больш архірэйскага, алі ў архірэя на домі карона і два ключы залатые — гэта прызнака, што архірэй жывець.

А ў касьцёлі катадральным швайцар ходзіць весь у галунах і з бліскучай булавою: як хто задрэмліць, абы голасна гутарку вядзе, дык ён падойдзе і булавой стукне ў падлогу — парадак вядзець.

Ну, а нашы Гласоўскіе харашо жывуць, кватэру знімаюць на Юраўскай вуліцы, так маленькі домік. Дочкі швачкамі —

бялізну шыюць, па 2 рублі за сарочку бяруць, калі з гафтаванай манішкай; Валерка яшчо ў будычцы зэльтэрскай вадой таргуе, і сабе на лабу грыўку выстрыгла, каб па модзі было. Кавалеры прыходзюць, жартуюць і ваду п'юць — хто з сокам, а хто так. Бяз соку не смашная, алі кажуць — здаровая, на жывот здарова. А Юзік іх доўга блукуняўся, разлайдачыўся, а цяпер у цагельні цэглу робіць і палціну ў дзень зарабляя.

Можна было б жыць, алі п'ець, усё прапіваець. Матка плачыць і ў касьцёлі Богу молітца.

— А радам з Гласоўскімі наш кравец Халімон Пліска жывець. На варотах бальшая вывеска — пальто і сурдут нарысованы. У людзі вышаў, чыляднікаў трымаіць. Там і жаніўся, двое дзяцей маіць... І так лоўка па-жыдоўску гяргечыць у крамах.

Адно толькі кепска: усе з гроша жывуць. Усё купі, ды купі. Бяздзелля тое: цыбуля, морква, бурак — усё пучкамі прадаюць. Капейка, грош за пучок — усё заплаці. Куханы толькі смашные, з макам і чарнушкай, пульхные, капейка штука. Ні ў нас, ні ў Барысаве такіх ні пякуць».

И так без конца — целую неделю длились рассказы — все чудесные, все удивительные.

А в результате поездки было решено, что мы всей семьёй переселимся в Минск. Я был вне себя от восторга: так хотелось видеть все эти чудеса. Особенно архиерея, который в моем воображении рисовался чем-то сверхъестественным. А так как мой отец его кормит (старший повар!), то и он в моих глазах возносился на недосягаемую высоту. Одно было жаль, что моя мать осталась такой же простой и скромной, как была: чувствовалось несоответствие ее деревенской простоты с высоким положением отца.

Но не так легко относилась к переезду мать: это значило вторично ликвидировать хозяйство, с таким трудом и лишениями налаженное, — это значило продать чудную корову, свиней, поросят, кур и пр. А долго ли там проживешь при беспокойном и неуживчивом характере отца? Потом вновь все наживай. Сбыть — легко, а наживать трудно. Но, видимо, были соображения особого порядка, которые ее беспокоили и заставили решиться на эту пертурбацию. Соображения сводились

к тому, что отец отобьется и отвыкнет от семьи (як з воч, дык і з памяці); что у него не будет перед глазами сдерживающего начала в форме семейных обязанностей; что меня без отца трудно воспитывать — «в неслуха» и «в неука» легко могу обратиться; но, кажется, главным было соображение — как бы у отца не завелось любовной связи, хотя бы с тою же Валеркой, ибо к Гласовским, как выяснилось, отец частенько заглядывал — и вино, и «пачастункі» носил. Долго ли до греха? А городские девицы не то, что деревенские: слабо себя блюдут.

Все это было или считалось таким важным, что мать решилась на эту болезненную операцию, которую ей пришлось переживать вторично.

Но на сей раз она так далеко не пошла, как в первый раз, да и отец на этом не настаивал. Была ликвидирована только живность, а дом, плац и все остальное оставалось в целости, под замком и надзором бабушки и других родичей. С собой брали только платье, белье, подушки и кое-что из посуды. Отец также поручил матери взять с собою Юзика, моего неизменного приятеля и защитника, который в сущности без толку околачивался около нас, не приучаясь ни к какому серьезному делу. Отец имел в виду отдать его в сапожную выучку к хорошему мастеру, т. е. выучить отцовскому делу, к которому его уже приучали. Это, конечно, было вполне разумно и всеми одобрено. Юзик, тоже наслышавшийся чудесных рассказов, ехал охотно.

Недели в две — три живность была распродана. Корову, как я говорил, продали в Борисов Банэдыку Буйле за 50 руб. — за цену из ряда выходящую, но она и стоила этой цены: заводская, огромная и молодая — в самой молочной поре.

Наняли мы две подводы по 5 руб., нагрузили сундуками и постелями, и сами кое-как примостились. Впереди мать с Павлинкой на руках и возчиком из Гальков, а сзади я с Магдаленкой и Юзиком, который правил лошадью. Это было весной 1870-го или, вернее, 1871 года, — точно не могу определить. Надо было сделать 145 верст. Ехали больше шагом, но все же в первый день сделали 56 верст и ночевали в Борисове. Погода благоприятствовала, май месяц, всюду свежая зелень. От Лошницы ехали большаком или «гостинцем» с двумя

березовыми аллеями по сторонам и с полосатыми верстовыми столбами, которые мы тоскливо поджидали и отсчитывали — сколько проехали и сколько ехать осталось.

На первых порах весело было ехать, но потом внимание утомлялось и притуплялось, неудобство сиденья и тряскость пути чувствительно давали себя знать, так что я, когда слез с телеги в Лошнице, где коней кормили, то упал и не мог встать: «отсидел» себе ноги.

Следующий день я часто слезал, чтобы поразмяться и шел больше «прысадамі», боковыми аллеями, где попадались цветы и изредка земляника. Я настолько ею увлекался, что далеко отставал, и мать была вынуждена останавливаться и меня звать. Это ей, наконец, надоело, и она, слезши, меня отшлепала.

Не знаю — почему я этому придал столь огорчительное значение, что с плачем бросился бежать домой во всю мочь. Насилу Юзик меня догнал версты за полторы — за две и под конвоем подвел к возам. [...]

Дорога представляла много нового. Строилась таинственная «чугунка» (Белорусск[ая] ж. д.), о которой я слышал так много рассказов и представлял себе ее в чудовищных формах. Она шла то вдоль гостинца, то местами пересекала его. Клали шпалы и закрепляли рельсы. Все это было интересно, но оказалось гораздо проще, чем я себе представлял в детском воображении. Ни паровозов, ни вагонов еще не было видно, и об них я не имел никакого понятия. Но видел шибко бегущие дрезины, которые я и считал за «машыны», как у нас называют паровозы.

В первый день мы проехали Смолевичи, — единственное местечко, встреченное нами на пути, и здесь угощались славным смолевичским пивом.

Ночевали в Колодищах, в 20—25-и верстах от Минска, на третий день пути к полудню вынырнул Минск. Развернувшаяся панорама города, вздымающегося на холмах, с каменицами под красными и зелеными крышами, в зелени садов, — панорама долгожданная, показалась столь очаровательной, что я и Магдаленка пришли в столь неистовый восторг, что кричали во все горло и плясали от радости в телеге. Напрасно мать грозилась с передней телеги — мы были вне себя

и не могли удержаться. Я забыл и страх перед отцом за вчерашнее скандальное поведение или, может быть, думал, что семь бед — один ответ. Вернее — ничего не думал и ни с чем не считался: новые неизведанные впечатления всецело овладели мной и привели к состоянию, близкому к неистовству. Между прочим, Минск в то время был город маленький — всего 28 тысяч жителей. Мне все представлялось восхитительным, чарующим и в грандиозных размерах. Обычный обман чувств, когда въезжаешь из привычной обстановки малых размеров в обстановку больших размеров, то она, конечно, кажется вдвое больше, чем есть на самом деле, так и наоборот: Холопеничи мне казались в своих расстояниях, ширине улиц и величине домов страшно махонькими, когда я въезжал в них из больших городов, как и Минск казался ничтожненьким после Варшавы, Москвы, Петербурга.

Мы подъехали к архиерейскому двору, но на него въехать не посмели. Мать пошла дать знать отцу, и он проводил нас на квартиру, которая была снята для нас в маленьком домике в две комнаты с кухонькой на углу Зыбицкой[219] и Юрьевской улиц, за 4 руб. в месяц. Плата весьма дешевая, но это значило, что заработок отцовский свелся к 6 руб. в месяц. Это было недалеко от архиерейского дома, в 2—3-х минутах ходьбы. Но отцу показалось и это долгим и вскоре он снял квартиру еще поближе, в Архиерейском переулке, что между Захарьевской[220] и Юрьевской улицами, вместе с Гласовскими, которые занимали одну половину, а мы другую.

Я делал городские разведки слишком осторожно и постепенно и далеко не заходил, памятуя урок Бобруйский, который мне так дорого достался. А Юзик сразу попал впросак.

Хоронили какого-то полковника с большим парадом и помпой, разумеется, с музыкой и проч. Он ввязался в процессию и дошел до Сторожевки, в надежде, что провожающие будут возвращаться тем же путем. Но все разошлись в разные стороны, и наш Юзик заблудился, и только на другой день его мы нашли чрез полицию, куда сделали заявление.

Это, впрочем, был последний день его свободы и праздной городской жизни. Вслед за тем отец отдал его в выучку хорошему сапожнику Селицкому, как водится, на 5 лет. И как

водится — его сразу же запрягли в домашние работы, из которых было самой тяжелой ношение воды из Свислочи на Губернаторскую[221] улицу, где была сапожная мастерская, т. е. на расстоянии чуть ли не в полгорода; а воды нужно было много, ибо семья была большая и «челядников» (подмастерьев) и учеников было много, — значит, — четыре-пять раз надо было таскать воду на коромысле. Так было во всех мастерских — это дело младших учеников. Водопровода в то время еще не было, и все снабжались водой из Свислочи: богатым возили водовозы, а беднота таскала воду на плечах. На окраинах кое-где были колодцы.

Юзику, ленивому от природы, эта запряжка очень не понравилась, как равно и весь режим мастерской пришелся очень не по нутру. В ней порядок был, как и во всех мастерских тогдашнего времени: ученик должен находиться в полном послушании у майстра и майстравой; каждый «челядник» (подмастерье) может им понукать и давать затрещины: это право присваивают себе и старшие ученики. Выходило так, что тогдашний ученик — это раб очень многих господ. Испытав этот порядок вещей, — Юзик упал духом (ведь пять лет!) и затосковал по родине, по свободной, хотя и полуголодной жизни. С неделю времени он еще выдержал искус, памятуя слова своей тетки, бабы Рузали: без гора дабра ня будзя; а затем каждый день, идя за водой, он заходил к нам и со слезами просил мать отправить его домой. Просить отца непосредственно он не смел. Мать убеждала его потерпеть, что потом легче будет, когда он сядет за верстак. Но эта перспектива ему не улыбалась: сидеть сиднем 14 часов в сутки. Это было не по нем: он предпочел бы воду носить, но быть более свободным. Мне он под страшным секретом открыл, что если его не отпустят добром, то он убежит. И просил меня припасать для него хлеб на дорогу и все съестное, что можно. На этих запасах я был пойман и открыл весь секрет матери. А Юзик каждый день плакал горькими слезами и все просил отправить его домой. Минск, рассматриваемый сквозь призму ученической выучки, потерял для него всякую цену и даже казался отвратительным, а Холопеничи, с нашей вольной жизнью в них, полными всяческих прелестей.

Отец долго не соглашался выручить моего приятеля из неволи. В конце концов мать упросила его — и Юзик был взят из мастерской. Ему купили место в балаголе, что-то за 75 коп. до Борисова, а там он должен был идти пешком: дорога известная. Мать снабдила его на дорогу съестным и прочим, и я простился со своим другом детства на Комаровке, у Золотой Горки — пункта, откуда отправлялись балаголы, длинные крытые повозки, в которых помещались человек 10—15 с пожитками. Все было битком набито, ехать крайне неудобно, но дешево. Юзик поместился рядом с возницей: это было непочетно, но зато удобно: сидишь себе, как пан на кресле, спустивши ноги. Впоследствии я оценил все выгоды этой кучерской позиции, наименее утомительной, и в своих бесчисленных разъездах и дальних дорогах устраивал себе столь же прочное и высокое сиденье с опорой для ног, чтобы они пружинили во время беспрерывных толчков и покачиваний.

Итак, я с Юзиком простился, — простился не без грусти и не без слезы, но, как оказалось, ненадолго.

И начался первый период моей минской жизни вблизи архиерейского дома и в связи с этим домом, что обогатило меня новыми впечатлениями, которые я в то время не мог осмыслить, но которые хорошо запомнил.

Архиерей Александр Добрынин был человек в Минске новый, один из первых пришедших на смену старым униатским архиереям, т. е. один из обрусителей. Это был красивый старик, отборного русского типа, на вид суровый, но человек простой и добрый, даже мягкий по натуре. Как говорили, он был сын дьячка из села Веретен Молчского уезда Ярославской губернии и, стало быть, вышел из низов церковников и, стало быть, — знал народ и народное горе было ему не чужим.

Все его хвалили за доброту и ласку, тем более, что его предшественник Михаил Голубович, подстроивший вместе с Семашком[222] насильственное присоединение униатов, был человеком не только суровым, но и грозным.

Судя по рассказам, которые я впоследствии слышал от близких ему лиц, например, от его личного секретаря Е. Г. Тарановича и других, и судя по тому, что я читал о нем, это был тип католического прелата, «князя церкви», гордого своим

достоинством, ведшего роскошную жизнь на свои большие доходы, которые составляли около 7—8 тысяч в год чистыми: по тогдашнему времени — сумма не маленькая. Жалованье казенное было не великим: епископ — 1200, архиепископ — 1500 руб. Но главный доход давали подгородные имения, Антоновка и Пустынь, и оброчные статьи, принадлежавшие архиерейскому дому: мельницы (клебанские млыны) на р. Свислочи, лавки и земли под домами и церковные доходы. Голубович одевался роскошно, выезд имел великолепный, стол изысканный, бойко говорил по-польски, держался по-светски при частых объездах панских дворов, ухаживал за панями и паненками, говорил им комплименты, острил и очень любил острить, смущал своими остротами простоватых попадий и застенчивых поповен. Это не мешало ему быть суровым с их отцами и за провинности сажать в монастыри или переводить в дальние захолустные и малодоходные приходы: без базаров, без чудотворных икон, без чудотворных крыніц. Впрочем, секретарь, прибавляя, был строг, но справедлив. Словом, его боялись и едва ли любили.

Иное отношение было к Добрынину: его любили близко с ним соприкасавшиеся. «Добрый человек», — говорили о нем. Характеристика довольно неопределенная, но больше, по-видимому, сказать было нечего. Первый был «личностью», с довольно ярко выраженным характером, а его преемник, в этом смысле, был довольно бесцветен и уступчив, и его окружающие имели на него большое влияние.

«Двор» архиерейский составляли 3 лакея: из них старший носил звание «келейника». Это был некий Юзефович из дьячков, человек двуличный, лицемер, пользовавшийся доверием архиерея, и в силу своего положения имевший большое влияние на него в делах домашнего обихода. Было два, а иногда и три повара; эконом и расходчик — оба монахи, кучер, садовник и личный секретарь Акоронка, который, в качестве человека местного и знакомого с лицами и местными усло-виями, имел большое влияние на ход дел приходского духовенства. При архиерее же состоял хор певчих с регентом и его помощником.

Летом архиерей выезжал на дачу в имение Пустынь в верстах 8 или 10 от города, на берегу Свислочи. Это было име-

ние со всеми угодьями: с пашней, прекрасными заливными лугами, строевым сосновым и лиственным лесом, который почему-то назывался «лугом». В сущности, это был парк, хорошо содержимый, с расчищенными дорожками, скамейками и столами; в нем множество росло белых и разных других грибов. В имении был небольшой одноэтажный дом с верандой и маленькой домовой церковью и два флигеля — один для певчих, а другой — для служащих и рабочих, которых было немного: пастух, конюх и две коровницы. Пашенное хозяйство было небольшое и обслуживалось поденными или сезонными рабочими. При доме был прекрасный сад — разных сортов яблони, груши, вишни, сливы — с парканами, кедровыми аллеями, с обрывистым склоном, обсаженным разными привозными и местными деревьями, а внизу у обрыва пробивался родник чистой, как кристалл, воды. Словом, «пустыня» имела все прелести сельской природы и все культурные удобства. Местность высокая, здоровая, река протекала возле самого сада и вид чудесный и разнообразный.

С разрешения архиерея отец взял меня с собой в этот райский уголок. Архиерея я еще не видал и у меня на этот счет не было определенного представления. Меня отец долго учил, как надо подходить под благословение, как руки сложить, выждать — пока благословит (что это такое — я тоже не знал хорошенько) и потом поцеловать руку. Так как всему этому ритуалу придавалось весьма важное значение, то я трусил, боясь чем-нибудь испортить дело. Этот восхитительный сад и окрестности меня неотразимо манили, и я, забыв все на свете, пустился в обследование этого чудного уголка природы. И в этих первых экскурсах встречаю низенького старичка в подряснике и гололобого, с медным крестом на груди и, приняв его за архиерея, со страхом и трепетом, подошел к нему со скрещенными ладонями. Старичок перекрестил меня (это и значило благословить), подставил руку для поцелуя и пошел дальше. Я в восторге, что все обошлось благополучно, побежал в кухню похвалиться отцу, что я видел архиерея и подошел под благословление как следует. Отец почему-то усомнился, что это был архиерей и когда я ему показал на старичка, проходившего вдали, сказал: «Дурак! Гэто

архірэйскі духоўнік». Разбери тут: кто архиерей, кто духовник! Но этот искус не прошел для меня задаром: это была репетиция, сошедшая благополучно. И я, когда встретил настоящего архиерея, то использовал свой первый опыт с успехом и даже с меньшим страхом в чем-нибудь погрешить. Но что за разница: архиерей и духовник! Шелковая ряса, так нежно шелестящая, клобук с широким покрывалом, падающим на плечи, блестящая панагия на груди и белые холеные руки, — вид внушительный, не то что невзрачный униатский священник, которого я принял за архиерея.

Когда, благословившись, я, смущенный, стоял и не знал, что дальше делать, архиерей спросил: «Как тебя зовут?» — «Адольф».

— Как, как? — Я повторил. — А-а! — заметил он, — ты православный? — Я знал, что я православный, и сказал это. — Читать умеешь? — Умею. — Хорошо. Учись, — погладил по голове и прошел дальше. А я, взбежав в кухню, радостно воскликнул: «Татачка, я відзеў настаяшчага, запраўдашняга архірэя!» — и рассказал все, как было дело.

Потом я понял, почему он переспросил, как меня зовут: имя-то не православное.

Вскоре, гуляя с газетой по веранде и завидев меня в саду, он позвал меня и дал сказку «О рыбаке и рыбке». — «Ну-ка! Почитай». Я развернул и стал читать, но спазмы в горле от волнения мешали, и я читал прерывисто и не бойко. Он все же похвалил и обласкал меня. А спустя некоторое время подарил «Училище благочестия» — книжку, надолго захватившую и очаровавшую мою маленькую душу.

Теперь уже подходить под благословение мне ничего не стоило: как пить дать! Ни самый ритуал, ни архиерей для меня были не страшны. Я свободно гулял по саду, облюбовал на склоне какое-то неведомое дерево, густо усыпанное ягодами разных цветов, — зеленых, розовых и фиолетовых — в зависимости от степени спелости. Ягоды были вкусные и я ими долго пользовался, ежедневно выбирая спелые. По-видимому, это была шелковица. Нередко садовник угощал нас дынями и арбузами. Я купался в реке, ловил раков, которых было весьма много, и раз чуть не утонул. Помощник отца меня выхватил.

Подружился с малышами певчими, особенно с одним, по фамилии Шопка, и ходил с ними на «луг» за грибами. Житье было святое, привольное и разнообразное. А главное — совершенно беззаботное, близкое к райскому блаженству. Лучшей жизни у меня не было ни до, ни после. Как и все приятное, она недолго продолжалась, 2—3 месяца.

Архиерей, видимо, любил малышей, часто их ласкал и баловал сластями. Сад, в сущности, был предоставлен для опустошения певчим. Набирали, сколько надо было, фруктов к столу, а затем предоставлялось им его обирать постепенно. Следили только, чтобы малыши не рвали зелени, недозрелых плодов. Я пользовался тою же привилегией и наедался всяким фруктом до отвала, не говоря уже о том чудесном дереве, которое давало мне каждое утро спелые ягоды и которым я пользовался единолично.

У отца явилась честолюбивая мысль зачислить меня в певчие. Это значило бы, что я должен попасть в духовное училище и в семинарию и притом под эгидой архиерея. Выход в люди, стало быть, был бы обеспечен. Конечно, я тоже хотел попасть: их синих кафтанов с галунами было достаточно, чтобы меня очаровать. В этих видах отец и поручил обучать меня пению «покаянному» дьячку Адамовичу, — тому самому, у которого был приобретен за двугривенный знаменитый песенник, лучший перл моей тогдашней библиотечки. Учил он меня нотной азбуке — этим странным до, ре, ми, фа — и Господи помилуй, и аминь, и пр. Просил отец о моем зачислении архиерея, и он согласился, если у меня есть подходящий голос. На испытание явился сам архиерей и велел своему лучшему певцу Ксенофонту Пигулевскому испытать меня — гожусь ли. «Пой за мной», — говорил он, — «Господи помилуй!». Закатил он таким чистым звонким голосом, что у меня все поджилки задрожали. И вслед за ним я что-то запищал, как котенок, которому наступили на хвост. И раз, и другой, и третий — результат был все тот же. Сразу было видно, что не гожусь. Отец стоял уничтоженный, видно стыдясь, что породил столь негодного сына. Перешли на «аминь» — и «аминь» не помог. Решено то, что было очевидно сразу: не гожусь.

Я был искренним образом огорчен, отчего мне Бог не дал такого чудного голоса, как Пигулевскому или другому исполатчику, моему приятелю Шопке. Так честолюбивые поползновения моего родителя рассыпались прахом.

Я всегда любил петь, и мне очень бы хотелось иметь красивый голос. Но, припоминая этот момент моего испытания, я говорю: «Как хорошо, что у меня не было хорошего голоса! Это спасло меня от самого худшего в моей жизни». Уже здесь, в Пустыни, я видел немало пакостных вещей среди певчих, и я видел, как тот же Пигулевский, мальчик лет 14—15-и, похвалялся с грязным цинизмом своими подвигами с коровницами. И один ли он? Проста и откровенна деревня в своих выражениях и припевках, но там эта откровенность не носит специфического привкуса отвратительного смакования, в котором и заключается вся мерзость.

Много лет спустя Ксенофонт Пигулевский уже был регентом архиерейского хора, и я, безголосый, ни с какой придачей не поменялся бы с ним ни голосом, ни положением. Как хорошо в некоторых случаях не иметь певческого голоса! И вообще — я под счастливой звездой родился: мне даже мои недостатки служили на пользу.

После Пустыни я уже не встречал архиерея в домашней обстановке. Видел его не раз в соборе во время служения, которое так чаровало мою мать. Чаровало оно и меня не менее, особенно, когда исполатчики с Пигулевским во главе пели ангельскими голосами «Святый Боже», а архиерей на все стороны махал, скрещивая, дикирием и трикирием. Я несколько гордился, что я сын архиерейского повара.

Как оказалось, положение моего отца на службе было далеко не прочным. И напрасно мы совершили переезд в Минск и ликвидировали свое хозяйство.

Уже в Пустыни я был свидетелем крупной ссоры между отцом и келейником Антоном Юзефовичем. Ссора длилась по крайней мере с полчаса, если не более. Мне она казалась бесконечной. Юзефович стоял вверху в своей комнате, а отец внизу у кухни и отчитывал архиерейского любимца. Называл он его кляузником, Иудой, христопродавцем, ужом и гадюкой ядовитой, и разными другими сколь возможно укоризненными

именами, которые он мог найти в минуты сильнейшего раздражения. В чем там было дело — я не знаю, но, по-видимому, родилась ссора на почве каких-то кляуз. Архиерей не мог не слышать этой ссоры, и отец, по-видимому, стремился придать ей возможно «гласный» характер. Я не знаю — насколько архиерей дорожил искусством моего отца, но, по-видимому, дорожил. После этой ссоры отец служил еще более полугода. И ссоры повторялись неоднократно, и отец не раз просил уволить его, чтобы не видеть этого христопродавца. Архиерей мирил их, но, видимо, вес двуличного, расчетливого и сдержанного «христопродавца» возрастал, а вспыльчивого, прямого и резкого моего отца, не владевшего ни тактом, ни чувством меры, падал. Борьба была неравной, и победа извилистого «ужа» и ядовитой «гадюки» была обеспеченной. Отец сам себе приготовил смену, взяв к себе в помощники хорошего повара, который, усвоив особенности архиерейской кухни и ориентировавшись в обстановке, сообразил, чья позиция прочнее, и на ту сторону стал открыто и вызывающе. Это было предательство и самая черная неблагодарность. Он был долго без места, отец держал его у себя на квартире, поил, кормил, спал он со мной на одной постели, учил меня, что надо спать плечи к плечам — тогда будет теплее, — и в трудный момент подставил ножку. «И ты, Брут?» — мог бы сказать мой батюшка, будь он Цезарем.

Отец разругался с обоими и потребовал расчета. Архиерею, видимо, надоели эти дрязги, он устал мирить их, и отец был уволен.

Это значило — поворачивай оглобли назад, вновь заводи и восстанавливай все разваленное, — перспектива тяжелая и печальная. Много она стоила слез моей матушке, а отец довольствовался тем удовлетворением, что выругал обоих «христопродавцев» как следует.

— Чаго плачэш? — говорил он. — Без хлеба не будзем. На свае рукі найдзём мукі.

Но мне еще нужно отметить несколько событий, которые случились во время нашего пребывания в Минске. Самым важным и отрадным по своему значению и характеру были всенародные похороны доктора Гинденбурга. Он был лютеранин,

но у гроба его и в погребальной процессии соединились все народности и вероисповедания гор. Минска — православные и католики, лютеране, евреи и магометане. Число провожавших гроб было огромным — в десяток тысяч человек, что для маленького тогдашнего Минска было явлением невиданным и исключительным, чтобы на похоронах частного лица соединились никем не пригнанные толпы народов. Особенно много было евреев и многие шли в молитвенных одеяниях и со свечами и молитвенниками в руках, в том виде, в каком были в синагоге.

Зрелище было в высшей степени трогательное в том смысле, что здесь были отброшены в сторону или хотя бы на время забыты национальные и религиозные антагонизмы, в то время бывшие в полной силе.

Помнится, что об этой всенародности, как о явлении многозначительном и показывающем, что может иметь объединяющее и примиряющее влияние, писал Достоевский несколько позже этого события в своем «Дневнике писателя», со слов минчанки Сары Лурье, моей приятельницы, «умной еврейки», по его словам.

Что же объединяло эту разноплеменную толпу? Обаяние личности покойника, его исключительная доброта и неустанная работа на пользу униженных и обиженных, угнетенных и обездоленных, т. е. городской бедноты. Это был врач. Я не знаю — какая его специальность и была ли у него врачебная специальность. Он шел ко всем, во всякое время дня и ночи, без отказу и с бедняков никогда ничего не брал за лечение. Напротив, — где была нужда, он оставлял деньги на лекарство и диетический стол, иногда покупал козу для бедных, особенно, где были ребята, иногда снимал с себя рубашку и рвал на пеленки для новорожденных, которых завернуть было не во что. Много таких трогательных случаев рассказывалось. А главное — все это было облито сердечной добротой и искренним желанием помочь всем, чем только можно. И все это делалось просто, без всякой эффектации. А тем более — афиширования. Это был местный двойник доктора Гааза, заслуживающий, как и его прототип, доброй памяти. Но память-то у нас коротка, и эта славная личность ничем не была увеко-

вечена и его неустанная и самоотверженная работа ничем не была отмечена. И немного нынче осталось в живых свидетелей (ведь 60 лет прошло со дня похорон!) его человеколюбивой работы и обаяния его светлой личности.

Не много на свет рождается таких людей и не много могут сделать для искоренения бесчисленных зол их единичные усилия, но на свой пай они немало утерли слез, а в годы безвременья и царующего зла это немалая заслуга.

В том же году (по-видимому, 1871) в Минске и в губернии свирепствовала ужасающая холера: в городе человек 50—70—100 умирало ежедневно. Как обычно, особенно гибла беднота, но болезнь прихватывала и людей обеспеченных. Скверное санитарное состояние города, особенно в скученных местах, где ютилась еврейская беднота, как Нижний и Рыбный рынки, Зыбяцкая улица и т. п., отсутствие водопровода и незнание личных предохранительных мер, являлись благоприятными условиями для развития заразы. Паника охватывала всех. Все всего боялись, кроме того — чего всего больше надо бояться — питья сырой воды из зараженной нечистотами Свислочи и колодцев.

Как обычно в таких случаях — ходило много чудовищных рассказов об отравлении колодцев, о том, что доктора напускают болезнь и о том, что в военном лазарете хоронят живых вместе с мертвыми и так далее.

Нашей семьи эта болезнь не коснулась: я с отцом жил все время в Пустыни при условиях весьма благоприятных для предохранения от заразы, а мать с сестрами счастливо убереглись. Но самая меньшая Павлинка чем-то тяжко захворала. Она таяла, как свечка, лежала пластом и высохла в щепку. Бледность, синева под глазами, ручки и ножки, как спички, и все тело казалось восковым и прозрачным, как фарфор. Лечил ее архиерейский фельдшер Шпаковский, которого отец величал доктором и считал его знатоком и искусником лучшим, чем доктора патентованные. Приписывал он какие-то лекарства, но ничто не помогло. Все считали с ней дело поконченным, — выздоровления никто не ждал. Но она сама нашла для себя лекарство. Как-то мать проносила мимо ее постельки сало. Она повела глазками и стала делать беспокойные движения

и старалась приподнять ручонку, показывая всем существом, что ей хочется сала. Отец говорит: «Надо дать,— авось хуже не будет». Вырезали ей длинный кусочек сала и положили в ротик, как соску. Она жадно стала его сосать и живо высосала весь жир, остались одни пленки. Покончив с этим кусочком, она стала просить еще. Дали ей еще. Пришел Шпаковский и одобрил эту меру, сказав: «Что ж, раз она просит — давайте». С той поры она все время сосала свиное сало — и, видимо, стала поправляться, входить в тело и крепнуть. Чрез неделю она могла сидеть, а потом постепенно научилась стоять на ножках и недели через 4 или через месяц встала с постели и совершенно выздоровела. В семье смотрели на это, как на чудо, но, видимо, кризис прошел и она, сильно истощенная, была просто голодна и инстинктивно напала на этот укрепляющий род пищи, особенно важный для отощалого организма. У нас потом часто говорили, что Павлинку салом спасли от смерти.

К концу лета приехал в Минск Гришка Порецкий и остановился у нас. Что заставило этого скупца предпринять тяжелый в его годы и коштовный[223] путь? По-видимому, надежда, что ему удастся взыскать 400 руб. долга «по сохранной расписке» со Свешникова, бывшего подрядчика по постройке Холопеничской церкви, теперь жившего в Минске. Может быть, он рассчитывал на влияние отца, как повара столь важного лица, а стало быть, с начальством знающегося. У Свешникова, предприимчивого русачка, был хороший дом с садом на Сторожевке и взыскать было с чего, но та филькина грамота, которая называлась громким именем «сохранной расписки», для принудительного взыскания не годилась, а отдать добровольно он не имел ни малейшего желания. Так Гришкины грошики и ляпнули, как и у пани Хруцкой и многих других. Единственным утешением было то, что Гришка, от природы любознательный и особенно интересовавшийся мостами и разными другими сооружениями, вдоволь насмотрелся на разные дива механического искусства. Он с неделю времени ходил по городу в своем домотканом пальтеце, крашенных портах, в шапке с широким козырьком и со своим неизменным костылем. Я был его постоянным провожатым и истолкователем названий разных сооружений. Он дивовался

на церкви, костелы, башни, многоэтажные дома и особенно на железнодорожные сооружения. Мы с ним специально ходили смотреть на паровозы и рабочие поезда, которые уже ходили, хотя движение еще не было открыто. Его, как механика, эта машинерия весьма интересовала, хотя паровоз, сопящий и свистящий парами, одинаково пугал его и меня, и мы живо подальше отскакивали в сторону.

Много Гришка уделил внимания витринам в разных магазинах, иногда что-нибудь облюбовав, заходил справляться о цене. Но неизменно находил, что дорого, и хотя цену сбавляли и иногда торговки вцеплялись в него, держа за полы и рукава, он освобождался и уходил далее, видимо, не желая покупать ни по какой цене. Тем не менее, соблазнился и купил себе карманный нож с двумя лезвиями и пробочником, после долгой торговли, уступок и накидок, за полтинник. Придя домой, он на лучине демонстрировал его прекрасные качества, как остро и гладко он режет, и был очень доволен, когда отец, осмотрев его подробно, сказал, потрясая ножом: «Вячніна! Харошая работа, — ён доўга паслужыць!» Дули на лезвие и находили, что сталь — первый сорт.

Это была предсмертная поездка Гришки: приехав домой, он чем-то захворал. Судя по тому, что он лишился языка и не мог вставать, его, видимо, хватил паралич: Петра и Праксэда хватились денег, боясь, чтоб мачеха не прикарманила. Но в шкапике было найдено только 120 рублей бумажками и мелочью. А где же золото и серебро, которое хранилось в выдолбленном бревне его прежней избы и было вынесено в старой дерюге в рассадник? Баба Рузаля помнила, что была куча золота, которым можно было наполнить горшочек с гарнец[224] величиной. Куда оно девалось? Праксэда плакала, Петра волновался и шарил по кублам, скрыням и разным закоулкам; одна Анэта, всех менее обеспеченная, стояла в ногах кровати и тупо глядела на умирающего отца. Баба Рузаля стояла у смертной постели своего родича. По просьбе Петры и Праксэды она обратилась к умирающему с вопросом:

— Грышка! Скажы, гдзе твае грошы? — Он, видимо, слышал и понял, в чем дело, ибо от усилия покраснел и жалобно замычал. Тогда предприимчивый Петра, при помощи соседей,

образовал из сцепленных рук 4-х человек род носилок и положил на руки умирающего богача и стали его носить по избе, в сенях, в клети, в сараях, в надежде, что он глазами, которые были еще живы, покажет — где деньги спрятаны. Но он уже не понимал — чего от него хотят, и смотрел бессмысленно.

Баба Рузаля почувствовала гнусность этой картины и стала кричать:

— Дайце яму спакойна памерці! Трэба аб душэ яго падумаць!

Его положили на постель, и баба Рузаля вставила громницу в его окоченевшую руку.

Приехали Милька с Иваном с Гуты на похороны отца. И только успели съесть поминальную поліўку с блинами и клецки, как, вытурив его вдову Тэклю к дочери (нічога не дадзім, нічога: іна многа пакья!), принялись ревностно искать грошы: взодрали полы в избе и перерыли земли больше, чем на аршин, а глубже — пускали в дело «щуп» — острую железную палку. То же проделали и в сенях и в хлевах. Работали «шчыра», до поту, до кровавых мозолей: деньги как в воду канули. Задал Гришка дела зятьям! Долго они не могли успокоиться, полагая, что на деньги покойником наложено заклятье.

Эта история с поисками имела свое продолжение после нашего возврата из Минска, и я был виновником новых трудов по поискам. Под влиянием тех рассказов о смерти и поисках, которые я изложил вкратце выше, я как-то сболтнул, что видел у Тришкиного сарая красного петушка, который подбежал к угловому камню и «зьнік, як вадой разьліўся». Этого было довольно, чтобы поиски начались вновь под угловым камнем и далее. Это не была с моей стороны злая шутка и даже не была целиком выдумкой, а простому факту был придан таинственный смысл: «зьнік, як вадой разьліўся». Это была обычная формула для таинственных явлений: они обыкновенно исчезают, как разлившаяся вода по земле. Это была ложь бессознательная, подделка под общий тон, за которую я не беру на себя ответственности. Остальное все было правдой: красного петушка я видел (это был соседский петушок, которого я встречал не раз и позднее); пробежал он мимо камня и скрылся за углом — все это верно, а остальное было истолкованием,

которое обуславливалось обстоятельствами. Но Петра с Иваном, доверяя детской фантазии (як вадой разьліўся!), вновь дали мозоля рукам. Штука в том, что они никак не могли примириться с потерей золота, которое как водой разлилось: по усам текло — в рот не попало.

Вдова Гришки, после всей этой передряги, попреков и обвинений в кражах и лишившись всего добра в хозяйстве, где она была полновластной хозяйкой, неделю спустя после смерти своего старика умерла от огорчений.

Так Гришкино богатство и рассыпалось прахом. Дом и наличные деньги номинально достались Анэте. Но она не воспользовалась ни тем, ни другим. В доме водворились Милька с Иваном, а потом Петра Шабловский с Гапулей Головановой, т. е. дочерью Петра и Праксэды, а Анэта все время, до старости, жила в людях, и даже замуж забыла выйти.

Мне еще осталось рассказать о приезде бабушки в Минск. Это случилось недели за две до увольнения отца со службы, на масленице 1872 года. Что заставило ее трясти свои старые кости в такую даль? Видимо, соскучилась старуха, и захотелось перед смертью повидать внучат и наглядеться на чудеса большого города (дальше Борисова она не езжала).

Как раз во время ее пребывания было получено письмо от дяди Онуфрия из Житомира, где он служил у пана Залэнского, с фотографической карточкой, где дядя стоял, как живой, в пиджаке, с тростью и шляпой в руках. Бабушка последнее объясняла по-своему: «Перед матушкой — без шапочки», — сказала она, т. е. объяснила почтением к ней и к родным. В письме, составленном в витиеватом старинном стиле, видимо, не без помощи «Письмовника», между прочим говорилось, что он здесь влюбился в хорошенькую девушку, образ которой не оставляет его ни наяву, ни во сне, и всегда видит он ее как в зеркале. Для суждения относительно ее достоинств была приложена вторая фотографическая карточка, с которой смотрело миловидное лицо с высоким лбом и высоко причесанными волосами. Разбирая по статьям ее достоинства от платья с фалболами до лица и прически, матушка заметила: «Лоб — хоць парасят бі! І ростам, відаць, маленькая». Это значило, что не все в порядке. И сравнивая ее с двумя

предшественницами — Настой Новиковой и Марилей Пигулевской, — отдавали преимущество первым: те и ростом взяли и с лица были красивее. Это было дурным предзнаменованием для бедной Еуфемии Погосской, как значилось в письме ее имя, с которой, как скоро оказалось, отношения моего дядюшки зашли слишком далеко.

— Якое ж тэта імя Яўхемія? — спросила бабушка.

— Па-нашаму значытца Хімачка! — упростила на свой лад это классическое имя моя матушка. В этом упрощении и тоне, которым оно было произнесено, было что-то уничижительное, что, в свою очередь, не обещало хорошего приема новой избраннице со стороны ближайших родичей.

— Но... калі там яшчэ што будзіць...

Матушка, видимо, не прощала своему любимцу двух заведомых измен. Бабушка всегда стояла за привычную Насту, — всем ведомую и обаятельную. От добра добра не ищут.

Но вскоре и совершенно неожиданно разразилась катастрофа с увольнением отца, которая отодвинула на задний план эти романтические повадки моего дядюшки. Материальной почвы под ногами не было, в скорое приискание нового места мать не верила, а в городе «все с гроша», и потому она настаивала на возврате домой: там хоть угол свой, а здесь, не пивши, не евши, заплати 4 или 5 руб. в месяц за квартиру, да и дрова дороги. Там придет весна, засеем огород, так хоть огороднина будет. И мы стали поспешно собираться в дорогу. Так как чугунка уже пошла, то решили ехать до Борисова по железной дороге, а там можно найти попутные подводы. Лишнее продали за бесценок, а необходимое разбили на две части: что в багаж, а что с собою в вагон. Все это было соображено и рассчитано: билет стоил 93 коп. и с багажа один пуд скидки на билет, которых у нас было 3 или 4.

Посадка носила трагикомический характер: бабушка — как увидела подходящий к станции поезд, растянувшийся длинной извивающейся лентой с паровозом во главе, дышущим огнем и дымом, с пронзительным свистом, стала креститься и кричать: «Змей, змей! Божа мой,— гэта змей!» и отказывалась ехать на этом сказочном существе, которое фигурировало в ее сказках под именем Змея Горыновича, но, ко-

нечно, в не столь страшном образе. Нужно было ее убеждать и принуждать сесть в вагон. Мы хотя еще и не езжали в новой выдумке изобретательного ума, но уже были достаточно осведомлены, что это не так опасно для умеющих.

Но тут не зевай! Живо сели в вагон и бабушку водворили. Крестилась она, бедная, крестилась, молилась она, молилась, особенно когда двинулся поезд, загромыхали колеса и нам навстречу побежали дома, столбы и деревья, — явление чудесное, никогда раньше не испытанное. Не одна бабушка крестилась и боялась «наглой» смерти без покаяния: крестились и молились многие. Только я с Магдаленкой были беззаботны насчет своей участи и не отходили от окна, созерцая невиданные и чудесные явления. Сколько тут было радостей и восклицаний! Бабушка вскоре тоже успокоилась и даже стала похвалять удобства нового передвижения: сидишь себе, как в доме, железная печка пылает — тепло! Вагонишки были низенькие, тряские, скрипучие и дымные, но что это значит по сравнению с зимней дорогой, которую она сделала в санях. А главное — скоро: 3—4 часа, и вот уже Борисов! Чудеса, да и только!

В Борисове мы наняли извозчиков попроще в город и остановились в трактире, где пили чай и закусывали. Здесь встретил я старых холопеничских знакомцев — Андрюшку и Емельяна, сыновей бондаря, которые нищенствовали, будучи оборванными и в лаптях с торбочками за плечами, а отец их, хороший мастер, ходил на костылях: сломал себе ноги при падении с крыши. Не повезло бедным в городе, как и многим другим из бывшей дворни. Была у них сестра Наталка, рослая и красивая девушка; про нее говорили: «Пашла па дурной дарозі». А много ли хороших дорог для Наталок? И где они пролегают? «Одной прислугой» к холостякам?

Мы приехали в Борисов весьма удачно — в день базарный, так что живо разыскали две обратных подводы и наняли их по дешевой цене до Холопенич, и в тот же день выехали по весенней, но еще хорошей дороге.

К утру мы были уже в «бабиной хате». Какой она мне показалась родной и милой, после скитаний по чужим углам, хотя и более светлым и чистым, но холодным и ничего не говорящим. А тут все жило и все говорило.

Встретила нас тетка Марыля, бледная и худая, с дочкой Федонькой, ровесницей Павлинки.

Но кто всех больше радовался нашему (собственно, моему) приезду, так это Юзик: он был в таком восторге, который всего правильнее назвать безумным. Он меня и целовал, и ласкал, и говорил без умолку разный милый вздор, и не знал, куда меня девать.

Вскоре из бабиной хаты мы водворились в свою, опустелую, предварительно обогрев ее. Но в первую ночь отец и мать так угорели в ней, что едва не лишились жизни, особенно отец, который уже был в бессознательном состоянии.

Потом вновь начались для нас тяжелые годы восстановления разрушенного хозяйства.

Но я опоздал с последним этапом истории тетки Марыли и Федоньки. Тяжелая эта история, но рассказать ее надо.

Началась она до нашего отъезда в Минск в конце 60-х годов, приблизительно в 69-м. Появился в канцелярии станового новый письмоводитель с титлом «сакратар» и с кокардой на фуражке, по фамилии Лебедев, — человек уже пожилой, лет под 40.

Он нуждался в стирке белья, а тетка Марыля, вообще большая искусница в разных работах, умела хорошо стирать и гладить. С этого и началось. Она ходила в маленькую Петрову хатку, в которой жил Лебедев, за грязным бельем и относила чистое. В этом все дело. Было замечено, что тетка Марыля не только белье стирает, но и комнату прибирает, и полы моет, и самовары ставит и, что еще хуже, чай с Лебедевым пьет. Песни тетка Марыля стала распевать по-прежнему, как в молодости и во времена русокудрявого дьячка Хруцкого. И в лице румянец выступил, и одеваться стала почище. Баба Рузаля почуяла недоброе и вместе с моей матушкой стали Марылю остерегать — как бы беды не вышло. Оказалось, что уже поздно. Он клялся и присягал, что женится. И за бумагами послал, и в мясоед вясельля будзе.

Новое горе охватило бабу Рузалю.

— Каб ён столькі на свеці жыў, як ён жэнітца! Абманшчык, звадыяш! Чаму ж ён раней, да грэха не жаніўся? Чы ж так добрые людзі робяць? І ты — сука паганая! Не маленькая — павінна знаць — чым тэта канчаетца.

Но тетка Марыля ответила на укоризны:

— Праўда, што я не маленькая і знала, што рабіла. Ён жэнітца, ён кляўся і прысягаўся. Толькі не мешайце мне. Раз памешалі, дык другі не мешайце.

Это было несправедливо: разве баба мешала выйти замуж за Хруцкого?

Но пришел и мясоед, а бумаг все нет да нет. Куда-то далеко надо писать, — в консисторию, что ли. Между тем тетка Марыля юбки стала распускать в поясе. Повторилась старая история: Лебедев стал столоваться у пани Хруцкой! Это был зловещий знак. А вслед за тем переселился в другую квартиру, побольше и получше. Сначала это объяснялось в хорошую сторону (значит, — готовился к свадьбе), но в то же время он стал белье отдавать в стирку Марьянце-солдатке. Был разговор, т. е. объяснение, и произошла ссора. Тетка Марыля пришла домой в слезах и, запершись в каморке, долго плакала.

Видимо, она убедилась, что дело не в бумагах.

— Гэто ўсё іна, подлая, падстроіла (разумелась пани Хруцкая)! Каб ей дабра не было ні на гэтым, ні на тым свеці! Іна цяпер смяетца! Каб іна сардэчным смехам сміялася! Каб ей мае слёзы каменьнем на сэрца палі! Ведзьма кіевьская!...

И много проклятий было послано на голову пани Хруцкой. И это было не раз и не два.

Соседка Анця Кутоўская, большая сплетница, подслужилася пани Хруцкой и не замедлила передавать ей, как абражаная Марыля Рузалина ее честит и чем попрекает.

Пани Хруцкая обид не прощала. Когда тетка Марыля шла мимо, пани позвала ее сказать нечто по секрету.

И зачем она, злосчастная, шла? Что она могла сказать ей? Это была ловушка. Заперев дверь, она прошла с ней в заднюю комнату и, схватив со стены сыромятную узду с железными «цуглямі» (мундштуком), стала ее бить по чем попало. Та растерялась от неожиданности и только металась, ища выхода. Зверски пани избила бедную Марылю. Она вошла в хату, не помня себя, бессмысленно водила глазами и истерически всхлипывала. Лицо бледное, как у мертвеца, и из носу кровь текла. В хате были только я да баба Рузаля.

— Дзетачка моя! — крикнула она. — Што ж тэта з табою? Хто ж тэта з табой зрабіў?

Тетка Марыля, ничего не говоря, села на скрыню, закрыла лицо руками, скорчилась у клубочэк и вздрагивала плечами.

Бабушка около нее суетилась, стонала и причитала. Стала обмывать ей лицо.

— Выпей вадзіцы, скажы — хто цябе так? — Тетка дрожала, глубоко всхлипывала, а когда стала пить — зубы стучали о края кружки.

Баба ее обмыла, смочила голову, где была запекшаяся кровь в волосах, и уложила ее в постель, а меня послала за матерью.

Пришла встревоженная мать, а тетка все еще лежала в истерике, но мало-помалу всхлипыванья становились менее глубоки, и она стала приходить в себя.

Наконец, она сказала: «Хруцкая біла», и залилася слезами.

Когда спустили ей рубашку, то оказалось — все тело в синяках.

И мать, и бабушка стонали над ней, как горлицы, причитая.

Ни отца, ни дяди Онуфрия не было в Холопеничах. А впрочем, если бы они были, то что могли бы они сделать? Штука в том, что, при тогдашних порядках, ничего нельзя было сделать. Куда и кому жаловаться? В волостной суд? — пани Хруцкая ему неподсудна. Становому? — одна рука, да и не его это дело. Если бы паню Хруцкую так избили, он бы вмешался и даже с превышением власти, объем которой никому не был известен. Вероятно, были другие инстанции, вроде земского суда, но нам они были неизвестны. И жалуйся, не жалуйся — вообще из этого ничего бы не вышло.

Мирового суда, в который и паню Хруцкую можно было притянуть, еще не было. Да и дело было без свидетелей.

Пани Хруцкая все это великолепно учитывала.

— Нехай ей Бог атдась! — Это была единственная инстанция, куда баба Рузаля и тетка Марыля направляли свои стоны, свои вздохи.

Обычно в крестьянстве держатся правила, подсказанного самой жизнью: бьют тебя — бей и ты, сколько можешь.

И в большинстве случаев на том дело и кончается. Мне очень было жаль: отчего тетка Марыля не била, чем могла, проклятую паню Хруцкую?

Э-хе-хе!..

Так печально допелась песня тетки Марыли! А когда-то — бойкая, веселая, жизнерадостная — она иные песни певала.

Вскоре после этой жестокой расправы она родила девочку Федоню, — Лебедишкой ее прозывали. Хорошая была девочка, весьма похожая на мать, и баба Рузаля к ней очень привязалась, заменяя ей мать. Ибо тетка Марыля, опозоренная и потрясенная, не могла оправиться. После родов она таяла, как свечка, почти не вставала с постели: развивалась чахотка, которая мало-помалу ее подточила и доконала. После длительной агонии умерла она в 1873 году весной, имея около 32—33-х лет от роду.

Федоня оставалась на руках бабушки в круглом сиротстве. Развитая не по летам, а может быть, оттого, что детство ее проходило около умирающей матери и бабушки, она производила впечатление маленькой старушки. В ней не было веселости и игривости, свойственных детскому возрасту. Она редко сходилась с детьми и редко участвовала в детских играх. Она постоянно держалась за бабу Рузалю, как свою опору: куда баба, туда и она. Ко всему она относилась вдумчиво и с недетским пониманием, говорила связно и весьма рассудительно. Это называлось у нас «прастарэкавацьь», т. е. подражать старикам, и она производила несколько комичное впечатление не по возрасту зрелыми мыслями. Баба Рузаля скончалась, по-видимому, в 1877 году, когда мы были в Минске, и Федоню взял к себе на воспитание Холопеничский священник Василий Лисицкий, который вскоре переехал в другой приход, взяв с собой и Федоню. Она уже давно приучена была исполнять домашние работы и здесь занималась этим делом. Пошла зимой полоскать на речку белье, простудилась и умерла 11 лет от роду. Безотрадна была ее коротенькая жизнь и так же печальна, как конец ее матери. Бедные, бедные — и мать, и дочь, и бедная баба Рузаля, которая на старости пережила такую «плягу», — столь печальную историю.

Пока она переживала это тяжкое испытание, судьба готовила ей новое, тоже достаточно тяжелое. Осенью (1872) получилось письмо от дяди Онуфрия из Житомира, в котором он извещал, что шлет свою невесту в бабину хату и просит ее принять по-родственному, — ту самую, о которой он писал в Минск витиеватое письмо и посылал карточку для первого знакомства. Действительно, к Рождеству подъехала к бабиной хате еврейская подвода, из которой не без труда вылезла небольшого роста паненка, настоящая паненка, как следует быть: в меховой шапочке, повязанной сверху шерстяным платком, в солопчике с хорошим меховым воротником и в теплых калёшах и на ногах у нее было хорошее ватное одеяло.

Это и была Еуфемия Погосска, которую мы не называли простовато Химой, Химкой или Химочкой, а более облагороженно Фэмой.

Когда она разделась, на ней оказались прюнелевые башмачки, шерстяная юбка со сборками в несколько рядов, — правда, помятая и не совсем подходящая для дороги, но зато рассчитанная на эффект первой встречи: в ушах золотые сережки, на груди брошка, а на руке «брансолетка»[225] и перстни. Когда потребовалось справиться — сколько времени, то оказались маленькие часики (серебряные) на черненьком шнурочке. Все как следует быть, как у хороших панов: муфта, рукавички и все прочее.

Как вошла, покраснелая, не то от мороза, не то от смущения, как разделась, так и защебетала, как ласточка, по-польски, и все щебетала без умолку, — скрыню и чемоданы раскрывала: щебетала, гостинцы вынимала и раздавала — щебетала, перепархивая, как мотылек с цветка на цветок, так она прыгала с одного неоконченного на другое, которое тоже не кончала, и хваталась за третье, а там за четвертое и так без конца. Тут был и Житомир, и его костелы, и паны Залэнские (о, это важный пан, настоящий магнат, каких теперь мало!), и прощание с Онуфрием, и как они плакали, прощаясь, и дорожные приключения, и какие купцы (шейне-морейне) ехали с ней в одном балаголе, и где балаголы менялись и как вновь подсаживались другие, и какие дорожные разговоры велись, и какие шутки шутили, и как эти шутки ее смешили, и как

она боялась и Матце Боской молилась, чтобы это не случилось раньше времени (что будешь делать в дороге в мужской компании?) и как все благополучно окончилось, и — вот она среди своих. Бабушку она называла «моя мама», матушку и тетку Марылю «моя сёстро», — обращалась к ним сердечно и проникновенно, с певучестью в голосе, выразила участие по поводу болезни сестры Марыли и часто смеялась по разным пустякам.

Чтобы этот щебет и порханье, как синичка по сучьям, и заливистый смех, едва ли естественный, предстали в настоящем свете, надо их брать не изолированно, а в реальной обстановке, где происходило это первое знакомство с новой родней.

Прежде всего — приземистая, сильно осунувшаяся, обмазанная по пазам глиной бабина хата; промерзлая и обледенелая дверь в холодные сени, из которых, при открывании дверей, несло холодом снизу и валил белый пар из избы сверху; промерзлые окна без двойных рам, то тающие, то вновь обмерзающие, дававшие так мало света, ибо на стеклах в палец толщиной наслаивалось снегу; местами продырявленный пол и потолок, настолько снизившийся, что я, 10-летний мальчик, подпрыгнув, мог коснуться рукой поперечной балки. Ну, и все прочее под стать.

Сопоставив характер новой гостьи с обстановкой, вы получаете кричащий контраст, — и в этом уже был зародыш ее и нашей трагедии, которая сразу чувствовалась, хотя, может быть, и не отлилась в сознательные формы. Бывают отбившиеся от стаи ласточки, которых застигает осенняя стужа и бескормица (воздух пуст, нет насекомых!), они быстро коченеют, они беспомощны, и в беспомощности становятся легкой добычей кошек и других маленьких хищников. Куда ты, ласточка, попала в зимний холод? И зачем ты отстала от своей стаи? Тут климат суровый, не то, что в Нильской долине!

Теперь спрашивается: как встретила эту щебетунью и попрыгунью ее новая родня? Надо сказать: со всем возможным радушием. Было сделано все, чтобы контраст не был столь кричащим. С ней говорили весьма приветливо, в сердечных и предупредительных тонах. Баба Рузаля принялась

стряпать угощения, и хотя был Филиппов пост, зажарила колбасу на сале; Юзик живо сбегал за самоваром к Котляру, у которого был лишний и, стало быть, мог быть длительно употребляем, мы вдвоем усердно дули в самовар и живо его согрели, ясно представляя, что паненке немыслимо без «гэрбаты». Баба отсвежила черствый хлеб, смочив его водой и поставив в горячую печь. Накрыли стол чистой скатертью, и баба Рузаля с матушкой принялась угощать свою гостью «с прымусом», как это полагается с дорогими гостями на хресьбинах или весельли.

Тем временем мы с Юзиком опростали кровать больной тетки Марыли, стоявшую на лучшем месте, выдворив тетку для постоянного пребывания на лежанку. Сенник горой набили свежим сеном, а гостья, закусивши и попивши гэрбаты, сама принялась добывать из скрыни наволочки и престирадла (простыни) и сделала себе пышную постель, «как в хороших домах». Мы же произвели, необходимые перестановки вещей, чтобы дать приличное место для скрыни нашей гости. Мы ее поставили там, где много раз стояла скрыня дядины Насты!

Все шло хорошо и радушно. Но надолго ли хватит этих добрых чувств — вот вопрос, который пока никто себе не ставил.

Весть скоро разнеслась, что приехала Рузалина невестка в салёпи и пр., и соседи с какой-нибудь наскоро придуманной нуждой стали являться в бабину хату, чтобы посмотреть на новую жилицу, рассматривали ее пристально и бесцеремонно, чтобы затем поделиться своими впечатлениями со всеми — кому это будет интересно.

А гостья все щебетала без умолку. Подошел отец — и составил ей приличную компанию, поддерживая, с ловкостью и развязностию городского кавалера, легкий и отчасти игривый разговор на польском языке. Все шло по-хорошему, но отец несколько путался в личном обращении, называл ее то паненка, то пани. Эта неопределенность вытекала из ее двусмысленного положения: дядя Онуфрий пока что не счел нужным обвенчаться. Обвенчайся он, так была бы форменная пани. А так не ведомо что: ни то пани (приехала родить, а это приличествует паням), ни то паненка (ведь незамужняя, еще «немэнжатка»). Но это скоро обошлось, и он перешел на пани,

как и мы все вслед за ним, хотя это могло считаться лестью, вроде того, как девушку назвать молодушкой.

Вскоре мы узнали много самых разнообразных вещей. Она шляхтянка и не какая-нибудь фальшивая, каких ныне много, а настоящая, гербовая, и в удостоверение показала печать, на которой, правда, герба не было, но была корона (это очень важно) и две польские буквы E и P, что значит Еуфемия Погосска.

Ей, как шляхтянке, неприлично быть прислугой, и потому она была сначала панной гардерубной, а потом панной аптечковой. Когда гостей не бывало, то ее паньство Залэнские сажали за один стол; ну, а как гости, когда всем было бы тесно за одним столом, то она и другие панны ели отдельно, но не на кухне.

Оказалось, что она читает не только по-польски, но, как приличествует гербовой шляхтянке, читает по-французски и по-немецки. В удостоверение чего она вынула книжку в три столбца, которая носила название: «Польско-французско-немецкие разговоры». И очень быстро прочитала один абзац по-польски, потом по-французски, а потом по-немецки. Бабина хата, несомненно, впервые огласилась странными звуками французского и немецкого языков. Мы должны были сознаться, что ровно ничего не понимаем ни по-французски, ни по-немецки. А она прочитает по-польски — и все понимает. Правду сказать, она несколько излишне щеголяла (может быть, и не совсем прилично в бабиной хате) своим уменьем читать по-французски и по-немецки. Насколько она понимала без польского столбца — это трудно сказать, но мы слушали не без удивления и не вдавались в критику. Так как она часто демонстрировала свое уменье читать на иностранных языках, то вскоре баба Рузаля в таких случаях неприлично зевала, да и я с Юзиком, в конце концов, были довольно невнимательными слушателями того, как по-французски звучит: какая сегодня погода? или: возьмите свой дождевой зонтик.

Но мы все же дольше всех выдерживали этот искус.

Родить она должна была скоро: через месяц, не более, выходят сроки. Мы тут же узнали: как это случилось.

Дело в том, что Онуфрий был влюблен в нее страстно. Но она была еще совсем молода, невинентек, и ничего этого не знала. Она была неприступна, и это его крайне огорчало, и он грозил, что наложит на себя руки. Потом пошел на хитрость: незаметно пробуравил дырочку в двери против крючка в ее покойку. И ночью, когда она крепко спала, отбросил крючок, вошел и запер дверь. Она очень испугалась, вскрикнула, но он зажал ей рот. Что тут было делать? Ніц не зробіш!

Потом дырочка в двери была искусно заделана: в ней уже не было надобности.

И вот, в результате этой, скажем прямо, гнусной проделки бедная девочка (ей было 18 лет), довольно легкомысленная и глупенькая (и это надо сказать), очутилась в неприглядной обстановке бабиной хаты, — хаты требовательной и суровой, к которой она вовсе не подходила, и очутилась с неопределенным титлом: не то пани, не то паненки.

Эта неопределенность была чревата многими тяжкими последствиями, которые не замедлили обозначиться.

Прошла неделя-другая радушного и внимательного отношения — и грубая, суровая действительность мало-помалу стала вступать в свои права. С течением времени накопился изрядный запас фактов, требующих критического разбора и оценки.

Что касается внешности, то мы уже видели, что размеры ее лба были признаны выходящими за пределы нормы, соответствующей строгому белорусскому вкусу: «философский лоб» считался для женщины неподходящим.

Далее, было обнаружено, что, когда она смеется, — то из-под верхней губки, очень мило и задорно вздернутой, выползает кругленькая складочка, как колбаска, слегка раздвоенная; пока что — это миловидности не портило, однако было поставлено в некоторый минус, который, с течением времени, может разрастись в серьезный недостаток. Нос толстоват — тоже было найдено.

Но эти погрешности против эстетики, которые отмечаются, но не имеют решающего значения.

«Фигурка щупленькая», — говорили еще, но это относится к той же категории — эстетических фактов.

— Эх, грудзі — важна тарчаць, як латушэчкі, — говорил Иван Милькин, — вот так бы прылёг, дый насасаўся! Насасаўся!

Это, конечно, относилось к числу достоинств. Но Милька возражала:

— Важнась бальшая! Паднімі нашы гарсэтам — дык і нашы так будуць тарчаць. Нехай выкарміць траіх, абы чацвярых — тады пабачым — якіе яны будуць.

Но это, повторяю, все эстетика, не имеющая решающего значения: так — не лишний придаток ко всему прочему.

Так же было отмечено, что она очень легко и без достаточных причин переходит от болтовни и смеха к слезам, иногда очень горьким, с надрывом, ломаньем рук, с всхлипываньями, и от слез к беспричинному смеху. И этот смех у нее часто идет сквозь слезы и слезы сквозь смех. И чем дольше она жила, тем меньше смеялась и больше плакала. И в слезах проклинала и свою и его долю, и говорила злые, а часто и несправедливые вещи.

Иногда — какое-нибудь безобидное слово бабы Рузали, дурно понятое, выводило ее из себя, и она неистово кричала и долю свою кляла, а опомнившись, целовала руки и просила прощения.

— Бог яе знаець! — дивилась баба Рузаля. — Якаясь-то апантаная (одержимая). Можа быць, аттаго, што іна ў таком палажэньню. Можа быць, пройдзе после родаў?

Нет, оно не прошло и после родов, а скорее усилилось, да и было отчего, как увидим, — усилиться.

Все это относилось к недостаткам характера, болезненно-раздражительного и неуравновешенного, что мы назвали бы истеричностию и притом глубокой истеричностию. Это были дефекты более серьезного и много худшего свойства, чем какая-то колбаска из-под губы, но такие неуравновешенные и вспыльчивые, «поломянки», не редкость; с годами это проходит, — и с этим можно мириться.

Но обнаружилось нечто худшее, с чем в бабиной хате никак нельзя мириться, — обнаружилось, что паненка ни к какой работе, кроме иглы, не приучена, никакого крестьянского дела делать не умеет и по своим маленьким ручкам с тонкой

кожей, и по своим маленьким ножкам в прюнелевых ботиночках, и по всему своему складу — нежному и слабосильному — ни к какому настоящему делу не пригодна. Что она сама нуждается в постоянных услугах вместо того, чтобы другим служить. Это были недостатки, с которыми суровый режим бабиной хаты никак не мог мириться и которых он не прощает.

Это были недостатки из категории продовольственных или экономических, которые, как известно, имеют свои железные законы и простейший из них формулируется кратко: не трудивыйся да не ест! А она пить-есть хочет. Вот тут и трагедия.

Для всех было очевидно, что она — хороша или дурна — не в свою среду попала. Что здесь для нее будет не жизнь, а вечные мучения, и что она, страдая сама, будет и других мучить. И что баба Рузаля, вместо того, чтобы, со входом невестки в дом, получила облегчение на старости лет, наоборот — получила двойную нагрузку: одна дочь лежит безнадежно больной, рядом с ней беспомощная девочка Федоня и еще — на табе ліха! — сынок паненку ўзваліў на старые плечы, совсем калеку, да не одну, а с родами, крестинами и с будущим ребенком. Для одной старухи, разбитой ревматизмами, с четырьмя беспомощными на руках и одной из них, вдобавок, еще претенциозной — это уже слишком, этого уже и конь не повезет.

На этой почве ярче выступали и другие недостатки. Между прочим — крайнее легкомыслие. Считая, что через месяц ей выходит срок родить, она, ребячески склонная всей душой к веселью, пошла на Рождество к Петрывым на вечеринку. Это бы еще ничего. Но она не утерпела и пустилась в пляс, сначала легкий вроде польки и кадрили, а потом, разойдясь и раззадорясь, стала отплясывать казачка, ловко подбивая «голубца» и ни в чем не уступая лучшему танцору.

Старшие подучили мальчишку, который, стоя сзади, выкрикнул:

— Кінь, Фэма, а то рассыпісься! Глядзі, каб чаго не зраніла.

Это был грубоватый намек на ее положение. Особы женского пола говорили:

— Лёгка скакаць! Можа, там ешчо нічога й німа.

Вечеринка ее весьма оживила и развеселила. Идя со мной и в сопровождении Юзика, ее верных пажей, она весело и оживленно болтала.

Но баба Рузаля, которой на счет «голубца» все было донесено, встретила ее строгим выговором, почти бранью, что это стыдно; што ў добрых людзей так не водзіцца; что хорошая женщина в таком положении плясать не должна.

Она стояла смущенная, как нашалившая школьница, и, как школьница, говорила:

— Мамочка, я ж не могла; мамочка, даруй, я ж трошэчкі, я ж паціхутку! — Т. е., что она не могла удержаться, (это верно: ее подмывало), что она плясала чуть-чуть и полегоньку.

Оказалось, что расчеты были не совсем точны: прошел месяц — «сроки» еще не наступили. Отложили еще на месяц — тоже нет ничего. Прождала еще месяц — тоже ничего, хотя все уже было готово к свершению этого события. Как-то под конец великого поста, помимо всяких сроков, роды наступили. И тяжелые были роды — баба Рузаля и дядина Юлька измучились вконец: ее и водили, и клали, и сажали, и спину растирали — пока, измученная, истерзанная — она родила дочку, которую назвали Марией, а звали Маней.

Тут уж паненка, почти по праву, стала паней.

Кровать, как следует, завесили пологом, привесили зыбку, справили радзіны і хрэсьбіны, не больно гучные, но приличные. Кумы были так — из средненьких. А мать с неделю выдержали в постели, но лежала она неохотно и склонна была шалить: когда баба уходила в каморку или в клеть, она шалила, становилась на колени, высовывала язычок, показывала длинный нос и корчила гримаски, упражняясь во французско-польских разговорах и напевала вполголоса игривые польские песенки. А когда баба появлялась, она ныряла под одеяло и делала серьезное лицо.

Это, конечно, была радость материнства, которую она выражала, как умела! Может быть, радость освобождения от мук, которые над ней тяготели, разразились и, наконец, прошли? Меня эти шалости смущали, как не соответствующие ее положению. Кормя ребенка грудью, она много чего

ему щебетала, называя его нежными именами, как девочки щебечут, играя с куклами: «Цурэчка моя, дзецко мое, малютке...». И очень мило напевала ей колыбельные песни: «Вляз котэк на плотэк і мрука» и многие другие, которые выливаются из материнского сердца на всех языках. Девочка была беспокойной и плаксивой, и тогда мать терялась, впадая в «роспач», в отчаяние, плакала, ломала руки, боясь, что она криком повредит себе что-нибудь, особенно боясь: не накричала бы она себе грыжи.

Опытные и сдержанные ее успокаивали, что ничего, мол, не случится: на то и ребенок, чтобы кричал. Ободряемая, она несколько успокаивалась и, когда ребенок спокойно спал, приходила в веселое настроение и принималась стирать пеленки, делая это простое дело, по мнению бабушки и тетки Марыли, плохо и неумело: оставались кое-где желтенькие пятна.

Может быть, короткие радости материнства были самым светлым периодом в жизни несчастной Фэмы. Но где радости, там и страдания. Хорошо — если они чередуются равномерно. Но часто случается так, что радости только проблески, — проблески в сплошной тьме страданий.

Такая полоса надвигалась на голову бедной Фэмы.

К Пасхе приехал дядя Онуфрий. Но не заехал к себе, как бы следовало, а приехал прямо «в нашу хату». Это было дурным знаком. Приехал он ночью, так что у бабы никто не знал о его приезде. Матушка занялась стряпней, чтобы его подкормить с дороги, и когда он стал закусывать, беседуя с отцом, матушка принялась его отчитывать за неудачный выбор невесты. «Гдзе твае вочы былі? На што ты пазарыўся? Чы ж нічога лепшага ня мог сабе найці? На што нам яе шляхэтства, калі яна нічога рабіць ня ўмея? Сама каля сябе ня можа акапотца, — хто ж тады будзе дзяцей гадаваць і гаспадарку вясці? Матка старая, ужэ ня здужае. Марыля хворая ляжыць і ўжэ не жылец на гэтым свеці, а ты паню ў хату прысылаеш! Чымсі другім паслужыць, дык іна сама паслугі патрабуе. Як жа тэта будзе? Як іна з дзецьмі жыць будзе?»

Такими и подобными вескими укоризнами матушка разразилась. Обычная ее доброта и снисходительность к человеческим слабостям ее на сей раз оставили: любовь к старухе-

матери и брату заслонили ее другие добрые чувства. Конечно, то, что она говорила, была сущая правда. Конечно — ее укоры не означали: брось ее — возьми другую. Этого, я уверен, у нее и в мыслях не было. В этом я уверен — по ее позднейшему осуждению поступков брата по отношению к Фэме. Дело сделано, — и грех надо прикрыть, — так надо формулировать ее основное мнение. Того же мнения держалась и баба Рузаля. Но они не могли не сожалеть, что так это случилось, когда могло бы случиться и иначе. Ошибка была в том, что не высказывали, когда с их точки зрения дело уже было непоправимым.

Между прочим, и отец поддерживал укоризны матери.

Дядя Онуфрий прибег к своей обычной тактике в щекотливых вопросах: он молчал, как убитый. Не выронил ни одного слова.

Утром стало известно, что Онуфрий приехал. И Фэма тотчас же прибежала. Она бросилась к нему на шею с нежными словами: «Сэрцэ мое! Слонэчко мое! Муй едыны, муй коханы!» И залилася слезами. «Коханы» и «едыны» отнесся к этим излияниям сдержанно и холодно, пожалуй, с холодностью статуи, что, конечно, добра не предвещало. Он сказал несколько успокоительных слов — тем и ограничился. Он сходил посмотреть ребенка, роздал привезенные гостинцы, посидел за столом и ушел к нам, где и обосновался, под тем предлогом, что в бабиной хате тесно. И жил у нас до тех пор, пока не поступил у двор на службу к Вилькенам.

Служил он здесь около года. Изредка приходил домой, играл с ребенком, а с остальными был сдержан и в беседы не пускался. Денег на прожиток он давал и кое о чем заботился по дому. Жизнь Фэмы шла печально: она либо нянчилась с девочкой, «танянехала» и ласкала ее, либо плакала. Ее милая болтовня, щебетанье, чем дальше, тем больше иссякали. Иногда она ходила в усадьбу, но, видимо, там ее плохо «привечали».

Девочка росла прелестная, больше похожая на мать, чем на отца, с нежными чертами лица и красивыми глазками под длинными ресницами. Как это часто случалось в нашей семье, она рано говорить стала. Но была худенькой и бледной, весьма

чувствительной и склонной к заливистому истерическому плачу. В этом она всецело напоминала мать. Дядя Онуфрий привязывался к ней и входил в ее воспитание, которое шло не ровно, но довольно сносно.

В это время тетка Марыля скончалась, и с ней многое ушло из бабиной хаты. Когда-то она ее наполняла песнями, плясками и весельем. Тоскливо стало в бабиной хате. Баба с Фэмой жили не в ладах и часто между ними возникали ссоры: слишком различны были натуры и слишком много горя было на сердце у той и у другой. Две девочки были теми светлыми лучами, которые освещали скорбные дни и старухи, и молодухи.

Сиротка Федоня была крепкой девочкой и уже качала в зыбке сестренку, а Маня была слабоватой. К году она чем-то захворала, и во время болезни с ней случился конвульсивный припадок. Это объясняли состоянием желудка, припадок прошел, и девочка выздоровела.

Между тем над ее бедной головкой и над ее матерью собиралась новая туча.

В имение часто наезжали гости из Зазерицы — средняя дочь Вильkенши с мужем, мировым посредником Сазоновым, с горничной Машей. Это была молодая красивая девушка из местных крестьянок, имевшая за собой историю вроде истории Фэмы: ее соблазнил смазливый лакей тех же Сазоновых. Родила она мальчика в подвале, по ее словам — родила его мертвого и там же закопала. Возникло дело о детоубийстве. Трупик вскрывали, и врач нашел, что ребенок родился живым и жил несколько минут после рождения. В это время Маша состояла под следствием: дело было еще не окончено.

Неизвестно — пленился ли дядька Онуфрий прелестями Маши, и в этом было все дело — или хотел покрыть ее грех вместо своего (есть такой юридический предрассудок в народе, что в случае женитьбы на детоубийце, с нее наказание снимается), или, может быть, — то и другое вместе, но он в Зазерице обвенчался с Машей, поставив таким образом Фэму пред совершившимся фактом: место занято, оставь всякую надежду.

Что сделалось с ней при этом известии, легко себе представить, но трудно изобразить. Сколько было слез, причитаний, проклятий и ломаний рук. Баба Рузаля и моя матушка тоже над ней плакали. Они осуждали поступок дяди, но также были неожиданно поставлены пред совершившимся фактом, из которого нет исхода. Ясно, что для Фэмы никаких иллюзий не оставлено: все кончено. Продолжай свою жизнь, как знаешь и как умеешь. Ребенка дядька оставляет себе, а ей дорога открыта на все четыре стороны. Дело было вопиющим и обида кровной. Но пришлось мириться с злосчастной судьбой. Фэма еще пожила некоторое время в бабиной хате, а потом, приискав себе место в Свяде под Докшицами, уехала туда на службу швеей (панна гордэрубна) или горничной, или чем-то вроде этого, оставив маленькую Маню на попечение бабушки.

Вслед за тем на ее место водворилась в бабиной хате дядина Маша, в качестве законной и полновластной хозяйки, поставив свою скрыню, где в свое время стояли скрыни экс-дядины Насты и Фэмы.

С последней много лет спустя, в конце 80-х годов или начале 90-х, мне пришлось встречаться в Минске, когда я там учительствовал. Она как-то узнала об этом и пришла ко мне и моим сестрам, Магдалене и Павлине, ее помнившим.

Памятуя ее горькую обиду, встретили мы ее приветливо. Она уже сильно постарела и подурнела, сквозь черное гладкое платьице худоба проглядывала. По уголкам рта, где улыбка гнездилась, обозначились морщинки, и ямочки на щеках выглядели впадинами. Некрасна была ее жизнь. В Свяде, по слухам, был у нее новый роман, который кончился вничью, а теперь она добывала хлеб свой нелегким трудом швеи по домам. О прошлом мы мало вспоминали, ибо печальные это были воспоминания. Ни Мани, ни бабы Рузали, ни моей матери, ни дядьки Онуфрия, виновника ее одиночества и оброшенности, уже не было в живых. Все смерти да смерти... Думаю, что не долго и она прожила, скитаясь по чужим домам и угождая требовательным и придирчивым вкусам разных барынь, но скоро я уехал из Минска и следы этой жертвы двойного лекомыслия и бессердечного сластолюбия были мной потеряны.

Жаль бедную Фэму. А сколько их — этих Фэм и Химочек пущено по свету?

Дядина Маша, — уже прочная, законная дядина, — была особой другого сорта. Прежде всего — это была женщина с характером: твердая и последовательная в своих словах и поступках. Рассердившись за что-нибудь на бабу Рузалю, с которой, впрочем, ей пришлось жить недолго, или на дядю Онуфрия, она по целым неделям и даже месяцам не говорила ни слова, т. е. боролась тем же оружием, в котором так силен был дядя Онуфрий. «Палымянка, злосніца», — говорила про нее баба Рузаля. Но она не была по натуре злой или, вернее, была зла в меру. Характер ее был довольно ровным, уравновешенным — этим она весьма выгодно отличалась от Фэмы. Никаких экцессов за ней не замечалось. Бойкая, разбитная и веселая, когда была в хорошем настроении, остроумная и меткая на язык, а главное — хорошая работница. Она умела всякую крестьянскую работу, работала не лениво, и по части работы более деликатного порядка, как кройка, шитье, стирка белья и глаженье — была умелой. Если прибавить к тому, что она была и стройной, и миловидной, то ясно, что она имела все преимущества пред неумелой, слабосильной и крайне неуравновешенной Фэмой. С этой стороны выбор дяди трудно было опорочить: в дом вошла хорошая работница и хозяйка, которая умела за себя постоять.

Но могла ли она заменить мать девочке Мане? Едва ли она об этом и помышляла. Мачехой она не была злой — это ничем не выразилось, — но не была и доброй матерью. Несомненно, она предпочла бы, чтобы не было этого чужеядного нароста на ее будущей семье, но с этим мирилась. Впрочем, девочка была на руках «бабуні» и к ней льнула.

Мачеху же свою ненавидела всеми силенками своей маленькой души и всеми способами демонстрировала эту свою ненависть. Скороспелая не по времени, как и многие болезненно-развитые дети, она в полтора года бойко говорила по-польски. Странное дело — кругом звучала белорусская речь, но она стойко держалась речи материнской и на все обращения отвечала только по-польски. Она великолепно чувствовала — кто на ее стороне в войне с мачехой. Она с ней лукавила

и лицемерила. Если приходил мой отец, который любил с ней играть и болтать, или матушка, Юзик или я, она, улучив минутку, когда мачеха отворачивалась, грозила ей в спину кулачонками, делала «длинный нос» и корчила пресмешные и разнообразные гримасы (личико у нее было очень подвижное и выразительное) и шептала: «Пшеклента мацоха! Нех це вшыстке дзьяблі вэзмо! Яно обжыдліся!... Ідзь до ліха!».

Но если мачеха оборачивалась, она моментально делала умильную рожицу и говорила: «Мамуню, я ніц не мувіла! Я цебе не лаяла!»

Но стоило мачехе отвернуться — комедия начиналась снова — опять гримасы и жесты и снова проклятия.

Девочка прожила недолго — не больше двух лет. Какая-то болезнь, снова конвульсивный припадок, может быть, менингит на туберкулезной почве, — и маленькая Маня скончалась, — отцвел без поры этот бледный цветочек.

Дядя Онуфрий, работавший в это время в буфете на станции Борисов, очень горевал, узнав о смерти дочки. Приехав, он обвинял домашних в плохом досмотре и плохом лечении. Лечение, конечно, было плохое, но и хорошее едва ли поправило бы дело. Снесли маленькую актрису под березы к могилам ее предков.

Так печально кончилась житомирская дядина авантюра. Много она принесла горя и слез.

В утешение Онуфрия и бабы Рузали, вскоре дядина Маша родила сына, которого назвали Самуилом, а звали мы его Сымкой.

Дядя Онуфрий после того редко появлялся дома, — в качестве обреченного отходчика он больше жил в городах, главным образом, в Гомеле. Впрочем, года за два до смерти вернулся домой, где я его застал по окончании учительской семинарии и провел у него каникулы до назначения на место. Но это было в 82-м году, а до этого времени много воды утекло и много чего мне и моим близким пережить пришлось. Это еще долгая, весьма долгая песня и, чтобы схватить ее начало, надо вернуться на 10 лет назад, к возврату нашему из Минска. Очень скоро по возврате родилась моя сестра Машутка. Если я не ошибаюсь, это было 5 февраля 1872 года

в бабиной хате, где много детей родилось. Крестили ее, как и Павлинку, во Мхерине. Кумы были самые демократические: Иван Милькин, т. е. Шинкевич и Праксэда Петрава, Голованиха. Решено было не вести свойство с панами, которые обычно разлетались в разные стороны, а держаться своих, местных, оседлых. Такова была мысль матери.

Я нянчился с Павлиной, и это мне порядочно надоело. А Машутку я всецело взвалил на плечи Магдаленке, которой уже было 8 лет: чем не нянька? И она безропотно несла эту обузу.

Скоро она пойдет и за водой в далекий колодец, и крупу будет толочь, и муку молоть. Все это я с себя, по возможности, сбрасывал.

Я же весной держался лесов и лугов или исполнял работы, так сказать, высшего порядка: я помогал отцу в его работах по устройству хозяйства, еще далеко не налаженного, и в разных его других предприятиях и начинаниях, которые нередко кончались крахом. Словом, он меня приучал к мужскому делу.

Отец, вероятно, рассчитывал найти службу у Вилькеных, которые, правда, жили в усадьбе, но место было занято. Его занимала Анця Кутоўшчынка, которая раньше помогала отцу по кухне и кое-чему научилась, так что могла сойти за кухарку на нетребовательный вкус. А разница в цене была ощутительной: отец требовал не меньше 8 руб., 2 фунта сахару и четверть чаю, а Анця довольствовалась 4 рублями, 2 фунтами сахару и четвертью чаю и помощи не требовала для мытья посуды и чистки кастрюль.

Отец относился презрительно к такого рода стряпне.

— Какая она кухарка! Умеет «рондли» (кастрюли) чистить — и уже кухарка! — Ат, — пэцкаетця там (пачкает)... Так и всякая баба может сойти за кухарку, а то и за повара!

Как там презрительно ни относись, а уже настало время, когда кухарка долженствовала вытеснить повара из частного кухонного обихода. Уже и в это время появлялись в большом числе «кухарки за повара». Пока еще повара уцелели при гостинице, клубе, ресторане, железнодорожном буфете. Старому барству с двумя-тремя поварами пришел конец. Инженеры пришли ему на смену, которые могли держать поваров, но много ли инженеров? И где они?

В Холопеничах отцу места не было, с Анцей трудно было конкурировать, и отец решил использовать незанятое время, чтобы пристроить к дому сараи, ибо до этого мы пользовались хлевами при бабиной хате, которые, из года в год, приходили во все большую и большую ветхость и по частям разбирались на дрова.

В имении было много заброшенных за ненадобностию построек, которые постепенно поступали в продажу на снос. Частию их уже распродал арендатор Концендорф, а затем и Вилькены продавали. Отец облюбовал старую солодовню[226] стоявшую на отшибе, с виду очень ветхую, но помещичьи постройки в старину возводились из отборного леса, и отец, обследовав, увидел, что из нее можно выбрать здоровых бревен на общий сарай, который еще два века проживет.

Купил он солодовню за 27 рублей. Эта была выгодная покупка, которая нам помогла, с грехом пополам, прокормиться целое лето, конечно, приложив немало своего труда. Мы с отцом принялись за разборку солодовни. В тяжелых работах, как подъем и скатывание бревен, иногда нам помогал Юзик, который еще держался нашей хаты, но его постепенно забирала в свои цепкие руки пани Хруцкая, и скоро он пристал к ней, как банный лист к мокрому телу.

Мы сначала принялись за разборку обширной солодовенной печи и кирпичного пола. Кирпич был прекрасный, 9 и 10-фунтовый, хорошо обожженный, и его легко было сбыть, так как в Холопеничах старые кирпичные заводы закрылись и кирпич приходилось доставать издалека. Когда мы разобрали кирпичный пол, побитый и поломанный, то под низом оказался другой кирпичный пол из целешенького кирпича, а у печи глубокий фундамент. Это была целая находка, почти клад. Основательно строились помещики в старину! Кирпич у нас живо расхватали. Продавали мы его по рублю за сотню, и не помню — сколько тысяч его выбрали, но, продав кирпич, мы смогли перевезти весь строевой материал и возвести сараи за счет добротного кирпича, ибо других средств у нас не было: кирпич выручал. Это была выгодная покупка — и сколько помнится — единственно выгодная в жизни моего отца, который, в качестве горячего фантазера, мог создать

увлекательные проекты, расцвечивая их яркими красками, и сам первый увлекся созданиями своей фантазии, но пасовал там, где требовался строгий учет и расчет. Грубая действительность его очень часто безжалостно обманывала, и он недоумевал — как это могло случиться: так все выходило хорошо, гладко, одно с другим сплеталось в непрерывную цепь, и вдруг — какие-то неувязки и разрывы. Это не мешало ему вновь приниматься за построения сказочных замков на березах и рвать груши на вербах. Коммерция этой фантастики не терпит... Но на этот раз ему повезло, и впоследствии, когда матушка оспаривала его затеи, он ссылался на удачную покупку солодовни.

Тщательно выбрав кирпич и рассортировав на целый и полукирпичи, или, по-нашему, на цэглу и паўцагелкі, мы, вооружившись клещами, принялись за разборку крыши. И тут оправдались ожидания: дранка под низом оказалась вся здоровой, и выбрали много гвоздей, — гвоздей кованных, а не машинных: сколько труда на них положили крепостные кузнецы!

И так разобрали обрешетение или «латы», стропила, потолок и балки, бревно за бревном, отбирая здоровые от подгнивших, и весь материал перевозили домой на нанятой подводе и свалили на улице и на огороде, возле будущей стройки.

Отец и два плотника из готовых бревен живо воздвигли обширный сарай с разными отделениями: для дров, для сена, для свиней, для коровы и для лошади, если таковые будут. Крыли мы его с отцом, пустив в ход те же кованные гвозди.

Сарай вышел на славу и даже затмевал своей величиной нашу скромную хату. И еще подгнивших бревен, дранки и прочего осталось на топливо, по крайней мере, на две зимы. Но бревна так отвердели, что с трудом поддавались пиле, а топор их не брал. Потом мы с матерью в две руки, постепенно, по мере надобности, превращали закаменелые бревна в дрова. Жарко они горели в нашей печи!

Теперь отец мог сказать: все готово. Это значило, что семь лет спустя ему удалось восстановить то, что было опрометчиво сбыто бобруйским разореньем. Но все ли? Далеко — нет: сараи стояли пустые. К зиме был куплен подсвинок и пара поросят, которые были обязаны обратиться в подсвин-

ков к следующей зиме, чтобы дать нам «акрасу». Да еще были заведены куры, чтобы не остаться без яйца для яичницы на случай «чужнiка».

Удачный опыт ликвидации солодовни укрепил отца в мысли обходиться без службы по своей профессии, которая, ясно, была связана с постоянным отходничеством, т. е. постоянной жизнью врозь с семьей, которой тяготились обе стороны — и семья, и ее главарь: принималось в расчет и то обстоятельство, что я уже начал обнаруживать признаки своевольства и при отце держал себя совершенно иначе, чем при матери, — что меня надо приучать к делу, которое бы кормило, ибо моя наибольшая наклонность к грамоте вовсе не считалась тем делом, которое может или будет кормить: грамотность считалась делом полезным, но подсобным, при другом деле в руках; иначе она считалась просто своего рода украшением и средством прилично использовать праздничные и вечерние досуги в занимательном чтении. А главный мотив в стремлениях отца прочно осесть на месте заключался в том, что он тяготился зависимым положением служащего, связанным с необходимостью подчиняться чужим распоряжениям, угождать разным вкусам, приноровляться, «потрафлять» разным панам и паням, выслушивать их замечания, иногда нелепые или несправедливые, и при множестве прислуги — жить в атмосфере вечной сплетни и взаимного подсиживанья. С его вспыльчивостью, прямолинейностью, резкостью в суждениях, чувством повышенного достоинства и высокой оценки своей личности, самомнением и неуменьем приспосабливаться и уживаться, — все это было причиной частой перемены мест (служба у архиерея Добрынина, кажется, была самой продолжительной) и искания лучшего, но лучшего обычно не находилось, а худшее — сплошь и рядом. В основе его характера лежало постоянное беспокойство, недовольство своим положением, погоня за чем-то лучшим, которое ему всю жизнь не давалось.

Но пока он решил осесть в Холопеничах, заняться сельским хозяйством, которое он очень ценил в том отношении, что оно давало личную независимость, и вдобавок промышлять чем-либо другим подходящим.

В этих видах он снял у Вилькена около 2-х десятин покоса в бессрочную аренду за 8 рублей. Покосы были неважные, средненькие, но лежали рядом с нашим огородом, так что удобен был присмотр за ними и работы по вырубке кустарника и раскорчевке. [...] Мы это и производили постепенно. И в результате получали до 300 пудов сена ежегодно. Это давало возможность держать лошадь, к чему отец всегда стремился и часто их менял, находя в них разные недостатки, как при покупке и на первых порах их службы находил разные достоинства, а также держать корову, к чему мать всегда стремилась, и это понятно: без коровы не хозяйка.

Аренда покосов была мера разумная, и они оставались в нашем пользовании около 10 лет, вплоть до полной ликвидации хозяйства после смерти матери и распада нашей семьи. Немало они требовали труда, но сено являлось базой, на которой только и можно было строить хозяйство, и когда у нас не было ни коров, ни лошадей, мы его просто продавали, выручая до 50—60 рублей — деньги для Холопенич немалые, при наличии огорода как основной продовольственной базы.

Но отец пошел дальше, чтобы обеспечить хлебом семью, он снял еще 3 дес[ятины] земли по 5 рублей за дес[ятину] неподалеку от нашей хаты, возле еврейского кладбища, на первых порах, в компании с каким-то столяром из Говенович, жившим в 15 верстах от Холопенич, тоже не землевладельцем, как мой отец, и таким же говоруном и фантазером. Это значило — надо заводить сохи и бороны, строить гумно, что отцу казалось делом легким, или же нанимать для вспашки настоящих земледельцев, платя не менее 5 руб. с десятины за одну вспашку и бороньбу. К этому дело и свелось, и хотя отец пробовал пахать, а я бороновать, но для него, неумелого, это было каторжным трудом, при плохой вспашке. Засевали мы одну десятину под рожь и одну под яровое. Первый год в компании, а два года единолично. Но мы были плохими хозяевами, кроме одной матушки, которая была превосходной жнеей. Молотили в чужих гумнах, главным образом, у коваля Старжинского, и я уже шел с цепом при молотьбе в 2 или 3 цепа: при 4 и 5 не попадал в такт, — это труднее. Три года мы возились с этой землей, до нового переезда в Минск. Удобряли

мы ее мало, урожаи были средними или низкими, так что начинание было невыгодным и не имело серьезного значения: сельскими хозяевами мы не стали, тем более, что отец после второго года отлучился на службу в Старый Борисов, одно время работал и в Холопеничах.

Но это было не единственным начинанием отца. В том же 73-м году, когда мы ликвидировали солодовню, он решил устроить кустарный маслобойный заводец. Это дело он знал превосходно, как и пивоваренное, которому учился в свое время, и варил превкусное пиво еще за помещиками и пробовал впоследствии варить разным лицам, напр[имер] писарю Надольскому.

Но для маслобойного завода — для обзаведения и покупки семян — нужны были деньги, а у нас их не было. Он сделал заем под вексель у Яськи Старжинского, кузнеца, который скопил небольшой капиталец службой в депо на станции Борисов, а затем, поняв машинное дело, перешел машинистом на деревообделочный завод в селе Щаврах, — и пускал свои деньги в рост под векселя с достаточным обеспечением имуществом. Занял у него отец 50 руб. из 20 % годовых, сроком на год, с выдачей векселя на 60 рублей. Это был умеренный рост, но доброму знакомству. Это была обуза, с которой нам впоследствии разделаться было нелегко: считать Яська умел и насчитывал проценты на проценты.

Но дело было сделано. Отец купил старую лошадь, что-то рублей за 6, которая, по его характеристике, хотя и стара, но еще здорова, не бойка на бегу, но тяговита: как раз такая, какая нужна для возки кладей. А это-де только ему и надо.

Купили мы телегу — тоже послужившую, но еще здоровую, самую подходящую для возки кладей. И поехали мы с отцом в Бытча, под Старое Борисово, где были обширные дубовые леса, прилежащие к этой огромнейшей латифундии. В пути обнаружилось, что лошадь хотя и везет, шаг за шагом, тяговито, но крайне медленно. Это отца раздражало, но нахлестывания ничего не помогали: лошадь шла, с раздумьем переставляя ногу за ногу. [...]

В Бытче после долгих поисков мы нашли подходящие дубовые колоды у мужиков, не без труда нагрузили большой

воз, что и хорошему коню было бы трудно везти, и поехали вечерком обратно. Конь сначала вез довольно рачительно и деловито, но рассудил, что кладь тяжела, а путь еще далекий, и потому на полпути упорно отказывался идти: стал среди поля и ни с места. Ну и досталось же здесь бедному коню! Отец хватал топор и тут же грозился убить его на месте, а я молил о помиловании. Но и к смерти конь был, по-видимому, равнодушен: все равно один конец! Насилу мы его убедили, подсобляя в гору, дотащиться до ближайшей деревни Подберезья, где пошли на компромисс с упрямым конем, разгрузив воз наполовину и дав кормежку и передышку ему. Тогда он пошел довольно «тяговито», и мы благополучно привезли часть материала домой. За другой частью пришлось ехать вторично.

Как перевезли, отец решил не держать этого старого одра с упорным характером и продал его за 5 рублей, так что нам перевозка обошлась в 1 руб., если не считать кормежки. И тотчас же купил молодую лошадь за 27 руб. с большими, как находил отец, достоинствами внешними: ноги стройные, копыта крепкие, ушми прядет, быстра на бегу и хороша под седло, но, как оказалось, недостаточно тяговита: в хорошем возу и на большом расстоянии потеет и устает. Но это оказалось впоследствии, так что она у нас с год прожила. Много их у нас в разное время водилось — и рысистых, и тяговитых, но долго не засиживались!

Отец пригласил для помощи по обделке колод и устройству маслобойного станка лучшего плотника в Холопеничах, Томаша Гуптора, и с ним принялись за обработку. Отец больше руководил, а выполнял Томаш, ловко владея топором. Он же предлагал и свои проекты по части обработки и приспособлений. На этом они и столкнулись: отец не терпел противоречий, а тот упорно стоял на своем.

— Коли так — убирайся к черту: и без тебя обойдусь!

Томаш ушел тотчас же, с полдня, не получив даже расчета. Отец продолжал работу один, но дело шло туго и не ладилось. И когда Томаш пришел за расчетом, то отец, переломив себя (а это было ему нелегко), пошел на попятный и должен был, извинившись, просить его продолжать работу.

Станок был довольно простого устройства. Его составляли две стоячих дубовых колоды с широкими прорезями посредине. Они были вкопаны в землю в нашей избе, для чего пришлось поднять пол и сделать в половицах вырезки. В прорези стояков была вставлена толстая лежачая колода, выдолбленная посредине, вроде ведра, с покатым дном, посредине которого было отверстие с трубочкой. В эту кадку клалась размолотая и поджаренная конопля, завернутая в серое немецкое сукно, перевязанное веревочкой, и придавливалась колодой, вроде втулки с рукоятками, плотно входящей в выдолбленное ведро. Эта втулка придавливалась дубовым брусом, входящим концами в прорези стояков. Чтобы получить потребное для выжимки масла давление, в прорези с обеих сторон вгонялись большие дубовые клинья, которые вколачивали ударами висячих колодок с рукоятками. Вгоняя клинья сразу с двух сторон, получали необходимое давление, и масло просачивалось сквозь сукно, стекало по трубочке в сосуд под колодой.

Когда все обтесано, вырублено и выдолблено и подогнано одно к другому, для постановки и сборки станка были приглашены первейший силач Иван Мелькин и Юзик. Общими силами стояки были впущены в ямы и закопаны, лежак впущен в прорези и все подогнано и прилажено, тут же сделали пробную выгонку масла. Я с Юзиком были приставлены к жерновам и, переменяясь друг с другом, намололи конопляной муки, отец поджарил ее в котелке, завернул горячую в сукно, обмотав узел прочной бечевкой, и вложил в колоду под гнет. Ударили с двух сторон в нагнетательные клинья, — и масло, журча, стало вливаться в сосуд. Я и Магдалена были в восторге, когда услышали это журчанье. Вынули сосуд, влили желтоватое масло в стакан — оно было душистым, чистым и прозрачным.

На радостях наших достижений устроили пирушку для всех присутствующих. Матушка напекла блинов, поставила кварту горелки, пили и закусывали блинами с маслом. Все не могли нахвалиться его вкусом и ароматом.

Это был веселый день в нашей хате.

Но, кажется, он был чуть ли не единственным за всю зиму нашей маслобойной затеи.

Дело оказалось тяжелым, далеко не простым и малодоходным.

Надо было добывать коноплю, а для этого приходилось ездить по деревням. Не помню, почем ее покупали, но в нашей местности она была довольно дорогой. Затем ее обработка была в сущности каторжной. Коноплю мололи на ручных жерновах, вставая слишком рано, чтобы мука поспела к топке печи и чтобы заодно с варкой еды можно было поджаривать муку, ибо поджаренная она давала больше масла и масло было вкуснее. Пред поджариванием ее толкли в ступе, чтобы разрушить все клетки зерна. Эту работу в примитивных приспособлениях несли отец, мать и я, для чего я должен был слишком рано вставать.

Все это было бы не беда. Но беда в том, что отец во время работы, когда дело не ладилось и в чем-нибудь была задержка, выходил из себя, страшно сердился, кричал, грозил и ругался, так что у всех, по выражению матери, «душа была подо льдом», т. е. холодела от вечного страха. Это было тяжелое и невыносимое. Утром я уходил в школу, а матушка оставалась в этом длительном оцепенении, почти беспрерывном.

От чего это зависело? Прежде всего, от общих свойств запальчивой и порывистой натуры отца. Обычно, если [...] что-либо не ладилось или не удавалось — следовал взрыв, мгновенная вспышка, и он склонен был бить и ломать.

Я помню много характерных в этом отношении случаев. Вот два-три примера. В его венской гармонии испортился один голосник — звучащая бронзовая пластинка. Он, разобрав гармонию, решил приделать новую пластинку. Долго и терпеливо он клепал, растягивал и пилил бронзовую пластинку, вырезал нужную полоску, приколачивал ее к голосникам, пробовал играть — звук не подходил. Вновь разбирал, вновь пилил, пробовал: опять не то. Так целый день он терпеливо возился, сосредоточенно молчал, но, видимо, в нем гнев накоплялся, — вот вновь проба — звук не тот, — и гармония летит в стену и разбивается вдребезги.

Как-то привез он из Борисова большой чайник из Черневской глины.

Он должен был заменить самовар, но когда его поставили в печку, он дал трещину. Отец решил скрепить его, обвязав се-

тью проволок: вещь хорошая, терять жалко. Долго он возился с проволокой, но что-то не поладилось, — и чайник вдребезги рассыпался от удара об пол.

Разумеется, такого рода вспышки были не всегдашним явлением, но довольно частым или возможным, и потому всегда надо было бояться — как бы не последовало взрыва. Особенно они были часты в зиму маслобойки.

Отчего? Очень просто: отец чувствовал, что сделал глупость. Но он не любил в этом сознаваться.

Я не знал — как он убеждал мать в выгодности этого предприятия, — женщину рассудительную и сметливую. Убеждать он был мастер, — речист, и сам верил в то, чем увлекается. Тут он был неподражаем — красноречив и образен, приводил примеры, сравнения, и все у него выходило легко, просто и гладко. А убедить мать в этом направлении было нетрудно, ибо она всей душой желала, чтобы он жил вместе и ей не приходилось в бесконечные зимние вечера в одиночестве напевать свои грустные песни или гадать — какой масти дама его соблазняет.

Но сразу было очевидно с маслобойным делом, что оно, требуя большого труда, проходя так тяжело, дает ничтожный доход, так что овчинка не стоила выделки. В самом деле — мы продавали свое масло по 15 коп. фунт, тогда как на рынке в местечке льняное масло стоило 11—12 коп. фунт. Правда — наше было лучше, вкуснее, но то дешевле, а это решает дело. Потом производство было маленьким: выбивали мы в день от 5 до 8 фунтов. Я не знаю в точности — как высока была его себестоимость, но всего вероятнее около 9—10 коп., не считая нашего каторжного труда; а тогда мы, значит, зарабатывали от 25 до 40 коп. в день всей семьей. Ясно — что это был заработок ничтожный, тем более, что «завод» часто стоял, пока отец разъезжал по деревням за покупкой семян.

Так как жерновами было молоть тяжело и выход был малый, то отец, вспомнив, что в Старом Борисове была мельничка с маховым колесом и стальными зубчатыми вальцами, на которой мололи гречу на блины, поехал туда купить ее. Это ему удалось, и стройная мельничка появилась в нашей избе. Многие из соседей приходили поглядеть на новое чудо. Она молола

гречу, пшеницу, ячмень и одновременно просеивала муку шелковыми ситами, над которыми вращался щеточный валик, на пять разных сортов — от тончайшей до шелухи, которая выходила отдельно: была тут и трех сортов мука и двух сортов крупа, которую точно так же можно было перемолоть в муку.

Чудо, а не мельница! Долго отец воспевал ее достоинства, а я усердно вращал маховое колесо. Но вот беда: гречи или пшеницы намолоть на блины было нетрудно (дело, впрочем, шло медленно), но коноплю и льняное семя она вовсе не брала: нутро не принимало.

Отец не обескураживался: я, мол, налажу, надо валик припустить поплотнее. Он и так и этак мудрил, разбирал, складывал, подгонял: ничего не выходило. Даже гречу хуже молоть стала. Хорошо, что не сломал. Заплатил он за нее 30 рублей, а продал пану Надольскому за 15. И то хорошо, хотя выиграл, як пан Заблоцкі на мыле: в пути оно, как известно, размокло, смылилось и в пену обратилось.

Правду сказать — мой батюшка частенько уподоблялся пану Заблоцкому в своих предприятиях.

Неудача с мельницей положила конец нашей маслобойке. Слава тебе, Господи! Мы вздохнули облегченно.

Но как-никак хозяйство у нас налаживалось: была лошадь (жаль только, не «тяговитая», но по всем статьям удовлетворявшая строгим требованиям отца), купил корову не заводскую, как две предшественницы, но неплохую. Конопляные жмыхи были прекрасным кормом для коровы, которая скоро вошла в тело и прибавила удою, и для свиней это был хороший корм: на этом мы отыгрывались, и, значит, дом обрастал, и все вместе живем. Хоть у матери душа частенько леденела, но она с этим мирилась: на то у нее муж, а не тряпка, не подтирочка какая-нибудь!

Весной отец затеял новое дело — все в тех же интересах жизни всей семьей: он решил арендовать сады. Дворный сад был законтрактован местными евреями, но не только в нашем дворе есть сады! Славился во всей округе сад в Гилях, в Лукомле у пани Храповицкой и кроме этих первостепенных было немало хороших садов помельче. Весной во время цветения батюшка долго ездил со мной по разным усадьбам с радиусом

в 25 верст от Холопенич. Много мы садов перевидали, но которые яловели, которые были сданы, в других мы встретили непреодолимых конкурентов в лице евреев-съемщиков и пока что сняли один небольшой, довольно старый сад[227] в имении Огурец[228] пана Островского, на самом берегу Лукомльского озера, это в 25 верстах от Холопенич. Сняли его за 25 рублей. Ясное дело, что это была мелочь, которой не стоило заниматься. Но мы занялись, в ожидании лучшего. В саду были яблони и груши, были сливы, крыжовник и малина.

Как только вылупился крыжовник, что мог привлекать неразборчивый вкус соседних ребят, Юзик и я были направлены в сад в качестве сторожей.

Славное это было время, может быть, лучшее в моей жизни. Природа — моя мать любимая — да и какая! Все ее красоты собраны в одном месте. Сад с тенистыми аллеями старых лип, кругом леса, поля и луга, роскошные, росистые и цветистые и необозримая гладь Лукомльского озера, с деревнями по крутым и пологим берегам. Сколько жизни самой разнообразной, сколько движения! Озеро часто бывало бурным и катило свои пенистые валы к берегам с разноцветной галькой и камышом. Камыши, тростники и ситник волновались под ветром, таинственно шурша, словно перешептываясь, а тростники склоняли свои задумчивые головки. В воздухе реяли чайки, аисты описывали широкие круги, или клекотали, стоя на одной ноге в гнездах, или грациозно сгибали и разгибали длинные шеи, словно проделывали сложные церемонии придворных реверансов.

Цапли в изящных пелеринках, как у школьниц католического монастыря, стояли по колено тонких ног в воде, пытливо глядясь в это природное зеркало, пока не подплывала или не выныривала неуклюжая лягушка: моментально голова цапли вздымалась кверху, в клюве трепыхались ножки, несколько движений клювом, как ножницами, или, еще лучше, как мялицей, и неловкая лягушка отправлялась в зоб под пелеринку. Стада журавлей пролетали треугольником, вроде греческой фаланги, и садились на отдаленном лугу. В синеве лазурного неба парили ястребы, и от поры до поры перелетали небольшие стада диких уток.

А тихие звездные ночи на берегу озера, когда созерцаешь два чудных лазурных свода, искрящихся вечными огнями, — вверху и внизу. Какое лучше, которое великолепнее? В воздухе жужжат хрущи[229], звенят комарики и бесшумно шныряют, как ласточки, летучие мыши, а в лугах раздается многоголосый дрязг коростелей и элегический, в нежных минорных тонах, просящий и зовущий перепела клик.

Задумчивые и таинственные голоса теплой ночи: как любил я прислушиваться к вам и как сладко было засыпать в шалаше под ваш неумолчный стрекот и шепот, который вдруг пронизывала торжествующая песнь соловья, разливаясь волнами в теплом воздухе, над дремлющей землей.

О, никогда не забыть мне этих дивных ночей, может быть, всего глубже внедривших в меня любовь к природе во всем ее разнообразии — и в яркости цветов ее летнего и осеннего убора, и в серебристой сверкающей ризе зимы, в весеннем щебетанье и гомоне птиц в зеленеющих рощах, и в таинственных вздохах летней ночи, и в грозах — с молнией и раскатами грома, и в жутко-стремительных полетах бури.

И грозы, и бури в течение лета проносились над моей головою. Юзик — уже порядочный верзила — страшно трусил, боясь грома, без конца крестился, и взывал: «Езус-Марыя, Юзэфе свенты», — а я хохотал над его боязнью.

Это лирическое излияние — не больше, как слабая попытка передать те волнения, те чувства и те бесчисленные наблюдения, которые возбуждала природа. Я могу смело сказать слова поэта: «С природой одною я жизнью дышал». И это вполне естественно: ведь я, прежде всего, дитя природы, а потом уже культуры, которая осмысливала и перерабатывала то, что бессознательно воспринималось на лоне природы.

Один ли я был таков? Нисколько: все мои товарищи не меньше, а некоторые и больше были наблюдательны и обладали огромными запасами тонких наблюдений. Сколько мы знали разных зверюшек и птиц, их повадки, образ жизни, устройство гнезд и нор, логовищ! Первая пороша, испещренная узорами разнообразных следов, не была для нас закрытой книгой: мы великолепно отличали след от следа, передавая свои сведения друг другу, делясь тем, что позаимствовали от

старших и более опытных, или что удалось самим наблюдать. Сколько трав мы знали, цветов и деревьев и как тонко умели отличать по неуловимым признакам всякую древесину местных пород. Городские дети редко обладают такой острой наблюдательностию явлений природы, хотя у нас и говорят: что городское теля, то деревенское дитя. Уподобление, конечно, сильно преувеличенное, и поскольку оно верно, то только по отношению к предметам городской культуры, чуждых деревенскому ребенку.

Мы с Юзиком наблюдателями были хорошими, но плохими сторожами. По ночам, когда всего чаще крадут яблоки, мы мирно спали в своем шалаше, рядом с грудами душистых яблок и груш, — спали так крепко, под усыпляющие ароматы, как могут спать только люди со спокойной совестью. Я, более нервный, был и более чутким, но Юзик, от природы ленивый и сонливый, спал так крепко, что его трудно было добудиться и, кажется, что его самого можно было украсть и увезти в телеге.

Питались мы превосходно, т. е. сытно. Этой частью всецело заведывал я. Отец нам подвозил пшеничную муку, в усадьбе нам был открыт кредит на молоко и масло, хлеб нам доставляли или мы брали там же, и я почти ежедневно варил «затирку», т. е. мучную похлебку на молоке: ничего лучшего не требовалось. Иногда я жарил яичницу для разнообразия, но это уже была роскошь. Все это на костре, на углях, с примитивными приспособлениями, вроде таганка из кирпичей. Вкусно и здорово. Яблок и груш мы пожирали без числа. В этом старом саду были превосходные летние сорта. Были яблоки типа «розмарин»[230], но еще более ароматичные, удивительно вкусные. Со слов отца — мы их называли ананасными[231]. Кажется, что мы и были их исключительными потребителями.

Была другая яблоня, на которой яблоки, созревая, становились прозрачными, — и любопытные, и вкусные. Были яблоки типа «ранет», у нас их звали «цыганками»[232] за темно-коричневый цвет. Когда яблоко созревало и падало — оно казалось состоящим из одного душистого сока. В пору созревания мы особенно гонялись за «цыганками», и каждое утро,

вперегонку, бежали к заветной яблоне, чтобы полакомиться спелыми плодами, которых качество мы высоко ценили. Раз в таком состязании Юзик схватил лягушку и чуть не запихал ее в свой широкий рот, но, чуя смертельную опасность, она стала трепыхаться пред самым ртом. Он, сконфуженный, швырнул ее в сторону: «Ах, каб цябе ліха!..» Меня схватил пароксизм неудержимого смеха над его неудачей. И я долго его дразнил сочной «цыганкой».

Крали ли у нас яблоки? Вероятно — крали, но не очень: не было надобности красть. Мне приходилось заставать батраков из усадьбы в кустах крыжовника и малины. Пойманные на месте преступления, они поднимались с корточек и ели открыто, похваляя. Я смущался этой развязностию и, по природной застенчивости и, если хотите, по чувству деликатности, не мог им сказать: «Не троньте!» (Как никогда не сказала бы и моя мать.) Они, очевидно, это учитывали. Они говорили: «Дай-ка яблок попробовать таких-то». И я вел их к грудам яблок у шалаша и выбирал — каких они хотели. Юзик держался той же политики.

По праздникам к нам приходили парни из староверческой деревни. Они открыто говорили: «Дайте яблок поесть, а то будем красть». И я их вел к шалашу и давал им яблок поесть.

Это была добровольная сделка с мародерами, и, кажется, мы были от этого только в выигрыше. Состояние войны, при нашей склонности спать по ночам, нам могло бы обойтись много дороже.

Это была разумная политика, но я очень хорошо знал, что отец на этот счет другого мнения.

Вечером накануне Спасова дня он приехал за яблоками и грушами, чтобы везти их в Чашники на кирмаш. Распрег лошадь и в потемках пошел в дальнюю часть сада за дорогой с густыми аллеями, чтобы окинуть все хозяйским оком. И вдруг в ночной тишине раздался его рыкающий голос, который потряс меня, как если б я услышал рычание льва.

Мы бросились туда с Юзиком, и встречаем отца, который, грозно крича и ругаясь, тащит за шиворот низкорослого пастуха из усадьбы. А тот Христом Богом молит не бить его, простить.

Дикая сцена. Меня ужас охватил: я знал характер отца и его на этот счет взгляды. Он скрутил пастуху руки веревкой и привязал его к яблоне. Тот просил и молил: «Паночык, даруй, больш ня буду!» Отец, неистово крича, схватил вожжи: «Вот я табе пакажу, як красці!»

Тут я буквально бросился на колени и стал просить — не бить его. Я хватал и целовал руки отца, он меня толкал, крича: «Прочь!» — но я-таки упросил и укротил его — и расправа, которую он считал законной и обязательной, не состоялась. Очевидно, я уже имел некоторый вес в глазах отца.

Пастуха развязали — и он повалился в ноги. Как жалок был злосчастный пастух и как рад он был, что дешево отделался. Он, как и отец, считал, что расправа обязательна и неизбежна. Пусть благодарит мою мать, что она меня одарила чувствительным сердцем.

За 3 месяца это был единственный тягостный случай, да и то потому, что нежданно наехал отец.

Оказалось, что их было двое: пастух и сын приказчика. Последний к нам хаживал по воскресеньям за обычной данью, а пастух, днем занятой, никогда не появлялся, и, очевидно, считая себя несправедливо обделенным, хотел получить свою долю. Он взобрался на яблоню (ту — розмариновую: губа не дура!) и тряс ее как следует, а приказчичий сын подбирал. На шум-то и прибежал отец. Когда он зарычал по-свойски («зарычал» надо понимать буквально: тут нет преувеличения), приказчичий сын бросился в кусты терновника и дал стрекача, а пастух шлепнулся с дерева, как зрелое яблоко, и, конечно, расшибся, но, вскочив, начал удирать. Разъяренный отец его нагнал и ударил в ухо: он и упал, оглушенный.

Так было это печальное дело, накануне Спасова дня, когда обычно, испокон веков, опустошаются сады мародерами.

Пастух мог считать «в своем праве»: он не обманул нашего доверия, а приказчичьему сыну, который был взыскан нашими щедротами, после было стыдно глядеть нам в глаза.

Каковы же были финансовые результаты этой коммерческой операции, затеянной отцом, чтобы избежать отходничества?

Конечно, самые ничтожные. У него не было коммерческой жилки, как и у никого из нашей семьи. Кое-какой смысл был бы в продаже в розницу. Но станет он продавать по копейкам! Он свез один воз яблок в Чашники — продал их чохом еврейским торговкам. Весь остальной «товар» был перевезен в Холопеничи и тоже продан чохом. Барыш был ничтожным. И если кто-нибудь был довольным, так это я с Юзиком: жили мы на свободе и объедались отборными фруктами. Сторожа было самое милое дело для Юзика: днем он спал, чтобы сторожить ночью, а ночью спал, потому что спалось. А спать он мог без конца.

Это не было последней попыткой отца прочно осесть на месте.

После этого он осенью уехал в Старый Борисов на службу и прослужил около году. Это было много выгоднее для нас, чем его коммерческие предприятия, но мать, изредка наезжавшая в это имение, вновь была охвачена серьезной тревогой: под боком была соблазнительная жена лакея, с которой отец чай распивал и шутил вольные шутки. Это была последняя ревность моей матери. Тут я считаю уместным сказать, что она была совершенно неосновательной, как и в других аналогичных случаях, если иметь в виду слишком интимную близость. Отец это клятвенно отрицал, а он клятвы чтил и не прибегал бы к ним для обмана. Да и обманывать он не имел никакой надобности. Он просто любил заигрывать и шутить с женщинами. Для ревнивого сердца этого довольно.

Я туда же хаживал неоднократно в гости — за деньгами, и за чаем, сахаром — и в этих хождениях настолько развил свой шаг и укрепил свои ноги, что сделался неутомимым ходоком.

Скопив несколько денег, отец решил открыть столовую в Борисове, войдя в сделку с местным ксендзом-деканом[233] Олехновичем, круглолицым, толстомясым, большим циником и обжорой. Это был тип ксендза-обрусителя, говорившего проповеди по-русски и служившего часть богослужения по-русски. Он был в наилучших отношениях с местным поповством и с местным начальством. Большой мастер выпить и угостить, к тому же картежник, так что у него в обширной

квартире чуть не ежедневно собиралось уездное чиновничество, ближайшие помещики и поповство. Трогательное соединение двух враждующих церквей за... карточным и закусочным столом. Доходы его были обширны, ибо в уезде почти все приходы были закрыты, и хотя он назывался деканом, но пятка ксендзов в уезде нельзя было собрать. Будучи чуть ли не монополистом, драл он за требы, особенно за свадьбы, метрики и проч. немилосердно, — поистине драл и с живого и с мертвого.

Разительный контраст составлял его викарий[234], еще молодой человек, бледный, худой, истый тип аскета, ходивший в своем палисаднике целыми часами с требником в руках. Он служил мишенью для шуток и насмешек ксендза Олехновича, который, разумеется, не верил ни в Бога, ни в черта.

Так вот этот-то чревоугодник и обошел моего доверчивого отца.

Он предложил ему свою кухню, посуду и помещение для столовой, свой огород, засеянный и засаженный разными овощами, и двух коров в полное распоряжение, с тем, что отец обязуется его кормить завтраками, обедами и ужинами, а если случатся гости, то и гостей — одного-двух человек (там сосчитаемся: я тебя не обижу), и может набирать столовников — сколько хочет.

Все это было в высшей степени неопределенно и сложно для не привыкшего к сложным расчетам отца. Он смотрел на дело так: отчего не попытаться? Там видно будет.

И переехали мы всей семьей в Борисов и водворились в обширном помещении ксендзовской кухни.

Повторился тот же бобруйский опыт, который ничему не научил моего батюшку. Но матушка, более расчетливая, нашла, что сделка невыгодна; что ксендз съест весь свой огород, как он съедал его и раньше, и молоко, и масло от своих коров, как он съедал его и раньше, а мясо и рыбу и прочее будет жрать за наш счет. Поэтому мы приехали налегке, не разрушая вконец своего домашнего хозяйства.

Отец обычно убеждался не расчетами, которые его сбивали с толку, а только конкретными фактами. И месяца не прошло, как он убедился, что попал впросак. Никаких

столовников не было, а у ксендза, требовательного по части гастрономии, обедали, ужинали и закусывали многие: иди там, считайся с ним!

По своему обыкновению, он круто порвал, разругался с ксендзом и повернул оглобли домой.

Лишняя пертурбация, и материально не безразличная, а убыточная.

После этой попытки отец некоторое время служил в Холопеничах, где одновременно и я работал. Это было выгодно и вообще являлось лучшим из возможного.

Но не поладил с барыней — и был рассчитан. Анця — кухарка за повара — всегда была под руками и могла его заменить.

Отец вновь хватился за Борисовский проект в несколько измененной редакции. Он зашоговывает участок земли у пана Свиды близ станции Борисов, где должен быть построен дом под столовую. Расчет на железнодорожных служащих, у которых, впрочем, был буфет, содержимый Настой и Степаном Портянкой. Лавры последнего отцу спать не давали.

Поехал отец в Борисов, облюбовал участок (хороший участок, в сосновом лесу, почти рядом со станцией, близко от депо и все прочие удобства). Дом должен быть с верандой, и в леску, под соснами, будут расставлены столики. Я предназначался стоять за буфетом и обслуживать столовников и случайных посетителей. Все нашли свое место. Облюбовав, отец отправился к пану Свиде за 17 верст и заключил с ним запродажное условие, дав 50 руб. в задаток. Контракт написан на гербовой синей бумаге у нотариуса: все как следует.

Явился отец с контрактом в руках и стал красочно расписывать — как это все хорошо выйдет.

Кончено. Больше он не будет угождать разной сволочи. Будет сам себе пан. И все будем жить вместе и все при деле.

И много других хороших вещей насказал мой родитель. Но возникал очень простой вопрос: откуда деньги взять на постройку и обзаведение.

— А дом на что? Продать дом и плац и все лишнее — вот и деньги. Что мне твой дом? Я в нем не родился! Я не один дом построил и не один еще построю! Плевать я хотел на твой дом!

Проект отличался радикальностию. Так далеко матушка не могла идти.

— Делай там, что хочешь, а дома не продавай!

У нее еще свежи были в памяти воспоминания о том, как трудно было построить дом и обзавестись необходимым. Уже два раза она снималась с места, но это проходило сравнительно безболезненно, ибо был свой угол, куды прытуліцца.

Она была сильнее отца в расчетах и свела вопрос на эту почву.

Сколько можно получить за дом? Самое большее 150 руб. Наскоро продавая и этого не получишь. Сколько надо затратить, чтобы в Борисове построить дом? Самое меньшее 350—400 руб., да и за 400 не построишь. Где же взять 250 руб.? А на обзаведение?

— Можно будет одолжить под вексель.

— А ты забыл, как трудно было распутаться с Яськом?

Это было совсем свежо в памяти: насилу распутались. Сено выручило, лошадь продали.

Отец тут осел. Было ясно, что он увлекся и сделал глупость. Вбухал 50 руб. Для нас это большие деньги. Жаль денег, но мать предпочла лишиться 50 руб., чем своего угла и всего.

Пиши — пропало!

— Но, может быть, он отдаст? Все ж таки он пан Свида, а не абы хто! Сколькі ў яго дабра! Які маёнтак! За четверть десятины песков взял 250 руб. Что ему значат 50 руб.! Отдаст... Наверное, отдаст. А если не отдаст все, то хоть половину.

Но отец слишком дорожил своим гонором, чтобы самолично просить пана о возврате.

И эта тяжкая миссия была возложена на меня.

Если бы дело от меня зависело или если бы мне это сказал кто другой (пусть мать, бабушка или кто угодно), то не только за 50 рублей, а и ни за какие деньги я не пошел бы просить пана о возврате. Пропади они пропадом! И не из-за гонора не пошел бы, а из-за одной стыдливости, из-за непреодолимой застенчивости не пошел бы. Но такова была сила отца: я ни слова не смел сказать и, скрепя сердце, пошел. [...]

Тут, как и в других подобных случаях, я должен сказать спасибо отцу: он заставил меня ходить, куда я не хотел. Это

очень важно: научиться ходить, куда не хочешь, а куда нужно, должно идти.

Без грозного отца со мной ничего бы не сделать — и я был бы во всех отношениях восковой фигуркой — мягкой и липкой. Он мне придал достаточную твердость, заставляя внутренно преодолевать себя.

Розги фактически были давно устранены, но формальная их возможность еще висела надо мной. Но дело не в розгах: все равно — я духу его боялся. То есть все еще боялся, пока духовно не окреп.

Тут я совершил чудеса скорости и выносливости в ходьбе, которых ни до, ни после не совершал, хотя ходил очень много — и с кладью, и налегке. Я вышел с Ларкой Бурым, сапожником, который шел в Борисов за товаром, в 8 часов утра, и мы были в Борисове в 10—11 часов вечера (56 верст). В 3 часа я встал и пошел в имение пана Свиды за 17 верст по Минскому тракту. По нашему соглашению к 12 я должен быть обратно, иначе он уйдет один.

Только я стал подходить к усадьбе, как вижу — какой-то важный пан выезжает из ворот на паре. Я спросил у привратника — кто это? Оказывается — пан Свида. А он уже с полверсты, если не больше, отъехал. Я за ним во всю мочь. Бегу и кричу: «Прошэ зачэкаць!» Догнал его. Он остановился.

— Чэго хцэшь! Цо тобе тшэба?

Задыхаясь, в прерывистых словах, излагаю ему сущность моего поручения, и сую ему контракт.

Он отшвырнул рукой контракт и, насупившись, отчеканивая каждое слово, отвечает:

— Ежэлі твуй ойцец ламе контракт, то задаток пшэпада. — Коротко и ясно. И крикнул кучеру: — Язда!

Только я его и видел. Обидно и горько мне было на душе. Столько верст оттрепал, и я знал цену нашим деньгам. Пан тоже знал, что 50 руб. на дороге не подымешь.

К 12 часам я был в Борисове (17+17=34). Закусив хлебом с салом (я шел натощак) и запив его пивом (славным пивом, не чета баварскому), мы двинулись в путь. В дороге на полпути часика 3—4 соснули, и к 8 часам утра мы были уже дома. Итого в двое суток я сделал: 56+17+17+56=146 верст,

будучи около 40 часов почти беспрерывно в пути, т. е. по 73 версты в сутки.

Мне приходилось один раз сделать 60 верст в сутки, но такой величины я никогда не достигал. А Борисовских 56 верст я легко отмахивал много десятков раз.

После этой печально кончившейся очередной затеи, отец нашел место в Лукомле у пани Храповицкой, у которой гостила именитая и богатая родственница, пани Брохоцка из Городеи (городейский сад и сыры Брохоцких славились), так что кухня должна была быть — «як-се належы». Поэтому потребовался повар. Недолго служил отец в Лукомле, что-то около полугода. А так как это было близко от Холопенич (25 верст), то я частенько к нему бегал в гости. Это давало мне возможность любоваться вновь и вновь Лукомльским озером, с чрезвычайно быстрой речкой, из него вытекающей[235]. В ней трудно было устоять: течение сшибало с ног; гуси и утки не могли плыть против течения.

В то время я не знал — какое значение имело Лукомля в истории этой местности; но и в то время обратил на себя мое внимание высокий обрывистый холм[236] при входе в местечко с плоским ровным верхом, словно срезанным, на котором парни и девушки летом часто устраивали пляски. С этим холмом связаны кое-какие предания, которых я теперь ясно не помню. Это, по-видимому, древнее замчище князей Лукомских и может быть более древних их предшественников. Я бродил по берегам Лукомльского озера и ясно помню, что видел: лучшего центра для сосредоточения приозерной жизни, чем Лукомля, не найти: и озеро, как продовольственная база, и быстрая река, и местность высокая. Поиски археолога там дали бы блестящие результаты[237].

Это было последнее место отца близ Холопенич и, по-видимому, являлось средством прикопить несколько денег для новой переселенческой попытки в целях устроения совместного жития всей семьей, — попытка, к которой толкали нас, с одной стороны, беспокойный дух главы семьи, а с другой — экономические условия, которые гнали безнадельника в отход, — условия настолько сильные, что трудно было прирасти к одному месту. Не нас одних они гнали из Холопенич и не из

одних Холопенич бедный люд был обречен искать заработков на стороне. Две железные дороги, в то время строившиеся или построенные, осушка Пинских болот, возникавшие мало-помалу кое-где фабрички и заводцы требовали рабочих рук и поглощали безнадельников.

Но мне еще надо потоптаться на Холопеничской почве, чтобы отметить кое-что из своей личной жизни за три-четыре года после возврата из Минска. Как я уже писал, в эти годы по зимам я учился в начальной школе и учил в ней же, а летом помогал отцу и матери в домашних работах, — и не в одних домашних: после 10 лет я уже стал ходить «у двор» на заработки поденно (с осени 72-го года). Есть немало работ по хозяйству, где детский труд вполне применим, обходясь несравненно дешевле, чем труд взрослых. И я не один ходил: многие из моих сверстников обоего пола тоже. Бедноты в местечке было довольно. Нужда в таком труде падала главным образом на периоды посева и уборки. Зимой обходились годовыми рабочими.

В этот период наша семья, в смысле материального обеспечения, жила с перевалами: то сравнительное благополучие, то чувствительные недостатки, особенно — когда надо справлять обувь и платье. Также ощущалась недостача в кормах, когда у нас не было коровы. Все эти мотивы, в связи с общим соображением воспитательного свойства, чтобы я не баловался и приучался к работе, замолода гнали меня «у двор» на работу.

— Нехай сабе хоць на бацінкі заробіць, або на малако.

Работа была не тяжелая: возить навоз, разбивать навоз, копать грядки в огороде, сажать капусту, брюкву, полоть, бороновать, сгребать сено, топтать возы и стога, возить снопы, складывать их в торпу — высокие клади в молотильном сарае, — подавать снопы к молотильному барабану и тому подобное, с чем подростки легко справляются.

Рабочий день, как водится летом, от восхода солнца до заката, с часовым перерывом для обеда. Вот это-то и было для меня самое тяжелое, самое трудное: вставать до восхода. Как-никак — за день устанешь, хотя мы обычно возвращались с работы с песнями и даже подплясывая. Придешь домой — так если сейчас же не дадут есть, то, свернувшись где-нибудь на

лавке, засыпаешь так, что и добудиться трудно. А вставать утром — это было чистое мученье. Матушка меня обыкновенно поднимала сонного, ставила на ноги — а я спал, вела к мойке и обливала голову холодной водой: тут я просыпался и, схватив кусок хлеба с солью на завтрак, бежал в усадьбу, чтобы не опоздать к распределению на работы. Тут мы всей гурьбой окружали войта Хведора или, потом, умного мужика Исака, или их помощника Василя Корнеева, которые и посылали нас — кого куда, давая наставления — на что обращать внимание при работе. В полдень — звонок на обед и кормежку скота, обед кто-нибудь из домашних приносил в горшочке, а то ели хлеб с водой, хлеб с салом, у кого оно держалось, печеную или вареную картошку, словом, живились, подкреплялись — кто чем мог. Питание, конечно, было скудным.

Вечером — отмечались у конторщика Волосовина, а когда его не было, отмечала сама барыня Марья Дмитриевна, кто что делал. Я ей лично был известен.

—А ты, Адольф, что делал?

—Свіней пасціў, барынька!

Раздался общий смех на мой счет. Дело в том, что быть свинопасом — это самая унизительная работа. Особенно чужих свиней пасти. Когда кто-нибудь, зазнаваясь, говорит наровне: ты, вместо почтительного «дядька», «тетка», «вас пан» или «пане», смотря по возрасту или значению, ему презрительно отвечают: «Што ты «тыкаеш»: я с табой свіней не пасьціў!»

Классический Евмен, божественный свинопас, в Беларуси был неизвестен. К чести своей я должен сказать, что я только один день господских свиней пас, — случайно, свинопас не вышел на работу, — так что прилагать ко мне титло свинопаса было бы несправедливо, и на титло «божественный свинопас» я не имею права претендовать, хотя своих свиней пасти частенько приходилось. Скучная это и беспокойная работа: только и бегай и гляди в оба, чтобы эти предприимчивые животные, вечно чем-то недовольные, вечно стонущие и чего-то ищущие, не разбрелись до потери следов. Ищи тогда ее! А пока будешь искать, другие разбредутся.

Нет, я самые разнообразные работы делал, — все, что выше перечислил, и другие, которые и не перечислял. Так

управляющий пан Сысолка, высокий, бритый старик из белорусской шляхты, короткое время управлявший имением облюбовал меня для личных услуг: сапоги чистить, самовары ставить, топить печи, убирать комнаты, носить обеды, мыть посуду, для посылок и пр. Я уж должен был спать у него на кухне и кормиться с дворной прислугой, и платили мне тот же гривенник в день, что я получал на других работах. Это было выгодно: с хлеба долой. Но я только две недели выдержал эту работу личных услуг, и не потому, что я ею гнушался или считал ее ниже своего достоинства, а потому, что пан Сысолка был страшно требователен, придирчив, вечно ворчал на мое неуменье, ругал меня, а главное — он чрезвычайно рано вставал и будил меня, стуча ногой в стену, чтобы я ставил самовар. Я должен был просыпаться без помощи матери и обливания холодной водой, что далеко не всегда мне удавалось — отсюда его крики и руготня. Я не выдержал, и пред самой Рожанцовой (после Покрова), когда у нас открывалась ярмарка и потому приятно было быть в это время свободным, я сбежал домой. Я бродил по ярмарке со своим собственным гривенником в кармане (остальной заработок матушка благоразумно конфисковала), раздумывая: купить ли мне пистолетик с хлопушками (20 коп. с запросом) или попробовать счастье в рулетку — вертушку (только пятачок), где было расставленно не мало заманчивых вещей.

Этот гривенник заработка, особенно в 72 и 73 годы, имел для нас серьезное значение. Во-первых, я мог сам себе справить сапожишки (3 руб. 50 коп., т. е. 35 моих рабочих дней), а во-вторых — на гривенник могла прокормиться день вся наша семья. Как? Очень просто. Покупалось в усадьбе у пахтера 4 кварты «маслянки» (пахты), — отхода после битья масла. Мы были высокого мнения о ее вкусовых и питательных достоинствах, и стоила она по копейке кварта. Затем — крошился в миску хлеб или картофель и заливался маслянкой. Вкусная и здоровая еда, и конечно, стоящая не больше гривенника. Если не было маслянки (она не всегда бывала) покупалось снятое молоко или простокваша. Это стоило несколько дороже: по 11/2 коп. кварта, и также съедались с хлебом и картофелем. Опять ничего не скажешь — сытно и здорово.

Гривенник в нашей умелой семье много значил, особенно — когда от отца не было присыла денег, а такие периоды иногда бывали тоскливо-длительными. Тогда матушка, и без того заваленная работами по дому и огороду, бралась за шитье шнуровок и кофточек крестьянским девицам — цена известная: гривенник — шнуровка, двугривенный — кофта, — урывая время у сна, и шила в длинные осенние и зимние вечера, при свете лампочки, напевая свои печальные песни.

Но я только два сезона получал по гривеннику, а затем, с возрастом, возвышался в цене и получал 15 коп., а под конец, в третьем и четвертом году 20 коп. в день. Это была совсем хорошая плата, да жаль, что не всегда находилась работа.

Помню, что еще в начале моей рабочей карьеры случился инцидент, который едва не положил ей конец, что было бы очень печально.

Дело было так. Шла молотьба хлеба машиной с воловьим приводом. То есть в дышло — толстое бревно, продетое в стоячую шестерню, — впрягалось две пары волов, которые, идя по кругу, вращали стоячее зубчатое колесо, оно, задевая зубцами, вращало лежачую шестерню, а эта последняя — молотильный барабан. Я был погонщиком волов. Дело простое: смотри, чтобы они равномерно тянули,— иначе дышло будет напирать на ноги отсталым. Я уж не день и не два исполнял эту работу, и все шло хорошо. Надо остановить машину — тогда оба погонщика одновременно бросаются навстречу задней паре, хватают ее за рога и постепенно задерживая, останавливают. Все шло хорошо. Но вот приходит сама барыня взглянуть хозяйским взглядом, как идет молотьба. Походила она, с зонтиком в руках, поморгала глазами, ничего в сущности не понимая. В это время — на табе ліха! — развязалась прицепка к колесу моей пары волов, а тогда они, вместо круга, должны пойти по касательной и неминуемо зайти за столб, тогда как задняя пара тянет. Я, заметив оплошность, бросаюсь назад, хватаю за рога заднюю пару и, как обычно, останавливаю машину. Но все это показалось барыне слишком страшным и грозящим катастрофой:

— Ай, ай! — закричала она в страхе. — Он волов мне испортит! Он машину сломает! Зачем принимать таких малышей на ответственную работу! — И схватив меня за плечо, повернула к выходу:

— Вон, вон, — закричала, — больше не приходи!

Я прекрасно понимал, что барыни капризны и часто бывают глупы: на то они и барыни. Но делать нечего: с досадой пошел домой в полдня, даже не отметившись. И дома была досада, что меня прогнали. День-два спустя я иду снова: нужда гнала. Думал — забудет. Да и чем я виноват?

Василь Корнеев ставил на работу.

— Цябе, Адолік, — говорит он, — барыня вялела не прынімаць.

Скверное дело.

— А чем, — говорю, я виноват? Чы ж я валоў прывязываў? І што ж я зрабіў? Што машыну астанавіў воврэмя?

— Што праўда, то праўда, — говорит он, — алі што з ёй, дурной, зробіш. Ну, што будзе — то будзе: станавісь на работу, падавай снапы к барабану.

Подаю снопы.

В полдень опять жалует барыня.

— А, эты опять здесь, — говорит она, меня заметив, — ступай вон... ступай, ступай... Василий! Ведь я велела его не принимать! Зачем его приняли?

— А чаму ж яго не прынімаць, барынька? Ён хлопец жвавы (живой) і смышлёный. Чы ж ён вінават, што волы атвязаліся? Ня ён жа іх прывязываў. Другі бы, ацеляка, не дагадаўся, што трэба зрабіць. А ён удрук дагадаўся: валоў задзержаў і машыну астанавіў. Каб ня ён, дык бы і валоў папорціло, або машыну зламала. Ён работнік харошы. Глядзіцесь-ка, як ён завіхаетца[238], як той заец бегае са снапамі...

А я, чтобы оправдать похвалу, бегом таскаю снопы — пару за парой. Барыня посмотрела на меня, подумала и говорит:

— Да, ты прав. Я была несправедлива!

Завернулась — и ушла. Итак, — справедливость восторжествовала: я остался на работе. Но этого мало: несправедливость должна быть заглажена и искуплена. Искупление не

замедлило явиться. Вскоре барыня вновь явилась, с двумя грушами в руках и поднесла их мне самолично.

— Я была неправа! Вот тебе гостинца! — сказала она, моргая глазами.

Я, разумеется, покраснел от удовольствия, и, как следует благовоспитанному мальчику, поцеловал барыню в руку. Груши были сладкими.

С того достопамятного дня я вошел в фавор у барыни. Мне назначили 15 коп. в день. Этого мало. Когда однажды вышло разногласие при расчете — я претендовал на 6 дней, а в отметках было пять — она сказала: «Плачу за 6: ты хороший работник!»

Это возбудило зависть у многих. Возвращаясь домой, я слышал, как Людвися Полькина сказала:

— Шчасця нашаму Адолю: барыня яго любіць. Спадабаўся (понравился) барыне.

Этот фавор повел к тому, что меня приставили для услуг к новому управляющему, немцу Вильму, с тем, чтобы в большие дни — именины, рождения и пр., — когда съезжаются гости, я помогал лакею Андрюшке справляться с посудой: мыл тарелки, чистил ножи, вилки и вообще помогал ему в работах.

Это тот самый Андрюшка, который нищенствовал и бродяжничал в Борисове и ездил за кучера с венгерцами, и, наконец, — дошел до высокой степени лакейства.

Правда, он далеко не тот был, что лакей Павлиновых, который приезжал частенько со своими господами к нашим: тот был высокий, важный с бакенбардами; к обеду одевал фрак и белые перчатки; в процессии подачи к столу — всегда шел с первым блюдом, тогда как Андрюшка только с соусником, а Виктося с салатом. Он знал всякий порядок — и как убрать стол, где что поставить, как подать блюдо, чтобы удобно было брать, а главное, ловко умел перемахнуть блюдо через голову сидящего и держать его там, чтобы не стеснять берущего. Вообще много знал всяких тонкостей и приемов.

Вся эта сложная наука была для меня завидной, но недостижимой. Пока что — во время суматохи большого обеда — я живо, в горячей воде, должен был мыть посуду, чистить

ножи и вилки, и мог мечтать, что будет некогда день, когда и я удостоюсь пойти с соусником или с салатником... Дальше этой скромной роли я не возносился. Пока что я помогал Андрюшке чистить паркетные полы щетками, натирая воском, наводить лоск суконками. Частенько мы с ним отплясывали по утрам разные танцы, вроде вальса, с суконками на ногах.

Андрюшка был парень в достаточной мере развращенный. Много он чего пережил во время своего нищенства и бродяжнической жизни. Он любил выпивать и частенько бегал к подвальному с горшочком за водкой. Вечерами, когда было свободное время, напивался. Он тогда говорил грубейшие и циничнейшие вещи. Воображение его было грязным и завалено эротическими картинами циничнейшего свойства. Он их рисовал и смаковал не без грубого остроумия, но самым непристойным манером. Он мечтал тогда вслух — как он подберется к барышне Ольге Рудольфовне. Когда появились барышни Павлин, или, как у нас их называли, Павлинишки, он тогда их облюбовал для своих грязных мечтаний. Напиваясь, он всерьез собирался к ним пробраться в окно. На всякий случай он открывал в окне шпингалеты. Напившись для храбрости, — эх, была не была — он пошел к окну и уже приоткрыл его, но я подоспел и помешал ему, говоря, что я кликну сторожа Семку. Он отошел, но долго ругался.

Впрочем, — Андрюшка недолго подвизался в лакействе: пьянство его стало заметным и его рассчитали.

Мой немец — был разумный немец. Он плохо говорил по-русски и писал плохо, так что я чистил его сапоги и одновременно был его учителем в русском языке: написав что-нибудь по-русски с искажениями на немецкий лад, он просил меня поправить и потом переписывал. Часто меня употреблял по письменной части. Мы часто с ним на беговых дрожках ездили по полям, осматривая посевы и покосы и сверяясь с планами, мерили десятины на съем, смотрели лесорубки. Мне эти разъезды нравились всего больше.

Бывали и тернии на моем пути. Самая неприятная штука — это когда я бил посуду. Надо было к барыне идти и заявляться. Она при этом делала недовольное лицо, часто мигала глазами, иногда щека у ней подергивалась от

тика и [она] делала сварливые замечания, с угрозой, что она вычтет.

Это была для меня пытка. Пусть бы вычитала, но без сварливых замечаний и внушений. Я пробовал тайком покупать подходящую посуду взамен битой, так разве в местечке подберешь точь-в-точь? — подмена открывалась.

Это были мои неудачи, очень досадные, которые являлись печальным показателем, что из меня трудно выработать лакея, подобного Павлиновскому, недосягаемому образцу. Впрочем, Марья Дмитриевна была высокого мнения о моих способностях. Как-то отцу она говорила:

— Знаешь ли, Юрий, — твой Адольф — такой ловкий и смышленый мальчик, что, выросши, он далеко пойдет: он будет фальшивым монетчиком.

По-видимому, это была высшая похвала, но, разумеется, не на лакейском поприще.

Однажды она меня кровно обидела.

Был бал по случаю чьего-то дня рождения или именин. Наехало много гостей, в том числе большая семья Павлинов, — две барышни, два кадета и офицер. Вечером устроили танцы — фигурные, любовные, как хорошие господа танцуют. Сама Марья Дмитриевна на каких-то старинных клавикордах бренчала, а молодежь танцевала. Горничные и лакеи высыпали к дверям. Я был в том числе и неосторожно просунулся вперед: уж очень было любопытно, как кавалеры, припадая на колено, кружили барышню около головы. Это бы ничего, что вперед, но я был совсем в неподходящем одеянии в столь блестящем обществе и к тому же босой. Марья Дмитриевна это заметила и, кончив играть, направилась к нашей толпе — и хвать меня за плечо, точь-в-точь как это было на гумне, и, протиснув чрез толпу, толкнула вперед, напутствуя русской пословицей: «Знай сверчок свой шесток!» Обида была кровной. Не знаю — почему уж я так обиделся — вероятно, чувства были весьма сложными, но я много и горько плакал.

Другое аналогичное оскорбление было нанесено моему самолюбию в другом месте в связи с возрастным цензом.

Обыкновенно в Холопеничах раз в неделю, а зимой и чаще, особенно на святках и масленице, или на Троицу,

устраивались вечеринки, ігрышча. Устраивала их молодежь обоего пола невесто-жениховского возраста. Велось это испокон веков, но в последнее время, уже в XX веке, как-то стало выходить из моды. А жаль: веселые это были гулянки. Тут-то парни хорохорились друг перед другом, как тетерева на току, а тетерки вокруг сидели, — смотрели — чья-то возьмет, скромно молчали, но хорошо знали, что для них хорохорятся. Время проходило, главным образом, в плясках, под музыку, и «припевки», т. е. частушки, остроумные, веселые, иногда разухабистые, иногда «скромные». Много их ходило в народе, много их записано, в том числе мною, и много и погибло, как погибают бабочки-поденки.

Пляски велись под скрипку — всего больше наяривал Вирамей Боярин, ученик знаменитого Кленского Музыки, а его брат Прокоп лихо жарил в бубен. Потом пошла в ход гармошка — это было терпимо, допускалось, но это — сортом пониже, и на этом инструменте много было музыкантов. Что плясали? Главным образом «лявоніху» — самый белорусский и, пожалуй, самый красивый танец, род «чардаша», где пляшут много пар, — танец фигурный, не лишенный задора и живости движений. «Козачок» — разных ладов, как «комаринский», «трепак» и «гопак», тоже был в числе любимых: тут можно было проявить всю удаль, всю лихость, откалывая коленце за коленцем, меняя выверты ног, подбивая голубца, подергивая плечами и поводя руками и под конец, все забыв на свете, пускаясь в лихую присядку: «Ой, чух! Давай жару Давай болі, давай пару!..»

В то время как «она» плывет лебедкой или выступает павой, игриво и зазывающе помахивая платочком.

Были еще в ходу «барыня» и «вірабей», танцы попроще и похожие один на другой: они состоят в хождении парами по кругу с ритмическим притоптыванием, а затем в кружении, как в вальсе.

Любимой была хороводная пляска «подушечка», под припев специальных частушек:

Падушэчка, падушэчка, да ўся пухавая,
Малодычка, малодычка, да ўсё маладая;

Каго люблю, каго люблю — таго пацалую, —
Пухавую падушэчку таму падарую.

Все дело в том, что тут девицы, похаживая и подплясывая с платочком в кругу, выбирают парней для пляски и дарят их поцелуями, а затем парни, отплясав с одной, выбирают другую для той же сладостной награды. В этом, если не все, то главное дело.

Як прыехаў, як прыехаў мой міленькі позна,
Параскідаў, параскідаў падушэчкі розна;
Як прыехаў, як прыехаў мой міленькі з места, —
Паскладаў, паскладаў падушэчкі ў места.

Все это примитивно, наивно и очень мило: надо же, чтоб душа радовалась и сэрца захвыцалася (восхищалося)!

Под конец обычно плясали «мяцеліцу», танец, так сказать, разгонный и разухабистый: кто во что горазд. Если есть простор, где-нибудь на лужайке или на гумне, так тут и колесом пускаются и пляшут «жабку», прыгая влежку на руках и кончиках ножных пальцев.

Бывала на ігрышчах и «дуда барысоўская», она же «волынка» — род жалейки с козьим мехом, в котором скоплялся выдуваемый воздух, что давало возможность дударю вновь его использовать, освободив рот от пищика, для припевок, большею частию шуточных, вроде этой:

Як паехаў Ахрэм за сем міль па хмель.
Не прывёз ён хмелю, а прывёз ячменю,
За цэлага рубля ды цэлую жменю (горсть).
Не старговаўся ды не сцановаўся, —
Ехаў дадому — жонкі баяўся...
Ой, Божа ж, мой Божа, што маю рабіці:
Прыеду бяз хмелю — будзе жонка біці...

Последние слова каждого двустишия долго растягиваются, ритм меняется и выражение из протяжно повествовательного переходит под конец в жалобно плачевное. Этот

искусный переход рассчитан на комический эффект, успех которому всегда был обеспечен.

Конечно, — это припевки не плясовые, а шуточные, своего рода «интермедии» между плясками, как в средневековых мистериях и «мираклях» между актами.

Выше я перечислил далеко не все, но самые распространенные народные танцы. Опустил, например «бычка» — род «козачка», и «качана» — хороводную пляску, весьма игривую и с игриво-остроумными припевками, вроде:

Я качана паліваць, качан мяне цалаваць!
Ох, маці, качан, — да душы, маці, качан!
Я ў клеці па муку — качан мяне за руку —
Ох, маці, качан, — да душы, маці, качан!

Это разумеется, не все: кочан более настойчив и неотвязчив, но этого довольно.

Опустил и другие пляски, которые в мое время вытеснялись заносными полькой, кадрилью, вальсом, краковяком и мазуркой, державшимися первоначально в панских и шляхетских кругах, а затем перешедшими, чрез посредство дворни, и в народ.

Пляски только изредка устраивались в корчме, где для этого была специальная «стодола» — крытый двор.

А большею частию — летом — на дворах, гумнах и лужайках, а зимой в избе попросторней, где есть заинтересованные парни и девушки и где пола не жалеют и к шуму и гаму относятся терпимо.

Действуют, разумеется, взрослые: они устраивают складчину на музыку, в складчину же иногда угощаются водкой и закуской, чтобы прибавить одушевления, а девушек — пивом и сластями, вроде «перников» и орехов. Но обычно присутствуют и подростки и даже малыши: ведь любопытно — и как иначе научишься танцам, которые так увлекательны и которые понадобятся, когда придешь в возраст.

Если гулянка идет на дворе, на гумне, на лужайке, как это обычно весною и летом, то подростки допускаются или их терпят. Но если пляски идут в избе, где тесновато или народу

много, то малыши и подростки безжалостно изгоняются. При этом наблюдается возрастный ценз: кому вскоре танцы понадобятся, а кто еще может подождать, не к спеху!

Однажды, при таком отборе, я сидел и дрожал за свою участь: мне было 12 лет, возраст самый сомнительный: ни в тех, ни в сех.

— Пашлі вон, жэўжыкі! — скомандовал Казимир, мой позднейший приятель. — Пашлі вон, — і без вас цесна!

Но никто добровольно не хотел попасть в число «жэўжыкаў». Начался персональный отбор и вышибание. Я сижу и дрожу.

— А ты чаго сядзіш? (Это относилось к моей особе.) — Ступай, вон: яшчо рана па гулянках хадзіць!

И меня бесцеремонно вытурили вон, в числе прочих недоростков, с презрительной кличкой «жэўжыкаў». Обида была горькая: позор, позор всенародный. Как я жалел, что года еще не вышли!

Вскоре я ответил тем, что, пользуясь отсутствием отца, собрал вечеринку у себя. И тут уж я, в качестве хозяина, отплясывал со взрослыми на равных правах. Это затушевало мою недавнюю обиду и послужило чем-то вроде приема меня в заправские кавалеры.

Раз пошло дело об обидах, то надо рассказать еще про одну в том же роде и, пожалуй, более глубокую, так как она больно ударяла по моим несомненным нравам на внимание и почет.

Был у нас свояк или дальный родственник Августын из Капачевки. Женил он сына на дочери Сергея Середульца, по прозванию «кат», ибо он частенько сек розгами мужиков «на прыгоне». («Каб яму рука атсохла», про него говаривали.) Сам Августын приехал просить нас на свадьбу.

— Уж во як угашчу! — говорил он, упрашивая. — Дружыну зграмаджу бальшую: разару Сяргея Серадульца.

Августын был человек пустой, но все же свояк, а от роду — не в воду: мы должны быть представлены на свадьбе. Из взрослых никто не поехал, а послали Юзика и меня в дружину женихову. Мне было 12 лет — возраст допустимый для дружинника. Нарядились мы во все лучшее, что имели —

и отправились в Капачевку после венца. «Весельля» было довольно безалаберное, мать женихова вскоре напилась непозволительно, Августын тоже напился, — и в доме никакого порядку не было. А в таких случаях — все дело в порядке и в «прымусе». Без «прымусу» никто ни пить, ни есть не станет: приличия не позволяют. Пляски не ладились — и мы были порядочно голодны. Но первый день, пока мы угощались у жениха, было неважно, но сносно: обиды нашей родовой чести не было.

Не то было на следующий день, когда дружина отправилась за невестой.

Прошли мы по улице лихо — с песнями и выкриками, взяли приступом двор невесты, как полагалось по ритуалу, я с Юзиком живо перемахнули через забор и открыли ворота и построились на дворе, как следовало по ритуалу: дружина впереди, а бояре и боярки сзади в три ряда. Запели мы победно-ритуальные песни. К нам должны были выйти с невестой «вечеринки» и «снеданки» — дружина невесты, «приданки», ее почетные родственницы и бояры. Вышли, под ритуальные песни. Невеста со снеданками должна «вязать» дружину полотенцами и поясами. Вяжут, начиная со старшего дружки. А когда дело дошло до меня с Юзиком, то, видимо, полотенец и поясов стало жалко.

— А гэтых панічкоў — чы вязаць, чы не? — обратилась сватья к матери невесты. Та отрицательно мотнула головой. И так мы были не повязаны, имея на то все права. Обида кровная целому нашему роду. Тогда мы с Юзиком, блюдя свое достоинство и достоинство рода, вышли из рядов и за ворота. Никто нас не стал упрашивать остаться: ни жених, ни Августын, ни старший дружка, что касалось и их чести. Но они этого не понимали или не обратили на это должного внимания.

Мы, униженные и обиженные, пошли со свадьбы домой совершенно голодные, негодующие и ругающиеся: вот так угостил Августын! И допустил без протеста такую обиду дружине или дружкам!

В довершение нашего злоключения, когда мы шли полями, разразилась страшная гроза с градом — и укрыться негде. Скользили мы по грязи, промокшие до костей (в лучших-то платьях!), иззябшие и голодные.

Ну, и досталось же Августыну от бабы Рузали! Она, как следует, постояла за честь своего рода.

То ли дело на свадьбе Кацярыны Лісоўскай, где я фигурировал вместе с Юзиком в «вечерниках» в дружине невесты. Пировали мы здорово, я, за молода, напился пьян и три дня плясал до упаду, а на четвертый день сидел за столом и неприлично спал, сидя. Тут все было, «як належыць». Баба Рузаля «парадак давала» и потому свадьба, по всем правилам обряда, начавшись в воскресенье, тянулась до четверга, проходя в разного рода действах.

В 28-м году, когда я был в последний раз в Холопеничах, я еще встретил Катерину, уже 80-летнюю старушку, маленькую и худую. Видимо, нелегко шла ее жизнь и не весела была ее старость. В утешение мы с ней вспоминали, как весело пировали на ее свадьбе.

На многих «весельлях» или, по другому, «узглядзінах», т. е. торжествах и зрелищах, я бывал, но никогда не видал столь сложной и стройной и, скажу, столь трогательной свадьбы, как свадьба Аўдулі Новікавай, племянницы «дзядзіны» Насты.

Было бы слишком долго описывать сложный свадебный обряд даже в его существенных моментах, и я этого делать не буду, но несколько остановлюсь на его общем характере. Его отличало серьезное, сознательное, проникновенное, я бы сказал — религиозное (и это всего лучше) отношение невесты к отдельным частям ритуала, в котором ей отведена главная роль. Высокая и стройная, с несколько грубоватым, но выразительным и не лишенным приятности лицом, — в цветастом головном уборе, несколько кричащем своей разноцветной и яркой красочной пестротой; убранная, как убирали в древности жертву, обреченную на заклание; обладающая звучным и красивым голосом и уменьем «причитывать», что весьма важно, она в своих выступлениях сумела придать сложному свадебному действу характер религиозной мистерии, давая определенный тон и заражая своей настроенностию, своими переживаниями всех остальных непременных участников, — исполнителей столь важного в жизни человека, особенно девушки и — подчеркну — особенно крестьянской девушки, переломного момента, каким

является брак, тем более брак с выходом в чужую, часто неведомую или далекую семью.

Людям 30-х годов XX века трудно понять, не только почувствовать, что переживала девушка, выходя замуж даже 60, а тем более 100 лет тому назад. Ведь сколько мы за это время пережили социальных переворотов — и таких, которые, как размывание, выщелачивание и выветривание горных пород, действовали незаметно и постепенно; и таких, которые, накопив достаточные силы, разражались революционным взрывом, как ураган, землетрясение или вулканическое извержение, производя своей мощью, колоссальной силой не только экономические, политические и общественные перевороты, но потрясая и изменяя психический строй человека, характер его настроений, верований и обусловливая тем самым переоценку прежних интеллектуальных и моральных ценностей, как это бывает с ценностями биржевыми во время кризисов. И экономическое, и юридическое, и бытовое положение женщины в корне изменилось, а вместе с тем изменились и ее воззрения на быт и природу вещей и их значимость, и на их влияние и взаимодействие, особенно в решающие, или, лучше сказать, роковые моменты. А таким моментом был брак и связанные с ним церковные и бытовые обряды.

Что значил этот момент? Роковой перелом в жизни, прыжок в бездну неведомого, — вот что он значил. Менялся семейный уклад, основанный на кровной связи с комплексом родственных чувств, менялась привычная обстановка, менялась власть отца на более суровую, а иногда и жестокую власть свекра и мужа, менялась любовь или добрые чувства матери и сестер на равнодушие, а иногда и злобу свекрови и золовок и, наконец,— при неустанном труде, предстояли болезни родов, болезнь и смерть детей, трудности их воспитания и их дальнейшая судьба — т. е. большею частию — слезы и слезы.

Теперь представьте себе, что все это неведомое будущее, в момент брака зарождающееся, может быть таким и иным, плохим и хорошим, в зависимости от того или иного расположения некоторой таинственной воли — Бога или судьбы — и малоизвестных воль и сил, в этот момент определяющих всю дальнейшую судьбу вступающих в брак; и еще представьте

себе, что на этот сложный комплекс воль и сил можно повлиять и в дурную и в хорошую сторону известными словами, имеющими действенную силу, известными магическими обрядами, испытанными в своей помогающей силе и добром значении и переданными нам «от старых людей», более мудрых наших предков; и еще представьте, что личные чувства и переживания невесты и жениха, и лиц, им близких, в особо важные моменты брачного торжества имеют ту же действенную, определяющую будущее силу; — представьте себе все это, и тогда вам станет понятным, в каком настроении должны находиться жених и особенно невеста, как сторона наиболее зависимая и страдающая, и как они должны относиться и к своей роли в этом действе и к роли и значению других, свершающих над ними ряд установленных действ, — и как важно, чтобы все было совершено по установлениям, как подобает.

Старинный белорусский брак — это не только пир, — это, прежде всего и больше всего, религиозная мистерия, от правильного свершения которой весьма многое зависит.

Все дело в верованиях, в воззрениях, пусть ложных, но раз они считаются истинными, то их совершают с чувством доброй веры.

Есть ходячее мнение, что чем больше и искреннее будет невеста плакать в известные моменты брачного ритуала, тем больше она будет радоваться в жизни. Как сложилось такое мнение — это другой вопрос, но оно существовало, признавалось истинным, и плач для невесты с известными причитаниями считался обязательным.

— Якое тэта вясельля, калі маладая не плачыць? — Мне часто приходилось слышать, когда невеста слабовато или притворно или неумело плакала.

— Вот табе і вясельля! Сядзіць маладая, як пень прыбраны, і яшчо смяетца. Насмейся, міленькая, — патом выплачыш усе гэтые смешкі! — Приходилось слышать и такое мнение от старых и опытных в житейских делах.

Раз причитанья обязательны, то их заучивали, как учат песни, вместе со словами и напевом. Даже упражнялись в них загодя, чтобы потом, в нужный момент, не осрамиться.

Допускались и практиковались легкие отступления, импровизация, но подходящие по содержанию и не выходящие из общего тона, как это допускается и в похоронных причитаниях.

Это дело таланта, не всякому дается.

Воображаю, как была бы великолепно-трогательна тетка Марыля в свадебной роли невесты! Я ее видел только в роли «убиральщицы» невесты к венцу, сопровождаемой причитаньями, да в подходящей роли плакательницы по покойникам: она была неподражаема в своей искренности.

Такова же была и Аўдуля. Она выходила замуж в далекую семью и, видимо, за случайного парня и нелюбимого. Все дело, по-видимому, было в материальных расчетах и родительских соображениях: семья богатая (это значит: будет много работы), муж бондарь — с золотыми руками, всегда готовый грош. Так говорилось, убеждая невесту, но она понимала, что богатые — значит, скупые, копят деньгу, значит, живут мало чем лучше бедняков. Все это вместе взятое, в связи с звонким, заливистым голосом, делало ее исключительно трогательной в важные моменты ее выступлений. А такими моментами, в качестве кардинальных, считаются: благословение родительское, крестных и всего рода перед венцом; потом приезд или приход жениховой дружины с имитацией нападения, в целях ее похищения; сажание невесты на посад с выкупом косы и, наконец — прощание с родом и домом.

Авдуля так билась в ногах родителей, так голосисто заливалась с непритворными слезами и захлебыванием, что все сочувственно плакали, и я, вчуже, заливался слезами. Хорошая была свадьба! И долго помнили Авдулю, как она проникновенно, с искренним чувством и потому трогательно выполнила весь обряд. Я видел на сцене постановку свадебного обряда (такова, например, пьеса известного этнографа Янчука[239], кажется, «Пилий Музыка»), где тщились воспроизвести в искусстве то, что совершается в жизни. Мое впечатление было: гальванизированный труп, хотя исполняли хорошие артисты труппы Старицкого и Кропивницкого, с известными Заньковецкой и Боярской во главе.

Далеко им до Аудули Новиковой! Она была неподражаема, потому что была естественна, при наличии всех потребных данных.

Ну, теперь мне надо на время расстаться с Холопеничами и тамошними моими переживаниями.

Весной 1876 года мы всей семьей переехали снова в Минск, оставив свою хату под замком. Стало быть, в это время мне было 14 лет. Это был важный момент в моей жизни: с него начинаются мои почти четырехлетние, с короткими перерывами, городские скитания по разным ремесленным выучкам, вроде хождения души по мытарствам, вплоть до поступления в Несвижскую учительскую семинарию, после чего я вышел на широкий путь интеллигентской работы, в разных ее направлениях и, поэтому, с широким охватом. Связь с Холопеничами еще не была порвана, но сильно ослабела: я появлялся в них на месяц, на два, на три в год. Но тяготение к двору, как месту летних, то есть сезонных, заработков совсем оборвалось: я нашел другую почву для своей кормежки, — почву, правда, зыбкую и непрочную, но иную, сильно отличающуюся и по духу, и по нравам, и по прочим условиям.

Прощаясь с Холопеничской усадьбой, где я впервые клал свой почти детский труд, и с ее обитателями, так или иначе эксплуатировавшими этот труд, я о владельцах этой усадьбы, семье Вилькен, ничего не могу сказать дурного. Если отвлечься от их положения владельцев, обусловленного общим порядком вещей, то лично они были люди как люди, с известными недостатками, но скорее хорошие, нежели дурные. Вообще злобных чувств у меня по отношению к ним не было и не сохранилось.

Старуха, после продажи имения, заложенного и чувствительно опустошенного и потому малодоходного, графу Кейзерлингу, вскоре умерла; ее сын Дмитрий Рудольфович, как полагается, делал карьеру по судебному ведомству, а дочь Ольга Рудольфовна испытала ту же участь, что и Фэма Погосска: тот бравый офицер Павлин, который искусно танцевал любопытные танцы, когда я был изгнан за босоногость, сыграл в ее жизни ту же роль, что и мой дядюшка Онуфрий в отношении недалекой Фэмы, поиграть — поиграл, да и на

попятный. Слезы были, и — надо думать — не менее горькие — там и тут.

Так или иначе — наши пути разошлись, чтобы более не сходиться.

По приезде в Минск мы сняли квартиру в одну комнату в подвале по Подгорной[240] улице, против женской гимназии, а рядом с нами был кабак довольно низкого разбора. Такова обстановка, худшая из всех бывших ранее. Хорошо в ней было только то, что мы все вместе — отец, мать и четверо детей. Здесь же, в этом подвале, мать родила моего младшего брата Александра или Олеся, как мы его звали, славного мальчика, много обещавшего, который прожил около 3-х лет и скончался в Холопеничах от крупа. Это был последыш в нашей семье, сверкнувший, как метеор, оставив по себе материнские слезы.

Отец в этот приезд почти не имел длительной службы: она просто ему не давалась и он даже решил избегать ее, чтобы не быть зависимым. Помню, что он служил несколько месяцев у инженера Саватовского и у крупного железнодорожника фон Мекка. Но это были эпизоды. Большею же частию он промышлял тем, что готовил — от случая к случаю — на свадьбах, именинах, прочих вечерах для людей среднего достатка, которые своей кухни не держали или довольствовались кухаркой, а в известных случаях хотели блеснуть богатым столом. Брал он за это от 5 до 10 руб., — плата была бы хорошей, если бы она была частой. Но дело в том, что она была довольно редкой. И выходило по польской пословице: разом годы, а разом глоды. А в среднем мы жили достаточно бедно. Тем более, что отец, соблюдая свой зарок не пить водки, не зарекался пить вино, мед и пиво.

Никому бы и в голову не пришло настаивать, чтобы он этих, сравнительно легких напитков, не пил. К тому же в Холопеничах, кроме слабого пива, дешевого вина не было, а дорогое не по карману, да у отца, впрочем, долгое время и склонности к хмельному не было. Но в городе эти вкусные и дешевые напитки были (кварта изюмного вина или хмельного меду стоили 10—12 коп., впоследствии — 15), и в это время он их, с устатку, пивал. Где всякая копейка на счету, как в нашей семье из семи ртов при одном добытчике, то

и это уж был чувствительный и потому нежелательный расход.

Часто меня отец брал с собой в винные погребки пить изюмное вино и мед. Мне нравились эти вкусные и возбуждающие напитки, и я и сейчас пил бы их охотно. Но если их много пить, то охмелеешь. Отец допьяна не напивался, но под хмельком бывал. Но он не был буен во хмелю — это хороший знак. Признак хорошей натуры, в том смысле, что в глубине нет зверя, который бы, при поражении задерживающих центров алкоголем, срывался бы с цепи. Напротив, под хмельком он бывал добрее вдвое, если не всецело. Ничего не жалел и ни в чем не отказывал. При этом впадал в наставительное, морализующее настроение, постоянным объектом которого или, правильнее, жертвой становился я, так что наши хождения в погребок были для меня «уроками благочестия». Он говорил без конца, приводил бесчисленные примеры своего и чужого опыта, «прыклады», как он называл, назидательные пословицы, нравоучительные побасенки, примеры «от писания», которые от меня же слышал — и так без конца, долго и нудно. Мне это надоедало, я уставал слушать, я скучал, но он это считал своим долгом и выполнял его, как умел, очевидно, считая, что и мое сердце размягчено, как его, и пришло в состояние сладкого умиления.

Так мы благополучно вошли из педагогического периода розог или угрозы, или мотивов, по Юркевичу, сильнодействующих, в период добрых и умилительных «прыкладаў». Я в них не нуждался, ибо давно знал, хотя бы из «Училища благочестия» и других равноценных источников, но ничем не мешал исполнять своему отцу свой родительский долг.

А он к нему, поскольку дело касается меня, относился серьезно, и одним из мотивов нового переезда в Минск — как раз была забота о том, чтобы пристроить меня в какую-нибудь ремесленную выучку, чтобы я имел в руках обеспеченный кусок хлеба. Такое намерение в нашем положении было вполне разумным, и лучшего нельзя было придумать.

— Только не в повара, — говорил он, — и не в лакеи.

Как ту, так и другую службу он всей душой ненавидел, ибо как та, так и другая сопряжены с необходимостью кому-то

угождать, подчиняясь капризам, от кого-то зависеть в самом насущном. Я и сам не хотел ни того, ни другого.

Долго взвешивали разные шансы и возможности отец с матерью, были к этому обсуждению приглашены Холопеничские выходцы Гласовские всей семьей, во главе с мужем одной из них, Булатом, человеком опытным и по всестороннем обсуждении (я имел совещательный голос, как невеста при выборе жениха) всех выгод и возможностей разных производств, были выделены два на выбор: кондитерское дело или выучка железнодорожной технике. Первое вообще хорошо оплачивается и не исключается возможность, при выгодной женитьбе или личной бережливости, открыть свое производство. А второе — только что вошедшее в ход, вообще хорошо оплачивалось. Поучиться в мастерских при депо, поездить помощником машиниста, а там машинистом: 50 руб. жалованье, не считая экономии на дровах, смазочном масле и «концах», т. е. текстильных обрезков для смазки и вытирания, — в общем около 70 руб. в месяц.

Все это было учтено и рассчитано, как по косточкам, и основано на живых примерах.

Выбор был предоставлен мне. Я бы очутился в положении буриданова осла между двумя равными вязанками сена, если бы руководствовался одной материальной стороной дела, денежными выгодами той и другой профессии: обе представлялись одинаково выгодными. Но с одной стороны — смрад, дым и копоть, пыль, зной и холод, а с другой — теплое помещение и самые вкусные вещи.

Я выбрал кондитерское дело.

Это было в самом начале нашего приезда в Минск.

В то время лучшая кондитерская принадлежала немцу Тирману на Тюремной улице.

Отец пошел у нему и законтрактовал меня в выучку на 5 лет. Обычный срок. Я был единственным учеником. Были лишь два мастера и два «сторожа»: они ничего не сторожили, а просто были подручные рабочие и для грязных работ. Один мастер был поляк из Познани, говоривший по-немецки, а другой чистокровный немец из Гамбурга, только что приехавший и ни слова не понимавший по-русски.

Надо отдать справедливость Тирману, особенно его жене, они были ко мне очень внимательны и смотрели на меня, как на воспитанника, вверенного их попечению, и относились к своей задаче весьма серьезно. Прежде всего — они хотели меня изолировать от вульгаризирующего влияния прислуги. И поэтому требовали, чтобы я с ними за одним столом ел и пил. А это меня — в непривычной обстановке немецкой чопорности — стесняло, и я чувствовал себя более в своей среде на кухне — с кухарками, кавярками, горничными и сторожами. Тут было свободно, весело, а я был смешлив и хохотал до упаду. Мне мадам делала замечания, но я упорно избегал немецки чистой и натянутой обстановки и упорно стремился в кухню. Она жаловалась отцу, но и это не помогало. Я, конечно, падал в ее мнении, как дурно воспитанный деревенский мальчик, и не знаю — чем бы это кончилось, но немец из Гамбурга положил конец этой борьбе демократических вкусов и повадок с буржуазными.

Дело произошло очень просто: он мне говорил по-немецки, чего-нибудь требуя или что-нибудь объясняя; он при этом странно жестикулировал, поясняя свою мысль или требование, а я не понимал и так как был в этот период смешлив, то неудержимо смеялся. Это его злило. Иногда он прибегал к помощи другого мастера в качестве переводчика, но не всегда это было возможно или удобно. Тогда он, видимо, решил испробовать другой метод, чтобы сделать меня более понятливым и отучить от смеха. Он меня избил и притом избил зверски, как меня никто и никогда не бил. Я был оглушен ударом и свалился с ног, вскочил и стал удирать, но он продолжал бить вдогонку, пока я не вбежал в комнату хозяев.

Я тотчас же ушел домой и рассказал об этом отцу. Отец немедленно отправился туда, чтобы избить немца, но он заперся в своей комнате, так что дело ограничилось криком и угрозами. Я был взят от Тирмана, где пробыл только две недели.

Так печально окончилась первая попытка моей выучки.

Тогда ухватились за другую, уже обмозгованную — за обучение в мастерских при депо Либаво-Роменской ж. д. Это было небольшое депо и соответственно небольшие

мастерские. На Московско-Брестской ж. д., ныне Белорусской, мастерские были много больше, но ходить гораздо дальше. Был и другой мотив для выбора: отец раздобыл рекомендательное письмо от инженера Соватовского к начальнику депо Трофимову.

Мы и предстали пред этим важным лицом. Шапки долой, разумеется. Прочитал он письмо, взглянул на меня, спросил — сколько лет, и, видимо, удовлетворенный осмотром и годами, повел меня в депо. Мы шли среди ряда паровозов в самый конец. Встретив приземистого человека в чистой одеже с русой бородой (как оказалось, это был монтер Орлов), Трофимов сказал ему, указывая на меня:

— Вот вам новый ученик! — повернулся и ушел.

Орлов повел меня еще дальше и, подойдя к паровозу, вздернутому на дыбы домкратами, дал мне в руки скребок и велел выскребать из ячеек обходной площадки смолистую и липкую грязь. Это был мой первый урок новой выучки.

Итак, оторванный от полей и лесов, из обстановки довольно простой деревенской жизни с ее вековечным укладом, правда, уже порядочно расшатанным, я очутился в чистокровной рабочей среде, людей станка и машины, и среди машинной обстановки, — переход слишком резкий, не менее резкий, чем попасть из экваториальных стран в полярные. Другой дух, другие нравы. Фабрика и машины имеют свои законы. Человек их создал и приспособил к делу, но они неумолимо и властно заставляют человека к себе приспособляться, и это налагает на работника машины особый отпечаток и меняет его психику. Ослабевает власть природы, уступая место власти машины. Не солнце, с его восходом и закатом, регулятор труда и отдыха: гудок — вот повелительный сигнал, как барабан в полку. Работа над полями и лугами, собственно, азартная игра, где можно выиграть, порою много, но можно и проиграть. Здесь же все рассчитано, согласовано и приведено к определенности: выигрыш обеспечен, только смотри в оба за ходом, проигрыши редки и кажутся чем-то недопустимым.

Когда я впервые взглянул чрез стекольчатую дверь в мастерские, они мне показались маленьким адом, где грешники скрежещут зубами, стонут и визжат. Все движется, вертится

между паутинной сетью приводных ремней, а люди, в лоснящихся блузах с запачканными черной смазкой лицами и руками, как гномы в подземном мире, мечутся, стоят, движут руками... Все в работе, все в движении.

Таковы были мои впечатления первого дня, в то время плохо осмысленные, но глубокие и достаточно понятные.

В 6 часов гудок. Все умывают руки маслом из масленок, вытирают «концами» и, захватив «нумера», высыпают к дверям, разбредаясь затем в разные стороны.

Я побежал домой в свой подвал делиться впечатлениями первого дня.

В 4—5 часов утра вставать, чтобы к третьему гудку попасть в депо и повесить свой номер в проволочной витрине под надзором конторщика, который, с заспанными глазами, в пальто сверх рубашки и кальсон, в туфлях на босу ногу, только что вставший с постели, ждал 10 минут, пока все повесят номера, делал отметки об отсутствующих и запирал на ключ витрину.

А ремни уже сновали, колеса вертелись, станки один за другим начинали скрежетать и визжать, пилы шуршать, молотки стучать и молоты бухать.

Мастеров и рабочих попроще было человек около 100, учеников разных возрастов человек 15—20. Я был самым младшим (позиция невыгодная), высоким и тонким.

Мастерская радушно объединила представителей разных племен: маленький интернационал. Преобладали великоруссы — туляки и москвичи, были белорусы, поляки, немцы, латыши и один еврей, по имени или по фамилии Бирка, — рослый и здоровый детина. Он работал и по субботам (в то время крайняя редкость), значит, был свободомыслящим, и в субботу иногда приходила его жена, в атласном платье, — стало быть, соблюдала «шабэс»[241].

На первых порах я употреблялся исключительно для простых и грязных работ: скоблил старую краску и копоть на паровозах, чистил площадки, чистил буксы — исключительно грязная работа, приходилось руками выгребать черное вонючее сало, от которого тошнило, лазать в топки, котлы и трубы, — словом — был «попихачем», тогда как все другие

ученики либо были приставлены к станкам, либо были подручными у определенных мастеров. Это зависело, как я узнал, оттого — сделаны или нет «списки», т. е. угощение мастеров. Это было в обычае. Если «списки» совершены как следует, в соседнем кабачке, вам монтер назначал определенное дело или присоединял к определенному мастеру и тогда вам назначали жалованье, на первых порах, 40—50 коп. в день. Были ученики, поступившие позже меня, сделали «списки» — и получили жалованье. «Списки» были обязательны и при увеличении или для увеличения жалованья. Мы уже знали, кто делает «списки» по корзинам с закусками, которые были приволочены с собой и ставились в машинном отделении до вечера.

Я «список» сделать не мог (на это надо было 10—15 рублей) и потому работал без платы.

Около двух месяцев я был в неопределенном состоянии. Но меня подобрал еврей Бирка (кстати скажу — самый порядочный и самый трезвый из мастеров) в качестве подручного по ремонту паровозов. Я с ним работал около 3—4 месяцев и все бесплатно. А дома очень и очень ждали заработка. Наконец отцу это надоело, и он пошел к начальнику депо просить о назначении мне какой-либо платы.

Вызвал меня Трофимов и спросил нового монтера Бровина, что я делаю и насколько являюсь умелым. Тот отвечает очень неопределенно:

— Так отвинтить, привинтить, завернуть гайку, притереть краник...

Трофимову, надо думать, этого показалось недостаточным для оплаты — я ничего не получил. Стоял я у токарного станка при обточке колес: дело простое.

Под конец меня поместили в инструментальное отделение в качестве подручного по выдаче и приему сложных или особо ценных инструментов, которые не выдавались мастерам для постоянного пользования. Здесь сидел и работал хороший мастер, и я стал упражняться в холодной обработке металла. Помню, я выпилил изящную миниатюрную наковальню, водрузил ее в колодку и сбоку бросил махонькие клещи и молоточек типа «пукгамер». Вышло оригинальное пресс-папье.

Увидел его у меня помощник начальника депо Ефремов, полюбовался — и взял себе. Ну, думаю, теперь-то назначат мне плату. Ничуть не бывало, без «сприсок» и изящная вещица не помогла. Э-хэ-хэ... Всего я пробыл в мастерских 7 месяцев. Вышел из них по требованию отца, требованию основательному: ходи, обувь рви, платье гнои, хлеб свой ешь, 12 часов, с перерывом на обед, работай — и ничего не платят!

Я ушел без сожаления. Нравы рабочих мне пришлись не по душе. Разговоры были грубыми и циничными. Я знал, что после «сприсок» многие отправлялись толпой на «Новое строение», где продавалась любовь по таксам 50 коп. и 1 руб. Деревня этой любви боялась, как огня, и относилась к ней с каким-то мистическим страхом: там «францами»[242] заражаются. В белорусской деревне сифилиса смертельно боялись: ни в Холопеничах, ни в окрестных деревнях сифилиса не было. А среди рабочих и даже учеников он водился, и я здесь ознакомился с терминологией разных видов венерических болезней. Я боялся заразы.

Потом на моих глазах произошло несколько катастроф с людьми. Машина коварна и безжалостна, не напрасно я относился в детстве, когда были в Рыни, с мистическим страхом к безобидным веялкам и сортировкам, молчаливо, словно замышляя недоброе, стоявшим в обширном сарае, оскаливши зубцы своих колес.

То ли дело наша добрая кобыла, которая, когда я, неумелый шести- или семилетний седок, падал на рысях, останавливалась и возвращалась ко мне, лежащему, сочувственно обнюхивая: жив или мертв.

За 7 месяцев моего пребывания в мастерских случилось пять несчастных случаев с людьми. На моих глазах зубчатое колесцо откусило палец ученику Русецкому, — так ловко откусило, что он и ахнуть не успел: — готово! Да что палец! Были раздавленные ноги, были несчастья и серьезные: например, токарю, бородатому немцу, прихватило бороду под приводной ремень, когда он неосторожно, слишком низко нагнулся к обтачиваемой работе: оборвало полбороды с мясом. Был случай, когда верхний приводной ремень, который мастер, став на верстак, хотел передвинуть на колесе, подхватил его

за блузу и, обмахнув, вокруг колеса, швырнул на пол. При наличии таких случаев, что всего чаще машина хватала за блузу, предпочитали носить блузы гнилые и рваные, в качестве предохранительного средства.

Но эти страсти преходящи и скоро забываются. А главное — я ушел потому, что убедился, что здесь в мастера не выходят, а если и выходят, то в очень узкие специалисты, вроде сверлильщиков дыр или обтачивальщиков колес, что настоящие мастера, на все руки, сюда приходят в готовом виде из частных мастерских и что такие-то мастера здесь высоко ценятся, получая по 50—70 и более руб. в месяц.

Я решил учиться у частного мастера. С этой целью мы с отцом обошли несколько минских мастерских. Побывали у еврея «бичмахера» — оружейника — нашли, что слишком узкая специальность. Поговорив, ушли. Прошли на Юрьевскую[243] к ножевщику, поляку Озембловскому, вступили в переговоры (здесь все — по-польски и на польский лад). Условия: пятилетний срок, кормежка и все содержание от мастера; первый год уплатить ему 50 руб., второй — 30, а третий — 20. Отец, сгоряча и под обаянием убедительной польской речи, согласился и, оставив меня здесь, обещал прийти подписать контракт. Я недоумевал, но молчал, и мне вовсе не хотелось быть ножевщиком: узко.

Пан майстэр Озембловский повел меня в кузницу, где представил подмастерьям, называя их: пан Стэфан, пан Игнацы и пр., познакомил с учениками и представил пани майстровой, — все чинно, как у Тирмана, что не помешало немцу здорово отдуть меня. А затем, после этого церемониала, меня поставили вращать маховое колесо точильного камня. Я полдня его махал, сгибаясь и разгибаясь, без перерыву, а точильщик столь же беспрерывно, сидя на возвышении, острил и шлифовал нож за ножом, брызжа потоками искр. Штука спервоначалу занятная, но уж очень томительная и скучная при этом равномерном покачивании — вверх и вниз.

Я был обречен не меньше чем на год по целым дням так болтаться. Я уже порядочно устал и покрылся потом, когда вошел мой отец и, ни слова не говоря с паном Озембловским, скомандовал мне: «Ступай домой!»

Я живо оделся и с удовольствием ушел из этого дома каторжной работы.

Мать, как всегда, более благоразумная, указала отцу и на несправедливость, и на неосуществимость этих тяжких условий платежа. За что и чем платить? Легко сказать: 50 руб. или хотя бы 30!

На следующий день мы отправились к слесарю Минкевичу, тоже поляку из Варшавы, имевшему дом и мастерскую на берегу Свислочи, у Полицейского моста[244].

Тут дело наладилось проще и лучше: 5 лет выучки и все содержание от мастера. Чего лучше? И здесь полная и разносторонняя мастерская: и кузнечное дело, и слесарное самых разнообразных вещей — от замков и разных слесарных поделок до полной оковки домов.

Тут я и остался в кабалу на 5 лет. Я нисколько не унывал: «без горя добра не будет», — мне было сказано в напутствие моей мудрой бабушкой.

Я был, как водится на первых порах, сразу поставлен дуть мехами и бить молотом кузнецу Никите.

Это был отставной солдат, ходил в мундире без рукавов и в опорках. Был искусный кузнец, неделю работал прилежно, в воскресенье напивался. В понедельник был мрачен и угрюм, придирчив, — хотелось опохмелиться, а денег не было.

Денег не было, но в его распоряжении была издавна практикуемая возможность их раздобыть, с которой я познакомился в первый понедельник. Операция была довольно простой и обычной. Из кусков стали он выбрал наиболее подходящий по величине и форме и сунул его в перегар на горну. Когда работы были закончены, но горн еще не совсем угас, этот кусок совался в горн, раскалялся добела и ударами молотка и молота живо превращался в кухонный нож надлежащей формы. Насаживался в готовый черенок, точился и шлифовался на камне и в полчаса был готов — острый и сверкающий. Никита его совал в карман своих портков и, сбросив кожаный передник и, одев свою мундирную безрукавку, шел, в солдатской шапке без козырька, одетой набекрень, к соседней торговке железными вещами, где продавал его за гривенник. Этого было достаточно, чтобы опохмелиться. Опохмелившись, он приходил

в более уравновешенное настроение, вытягивался на нарах в кузнице, где мы с ним спали, и говорил: «Почитай мне про божественное». Я брал «Училище благочестия» и начинал, при свете лампочки, лежа, читать какое-нибудь назидательное повествование. Он живо засыпал, с присвистом в нос. Я следовал его примеру, ибо рано надо было вставать. Иногда, ложась, он начинал рассказывать про свою солдатскую жизнь, но скоро речь становилась прерывистой, потом бессвязной — и он впадал в крепкий сон, хотя наши нары имели только тонкий слой примятой соломы, покрытой дерюгой.

Но в воскресенье вечером, когда он приходил из кабака сильно пьяный, он обыкновенно ко мне придирался и ругал за слабосилие.

— Какой же из тебя выйдет кузнец? — Дерьмо, а не кузнец! Вот, побил молотом неделю без году — и уже ручки ему болят! Когда я был таким, как ты, я уже лошадей ковал; а ты гвоздя порядком вытянуть не умеешь.

Говорил он это с обидным презрением в голосе, подчеркивая отдельные укоризненные слова, морщась и выпячивая губы. Но бить меня — никогда не бивал, хотя был в полном праве, которого никто не оспаривал, а я всего менее. В общем — отношения у нас были дружественными. Чуть не каждый понедельник, а иногда и загодя, мы изготовляли с ним ножи.

Что это — была кража? Никто этого не думал, это был обычай, так сказать, освященный веками. Хозяин это знал и в свое время сам это проделывал, то есть знал, что так делают, что это «самим Господом Богом так установлено». Это делали и слесарные подмастерья — каждый в своем роде. Хозяин — смотри в оба, а мы друг дружку не выдавай, — так формулировалась житейская этика мастерских. Да и чем рисковал хозяин в гривенничном ноже? Пустяком. Все остальное был наш труд и уменье. Да и насчет «пустяка» всем ясна была мысль, что не только «пустяки», но и его дом и мастерские были делом наших рук, в том числе того же Микиты. Это я пишу не в оправдание и не в осуждение, а повествую, как стояло дело.

А что касается его презрительной фразы на мой счет: «уже ручки ему болят», то она нуждается в пояснении.

Мои «орудия производства», молоты, были тяжелые: один фунтов 5, а другой 8 или 10. Надо было бить то тем, то другим, смотря по свойству работы. Бьют двояко: часто, вслед за мастером, где он указывает своим молотком, и вкруговую, со всего маху, держа рукоятку за конец. Это когда рубят железо, пробивают дыры в толстой полосе и т. п. Так вот, — когда я побил так с неделю, — у меня страшно разболелись руки в плечах. Невыносимая ноющая боль. Даже внешнее прикосновение, как к опухоли, было болезненным. Когда я сказал об этом, был поставлен знатоками дела такой диагноз: разошлись жилы. Никто и не подумал дать мне передышку. А употребляли испытанное средство: перевязывали мне руки на запястьях красными шерстяными ниточками. Еще неделя-другая — и все прошло: жилы больше не расходились, и мышцы на руках отвердели.

Каков был мой хозяин, пан майстра? Человек был не злой, только пьяница. Это был старик, бритый, но больше ходил с серой щетиной на подбородке и под носом. Лицо красное и от загара у горна, и от водки, а нос вроде крупной картофелины, был покрыт сизыми и красными жилками, и был какой-то вздутый: вот-вот лопнет от натуги.

Скопив капиталец, он жил в свое удовольствие: перед завтраком он выпивал две чарки водки, — крупных, из толстого стекла, — во время обеда 3 или 4, и за ужином 2 или 3, смотря по влечению духа. Дело шло без его постоянного участия, как заведенная машина. Он привлекался только при приемах крупных заказов и торговался, пьяный или трезвый, долго и упорно, с шутками, присловьями, уступая понемногу вплоть до заключительного обряда — битья по рукам. Этот процесс, видимо, ему доставлял большое удовольствие: он жил и дело делал, «як-се належы». Мелкие заказы принимали «челядники», подмастерья.

После обеда, сильно под хмельком, он обходил мастерские, где стоял длинный стол, заваленный инструментами разных форм, величин и назначений, и по стенам — верстаки с тисками, как основными приспособлениями слесарного производства. Обходя, смотрел — кто что делает, и иногда делал замечания к делу и не к делу. Приходил в кузницу,

где мы орудовали с Микитой, поводил кругом осоловелыми глазами (бледными, вроде оловянных пуговиц) и придирался к какой-нибудь мелочи. Он говорил, обращаясь ко мне:

— А... патш, цо то ест? Цо то за пожондэк[245]? — и тыкал пальцем на какие-нибудь клещи или молоток, валяющиеся на полу. А потом дергал меня за ухо (впрочем, — не больно, как обряд, для порядка), повторяя: — А-а, галгане[246], лайдаку[247]... И уходил к себе в покои, редко повторяя обход, разве что его вызывали.

Это был обряд, скорее, имеющий символическое значение, чем хозяйственное, производственно-экономическое. Он выполнял свой хозяйский долг, — смотрел за порядком, в сущности лишенный возможности что-нибудь изменить, да и менять было нечего: и без него все шло достаточно хорошо.

Пани майстрова, которой я, в качестве младшего ученика, был «подвержен», ибо был обязан выполнять ее приказания по домашним работам, не в пример мужу, была красивой старухой, даже величавой, как знатные пани в портретных галереях польской знати. Она была варшавянка и, надо думать, знавала в молодости веселые дни в этой веселой столице. Иногда она бывала под хмельком, но умеренно, не до опьянения, и тогда она очень много и молодо смеялась по всяким пустякам.

Мои обязанности в отношении хозяйки и ее «служонцэй», — кухарки и горничной вместе, были очень несложны. Либо одна, либо другая, по временам, кричали:

— Адольф, пшынесь-но джэва! Адольф, пшынесь-но воды!

Вот и все. Я приносил дрова и воду, черпая ведрами тут же под боком, из реки.

Кормили нас три раза в день, в кухне, за обширным столом, из одной общей миски, впрочем, челядникам подавались иногда глиняные тарелки, — и кормили хорошо, просто, но сытно, — и ешь до отвалу. Это было правило: накорми — и требуй работы. К столу появлялся хозяин, бессмысленно смотрел на стол и говорил: «Прошэ есць, прошэ добжэ есць». Это была обрядовая любезность.

Содержание? Ученики ничего не получали. Челядники получали 5, 8, 10 руб. в месяц. Микита получал 8, и когда требовал прибавки, Минкевич ему отвечал:

— Не дам: вшыстко рувно пшэпіеш.

Я пробыл в этой мастерской 6 или 7 месяцев, проработав около половины этого срока в кузнице, остальное в слесарне. Мастерская вскоре стала ликвидироваться. Сначала была закрыта кузница, и Микита был рассчитан. Ушел в пространство в своей безрукавке и опорках, и где-нибудь другая кузница его поглотила. Мы остальные — кончали так называемые «фабрики», т. е. оковку, ранее законтрактованных строящихся домов: навешивали двери и окна, врезывали дверные замки и ручки, пригоняли крючки и шпингалеты, — словом, выполняли всю слесарную работу. Постепенно исчезали «челядники», один за другим, по мере нахождения работы, затем стали уходить старшие ученики, присматриваясь к другим мастерским. Я ушел последним, ибо уйти мне было некуда. К весне мать с семьей возвратилась из подвала в Холопеничи, в свою хату, доверяя больше огороду, который надо было запахать и засеять, чем случайным заработкам отца.

Отец был в Бобруйске, поваром в клубе, и, списавшись с ним, я уехал в Бобруйск, где он имел в виду меня пристроить. Я никогда не жалел о том, что год и несколько месяцев затратил неудачно на разные технические выучки. Эта работа, и работа тяжкая, особенно тяжкая в положении младшего ученика, не прошла бесследно: я приобрел много опыта, житейских знаний, много ловкости, много полезных навыков и технических умений. Это в жизни никогда не лишнее. И всю жизнь свою я не расставался ни со слесарным, ни со столярным инструментом, имея под руками то более, то менее оборудованную мастерскую, в которой я давал исход своим силам и не без пользы применял свои разнообразные уменья. Я мало-помалу стал тем человеком, который мог бы сам удовлетворить все свои потребности. А это было моим идеалом, твердо закрепившимся под влиянием моих учителей П. Л. Миртова-Лаврова и Н. К. Михайловского.

Между прочим, дом слесаря Минкевича меня долго тянул к себе: кузница не хотела со мной расстаться. Она вместе со слесарной мастерской была обращена в жилые квартиры. И во второй половине 80-х годов, когда уже Минкевича не было в живых, эту квартиру занимали офицеры-народовольцы:

Эттглегер, Бржозовский и Анриевекий, к которым собирались другие офицеры для кружковых занятий и где я вел революционную пропаганду. В ней же, самой бывшей кузнице, жил мой товарищ по Народной Воле Е. А. Белах, ныне уже старик, как и я, и мы еще недавно вспоминали в Москве, как здесь гектографировали революционные брошюры. За этими работами, с гордым сознанием своего внутреннего роста, я с улыбкой вспоминал, как здесь я когда-то бухал молотом и визжал пилой.

Теперь о Бобруйске, куда я приехал. Это был короткий эпизод в моих хождениях души по мытарствам, но не лишенный смехотворной характерности: мой батюшка определил меня стоять за буфетом в том же клубе, в котором работал сам. Это была нелепая идея: парня, который только вчера управлялся с молотом и пилой, у которого не сошли шершавые мозоли с рук и загрубелые пальцы глядели врозь, поставить делать бутерброды, приготовлять и подавать закуски разных мудреных наименований, и наливать водку и вино. И это после того, как здесь стояла изящная барышня в белом кружевном воротничке и рукавчиках, говорливая, приветливая и с многообещающей улыбкой!

Я два дня мучительно простоял за буфетом: уж лучше бы молотом бить. На второй день, к счастью, плац-майор Чачин положил конец этой нелепой фантазии моего отца.

Сделал это он очень просто, заказав:

— Подать сюда глинтвейну и один гоголь-моголь!

Всего сразу не узнаешь: всеобщую историю по Веберу я знал хорошо, а этих штук не знал. В недоумении я побежал к буфетчику, то есть самому хозяину, чтобы он вывел из затруднения. Но его не было. Что тут делать? Чувствую — нависла глинтвейная катастрофа. Мимоходом я сообщил отцу о своем затруднении. Он мне наскоро много чего толковал, но я мало понял и решил выйти из трудного положения простым путем. Я заявил:

— Извините! Нет в буфете этого самого... как его... могель-гоголя. — За столом — громкий смех. Чувствую, что вконец осрамился.

Но плац-майор Чачин — старшина клуба и притом пользовавшийся особым вниманием моей миловидной пред-

шественницы, так пленительно смеявшейся, сверкая зубками, белыми, как чеснок...

Повторяю: плац-майор Чачин был старшина, ответственный за благопристойность и порядок. Он и в клуб-то пришел, чтобы положить конец этой несуразной затее. И поэтому он закричал:

— Дурак! (это я-то, а чем я виноват?) Ступай вон из-за буфета!

Я не замедлил очистить место.

Но мой батюшка, как известно, в горячей воде купан. Он сообразовался с положением, а не с последствиями. Он весь в белом — с головы до ног — из кухни выскочил в буфетную, взбешенный, с криком, не принятым в публичных местах, а тем более в клубе:

— Что это, то же самое, вы издеваетесь над мальчиком!.. — и выбросил, между прочим: — Вы, то же самое, хотите, чтобы за буфетом стояла эта потаскушка (он выразился несколько сильнее, но в том же смысле)!

И еще, то же самое, и в том же роде немало насказал.

Результат этой истории висел на кончике языка: в тот же вечер отец и сын были отпущены на все четыре стороны. На следующий день место у буфета было занято той же барышней, которая умела приготовлять гоголь-моголь. Всякому — свое. Бедняжка зарабатывала свой хлеб, как умела.

Мы пока пошли в погребок пить мед и изюмное вино — на равных правах, без последующих «уроков благочестия», от которых я незаметно эмансипировался.

Дорогой и пока мы пили, отец ругался, хулил весь порядок вещей, при котором рабочему человеку разные там Чачины жить не дают и гонят, как собаку, из-за какой-то потаскушки. И что вообще потаскушки да мошенники пошли в ход и что вообще «нет правды на земле». Много примеров мошенников, выбившихся в люди, он приводил, и, между прочим, того же буфетчика, который нас только что рассчитал. Был простой лакеишка, так — замухрышка. Женился на панской амантке, взял 300 руб. в приданое и теперь уже, гляди, нос задрал — рукой не достанешь: два клуба держит, деньгами ворочает. Или хотя бы Степан Портянка... И так далее.

А, между прочим — нам некуда было деваться. Пошли в номера: 30 коп. за ночевку. Не пивши, не евши. В кармане у нас было негусто. Разыскали земляка Банэдыка Буйлу, что когда-то бунтовал против перегона крепостных в Рудобелку, за что ему и забрили лоб. У него мы приютились на несколько дней. Он занимался садами, и я помогал ему в работах, а отец старался где-нибудь пристроиться. Но где пристроиться в гиблом Бобруйске повару? Всюду — «одной прислугой».

По вечерам мы ходили втроем (Буйла) пить мед и вино: надо же отблагодарить земляка за приют. А затем двинулись в Минск с рабочим поездом, благодаря любезности начальника дистанции, отцовского знакомца.

Домой возвращаться было не с чем. Отец заявился к «факторкам» Орковой и некоей Леи, которые занимались приисканием мест и рекомендацией прислуги. В их грязных приемных всегда сидели толпы лиц обоего пола и разных возрастов, ищущих работы по найму. Ходили к ним неделями, месяцами, пока не пока место находилось.

В то время рекомендательных контор не было, и эта важная функция была делом частной инициативы. Впрочем, открывшиеся потом конторы были поставлены не лучше. За рекомендацию платили обе стороны, в среднем, по рублю, а отчасти и по размерам жалованья.

Я поехал в Холопеничи повидаться с родными, пока отец приищет место, ибо недостаток средств не позволял ему кормить себя и меня, да и кормить меня ему было труднее, чем самому кормиться: его всякий повар накормит. Это было своего рода институтом, с которым мирились, нечто вроде средневековых братств рабочих. А что это делалось за чужой счет — никто с этим не считался. Мелкобуржуазные воззрения не культивировались в этой среде, и хотя не было ясно выраженного сознания рабочей солидарности, но зачатки его были, и мой отец поддерживал немало товарищей во время безработицы и не только кормежкой, но делясь и своими грошами, бельем и какими-нибудь обносками. Многие в этом нуждались. В нужде и ему помогали.

До Борисова я доехал поездом, а из Борисова отмахал всю дорогу пешком. Недолго я пробыл в Холопеничах. Мать

успела несколько улучшить мою экипировку (ей это как-то удавалось), перечинить и обновить белье. Отец, найдя место, вызывал меня в Минск, чтобы продолжить мою выучку. Мне уже было 15 лет, время уходило, я еще был ни два, ни полтора.

На этот раз я навсегда простился с бабушкой Рузалей. Хотя ей лет было не так много — (трудно в точности сказать — сколько) — около 65, по приблизительным данным и подсчетам, скорее меньше, но не больше, но она была слаба, хотя еще ходила и кое-что делала, сосредоточив свою любовь и привязанность на сиротке Федоне. С возрастом моя привязанность к бабушке ослабевала и становилась довольно поверхностной и внешней. В легкомыслии и самомнении молодости забывалось — чем она была для меня в детстве. Но мне жаль было старухи, некогда доброй и живой, неутомимой в работе, ныне морщинистой и разбитой ревматизмами, к тому у нее на локте левой руки образовалась костоеда (она объясняла это ударом), и рука невыносимо ныла и не сгибалась. Но зубы еще сверкали во рту, несколько истертые, «съеденные», но ровные и целые спереди, без щербин.

После моего отъезда бабушка умерла (1877 или 1878 г.). Я так и не читал по ней псалтырь, хотя неоднократно давал обещание читать, когда выпрашивал трояки и пятаки. Да если бы и был в Холопеничах, то едва ли смог бы читать, как это было на ховтурах тетки Марыли. Так и остался я в неоплатном долгу.

Должен сознаться здесь, что, теряя близких и любимых, я не хотел их видеть мертвыми: боль была чрезмерной, трудно переносимой. Я не видал мертвыми ни бабушки, ни матери, ни отца, ни своих сестер и брата и двух своих сыновей, ни своего лучшего друга И. С. Гапановича, ибо все они умерли за глазами. Было немало смертей на моих руках, — и я знаю — чего это стоит. Не то, чтобы мне была смерть страшна, но я говорил себе: лучше, что я их не видел, вместо дорогих и оживленных лиц какой-то чуждой деревянной маски на лице. Когда это было неизбежно, я делал, что надо, и мучительно переносил потерю.

По приезде в Минск — мы вновь обсуждали с отцом — как мне быть. Решили было продолжать слесарное

дело. Но в городе была только одна крупная слесарная мастерская Ивановского, но она была переполнена учениками и мне было отказано: не надо. Я знал, что в Несвиже и Молодечне есть учительские семинарии, куда принимают крестьян и лучшим ученикам дают стипендии и, считая себя достаточно подготовленным для экзамена, хотел поступить в семинарию, чтобы продолжать ученье, но мне еще не было полных 16 лет (это требовалось правилами), и отец был против этого, находя, что достаточно грамотен и что учительский хлеб — тяжелый, плохо оплачиваемый и необеспеченный. Он повторял ходячее в крестьянстве мнение, направленное против ученья, что ученые в Бога не веруют и родителей не почитают. И приводил еще тот довод, что слишком много развелось ученых и их девать некуда.

— Кинь палку в собаку: промахнешься — попадешь в ученого! Куда их столько?

Это были возражения не столько принципиального, сколько практического свойства: что выгоднее.

Тогда мы вновь остановились на кондитерском деле, с которого я начал и вскоре так плачевно кончил. Тирмана уже не было, но были две других кондитерских, и лучшей считалась кондитерская Роберта Шенинга, на Петропавловской улице. В нее мы и направились. Это не то, что кузница или мастерская Минкевича: блеск, лоск, чистота. И Шенинг — не то, что разрушавшийся старостью и водкой Минкевич: высокий и грузный немец, с черными, как у всех кондитеров, зубами, строгий на вид, рассматривал меня долго и пристально, спросил про лета и грамотность (окончил, то же самое, полный курс), чем занимался, почему ушел от Минкевича и пр. Осмотр и деловой опрос показались удовлетворительными и тогда он поставил свои условия: 5 лет выучки, полное послушание ему и мастерам, деньги, что дают гости и заказчики за доставку на дом, отдавать ему на сохранение и расходовать с его разрешения; его стол и одежда, при окончании он меня одевает полностию — платьем, бельем и обувью. Так, мол, у нас ведется. Чего же лучше? Я тут же и остался, перетащив вечером свое бельишко, подушонку и книжки, которые уже порядочно оттягивали мне руки и плечи при дальних переходах. Но я их таскал с собою.

Кондитерская была варшавского типа: нечто вроде свободного клуба. Магазин для продажи пирожных, печений и конфет; тут же принимаются заказы на разные изделия на дом: торты, марципаны, мазурки, хлебы, бабы, баумкухэны, «пирамиды» и так без конца; в магазине же винный буфет, чай, кофе, шоколад и прочие напитки, вплоть до глинтвейна и гоголь-моголя, так недавно смутивших меня; масса столов в отдельных залах для гостей; газеты и журналы на столах и бильярд, в дальней комнате, изолированно, — соединение клуба и ресторана без обедов, но разных пирожков и сладких закусок — сколько угодно. Это лицевая, выставочная сторона. Производственная имела три отдела: кавярню (чай, кофе, шоколад), пекарню и цукерштубу — конфетное отделение.

На варшавский же манер — хозяин назывался «принципалом», и так к нему вменялось обращаться: пане принципал; мастера звались «субъектами» (почему — не знаю; видимо, это означало независимые, так сказать, личности), учни (ученики) и служащие. Субъектов было 2 или 3, учеников 5. Разговорная речь польская. По обычаю — я был оставлен в магазине отпускать конфеты и печенье и подавать гостям кофе и прочее, вместе с другими двумя мальчиками, и это обычно длилось не меньше года, а иные, попав в бильярдную, вместо кондитера выходили в маркеры; но я оставался в магазине очень короткое время, не больше 2-х недель. Я не изжил еще ни деревенских влияний, ни влияний технических мастерских, — во мне не было лакейской расторопности и ловкости (куда мне до моего товарища орловца Германа Волкова, который так и остался буфетчиком!), но зато была сила и выносливость, очень необходимые в мастерских; и притом здесь были уместны мальчики, я был великовозрастным, — скорее верзила, чем мальчик. И меня живо перевели в мастерскую. Это, конечно, было важно для той чрезвычайно сложной выучки, которая мне предстояла. Да, кто ею овладевал в полном объеме, имел право называться «субъектом». Какое разнообразие всевозможнейших изделий, сколько технических приемов, сколько рецептов состава, и сколько надо вкуса и изящества! Чего только здесь не делалось, каких веществ и каких приемов не употреблялось! Тут не только надо было

обладать хотя бы эмпирическими сведениями, сведениями глубокого опыта, по химии и физике, но надо было быть скульптором и резчиком для изготовления различных форм — из металла, серы, гипса, быть рисовальщиком и владеть бумажной воронкой, как кистью или пером, для выведения изящных букв и узоров и изготовления сахарных цветов — нарциссов, тюльпанов, маргариток, роз и камелий, которые бы всего ближе имитировали живые цветы формами, красками и росистым блеском. А, прежде всего и больше, всего нужен был тонкий и развитой вкус в двояком смысле — и на кончике языка и в создании изящных форм.

Работа здесь в физическом смысле была и легкой и тяжелой: были работы настолько тяжелые, что работа молотобойца показалась бы пустяком по степени необходимого заряда энергии беспрерывной. 50 белков взбить в пенистую массу, чтобы она не «створожилась», нелегко; сто — еще труднее, надо беспрерывно действовать проволочной метелкой, попеременно, обеими кистями рук, ибо одна рука не выдержит потребного напряжения. А мы взбивали 200, 300 белков и более за раз. А растирание миндаля в каменной ступе или шоколада в котле? Когда таких масс требовалось много, как перед Рождеством и Пасхой, то все была чистая каторга. Простые рабочие (сторожа), которые употреблялись совместно с учениками для этого рода работ, зная ее предпраздничные трудности, загодя уходили, не гоняясь за особой «наградой», которая обычно выдавалась. И помню, когда перед Пасхой был нанят поденно рабочий мне в помощь растирать миндаль, и работа шла беспрерывно, то у него выступил на лице такой обильный пот, что он стекал ему на кончик носа и оттуда капал в ступу с массой, над которой мы равномерно болтались взад и вперед. Я должен был останавливаться и говорить: утрись. Так он пропотел до обеда. Выйдя на волю отдышаться перед обедом, он отказался и от еды, и от платы: тихонько удрал. Я должен был в одиночку выносить этот каторжный труд. И вынес.

Обычно мы, ученики, вставали в 6—7 часов утра: к 9 должны были быть готовы румяные булочки, крендели и плюшки к чаю; а кончали работу, заготовив материал на завтра — дрожжевое тесто и «помаду» (основной материал) для конфет

к 10 часам вечера. Дальше ужин, и в 11 часов мы должны были спать. Хозяин регулярно за этим следил, ибо раннее вставанье было обязательно, чтобы достаточно выспались и за работой не зевали и не ходили бы сонными.

Помимо того, что работа была напряженной, она требовала постоянного внимания, памятливости и бдительности: ведь редко делалось что-нибудь одно, а, большею частию, два-три дела сразу, — одно у тебя в печке, другое на печке, третье на конфорке, то на леднике, то под руками. Одно делай, а за другим следи, чтобы не сгорело, не перекипело, не переросло и не перестоялось. Всюду надо поспеть, остановить, выхватить, — дело делать и о другом помнить. Постоянно в движении, постоянно впопыхах, все надо делать живо, скоро, ритмически, быстрым темпом: крошишь ли тесто, катаешь ли булочки, вертишь ли мороженое, бьешь ли помаду или белки. Все должно быть согласовано одно с другим, приноровлено по времени и ко времени, без перебоев и опозданий, ибо одно может перестояться, другое перерасти, третье сгореть или недопечься.

Трудная эта работа и главное — продолжительная: ведь в обыкновенные дни мы, ученики, работали 15—16 часов с короткими перерывами для еды: определенной передышки не полагалось, а съел, выпил — и ступай за дело. А в предпраздничные дни, пред именинами Веры, Надежды, Любви и Софии (давали они о себе знать!) спали мы последние три дня три-четыре часа. Дело дошло до того, что я перед Пасхой уснул мертвым сном, сидя на табуретке и ни на что не опираясь, словно окостенел. Субъекты — те работали определенно с 8 до 8 — значит, 12 часов, и то не мало, но не столь бессовестно много, как мы. Выноси, каторжный!

Зато с каким удовольствием мы ждали праздников и воскресений, когда мы работали только до 11—12 часов, а на Пасху, Троицу и Рождество вовсе не работали. Тут можно было сходить погулять в парк и на поле. Для меня, сына природы, это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Я чувствовал себя вырвавшимся из тюрьмы после долгого заключения.

А обстановка мастерских? Копоть и липкая сахаристая грязь. Здесь же мы и спали в так называемых «шлебанах» —

выдвижных ящиках столов. По причине моего пристрастия к чтению, я забирался спать в теплушку над пекарной печью, с глухими стенами до потолка и дверью. Там обыкновенно на полках подходило тесто, а ночью полки были свободы. Чтобы почитать часик, два, три, смотря по занимательности и степени моего изнеможения, я забирался туда с лампой, ложился на голой доске с подушкой под головой и лампой у изголовья и читал, никем не видимый. «Принципал» входил, смотрел, — все темно и думал, что спят. А я себе, знай, почитываю. Он вовсе не преследовал чтения самого по себе — я брал газеты и журналы со столов и открыто читал по воскресеньям, а преследовал и чтение, и беседы после одиннадцати, то есть во время, назначенное для сна. Помимо газет и журналов я уже давно, со времен Минкевича, если не раньше, брал книги из магазина и библиотеки моего земляка Городенского, по абонементу (30 коп. в месяц). Там, правда, больше была беллетристика — и хорошая и плохая — много я поглотил и той и другой, и научился в ней разбираться. Много мне в этом отношении помогли «Хрестоматия» Галахова и четыре тома «Хрестоматии» Филонова, которые я приобрел там же, отдавая весь свой случайный заработок на книги (доставка на дом заказов). Много я этим книгам обязан и мне было не жаль 4-х рублей, которые я за них постепенно, покупая том за томом, уплатил: они внесли сознательность в мое чтение, знакомя меня с видами и родами литературы, давая теоретические подразделения и определения, а главное — прекрасный подбор образцов, что совершенствовало мой вкус и знакомило с именами и творчеством светил мировой литературы. Все это было для меня откровением и указаниями этих книг я руководствовался. Спасибо ей за многое. Она во многом облегчила мои поиски: я знал, что надо искать, что надо читать, чего спрашивать. Хороша «Хрестоматия» Галахова, но Филонова (теперь, разумеется, обе забыты) много была свежее и живее. Она разбирала произведения, давала ценные отрывки из крупнейших историков литературы и критиков и указывала на критические разборы. О, я с этой стороны значительно подковался. И пристрастился к стихам и декламации (в этом много помог театр — другая моя страсть минского периода) и, при

моей способности быстро запоминать, даже не заучивая, как обычно заучивают наизусть путем постепенной долбежки, а для небольшого стихотворения 2—3—4 чтения вслух — и готово. Был такой пример по этой части. У Городенского был неразрезанный Майков, которого мне хотелось почитать, а он не давал. Так я, приходя к нему в магазин по праздникам, тут же заучил несколько стихотворений больших и малых и в том числе крупную поэму «Исповедь Королевы» в несколько часов, но не больше 3—4. Дословно помню и теперь. Так что, вообще говоря, из книг я многое переложил в объемистый мешок моей памяти. К этому и семинарскому времени, то есть к концу 70-х и началу 80-х годов относится, главным образом, тот колоссальный запас заученных наизусть стихотворений и поэм, которые в большинстве я помню и теперь, хотя уже память стала давать утечку. Запас был столь огромен, что я с успехом мог бы выдержать состязание с любым «сказителем» былин, а в интеллигентских кругах я не встречал соперников. Впоследствии я этим не занимался: многое в другом роде приходилось запоминать, с определенными целями, а стихи запоминал для собственного удовольствия и часто их читал другим, с театральным пафосом провинциальных актеров.

Я не буду перечислять, что я читал в своей «теплушке»: это было бы долго. Чтение было разнообразным и не скажу — беспорядочным. Читал я по-русски, но не пренебрегал и польскими авторами, которых случайно находил у «субъектов» и польских знакомых (в библиотеках польских книг не было). Между прочим, здесь я впервые познакомился с Мицкевичем и Сырокомлей и был ими очарован, как поэтами родной земли. На них я натолкнулся тоже благодаря Филонову. Из иностранных беллетристов читал Купера, Дефо («Робинзон»), Свифта, Вальтера Скотта и Диккенса, Шпильдгагена, Жорж Занд и кое-что из Гюго; «Дон-Кихота», но в детском издании. Многое из русских классиков: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Григорович, Толстой, с которым я был знаком еще в Холопеничах; Загоскину и Марлинскому тоже отдал должную дань. Мечтал о Шекспире, Шиллере, Гете и Данте, но их в библиотеках не было, и я знаком был с ними только по отрывкам у Филонова, которые только манили, но мало давали. Конечно,

из перечисленных авторов я читал не все, что они написали, а что находил у Городенского. До периода «теплушки» я уже немало проглотил французских романов в издании Ахматовой. Что ж? — Всяк злак на пользу человеком сотворися. Может быть, в них вредное только то, что после Дюма и Ксавье де-Монтепена мне русские авторы (исключая Марлинского) казались слишком пресными, пока я не вошел во вкус; и, может быть, еще то, что они действуют, как наркотики, слишком захватывая и развивая пассивное внимание, в ущерб активному, так что после них трудно читать сколько-нибудь серьезную книгу, требующую сосредоточенности. Я помню, как мне трудно было читать Белинского и Добролюбова: читаешь — и все срываешься; вот уже страницу перемахнул — и ловишь себя на том, что прочитал только глазами, совершенно бессознательно. Начинай сначала! Я не говорю о трудности их понимания без некоторого знакомства с философией, психологией и просто с терминологией: это значило бы — не понимаю. А дело в том, что просто бессознательно читаешь, даже не замечая, что ты не понимаешь. Бывало это со мной, и долго я упорно боролся, развивая и укрепляя слабое и отчасти парализованное активное внимание.

Чтение в «теплушке», несомненно, было вредно для здоровья: воздуху мало, лампочка еще больше его портила, а температура там была, как в легкой бане. Здесь я и засыпал, потея. От поту моя подушка побилась комьями. Если бы это «принципал» знал, то моему чтению пришел бы конец. Товарищи и сторож Роман (вроде Никиты), знали, но, в силу товарищеской этики, не выдавали: во-первых — не принято, взаимно не выгодно (тебя выдадут), а в серьезных случаях сообща «морду набьют».

По этим причинам чтение мое шло беспрепятственно.

Вошел я в пекарню и цукерштубу с совершенно иной начинкой, чем те, кого я здесь застал, и эта начинка все подбавлялась и, по мере роста, вела к противоречиям между моим внутренним содержанием, моим сознанием, и моим внешним зависимым положением в ряду окружающих. Не говоря об учениках, но и сам «принципал», но и «субъекты» были далеко ниже меня по образованию. «Субъекты» были люди быва-

лые, поляки Вильны, Варшавы, Кракова и Познани, — виды видали. Получали они хорошее содержание, смотря по степени своего искусства: пекарь и пирожник (пан Лобачевский) до 50 руб., цукерники (Маевский, Щепанкевич) до 70—75, наибольшие искусники (резчики и формовщики), каким у нас был пан Ижыловский, до 100 и более на всем готовом: стол, квартира и пр. Одевались они у лучших портных, белье носили тонкое, стиранное у лучших прачек, знали толк в жилетах и галстуках. По вечерам и в праздники они выходили в магазин и гостиные одетые по картинке, ловко играли на бильярде, усвоив это искусство во время ученичества, посещали театр и концерты, имели твердо абонированных на определенные дни любовниц, которые слыли на их варшавском жаргоне «пічэньцы» («дзісей пуйдэ до пічэнцы», — ходовая фраза), много знали варшавских шансонеток пакостного содержания, — словом — по внешности ничем не отличались от обычных посетителей кондитерских гостиных и бильярда. Но это был внешний лоск, которому далеко не соответствовало внутреннее содержание. Это были «сосуды повапленые», снаружи изукрашенные, но с гнилыми костями и вонючей трухой внутри. Сопоставляя их нравственность с тою средой, из которой я только что вышел,— со средою технических мастерских, я должен отдать полное преимущество последним, особенно мастерской Минкевича. Рабочие депо бывали пьяны, грубы и циничны, но это было проще, это было естественнее; а здесь были цинизм и развращенность изысканные и потому более омерзительные, разумеется, — в области тех знаний, которые даются школой и книгой, они были совершенно невежественны. Поэтому я получил сразу кличку «ходзонца гісторыя» и «ходзонца літэратура», т. е. ходячая история, ходячая литература. Разумеется — это клички были насмешливые, как не соответствующие моему зависимому положению.

Чувствовал ли я его тягости? Конечно — чувствовал. Протест внутри зрел. Избавиться от него я стремился. Я хотел учиться не на нарах в кузнице, не на верстаке у Минкевича и в теплушке исподтишка, а свободно, в школе, а там видно будет. Было несколько школ разных типов, куда я мог поступить: Марьино-Горская сельскохозяйственная, Петровская

садоводства, техническое училище в Гомеле и учительские семинарии в Несвиже и Молодечне. Я уже подумывал о Несвиже до поступления в цукерню, но были препятствия — года не вышли и нежелание отца поддерживать эту идею: нет расчета. По истечении года моей выучки, в которой я изрядно преуспевал, я вновь решил ехать в Несвиж. Для меня не только важно было правильное образование, я сознательно хотел быть народным учителем, я идейно к этому стремился. Мое старое бакалярство в школе к этому меня направляло и чтение делало свое дело. Меня увлекали образы Жана Оберлейна <Иоганна Оберлина>, Песталоцци[248] и им подобных, с которыми я встречался в чтении. Я еще не был ни социалистом, ни революционером, но зародыши этого уже были в душе, и я смутно к этому стремился. Решение идти в учительскую семинарию было мною самостоятельно принято. Я отца не игнорировал, но уже далеко ушел в развитии чувства самостоятельности. Я не боялся стоять на своих собственных ногах.

Я стал добывать нужные документы. Я обратился в консисторию за метрикой и в свою волость Лисовичскую, по месту приписки отца, где я никогда не был, за увольнительным свидетельством от общества, в котором я числился, но никогда фактически к нему не принадлежал. Не тут-то было. Оказалось, что моя метрика пропущена записью. Я возбудил ходатайство в консистории о восстановлении метрики следственным путем. А это долгая песня. И я еще пробыл в кондитерской около года, пока шло следствие и пока я не получил этот важный документ. В нем я был переименован из Адольфа в Адама. Это была консисторская выдумка в интересах православия и обрусения: имя Адольф было признано и не русским, и не православным. Но замена была довольно неудачной: консисторские отцы из белорусов, по-видимому, не знали, что имя Адам не в ходу среди великоруссов, да и в святцах оно не встречается: по крайней мере, мне никогда не пришлось справлять своих именин. Впрочем, и Адольф в этом отношении был бы безнадежен. Итак, после 16 лет я оказался с двумя именами (ибо по волостным, т. е. гражданским документам, я все же значился Адольфом), с тремя разноформенными отчествами (Юрьевич, Георгиевич, Егорович) и с

двумя фамилиями, если вдаваться в глубокую старину. Адам для Холопенич было непривычно, но мало-помалу вытеснило из обихода Адольфа, и я на новую дорогу выступил как бы обновленный вплоть до имени.

Пока шло следствие, я работал в кондитерской — в цукерштубе и в теплушке, не говоря «принципалу» о своем намерении уйти, — в работах я преуспевал настолько, что уже мог сойти за настоящего «субъекта»: я работал не хуже их. Да и они-то, при той системе выучки, которая обычно практиковалась, учились по своему ремеслу не более 2—3 лет; остальное уходило на торчание в магазине, чего я избегнул, и на бильярде, чем я не увлекался: было некогда, книжка звала.

Чтобы не создалось одностороннего впечатления, что я только бился как рыба об лед, работал да читал, я должен рассказать о своих переживаниях совсем другого рода, свойственных молодости в переходном возрасте к юношеству. До этой переломной поры я искренним образом недоумевал — зачем люди женятся, когда с этим связано столько трудов, забот, тягостей [...]. Я себе говорил: никогда не женюсь, не буду дураком. Мои сверстники говорили или сказали бы то же.

К девочкам своего возраста, после обидной для моего самолюбия клички «девачур», я относился презрительно, и моя школьная ферула не была к ним более снисходительной, чем к мальчикам. Потом я относился к ним безразлично и совершенно равнодушно.

Но в цукерне, несмотря на свой изнурительный труд, я почувствовал, что они очень и очень необходимы на сей земле. Дело, конечно, возраста, но ему помогали обстоятельные образы романтических героинь Вальтера Скотта и др. Можно мечтать о прелестном образе леди Роуэны или о прекрасной Ревекке, или о трогательной Бэле как об идеалах, редких и недосягаемых образцах женской природы, — образы коих писаны для соответственно прекрасных рыцарей, в кольчуге, на коне, с копьем и мечом, а не для нас, в засахаренных куртках, как в броне, готовящих только конфеты для прекрасных уст и не совершивших, и не способных к совершению ни одного подвига, достойного прославления. Не про нас ананас. Твои конфеты едят — и не здравствуют. Ноль

внимания. Грустно это. Но ничего не поделаешь: так уж устроен этот несправедливый мир.

Но неожиданно оказывается, что хозяйские молоденькие горничные, няни и кавярки, которые шмыгают по коридору, шурша юбками, задорно смеются и щурят глазки, имеют свою прелесть реальных, живых существ, отличающихся чарующей притягательной силой и, при добром желании, в них можно усмотреть столь же пленительные образы, как в прославленных романтических героинях. Особо насиловать воображение не приходится. Если взять на картинах Ревекку и Бэлу, то, отбрасывая их прекрасные душевные качества, они оказываются ничуть не лучше этих реальных существ, которые норовят вас задеть юбками или невзначай задеть локтем и сказать: «пшэпрашам пана», задорно улыбаясь или смеясь, смотря по тому, что у них обольстительнее — зубки или улыбка (это изучается пред зеркалом, это они прекрасно знают).

Конечно, — все девицы были уже разобраны до меня. Я был одиночка и еще вдобавок романтически настроенный и, правду сказать, довольно самомнящий, чтобы цену себе сбавлять.

Но вот одна няня рассчитана, может быть, потому, что, по вечерам предпочитала сидеть в укромном уголку с моим старшим товарищем Стэфаном, чем ребенка качать и ее долго приходилось звать для этой операции, и на ее месте появилась панна Барбара... На мой еще не искушенный взгляд в ней счастливо сочетались все прелести леди Роуэны и прекрасной Ревекки, а если хорошенько поискать, то нечто найдешь и от Бэлы. Черные густые волосы с толстой косой, черные брови и ресницы тоже соответствующей длины, чтоб оттенялись глаза (все это от Ревекки и Бэлы), большущие голубые глаза (это несомненно от Роуэны), всегда насмешливые, сознающие свою силу, которыми их обладательница искусно поводила — и закатывая вверх, приподняв головку, и стреляя в стороны и опуская книзу. Ах, как она умела ими владеть! (Это у нее было собственным, личным, так сказать, прибавлением к прелестям перечисленных героинь.) Ну, и очаровательная улыбка и шейка (вполне уместен эпитет лебединая), ну, и все прочее. Надо еще прибавить нечто тоже личное и, может быть, самое

сильное: она была отчаянная кокетка. Это в ней было прирожденное, и она за это не ответственна. Можно родиться с родинкой на щеке, с легкими веснушками — это дело не портит. Скорее — наоборот: способствует.

Ах, как билось мое бедное сердце, почувствовав серьезную трещину! Это была его первая рана! Потом оно привыкло к ранениям, и поверхностные скоро рубцевались. Но тут дело было внове. Бедное сердце!..

К чести его надо сказать, что оно долго боролось против соблазнов, так искусно ему расставляемых...

Представьте его положение. Вот воскресный день. Владелец бедного глупого сердца сидит над книжкой (безразлично какой) за столом. И вдруг является панна Барбара с ребенком на руках, как рисуют Мадонну, и сдержанной улыбкой и испытующим взглядом (надо бы сказать: лучистым): готов или нет.

Давно готов, милая девочка, да смелости нет. Непобедимая застенчивость, стыд — не знаю чего и отчего — вот и мои, и твои упорные враги. Отчего стыд? Разве я посмел бы о большем мечтать, чем поцелуй, которого так жаждем я и ты? Я верил в его целительное действие для сердечной раны: лучший бальзам. Или я не научился хорошим манерам и рыцарскому обращению? Какие великолепные и трогательные образцы прошли пред моими глазами? Или я не возмущался до глубины души бессердечием Печорина? Милое дитя, ты от меня нисколько не пострадаешь. И ты это прекрасно знаешь и нисколько не боишься. Я очень тронут и польщен, что ты именно ко мне приходишь в цукерню, когда пан Лобачевский на тебя зарится. Ты знаешь, что у него нечистые мысли, и он не будет так волноваться и мучиться, как волнуюсь и мучаюсь я. Аминь.

Итак, пришла панна Барбара с ребенком...

— Я пану Адольфу не пшэшкадзам? Я не бэндэ мяшаць...

— О, не: паненка ніц мне не пшэшкадза — прошэ сядаць...

Она уже ребенка посадила на стол, рядом с книжкой, а сама склонилась над книжкой, слегка зарумянившись.

— Цо то пан чыта? Відаць, якісьці ромаш (роман)... Можэ быць дужэ цекавы... Але я лепей любен чытаць па-польску (впрочем, она была белорускoй).

Тут я делаю непростительную глупость, я начинаю рассказывать, о чем я читаю. Но она так умна, что не слушает, и так тактична, что меня прерывает.

— Нех пан чыта... Я тэж бэндэн чытаць... Бо ж я была бы натрэнтна, жэ пану пшэшкодзіла.

Прерванный, я нелепо молчу и гляжу, как осел, в книжку. Она наклоняется над книжкой так близко ко мне, что волосики тонко щекочут мою щеку.

Я почти понимаю, что это значит: поцелуй же, дурачок! Небось ничего не будет: мы не провалимся и свет не перевернется.

Но я не был в этом уверен и думал, что провалится. А главное — как я после того посмотрю ей в эти синие бездны (правда, слегка лукавые, когда они прищурены): они меня пугали. И еще важнее — соответствует ли это истинно рыцарскому поведению в таких случаях? Сомнительно, — и я не решался.

Драгоценный момент упускался — и мы глупо некоторое время беседовали о пустяках,— я мучительно натянуто, придуманно, с кричащим внутри сознанием: все не то, не то, не о том ты и она думаете, не это надо...

Она так же деланно отвечала... И тактические соображения не позволяли ей быть навязчивой, и она ясно видела, что еще не готов... Не думала ли она в сердце своем: «але які ж маруда[249]!» Она говорила: «Я пану не пшэшкадзам», — и уходила до следующего раза.

Мучительно долго длилась эта обработка. Как потерять стыд? То есть как преодолеть его? Стыд — чего? Сам не знаю чего, но его тяжело ощущаю.

Я и теперь не знаю — почему я так стыдился невинного поцелуя: это слишком сложно. Дурных намерений я не имел или их не сознавал. Может быть, я стыдился, смутно сознавая несоответствие любви идеальной с примитивными стремлениями плоти? Может быть, сознанье разлада между словами, которые говоришь, и чувством, которое за ними скрывается, то есть фальши положения, которое сейчас обнаружится. Может быть, того, что в тебе и в ней есть слепая воля, которая сильнее сознания? Но стыд есть стыд, и хорошо, что он есть.

Я его преодолел почти бессознательно. Я вошел в комнату «субъектов» за чем-то, и она, в образе мадонны, с ребенком на руках, вслед за мной. Окно было завешено и комната была полутемной. Это весьма важно: стыд боится глаз и света. В потемках он ослабевает.

Но и в этой превосходной обстановке, я действовал, как жалкий трус. Когда она проходила мимо меня, слегка задев, я, мимоходом, не знаю как, поцеловал ее сзади в шейку. И хотел провалиться сквозь землю. Ничего не случилось. Только сердце отчаянно билось.

Она, оглянувшись, торжествующе сверкнула глазами, улыбнулась — и пошла дальше.

Это значило, приблизительно: наконец-то! наконец-то я победила! Или же: наконец-то ты, дурачок, догадался! тебя надо было подсаживать, как старика на печь.

Весенний лед был сломлен. Но я нуждался в постепенности. В щечку я ее поцеловал в полутемном коридоре, где она часто гуляла с ребенком. А там, взаимно друг другу помогая, мы добрались и до амброзии на устах, сладчайшего пития блаженных. Да будет благословенна Варвара, которая исторгла из бездны мой первый поцелуй любви, сладостный в своей робости и чистоте. Да будет благословенна она, которая послужила для меня удобным и вместительным складочным местом всех прелестей романтических героинь, и показала мне, что в сей жизни слаще и прелестнее робких поцелуев нет ничего...

Магомет перед смертью говорит: «В жизни я больше всего любил: цветы, ароматы и женщин; но истинное наслаждение находил только в молитве. Этой последней благодати мне не дано или я ее не сумел развить». Я закончил бы так: но истинное наслаждение находил только в робких и нежных поцелуях.

Дальше мы не пошли: огненный меч стоял на пути.

Здесь я скажу: он всегда стоял на моем пути.

Я был счастлив женской дружбой и привязанностями. Многие меня любили, и многих я любил или они мне нравились. Но наши отношения всегда были чисты. Я их мог бы рассказать всенародно, ничего не утаивая, ибо в них не было

ничего постыдного. Я ничьего доверия не обманул, и ничьей слабостью не злоупотребил.

Месяц май прелестен, но скоротечен. Был скоротечен и май моей первой любви. Сроки здесь не важны: дни мелькают, как мгновения. Я был счастливый обладатель синих бездн, в которые я мог глядеться, как в зеркало, видя в миниатюре свою собственную душу. Мне было около 17 лет, ей около этого или несколько меньше, как полагается: соответствие полное. Это была любовь, так сказать, приготовительного класса, но ничто не мешало нам считать ее самой настоящей любовью.

Но «субъект», пан Лобачевский, тоже обратил благосклонное внимание на прекрасную панну Барбару. Он шел путем грубым, к совершенно определенной цели. Он, напившись допьяна, ночью врывался в комнату девушек, рядом со спальней «принципала», куда они спасались, в одном белье, от его назойливых приставаний. Однажды, схватив Варвару, он влек ее в комнату «субъектов». На ее крик выскочил хозяин и не без борьбы и препирательств освободил ее. В результате — не этот безобразник был рассчитан: он остался на месте, как нужный для дела, а рассчитана Варвара... Пускай-де не соблазняет, а нянек много найдется.

Так мы расстались с синеокой Варварой, впервые меня чаровавшей. Я ее провожал к материнской квартире, на Ляховке, возле поемного луга на берегу реки Свислочи. Тут мы с ней простились, не без слез, разумеется, и скоро потеряли друг друга из виду: она вскоре взяла новое место, а я уехал в Холопеничи, перед отъездом в Несвижскую семинарию.

После ее ухода у меня было крупное столкновение с паном Лобачевским. Хотя я не был у него в подручных (он был пекарь, а я уже работал по конфетной части), но он к чему-то придрался и хотел побить меня свернутым в жгут полотенцем. Я решил не даваться и, схватив вальцовый нож в руки, которым режут карамель на леденцы, и стоя за срединным столом, меня заслонявшим, кринул:

— Не маш пан права! Я бэндэ-се броніл!..

Надо думать, что лицо было у меня решительное: он даже не подумал за мной гоняться, а, взбешенный, швырнув жгут

и ругаясь подлыми словами, вышел в пекарню, где он был полный хозяин.

Это был первый акт моего сопротивления традиционному средневековому праву: я уже был далеко не тот, как у Тирмана, когда подлый немец, пользуясь моей полной беззащитностью, жестоко избил меня. Впрочем, за все время моих ремесленных выучек, на что я отдал около 4-х лет молодой жизни, это был единственный случай, и притом совершенно не мотивированный, и потому сугубо безобразный.

Самое простое было бы подать в суд на немецкого капрала (под Мецем, когда он кричал — «ура», наступая на французов — он изображал это очень живо — ему попала пуля в рот навылет), но это никому не пришло в голову: отец сам готов был с ним расправиться, но в суд не пошел. Это характерно для духа времени. Ведь и свидетели были.

После стычки с паном Лобачевским я уже был на отлете. Ушел я от Шенинга тайком, ночью, предупредив только двух товарищей. Из них Стэфан Зубович помог мне нести на Московский поезд мои вещички, из которых самым тяжелым грузом были мои книги. Материнскую подушонку я загодя продал на Нижнем рынке за рубль — целковый. Больше за нее и дать было нельзя, ибо у наволочки перья побились комьями, во время моего спанья в «теплушке». Я не мог уйти открыто, ибо хозяин меня бы удержал при помощи полиции: я был ему нужен — это был горячий сезон заготовки варений, когда рабочие руки очень ценны.

Прощай, теплушка, неизменно меня охранявшая! Кончились хождения моей души по мытарствам, где я немало видел трудовых мук и страданий человеческих и немало мучился и страдал сам.

Я вышел пусть не на широкую, но на настоящую свою дорогу, которая вела туда, куда я сам идти хотел. Я не вынес с собой чувство личной злобы против Шенинга, хотя он был эксплуататор чужого труда, как и все люди его класса — класса предпринимателей; наживался он быстро и здорово, благодаря «конъюнктурным условиям рынка». Начав дело с четырьмястами рублями, которые он взял в приданое за женой, он, спустя 10 лет, уже мог купить каменный дом, на лучшем

и выигрышном месте, за 16.000 рублей, уплатив наличными. Судя по этому, его основной капитал возрос более чем в 40 раз, ибо разрослась ценность обстановки и приспособлений.

Вот несколько цифр для примера — как наживались кондитеры.

Фунт сахарного песку бочкой стоил 9 коп. Фунт рафинада оптом 11—12 коп. А самые дешевые конфеты — карамель, леденцы — продавались по 30 и 40 коп. фунт. Но тот же сахар, превращенный в «помадку» (из фунта сахара выходит фунт с четвертью «помады») уже в конфетах продавался по 60 коп. Фунт какао или фунт миндаля, наиболее ходовых продуктов в производстве, стоили 30—33 коп. С их небольшой прибавкой к «помадкам» фунт продавался по 80 коп. Исключительно шоколадные конфеты, или «марципановые» (из миндаля с сахаром), хотя в них было больше сахару, чем втрое дорогого шоколаду и миндаля, продавались по рублю за фунт. То есть, втрое — вчетверо дороже, без учета оплаты труда и утечки основного капитала. Это расчет сложный, зависящий от оплаты труда и количества дневной выработки продукта, а еще сложнее учет изнашивания основного капитала. Скажу только, что кустарным способом, без сложных машин, один мастер с подручным легко может выработать больше пуда, что составит по средней цене 60 коп. фунт 24 руб. Тогда как хозяину они стоят: пуд сахару 4 руб. и содержание мастера с подручным в день не больше 6 руб. с кормежкой, итого 10 руб. И если отнести примерно 4 руб. на пуд на утечку основного капитала и другие расходы, то выходит, — что, при обеспеченности сбыта, он наживал вдвое против себестоимости. Это расчет грубый, но ясно, что прибавочная стоимость, которую он клал себе в карман, была огромной. Ученичество работало по 5 лет за одну кормежку и одежку, ясно, давало капиталисту большой доход, в том числе и я, хотя не долгое время.

Во всяком случае, я чужого труда не эксплуатировал, а мой труд, с 10 лет, здорово эксплуатировали. И против мастеров, «субъектов», в житейском смысле я тоже ничего особенного не могу сказать: они были такие же, как и все люди их круга и положения. Это были мелкие мещане, стремившиеся

к наживе. Их мечтой было — скопить побольше деньжат, выгодно жениться и открыть свое заведение, чтобы также эксплуатировать чужой труд, как эксплуатировали их труд. Я органически ненавижу деревенских кулаков и мещан, людей одной категории. С первым я всю жизнь боролся, и когда они являлись ко мне на сходы с золотой цепью на толстом брюхе, с обрюзглым от чаев лицом, а еще хуже — на велосипеде, у меня колокотало в груди и я плохо владел собой, дрожал, как лошадь перед верблюдом. И если я выше дал резкую характеристику нравственности панов «субъектов», то это результат моих индивидуальных чувств. В ней я ничего изменить не хочу. Но если отбросить личные чувства, то, повторяю, в них, этих «субъектах», не было ничего особенного. По внешности они выглядели весьма корректными людьми: хорошо одетыми, хорошо упитанными, с приличными манерами и даже некоторым внешним лоском, который так ценится поляками. Пан Маевский, например, даже представлял из себя внушительную фигуру, редкую даже среди старопольских магнатов: крупные и выразительные черты лица с огромной пушистой бородой придавали ему особую важность. Пожалуй, он был и лучшим среди «субъектов», с которыми мне приходилось работать. Лобачевский, мой соперник, был красивый малый приказчичьего типа или, еще лучше, типа приказчичьих подмастерьев. Еще будучи в Вильне, учеником он соблазнил хорошенькую еврейскую девушку, которая где-то скиталась, переписываясь с ним. Но мы видели, как грубо он приставал к панне Барбаре. А таких «художеств» за ним водилось немало. Были и погрязнее: однажды утром, зайдя в комнату «субъектов», чтобы их разбудить на работу, я застал его спящим в обнимку с женой соседнего пьяницы сапожника, женщиной обтрепанной и жалкой. Он приволок ее с улицы с известной целью. А так как он спал вдвоем с другим «субъектом» Щепанкевичем, то и тот присоединился, оправдывая себя тем, что «крев — не вода». Таковы были нравы. Не хотелось бы об этой грязи писать, но я ее видел довольно. Она ко мне не прилипла, и этим я обязан хорошему воспитанию, которое я получил от своей матушки, и ее доброму сердцу. Нисколько мне не жаль было моих товарищей по выучке Степана Зубовича и Германа

Волкова: они готовились вскоре стать такими же «субъектами». Ну — их...

На сей раз я поехал домой до ст. Крупки, чтобы сократить пешеходный путь с кладью на плечах. Книги тяготили их. Я связал два узла, перебросил через плечо и весело зашагал под палящими лучами июльского солнца. Сколько раз я так ходил, с кладью за плечами и в зной, и в холод, и в снег, и в грязь!..

В Холопеничи я пришел под вечер. Невеселая картина: крестьянские домишки махонькие, крыши соломенные, сараюшки к ним примкнуты обтрепанные, словно бы их кто-нибудь за вихор драл, улицы узенькие — и все размеры и расстояния оказались ничтожными. Только дома еврейских богатеев в срединной части как-то выпячивались среди своих невзрачных соседей обеих национальностей.

Бабина хата еще более осунулась, сморщилась, как старушка, и словно бы плакала своими подслеповатыми оконцами, как старческими глазками, по своей старой хозяйке. Увы! — дорогой бабы Рузали уже не было в живых! Унесли ее под березы, которые она сама сажала над могилами прабабки Христины и деда Томаша. А сколько раз она укрывала меня полой своей старенькой «футры»[250] от висевших над моей бедной головушкой бурь отцовских. Трудно мне было, баба Рузаля, оправдать твои смелые предсказания на мой счет. Нелегкую задачу ты на меня возложила, сивилла Кумская! Тернистый мне выпал путь.

Когда я, постояв пред бабиной хатой, повернул в свою улицу, меня узнала старая еврейка Хася, вязавшая чулок на крылечке. Она вскрикнула: «Ой, Адоль!» и побежала, насколько позволяли ее старые ноги, впереди меня, уронив клубок, который разматывался сзади, пока я его не подхватил. Она бежала возвестить моей матери великую радость — прибытие сына. Это зовут у нас «спасенье», — значит, душеспасительное дело.

Мать выбежала со слезами радости мне навстречу. Замолодо постарела она, родив шестерых и похоронив из них двоих, и еще так свежи две новые могилы в ее любящем сердце. Давно ли она похоронила своего маленького любимца Олеся и бабу Рузалю!

Приход мой был неожиданным. Я сказал, что бросил выучку и еду в Несвиж в семинарию. Она грустно взглянула на меня — и ничего не сказала. Она привыкла к затеям моего отца, к его беспокойным сменам мест, и судьба сына обещала быть столь же беспокойной. Ведь сколько уже мест, выучек переменилось — и все нет толку: «нема пастаяннога прытулку». Пока что — только у твоей груди, матушка! А я свой путь найду, на дорогу выбьюся «из темражи» и бесконечных скитаний. Ведь и отец мой метался из-за того, что не находил своего места.

Мне оставалось 1 $^1/_2$ месяца до отъезда. Я спешил заштопать кое-какие прорехи в своих знаниях. Вообще экзаменов я не боялся: многое я знал значительно больше, чем требовалось. Но было одно слабое место, за которое я опасался: я не знал грамматики русского языка. Писал я довольно правильно, изложения делал связно, а грамматики не знал.

На этом пункте я и сосредоточил свою подготовку. Я не знал — какие есть учебники и какие из них лучшие, и не с кем было посоветоваться. Я купил в Минске грамматику Шолковича, по которой он учил в местной гимназии. Как оказалось — это был худший выбор из возможных: довольно нелепый учебник. Зубрить я не умел, я ее просто читал, как привык читать другие книги: авось — что-нибудь выйдет. Ничего путного не вышло. Многое из странной и смешной терминологии: подлежащее, сказуемое, имя существительное, прилагательное, глагол и пр. — я запомнил, кое-что понял, но всего не осмыслил и не усвоил. И даже недоумевал: зачем все это надо, когда я понимаю, что читаю и писать могу?

Так я и бросил, рассчитывая на Филонова: он-де вывезет. Все это странно, разумеется, но у самоучек это часто бывает.

Так я и уехал почти без грамматики. Экзамен был конкурсный: мест мало, заполнены из специального подготовительного класса, а наехало молодежи много: из средних классов гимназии, городских и уездных училищ.

По грамматике я, в сущности, провалился: при разборе здорово напутал, но, во-первых, Филонов подмог (уповал не напрасно), а во-вторых — диктант и изложение были хороши. В общем — я выдержал лучше многих и был принят,

в числе немногих сторонних, на стипендию. Но в течение первого курса, вплоть до экзаменов, грамматика оставалась моей слабой стороной, хотя по всем предметам, в том числе и по русскому языку, мне ставили пятерки. Шел я первым учеником и окончил первым, уже без помощи матушки по математике.

Мне приятно отметить это мелкое обстоятельство как результат моих личных усилий, весьма мало зависевших от классных занятий. Последних я, елико возможно, избегал, стараясь учиться самостоятельно. По многим предметам мне скучно было сидеть в классах — я больше знал, чем требовалось, — и если сидел, то преспокойно занимался своим делом. Привыкнув к книге, привыкнув читать, я не умел слушать, и это неуменье осталось у меня на всю жизнь: мне очень трудно внимательно слушать самую увлекательную лекцию. В книге — сколько угодно я мог разбираться, преодолевая иногда такие трудности, которых легко можно было бы избежать при долгой системе занятий. С годами эта привычка книгоедства только укреплялась. И я не жалею об этом. Это позволяло мне идти самостоятельным путем, брать то и в такой мере, что и в какой мере я хотел взять и черпать оттуда, откуда я хотел черпать. Сравнительно хорошая семинарская библиотека, наличие необходимых пособий давали для этого все возможности, а пустые квартиры во время классов — все удобства для сосредоточенных занятий.

В первый год я так увлекся библиотекой, дорвавшись до книг самых разнообразных, что пропустил около 600 уроков, то есть 120 дней. Это портило отчетность о посещаемости, и мне грозили лишением стипендии и даже увольнением. Но так как у меня по всем предметам было «весьма», то меня оставили в покое. И спасибо им, моим преподавателям: ни в чем они меня не стесняли. Наоборот: позволяли многое такое, что шло вразрез с правилами, строгими и даже суровыми.

Поступил я в семинарию в августе 1879 года, имея 17 с половиною лет от роду, а вышел оттуда летом 1882 года, то есть 20-и лет, в народные учителя, с вполне определившимися народническими убеждениями, которым я не изменял всю мою жизнь, и в силу этого в том же году я формально вступил

в партию «Народной Воли», связавшись с ее минской группой. В ней я подвизался до полной ликвидации партии, имея за собой почти 15-летний стаж подпольной работы, если считать мою кружковую деятельность в семинарии (1880 —1896).

Так как эта сторона моей работы достаточно отражена в моих особых воспоминаниях[251], ей посвященных, в двух редакциях — более обширной и сокращенной, то здесь я касаться ее не буду. Но эти воспоминания, будучи специальными по цели, не могли охватывать моей жизни и деятельности в целом. Остается в стороне немало фактов моей личной жизни и общественной работы, которые не лишены и общего интереса, и могут иметь особый интерес для моих потомков, которых я, главным образом, и имею в виду, когда пишу эти воспоминания: пусть они ведают — как жили, боролись за кусок хлеба, страдали и радовались их предки.

Оставляя это на будущее время, если оно у меня будет, теперь, дойдя по памяти до поворотного пункта в моей жизни, показавшего мне иные пути и цели, я должен еще раз вернуться в Холопеничи, с которыми кровная связь все более и более рвалась и почти совсем ослабела со смертью моей матушки (15 декабря 1880 года), и — оставалась, так сказать, только каникулярная связь.

Но в моей памяти сохранилось еще много разного рода материала, который мне не хотелось бы погребать с собой бесследно.

Кое-что хочется передать из своей личной жизни в Холопеничах, а главным образом, рассказать о разных холопенцах, которые только попутно затронуты в предыдущем повествовании, а другие и совсем не затронуты, по малой связи с моей семьей, но представляют некоторый интерес с бытовой точки зрения.

За время моих скитаний в Холопеничской усадьбе произошли большие перемены, которые коснулись многих, а главным образом, бедноты, находившей хотя бы небольшой, но местный заработок, при доме, не отбиваясь от семьи, не ломая своего бытового уклада.

Как я уже упоминал, имение было продано в полном составе графу Кейзерлингу. Приехал он еще во время одной из

моих побывок, скромно, в тряской крестьянской телеге, вместе с подручным бароном из остзейцев.

— Вот так граф! — удивленно говорили старики, помнившие времена графа Хрептовича, которого трудно было представить вне коляски или хотя бы брычкі.

Долго он ездил по имению в беговых дрожках с молодым Вилькеном, осматривал, и, наконец, после длительных переговоров, купил. За сколько и прочее — это нам не было известно, но, надо думать, не много пришлось доплатить, ибо имение было обременено долгами.

Так кончился период господства Вилькенов, период, еще отзывавшийся ощутительными пережитками крепостнических отношений, — «вы — наш пан, а мы панскіе», «калі будзе панская ласка», «і каго ж нам прасіць, калі не свайго пана?» — все это постепенно изживалось, выходило из обихода, — за безнадежностию, по причине все большего и большего ослабления «панской ласки» (милости). Наступил период «баронский», — период чистых, ничем не прикрытых капиталистических отношений. Он сразу и всем дал себя почувствовать возвышением арендной платы за усадебные плацы (это — полместечка касалось), за покосы, пастбища, прием местечкового скота в «дворное» стадо, за каждый прут, не говоря уже за кол или жердь, которые, по старинке, рубились исподтишка, за полкварты или кварту водки леснику, а если не пойман, то и задаром. Бароны расставили привозную стражу из латышей, стражу зоркую и не склонную к послаблениям. Мало того — бароны разъезжали верхом с револьверами сбоку, грозились стрелять и пугали выстрелами вверх баб и девиц, собиравших грибы и ягоды. Дело неслыханное и всего больше возмущавшее.

Бароны завели постоянного специалиста по судебным процессам, как на смех, носившего фамилию Барон: кругом — бароны! Судебные процессы в разных инстанциях — от волости до губернских присутствий — с чиншевиками, с арендаторами, порубщиками, потравщиками шли бойко и постоянно, без послаблений. Баронский режим — крутой режим и последовательный. Многие вспоминали безалаберных Вилькенов и Концендорфа, их арендатора, а о крепостном праве

вздыхали как «о добром старом времени», чтобы не сказать «о потерянном рае».

— Праўда — паны скуру дралі (харошага ня секлі: секлі нягодніка, недбайліцу), алі ж такі і давалі... і зямлі, і лесу, і пакосу, і пасева... Беда прыйшла — ідзі к пану... А цяпер куды пойдзеш? — в таких и тому подобных словах формулировалась разница отношений.

Но для бедноты хуже всего было то, что бароны навезли машин. С ними наехали техники и приспособленные рабочие из теперешней Латвии. Спрос на людской труд сократился, рабочая плата упала так низко, что не оправдывала применение машинной обработки. Много машин стояло.

Для Холопенич это был целый переворот, последствия которого не замедлили себя ждать. Сколько раньше требовалось жней, которым платили по гривеннику от «копы» (60 снопов). Были такие искусницы и «працавіткі», что нажинали до 5 «коп». Сколько требовалось косцов и грабельщиков (40—50 «коп» косцу и 30 — грабельщику). Войт ездил по деревням и, стуча в окна, приглашал на работу. «У прыпар» он искал рабочих рук. А теперь — руки ищут работы. Косилки и жатки — не требуют кос и серпа. Заработок сократился — и беднота, вслед за дворовыми, стала постепенно отливать в города — Борисов, Минск и др., по проложенным путям пионерами отхода.

В мой преднесвижский приезд новые условия уже дали себя знать: люди искали работы и выхода из положения.

Вдумчивый сапожник Казимир Шабловский, человек грамотный, что-то и где-то слышал о социализме (по-видимому, он первый произнес это мудреное слово в Холопеничах). Я знал не много больше его. Но это нам не мешало обсуждать вопрос — в чем заключается социализм и о том — как можно построить общество на социалистических началах.

Разумного в наших построениях было только то, что надо действовать сообща и надо устранять «баронов», а землю передать народу. Казимир находил, что это хорошо бы. Но как это сделать? Разве сговоришься с народом? А начальство, а войска? Ну, а если устранить «баронов» и землю передать (допуская эту возможность), то как устранить неравенство

и бедность? Я говорил об общих запашках, общих амбарах и распределении по едокам. Он находил, что это невозможно, что не все будут одинаково работать и разведется много лентяев и обирал. Я был весьма слабо на этот счет подкован, но мы часто вели беседы на эту тему — гуляя по баронским полям, — и я это отмечаю — как признак того, что уже люди из народа стали задумываться над коренными общественными вопросами и что слова «социалисты», «социализм», как результат террористических покушений, проникли в белорусское местечко к самому концу 70-х годов.

Словом — «экономическая база» для холопенцев сильно изменилась к худшему. Многие из этого страдали, но всего больше страдали девушки, мои сверстницы, с которыми мы некогда, еще подростками, ходили в имение на работу.

Теперь уже они пришли в возраст, развились и расцвели, настала их пора «невеститься», когда хочется лучше одеваться и поплясать на ігрышчах, как плясали их предшественницы, из которых не все вышли замуж, а некоторые тщетно поджидали и искали женихов.

МОЯ ВЕСНА ПРИШЛА

Мое появление, уже почти жениха, не могло пройти незамеченным. Не так уж важно, что у меня не было никакого положения и что мне было бы нечем кормить семью: таких было немало, а ведь надо же кого-нибудь выбирать? Между тем — за мной был город, жизнь в городе и какие-то неопределенные возможности. Этого было достаточно, чтобы обеспечить мне успехи у любой из подруг моего детства. Общее положение на рынке невест было таково, что не я искал сближения, а меня искали. Я только шел навстречу. С дальних концов приходили в наш конец девушки, не ища никаких предлогов, а просто, чтобы идти гулять в поля и луга. Были тут и востроглазая Юстынка, которую мне с 5 лет прочили в жены, и ее старшая сестра чернобровая Маринка, — обе со столь счастливо развитою грудью, что любая девушка могла бы позавидовать (крупный козырь в любовной игре, и ласкать эти жертвенные чаши добрыми нравами не считается предосудительным, как и поцелуи), и хорошенькая Стэфка-старшинишка, которая на ро-

мантическом языке могла быть названа «смуглянкой страстною», хотя она была весьма сдержанна и, правду сказать, холодновата, может быть, потому, что так полагалось порядочной девушке, а она себе цену знала; приходила и задорная Настаська Марьянкина, которую злые языки звали «белобрысой» за слишком светлый цвет волос и беленькое личико. И много других приходило в наш конец. «Думай, думай — выбирай: по любую засылай!» Вот тут и выбери: все хороши в своем расцвете. Я подготовился к встрече: фунт сахару я живо превратил в конфеты, да еще какие! — каких Холопеничи не видали ни до, ни после. Чего это мне стоило? — пустяк дело! И угощал я ими моих красавиц с кавалерской любезностию, заимствованной в цукерне. Они были польщены, но мое искусство не нашло в них достойных ценительниц, — и я должен был им пояснять — какая разница между жалким «ландрином» и тающей во рту помадкой и притом с натуральным вкусом земляники и малины, мною самолично собранными для вкуса и запаха.

К моему великому огорчению, простодушная Настаська находила, что крамные цукеркі «спарней»: их можно дольше «комячить» во рту. О, невежество, оскорбившее мое сердце и мое искусство!

Надо сказать, что не только в этот, но и в следующий приезд через год на каникулы я баловал своих сверстниц произведениями своего искусства. Кажется, это лучшее употребление, которое я сделал из своей кондитерской выучки.

По крайней мере, уже в старости Настася мне говорила:

— Часто мы са Стэфкай вас паміналі. Прыедзеце вы, бывало. Пойдзем мы гуляць у Каменны Лог ці ў лясок на Горку, — вы нас цукеркамі частуеце, вершы разные чытаеце, або раказываеце, як што на свеці дзеетца, — і ўсё гэта далікатна, лагодна... Цяпер і хлопцаў такіх німа. Часта мы вас паміналі. І Юстына памінала.

Очевидно, этим обеззубевшим старухам наши прогулки, мои конфеты и обращение с ними, которое бывшая Настаська назвала деликатным, было светлым лучом, который проблескивал чрез сплошную тьму их горькой жизни.

Как увидим, им всем выпала злая доля. Уже то, что они меня искали, а не я их, было дурным знаком. Это значило:

«перепроизводство» невест при отсутствии подходящих и надежных женихов.

Да, мы по праздничным дням и накануне праздников, когда можно подольше поспать, хаживали всей компанией и парами гулять в поле и в ближайшие рощи. Да, мы подолгу сиживали в теплые летние ночи среди колосистой ржи или на пригорках, а кругом верещали коростели и раздавались томные призывы перепелов. Хорошие это были дни и ночи, полные сладостных чувств. Недолго они длились: точным счетом четыре месяца, распадающиеся на два моих приезда. Так коротка была моя весна! Затем настало длительное время сурового аскетизма, добровольно на себя наложенного, во имя должного и недолжного. Они гласили вдохновенными словами малоизвестного поэта (Боровиковского):

> Оставь отца и мать — не строй себе гнезда, —
> Будь одинок, и пусть замолкнут навсегда
> В твоей груди людские страсти;
> Будь свят, будь недоступен ты
> Соблазнам женской красоты,
> Любви, богатства, славы, власти;
> И сердце чистое храни в свой груди;
> Весь пыл его отдай без разделенья
> Несчастным братьям на мученье, —
> Где слышишь стон — туда иди.

И я шел туда. В этой короткой и сильной строфе была начертана программа моей жизни, моей работы, моего поведения. Она прекрасно отражала то настроение, которое вскоре овладело мной и многие годы было господствующим во мне и руководившим моими действиями. Ясно, что при таком настроении отношение к женщине могло быть только серьезным, чистым и, если хотите, святым: живые симпатии, теплая или сердечная дружба — вот те чувства, которые считались допустимыми. Легкомысленное, а тем паче пошлое волокитство было немыслимым и морально невозможным. А пока это настроение не возникло и не выработалось, мы целовались, и много целовались. Первые робкие уроки с прекрасной

панной Барбарой пошли впрок: я был много смелее в своей инициативе первых поцелуев, самых трудных, и особенно долго маялся, пока поцеловал Стэфку, которая мне нравилась больше других.

Меня удивляло — до какой степени они относились к этому проявлению нежных чувств просто, как к чему-то совершенно обыкновенному, ничего особенного не означающему и ни к чему не обязывающему. Они также ждали этого, как ждала и Варвара, только не так томительно долго.

Выше я сказал, что мы целовались; это не совсем точно: они позволяли себя целовать, не отвечая на поцелуи. Этой сдержанности, по-видимому, требовало достоинство девушки. Целовались они только в редких случаях, когда целуются со всеми близкими людьми и добрыми знакомыми: здороваясь после долгой разлуки или прощаясь.

Стыдно сказать, но не следует умалчивать, потому что это характерно для наших отношений. В наш конец, более привлекательный для прогулок, приходили нередко вместе две сестры Маринка и Юстынка; первая была внешне красивее, а вторая живее и поэтому милее. Вместе мы и гулять ходили, и если садились, то одна садилась по одну сторону моей особы, а другая по другую, — стало быть так, чтоб обиды не было ни той, ни другой. Я находился в положении буриданова осла между равными вязанками сена, но я не издох с голоду от равносильности мотивов для выбора. Я попеременно целовал то ту, то другую, — так чтоб обиды не было ни той, ни другой. Сколько я могу судить, они не чувствовали ревности друг к другу, а терпеливо ждали: когда-то он остановит свой выбор на одной. Но вспомним, как труден был выбор для Айвенго между леди Роуэной и Ревеккой. Леди перетянула, но тут не было леди. Однако некоторое соперничество между ними было заметно. Одна только Стэфка как-то заметила, что надо бы «занимать» одну. Но сама этому правилу не следовала: я знал, что и другие стараются проторить дорожку к ее, пожалуй, наиболее гордому сердцу.

Когда я провожал ее ночью болотами, чрез осушительные широкие канавы, то на обратном пути кладки оказывались разобранными: кто-то ревниво следил исподтишка за нашими

путешествиями и старался затруднить для меня возврат прямым путем. Однажды, прыгая через канаву с разгону, я-таки попал по пояс в воду. Хорошо еще, что никто из соперников не следил за этим (дело было к утру) и не мог злорадствовать. Однажды, когда мы шли с нею тем же путем, в меня полетел из-за плетня увесистый камень. Стэфка крикнула:

— Прахор! Сабака!..

Как подобает в таких случаях, я не замедлил броситься за плетень, но мой соперник постыдно удрал. Этого довольно: я не обязан гнаться за трусливым врагом, оставляя свою даму среди болот.

Но был соперник более подлый, и я это знал.

Я всегда женщин идеализировал: без пьедестала многие оказались бы слишком малорослы, что неудобно для поклонения, и без ореола многое в их облике могло бы представиться в неудачном освещении. Я всегда считал необходимым избегать этих неудобств, а в молодости — тем паче. Это донкихотство? Пусть. Но ведь видел же наш рыцарь в грубой трактирной служанке несравненную Дульцинею Тобосскую? Видел, — и с него этого было довольно, чтобы в ее честь ломать копья. И напрасно бы трезвый и практичный Санчо Панса старался бы его разубеждать: он видел, — что может быть реальнее? И чего еще надо, чтобы не видеть? Позаимствовать глаза у Санчо Пансы? Пусть он остается при своих глазах. Я привык верить своим глазам, хотя бы и склонным к иллюзиям. Я находил, что так лучше. Конечно, я, в меру возможности, идеализировал своих холопеничских сверстниц. Кроме поцелуев, которые их нисколько не скандализировали, а скорее возвышали в собственных глазах, и которые зазорными не считались, я никаких грубых выходок по отношению к ним себе не позволял. Впоследствии это было ими высоко оценено. Конфеты — это дело хорошее. Угощение медом на кирмашах — тоже неплохо. Я это по традиции практиковал и в то время, когда они были изможденными старухами с большими прорехами во рту. Они с удовольствием вспоминали время нашей молодости, и мне не стыдно было смотреть им в глаза. Правда, иногда я их занимал вещами малоподходящими, которые могли им казаться и скучными и не идущими к делу. Но

нельзя же было заниматься одними поцелуями? Или сидеть и молчать, слушая коростелей и перепелов? Такое молчание было и неловким, и томительным. Я им читал прекрасные стихи, вроде «Алеши Поповича», «Коринфской невесты», «Песни про Кирибеевича и Калашникова», «Коробейников» Некрасова и т. п. Последние — еще куда ни шло, а первые и им подобные они плохо понимали и, может быть, тяготились моей напыщенной декламацией в псевдоклассическом роде, но ничего не поделаешь: это меня выводило из затруднения.

Иногда я говорил:

— А знаешь ли, Стэфка, вот эта красноватая звезда: это Арктур, в созвездии Беотеса, т. е. Волопаса. Она так же велика, как наше солнце, а, может, еще и больше. А наше Солнце, ты не гляди на то, что оно величиной с дно от бочки: оно в миллион триста тысяч раз больше нашей Земли, и т. д.

Она при этом откровенно зевала. Я не обижался: это было так естественно. Если это был вечер в субботу, то она уставала за целый день и с серпом, и с граблями. Не то, что я, который в это горячее время ничего не делал и мог спать, сколько хотел. Но мне, по правилу всех влюбленных, хотелось возносить этих милых девушек к звездам, непременно к звездам, сиявшим над нашими головами мечтательным светом в летние белесоватые ночи.

Джон Бёрнс в трогательных стихах говорил, что ему вечно памятны ночи молодости, проведенные с юной подругой в ячменях, и что он отдал бы все за одну такую ночь, если бы ее можно было вернуть. Но они невозвратны: «не дважды май нам в жизни расцветает».

Мои ночи были ночами во ржи, но это не хуже ячменей, если слегка идеализировать свою подругу: иначе не будет полноты ансамбля. А противоречие здесь то же, что режущие диссонансы в музыке.

Мои прирожденные подруги, хотя мне и не подпевали, но музыки, которая звучала в моем юном сердце, не портили: они просто молчали. Может быть, это и есть лучшая тактика, если не в музыке, то в жизни. То, что они иногда зевали, даже не закрываясь рукой, я им не ставлю в укор: нельзя быть слишком требовательным в рабочую пору.

Не ставлю я им в укор и то, что они не были так красивы, как их более ранние предшественницы: Наста Новикова, Алена Сколубовичева или Марина Голован. Эти были редкой в белорусских деревнях, отборной красоты, на мою долю выпало низкорослое, но миловидное поколение, которое в старости походило на бочонки на двух ногах. Но в это время — кто думал о том, что будет в старости. В то счастливое время это были милые девушки.

Как жаль, как жаль, что всем им, холопеничским девушкам моего поколения, плохая, тяжелая и даже горькая досталась доля. Перебирая их судьбу в своей памяти (а я ими всегда интересовался), я нахожу, что одна только Ліза Шаблоўская своевременно и счастливо вышла замуж за Микиту Сколубовича, — рослого и по-белорусски красивого парня. И лицом, и торсом, и фигурой он напоминал Аполлона Бельведерского (серьезно), без того, впрочем, одушевления, которое так ярко выразил художник в гневнодышащем лице и в стремительной позе. Народили они здоровых ребят (особенно дочери были красивы) и до глубокой старости сверкали прекрасно сохранившимися зубами.

Все остальные, кого я только ни помню из своих сверстниц, пошли в жизни тяжелым путем.

Началось дело со Стэфки-старшинишки: ее бессовестно соблазнил Микита Сироткин, которого мы прозывали по матери Малашкин, — старовер, сын вора, не выходившего из тюрьмы, сосланного наконец в Сибирь. Малый был довольно красивый, разбитной и сильный. Мы когда-то ходили с ним вместе в усадьбу на работу и вместе учились в школе.

В декабре месяце 1880 года я на короткое время приезжал в Холопеничи по случаю смерти матери. Стэфки я не видел, а Юстынка с Маринкой приходили к нам, но мне было не до любезностей. Когда же я, полтора года спустя, приехал в побывку по окончании ученья, то дядина Маша, чтобы я не сделал «ложного шага», предупредительно извещала:

— Прыйшла я к тваей Стэфцы, сваёй куме: сядзіць, як сыч, насупіўшыся, толькі носам сапець і пад стол хавае пуза. Мікіткіна работа... Не соблюла сябе дзеўка!..

А Юзик добавляет:

— Што ні свята, дык Мікіта з ружжом у Паняткоў барок, а іна з карзінай за грыбамі. Вот і дахадзілася... А яму што? Ён і не думае жанітца: узяў свае — і хвастом накрыўся! Цяпер слышна, к Дуньцы Іллюхінай із Бабарыкі сватаетца. Тут дзела другое: багатага мужыка дочка, ды і стараверка. Свой к сваяму...

Это было только начало ее злоключений. Родила она без помощи бабки-повитухи, как бы следовало, а только с матерью и, говорят, родила мертвого. Мать понесла его закопать ночью в хлеву, да подожгла солому: и двор, и дом, и все добро сгорело. Сильный дом бывшего старшины пришел в упадок. Мать ослепла от слез, а брат Стафан, хозяин, сошел с ума. Вдобавок возникло дело о детоубийстве. Чтобы замять дело, следуя общему юридическому предрассудку, Стэфка пошла к соседу, Андрею Лапенку, так, парню-замухрышке, «лапаўскаму насенню», и предложила на ней жениться. Тот, видимо, не ожидал этого счастья и тотчас же согласился. Обвенчались — и чрез три дня она от него ушла. Пока брат ее Василь, первейший силач, не возвратился из солдат, Андрей обычно поджидал ее выхода из церкви и на людях ее позорил, сдирая хустку с головы. Это было в обычае, и никто этому не препятствовал. Когда брат вернулся, это издевательство прекратилось. Помаявшись некоторое время в своей семье — ни девка, ни мужняя жена — она вошла в семью Литвиновых в качестве невенчанной жены, то есть жены по местным обычаям, второго сорта, если не хуже:

— Так сабе жывуць: за палюбоўніцу пашла.

Все, что деялось в Холопеничах, я узнавал или от наезжавших в Минск, где я учительствовал, родичей или земляков и два раза я сам ездил на каникулы в Холопеничи: в первый год по окончании семинарии, в ожидании назначения на место (1882 г.), и второй раз, семь лет спустя, с молодой женой (1889 г.).

Тут развивались передо мной холопеничские истории, более или менее близкие с историей Стэфки, все эти россказни я свожу вместе.

Мне говорили:

— Ці помніце, як наша Віктося два часы сядзела на пасадзе, а Казімір — не падхадзіў — не хацеў зняць пакрывала?

Помніце, як іна плакала і патом гаварыла: для чага я сябе блюла?

Ну, дык цяпер на пасад не саджаюць: вышла із моды. Німа чым хвалітца. Каго не назаві — ўсе дзеўкі да вянца перапорчаны.

Марынка Мацеішка вышла замуж за Стафана, што фурманом у Надольскаго служыў. На пасад не саджалі: не да пасаду было. Міколка Петраў хваліўся: алі я ж такі знаю, што іна ня дзеўка. Маўчаў бы, калі знаеш...

Сестра яе Юстынка пашла ў пакаёўкі да паніча Хамінскага ў Гавенавічы. Вядома — чым гэта пакаёўства канчаетца: двое дзяцей радзіла ад Хаміншчыка. Але, дзякуй Богу, памерлі. Паветра якоесь было, ці што... Ён-такі даў ей 250 рублёў на пасагу. Гэта добра: з такімі грашамі мужа найдзеш. За Валодзьку Анцінага выйшла. Віш якого сабе малайца падчапіла! У Казіміра вучыўся шыць боты, вышаў майстар харошый і хлопец быў добрый, паслухмяный.

Пра Настаську пытаеце? Тое самае. Звёў яе быў латышок, дворный каваль.

Ну, іна паехала ў горнічные ў Барысава, да міравога судзьдзі. Гэтаксама двое радзіла. Дзеці памерлі. Потым яны пасварыліся, атыйшла іна ад яго, цяпер вышла замуж на Гаравую вуліцу.

Ганнулю Петраву мы ўсе «дзеўственіцэй» звалі: стыдлівая была. Алі на свайго напала: віннік з двара свайго дабіўся. Радзіла дачку, а ён хвастом накрыўся. Гэта ўжэ такій народ: без пасагі ня возьме.

Еўку Марціну змусьціў на грэх Канстанты Галаван, каб яму дабра не было: за што свет завязаў дзеўцы? Цяпер ходзіць у наночкі к настаўніку Лапатцы: двое ці ўжа трое дзяцей радзіла.

Наш Юзік тож свою Проску змусьціў, алі такі грэх пакрыў, толькі іна Федзьку штосьці скора пасля вясельля радзіла.

Цяпер павывеліся дзеўкі. Але калі ёсь у кішэні, дык жаніхі знайдутца.

А Аўдотку Карнееву помніце? Ну, дык Вірамей Токрын яе спорціў... А Марылька Хруцкіх? У сваёй маткі палюбоўніка атбіла! Жыў, жыў з маткай Шкленнік: а потым за дачку пры-

няўся. Забрухацела — мусіў жанітца. Во які свет настаў! Даўней нічога такога не бывала. Даўней год і другій спіць з хлопцам у пуні, а сябе блюдзець. А цяпер пашлі вольна.

Положим, что давней это бывало, но верно то, что не в такой степени. Тут мы имеем почти поголовно. Это все мои сверстницы, так сказать, — одного выпуска, — и все «не сablюлі сябе». Что это значит? Были ли они менее сдержанны, менее нравственны, чем их предшественницы? Конечно, — нет: они были девушки скромные, может быть, скромнее других. Но обстоятельства изменились, — именно хозяйственные обстоятельства: нет заработков, не с чем окрепнуть и заводить свою семью. Нет «пасагу», а голую кто возьмет, даже и хорошую работницу. За небольшими исключениями, это все дети бедноты. Если они скопляли приличное приданое, то их охотно брали в жены, как взяли Юстынку и Настаську, хотя та и другая родили детей до брака. Значит, дело было не в том, что они «порченые», а в том, что были бедны.

Микита не женился на обиженной им Стэфке, а взял дочь деревенского богатея, хотя она и лицом, и станом против Стэфки далеко отошла. А что девушки себя «не блюли» — думаю, потому, что замуж вовремя не выходили. При обещании жениться они легко сдавались, как крепость, в которой враг уже в стенах. Они же в своих сердцах носили врага. А к каким тяжким страданиям это вело впоследствии!

В общем, положение можно охарактеризовать так: хлопцы были, а женихов не было.

От этих любовных историй, не лишенных бытового и социального интереса, мне нужно возвратиться к печальнейшему моменту в истории моей семьи: к преждевременной смерти моей матери.

В последний раз я ее видел, прощаясь перед отъездом, или вернее, отходом в семинарию в половине августа 1880 года, после моих первых каникул, которые, как сказано выше, я проводил беззаботно, довольно весело и занятно. К концу каникул мои личные очень маленькие средства поистощились (паненкам на цукерки пошли), от отца присыла не было, и у меня не было денег на дорогу. Мать выручила, заложив мелкому ростовщику свое драповое пальто и шерстяной

платок, ее выходные (только в церковь да «про людей») вещи, за 7 руб.: деньги немалые. Из них 5 руб. были даны мне непосредственно, остальные, надо думать, пошли тоже на меня, ибо в дорогу мне было немало чего напечено и нажарено. Все это вместе с книжками и бельем я запаковал в 2 узла и, перекинув через плечо, потащил на станцию Бояры.

Матушка провожала меня до Якимовского лога и шла бы дальше, если бы я не настоял на возврате. Долго она прощалась, плача, со своим любимцем, глядела мне в лицо — и не могла наглядеться, словно предчувствуя, что видит меня в последний раз. Я и теперь вижу ее добрые заплаканные глаза, из которых струилась святая материнская любовь. Простившись, она вновь позвала меня и, подбежав, сунула два медных пятака, может быть, последних. Я отнекивался, но, в конце концов взял их. Взял — и не сохранил как святыню. Это могло бы меня оправдать, а теперь они, эти два медяка, тяжелым камнем лежат на сердце. Это был последний материнский дар, нечто большее, чем евангельская лепта вдовицы.

В половине декабря я получил письмо от сестры Магдалены с извещением о смерти матери. Меня охватило такое горе, что я решил ехать немедленно в Холопеничи, хотя оставалось не более недели до законных каникул. Директор не хотел отпустить, но я настоял, и мне был дан отпуск. Осиротела наша хата: Магдалена, которой было 16 лет, была еще молода для сложной роли хозяйки, где надо было все самой создавать, все раздобыть и сделать своими руками, Павлинке было 12 лет и Маше — 9. Пока — вопрос решался легко: мать оставила достаточный до весны запас сала, картофеля, ячменю и других продуктов.

Оказалось, что мать умерла от простуды (37 лет). Здоровье ее вообще было слабым. В последние годы она часто прихварывала, но редко выходила из работы: не умела лежать и не щадила себя. Эта «простуда», по-видимому, была воспалением легких. Какое там лечение в деревне? И какой там уход? Так и умерла на руках тетки Виктоси и дядины Юльки. Я застал только свежую могилу на близком кладбище.

К Рождеству приехал отец. Он остро почувствовал свою и нашу потерю: горько и неутешно плакал в осиротелой хате и над свежей могилой.

Но вставал вопрос: что делать с детьми? Мне оставалось полтора года с небольшим до окончания курса, когда я мог быть для них опорой. Ибо в этом отношении всего меньше можно было рассчитывать на отца с его частой переменой мест и службы.

Мы решили: оставить все, как есть, водворив, в качестве хозяйки, дядину Юльку, уже «пожилую», с ее дочкой Марцысей.

Так и сделали, и я уехал продолжать ученье, простившись навсегда с «нашей хатой», с которой связано немало переживаний и радостных и печальных, и горестных, и в которой мне уже больше не пришлось жить, хотя она, меняя хозяев, еще стояла в 1923 году, приземлившаяся, жалкая, ободранная, лишенная пристроек, словно горемычная бобылка на старости лет, всеми оставленная. В 1928 году, в мое последнее посещение Холопенич, когда уж очень мало я застал в живых своих сверстников и сверстниц, остались только следы, где она стояла. «Все приходит, все проходит и ничему возврата нет»...

Весной отец вновь приехал в Холопеничи, сдал кому-то огород, хату взял на замок, как это уже не раз случалось, а детей увез с собою в Минск. Летом я приезжал на короткое время в Минск, чтобы узнать, что делается с семьей. Оказалось, живут вместе на квартире у нашего знакомца Булата, жили плоховато, ибо отец пробавлялся только случайными заработками. Я уже занимался уроками в Несвиже, и мне оставался один год до выхода в учителя.

Вскоре я узнал из письма Магдалены, что отец поместил ее на службу к директору реального училища Самойло. Павлинку отдал в няни к какому-то обер-кондуктору, а Машутку поместил в чью-то семью с обязательством платить за прокорм. Сам же уехал в Калугу на службу к командиру артиллерийского парка полковнику Жебровскому. Значит семья вся рассыпалась врозь. Отлетела ее душа. Исчезло цементирующее начало.

Разделавшись с семинарией, я направился в Минск (1882 год). Легко отыскал сестру Магдалену и был обрадован тем, что она попала к хорошим людям: хозяйка произвела на меня очень хорошее впечатление, и Магдалена ее хвалила и не

тяготилась своим положением. Это было лучше, чем жить с отцом, беспокойным, требовательным и придирчивым. К тому же в Калуге он уже успел жениться на какой-то девушке Пелагее, сироте.

Я пошел разыскивать Павлинку где-то около Виленского вокзала и неожиданно встретил ее на тракту с еще не вырубленными березами, с ребенком на руках, как маленькая мадонна, худенькая и обтрепанная. Когда я стал ее расспрашивать — как ей живется, она мне ответила по-польски, как говорят ее новые хозяева.

— Ніц собе. Оні незамэнжнэ, але жыён добжэ...

Это «оні незамэнжнэ», т. е. невенчанные, в ее детских устах резануло меня по сердцу — и я залился горькими слезами. Сел в придорожную канаву, — сидел и плакал. Павлинка смутилась, не понимая, в чем дело. Вокруг меня стала собираться толпа. Я простился с ней, оставив ее в семье «незамэнжных», которые, по счастью, живут хорошо.

Машутка, как оказалось, была в не лучшем, а, пожалуй, в худшем положении, на хлебах в чужой семье железнодорожных служащих. Я написал отцу, в каком положении застал сестер и что их нельзя так оставлять, по крайней мере, двух меньших. И уведомил его, что еду в Холопеничи, чтобы прожить там до назначения на место: больше мне деваться было некуда, да и хотелось еще раз побывать на родине, прежде чем идти тем путем, который себе наметил.

В Холопеничах жил дядя Онуфрий: его тоже потянуло в бабину хату. Я приютился у него. Теперь он уж был не тот, что прежде: скитальческая жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, он был более угрюм и здоровье его, видимо, сильно пошатнулось. Дядина Маша тоже постарела и похудела, хотя бодрилась, старалась глядеть веселее. У них было двое детей: старшему Сымке около 7 лет, и без меня родилась девочка Соня, которой было около года. Все они должны были кормиться, главным образом, от бабиного огорода, который был неистощим в своей производительности: кормил и людей, и свиней, которые, в свою очередь, кормили людей. Дядя, считая свою песню спетой, хотел жить при доме. Но чем в оскудевших Холопеничах заниматься? Ремесла он никакого не

знал, да и всякими ремесленниками они были переполнены с избытком. Он был рад-радехонек, что получил место десятского при становом приставе, которое давало 8 руб. в месяц, то есть, в сущности, оставался для разных услуг становому Заранкевичу, важной особе по Холопеничскому масштабу, — приставу, его жене, и писцам, — положение, которое он не мог считать завидным и, конечно, им тяготился. Одет он был бедновато, соответственно своему званию, но сохранил свой природный здравый смысл, большой опыт в знании жизни и людей, и разговор с ним не лишен был известного интереса. Меня он встретил весьма радушно, по-родственному, и, видимо, был рад, что я выхожу на хорошую дорогу. Два месяца я пользовался его скромным, но радушным гостеприимством.

По старой памяти, всего больше я дружил с Казимиром Шабловским, женатым на моей двоюродной тетке Виктосе. Работая, он меня спрашивал о чем-нибудь, что его интересовало, я же не уставал удовлетворять его любопытство.

Здесь же я познакомился с А. И. Хлебцевичем, Минским семинаристом последнего класса, приехавшим сюда к товарищу на каникулы. Мы с ним весьма подружились, и, чрез его посредство, я в том же году связался с минской группой семинаристов-народовольцев, приведя с собой свой семинарский кружок избранных товарищей, вышедших в народные учителя.

Славный парень был Хлебцевич — веселый, жизнерадостный, обладавший красивым голосом и большой мастер петь. Так как я еще в семинарии начал заниматься фольклором, то мы с ним бродили по соседним деревням, — я с целью записей и наблюдений, он — для обозрения мест и лиц. Взойдя на какую-нибудь горку или войдя в лес, он заливался звонкой песней, подходящей к положению и как бы являвшейся откликом самой природы, во всяком случае — созвучной и сливавшейся с ней:

> Эх, под сосенкой, под кудрявою
> Спать положите вы меня!..

Или:

> Как на горке калина,
> Ну, что ж — кому дело — калина.

Подъехал еще семинарист из ближайшего села Павел Шолкович, с басистым голосом, и мы вчетвером, включая местного поповича, составляли маленький хор, оживлявший холопеничское однообразие.

Много мы с ним бродили по окрестностям, иногда уходя далеко, к Чарейскому и Лукомльскому озерам, на реку Иссу и Начу, ночевали, где придется, иногда у костра, и возвращались чрез 3, 4, 5 дней, — загорелые, усталые, но вновь готовые идти. Хороши были эти прогулки, полезные и для меня, и для него. Много мы видели и мест, и лиц, я пополнял свои запасы, и много, много пели: молодость и свежие силы рвались из груди. Оба большие любители природы, мы, соприкасаясь с ней, освежали и обновляли свои силы.

В августе, когда я уже собирался к отъезду в Минск, на разведку относительно своего назначения, приехал отец из Калуги. Он приехал продавать дом и ликвидировать остатки имущества. Раз вся семья рассыпалась, то уже не было смысла держаться этого «прыпірышча», как называла нашу хату моя матушка.

Денег на дорогу у меня не было, у отца тоже. Я занял у тетки Виктоси 8 руб. под вексель: очевидно, на слово мне не верили. Так оно спокойнее! По приезде оказалось, что я не напрасно беспокоился, долго ожидая назначения. По установившейся традиции я должен был бы получить место первым и притом лучшее, на выбор из вакантных. Но встретилась задержка, которая вообще мое назначение ставила под сомнение. В моей конфиденциальной характеристике из семинарии было сказано: к религии относился индифферентно. Для народного учителя это значило почти то же, что политически неблагонадежен. Директор народных училищ Тимофеев, лично меня знавший еще в семинарии, так как был, вместе с попечителем округа, на моем пробном уроке, считал возможным назначить меня в город, очевидно, находя, что здесь индифферентизм не столь опасен, но представитель духовного ведомства, соборный протоиерей Галин возражал и против этого. Все это я узнал от инспектора С. О. Кваснецкого, моего бывшего учителя в семинарии. Он мне сказал: «Ив[ан] Филип[пович] (директор семинарии) вам подставил ножку, написав то-то и то-то».

Дело было дрянь, но я победоносно вышел из положения.

В это время в Минске был небольшой съезд учителей и учительниц, частию не успевающих, а частию ищущих мест, для практики и методической подготовки к занятиям. Это все были лица без педагогического образования. Руководили ими инспекторы, из которых ни один не имел педагогического образования, и дело шло безнадежно плохо. Так как я в семинарии считался хорошим методистом, то мне было предложено руководить этими занятиями и давать «образцовые», то есть показательные, уроки. Они пользовались большим успехом наряду с неумелыми людьми. И их я сумел натаскать настолько, составляя для них планы уроков и ведя беседы по исполнению этих планов, что дело пошло прилично: успех был заметный.

Мне было предложено остаться в Минске, но я, в силу своих народнических убеждений, стремился в деревню. На это согласились. Было четыре вакантных места, но инспектор Е. Г. Таранович просил меня взять худшее, хотя бы временно, сильно запущенное училище в селе Холуй Игуменского уезда, чтобы его поставить на ноги. Я так и сделал. Мне заплатили за руководство занятиями практикантов небольшую сумму, но я ее почти всю прожил на гостиницу и кормежку, так что, когда я приехал в Холуй и расплатился с возницей, у меня в кармане осталось ровно 2 коп. С таким капиталом я начинал свою новую жизнь. Я не буду здесь рассказывать о своей работе в Холуе, очень короткой (после того, как я наладил дело, меня перевели в лучшее училище в с. Погорелое того же уезда), так как об этом я кое-что писал в своих воспоминаниях о революционной работе, а чего не написал там, то, может быть, напишу впоследствии, если время позволит: здесь же об этом напомню только, чтобы иметь локальную и хронологическую канву рассказа о своей семье.

Прощаясь с отцом, мы условились, что, когда он ликвидирует имущество, а я обоснуюсь на месте, то младших сестер он привезет ко мне: их надо было учить и воспитывать. Он продал дом с сараем и огородом за 108 руб. (вот размер основного фонда, которым располагала моя семья!) и еще кое-что выручил за разное барахло и, приехав в Минск, не сносясь со

мной, забрал младших сестер и увез их в Калугу. Не знаю — каковы его были мотивы в этом случае, но впоследствии, разойдясь с женой, он взял с собой Машутку, помимо моего ведома (я был на кондициях, а девочки жили у старшей сестры в Минске), чтобы не быть одному. Может быть, и на сей раз был тот же мотив. При его непоседливости — это было самое худшее из возможного. В Калуге, между прочим, Павлинка едва не утонула в Оке. Пошла полоскать белье и очутилась в проруби. Хорошо — вытащили ее. Из Калуги он уехал в Брянск на службу и там тяжело захворал. Опасаясь за свою жизнь, он решил детей послать в Минск к сестре Магдалене, чтобы та направила их ко мне. Это путешествие — подвиг своего рода, исполненный этими маленькими путешественницами успешно. Ехали они одни, — девочки 10-и и 12-и лет. Путь далекий, в Смоленске пересадка. Уже одно отсутствие провожатого представляло немало затруднений. Но они вышли из положения, прося заранее кого-нибудь считаться их провожатыми. В Смоленске они обратились к вокзальному повару, чтобы усадил их в вагон. Тот это сделал, так сказать, во имя профессиональной солидарности. Чтобы их не обокрали и не ограбили, они свои деньги зашили в подкладки платья. В Минск приехали ночью и опять же обратились к повару, чтобы он свез их в город к сестре. Тот это сделал. Свет не без добрых людей: все обошлось по-хорошему. На Рождество я приехал в Минск и свез их к себе в Погорелое, поместив в свою школу. В Минске я с удовольствием узнал, что Магдалена перешла на службу бонной в семью учителя местного реального училища Курилко: это были славные люди, которые относились к ней, как к родной. Неплохо ей было у Самойло, а здесь еще лучше. Впоследствии с этой семьей сестра поддерживала дружественные отношения.

Отец, выздоровев, приезжал к нам — посмотреть, как мы живем, и погостить.

Жилось трудненько. Содержание мое было маленькое: 16 руб. в месяц и притом из двух источников: [...] из казначейства, [...] и из волости, выдаваемых в два срока. Эта прибавка шла на платье и обувь, а кормились мы втроем на 12 с полтиной: не разжиреешь! Тем более, что у нас ничего не было: ни

ложки, ни плошки. И, тем более, что мне, от поры до поры, надо было наезжать в Минск для связи со своей организацией и обмена книг. Последнее для меня, разумеется, имело существенное значение: книгами я пользовался не только сам, но и снабжал ими товарищей учителей. Моя школа была, так сказать, распределительным пунктом. Ища книг всюду, где можно, однажды я напал на целый клад: у заштатного старика попа в Холуе я нашел на чердаке, куда он меня послал, целый ящик книг: наряду с хламом были ценные книги, вроде Пражского издания «Творов» Шевченко, прекрасного сборника стихов «Смех сквозь слезы», романов Гюго, «Отечественных Записок» и пр. Все это он мне уступил по сходной цене. И я сам дрожал от восторга, найдя ценные вещи (Шевченко был в то время большой редкостью), и порадовал своих друзей и в первую очередь И. С. Гапановича, которому тотчас же свез часть своих приобретений. Теперь трудно понять, — чем была для нас, заброшенных в деревне, где попы, волостные писаря да урядники почитались якобы интеллигенцией, проникнутой специфическим духом, с которой, так или иначе, приходилось поддерживать отношения, — иначе говоря — трудно понять — какую спасительную силу имела для нас хорошая книга. Это было лучшее средство не погрязнуть в этой тине, не опошлиться вконец, держаться на некоторой высоте. Это возможно, только соприкасаясь с высоким духом, черпая живую воду из чистого источника и обмывая ту житейскую грязь, которая неизбежно должна прилипать, ибо пошлость и грязь — кругом, и, что еще хуже, кругом мерзость, подлость и всякая неправда. А народ, крестьянская среда? Она была проще и чище, и там встречались отдельные люди весьма симпатичные, но в массе, и она не представляла ничего отрадного: бедность, невежество, темнота, пьянство... семейная тирания и вдоволь всяких обид. Во всяком случае — это была не та среда, из которой можно было черпать бодрость и обновление угасающего духа: весьма мало она могла дать, но весьма многого требовала, так что силы мы должны были черпать где-то на стороне и, прежде всего, из книг. Иначе руки могли опуститься перед этой горой всяческого зла, которую надо было сдвинуть с места. Попробуй,

сдвинь! Но в нее можно было постепенно закладывать патроны, которые впоследствии могли взрывать целые глыбы.

Вот почему мы так ценили книги как средство для обновления духа.

Я был страстный любитель поэзии, а в Минске я мог получать только научные книги, стало быть,— эта сторона была бы в забросе. Я должен был такого рода книги приобретать на свои скудные средства. И вот я выделил 6—7 руб. Нелегко это мне далось. У меня уже были приобретенные выпиской еще в Несвиже прекрасные сборники Гербеля: «Русские поэты», «Немецкие поэты» и «Английские поэты». Много мне они доставили чистых радостей и сладких волнений, пока я их читал впервые. Но все в них хорошее я уже давно знал наизусть. Надо было обновить запас этой божественной пищи. Я выписал каталог от Вольфа и, путем исключений, остановился на двух русских поэтах, недавно вышедших в свет: на Майкове (6 руб. 3 тома) и А. К. Толстом (7 руб. 3 тома). Долго я раздумывал, что выписать прежде: и тот, и другой были заманчивы. Надо думать, что лишний рубль за Толстого решил вопрос в пользу Майкова. Выписал, жду присыла. Наконец, — пришла повестка из Свислочи, где была почтовая станция. На почту волость посылала 2 раза в неделю. Так я не мог дождаться посыла и потрепал за 25 вер[ст] пешком в распутицу.

И еще обратной дорогой, останавливаясь отдыхать, я упивался, как старым вином, его антологией в античном стиле. Это было роскошное пиршество, которое изредка я себе устраивал. На следующий год я выписал и Толстого. А когда я работал в Минске, у меня уже была личная порядочная библиотечка, которая впоследствии разрослась до 4000 томов отборных книг. Я и книга как-то срослись живой связью, и жизнь без книг для меня была бы очень печальной.

Я когда-нибудь подробнее опишу свои переживания в деревне и в Минске, помимо революционных воспоминаний, а теперь опять возвращусь в Холопеничи, чтобы дать характеристики некоторых знаменитостей, которые были не затронуты, как не связанные или мало связанные с моей семьей.

В моих Холопеничах, как и во всех белорусских местечках, из массы людей, которые родятся, живут, работают, стра-

дают и умирают, трудно выделить особых, чем-нибудь выдающихся личностей, которые бы были не как все, имели бы свою определенную физиономию — с характером положительным или отрицательным. Таких мало, как и всюду, но все же они были.

Наиболее замечательным из их числа был Янутка Папков. Он принадлежал к сиротской семье Папковых, по-видимому, дворовых, но я этого наверно не знаю. Их было два брата Папковых — Василий и Иван, по-нашему Базыль и Янка, или ласкательно — Янутка, как его обычно и называли. Оба они попали в дворовую школу графа Хрептовича, стало быть, в первой половине 50-х годов, и были обучены грамоте. Базыль потом пошел в кожевенную выучку к Левке Головану и, пройдя выучку, женился на дочери своего хозяина Маланье, девке красивой и бойкой, которая еще до брака бегала к нему спать на сеновал, чтобы понудить богатых родителей выдать ее замуж за бедняка. Цель была достигнута, и Базыль женился на Маланке. Он получил надел при выходе на волю, на приданое построил дом и двор и поставил «чопы», то есть открыл кожевенное заведение. Сочетание сельского хозяйства с кустарным производством вскоре выдвинуло его в разряд зажиточных, если не богатеев. Семья была многочисленной — 4 сына и 3 дочери; дети были здоровые и из них, за исключением одного, выходили хорошие работники. В конце 60-х годов Базыля выбрали в старшины: это давало 120 руб. в год жалованья и еще столько же, а иной год и больше набиралось взятками. В кожевенном заведении не было надобности и оно было закрыто, а хозяйство вела разросшаяся семья. К ней принадлежали мой товарищ по первому выпуску Федор Папков и Стэфка.

Судьбу Стэфки мы уже знаем.

А Федор, по окончании Холопеничской школы, в качестве сына богатого мужика, поехал учиться в Гори-Горецкое земледельческое училище. Для меня это было недоступно и по возрасту, и по средствам: жить там приходилось на свой счет, да и что-то платить за учение. На каникулы он привез много рассказов про школьную жизнь, про ученье и преподавателей, про учеников из разных концов России, их школьные

проделки, попойки и кутежи в Горках со сценами циничного или низменного свойства. Привез он с собой объемистую тетрадь песен и романсов, не слыханных в Холопеничах, в том числе немало порнографического содержания (большею частию пародий на романсы Пушкина, Лермонтова и других), и грязных стихотворений, которые приписывались Баркову, конечно, без достаточного основания. Вся эта грязь и нечисть, наскобленная в воинских и иных канцеляриях, свезенная в Горки со всех концов, чрез посредство Федора проникла и в Холопеничи, в которых и доморощенной мерзости было не мало. Хуже всего то, что именно эта литература отхожих мест возбуждала наибольший интерес.

Так как в народной школе между мной и Федором было заметно соперничество с перевесом в мою сторону, то, год спустя, значительно подковавшись в школе, он меня, что называется, «посадил», предлагая вопросы вроде следующих:

— Что такое деление? (Я мог ответить только: такое действие.) Ну, и не знаешь. А какое действие? И сложение действие. Вот мы идем: тоже действие. (К большому моему конфузу я не знал — какое действие деление.) А что такое глагол? Что такое наречие?

Этого я совсем не знал — что оно такое. Досадно было, что я так публично осрамился, — я, окончивший «полный курс»...

Федор был исключен за какие-то «художества» из третьего класса. Вдобавок перед отъездом он оделся в лучшее платье своего товарища, прихватил его часы и со всем этим уехал. Но был задержал в пути, возвращен, судим и посажен в тюрьму. Это был большой удар для его отца, который вскоре после этого умер. Федор, возвратясь в Холопеничи, был некоторое время конторщиком в имении у Вилькена, а потом пристроился в Минске в железнодорожной конторе. Много пил и вскоре умер.

Он был первым из холопенцев, который поехал учиться в среднюю школу. Его проступки ставились на счет школы и образования. Его отец говорил моему отцу: «Не отдавай своего: разбэсцітца[252] так жэ, як і мой».

Это было мне не на руку, ибо люди склонны делать общие выводы из единичных фактов.

Янутка маляр

К семье Папковых, по кровному родству, принадлежал и Янутка Папков. Его звали по документам Иван Папков. Он был заправский художник, первый выходец «в люди» из крепостной массы холопеничских крестьян: учился он еще в той мурованной школе и подготовлялся для должности конторщика, как и Онуфрий Порецкий, и оказал большие успехи в рисовании. Я его хорошо помню, но знаю о нем больше по рассказам. Янутка был художник, и хороший художник, судя по тому, что я видел из его живописи, и судя по свидетельству, выданному из Академии Художеств взамен аттестата, им утерянного. Из этого свидетельства, хранившегося у его сына, Казимира Шабловского, видно, что он имел звание свободного художника и мог быть учителем рисования в средних школах. У нас это передавали более громко, хотя и бессмысленно: «прафэсор па дваранскай лініі». Судьба его в начальной стадии очень напоминала судьбу Шевченко, но в дальнейшем — большая разница: у него не было спасительного поэтического дара.

Янутка, обучившись в названной школе, был конторщиком в том же имении Холопеничи еще во времена графа Хрептовича (начало 50-х годов). В ранней молодости он имел большую склонность к рисованию и, надо думать, рисовал удачно, ибо нарисовал портрет самого графа и его дочери, впоследствии, по мужу, Бутеневой. Портреты обратили на себя внимание. В это же время он слюбился с хорошенькой горничной Полькой (Полей) Шабловщинкой, и она родила сына Казимира, который, как добрачный, и носил фамилию Шабловских, а не Папковых: его дядя Базыль Папков, старшина, на этом настоял, очевидно, боясь вступничества в свое хозяйство или чего-нибудь в этом роде. Не знаю — по какой причине, он немцем Брамом, грозным управляющим, был разжалован в скотники. Видели его в лаптях на скотном дворе и, конечно (люди злы), подсмеивались над ним, вчерашним почти паничем. Тогда он решился на чрезвычайно смелый поступок: он бежал в Петербург — искать заступничества у Хрептовичей, проделав всю дорогу пешком и притом без паспорта и денег. По тогдашнему времени это подвиг и диво. Счастливо

добрался, разыскал их в Петербурге и, повалившись в ноги молодой графине, просил заступиться за него и отдать в школу учиться. Как видно, этой молодой особе были не чужды добрые чувства: он не был послан на съезжую за побег и его не отправили по этапу, как это было в обычае, а поместили в рисовальные классы при Академии Художеств. Окончил ли он Академию — я не знаю, но, судя по времени его пребывания в Петербурге, можно думать, что окончил, или, во всяком случае, учился живописи, раз бежал он к Хрептовичам, как к своим панам, то это должно было быть до половины 50-х годов, ибо в это время имение уже было продано Лапе, а появился он снова в Холопеничах в начале 60-х годов, с аршинным аттестатом в трубке, большой печатью: «прафэсар па дваранскай лініі».

За это время его Поля успела родить дочь Людвисю от некоего Лебедева, видимо, человека совершенно случайного: был — и нет его; а Людвися — вот она?

Привез Янутка с собой не только аттестат «по дворянской линии», свое искусство, не виданное в Холопеничах, и множество сказочных рассказов о своих приключениях и о чудесах столицы, но и укоренившуюся склонность к пьянству. Он ее сразу проявил, ходючи из дома в дом по гостям. Его симпатии к Поле вновь оживились, и хотя это был несомненный мезальянс для «профессора по дворянской линии», он женился на ней, невзирая на наличие Людвиси.

Тут началась трагедия его жизни. Дело не в женитьбе: с Полькой они жили по-хорошему; а дело в том, что он пил запоем, периодически, и напивался до белой горячки. Заказов было мало и почти исключительно на иконы. Оплачивалось это плохо. Хороших красок не было: приходилось довольствоваться тем, что есть. Я знаю, что писал он иконы для Холопеничской церкви, Грицковичской, Лошницкой и Борисовской. Вероятно, писал и для других. Работая на стороне, когда наступал период запоя, он пропивал все: свое платье и обувь, краски, холсты, закладывал написанные иконы, — все, что можно было пропить. Вот в чем была внешняя трагедия. А что ей соответствовало в его внутреннем строе — это он унес с собой в могилу. Из Ратутич и Лошницы, где он работал, он пришел в Холопеничи босой и в одной женской рубахе,

которую какая-то сердобольная женщина дала ему из милости, чтобы прикрыть его наготу. Вот в чем трагедия «прафэсора па дваранскай лініі». Аттестат где-то, видимо, в закладе погиб. Я видел в Холопеничской церкви три больших его иконы и запрестольный крест. Это первые художественные произведения, которые я видел вообще и по ним я получил понятие о живописи. Одна: «Сретение» — написана красками грубыми, но лица выразительны, и композиция, обличающая хорошего мастера.

Лучшими красками написаны: «Снятие со креста» и «Воскресение Христово», почти такие же, но размером меньше, как в минском соборе. Первая была копия с картины Рубенса. Вторая — тоже копия какого-то иностранного художника: забыл — какого. Копии и по рисунку, и по краскам весьма хороши, пожалуй, не хуже минских.

Видел я еще два портрета его работы, старовера Прошки Ровина и его жены. Опять-таки это были первые портреты, которые я видел в детстве. Глядя на них, я пугался: живой Прошка с своим суровым лицом и взглядом исподлобья и живая Прощиха. Я боялся один оставаться с ними в избе. Кажется, что это неплохая рецензия и стоит тех птиц, которые клевали виноград на картине, писанной Аппелбесом[253].

Вскоре по приезде он занял у моего отца 10 руб. и потом обещал, что за это напишет ему его патрона Георгия Победоносца. Матушка выткала широкий холст для этой иконы: холст был пропит, а деньги, разумеется, не отданы. Такая история бывала и с другими.

Я видел дважды Янутку-живописца. Первый раз, когда мне было года 3—4, ибо было это еще в нашем первом доме. Он был у нас в гостях. И сейчас я вижу его ясно и отчетливо. Бледное лицо, русая бородка клинышком, нос с горбинкой, высокий лоб и золотистые, легкие и пушистые, вьющиеся волосы до плеч, — наружность самая художественная. Он был в черном сюртуке, в рубашке с широким воротником, повязанным платочком с бантом, — опять-таки, как носят художники. Второй раз я видел — как его хоронили. Это было вскоре после нашего возврата из Бобруйска — в 1867-м или 68-м году. Красивый открытый лоб и кудри были те же самые, но лицо осунулось, и синева выступала на нем.

Тогда говорили: гарэлка спаліла Янутку.

Сын его Казимир лицом был очень похож на отца, только волосы были темнее. Любил выпить, но не пил запоем. Склонность к размышлениям на отвлеченные темы, по-видимому, он от отца унаследовал, ибо его мать Полька такой склонности не проявляла. Отец был художником, а сын, подобно Якову Бему, был сапожником.

Костик Шалапенок

Костик Шалапенок из Подберезья или из Прудца (не помню хорошенько) был, подобно дяде Онуфрию, сиротой, подобно ему, был взят паном Лапой для услуг. Он был первым претендентом на руку и сердце тетки Марыли. Но более подлый соперник русокудрый Антон Хруцкий отбил и обесславил ее. После продажи Холопенич Костик уехал со своим паном в Рудобелку, и несколько лет о нем не было и слуху. Появился он в начале 70-х годов совершенно в новой роли, — в роли подрядчика по осушке полесских болот экспедицией генерала Жилинского. По его рассказам, он перешел на службу к этому генералу лакеем, и при обслуживании его особы проявил немало ловкости, уменья и находчивости. Так как Костик был грамотным, то генерал решил использовать его в качестве вербовщика рабочих рук для предстоящих огромных многолетних работ при исключительно тяжелых условиях. Много сил и жизней поглотили эти необозримые болота реки Припяти и ее притоков. Местность сырая, нездоровая; тучи слепней и комаров; змеи — ядовитые гадюки и ужи — в числе, нигде не виданном; спанье под открытым небом или, самое большее, в шалашах, на скорую руку разбитых; стряпня в котелках на таганке у костра; полное отсутствие врачебной помощи при почти неизбежных лихорадках. Но самое тягостное из всех зол — жесткие условия контракта. Плата назначалась от куба в объеме канавы, а не от куба, выбранного из нее. Канавы, чтобы быть действенными, должны были иметь слегка пологий скат, то есть в разных местах соответствующую глубину. Для подрядчика и техника неважно — сколько ты выбрал торфу или земли из нее, а важно — как глубоко лежит дно. Ты сегодня достиг надлежащей

глубины, а за ночь ее вновь засосало. Ты идешь дальше, а сзади у тебя все засасывает и заволакивает. Подрядчик измерил — нет надлежащей глубины: начинай сначала, но уже черпай тину и грязь, стоя по пояс, а то и по грудь в холодной воде. В контрактах все предусмотрено, все оговорено, все обусловлено к выгоде подрядчика и к невыгоде рабочих. Побывавшие на этой каторге возвращались желтолицыми, изможденными лихорадкой, с лишаями на лице и теле и с навсегда надорванными силами. А многие и совсем не возвратились, сложив в болотах свои горемычные кости.

При таких условиях трудно было найти добровольных рабочих в ближайших местностях, где уже знали — чем пахнут эти работы, а кадры принудительных рабочих быстро истощались. Тогда приходилось вербовать рабочую силу в местностях более отдаленных, прихватывая постепенно волость за волостью. Вот эти-то операции, наряду с другими ловкачами, и производил Костусь Шалапенок. Истощив запас принудительных в Бобруйском и Слуцком уездах, он осчастливил свою родину своим приездом и развил свои операции в трех соседних волостях — Холопеничской, Волосовичской и Богдановской.

Приемы его были похожи на приемы средневековых вербовщиков военной силы. Приехав в Холопеничи, он останавливался в лучшем доме у Росеты на базарной площади и несколько дней пускал пыль в глаза, открывая бесплатное угощение. В большой комнате и малых комнатушках для избранных шел «пир на весь мир». Стояли бутылки водки и пива, лежали хлеб, селедцы и тараны: пей, кто бы ни пришел — Костусь угощает. Косоглазый Яцек разливает — кому чарку, кому две и три. В комнатушках пьют не простую водку, но для такого случая — пьют вишневку, и рябиновку, и вино, — пьют, пока весь запас у Зымеля Баскина не будет истощен. Но он предусмотрительно посылает в Борисов за новым. В комнатушках пьют старшины, старосты, писаря и их помощники из волости и от пристава и разные другие именитые люди. Костусь ходит из комнаты в комнату, покрикивает, шутки и прибаутки отпускает, поощряя гостей, из которых одни, уже упившись как следует, побрели ко дворам, другие спят, склонив отяжелевшую голову на руки, а иной и под стол опустился. Костик пьет, и много

пьет, покрикивает и пьет, но ума не пропивает: крепкая голова у него, — ее и хмель не берет. А скрипка с басетлей и бубном, вперемежку с гармоникой играют — жару компании поддают. И так идет гулянка день, два и три — знай наших!

— Божа мой божа! Сколькі ён грошы пасадзіць — гэтый Кастусь Шалапёнак: можа, рублей сто, а то і болі яму гулянка абайдзетца! І аткуль столькі грошы ў яго бярэтца!

— Аткуль? Разумная галава знаіць, гдзе грошы растуць, як вішні. Там іх і шчыплець. Усё з нашага брата ідзець яму ў кішэню[254].

— Я ж яго помню яшчэ маленькаго: у лапціках ды ў сермяжцы прывела матка ў двор. Харошэнькій быў хлопчык... А цяпер глядзі, які красняк[255] зрабіўся. Прыехаў на парэ а званком, як той прыстаў абы акцызнік. Футра на ём саксакавая, шапка бабровая, адзежа харошая, панская... І часы залатые, і пярсцёнкі... І грошы ў кішэні цэлая папуша.

— Яцык Мар’янку прывадзіў у наночкі. Хвалілася, што наліўкай паіў яе і рубля даў.

— Чаму ён сваю жонку не падсунуў: яму б перэпала.

— Куды іна к чорту гадзітца, такая шкурлепа!

Долго говорили в Холопеничах о приезде Костуся Шалапенка. Но это была показная сторона, а не дело. Дело делалось в волости с паном писарем и старшиной. Старшине дано 100 рублей, писарю — 150, помощнику — 25, а старостам — кому красненькую, кому синенькую: всем понемножку. Это не считая угощения.

Когда эта важнейшая часть дела сделана, тогда просматриваются списки недоимщиков и отмечаются парни здоровые, выносливые, главным образом, из бобылей или семьянистых, на которых можно приналечь. Не всякого Костик и возьмет на работу: ему надо люди здоровые и выносливые. Старосты знают — кто годится, да и потом еще будет личный осмотр. Затем собираются сельские сходы и волостной суд. Сходы постановляют — нарядить таких-то в принудительном порядке, а суд упорствующих приговаривает к порке. Этак, обычно, шло дело при наймах на сплав и на другие работы. Наиболее деятельную роль здесь играли волостной писарь и старшина — они решали, — а старосты только выдвигали кандидатов из неплательщи-

ков. Добровольно нанимающихся, конечно, не было. Работа непривычная, далекая, за 300—400 верст, условия крайне отяготительные, явно кабальные... Кто добровольно пойдет? Однако он здесь набирал партии в 100, в 150 человек и более. Выправляли их матери, жены и сестры, с плачем и воплем, как в солдатчину. Шли они, с котомками за плечами, дней 10 или недели две, под конец — ноги деревенели, становились, як стаўбункі (столбики), плохо сгибались в коленях; а оттуда приносили надорванные силы и пожизненные ревматизмы в ногах и в руках, и рассказы про гадюк и ужей, которые забирались в карманы и рукава брошенной свитки, про тучи мошкары, комаров и слепней, сосавших их кровь, про угрей и пескарей, которых таскают, вместе с грязью, лукошками, про несправедливые обмеры и заплывшие канавы, про кляузные учеты, расчеты и обсчитывание. И много чего они повествовали живорезного. Но... недоимки были уплачены. И старшина с писарем хапнули в кишеню.

Вот что привозил с собой Костик Шалапенок в два или в три приезда на родину.

— Думаць — гэта думаць: якім чылавекам стаў — тысячамі варочае. Брата ат салдатчыны выкупіў: 400 руб. каштавала; што Фонбраткіну, што доктару, а што прыёмшчыку. Зымэль раздзяліў як следуіць. Із нічога — і такім чылавекам зрабіўся, — цяпер і рукой яго не дастанеш!

Яков из Якимовки

Он был красивый, рослый и здоровый парень. Семья была большая: четыре брата, молодец к молодцу. Его, как младшего, послали в имение в батраки, но он попал там в кухтики к моему отцу и, с течением времени, вышел в повара. Служил в тех же Холопеничах, связался было с Анцей, судомойкой и прачкой и, когда она родила сына Володьку, ушел в город, в Минск, чтобы отвязаться. В Минске попал на хорошее место — к инженеру Цыгареву. В то время инженеры жили — первый сорт: большими деньгами ворочали. Хорошо Яков зарабатывал да «разбэсціўся»: стал учащать на Новое Строение (слободку) и в карты играть в таких домах. Проиграв свои деньги, — хотел отыграться — и залез в ящик господского стола. Арестовали Якова, судили

и, на первый раз, посадили на шесть месяцев. Это ничего не значит: с кем не случается? Это не помешало ему служить снова у тех же Вилькенов. Но тюрьма многому его научила. Отойдя от Вилькенов, он обокрал основательно управляющего Вильма: все обчистил, несмотря на злых собак, которые к нему, как старому знакомцу, только ласкались. Чисто было сработано, но разодрался с братьями и хватил старшего бутылью по голове. Тот и выдал: нашли все вещи в омете соломы и двустволку в стрехе, в соломе же: искусно была зашита. Опять посадили Якова на полтора года.

Отсидев, он образовал крупную шайку воров, преимущественно из староверов, которым то дело за обычай.

Долго шайка оперировала в Холопеничской округе. Кражи делались крупные у богатых мужиков и помещиков; шли в открытую, в масках, с ружьями, кинжалами, топорами; ломали двери, вышибали окна, вязали дворню или домашних, подвергали пыткам несговорчивых. Все знали, что это дело Якова и компании, но Яков несколько лет безнаказанно разгуливал. После удачной операции он задавал громкий кутеж, так что местечко ходуном ходило. Все знали, на какие деньги Яков кутит, но наше дело — сторона, и шли к нему выпить дарового и закусить хорошенько. Власти его не трогали, ибо, с одной стороны, он давал — кому следовало, а с другой — его побаивались. Но после одного крупного нападения, с поджариванием пяток огнем, один из его сообщников был взят на допрос и кое-что сболтнул. Тогда Яков ему подрезал жилы на ладонях: не болтай! Тот явился в больницу и на дальнейшем допросе рассказал, что знал. Взяли кой-кого из сообщников и стали Якова ловить. Долго он не давался, поджигая гумна и дома тех лиц, с кем имел счеты.

Наконец — как-то его поймали, с боем и усилиями, и он был сослан в Сибирь. Так сошла со сцены и эта холопеничская знаменитость. По нашим местам он был первый бандит из белорусов. А то все этим делом промышляли староверы, народ более смелый и предприимчивый. Про их подвиги слагались целые эпопеи, но я их передавать не буду.

Скажу только, что чем далее, то тем более их дерзость возрастала, причем компании их были разноплеменны, далеко

не однородны, как прежде, и этому начало положил Яков, показав, что и белорусы для крупных разбойных дел годятся.

Впрочем, расскажу один маленький эпизод, из-за его характерности.

Ближайшие к Холопеничам дер. Боборыка и Валоба славились наследственными ворами и разбойниками. После крупной кражи пошли «колотить» Боборыку, то есть делать обыски. Вошли урядник с десятскими в сарай и стали разгребать свежее сено. Напали на парня, который, говоря: «Ну, попался! Ваше взяло!» — спрыгнул с сеновала прямо на урядника и толкнул его так, что тот покатился, как картофелина. А сам — через плетень, в рожь и зашился. У парня была голова повязана белой холстинкой. Оказывается, что мужик, у которого была произведена кража, всадил ему заряд дроби в голову, вдогонку. Сильно израненный, он и убежал. Напрасно его искали и, не найдя, арестовали отца и мать. Осталась в избе одна девочка-девятилетка. И вот эта девочка тайком пробиралась в его логово в лозниках на болоте близ реки Иссы, доставляла ему корм, обмывала раны и обмазывала их ржаным тестом. За ней следили и не могли поймать. Его поймали уже глубокой осенью, когда он вновь перебрался на сеновал.

Конечно, в этом заурядном эпизоде самой незаурядной является ловкая девятилетка, умевшая и за себя, и за своих постоять.

Анця Кутоўшчынка

Мимоходом мы уже с нею встречались. Но она заслуживает несколько отдельных слов. Она была родной сестрой дзядзіны Юлькі из рода Кутовских, и родной теткой моего приятеля и телохранителя Юзика. Но родство это плохо чувствовалось и еще менее чтилось. Она была безмужней матерью многих детей от разных отцов. Сама здоровая, как медведица, с грубоватыми чертами лица, она родила двух сыновей и двух дочерей от первосортных отцов: плохих она чуждалась и их не занимала. Все, разумеется, они обещались жениться. Надо думать, что она этому верила, по крайней мере — в молодости. Соблазнил

ее органист Брокон — тот, который подбивался к тетке Марыле, возбуждая ревнивое чувство у Костика Шалапенка. А как соблазнил, да к тому же она родила сына Адоля Броконенка, то Брокон, как водится в таких случаях, решил жениться на другой и сменить место, чтобы оставленная не мозолила глаз. Убивалась Анця с отчаяния, узнав, что возлюбленный засватал шляхтянку в одной из окрестных околиц. В отчаянии она решила прибегнуть к колдовству или скандалу, чтобы отомстить вероломному. Скандал не удался. Она хотела идти «на перебой», то есть при опросе ксендзом: не обещался ли другой — выступить с укором изменнику и с заявлением, что мне клялся и обещался. Но ее просто не пустили в костел и двери заперли. Тогда она спряталась на пути свадебного поезда и, дождавшись первой пары, с криком и проклятиями выбежала на средину дороги и под ногами у лошадей разбила новый горшок, целую корчагу с углем и какими-то заклятыми вещами. «Каб ваша доля так разбілася!» — дико крикнула она. Это было так неожиданно, что лошади шарахнулись в сторону, а молодая истерически взвизгнула и долго кричала. Надо думать, что страшной была Анця в своем исступлении. Она долго бежала за поездом и слала вслед самые изысканные проклятия. А так как это было на людной улице, то собралась большая толпа дивиться на это редкое зрелище. Долго об этом говорили, утверждая, что им-таки счастья не будет.

Брокон вскоре улетучился из Холопенич, оставив Анце на память о ее молодой любви, доверчивости и обмане сына Адоля. Не легкое было дело прокормиться бездомной Анце с ребенком. Она жила по чужим избам и добывала свой хлеб службой во дворе или стиркой белья на местную «знать» или богатых евреев.

Лет шесть спустя появился в усадьбе Яков из Якимовки в качестве повара, а Анця помогала по кухне и стирала белье. Это решало дело, а к тому же он хорош был собой и также клялся и божился... Терять было нечего, а выиграть можно. Таким образом, появился на свет божий Володька Яковенок. Яков улетучился в Минск и продолжал свой жизненный путь, как вкратце описано выше. И стала бездомная Анця кормить и растить двоих сыновей.

Но появился в усадьбе «агроднік», то есть садовник Захарок или, полнее, Захар Котлярчук из Гальков, — парень хоть куда, молодой, красивый, с русой бородкой. Анця любила красивых мужчин. На сей раз Анця, приютившись в крохотной избушке у Петрывых, родила дочку. Захарок, большой шутник и плут отчаянный, пришел на хресьбины, сидел гостем за столом, пил, ел, ухмылялся, игривые песенки пел куме и бабке... Анця, я думаю, была довольна, что на сей раз у нее хресьбины, як у добрых людзей, не без бацькі обходятся. Захарок после хресьбин так же улетучился, как и другие отцы. Дети росли, большие нянчили меньших. Анця билась як рыба аб лёд, кормила их, — без избы, без спасительного огорода. Многим ей приходилось угождать и ко многим подлаживаться — льстить и сплетничать: это ценится. Но вот уже Адоль на ноги поднялся и пошел «у двор» на работу: гривенник в день — и то хорошо.

Анця порядочно понаторелась в кухонном деле и служила кухаркой. Она уже порядочно постарела и стала помышлять о своем угле, як у добрых людзей. Вилькены отвели ей клочок бросовой земли в лозниках близ «цагельні», и она, какими-то чудесами, сварганила немудрящую избушку: все же свой угол.

Но вот в конце 70-х годов Федор Папков, выпущенный из тюрьмы, остался конторщиком в Холопеничской усадьбе, где Анця пребывала в кухарках. Чего же лучше? От добра добра не ищут. Разница в годах большая: ему 25, ей уже под сорок, но она еще свежа и толстомяса, к тому же в ее распоряжении лучший кусок. Он ее называл Аня и Аничка, как ее никто не звал. Обещал жениться. И Анця «понесла» в четвертый раз. Их обоих рассчитали, и Федор водворился с ней в ее хибарке. Ее сын Адоль уж был настолько велик, что не пускал его в дверь и швырял кирпичами, но мать отворяла и кое-как кормила своего Феденьку, а иногда и раздобывала на полкварты гарэлкі.

Но роды приближались — и Федор представил благоразумные доводы, что надо искать хлеба для будущей семьи. Здесь не найдешь, а стало быть, надо ехать в Минск. Анця заложила кое-что и дала ему денег на билет. В Минске, по

землячеству, он примазался к моему отцу, который кормил его у себя на кухне, где я его и застал, приехав на пасху из семинарии в 1880 году. Он уже подбирался к хорошенькой горничной, у которой была молодость и небольшие деньги. Что и требовалось доказать. У Анци роды приближались и ее многоопытное сердце чуяло недоброе. На пасху она приехала в Минск. Это шаг был героический. Как она его смогла разыскать? Я был свидетелем их свидания: оно было очень нежным. Он говорил ей: «Аня, Аничка... Убей меня Бог, если я тебя забуду...».

Он убедил ее тотчас же уехать домой, чтобы не пришлось ей родить на улице. Она уехала и тотчас же, по возврате, родила дочку (Федырышку). Он же немедля женился на горничной.

Это был последний роман Анци Кутовской. Теперь спросим себя: что такое была наша Анця? Ясно: героическая мать при подлых отцах. Детей своих она защищала, как волчица; всех их выкормила и поставила на ноги. От разных отцов — они были разноличными и разнохарактерными, но все были здоровы и красивы. Ее первенец, мой тезка Адольф, вышел в кузнецы и поражал своей необычной силой. Склонный к пьянству, он терроризировал все местечко своим буйством.

Володька, в отличие от своего отца, был парень спокойный; выучился у Казимира сапожному делу и, выгодно женившись, вышел в люди. А дочери — дочери повыходили замуж.

Со старшим Холопеничским поколением я почти покончил. Держался я преимущественно «дворного» конца, как ближе мне знакомого. Да, впрочем, у него только и была своя личная «история»: этот конец, с выходом «на волю» всего больше претерпел разных пертурбаций. Что же касается конца чисто крестьянского, то есть надельников, отрезанных от нас еврейским центром, то там жизнь шла правильно и однообразно. Если не считать болезней, смертей, сдачи в солдаты, женитьбы и выхода замуж, — явлений общих и обычных, — то достаточно сказать: жили-были, трудились, по праздникам пили, а потом умирали и хоронились на своем особом кладбище.

Младшее поколение, то есть своих сверстников, как это ни странно, я меньше знаю, ибо их зрелая жизнь проходила

вне моих наблюдений: выйдя в учителя, я редко наезжал в Холопеничи. Вот промежутки: был я по окончании семинарии в 1882 году, затем в 1889 году и затем, более 20 лет спустя, в 1910 году, уже будучи непременным членом Крестьянского поземельного банка. Много за это время воды утекло, и многое в мире изменилось. Изменились и Холопеничи — и изменились в сторону упадка, оскудения и, отсюда, общего ухудшения условий жизни, особенно белорусской и еврейской бедноты. Она, ища выхода, двинулась в город, по проторенному первоотходчиками пути. Но нелегко расставаться с насиженными местами, с родными пепелищами, и потому местечко было переполнено голодным людом.

Все время вращаясь в гуще народной жизни и в разных местах, я ко многому присмотрелся. Но наблюдая жизнь холопеничской бедноты, сильно разросшейся, я не мог не удивляться: чем люди живут. «Баронский» период прошел, нисколько не подняв общей производительности имения, но сильно сократив заработки бедноты. Имение перешло к некоему Малиновскому, минскому нотариусу, который, думается, его купил с целью выгодной парцелляции[256] при содействии Крестьянского банка. Поля от истощения стали неузнаваемы, запашка была сокращена, осушительные канавы заплыли, покосы, когда-то урожайные, обомшели и заросли кустарником, леса сплошь и кругом были вырублены и открыли для взора необозримые пространства на Лисичино, Черею и Лукомлю. Оскудение общее, но люди, не уменьшаясь в числе, как-то умудрялись жить.

Бабиной хаты уже не было и в помине. На ее месте дядина Маша как-то умудрилась взгромоздить новую избушку, да и ее бросила, выйдя замуж по смерти дяди Онуфрия в крестьянскую семью, в деревню, в районе села Игрушки. Теперь здесь жил сапожник Володька Анцин с Юстынкой. Он же и купил, в мой приезд, эту избу с бабиным плацем за 600 руб. от моего двоюродного брата, сына Онуфрия, Самуила Осьмака, которого я еще мальчиком в конце 80-х годов устроил приказчиком при складе Минского общества сельского хозяйства, где он и прожил всю свою жизнь. Теперь он, уже отец семейства, ликвидировал остатки отцовского наследства,

чтобы дать детям образование, желая непременно отдать сына в гимназию.

Микита Малашкин

На почве общего оскудения выросла одна крупная, по холопеничскому масштабу, разумеется, фигура Микиты Малашкина, по фамилии Сироткин, с которым мы уже встречались. Это был преемник и, если хотите, законный наследник «баронов». В Холопеничах он был силой и орудовал крупными делами, опять-таки, разумеется, по холопеничскому масштабу. Сын бездомной «перепагайки» и профессионального вора, он имел уже два обширных дома — один, купленный от старовера Гука, с хорошим плацем и садом, другой — выстроенный самолично на базарной площади, с обширной лавкой, куда он муку, крупу и прочие товары выписывал вагонами, что было делом неслыханным в Холопеничах, и, что еще важнее, построил паровую мельницу. Словом, — вся беднота была «подвержена» Никите Ивановичу Сироткину, да и не одна беднота. Он был много лет мещанским старостой, семья его разрослась, сыновья ездили на велосипедах, дочери ходили под зонтиками. Женя сыновей и выдавая замуж дочерей, он раскидывал свою сеть на всю округу, устраивал подсобные пункты в разных местах, как бы колонии Сироткиных. И все это он сделал, не выезжая из Холопенич. И пресловутая еврейская конкуренция оказалась ему неопасной. Он показал наглядно, что человеку с умом и в Холопеничах жить можно. По мере того, как все приходило в упадок, он рос в гору и ширился. Ушли бароны, дышал на ладан Малиновский, некоторые еврейские богатеи сильно сдали свои позиции, а то и обнищали, а Никита Иванович процветал. И надо думать — далеко пошел бы, да революция не только подсекла, а безжалостно отрубила ему крылья. Когда я был в Холопеничах в 1928 году, он всей семьей готовил исход в Сибирь, где на необозримых просторах, по слухам, жилось вольготнее, особенно если за тысячи верст оставить свое прошлое.

Я не буду излагать «естественной истории» Никиты Ивановича. Ясно, что он закономерный продукт своего времени:

где множится беднота, там наживается кулак. Особого ума не требуется: ловкости, сметки и выдержки у него было много. Если к этому прибавить небольшой капиталец, то все необходимые данные мы будем иметь налицо.

Каторжник Горбунов

Рост и процветание Никиты Ивановича Холопеничи были склонны объяснять по-своему. Говорили: «Ён пажывіўся грашамі Горбунова». Горбунов был разбойник, бежавший с каторги. Он довольно долго разбойничал в окрестностях Холопенич, находя приют у своих единоверцев «по старой вере». Немало совершил он кровавых деяний — и в одиночку, и в компании. Говорили, что он бывал и у Микитки и что последний воспользовался награбленными деньгами. Тут верно одно, что если бы представлялась такая возможность, то Никитка не побрезгал бы разбойничьими деньгами: они не пахнут. Но для объяснения его обогащения нет надобности прибегать к чрезвычайным случайностям. И без них дело объясняется просто и естественно. Соблазнив и бросив Стэфку, как это и другие в аналогичных случаях делали, он женился на дочери бобарицкого богатого старовера Ильлюхі Ковалевского Дуне. Она хотя была и шадровита (оспу перенесла), да «хозяйка домовита», и за ней, по меньшей мере, взял 400—500 руб. приданого. Для оборотистого человека этого довольно для начала. Она же ему принесла весьма важные связи со староверами, которые все были поверстаны в мещанство. Опираясь на эти связи, он, в качестве грамотного, прошел в мещанские старосты. А это, во-первых, давало ему вес и значение в раскольничьем мире, что весьма важно, ибо этот мир издавна привык действовать сплоченно и подчиняться постановлениям стариков и строгой дисциплине; во-вторых — это давало около 120—150 руб. жалованья в год и еще больше взяток. Этого совершенно достаточно, чтобы начать небольшие, но выгодные операции с хлебом, льном и прочим сельским товаром, а где требовались значительные средства для операции покрупнее, то в раскольничьем мире он всегда мог перехватить нужные деньги. Так действовали до него еврейские богатеи, занимая деньги у богатых мужиков, а староверы жили много зажиточнее

и богаче белорусов, восполняя занятия сельским хозяйством разными другими промыслами.

Староверы

Среди них были красильщики и набойщики, были барановочники и булочники, весьма многие занимались печеньем пряников медовых, которыми торговали на сельских кирмашах, были подрядчиками по земляным работам и хорошие «грабари» — копальщики канав и пр. А главное, они водки не пили и табаку не курили: это крупный плюс по сравнению с белорусами, которые и пили, и курили. Пьющие из староверов были все наперечет: это те, которые побывали в солдатах. Но этот народ считался отпетым: пьяницы и воры.

А насчет сплочённости и дисциплины мне известны убедительные примеры. В прежнее время по воскресеньям и праздникам староверы съезжались в местечко со всей округи; особенно съезды были многочисленны на Покрова, в мясоед и на масленице. Это была выставка невест и женихов. Здесь щеголяли оба пола богатством наряда, и наряды действительно были богатыми — шубы, крытые тонким сукном, на излюбленном лисьем меху, шапки меховые, у богатеев — бобровые; у женщин платки и шали, летом — шелковые, любимого желто-золотистого цвета; щеголяли лошадьми, богатством упряжи с набором, расписными дугами и санями. По традиции устраивалось нечто вроде бегов, с состязанием на выпередки и катанием невест.

Для молодежи это весьма ценное удовольствие, о котором мечтали, — себя показать и людей посмотреть.

Но вот в начале 70-х годов, в один из таких съездов, собрались старики в квартире Малашки, матери Никиты (я был на этом съезде), потолковали, что вот-де евреи-нехристи, а субботу блюдут, а мы-де христиане, а закона не сполняем. Потолковали и постановили: не бывать на базарах по воскресным и праздничным дням, бывать по четвергам. И что же?

С той поры ни одного старовера в воскресенье не увидишь на базаре. И катанья прекратились. А здесь — всего удобнее было «умыкать» невест, обычай, который в мое время держался среди староверов, совершенно не известный белорусам: выехал за местечко, да и был таков.

Так вот Микита Малашкин, который еще мальчишкой, сидя на печке, присутствовал на староверческих сходах, выросши и войдя в силу, стал несомненным главою староверия в обширной округе. Ворочая значительными капиталами, своими и чужими, он, приближаясь к годам революции, затмил собою и Біёміна Гільмана, и Моську Горелика, и Нисона, и Вульфа, которые считались первостепенными богачами. Сыновья его живали в Москве и Питере и приспособились к торговым делам в крупных размерах, но... как ушли «бароны» так пришлось уйти и династии Сироткиных. А уж было совсем приспособились…

На этом я и покончу с Холопеничами, которые вступили в новую эпоху, где нет места ни графам, ни баронам, ни Микитам Сироткиным...

КОММЕНТАРИИ

В основу данного издания положена рукопись воспоминаний, которую Павел Адамович Богданович (1901—1968) — сын Адама Егоровича Богдановича от третьего брака с Александрой Мякота — передал в Академию наук Беларуси. Теперь рукопись хранится в Литературном музее Максима Богдановича. Она сверена с машинописным текстом научными сотрудниками музея А. Кисялевич, М. Трус, С. Кисловой, Т. Ревяко. «Мои воспоминания» опубликованы в журнале «Неман» (1994, №№ 5—8). Комментарии книжной публикации П. Кочетковой и А. Ващенко.

[1] Хроніка Паска — «Хроника Богухвала и Годислава Паска». Памятник средневекового белорусско-польского летописания. Написанная на латинском языке, в дальнейшем — переведена на польский.

[2] Мартин Матушевич (1714—1773) — польский писатель, общественный деятель. Родился в д. Ельна, на Брестчине. Автор «Воспоминаний», тт. 1—4, Варшава, 1876 г., где описаны быт и нравы брестской шляхты.

[3] Войт — председатель сельской общины (староста).

Ключвойт — человек, в распоряжении которого находились продукты питания, места хранения продуктов, хозяйственные постройки и ключи к ним.

[4] Удрук (бел. диал.) — вдруг.

[5] Сотник — 1. В старину: командир сотни; 2. В царской российской армии: казачий офицерский чин, равный поручику, а также лицо, имеющее этот чин.

[6] Десятник — выборное служебное лицо из крестьян для исполнения полицейских и гражданских функций. Обычно избирался на десять дворов.

[7] Хорография (от греч. choros — место, grapho — писать) — раздел биогеографии, изучающий распределение живых организмов по земному шару.

[8] «Этнический состав белорусского народа» — 1-я часть капитального исследования «Этнический состав народов славянских и русских. Опыт объединения этнологических данных ни почве водоречной и озерной номенклатуры». 2-я часть — «Этнический состав населения Верхнего Поволжья, Оки и Камы». Машинописный вариант находится в фондах Литературного музея Максима Богдановича в Минске.

[9] Прадед Адама Богдановича Степан первым стал носить фамилию Богданович — по фамилии своего отчима Никифора Богдановича. По отцу он должен был быть Скокличем.

[10] Ревизская сказка — документ переписи сельского и городского населения в России для учета и исчисления подушной подати.

[11] Исповедные ведомости — документ, который официальная православная церковь обязана была предоставлять государственным властям в Российской империи. Происходило это ежегодно. Ведомости перечисляли всех, кто ходил к исповеди; были свидетельствами законопослушания, благонравия.

[12] Ганак (бел.) — крыльцо.

[13] Лодка-душегубка — узкий и длинный челн, наподобие пироги у народов тихоокеанских островов, который выдалбливался или выжигался из целого древесного ствола.

[14] Благодаря архивным исследованиям Д. Л. Яцкевич установил год рождения деда Лукьяна — 1807. В фонде Минской палаты гражданского суда среди кутников имения Косаричи отмечены Лукьян Степанов Скоклич 39 лет, его жена Арина 27 лет, дети Франц 13 лет, Софрон 12 лет, Егор 9 лет, Семен 8 лет и Магдалена 6 лет. Отметим, что годы рождения Семена и Магдалены не соответствуют приведенным в «Воспоминаниях» Адама Богдановича. Кутник, согласно Статуту Великого Княжества Литовского 1588 года — категория зависимых безземельных крестьян в ВКЛ в XVI — XIX вв., которые занимали кут, как бобыли. Некоторые из них имели свои дома. В данном случае Лукьян Скоклич был садовником у феодала, поэтому был освобожден от налогов и записывался как дворовый.

[15] Даёнка (бел.) — посуда (обычно ведро), в которую доили молоко.

[16] Гривенник — десятикопеечная русская монета, выпускающаяся с 1701 года.

[17] Залатоўка (бел.) — монета достоинством в 15 копеек.

[18] Рудобелка — теперь городской поселок Октябрьский Гомельской области.

[19] Андынарыя — ежемесячное продовольственное и денежное довольствие.

[20] Алей (бел.) — подсолнечное масло.

[21] Кварта — мера емкости в Польше и во многих странах Западной Европы, равная 1/10 ведра.

[22] Грош (польск. grosz, от нем. Groschen, от лат. grossus — «толстый» денарий) — монета различных стран и времен. С 1832 года 1 польский грош был приравнен к ½ копейки.

[23] Клёпка (бел.) — деревянная заготовка для изготовления кадок и бочек.

[24] Барда — картофельная, зерновая, паточная, — побочный продукт спиртового производства. Барду используют главным образом для откорма крупного рогатого скота.

[25] Пайстком (бел. диал.) — чередом.

[26] Кухцік (бел.) — ученик повара.

[27] Покоевка (бел. — пакаёўка) — горничная.

[28] Гэрбата (бел. — гарбата, от лат. herba — трава) — напиток, чай.

[29] Слибизовать (бел. — слібізаваць) — слово польского происхождения, употребляется в значении *«читать медленно, по слогам»*.

[30] Охмыстриня (бел. — ахмістрыня) — экономка, женщина которая занимается ведением хозяйства в богатом доме.

[31] Фурман (бел.) — человек, который управляет конями, кучер.

[32] Кермаш, кірмаш (бел.) — ярмарка.

[33] Пуд — старинная мера веса, равная 40 фунтам или 16,381 кг.

[34] Ігрышчы (бел.) — обычно танцы и забавы, которые молодежь какого-нибудь села организовывала в корчме.

[35] Стадола (бел.) — 1. Конюшня на постоялом дворе; 2. Большой хлев.

[36] Кульгавы (бел.) — хромой.

[37] Холопеничи — теперь городской поселок Крупского района Минской области.

[38] Эсса (от балт. ese — брод) — река длиной более 100 км, впадающая в Лепельское озеро. Когда-то была частью Березинской водной системы, соединявшей бассейны Балтийского и Черного морей.

[39] Вір (бел.) — омут, крыніца (бел.) — источник.

[40] Вірнік (бел.) — водяной.

[41] Латгалы — древнебалтское племя, позже вошедшее в состав латышского народа и давшее ему имя.

[42] Каптанкі (бел.) — женская верхняя одежда с длинными полами и удлиненными рукавами. Шнуроўкі (бел.) — нагрудная женская одежда без рукавов, корсет.

[43] Мой дед Антон Журавский работал плотогоном, а потом лоцманом на Западной Двине. За провод барки с ценным грузом от Бешенкович до Риги опытному лоцману платили 25—30 руб. серебром. Из Риги лоцман и работники возвращались пешком, проделывая до 35 верст в день. За время весеннего судоходства хорошие работники успевали дважды съездить в Ригу и с хорошим заработком, большая часть которого шла на уплату различных податей, вернуться домой. (*А. В.*)

[44] Гмах (бел.) — большое, высокое строение.

[45] Мур (бел., от лат. miris) — стена.

[46] Камяніца (бел.) — каменное или кирпичное строение.

[47] Кляштар (бел.) — католический монастырь.

[48] Муляр (бел.) — каменщик, кладчик.

[49] 1923 г. — в этом году Адам Богданович приезжал на Беларусь по приглашению Инбелкульта. Привез архив своего сына — Максима Богдановича.

[50] Memento mori (лат.) — помни о смерти.

[51] Сажень — старорусская единица измерения. С 1835 года равен 2,13 метра.

[52] Уход немцев — имеется в виду Первая мировая война.

[53] Дзесятина — единица площади в России до 1918 года, равна 1,0925 га.

[54] Хрептовичи — магнатский (в XIX в. графский) род. Представители рода занимали крупные государственные должности в ВКЛ. В XVIII — начале XX в. Владели Глубоким, Бешенковичами, имениями Щорсы в Новогрудском и Вишнево в Ошмянском уездах. Первое упоминание в Городельской унии (1413).

[55] Гарпагон — главный герой пьесы Ж. Б. Мольера «Скупой, или Школа лжи». Очень скупой и богатый человек, который не любил никого и ничего кроме денег.

[56] Ядловец (бел.) — можжевельник.

[57] Латифундия (лат. latifundium<latus обширный + fundus земля, поместье) — крупное земельное владение, поместье.

[58] Комиссар (от. лат. comissarius — уполномоченный) — руководящая особа с общественно-политическими, организационными, административными функциями. Здесь имеется в виду доверенное лицо пана, управляющий имением.

[59] Дозорец — в данном случае: надсмотрщик, соглядатай, наушник, осведомитель.

[60] Лайдак (бел.) — бездельник, беспутный человек.

[61] Жнитва — жатва.

[62] Легенда приводится в первой работе А. Богдановича «Про панщину: Рассказ из белорусской жизни времен крепостного права». Гродно, 1894. (Отд. оттиск из «Гродн. губ. вед.», 1894.)

[63] Амантка (польск. amantka) — коханка, любовница, поклонница.

[64] Морг (польск. morg) — земельная мера, равная приблизительно 0,5 гектара.

[65] Чиншевое право (польск. czynsz) — регулярный фиксированный оброк продуктами или деньгами.

[66] Бляхар (бел.) — жестянщик.

[67] «...вспыхнуло польское восстание» — имеется в виду восстание на Беларуси и в Литве 1863—1864 гг. под предводительством Кастуся Калиновского. События 1863—64 гг. на Беларуси сложны и неоднозначны, политические течения неоднородны. Литовский провинциальный комитет, которым руководил Кастусь Калиновский, решительно проводил идею независимости Беларуси от Польши.

[68] Максима (от. лат. maxima — основное правило, принцип) — логический или этический принцип, выраженный в краткой формуле, правило поведения.

[69] Млын (бел.) — мельница.

[70] Однодворец — сословие, созданное после восстания 1830–1831 годов под предводительством Тадеуша Костюшки. Сельская шляхта, не сумевшая документально подтвердить свое дворянское происхождение, была переведена в однодворцы. Они несли рекрутскую повинность и должны были платить налоги. После закона 17.03.1847 года они не имели права покупать землю с крестьянами. Сословие однодворцев было упразднено после указа 19.02.1868 года, по которому они были приравнены к крестьянам. Это было окончательной ликвидацией шляхецкого сословия бывшего ВКЛ.

[71] Мещанин — до 1917 года — человек, входящий в мещанское сословие, состоящее из мелких домовладельцев, горожан и ремесленников.

[72] «...из собраний Людовицы», — вероятно, имеется в виду Людовико (Лудовико) Сфорио Моро — герцог миланский, меценат XV века.

[73] Аршин — старорусская единица измерения длины, равная 0,7112 метра.

[74] Кубел (бел.) — закрывающаяся крышкой кадка для хранения продуктов.

[75] Шавец (бел.) — сапожник.

[76] Дамавіна (бел.) — гроб.

[77] Хаўтуры (бел.) — поминки.

[78] Очевидно, варикозное расширение вен.

[79] Дельфы — древнегреческий город в юго-западной Фокиде с храмом и оракулом Аполлона. В Дельфах проводились общегреческие Пифийские игры.

[80] Пифия (греч. Pythia) — в Древней Греции — жрица-прорицательница в храме Аполлона (Дельфийском оракуле), восседавшая на треножнике над расщелиной скалы, откуда поднимались одуряющие испарения, и произносящая под их влиянием бессвязные слова, которые в загадочной, двусмысленной форме истолковывались жрецами как прорицания, пророчества.

[81] Кат (бел.) — палач.

[82] Парадзіха (бел.) — роженица.

[83] Хрэсьбіны (бел.) — христины.

[84] Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — русский хирург, анатом и педагог. Основоположник военно-полевой хирургии. Известен как педагог и деятель народного образования 2-й половины XIX в.

[85] Юркевич Памфил Данилович (1826—1874) — русско-украинский философ. Разрабатывал проблемы христианской антропологии (учение о «сердце» как духовном средоточении человека).

[86] Фураж (от фр. fourrage < feurre — солома) — корм для лошадей и скота.

[87] Довудца (польск. — dowódca) — командир.

[88] «Богатырь» — богач.

[89] Логишин — городской поселок (с 1959 г.) в Пинском районе Брестской области. В 1643—1776 гг. имел Магдебургское право и герб. После 3-го раздела Речи Посполитой (1795) — местечко Пинского уезда Минской области.

[90] Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — граф. В 1863 г. — 65-й генерал-губернатор Северо-Западного края, за жестокость при подавлении восстания 1863—64 гг. на землях Беларуси прозван «вешателем».

[91] Крестьянский банк, Крестьянский поземельный банк в Российской империи. Выдавал ссуды под залог покупаемых крестьянами земель. Во время столыпинской реформы скупал помещичьи земли и продавал их мелкими участками крестьянам.

[92] Крестьяне должны были заплатить выкуп за пользование землей.

[93] Адепт (от лат. adeptus — достигший) — ярый последователь, приверженец какого-либо учения, идеи.

[94] Бриль (бел. — брыль) — шляпа, мужской головной убор.

[95] Аборигены (от лат. aborigines < ab origine — от начала) — коренные обитатели данной страны или местности.

[96] Атриды — в древнегреческой мифологии: потомки царя Микен Атрея, которые ощутили на себе проклятье его брата Фиеста (Агамемнон, Орест).

[97] Эдипопей (Эдип) — сын фиванского царя Лая и Иокасты, который убил своего отца и женился на матери. Яркий пример неумолимости рока.

[98] Zegarek (польск.) — часы.

[99] Панчошкі (бел.) — чулочки.

[100] Дубельтувка (польск.) — ружье.

[101] Сурдут (бел.) — сюртук.

[102] Паллиатив (фр. palliatif < лат. palliare — прикрывать < pallium — плащ) — средство, дающее временное облегчение болезни, полумера.

[103] Да шчэнту (бел.) — до конца, начисто.

[104] Прыпірышчэ (бел. диал.) — пристанище.

[105] Мендель Грегор Иоганн (1822—1884) — австрийский монах, биолог и ботаник, сыгравший огромную роль в развитии представлений о наследственности. Открытые им Законы Менделя стали первым шагом к современной генетике.

[106] «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей,

А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
И. А. Крылов. Квартет.

[107] Чугунка (бел.) — железная дорога.

[108] Троглодиты — дикие люди, не умевшие еще строить жилищ и находившие убежище в пещерах.

[109] Істужка, стужка (бел.) — лента.

[110] Опратывать (от бел. — апранаць) — обряжать, одевать.

[111] Франциск Азисский, Джованни ди Пьетро Бернардоне (1182—1226) — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена.

[112] Чомбар, чабор (бел.) — чебрец.

[113] На протяжении своей более чем 30-летней учительской работы я замечал, что в отдельные годы в первый класс приходят исключительные по уму, трудолюбию и красоте дети. По-моему, главным фактором, способствующим рождению таких детей, является солнечная активность и благоприятные внешние условия в период зачатия и вынашивания ребенка. (*А. В.*)

[114] Кляшторная школа — школа, где обучение было основано на постулатах католической веры.

[115] Олеография — 1. Применявшийся в конце XIX в. способ многокрасочной литографии, имевший целью не только точно воспроизвести тона картины, но и передать на бумаге своеобразный характер поверхности масляной живописи — мазки кисти, структуру полотна; 2. Картина, напечатанная таким способом.

[116] Сивилла (от греч. sibilla — пророчица) — у древних греков и римлян — прорицательница, женщина, предсказывающая будущее, гадалка.

[117] Габлеваны (бел. — габляваны) — обработанный рубанком, гладкий, струганый.

[118] Канапа (бел.) — диван.

[119] Пан Заглоба — один из главных персонажей трилогии Генрика Сенкевича «Огнем и мечем», «Потоп», «Пан Володыевский».

[120] Чичисбей (от итал. cicisbeo) — в XVI — XVIII вв. в Италии — постоянный спутник богатой, знатной, замужней женщины, с которым она выходила на прогулку.

[121] Перкаль, паркаль (бел.) — ситец.

[122] Спаднiца (бел.) — юбка.

[123] Намётка (бел. — намiтка) — повойник, головной убор замужней женщины.

[124] Фактор — посредник, комиссионер.

[125] Монблан — гора в Альпах на границе Италии и Франции. Самая высокая гора в Западной Европе (4810 м).

[126] Медница — медный таз.

[127] Хустка (бел.) — платок.

[128] Лементация (от польск. lementowac — стенать, причитать, бел. — лямант) — здесь: суета, шум.

[129] Басэтля (бел.) — белорусский народный струнный смычковый инструмент, близкий к виолончели и контрабасу. Имеет 3—4 металлических или жильных струны, настроенные по квинтам. Известна в Белоруссии с XVIII в. Использовалась в народных инструментальных ансамблях-«капелях», чаще всего со скрипкой.

[130] Такое определение в Беларуси не носило оскорбительного характера.

[131] Рапсод (от греч. rhapsōdos < rhaptō — сшиваю + ōdē — песнь) — странствующий певец в Древней Греции, певший под аккомпанемент лиры эпические песни; в широком смысле — певец народно-эпических песен, сказитель.

[132] Залатоўка (бел.) — монета достоинством 15 копеек.

[133] Мурожная (бел.) — луговая.

[134] Арбузы — правильно: гарбузы (бел.).

[135] Карчага (бел.) — гончарное изделие, большой глиняный сосуд для хранения и транспортировки продуктов.

[136] Помнится, работал в Национальном историческом архиве Республики Беларусь с Метрическими книгами Дворецкой Борисоглебской церкви, которые охватывают период с 1865 по 1918 годы. Меня поразило, что, начиная с июля месяца по август, детская смертность возрастала в несколько раз. Причина смерти — кровавый понос. Это значит, что бедные изголодавшиеся за зиму дети набрасывались на первые незрелые плоды, ягоды, овощи, и желудок не мог переварить эту «сырызну». (*А. В.*)

[137] Сакрамент (от лат. sacramentum — освящение, святость) — таинство. В данном случае — причастие.

[138] Абрус (бел.) — скатерть.

[139] Шанаваць (бел.) — уважать.

[140] Пелева — пленка, удерживающая зерно в колосе.

[141] Латушка (бел.) — небольшая глиняная миска с загнутыми внутрь краями.

[142] Аранхуэс (Aranjuez) — город в Центральной Испании.

[143] «Хлеб наш насущный» — цитата из молитвы «Отче наш».

[144] У моей бабушки Марии Ващенко шестеро детей из одиннадцати умерли в детстве от голода и болезней, после образования колхоза с громким названием «Дворец труда», коммунары разбили молотом жернова, которые помогали прокормить многодетную семью, чтобы бабушка молола свое зерно за деньги на колхозной мельнице. То же самое сделали и в семьях остальных крестьян, имевших домашние жернова. (*А. В.*)

[145] Дзугаць (бел. разг.) — усердно толочь.

[146] Более подробно об этом см. П. М. Шпілеўскі. Беларусь у абрадах і казках. Маладзіковая нядзеля. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010, стр. 90–102.

[147] Спаднiца (бел.) — юбка.

[148] Крамнае, крамное (бел.) — приобретенное в магазине (краме), фабричного производства.

[149] Ёўня (бел.) — хозяйственная постройка для просушки зерновых культур, конопли, льна.

[150] Кужаль (бел.) — волокно чесанного льна.

[151] Кудзеля (бел.) — волокно льна, конопли, обработанное для приготовления пряжи.

[152] Прасніца (бел.) — приспособление, на которое подвешивается волокно для прядения.

[153] Бердо (бел. — бёрда) — приспособление для ткачества.

[154] Кубло (бел. — кубел) — бондарное изделие с крышкой для хранения полотна и ценных вещей.

[155] Байдак (бел.) — речное судно, длиной 15–20 саженей.

[156] Камізэлька (бел.) — вид безрукавки.

[157] Цукерка (бел.) — конфета.

[158] Буагобей — возможно, Буаробер Франсуа (1592–1662), — французский писатель, поэт, драматург.

[159] Пісьме́нны (бел.) — грамотный.

[160] Франклин Бенджамин (1706—1790) — политический деятель, дипломат, ученый, изобретатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за независимость США. Сформулировал для себя 13 заповедей, которые он считал необходимым соблюдать, чтобы стать мастером своего дела. Вот эти заповеди:

1. Воздержание во всем: в еде и питье. 2. Молчание — золото. Говорите только то, что принесет пользу вам или окружающим, избегайте пустопорожней болтовни. 3. Порядок: всему свое время и место, каждая вещь должна иметь свое место, каждая обязанность на работе выполнена в свое время. 4. Решимость: без колебаний делайте то, что должны делать, если решились на действие — идите до конца. 5. Бережливость: траты должны приносить пользу вам или окружающим, не бросайте деньги на ветер. 6. Трудолюбие: не проводите время впустую, постоянно занимайтесь нужными делами, прекратите бесполезные занятия. 7. Искренность: не прибегайте к обману, ваши мысли должны быть чисты и справедливы и такими же должны быть ваши речи. 8. Справедливость: никому не наносите обиды, причиняя зло или не делая добра, это ваш долг. 9. Умеренность: не впадайте в крайности, старайтесь терпеливо сносить оскорбления. 10. Чистоплотность: будьте

нетерпимы к нечистоплотности тела, одежды и жилища. 11. Спокойствие: не расстраивайтесь из-за пустяков или досадных случайностей — они неизбежны. 12. Целомудрие: не предавайтесь сладострастию часто, только для здоровья или продолжения рода, и никогда от скуки, слабости или во вред себе или благополучию и спокойствия другого. 13. Смирение: подражайте Иисусу и Сократу.

[161] Сервитутное право (от лат. servitus — рабство, подчиненность) — ограниченное право пользования имуществом.

[162] Здзеквацца (бел.) — издеваться.

[163] Каббала (от древнеевр. qabbālah — букв. предание) — еврейское религиозно-мистическое учение, основанное на поисках основы всех вещей в цифрах и буквах. В данном случае — гадание.

[164] Внучка Аришка — Ирина Попова, дочь Павла Богдановича (сына Адама Егоровича Богдановича от третьего брака с Александрой Мякота).

[165] Пан Твардовский — герой многочисленных польских народных легенд. Шляхтич-чернокнижник, ради богатства и могущества продавший душу дьяволу. Его образ получил художественную обработку в ряде произведений.

[166] Шейн П. В. (1826—1900) — белорусский и русский этнограф и фольклорист. Имел широкую сеть корреспондентов, среди которых были А. Богданович, Н. Никифоровский, Е. Карский, Ю. Крачковский, Янка Лучина. Издал сборник «Белорусские народные песни» (1874) и «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» (т. 1—3, 1887—1902).

[167] Имеется в виду печатная страница.

[168] Цикл стихов Максима Богдановича «У зачараваным царстве».

[169] Шлюб (бел.) — брак.

[170] Нашча (бел.) — натощак.

[171] Цытвор (бел.) — раствор цитварного семени.

[172] Лубочник — торговец лубками, — картинками в народном стиле, изображающими бытовые и политические сюжеты в издевательской форме с потешными комментариями. Лубок в дореволюционной России выполнял одновременно роль новостного бюллетеня, комиксов, газетной карикатуры и предмета интерьерного дизайна избы.

[173] За́кситься — венчаться в ЗАГСе.

[174] Эпикур (341—270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, объяснявший мир на основе атомистического учения Демокрита. Девиз Э.: живи уединенно. Цель жизни — отсутствие страданий, здоровье тела и состояние безмятежности духа (атараксия); познание природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще.

[175] Дранмор Фердинанд (псевд., наст. имя — Людвиг Фердинанд Шмид) — швейцарский поэт.

[176] Крыж (бел.) — крест. В данном случае — награды, скорее всего — Георгиевские кресты.

[177] Папера (бел.) — бумага.

[178] Глум (бел.) — напрасная трата, «не ў глум» — не напрасно.

[179] Грамзоліць (бел. разг.) — писать.

[180] Азярод (бел.) — построение из столбов и жердей для досушивания сена.

[181] Волхвы (кудесники, волшебники, гадатели) — мудрецы или маги, пользующиеся большим влиянием в древности как знатоки тайн, недоступных простому человеку.

[182] Блазен (бел. — блазан) — шут.

[183] «Гапон» — повесть в стихах белорусского поэта, драматурга, театрального деятеля Винцента Дунина-Марцинкевича (1808—1884).

[184] Офеня — бродячий торговец. Офени общались между собой на жаргоне, непонятном для непосвященных.

[185] Ушинский К. Д. (1824—1871) — русский педагог, основоположник научной педагогики в России. Написал и издал книги «Родное слово» и «Детский мир» — первые массовые и общедоступные учебники для начального обучения детей.

[186] Паульсон Иосиф Иванович (1825—1898) — русский педагог, методист.

[187] Бунаков Николай Федорович (1837—1904) — русский педагог, методист, автор учебников.

[188] Кий (бел.) — палка, посох.

[189] Богданович Лев Адамович (1893—1918) — сын Адама Егоровича Богдановича от первого брака, с Марией Мякота. Родной брат Максима Богдановича.

[190] Богданович Павел Адамович (1901 —1968) — сын Адама Егоровича Богдановича от третьего брака, с Александрой Мякота. Сводный брат Максима. Преподавал математику, жил в Ярославле. Передал в Академию наук Беларуси рукопись публикуемых воспоминаний.

[191] Эйлер Леонард (1707—1783) — математик, механик, физик, астроном. Швейцарец по происхождению, в 1727 году переехал в Россию.

[192] Богданович (Гапанович) Магдалена Егоровна (1864—1921); Богданович (Голован) Мария Егоровна (?—1931); выехали вслед за А. Е. Богдановичем в Нижний Новгород. Семьи Богдановичей, Гапановичей, Голованов образовали там своеобразную белорусскую колонию.

Нюта — Гапанович Анна Ивановна (1892—1941), дочь Магдалены, племянница Адама Богдановича. Максим Богданович посвятил ей рукописный сборник стихов на русском языке «Зеленя».

Андрюша — Голован Андрей Трифонович (1900—1964) — сын Марии, племянник А. Е. Богдановича.

[193] Кулжинский Григорий Иванович (1838—1896) — инспектор народных училищ Минской губернии с 1869 г.

[194] Редкий Петр Григорьевич (1808—1891) — русский правовед, историк философии, педагог.

[195] Щербина Н. Ф. (1821—1869) — русский поэт и сатирик. Издал «Пчелу» — сборник для народного чтения.

[196] Богданович Павла (Паўліна) Егоровна (1869—?) — сестра А. Е. Богдановича, жила в Минске, покончила жизнь самоубийством.

[197] Фиванда (Фиваида) — старинное название Верхнего Египта. Термин происходит от греческого названия его столицы Фив. По легендам здесь жили первые христиане-отшельники.

[198] Спенсер Герберт (1820—1903) — британский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, основатель органической школы в социологии, идеолог либерализма.

[199] Вундт Вильгельм Максимилиан (1832—1920) — немецкий физиолог и психолог, основатель экспериментальной психологии.

[200] «Критика чистого разума» — сочинение философа. И. Канта.

[201] Богданович Вадим Адамович (1890—1908) — сын А. Е. Богдановича от первого брака, с Марией Мякота. Родной брат Максима Богдановича.

[202] Засцянкоўцы (бел. ист.) — жители застенка: хутора или небольшого поселения мелкой шляхты.

[203] Оригинал документа (свидетельства) экспонируется в Литературном музее Максима Богдановича.

[204] Кунцевич Иосафат (1580—1623) — униатский епископ украинского происхождения, архиепископ Полоцкий. Активно насаждал унию и притеснял православных. По его жалобе на жителей Могилева, которые не пустили его в город (1618), король Сигизмунд III жестоко расправился с непокорным городом. 12 ноября 1623 года в Витебске был растерзан разъяренной толпой. Лев Сапега приказал казнить 19 виновных и лишить город Магдебурского права. Мощи И. К. были захоронены в базилике св. Петра в Риме. В 1867 году был причислен к лику святых. Папа Иоанн Павел II назвал Кунцевича «апостолом единения».

[205] Антонович Максим Александрович (1835—1918) — русский литературный критик, публицист.

[206] Шандори́н — сорт керосина, продававшийся в России в середине XIX ст. американцем Шандором.

[207] В 1934—1939 годах архиерейский дом и находившаяся при нем Покровская церковь перестроены под Окружной дом офицеров.

[208] Цагельня (бел.) — кирпичный завод.

[209] Грамніца (бел.) — свечка, которую освящают в церкви или костеле на Громницы (Сретенье): христианский праздник, уходящий корнями в язычество, который приходится на 15 февраля у православных и 2 февраля у католиков. По народным традициям означает встречу зимы с весной.

[210] Пакута (бел.) — мучение.

[211] Сморгонская академия — одна из школ белорусских скоморохов, дрессировщиков медведей. Основана Радзивиллами в г. Сморгони. Существовала в XVII — XIX вв.

[212] Люстэрка (бел.) — зеркало.

[213] Пярсцёнак (бел.) — перстень, кольцо.

[214] Кара́лі (бел.) — бусы, монисто.

[215] Пуня (бел.) — сарай для сена.

[216] Снедаць (бел.) — завтракать.

[217] Вежа (бел.) — башня.

[218] Драбіны (бел.) — приставная лестница.

[219] Зыбицкая улица — теперь: Торговая.

[220] Захарьевская улица — центральная, теперь: проспект Независимости.

[221] Губернаторская — отрезок улицы от пр. Независимости до пр. Победителей.

[222] Иосиф Семашка — униатский епископ. Инициатор ликвидации Унии в 1839 году Полоцким собором.

[223] Коштовный (бел.) — дорогой.

[224] Гарц, гарнец — четвертая часть ведра.

[225] Брансолетка (польск. bransoletaj) — браслет.

[226] Саладоўня (бел.) — хозяйственная постройка, в которой проращивали и сушили зерно на солод.

[227] Старый сад. — Летом 2011 года я приехал в этот сад. От некогда роскошного сада осталось всего несколько старых яблонь и груш. Деревья, как и люди, тоже умирают… (*А. В.*)

[228] Огурец — теперь деревня Гурец Чашникского района Витебской области.

[229] Хрушч (бел.) — майский жук.

[230] Розмарин — старинный осенний сорт яблок прекрасного десертного вкуса, ныне практически исчезнувший.

[231] Ананасное Берженецкого — старинный осенний сорт яблок, когда-то распространенный в помещичьих садах.

[232] Цыганки — когда-то популярный старинный зимний сорт яблок с очень сочными и вкусными плодами темно-красного, почти черного цвета, которые не боялись даже небольших морозов.

[233] Ксендз-декан — старший священник, наблюдающий за группой приходов.

[234] Викарий (лат. vicar ins — заместитель) — помощник епископа по управлению епархией.

[235] Речка Лукомка.

[236] Городище на правом берегу р. Лукомки. При раскопках выявлены следы нескольких археологических культур, которые сменяли друг друга. Найденные при раскопках экспонаты хранятся в Национальном историческом музее Республики Беларусь. Примерно в километре от городища на краю Проклятого поля находится ряд курганов и курганный могильник, который можно рассматривать как остатки некрополя древнего Лукомля.

[237] Комплекс археологических памятников Лукомля исследовали Е. Р. Романов, А. Д. Коваленя, Л. В. Алексеев, Г. В. Штыхов и другие.

[238] Завіхацца (бел.) — хлопотать, спешить, делая работу.

[239] Янчук Н. А. (1859—1921) — этнограф, исследователь русской, белорусской, украинской и польской народной музыки. Много сделал для сбора белорусских народных песен.

[240] Подгорная — теперь улица Карла Маркса.

[241] «Шабэс» (от древнееврейск. шаббат: суббота) — субботний отдых, предписываемый постулатами иудаизма.

[242] Францы (бел. разг. — пранцы) — сифилис.

[243] Юрьевская улица — не существует. Проходила между пр. Независимости и Интернациональной.

[244] Полицейский мост — мост через р. Свислочь, на ул. Янки Купалы.

[245] Пожондэк (польск. porządek) — порядок.

[246] Галган (бран.) — оболтус, болван.

[247] Лайдак (бел.) — беспутный человек, бездельник.

[248] Песталоцци, Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог, автор теории природосообразного образования.

[249] Маруда (бел.) — медлительный человек.

[250] Футра (бел.) — шуба.

[251] «К истории партии «Народная Воля в Минске и Белоруссии 1880—1892 гг.», «Революционное движение в Минске и губернии в 80-х и начале 90-х годов». Рукописные работы. Находятся в фондах Литературного музея Максима Богдановича в Минске.

[252] Разбэсціцца (бел.) — развратиться, избаловаться.

[253] Аппелбес (правильно: Апелес) — древнегреческий живописец 2-й половины IV в. до н. э. Пример совершенства, достигнутого упорным трудом.

[254] Кішэня (бел.) — карман.

[255] Красняк (бел. диал.) — богач.

[256] Парцелляция (от франц. parcelle — частица) — дробление земли на мелкие участки.

СОДЕРЖАНИЕ

Научно-популярное издание

БОГДАНОВИЧ Адам Егорович

Я ВСЮ ЖИЗНЬ СТРЕМИЛСЯ К СВЕТУ
В двух книгах

Книга первая
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Составитель *А. П. Ващенко*

Редактор *Н. П. Станкевич*
Художник *В. Г. Павловец*
Художественный редактор *Я. К. Ващенко*
Компьютерная верстка *А. И. Дедюля*
Стильредактор *В. К. Жолток*

Подписано в печать 22.02.2012. Формат 60×90 1/16.
Бумага газетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 34,00+0,5 вкл. Уч.-изд. л. 29,76+0,45 вкл. Тираж 1100. Заказ 661

Редакционно-издательское учреждение
«Літаратура і Мастацтва».
ЛИ 02330/0494044 от 03.02.2009.
Ул. Захарова, 19, 220034, г. Минск.

Республиканское унитарное предприятие
«Типография «Победа».
ЛП 02330/0494182 от 03.04.2009.
Ул. Тавлая, 11, 222310, г. Молодечно, Республика Беларусь.